



Художественная проза являет образцы более сложно организованных, чем поэзия, ритмов, рифм, являясь по сути синтетическими моделирующими системами, магическими техниками, влияние которых нельзя оценивать однозначно. Мы видим текст, трансформируем его в образ, перед нашим взором предстает картинка, как на экране телевизора, текст пропадает, появляется пейзаж, дерево, река, человек...

Юрий КУВАЛДИН

Издательство
"Книжный Сад"
Москва 2006

Юрий Кувалдин

6

Собрание сочинений в десяти томах

Юрий Кувалдин



Том 6

АКАДЕМИЯ РЕЦЕПТУАЛИЗМА

ЮРИЙ
КУВАЛДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ
6

Издательство
Книжный сад
Москва
2006

ББК 84 Р7

К 88

Издание осуществляется
под наблюдением Президента Академии Рецептуализма
академика Юрия Кувалдина

Общая редакция и составление Юрия Кувалдина

Редакционная коллегия:

Ю. А. Кувалдин (главный редактор, академик),
Н. П. Краснова (академик), Слава Лён (академик),
Э. А. Сокольский (академик),
А. Ю. Трифонов (заместитель главного редактора, академик)

Оформление художника
Александра Трифонова

На обложке воспроизводится картина художника Александра Трифонова
"Швея", х. м. 72 x 60, 1996 г.

ISBN 5-85676-116-2 (Т. 6)

ISBN 5-85676-111-1

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2006

ЗАМЕЧАНИЯ

повесть

Из окна был виден остов церкви. Сергей Васильевич брился, изредка поглядывая на этот остов, и думал о том, что он ничего не понимает в религии, хотя когда-то пытался понять. Мать, покойница, верила, но как-то по-своему, темно.

Лезвие было старое и плохо брило, драло кожу. Сергей Васильевич смотрел на свою обрюзгшую физиономию в круглое зеркало, пожелтевшее от времени, но не замечал, что его физиономия обрюзгла. Лысину свою, которая появилась в тридцать лет, он тоже не замечал, привыкнув к ней за последующие тридцать пять лет.

Чтобы смягчить бритье, Сергей Васильевич часто макал помазок в железную кружку с кипятком и мылил помазок о кусок простого хозяйственного мыла в мыльнице.

И зеркало, и мыльница, и кружка с кипятком стояли на некогда белом широком подоконнике. В ванную Сергей Васильевич не выходил, потому что там умывалась жена. А с ней он видется не хотел, хотя видется так или иначе приходилось.

Прогромыхал под окнами трамвай. Стекла в окне задребезжали. Сергей Васильевич взглянул на будильник, который стоял на деревенском табурете перед продавленным довоенным диваном, от которого пахло кирзой, и увидел, что уже шесть тридцать. Нужно было поторапливаться. Сергей Васильевич с кружкой, помазком и безопасной бритвой, подаренной ему в 1949 году отцом к двадцатилетию, пошел на кухню умываться.

На кухне варила овсянку дочь Лиза. Волосы ее были всклокочены. Она была в мятой ночной рубашке.

- Ну, чего ты вылез?! - зло бросила она отцу, не поворачиваясь.
- Уйти на работу не дадут!

- Заткнись! - рявкнул Сергей Васильевич.

Настроение его, и так неважное, совсем испортилось. Сергей Васильевич по натуре был человек мирный, конфликтов не любил, да и ругаться не доставляло ему удовольствия. Но - приходилось... С досады Сергей Васильевич швырнул со стуком свои принадлежности для бритья в грязную эмалированную раковину, плюнул в эту же раковину, открыл холодную воду - горячей воды в доме не было, лишь в ванной поставили газовую колонку для нагрева воды - и принялся умываться.

- Чтоб вы подохли, пенсионеры проклятые! - взвизгнула Лиза, схватила ковшик с недоваренной овсянкой и убежала в свою комнату.

На кухню сразу же вышла жена, полная женщина с синими мешками под глазами.

- Долго ты будешь издеваться над моей дочерью?! - крикнула она.

- Твари! - в отчаянии бросил Сергей Васильевич. - Вы меня достанете!..

Но закрыл кран и пошел к себе утираться белым вафельным полотенцем. Сел на неубранный диван, распахнул дверцу армейской тумбочки, достал банку килек в томате, открывалку, пакет с хлебом и приступил к завтраку. Килька была дагестанская, в жидком соусе, она не нравилась Сергею Васильевичу, который больше любил балтийскую. Но ее теперь не стало. Черный хлеб зачерствел и даже заплесневел, но Сергей Васильевич машинально жевал, не думая о его качестве.

На трамвайной остановке скопилось много народу, и Сергей Васильевич едва втиснулся в трамвай - этот страшный, отечественного производства сарай на колесах.

- Проездной! - крикнул в толпу Сергей Васильевич, стоя на одной ноге, хотя никакого проездного у него не было. Но Сергей Васильевич ездил по этому маршруту тридцать лет, почти всегда впахиваясь в переполненный трамвай, и ни разу не видел в нем контролеров - может быть, потому, что контролеры здесь просто не протолкнулись бы.

За окном потянулся знакомый бетонный забор, и вскоре Сергей Васильевич вместе с вывалившейся из трамвая толпой оказался на улице. Вся в ямах и выбоинах, грязная, пыльная, она проле-

ЗАМЕЧАНИЯ

гала между двумя бетонными заборами. Слева был огромный военный завод, и справа был военный завод, еще более огромный, на котором с 1946 года трудился Сергей Васильевич.

Трамвай прогромыхал дальше, к другим военным заводам, трамвайная толпа раздвоилась, одна часть перешла на противоположную сторону, а с оставшейся частью Сергей Васильевич пошел вдоль забора к старому выцветшему зданию проходной, изредка бросая взгляд на пыльную полынь, пробившуюся между бетонным забором и серым асфальтом с камнями и песком, который неприятно скрипел под ногами.

У турникета движение толпы замедлялось, рабочие склонялись к окошку вахтера и называли свой номер.

Сергей Васильевич сказал:

- Двадцать один ноль восемь.

Это был его номер. Сергей Васильевич получил свой пропуск в металлической рамке под прозрачной плотной пленкой, с фотографией и с лиловыми цифрами: "2108", сунул его в нагрудный карман пиджака и прошел через никелированный вращающийся турникет.

Территория завода была столь огромна, что по ней ходил рейсовый автобус, отправлявшийся от клумбы, посреди которой стоял памятник Ворошилову. Автобус, как и трамвай, тоже был переполнен людьми, некоторых Сергей Васильевич знал, а некоторых - нет.

Автобус миновал железнодорожный переезд. На путях видно было несколько составов с готовой продукцией, которые стояли здесь без движения уже месяцев пять.

- Вот она, народная копеечка! - непременно выкрикивал кто-нибудь в автобусе, когда тот проехал мимо этих составов.

Наконец Сергей Васильевич доехал до своего семьдесят третьего цеха, вышел у жиденького газончика и вошел в подъезд. По длинному полутемному коридору с металлическим полом, где пахло хлоркой из огромного туалета с примитивными довоенными нужниками, Сергей Васильевич прошел в раздевалку. Там рядами стояли деревянные, с фанерными дверцами с навесными замочками, шкафы - узкие, как вертикально поставленные гробы. Сергей Васильевич собственным ключиком открыл замочек и стал переодеваться. Тонкие носки снял и сунул в туфли, купленные еще во время фестиваля, в пятьдесят седьмом году, но еще живые, по-

сколько использовал он их лишь для передвижения с работы и на работу. Шведские брюки от костюма повесил на плечики, на них же повесил черный бостонский пиджак, которому с 1961 года износу не было.

Стоя босиком, в одних длинных черных трусах на резиновом коврик, Сергей Васильевич повесил плечики и снял с гвоздя рабочую одежду. Затем сел на широкую длинную скамейку, на которой уже расположилось несколько рабочих, и надел сатиновые черные, в мелких металлических опилках, промасленные шаровары с резинками на щиколотках. Намотал портянки и всунул ноги в лоснящиеся от масла черные с никелированными заклепками тяжелые ремесленные ботинки, служившие ему вот уже пятнадцать лет.

- Привет, Серега! - услышал он справа.

- Здорово, Федя! - ответил Сергей Васильевич.

- Сереге наше с кисточкой! - раздалось слева.

- Привет, Толян! - привычно отозвался Сергей Васильевич, натягивая на себя нательную байковую рубашку. Потом надел синий грязный халат, а на голову - шапку, сложенную из газеты. Как научил его еще в сорок шестом году Михалыч складывать такие шапки, так Сергей Васильевич и складывал их с тех пор, и всю жизнь в них работал.

Цех Сергея Васильевича был очень длинный, в него заезжали целые эшелоны. Конца ему не было видно. Шумность в цеху была уже нормальная, многие включили станки. Сергей Васильевич подошел к своему верстаку, открыл тумбочку, достал из нее и аккуратно разложил инструмент. Зажал в тиски первую заготовку для бронзовой дверной ручки. И задумался. Принялся набрасывать эскиз ручки на клочке газеты. Выходило нечто похожее на русалку. Остановившись на этом художественном решении, Сергей Васильевич взялся за напильник. Настроение его мало-помалу налаживалось.

К обеду было готово десять великолепных, отполированных и покрытых военным лаком прямо-таки золотых дверных ручек, солидных, тяжелых.

Прогудела сирена на обеденный перерыв. Сергей Васильевич сбегал в столовую, съел тарелку щей с пятью кусками черного хлеба и быстро побежал играть в домино.

Партия удачно закончилась как раз в тот момент, когда заревела сирена на работу.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Рыба! - взревел вместе с ней Сергей Васильевич и так шлепнул костяшкой, что все подпрыгнули.

Вернувшись в цех, Сергей Васильевич прошел мимо Толяна, посмотрел, как тот гонит свои кухонные ножи, прошел мимо Феди, который делал шампуры для шашлыков. Дальновиднее всех, видимо, был Степа, который изготавливал краны для ванн и кухонь, но у него были огромные трудозатраты на единицу продукции, он бегал от токарного к фрезерному станкам, и эффект был тот же, что и у всех.

К концу смены начал свой ежедневный обход по сбору дани мастер Сашка, который пришел на завод в 1947 году, то есть на год позже Сергея Васильевича. Мастерить и Сергею Васильевичу предлагали, но он не любил начальство и сам не лез в это начальство.

Сергей Васильевич с кровью оторвал от себя две ручки.

- Хоть бы сам что-нибудь делал, Сашок! - с обидой в голосе сказал он, глядя мимо мастера в зарешеченное грязное окно.

- Ты, Серега, умом своим располагай лучше, - сказал Сашка. - Я вам полную политическую свободу даю, рыскую (он так и выговаривал: "рыскую"), очки, можно сказать, начальству втираю, что норму выработки выполняем.

- Ладно, втирай дальше! - усмехнулся Сергей Васильевич, с сожалением прощаясь с двумя великолепными ручками.

- Ты где сегодня стоишь? - спросил Сашка.

- Сегодня поеду до Преображенки, - сказал, подумав, Сергей Васильевич.

- А я встану у "Сантехники" на Кутузовском. Говорят, там все наотлет идет!

- Ну, давай! - протянул руку Сергей Васильевич.

- Давай! - пожал протянутую руку Сашка. После того, как были надеты рубашка и галстук, Сергей Васильевич повесил ожерелье из ручек на шею, потом уж надел пиджак. Конечно, было заметно, ручки выпирали, но в проходной делали вид, что не замечают, потому что вахтеры работали на заводе лет по пятнадцать-двадцать, а то и дольше, как Сергей Васильевич.

На внутризаводской рейсовый автобус толпа была так велика, что Сергей Васильевич втиснулся лишь в третий автобус - вместе с мастером Сашкой.

- Начальник цеха сказал, что зарплату в следующем месяце тоже не дадут, - сказал, упираясь плечом в грудь Сергея Васильевича, Сашка и вздохнул.

- Сволочи, - безразлично поддержал разговор Сергей Васильевич.

Помолчали, глядя в окно на проплывающий сборочный цех.

- Я еще недельку похожу и смотаюсь в деревню, - сказал Сергей Васильевич, оглядывая упакованного с ног до головы продукцией Сашку, все карманы которого сильно оттопырились.

Сергей Васильевич получал пенсию, очень маленькую. Когда пенсия подошла, он бросил работу, год просидел дома, вернее, полгода, а вторые полгода - в деревне. Но, подумав, пошел опять на родной завод.

Автобус остановился у клумбы с памятником Ворошилову. Этот памятник в свое время хотели убрать, но коллектив отстоял. И теперь многие говорили, грозя кому-то:

- Климента Ефремовича на вас нету!

Вахтер принял пропуск, даже не взглянув на Сергея Васильевича.

Толпа вынесла Сергея Васильевича на трамвайную остановку. Был конец мая, стояла жаркая погода, но без пиджака не поносишь гирлянды на шее. Уже на трамвайной остановке многие доставали из карманов полиэтиленовые пакеты, матерчатые сумки, авоськи и складывали в них продукцию личной конверсии.

Из ворот заводоуправления выскочила серебристая "тойота" с заместителем директора.

- Толстая морда поехала! - крикнула какая-то женщина. - Как только не стыдно! Продались американцам! Сами гребут лопатой, а мы - подыхай с голоду!

- Совковой лопатой! - добавил Сашка, чтобы раззадорить толпу.

Но тут показался железный сарай на колесах, и все заволновались: влезут или нет. Сергею Васильевичу влезть удалось с первой попытки, потому что задняя дверь распахнулась прямо против него. Толпа сзади надавила, ручки впились в ребра. У Сергея Васильевича не было с собой сумки, и гирлянда по-прежнему висела под пиджаком.

Распаренные тела заводчан спрессовались, стало так душно, что Сергей Васильевич почувствовал, как по спине потекли струйки пота. За окнами проплывал серый бетонный забор. Через три остановки он кончился. Но начался забор деревянный.

ЗАМЕЧАНИЯ

На Семеновской вышло много народу, и Сергей Васильевич облегченно вздохнул, вытирая ладонью пот со лба. Трамвай пополз по Преображенскому валу, стуча и лязгая железными колесами. Впечатление было такое, будто сбрасывали с машины на землю листовое железо. Но к этому шуму Сергей Васильевич за многие годы привык и как бы не обращал на него внимания.

Сергей Васильевич думал о том, что на вырученные от продажи ручек деньги он купит побольше блинной муки, на которой в деревне сумеет безбедно продержаться до осени.

Выйдя у рынка, Сергей Васильевич обогнул помойные баки; справа тянулся забор кладбища, слева - рынка. Перед входом на рынок, где на земле сидели нищие, Сергей Васильевич снял пиджак, и ручки засияли на его груди, как ордена.

Сергей Васильевич не спеша двинулся вдоль рядов, сглатывая слюну при виде фруктов и овощного изобилия. Возле торговли солеными огурцами не удержался, взял крепенький огурчик и съел его, сказав затем:

- Солоноват! Погляжу еще у кого.

И пошел дальше. Казалось, что никто на его превосходные дверные ручки не обращал внимания. Сергей Васильевич немного заволновался.

- Не нужны ручки? - на всякий случай спросил он у южанина, торговавшего бананами.

Южанин что-то промычал по-своему и махнул на Сергея Васильевича рукой. Тогда Сергей Васильевич переместился поближе к хозяйственным товарам. Ноги за день устали. Сергей Васильевич сел на свободный дощатый ящик. Только успел вздохнуть, как услышал вопрос:

- Почему?

Спрашивал молодой развязный человек в малиновом пиджаке.

- По три штуки! - заготовленно ответил Сергей Васильевич.

- Бери. Снимай ошейник, - сказал молодой человек и добавил вопросительно: - Сам делал?

- Кто ж еще! Чудак человек. На заводе. Сам.

- А можешь мне всю фурнитуру сделать? - спросил молодой человек.

- Что?

- Шпингалеты, крючки...

- Могу.

Договорились. Молодой человек объяснил, что и как делать, оставил свой телефон и даже факс, сунув на прощание Сергею Васильевичу визитку.

Получив деньги, обрадованный Сергей Васильевич поехал домой.

Только он вошел в квартиру, как жена визгливо предупредила:

- Приведи себя в порядок! Сегодня ухажер Лизки придет!

- Какой? - спросил Сергей Васильевич.

- Лежиссер! - сказала с чувством превосходства жена, подняв палец и погрозив им кому-то.

Сергей Васильевич хотя и не знал, что это, собственно, за профессия такая, но слово "режиссер" он запомнил накрепко еще с поры юности, и всплывало оно всегда в памяти в неразрывной связи с фамилией Александров, а дальше - "Веселые ребята". Он поправил жену:

- Режиссер.

- Я и говорю. Он кина снимает.

Сообщение жены взволновало и насторожило Сергея Васильевича, потому что этих режиссеров он считал людьми из другой жизни, которая была ему так же неизвестна, как жизнь генеральных секретарей.

Пока суд да дело, Сергей Васильевич схватил рюкзак и две спортивные сумки и побежал в магазин за блинной мукой. Отоварившись, благо очереди не было (он никак не мог привыкнуть к отсутствию очередей), Сергей Васильевич, подумав, взял на оставшиеся деньги бутылку водки рязанского завода, другой не было, и две бутылки "жигулевского". Потом, еще подумав, купил развесную атлантическую жирную селедку. И сразу как-то повеселел, как веселел всегда, предчувствуя праздник. Особенно он любил Первомай и Ноябрьские. Правда, теперь любил только в воспоминаниях, потому что все вокруг перестали праздновать эти праздники.

Жена обрадовалась селедке, принялась сразу же чистить ее. На кухне было дымно, жарилась курица, пар поднимался к потолку от варящейся картошки. Видно, жена мотнула всю свою зарплату, хоть и небольшую, но выдававшуюся пока регулярно. Она работала на швейной фабрике, продукцию которой никто не покупал.

ЗАМЕЧАНИЯ

Бутылку и пиво Сергей Васильевич предусмотрительно спрятал в рюкзаке. В своей комнате он переоделся, прилег на диван, включив черно-белый телевизор “Темп”, 1963 года выпуска, посмотрел какую-то белиберду и под эту белиберду задремал. Ему приснилось, что он собирает картошку в деревне, а картошки так много, что мешков не хватает. И Сергей Васильевич радуется обильному урожаю, прикидывая в уме, сколько же он выручит на рынке за эту картошку...

Разбудила его дочь Лиза.

- Папа, - сказала она нежно, тронув его за плечо. - Вставай, пожалуйста, у нас гости!

Сергей Васильевич энергично, сбрасывая сон, поднялся и, подыгрывая Лизе, сказал:

- Извини, доченька, задремал!

Дверь в комнату была распахнута. В прихожей, у зеркала, стоял молодой уже седоватый мужик в джинсовом костюме - ухажер Лизы.

То, что ухажер в возрасте, человек, видно, солидный, понравилось Сергею Васильевичу, и он с улыбкой на устах вышел в прихожую. Протянув гостю руку, он представился:

- Сергей Васильевич!

Лиза добавила зачем-то:

- Это мой папа.

- Очень приятно, - сказал гость и в свою очередь назвал себя: - Иван.

Сергей Васильевич вздрогнул при этом имени - почему-то он ожидал, что гость, будучи представителем непонятной профессии, назовется каким-нибудь Жоржем, Эдиком или Альфредом. Имя Иван очень порадовало Сергея Васильевича, он все тряс руку гостя, улыбаясь, заглядывая в его голубые глаза.

- А вот и мамуля! - воскликнула Лиза, когда из ее комнаты показалась сильно накрашенная и напудренная, в новом платье, жена Сергея Васильевича.

- Иван, - еще раз повторил “лежиссер”.

- Зоя Степановна, - сказала жена и мать.

- Погода очень хорошая теперь, - сказал Сергей Васильевич.

- К столу, к столу! - пригласила жена и открыла дверь в свою комнату.

Большой стол был накрыт. Он стоял в центре просторной комнаты на ковре. Справа стояло пианино, на котором никто и никог-

да не играл. Слева - модная стенка, в застекленной части которой музейно поблескивал хрусталь и фарфор и стояло пять книг: Пушкин, Кочетов, Есенин, Ваншенкин и толстый том "Сказки народов мира".

Стулья, стенка и широкая, великолепная деревянная кровать были куплены пятнадцать лет назад, когда зарплата у Сергея Васильевича была пятьсот рублей, вдвое больше, чем у иных научных работников.

Сядясь за стол, Сергей Васильевич отметил, что из спиртного жена, не поскупившись, купила армянский коньяк и шампанское. Еще была большая бутылка пепси-колы. Предвкушая удовольствие, он взял коньяк и потянулся к рюмке Ивана, но Иван сказал, что он за рулем. Сергей Васильевич погрузтел. И жена погрузтел.

- Ну хоть шампанского? - спросил Сергей Васильевич.

- Папа, - педагогическим голосом сказала Лиза, быстро взглянув почему-то на Ивана, - нам нельзя, мы за рулем!

Сергей Васильевич удивленно посмотрел на дочь и вдруг какими-то новыми глазами увидел ее - хорошенькую двадцатичетырехлетнюю девушку с великолепной прической (наверное, в парикмахерскую бегала!), в прекрасном лиловом костюмчике с белым кружевным воротничком. Она хорошо смотрелась рядом с седоватым Иваном.

Вздохнув, Сергей Васильевич налил коньяку себе и жене. Лиза согласилась выпить немного шампанского. Ивану она налила пепси.

- Какая великолепная у вас квартира, - вежливо сказал Иван, когда все выпили.

- Не жалуемся, не жалуемся, - охотно подхватил Сергей Васильевич. - А сначала только вот эта комната и была, в которой сидим. Мне от завода ее дали - когда дом заселяли в шестьдесят первом году. Я сам с двадцать девятого года рождения, а Зоя - с сорокового. Вот когда родилась наша Лизонька, я и выхлопотал эту комнату, потому что мы жили с Зоей тогда у моих родителей за занавеской на Сухаревке. Теснотища! А тут все-таки своя комната, хоть и в коммуналке...

- И сколько тут метров? - спросил Иван, пробуя селедку.

- Двадцать восемь с половиной, - с гордостью сообщила жена и хотела еще что-то сказать, но Сергей Васильевич перебил ее:

ЗАМЕЧАНИЯ

- Потом умерла одна соседка. Из той комнаты, где я теперь помещаюсь, - пояснил он. - Я опять побежал в заводоуправление хлопотать. И что же? Выхлопотал!..

Сергей Васильевич снова взялся за бутылку коньяка и продолжил:

- А когда Лизе было десять лет, умерла другая соседка - из той комнаты, в которой теперь Лизонька помещается. И я опять хлопотать. Поначалу давать никак не хотели. Хотели подселить соседей. Но я тут включил все свои бумаги. Стаж, ударник коммунистического труда, член бюро профсоюзного цеха, ну и все такое. Дали. Вот так вот квартира и досталась, целиком и полностью...

- И дом хороший, старый, - похвалил Иван. - И вид хороший из окна на церковь. Скоро ее, наверное, отреставрируют. Сейчас все церкви приводят в порядок...

- Приведут, приведут в порядок, это точно, - согласился Сергей Васильевич, чокаясь с женой и Лизой. - Хотя об религии я мало что знаю. Вот кто такой Ной? Отец Христа? - спросил он, пользуясь возможностью поговорить со сведущим, видимо, человеком. Он любил умные беседы.

- Нет. У Христа не было отца, - сказал Иван.

- Как же это? - удивился Сергей Васильевич.

- Очень просто. Его отец - дух святой. От духа святого и забеременела мать Христа, Мария, - растолковал Иван.

- А Ной при чем? - спросил Сергей Васильевич, наливая по третьей. На душе у него стало легко и празднично.

- Ной - это другое дело. Ноев ковчег. Спасение всего живого, - сказал Иван и хотел подробнее растолковать, но тут жена Сергея Васильевича вдруг тихонько завела:

Ромашки спрятались, завяли лютики...

- Зой, дай ты человеку договорить! - перебил песню Сергей Васильевич. Но ему и самому хотелось петь, только не хором, а солировать. Он очень любил солировать за столом.

- А ты, ты... - забывшись, взвизгнула было жена, но тут же спохватилась и, сбавляя тон, ловко продолжила: - А ты, Сережа, а ты... Спой лучше ты... - И обращаясь к Ивану, добавила: - Сергей у нас очень хорошо поет...

- Конечно, конечно, - вежливо сказал Иван. - Спойте, пожалуйста, Сергей Васильевич.

Сергей Васильевич с готовностью схватил в одну руку вилку, в другую нож и ударил ими по тарелке: "Раз, два... восемь!" - крикнул он и запел:

Мы люди большого полета...

Иван с любопытством смотрел на него, Лиза терпеливо ждала, когда отец закончит песню, а жена, на которую выпитое уже успело подействовать, подперла голову кулаками, и глаза ее увлажнились от растроганности и каких-то своих воспоминаний.

Как только Сергей Васильевич закончил песню, церемонно поклонившись Ивану, она сказала:

- Бывалочи, с девками бегали в Порецкое на танцы... Там часть стояла. Ухаживали за мной офицеры, а я... Эх! В Москву помчалась...

Сергей Васильевич нетерпеливо выжидал и, едва жена запнулась, опять ударил по тарелке, прокричал: "Раз, два... восемь!" и запел с чувством - строго, даже величественно:

Будет людям счастье,
Счастье на века!
У советской власти
Сила велика!

Жена, смахнув слезу, подхватила:

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути!
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!

Иван громко рассмеялся. Сергей Васильевич тут же прекратил пение, спросил недоверчиво:

- А что это вы рассмеялись?

- Вы с такой иронией, так замечательно проникновенно поете этот идиотский текст, что не рассмеяться просто нельзя! - сказал, улыбаясь, Иван.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Какой текст? - не понял Сергей Васильевич.

- Идиотский... А что, разве не так?.. - чувствуя, что сказал что-то не то, насторожился Иван.

Сергей Васильевич покраснел от обиды, медленно встал из-за стола и пробормотав: "Извините, я на минутку" - вышел из комнаты. Но уже в прихожей он понял, что погорячился. Сразу возвращаться к столу, однако, не стал, а зашел на кухню, открыл воду и сполоснул лицо. Затем прошел в свою комнату. На душе сразу повеселело: бутылка и "жигулевское" были на месте! А выпить очень хотелось, потому что бутылки коньяка на двоих с женой ему было маловато - ни туда, ни сюда.

Сергей Васильевич быстренько нацедил в железную кружку, из которой брился, грамм сто пятьдесят, сбил об угол подоконника пробку с пива, мигом выпил водку и запил пивом из горла.

Когда он вернулся к столу, Иван в каком-то непонятном ему возбуждении ходил из угла в угол и, грозя кому-то пальцем, говорил, обращаясь к Лизе:

- ...время протекает через сердце, как кровь... И нет точнее часов, чем сердце, пульсирующее ровно столько, на сколько хватает завода судьбы! Погружаясь в ее темные воды через рождение, вступаешь в царствие подобных себе и оказываешься среди народа, среди ближних... Господи! - выкрикнул вдруг он. - Охраняй от ближнего!..

Сергей Васильевич, похорошевший, опять жаждал мира и приятного общения и с готовностью поддакнул:

- Не слышал, с чего вы начали, но насчет ближнего очень даже правильно сказали! Воруят, собаки, прямо перед носом. У меня на заводе замок на тумбочке разов десять ломали. Увели драчевый напильник и пашку на двенадцать! А кто ворует? Свои! Ближние... Народ!

Иван обернулся к Сергею Васильевичу и с болью спросил:

- Сергей Васильевич, а вы кто?..

- Как кто? - оторопел Сергей Васильевич, ничего не понимая. - Слесарь...

- А еще?

- Что "еще"?

- Ну, кто вы еще? - все с той же болью в голосе настаивал Иван.

- А вы кто? - в свою очередь с такой же болью спросил Сергей Васильевич.

- Нет, Сергей Васильевич, сначала вы скажите, я вас спрашиваю...

- А я вас! - с обидою возразил Сергей Васильевич.

- Папуля, почему ты не можешь нормально разговаривать! - вскрикнула Лиза. - Прямо, как этот!..

- Лизонька, у меня там бутылочка на кухне, - перебила ее жена. - Ты знаешь где... Принеси, деточка...

- Лиза, недовольно пожав плечами, встала из-за стола и направилась на кухню.

- Да спокойно ты, успокойся! - прикрикнул на жену Сергей Васильевич.

- Я что, я ничего... - заискивающе улыбаясь, начала было жена, но Сергей Васильевич опять обернулся к Ивану.

- Вот, никогда не дадут поговорить с интересным человеком, - пожаловался он. - Вы что хотели, я не понял... - но тут вошла Лиза с бутылкой водки в руке, и Сергей Васильевич быстро встал, протягивая к бутылке руку. Лиза взглянула на мать, но без возражений отдала водку отцу, громко сказав при этом:

- Папочка, открой, пожалуйста, и налей всем.

- Тебе тоже, доченька? - в тон ей спросил Сергей Васильевич.

- Немножко. Поддержу вас за компанию, - миролюбиво разрешила Лиза и пока Иван наливал себе пепси, тихонько шепнула отцу: - Только не ругайтесь...

Сергей Васильевич умело скovyрнул жестяную пробку с бутылки и налил себе, жене и дочери. Выпили. Жена со вздохом поставила рюмку на стол и принялась накладывать себе на тарелку салат, делая вид, что все в порядке, но Сергей Васильевич понял: уже отключилась. Вздохнув, он опять обратился к Ивану:

- Простите, я, может, чего-то не понял. Вот вы все спрашивали, кто я. А кто я? Чего вы хотели сказать?

- Я хотел сказать, - улыбнулся Иван, - что вы, Сергей Васильевич, тоже ведь народ. Самый настоящий народ!..

- Это вы правильно, - мирно согласился Сергей Васильевич. - Мы народ. Не просто народ, а великий народ, и не просто великий народ, а великий русский народ... Не то что какие-то там демократы!

- Бей демократов! - очнулась вдруг задремавшая было жена.

- Это что - самих себя? - опять улыбаясь, деланно удивился Иван.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Мы не демократы! - крикнул Сергей Васильевич. Но спорить ему не хотелось, он без предупреждения ударил вилкой и ножом по тарелке, проскандировал: "Раз, два... восемь!" и запел:

Клен ты мой опавший, клен заледенелый...

Иван, как ни странно, подтянул:

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой...

Это понравилось Сергею Васильевичу, на душе у него стало совсем хорошо и, закончив песню, он ласково проговорил, обращаясь к Ивану:

- Ну, что ж, рассказывай, Ваня, о своих намерениях...

- Ну, что ты опять, как этот!.. - сразу же вскинулась Лиза. - Неужели непонятно? Мы хотим пожениться!..

Сергей Васильевич, накалявая на вилку кусок жирной селедки, сказал задумчиво:

- Так. Значит, ты хочешь, Ваня, жениться на моей дочери?

- Хочу, - не очень твердо сказал Иван.

- Приданое соберем! - крикнула жена.

- Помолчи! - строго сказал ей Сергей Васильевич. - А где жить собираетесь?

Иван спокойно ответил:

- У меня трехкомнатная квартира на улице 8-го марта. Мать недавно умерла. Я остался один. Отец умер два года назад.

- А кем был отец? - спросил опять Сергей Васильевич, оглядывая пустые бутылки и прикидывая, что, пожалуй, пора сходить в свою комнату и добавить.

- Отец был кинооператором, - ответил Иван.

- Понятно, - кивнул Сергей Васильевич. - Ну, а если не секрет, на что жить собираетесь?

- Пап, ну что ты как допрашиваешь? - сказала Лиза. - Прямо, неудобно!

Но Иван остановил ее:

- Ничего тут нет неудобного, Лиза. Всем известно, что у нас, киношников, сейчас трудные времена. Но я нашел спонсора и через месяц запускаюсь.

- А позвольте узнать, сколько вам будет годов? - продолжил свои расспросы Сергей Васильевич.

- Сорок четыре, - ответил Иван.

- Женат не был? - поинтересовался Сергей Васильевич.

- Не был.

- Детей на стороне нет?

Лиза опять не выдержала.

- Пап, ну что ты пристал к человеку? Ну нельзя же так...

- Мне интересно знать, - строго сказал Сергей Васильевич. - Я же не семечки на рынке покупаю, а выдаю дочь замуж!

Жена очнулась от дремы, крикнула:

- Правильно!

- Шла бы ты лучше спать, мама! - одернула ее Лиза. Тут Сергей Васильевич неожиданно поднялся и сказал:

- Я выйду на минуточку.

Сначала он зашел в уборную, потом уж побежал в свою комнату. Быстро налил в кружку, жадно выпил, затем запил с удовольствием пивом. Взглянул в окно на проезжающий трамвай, чему-то улыбнулся и вернулся к столу. На душе было очень хорошо. Опять захотелось петь. Но тут поднялся из-за стола Иван.

- Извините, но мне пора, - сказал он. - К сценаристу еще нужно заскочить...

- Я тебя провожу до машины, - встала из-за стола и Лиза.

- Я тоже спущусь, - заявил Сергей Васильевич, решив, что стоит посмотреть, какая у жениха машина.

По грязной, с выбитыми ступенями лестнице они спустились во двор и свернули за угол, в проезд между двумя домами. Там на обочине стояла старая "Волга" Ивана. При виде столь почитаемого автомобиля Сергей Васильевич приосанился, хотя немного уже покачивался, и спросил:

- Автомобиль, небось, от отца достался?

- От отца, - подтвердил Иван, целуя Лизу и садясь в машину.

Когда он уехал, Лиза с перекошенным лицом повернулась к отцу.

- Ублюдок! - бросила она ему злобно и побежала наверх.

Она закрылась в своей комнате, и больше за весь вечер ее Сергей Васильевич не видел, хотя сам, после того, как уложил жену, не раздевая, а лишь сняв с нее туфли, выходил в коридор раза три - когда посещал уборную и когда ставил чайник, чтобы на ночь попить крепкого чая. К водке, которой осталось грамм двести, он больше не притрагивался, заткнул и спрятал бутылку в рюкзак.

ЗАМЕЧАНИЯ

Утром он проснулся раньше обычного от странного шороха в комнате. Жена рылась в сумках.

- Выйди вон! - закричал не своим голосом Сергей Васильевич.

- Сереженька, я знаю, у тебя есть, - прошептала жена.

- Убирайся отсюда!

- Я умираю, Сереженька, дай! - взмолилась жена.

Сергей Васильевич, ощущая легкий шум в голове, вскочил и вытолкал жену из комнаты, закрыв дверь за ней на ключ. Он приложил ухо к двери и некоторое время стоял неподвижно, слушая, что происходит в коридоре. Минуту спустя, он услышал стук двери в комнате жены.

Сергей Васильевич прилег и задремал. Опять ему снилась деревня.

Прозвенел будильник. Сергей Васильевич по заведенному обычаю сразу же поднялся и в трусах пошел на кухню ставить чайник для бритья. Лиза варила овсянку.

- Что ты вылезаеть вечно, когда я тут! - крикнула она.

Сергей Васильевич молча поджег чайник. Лиза схватила коврик с кашей и побежала к себе.

Сергей Васильевич зашел в уборную, почитал обрывок газеты, затем приступил к бритью на подоконнике в своей комнате. Он брился и вспоминал вчерашний разговор с Иваном. Сергей Васильевич понял, что Иван ему все-таки не понравился. Да и староват для Лизы. С другой стороны, где их теперь найдешь, женихов? Лиза тоже уже засиделась в девках, давно замуж пора. Может, и сладится...

За завтраком кусок в глотку не лез, но Сергей Васильевич сильно вогнал в себя банку кильки. Правда, без хлеба. И отправился на работу.

На трамвайной остановке его застал дождик, и Сергей Васильевич посетовал, что забыл зонтик. В трамвае было душно, как в парной. Сергея Васильевича немного мутило, и он вышел на одну остановку раньше, чтобы выпить квасу. Палатка стояла у бетонного забора его же завода. Была небольшая очередь, из заводских. В очереди Сергей Васильевич увидел мастера Сашку. Взяли по кружке, отошли в сторонку, с удовольствием потягивая кисловатый квас.

- Принимал вчера? - на всякий случай спросил Сашка.

- Принимал, - с улыбкой ответил Сергей Васильевич.

- Я тоже принял, - сказал Сашка и пояснил: - Вчера все толкнул у "Сантехники". Особоливо хорошо пошли твои ручки!

- А я с женихом знакомился, - сознался Сергей Васильевич.

- Ну и как? - спросил Сашка равнодушно.

- Из этих, - сказал Сергей Васильевич и кивнул куда-то в небо.

- Ну и ладно, - сказал Сашка. - Тебе с ним не жить.

- Режиссер, - уточнил Сергей Васильевич.

- С деньгой?

- Говорит, что неважно сейчас живут. Но мой нашел, говорит, спонсора.

Допили, морщась, квас и пошли на работу. В раздевалке Сергей Васильевич достал из нагрудного карманчика пиджака чертежики заказанной ему накануне на рынке фурнитуры и прикинул, как лучше приступить к делу.

Часа два Сергея Васильевича все мутило, побаливал затылок, прикрытый газетной шапкой, но Сергей Васильевич забывался за изготовлением крючков и шпингалетов из золотистой бронзы. Он ходил то к фрезерному станку, то к токарному, то к сверлильному. Потом зажимал детали в тиски на верстаке, работал ножовкой, напильниками, мелкой шкуркой. Полировал детали на станке о войлочный круг.

К обеду мутить перестало. Сергей Васильевич сходил в столовую, где на огромной стене были наклеены цветные фотообои с изображением водопада. Глядя на этот водопад, Сергей Васильевич с аппетитом съел тарелку кислых щей и пять кусков такого же кислого черного хлеба с горчицей. Даже слезы выступили и пот прошиб.

Успел "забить козла". Причем оказался победителем в паре с мастером Сашкой. Но после обеда у него сильно разболелся затылок. Сергей Васильевич тер его, потом помазал керосином. И боль стихла. Сашка явился за данью, получил свое. Сергей Васильевич изготовил гирлянду и под сирену на окончание смены пошел в раздевалку. Шел, думая о том, что дня за три весь заказ сработает.

С гирляндой под пиджаком вошел в квартиру.

- Матери плохо! - с порога он услышал Лизкин голос.

- Ну и что? - сказал Сергей Васильевич.

- Она без сознания! Я только что пришла. Толкала, толкала ее, а она ни мычит, ни телится!..

ЗАМЕЧАНИЯ

Сергей Васильевич молча прошел в свою комнату, в мрачном раздумье снял пиджак, стащил с шеи бронзовую гирлянду. Переодевшись в домашнюю одежду, отправился на осмотр жены.

Она лежала в новом платье, в туфлях на кровати, возле которой валялась бутылка, пустая. Сергей Васильевич склонился над женой, взял ее за плечи и принялся трясти. Из ее груди вырвался сдвленный всхлип.

Сергей Васильевич успокоился, поднял бутылку и пошел на кухню. Лизка варила себе пакетный куриный супчик с вермишелью.

- Дышит, - сказал Сергей Васильевич.

- Это я ей только что дала нашатыря понюхать.

- Надо что-то предпринимать, - сказал Сергей Васильевич.

- Помолчи!

- Да заткнись ты сама! Я говорю, что надо что-то предпринимать.

- Ну, ты как этот! На себя посмотри.

- Чего мне на себя смотреть, - усмехнулся Сергей Васильевич.

- Я работаю!

- Работает он! - воскликнула Лиза. - А жрать в доме нечего! Ладно, я. Мне в библиотеке копейки платят. Да женщине и необязательно зарабатывать. Меня Иван прокормит. А ты-то что?

- Я в деревню уеду...

В эту минуту на кухню, сильно шатаясь, вошла жена. Лицо ее было в размазанной косметике, заспанное, с пустыми, невидящими глазами.

- Суки! - взвизгнула мать. - Купите бутылку!..

- А ну, марш отсюда! - побагровев, не своим голосом заорала на мать Лиза.

Та качнулась и зарыдала, слезы потекли по грязным щекам. И пошлепала к себе, скуля:

- Купите бутылку, умираю же...

Наступила гнетущая тишина.

- Надо что-то предпринять, - сказал Сергей Васильевич.

- Я пойду куплю ей, - сказала Лиза. - А то она не успокоится.

- Иди, добивай мать! - крикнул Сергей Васильевич и ушел к себе.

Он включил телевизор и прилег на диван. И незаметно заснул. Ему приснилась деревенская речка, мелкая, но быстрая и холодная. Он босиком ходил по воде с удочкой.

Проснулся он часа через два. Захотелось есть. Он взглянул на сумки с блинной мукой и решил напечь оладьев.

В квартире стояла тишина. Он приоткрыл дверь в комнату жены. Она спала на кровати. Лиза, видимо, передела ее, потому что жена была в халате. На столе стояла ополовиненная бутылка водки.

Сергей Васильевич, вздохнув, пошел на кухню жарить оладьи. Он их жарил на маленькой сковородке и сразу же ел, обжигаясь и облизывая пальцы.

Наевшись оладьев, Сергей Васильевич вновь прилег на диван и опять уснул. Проснулся уже ночью от желания сбегать в уборную, погасил телевизор и потом уже спал, как убитый, до утра, до громкого звона будильника.

Лиза варила на кухне в своем ковшике овсянку.

- Опять вылез! - привычно отреагировала она, увидев отца.

- Дура, спала бы себе и спала! - мирно возразил Сергей Васильевич. - Вскакивает всегда под руку... Тебе же к десяти на работу.

- Не учи! У меня режим! - огрызнулась Лиза. - Ты бы лучше подумал, на что мы свадьбу играть будем!..

Сергей Васильевич задумался. Свадьбу-то играть действительно нужно было, коль дочь говорит об этом серьезно.

- Он мне не пондравился! - заявил он однако, зачем-то воткнув букву "д" на деревенский манер.

- Зато мне нравится! - передразнила с буквой "д" дочь. И, помолчав, сказала: - Мне стулья нужны.

- Какие стулья?

- Не понимаешь, что ли? У Ивана нет стульев.

- На чем же он сидит? - удивился Сергей Васильевич.

- На раскладушке, - сказала Лиза.

- Так у него же квартира! - воскликнул Сергей Васильевич.

- Ну, ты прямо, как этот! Квартира есть, мебели нет.

- Совсем нет?

- Был старинный гарнитур, но Иван его продал, потому что жить было не на что, - сказала Лиза, помешивая свою кашу. - Это тебе не на заводе работать! Он человек творческий! Сегодня нет денег, а завтра будет куча! Все ему нужно объяснять...

- Где же я тебе стулья возьму?

- Я сама возьму! Ты мне деньги дай!

ЗАМЕЧАНИЯ

- Я же без зарплаты пятый месяц хожу! - возмущенно заорал Сергей Васильевич. - Еле концы с концами свожу. Мяса не ем. Жру черт знает что! А ей стулья подавай! Перебьешься!..

- Кто это?! Кто это?! - закричала мать.

- Где? - в страхе спросила Лиза.

- В комнате моей! С топорами идут! Караул!

- Дура! Там никого нет! Иди спать!

В коридоре началась какая-то возня, потом послышались шаги и все стихло. Сергей Васильевич, чертыхаясь, побежал в свою комнату, схватил кружку, вернулся на кухню и набрал кипяток из чайника для бритья. Затем столь же быстро исчез в своей комнате и начал бриться.

Побрившись, умыться на кухню не пошел. Протер лицо чистым краем полотенца, быстро вскрыл очередную банку дагестанской кильки в томате и принялся глотать ее, выковыривая из банки для быстроты алюминиевой ложкой, а не вилкой, потому что время поджимало, оделся и побежал на работу.

В обед в столовой давали окрошку со свежим огурчиком, хотя и дороже щей, но Сергей Васильевич не удержался, купил и хлебал окрошку так громко и смачно, как давненько не хлебал.

За смену успел сделать большую часть "бронзового" заказа.

Когда он вернулся домой, в квартире стояла тишина. Лизки не было. А жена лежала на кровати. Следов выпивки не было.

Довольный Сергей Васильевич первым делом приступил к жарению оладьев, он глотал их с жадностью, обжигаясь и постанывая от удовольствия, и в некоторые моменты ему казалось, что он весь горит.

Насытившись, прилег у себя на диване. Внушил себе, что заболел и ему налепили горчичников. И забылся сладко.

Ему опять приснилась деревня. Он с удочкой сидит на берегу. Наловил плотвы целую корзину. Потом положил рядом удочку и прилег на песок. Солнце греет, он загорает...

Проснулся часа через три от нестерпимой жажды. Выбежал на кухню, открыл воду и стал пить ее, но жажда не проходила. Сергей Васильевич потрогал лоб. Он оказался горячим. Вернулся в комнату, нашел градусник, лег на диван и сунул градусник под мышку. Минут через пять снял его, взглянул: тридцать девять!

- Так дело не пойдет, - сказал сам себе Сергей Васильевич.

Он отыскал в рюкзаке бутылку с остатками водки, непочатую бутылку пива, налил водку в кружку из-под бритвы, махнул ее залпом, сбил о подоконник пробку с пива, запил им и быстро лег на диван.

Через некоторое время в голове приятно зашумело. Сергей Васильевич сладко зевнул и опять уснул. Даже телевизор в этот вечер не включал. Он спал и как бы чувствовал тишину в квартире, и спал поэтому как-то уютно, размеренно. И сон ему тоже снился какой-то плавный, доходчивый. Будто сидит Сергей Васильевич в своем саду под яблоней-китайкой. И на ней такие маленькие, как черешня, яблочки. И заходит будто сосед по прозвищу Ученый и говорит: "Тебе, Васильич, теперича в Москву ехать не нужно. Теперича выделили тебе пожизненную пенсию, генеральскую, за то, что ты всю жизнь на одном заводе проработал. Выращивай огурцы и картошку, деньги почтальон будет приносить. Ты заслужил!"...

На этом месте Сергей Васильевич проснулся от звонка в дверь. Он вскочил и побежал открывать. Пришла подруга жены, медсестра с фабрики.

- Приболела жена? - спросила она.

- Приболела, - сказал Сергей Васильевич любезно.

- Как поживаете? - спросила медсестра.

- Помаленьку, - ответил Сергей Васильевич, открывая дверь в комнату жены и пропуская туда медсестру.

Медсестра подошла к кровати жены, придвинула стул, села. Сергей Васильевич закрыл дверь и пошел в уборную. На обрывке газеты прочитал информацию о положении в Югославии. Затем пошел на кухню ставить чайник.

Пришла Лиза. Сергей Васильевич сразу же ушел к себе. Напился чаю, лег и уснул до утра. Проснулся раньше звонка будильника. На кухне Лиза, как всегда, варила овсянку.

- Возьми рецепт на столике, медсестра выписала, - приказала она отцу. - Зайди после работы в аптеку, купи лекарство.

- Еще что! - возмутился Сергей Васильевич. - Сама что ли зайти не можешь?

- Помолчи, колхозник! Я занята сегодня. Я стулья покупаю с Иваном!

Сергей Васильевич удивился, спросил:

- И где же ты деньги нашла?

- Где нашла, там уже нету!

ЗАМЕЧАНИЯ

На кухню тихо, робко вошла мать, сказала дрожащим, срывающимся голосом:

- Доброе утро!

- Доброе, - ответил Сергей Васильевич, с некоторым испугом поглядывая на жену.

- Здравствуй, мама! - бодро сказала Лиза и спросила: - Чего тебе?

- Чайку попить захотелось.

- Иди ложись, - сказала Лиза. - Я сейчас принесу...

Сергей Васильевич пошел собираться на работу. Съел последнюю банку кильки с хлебом. Чай пить не стал.

В трамвае встретился с мастером Сашкой. Сашка спросил:

- Смотрел вчера футбол?

- А кто играл? - в свою очередь спросил Сергей Васильевич.

- Наши.

- И как?

- Продули. Такую банку не забили. В пустые ворота!

- Разгонять их нужно! - подвел итог Сергей Васильевич.

Трамвай въехал в ущелье между двумя бетонными заборами. На остановке толпа подхватила Сергея Васильевича и вынесла его к проходной родного завода.

- В выходные махну на водохранилище, - сказал Сашка, поглядывая на голубое небо. Погода стояла прекрасная. - Надо порыбачить. Купил лески, крючков.

- Красота! - вздохнул Сергей Васильевич.

- Еще бы!

- А я уж скоро отвалю в деревню. До осени, - мечтательно проговорил Сергей Васильевич.

- Тебе хорошо, есть куда спрятаться, - позавидовал Сашка.

- Вот свадьбу дочери сыграю и отвалю!..

Сегодня как-то особенно хорошо работалось Сергею Васильевичу. Мать пошла, как любил он сам выражаться. К обеду уже все закончил. Отлично пообедал борщом с черным хлебом. Сыграл в домино, оказавшись победителем. После обеда начал на всякий случай новую партию дверных ручек - в виде драконов.

Иногда, задумываясь, он смотрел в грязное зарешеченное окно, но видел не окно, а расстилалось перед ним деревенское поле, за ним речка и лес, куда он любил ходить ранним утром, по росе, за грибами, причем брал только благородные - белые, подберезовики, подосиновики, а через сыроежки и свинушки презри-

тельно переступал, зная, что через какой-нибудь час огромная корзина, которую плел из ивовых прутьев еще до войны отец, и без них будет полна... Это только подмосковные дачники, которые и лесов-то настоящих российских в глаза не видели, собирают разную дрянь, среди которой сыроежки и свинушки считаются королями...

Перед окончанием смены Сергей Васильевич зашел в химлабораторию позвонить заказчику по визитной карточке. В лаборатории играло радио и, прежде чем набрать нужный номер, Сергей Васильевич прислушался к голосу Бунчикова:

Услышь меня, хорошая...

Бунчикова Сергей Васильевич очень любил, поэтому дослушал песню до конца и только после стал звонить.

Оказалось, что фирма находится недалеко, за кинотеатром "Родина". Сергей Васильевич договорился, что через час будет, повесил на шею очередную гирлянду, заехал домой, упаковал все в сумку.

Жена что-то готовила на кухне. Когда он собирался уходить, спросила:

- В аптеку заходил?

- По делам сбегая и на обратном пути заскочу в твою аптеку, - сказал Сергей Васильевич и побежал на трамвай.

Огромное здание из стекла и бетона, в котором помещалась фирма, Сергей Васильевич нашел без труда. Но в проходной его задержали, пришлось звонить по местному. Встретить его вышел все тот же молодой человек в малиновом пиджаке. Прошли через великолепный холл с фонтанчиком и с массой зелени. Длинный коридор был устлан ковровой дорожкой.

- Шеф чего-то тобой заинтересовался, - сказал молодой человек.

- А чего мной интересоваться? - насторожился Сергей Васильевич.

- Не знаю. Иначе б я тебя сюда не приглашал. Остановились у полированной двери, и Сергей Васильевич узнал на ней свою бронзовую ручку в виде русалки. Молодой человек нажал на кнопку кодированного устройства, и они вошли в помещение, которое было просторнее холла с фонтаном. В витринах были представлены образцы модной иностранной одежды.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Фурнитуру можно положить сюда, - сказал молодой человек, указывая на стеклянный столик, стоявший рядом с входом. На столике стояло несколько телефонов.

Сергей Васильевич разложил свой товар. Молодой человек достал из кармана калькулятор, пересчитал изделия Сергея Васильевича, умножил и тут же расплатился. Сергей Васильевич успокоенно улыбнулся, потому что сумма была кругленькой.

С некоторым недоумением и вновь возникшим волнением он вошел в кабинет директора фирмы. Присел на краешек стула, когда директор - невысокий, коротко стриженный, назвавшийся Владимиром Исаевичем, - предложил сесть.

- Я у Коли спросил, кто это такие великолепные вещи делает, - начал Владимир Исаевич с улыбкой и продолжил: - Но суть, разумеется, не в этом... Сергей Васильевич, вы давно работаете на заводе?

- С сорок шестого года, - чуть дрогнувшим голосом сказал Сергей Васильевич, приглаживая седые волосы, окаймлявшие лысину.

- И все на одном месте? - с той же улыбкой спросил Владимир Исаевич.

- Всю жизнь на одном месте, - сказал Сергей Васильевич.

- Потрясающе! - воскликнул Владимир Исаевич и встал из-за черного полированного стола. Он сложил руки на груди и заходил туда-сюда по кабинету. - Самое интересное, - сказал он, - что вам уже пятый месяц не платят зарплату.

Сергей Васильевич пораженно уставился на директора.

- Откуда вы знаете? - спросил он.

- Работает там у меня приятель, - сказал Владимир Исаевич.

- В каком цеху?

- Он заместитель директора.

Перед мысленным взором Сергея Васильевича проплыла толстая физиономия зама в "тойоте".

- Хотите, чтобы вам регулярно платили зарплату? - спросил Владимир Исаевич.

- Еще бы! - воскликнул Сергей Васильевич. - У меня как-никак семья все же. Дочь вот замуж надумала выходить.

Сергей Васильевич сказал это, подумав, что Владимир Исаевич, может, надавит на зама и Сергею Васильевичу будут платить. Но Владимир Исаевич его ошаршил:

- Переходите ко мне работать!

Легкая испарина выступила на лбу Сергея Васильевича.

Он спросил:

- Зачем?

- Как "зачем"? Будете для начала получать по миллиону рублей в месяц!

Сергей Васильевич вдруг закашлялся, слезы брызнули из глаз и кольнуло где-то в районе сердца.

Владимир Исаевич вытащил из холодильника банку пива, открыл и протянул Сергею Васильевичу. Тот жадно выпил всю банку.

- Но я же слесарь! - растерянно воскликнул Сергей Васильевич, ударяя себя в грудь кулаком.

- А вы мне не как слесарь нужны.

- У меня образования нету. Я пять классов кончил!

- Мне нужно не образование...

- Что же вам нужно?!

- Вы.

- Я?!

- Да, - твердо сказал Владимир Исаевич.

- Вы просто смеетесь надо мной, - сказал ничего не понимающий Сергей Васильевич.

- Я очень хорошо разбираюсь в людях, и если бы я смеялся, у меня не было бы этой фирмы, - мягко возразил Владимир Исаевич.

- А чем вы занимаетесь? - спросил на всякий случай Сергей Васильевич, опять покрываясь испариной.

- Оптовой торговлей импортной одеждой.

При слове "торговля" Сергей Васильевич вздрогнул. Ненавидел он всеми фибрами души торгашей. Но при воспоминании о слове "миллион" сдержал себя и спросил:

- Тем более, зачем я вам нужен неграмотный?!

- За тем, чтобы вы были верны моей фирме, как родному заводу! - отчеканил этот странный Владимир Исаевич.

- И что же мне, предположим, нужно будет делать у вас? - спросил Сергей Васильевич, напрочь сбитый с толку.

- Быть моим заместителем, - еще раз ошарашил его загадочный Владимир Исаевич. - Так сказать, замполитом! Воспитывать молодежь!

ЗАМЕЧАНИЯ

И дрожь, и страх, и волнение, и гордость за себя, и радость одновременно овладели Сергеем Васильевичем.

- Подумайте и завтра же позвоните мне, - сказал Владимир Исаевич, протягивая визитку Сергею Васильевичу.

Совершенно обескураженный Сергей Васильевич вышел на улицу. Он ничего не понял, совершенно ничего. Он шел и перебирал в уме разговор с Владимиром Исаевичем. Вдруг увидел аптеку. Зашел, протянул в окошко рецепт. Купил лекарства. Дошел до дому пешком, положил лекарства на кухонном столе. Закрылся в своей комнате. Включил телевизор. Лег на диван. Стал думать. Волновался, вскакивал, ходил по комнате, вновь ложился. Наконец, как-то удобно почувствовав себя на боку, задремал.

Ему приснилось, что Ученый привел почтальона. А почтальон дает Сергею Васильевичу миллион и говорит, что это, теперича, его генеральская пенсия за то, что он без малого пятьдесят лет оставался верен одному и тому же заводу.

Проснулся Сергей Васильевич в поту. Сел на диване и стал опять думать. Потом решил, что необходимо с кем-то посоветоваться. Стал перебирать в уме людей, с кем можно было посоветоваться, но никого подходящего не нашел. Потом решил, что ни с кем советовать не нужно. Просто тихо самому все решить, и basta!

С этим он вышел на кухню и в тишине нажарил себе оладьев, которые с ходу съел, запивая чаем.

Его то распирала радость, то охватывал ужасающий страх. Он посмотрел какой-то художественный фильм, но ничего не понял. И лишь перед тем, как окончательно уйти в ночной сон, решил все-таки рискнуть. Бросить к черту этот проклятый завод и пойти в фирму. Пусть эта фирма и сгорит, как, слышал, горели разные фирмы - он ничего, в принципе, не потеряет. Плюнет на все и умрет в деревню навсегда...

Утром, едва Сергей Васильевич проснулся, им овладело нетерпение позвонить Владимиру Исаевичу.

- Опять вылез... - привычно начала Лиза, варя свою кашу. Но Сергей Васильевич не стал заводиться:

- С добрым утром, милый город, сердце родины моей! - весело пропел он.

- Что, совсем сдурил? - удивленно обернулась к нему дочь.

Сергей Васильевич с улыбкой налил кипятку в кружку и пошел к себе бриться. Глядя в зеркальце, он думал о том, что замдирек-

тора завода, оказывается, ценит его. Он, наверное, и шепнул Владимиру Исаевичу о нем.

На кухне появилась жена.

- Ну что выполз, подождать не мог? Не дает на работу уйти...

- Ты что, с цепи сорвалась? - удивился Сергей Васильевич.

- Помолчи! - крикнула ему Лиза, снимая с плиты свой ковшик.

- Готовь, мамочка, я уйду...

Жена достала кастрюлю из холодильника и плюхнула ее на плиту.

Сергей Васильевич от греха подальше ретировался в свою комнату. Брился он весело, что-то насвистывая: радость распирала его. Ему так и хотелось сразить и жену, и Лизу известием о грядущей небывалой перемене в его жизни, но, подумав, он поклялся не говорить им об этом. Пусть все идет так, как идет, сами потом узнают!..

Увидев мастера Сашку, однако, не сдержался - отозвал его в сторону, за высокий вертикально-фрезерный станок, сказал:

- Вот такие вот дела, Сашок... Предложили мне в одной фирме работу. Миллион в месяц.

У Сашки до небывалых размеров расширились глаза, он спросил:

- В какой такой фирме?

- В торговой.

- Посадят! - резюмировал Сашка.

- Я и сам боюсь, - сказал Сергей Васильевич, оглядываясь по сторонам, как бы кто не подслушал.

Помолчали.

- Кем хоть предложили? - спросил Сашка.

- Заместителем директора!

- Так, - проглотил комок в горле Сашка и, подумав, сказал: - Подсадным берут! Это точно. Нашли дурака и берут подсадным!

- Каким "подсадным"?

- Таким, дурак! В один прекрасный день придешь на работу, а они не придут, сбегут! Вместо них придет милиция, повяжет тебя и все воровство на тебя спишет!

У Сергея Васильевича перед глазами побежали зеленые круги.

- Там же одно ворье кругом, да еще с наганами ходят, - сказал Сашка. - Убивают сразу, как не по-ихнему. Звери!

- Да вроде бы на вид ничего, - засомневался Сергей Васильевич.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Брось ты, Серега! Не нашего ума это дело. Прикроют их скоро всех. Разве мыслимо столько времени издеваться над народом! Над рабочим классом издеваться. Ты же слесарь, дурья твоя голова! А его заместителем директора! Попкой тебя хотят взять...

Тут почему-то вспомнился Сергею Васильевичу друг юности Толя Соловьев. Вместе жили на Сухаревке, за кинотеатром "Уран", в Большом Сухаревском переулке. Вместе бегали на танцы, в кино, пили пиво и вино, духарились. Но Сергей Васильевич пошел на завод, а Толя занялся гешефтом, устроил подпольный швейный цех. Как он уговаривал Сергея Васильевича в компаньоны к нему пойти! Тот же чертов страх помешал. И что же? У Толи сейчас пятикомнатная квартира на Бронной, автомобиль "джип", особняк на Успенском шоссе, жена в мехах, сын в МИДе работает. Вот так вот! Встретил недавно его, с трудом узнал. Перекинулись двумя-тремя словами - и разошлись. А ведь мог бы он и послушать Толю. Правильным хотел быть, поверил партии и правительству, все ждал чего-то от завода. Дождался!..

Сашка отвлек от размышлений, сказал:

- Конечно, рыск - благородное дело, но я тебе не советую!

- Подумаю, - только и сказал Сергей Васильевич. Но тут же побежал в химлабораторию звонить.

- Я согласен! - твердо сказал Сергей Васильевич, окончательно решив, вопреки советам Сашки, пойти на сей раз против течения.

- Подъезжайте прямо сейчас, - сказал Владимир Исаевич.

- У меня же смена!

- Ваша смена кончилась, - сказал Владимир Исаевич. - Идите в отдел кадров, а потом - ко мне.

В раздевалке, стоя босиком на резиновом коврикe, Сергей Васильевич долго думал, забирать ли замочек от шкафа с собой или бросить его тут. Привык к замочку. Положил его на скамейку и все смотрел на него и думал, пока одевался. Потом, одевшись, машинально сунул его в карман пиджака, решив, что в деревне пригодится.

Трудовую книжку отдали без звука, на прощанье сказали, что в любой момент возьмут обратно, на что Сергей Васильевич иронично бросил:

- Теперь уж Бог возьмет!

До проходной пришлось идти пешком, потому что в это время автобусы не ходили. Солнце припекало. Сергей Васильевич щу-

рился, погаядывая на него. В трамвае было не очень много народу, чему Сергей Васильевич даже удивился.

Опять его встретил молодой человек в малиновом пиджаке, Коля, но на сей раз он называл Сергея Васильевича по имени-отчеству и обращался к нему исключительно на "вы".

Владимир Исаевич усадил Сергея Васильевича на стул, сам же стал прохаживаться по кабинету и объяснять:

- Я понимаю, что вы, дорогой Сергей Васильевич, удивлены. Я и сам удивлен, что вы приняли правильное решение. Эту фирму я открыл всего несколько месяцев назад. А когда-то я работал в ЦСУ, знаете такое большое здание из стекла на Кировской?

- Знаю, - сказал Сергей Васильевич, потому что центр Москвы знал прекрасно, хотя в последнее время бывал там редко.

- Так вот, я работал в ЦСУ и надо мной все мои друзья, которые давно ушли в бизнес, смеялись. В свое время я защитил кандидатскую, работал у Эйдельмана. Экономист он был великолепный. Я понимал, что нужно начинать новую жизнь, но все боялся чего-то. И вот в один прекрасный день мой приятель, а ваш зам, сказал мне, что за совершенно символическую плату он мне найдет подходящее помещение... Оставалось только решиться. И я решился. Приятель помог с регистрацией и со всеми формальностями. Так вот и началось. А теперь вот уже и эта фирма. Новый масштаб, нужны и новые люди. Я сразу же, естественно, задумался об этом. Кто будет со мной работать? Конечно, нужна молодежь, чтобы бегала, ездила, привозила, грузила и так далее. Но нужен и костяк, верно ведь?..

Владимир Исаевич замолчал и, остановившись перед Сергеем Васильевичем, посмотрел на него.

- Верно, - решил согласиться Сергей Васильевич, хотя и не очень понимал, к чему клонит Владимир Исаевич.

Тот опять начал ходить по кабинету, продолжая:

- Когда-то я служил в армии. На чем держалось наше подразделение? На товарище старшине. Это был молчаливый, строгий, но справедливый человек. Хозяин в казарме. От выдачи портянок - до вечера самодеятельности. И отец, и мать, и нянька! И вот я решил, что у меня в фирме обязательно должен быть такой же старшина, такой же человек. И тут такое замечательное совпадение. Приносит Коля дверные ручки. Это я его отрядил на рынок, потому что знал, что там можно купить необычный товар. И приносит он ваши ручки! Я переговорил с вашим замом директора. Оказы-

ЗАМЕЧАНИЯ

вається, он вас хорошо знает. Характеризовал с самой лучшей стороны... Так что, Сергей Васильевич, вы для всех будете заместителем моим, а для меня - старшиной!

- Я в армии не служил, - смущенно сказал Сергей Васильевич.
- У меня была броня...

- Я знаю, что с вашего завода не брали. Зачем вас было брать, вы и так всегда на режиме были! Вот и мне хочется, чтобы наша фирма работала так же четко, как прежде работал ваш завод.

- Это хорошо, - сказал Сергей Васильевич. - Я люблю дисциплину. А то современная молодежь распоясалась очень.

- У нас этого не должно быть. У нас будут солидные клиенты. Они должны знать, что у нас дело поставлено строго. И вы должны прививать это сознание всем сотрудникам. Знаете, так это между прочим ходить по залу, по кабинетам, посматривать строго, делать замечания. В этом, может быть, даже основное - делать замечания. Ну, например, Коля вам "тыкал". Это я знаю. А вы ему сделайте замечание: "Николай, ко всем людям, пока вы с ними по обоюдному согласию не перешли на "ты", вы должны обращаться на "вы"! Понятно?

- Понятно, - сказал Сергей Васильевич. - Но не будет ли меня за эти замечания посылать куда подальше?

- Это должно быть исключено.

- А как тут исключишь?

- Докладывайте мне.

- Ладно, я доложу, а мне морду после работы на улице набьют. Иль убьют. Говорят же, что все новые ходят теперь с наганами и сразу же убивают...

- Какие страсти! - усмехнулся Владимир Исаевич. - Этак из дому выходить не нужно. Кирпич на голову упадет...

- Да это я так, - сказал Сергей Васильевич, вспоминая слова мастера Сашки. - К слову пришлось.

Владимир Исаевич внимательно посмотрел на Сергея Васильевича и вдруг сказал:

- Сделайте мне немедленно какое-нибудь замечание!

- Так сразу? - удивился Сергей Васильевич.

- Сразу.

Сергей Васильевич подобрался, распрямил спину и некоторое время молчаливо следил за ходящим туда-сюда по кабинету Владимиром Исаевичем. Затем вдруг прикрикнул, как дома на Лизку:

- А ну, сядьте на место!

Владимир Исаевич одобрительно кивнул головой, подошел к своему столу, сел и, как ученик на парте, сложил перед собой руки.

- Очень хорошо! - похвалил он и добавил: - Только вы не в крик уходите, а в металл. Например: "Сергей Васильевич, как вы сидите?!"

В голосе Владимира Исаевича был этот самый металл - с невозмутимым спокойствием.

- Повторите замечание, - сказал он.

- Владимир Исаевич, сядьте на место! - монотонно-металлически проговорил Сергей Васильевич, чем доставил удовольствие шефу.

- Вот этот тон и закрепите, - сказал он. - Спокойный, твердый, уверенный. А то, понимаете, Сергей Васильевич, крик раздражает того, кому вы делаете замечание. Крик проистекает от слабости. Когда люди хотят сразу что-то изменить, а не получается, они и начинают кричать. И не задумываются над тем, что криком лишь выдают свое бессилие, свою слабость. Вот, например, вы хлопчете о чем-то перед чиновником, а он не обращает на вас внимание. Вы постепенно раздражаетесь и начинаете кричать. И это - провал! Конфликт. А ведь конфликт этот лишь от непонимания формы общения. Содержание в данном случае не имеет никакого значения. Форма общения правит миром! - воскликнул Владимир Исаевич, вышел из-за стола и опять стал расхаживать по кабинету.

- Владимир Исаевич, сядьте, пожалуйста, на место! - таким твердо-металлическим голосом сделал замечание Сергей Васильевич, что сам себе поразился.

Владимир Исаевич с некоторым удивлением посмотрел на Сергея Васильевича, но послушно вернулся на место и продолжал:

- Можно ворваться к человеку с криком, застучать кулаками по столу, а можно вежливо войти, извиниться, твердым голосом изложить свое дело, намекнуть на благодарность, поставить в конце концов бутылку. Уверен, к вам будет совершенно другое отношение.

- Намекнуть на взятку? - спросил Сергей Васильевич.

- Ну вот, вы сразу переводите беседу в конфликтное русло. А беседу никогда не нужно переводить в конфликтное русло. Какая взятка? Вы по-дружески приглашаете человека провести вечер, например, в кафе. Что тут такого? Нащупываете общие интересы. То есть ведете беседу как бы не по существу.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Понимаю. Начинаю, к примеру, рассказывать о грибах. Я очень люблю собирать грибы, - сказал Сергей Васильевич, поражаясь простоте ума Владимира Исаевича.

- Именно, - воскликнул Владимир Исаевич. - О грибах, о футболе, о театре, о литературе, о собаках, о кошках, о загробной жизни...

- А что можно о загробной жизни сказать? - спросил серьезно Сергей Васильевич.

Владимир Исаевич посмотрел на Сергея Васильевича с некоторым осуждением.

- Вы можете ничего не говорить о загробной жизни, - сказал Владимир Исаевич. - Но силой своего спокойствия, уверенности в себе наведите собеседника, например, и на эту тему. Пусть он говорит! Он должен у вас заговорить! Понимаете? Вас совершенно не должно интересовать содержание разговора, вас должна интересовать только форма этого разговора! И - результат. Вы же пришли не по вопросу о загробной жизни, а совершенно по другому вопросу! Например, пришел я за лицензией. Сидит в кабинете расфуфыренная столоначальница. Я приоткрыл дверь, увидел ее и тут же - на улицу, за цветами. Выждал свою очередь, захожу, сияю улыбкой, и ей сразу тридцать два комплимента и обещание одеть ее с ног до головы в импортную одежду по отпускным ценам!

- А это какие "отпускные"? Тем, кто в отпуск, что ли, идет? - спросил Сергей Васильевич.

- Отпускные цены - это такие цены, которые я сам назначаю, - монотонно-металлически проговорил Владимир Исаевич и вдруг тем же тоном, внимательно приглядываясь к Сергею Васильевичу, сказал: - Встаньте, пожалуйста.

Сергей Васильевич встал, а Владимир Исаевич, выйдя из-за стола, придирчиво осмотрел одежду Сергея Васильевича.

- Надо заменить, - сказал Владимир Исаевич, нажал на кнопку селектора и вызвал Николая.

Малиновый пиджак тут же появился и, как показалось Сергею Васильевичу, с некоторой развязностью плюхнулся на стул.

- Простите, Николай, как вас по отчеству? - дикторским тоном спросил Сергей Васильевич.

- Борисович, - сказал Николай.

Владимир Исаевич с довольной улыбкой следил за Сергеем Васильевичем.

- Николай Борисович, без приглашения у нас не принято садиться! - очень уверенно и спокойно сказал Сергей Васильевич.

Новоиспеченный Николай Борисович с недоумением посмотрел на Владимира Исаевича.

Владимир Исаевич сказал:

- Да, мой друг, так отныне будет.

- Встаньте, пожалуйста, Николай Борисович, - сказал очень сдержанно Сергей Васильевич.

Тот еще раз взглянул на Владимира Исаевича, который развел руки в стороны, говоря этим жестом, что нужно подчиняться.

Николай Борисович встал, опустив руки по швам.

- Хорошо, Николай Борисович! - похвалил Сергей Васильевич.

- Теперь можете садиться.

- Я постою, - сказал сбитый с толку Николай Борисович.

- Садитесь, пожалуйста! - металлическим голосом проговорил Сергей Васильевич, так что Николай Борисович тут же сел.

- Владимир Исаевич, я вас перебил? - спросил Сергей Васильевич. - Извините, продолжайте.

Владимир Исаевич, на которого способности Сергея Васильевича произвели, кажется, большое впечатление, сказал:

- Николай... Борисович, - добавил он к "Николаю", - подберите Сергею Васильевичу костюм, обувь, ну и галстук с рубашкой.

Сергей Васильевич оторопело поджал губы, но ничего не сказал.

- Пожалуйте за мной! - воскликнул Николай Борисович.

Через десять минут Сергей Васильевич был облачен в английский сталисто-серый костюм, обут в "Саламандру". И только теперь, вернувшись в кабинет шефа, Сергей Васильевич обратил внимание на одежду Владимира Исаевича. На нем был такой же английский костюм, такая же французская сорочка, такой же галстук.

- Ну-у, Сергей Васильевич! - радостно сказал Владимир Исаевич. - Не знаю, что и сказать. Не менее как на посла Великобритании в России тянете!..

- Спасибо! - поблагодарил Сергей Васильевич. - Только я не понял, как мне расплачиваться?

- Не волнуйтесь, дорогой, - сказал Владимир Исаевич. - Это за счет фирмы. Дисциплина начинается с внешнего облика человека!

ЗАМЕЧАНИЯ

- Это вы правильно! - подхватил Сергей Васильевич, привыкая к своему перевоплощению. - Мужчина должен быть в костюме, с галстуком. Я на завод всегда в галстук ходил! Конечно, поистрепалась одежда, - сказал он, печально взглянув на сверток со старой одеждой. - Но где было взять новую?

- Я понимаю, - сказал Владимир Исаевич и добавил:

- Зайдите в бухгалтерию к Людмиле Михайловне, получите подъемные.

- Так сразу?

- Да, идите!

- Слушаюсь!

- Вторая дверь налево, - сказал Владимир Исаевич.

- Спасибо.

Вторая дверь налево была из матового стекла. За столом сидела полная симпатичная женщина в белой кофточке.

- Здравствуйте! - сказал сдержанно Сергей Васильевич, останавливаясь в дверях и оглядывая кабинет.

- Добрый день!

- Позвольте поинтересоваться режимом вашей работы?

- С девяти до девяти. Распишитесь.

- "Распишитесь" - хорошее слово! - сказал холодно, но твердо Сергей Васильевич и взял протянутый ему расходный ордер. Взглянул на него и его чуть кондрашка не хватил от цифры "4.350.000" и слов прописью: "Четыре миллиона триста пятьдесят тысяч рублей". Но силой воли Сергей Васильевич заставил себя сдержаться - он уже понял, что на этой работе нужно будет всегда себя сдерживать. Пока выпрямлялся, потому что расписывался стоя, склонясь к столу, решил, что ему следует сделать главбуху какое-нибудь замечание. И сделал:

- В следующий раз, Людмила Михайловна, вы должны предложить мне есть.

- Ой, извините, Сергей Васильевич! Растерялась.

- На первый раз извиняю, - равнодушно-строго сказал Сергей Васильевич, принимая пачки денег. - Всего доброго! - добавил он, покидая Людмилу Михайловну.

Рассовав деньги по карманам, вошел, постучав, к Владимиру Исаевичу, остановился на пороге, спросил:

- Разрешите?

- Входите.

Сергей Васильевич подошел к столу.

- Дорогой Владимир Исаевич, я не понял, за что мне такую сумму выписали? - чуть дрогнувшим от линования голосом спросил Сергей Васильевич, стоя у стола.

- Садитесь.

- Спасибо! - сказал Сергей Васильевич, присаживаясь на стул.

- Это, как я сказал, подъемные, учитывая, что вы пять месяцев ходили без зарплаты.

- Понятно, от души благодарю! Всеми силами буду оправдывать... Хотел спросить о режиме работы...

- Режим с девяти до девяти, - сказал Владимир Исаевич. - Но вы, Сергей Васильевич, должны приходиться первым и уходить последним.

- Слушаюсь.

Владимир Исаевич достал из ящика стола какие-то ключи, протянул их Сергею Васильевичу, сказал:

- Это от вашего кабинета. Вы там устраивайтесь, как вам будет удобнее. Первая дверь направо.

На этой великолепной филанчатой двери, как и на двери Владимира Исаевича, тоже сияла золотом ручка-русалка собственного его, Сергея Васильевича, производства. На столе стоял селектор, два телефона, возле которых лежала толстая телефонная книга "Вся Москва". Сергей Васильевич, совершенно обалдевший, сел за стол в вертящееся кресло.

В селекторе раздался голос Владимира Исаевича:

- Ну как, Сергей Васильевич?

- Отлично!

- Привыкайте!..

До девяти часов вечера Сергей Васильевич привыкал. Развернул письменный стол так, чтобы свет из окна падал слева. Изучил, как работать с селектором. Несколько раз пользовался телефонами, набирая номер точного времени. Ходил обедать вместе с Владимиром Исаевичем в прекрасную столовую НИИ, где особенно понравилась творожная запеканка и взбитые сливки. Молчаливо присутствовал на переговорах Владимира Исаевича с японцами. Одному японцу через переводчика сделал замечание, что он роняет пепел на брюки. Владимир Исаевич даже подмигнул удовлетворенно Сергею Васильевичу. С Николаем Борисовичем прове-

рял опись прибывшего из Америки товара. Два раза побывал в прекрасном туалете, мыл руки туалетным мылом и сушил под автомагической сушилкой. Сделал замечание одному сотруднику, чтобы тот резко не нажимал на рычаг в спусковом бачке. Большую часть времени строго ходил по залу между витринами, сцелив руки на спине, покашливал, делал отдельные замечания своим сотрудникам и представителям других фирм, которые подбирали себе товар.

Ушел он с работы около десяти часов вечера вместе с Владимиром Исаевичем, который показал, как ставить помещение на охрану. Владимир Исаевич передал ключи от главной двери Сергею Васильевичу, сказав, что такие ключи еще только у него самого.

В руках у Сергея Васильевича был сверток со старой одеждой. К подъезду подъехала старенькая черная "Волга". Владимир Исаевич предложил подвезти до дому Сергея Васильевича. Почему-то Сергей Васильевич думал, что Владимир Исаевич ездит на иностранке.

Выйдя у дома и проводив взглядом машину, Сергей Васильевич сообразил, что в новой одежде ему показываться дома никак нельзя. Начнутся расспросы.

Темнело. Вечер был теплый. Во дворе Сергей Васильевич огляделся. Никого не было. Зашел в соседний подъезд, в котором решил переодеться в старое, но тут же понял, что от свертка ему все равно не избавиться и передумал переодеваться. Пошел домой в чем был.

Перед тем, как вставить ключ в скважину, приложил ухо к двери, прислушался. Едва слышен был работающий телевизор из комнаты жены. Тихо отпер дверь, вошел. Столь же тихо открыл свою комнату и сразу же закрылся. Быстро переоделся. Одежду - и новую, и старую - убрал в свой шкаф, предварительно выложив пачки денег на диван.

Включил для шумовой завесы телевизор и под его рокот принялся рассматривать, щупать, считать купюры, принюхиваться к ним и даже некоторые целовать. Пахли деньги изумительно, все были новенькие, хрустящие, видно совсем недавно отпечатанные. Как бы спохватившись, Сергей Васильевич сам себе прошептал замечание:

- Прекратите дурью маяться!

Потом понял, что употребил слова, которые могут привести к конфликту. Заменял про себя “дурью маяться” на “заниматься не тем, чем нужно”.

Он услышал, как хлопнула входная дверь. Видимо, пришла Лиза. Сергей Васильевич, подумав, взял две десятитысячные бумажки, а остальное быстро спрятал в ящик шкафа. Вышел на кухню. На сковородке были еще теплые котлеты, в кастрюле - отварная картошка. Сергей Васильевич поставил чайник и стал разогревать еду. На кухне появилась Лизка.

- Что не спишь, тут крутишься? - недовольно спросила она.

- Добрый вечер, дочь, дорогая Лиза! - очень внятно и твердо проговорил Сергей Васильевич.

Лизка удивленно уставилась на него.

- Что ты, как этот?.. - не нашлась она.

Но Сергей Васильевич держал себя так, как на новой работе. Он сказал:

- Слова “что ты, как этот” ведут к конфликту.

Дочь от непонимания открыла рот. Потом сказала:

- У тебя что, не все дома?

Сергей Васильевич некоторое время постоял в задумчивости.

- Да. Можешь считать, если хочешь, что у меня не все дома. Я не хочу с тобой конфликтовать. Я хочу ровного общения, - сказал он металлическим голосом, извлек из кармана домашних брюк деньги и, протягивая их дочери, добавил: - Возьми эти деньги. Мне сегодня дали. Теперь ты должна говорить со мной так же спокойно, как я сейчас говорю с тобой.

Лиза, ничего не понимая, взяла двадцать тысяч и медленно оглядываясь, покинула кухню. Через минуту она вернулась с матерью.

- Сережа, что тут происходит? - в страхе спросила жена, вглядываясь в Сергея Васильевича.

- Здесь происходит рождение нового человека, - почти что механическим голосом проговорил Сергей Васильевич. - Я не хочу больше слышать собачью речь, не хочу скандалов. Я хочу общаться со своей семьей на нормальном языке. Понимаете?

- Понимаю, - сказала жена, ничего не понимая.

Сергей Васильевич подумал, что ему, пожалуй, следует сделать присутствующим какое-нибудь замечание. Взглянув на грязный халат жены, он сказал:

ЗАМЕЧАНИЯ

- Зоя, постирай, пожалуйста, свой халат, прежде чем выходить в нем в места общего пользования!

Потом перевел взгляд со смущенного лица жены на дочь и сделал замечание ей:

- Прежде, чем бежать к маме и жаловаться, нужно до конца понять мою позицию!

- Ладно, чего ты завелся? - огрызнулась Лизка.

- Дорогая моя дочь, я же сказал тебе, чтобы ты не употребляла слов, которые приводят к конфликту!

Лиза поклонилась, кривляясь:

- Хорошо, дорогой папочка! Я больше не буду употреблять слов, которые тебе не нравятся!

- Господи помилуй! - вздохнула жена, уходя с кухни. - Каждый день новости!

Когда она ушла, Лиза спросила:

- Ты это серьезно?

- Да. Я очень серьезно пересмотрел форму общения.

- Финиш! - крикнула Лиза и разразилась искусственным хохотом.

Но Сергей Васильевич не смутился, не поддался на провокацию. Он сказал:

- Это будет видно, где финиш, а где старт. Я говорю очень серьезно. И ты должна понять меня. Ты выходишь замуж. У тебя будут дети. Неужели ты хочешь, чтобы твои дети говорили с тобой так же, как ты говоришь со мной? Неужели ты согласишься, чтобы они говорили тебе: "Ну, что ты, как эта"? А?

Лиза, пораженная, даже покраснела, а Сергей Васильевич продолжил:

- Я понимаю, что мы живем врозь, но давайте при встречах соблюдать элементарное приличие.

Он положил в тарелку котлету, три картофелины и пошел к себе ужинать. Смотрел телевизор и не спеша ел. Глаза уже начинали слипаться, но он взбадривал себя хождением по комнате, решив лечь спать попозже, потому что вставать теперь нужно было не в шесть, а в семь тридцать.

Подумав, он достал из тайника тридцать тысяч, вышел в коридор и постучал в комнату жены. Она уже легла, но еще не заснула. Увидев его, она даже испугалась:

- Чего тебе?

- Зоя, вот тебе немного, - сказал он, протягивая жене деньги.

- Спасибо! - обрадовалась жена и, облегченно вздохнув, добавила: - Если хочешь, полежи со мной...

Сергей Васильевич глубоко вздохнул, но прилег без звука.

Только в середине ночи, проснувшись, чтобы сходить в туалет, он перешел к себе. Под утро приснился Ученый - сидит с ним за столом под яблоней и говорит, что, мол, через полгода на такую генеральскую пенсию можно и машину покупать. От возбуждения Сергей Васильевич даже проснулся. На час раньше проснулся - как будто ему на завод нужно было идти. Минут десять полежал, но понял, что не заснет. И пошел ставить чайник на кухню.

В кухонное окно светило солнце, и лучи его бликовали на пустых молочных бутылках, стоявших на широком подоконнике. Монотонно жужжала муха, билась о внешнее стекло. Сергей Васильевич шире распахнул форточку и газетой, сложенной вчетверо, выгнал муху на волю.

- Ты не опоздаешь? - испуганно спросила жена, заглядывая в кухню.

- Здравствуй, - для начала сказал Сергей Васильевич. И пояснил: - Я договорился приходить на час позже.

- Это хорошо, - сказала жена, входя и широко зевая.

- А рот нужно прикрывать ладонью! - сделал замечание Сергей Васильевич.

- Ты чего это?

- Надоело жить в бардаке, - мирно объяснил Сергей Васильевич. - Хочу повысить дисциплину на работе и дома.

Жена настороженно посмотрела на него и спросила:

- Тебе зарплату дали?

- Дали, - коротко ответил Сергей Васильевич.

- Старое время еще вернется, - мечтательно проговорила жена, затем воскликнула: - Лизка - слышал? - помогла каким-то спекулянтам продать книги. Ну, все сразу. И, говорит, хорошо заплатили!..

Сергей Васильевич вздрогнул и от "старого времени", которое вроде теперь было ему ни к чему, и от "заплатили". Оказывается, не только ему повезло, оказывается, может повезти и дочери.

Жена включила радио, которое стояло на холодильнике. Передавали вариации на темы русских народных песен. Сергей Васильевич послушал немного и пошел бриться. Потом ел овсянку

ЗАМЕЧАНИЯ

вместе с женой на кухне. Лиза вышла мыть ковшик, сказала, что в загс им с Иваном идти в следующую среду.

Сергею Васильевичу нужно было уже уходить, а жена все крутилась на кухне, из которой коридор у входной двери хорошо просматривался. Стало быть, жена увидит Сергея Васильевича в новой одежде. Сергей Васильевич помучился переживаниями на этот счет, когда стоял одетым в своей комнате у двери, прислушиваясь. Жена гремела кастрюлями.

Подумав, Сергей Васильевич махнул рукой на возможные вопросы и вышел в коридор. В этот момент Лиза, которая тоже собиралась уходить, открывала входной замок. Увидев англо-французского отца, оторопела.

- Ну, ты даешь, папочка! - воскликнула она громко. - Прямо, как этот!

- Как кто? - вырвалось у Сергея Васильевича.

- Как джентльмен! - сказала Лиза.

Тут же в коридор выскочила жена.

- Ай, ай! - запричитала она удивленно и закачала головой. - Справил костюм?!

Она подошла к мужу и стала ощупывать ткань костюма.

- Хороша, хороша материя! По какому такому случаю?

Сергей Васильевич быстро сориентировался:

- По случаю свадьбы дочери.

- Сколько ж ты получил? - допытывалась жена.

- Мне за пять месяцев насчитали, да еще премию дали, - сказал Сергей Васильевич.

- Ты б лучше мне что-нибудь купил! - надулась Лизка.

- Куплю, - мягко сказал Сергей Васильевич.

- И мне-э!.. - кокетливо протянула жена, изображая обиженную девочку.

- Куплю и тебе, - великодушно согласился Сергей Васильевич.

По лестнице спускались вместе с Лизой.

- А ты ничего! - сказала она с чувством.

На улице разошлись в разные стороны. Лиза пошла на троллейбус, Сергей Васильевич - на трамвай. Трамвай был набит битном. Сергея Васильевича толкнули в него задние пассажиры. Было душно, и от соседнего мужчины несло перегаром.

Как ни замедлял движение на работу Сергей Васильевич, но явился на полчаса раньше. Сам открыл входную дверь фирмы, снял помещение с охраны. Затем принялся влажной шваброй протирать пол. Пришла уборщица, пристыдила начальника шутливо, что он отбивает у нее хлеб.

Минут через пятнадцать пожаловал бодрый Владимир Исаевич.

- Добрый день, Сергей Васильевич! - приветствовал он.

- Здравствуйте, Владимир Исаевич! Вытирайте нога, пожалуйте! ста!

Владимир Исаевич пошмыгал ногами по губчатому коврику, лежавшему при входе, протянул руку Сергею Васильевичу:

- Зайдите ко мне на минутку, Сергей Васильевич.

- Слушаюсь!

В кабинете Владимир Исаевич сказал:

- Вы не могли бы мне помочь?

- Конечно!

- Дело в том, что через час ко мне домой придет машина из трансагентства с мебелью. Собственно, там мебели-то всего два кресла и диван. Но мне некого пригласить помочь.

Сергей Васильевич очень удивился этому "некого". В фирме работало человек десять молодых плечистых ребят, а ему некого пригласить? Владимир Исаевич как бы прочитал эти мысли и сказал:

- Я не хочу, чтобы кто-то видел, как я живу. Перед мысленным взором Сергея Васильевича предстала квартира минимум с пятью комнатами, с роялем, гарнитурами, коврами и картинами. Конечно, кому захочется в наше время показывать богатство? В тот момент Сергей Васильевич вспомнил почему-то деревню, свой дом. Дом был построен из красного кирпича дедом еще до революции, семь на десять метров, в один этаж. Земли было пятнадцать соток, но городить огород на задах можно было до леса. Конечно, и у Сергея Васильевича были в деревне проблемы: на часть дома претендовала сестра Маруся, которая тоже жила в Москве. Правда, в последнее время она редко выбиралась в деревню, потому что дети выросли, а ее мужа, военного, парализовало.

В машине черт дернул Сергея Васильевича спросить об отпуске, - мол, планировал пожить до осени в деревне.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Я понимаю, Сергей Васильевич, но мы работаем без выходных и без отпусков, - довольно строго сказал Владимир Исаевич - сказал даже с некоторой обидой в голосе. И добавил: - Нужно набирать обороты. А дальше - посмотрим!

- Это правильно, - извиняющимся тоном тотчас согласился Сергей Васильевич.

За окном машины Сергей Васильевич узнал здание метро "Измайловский парк". Затем проехали вдоль линии железной дороги и свернули к блочной пятиэтажке шестидесятых годов. У второго подъезда дома уже стоял фургон с мебелью.

Сначала понесли кресло.

- А грузчиков не дают? - спросил Сергей Васильевич, крихтя.

- Я отказался, - сказал Владимир Исаевич. - Обдирают они.

Сергей Васильевич удивился скупости Владимира Исаевича, но промолчал. Остановились на втором этаже перед мрачной дверью, крашеной коричневой краской. В тесной прихожей на уродливой этажерке стоял старый черный телефон. Кресло пронесли через небольшую комнату, где за круглым столом сидела и шила на машинке пожилая женщина - как выяснилось, мать Владимира Исаевича. Внесли в маленькую, узкую комнату, в которой кроме раскладушки ничего не было.

- Вы здесь живете?! - вырвалось из груди Сергея Васильевича разочарование увиденным.

- Да, Сергей Васильевич, - сказал Владимир Исаевич, улыбаясь.

- Как видите, ничего пока не нажил. Я вообще мало думаю о быте. Но сейчас решил жениться...

- А раньше вы не были женаты?

- Нет. Хотя подруг было много. Домой возвращался поздно, чтобы переночевать. Я какой-то не домашний человек. Вся жизнь проходила на работе. После работы с друзьями то в ресторан, то в театр с подружкой. А раньше я в оркестре на кларнете играл.

- На кларнете? - поразился Сергей Васильевич.

- Да, на танцах.

- Бывало и я по молодости на танцы бегал, - сказал Сергей Васильевич.

Когда перенесли кресло и диван и отпустили фургон, немного посидели. Сергей Васильевич в некой гордости за себя, за то, что выхлопотал себе такую прекрасную квартиру, сказал:

- А я, грешным делом, думал, что вы живете в огромной квартире! Поэтому и не хотите никого приглашать.

- Правильно, не хочу никого приглашать, но не поэтому, - сказал задумчиво Владимир Исаевич. - Зачем людям знать, что глава фирмы спит на раскладушке? У них другой образ "нового русского", а я смеюсь над всеми этими богатеями в коттеджах...

- Интересно! Никак не ожидал! - воскликнул Сергей Васильевич. - А как с матерью, ладите? - помолчав, спросил он.

- Она у меня немного не в себе, - печально сказал Владимир Исаевич.

Уходя, Сергей Васильевич взглянул на мать Владимира Исаевича, крутящую ручку швейной машинки, и только теперь заметил, что никакой ткани в машинку заправлено не было, вхолостую строчила машинка! Дрожь легкого испуга пробежала по спине Сергея Васильевича, и он поспешно вышел из квартиры, вспомнив мастера Сашку и подумав, что не так-то прост и понятен этот новый мир.

- Вы могли бы себе квартиру купить, - сказал Сергей Васильевич на обратном пути.

- А вы знаете, сколько она стоит? Впрочем, когда-нибудь, конечно, куплю. Я ведь и сейчас, прекратив наши операции, мог бы купить и квартиру, и новую машину, иномарку, и дом в Коктебеле, и даже яхту... Но я не такой человек. Материальная сторона жизни меня мало привлекает.

Помолчали.

- Что же вас привлекает? - решил, наконец, спросить Сергей Васильевич.

-оборот! И не только финансов. Меня привлекает загадочная оборачиваемость всего, что меня окружает. И главным образом оборачиваемость человеческих жизней. В юности жизнь казалась мне бесконечной, а теперь дни мелькают за днями. Все проходит, все уходит, и все пройдет. Задумайтесь над тем, что наше солнце погаснет. Значит, погаснет все. И стало быть, все наши жизни, все дела людей, самые важные дела, условны. Однажды я остановился на улице и понял, что я умру. И я стал думать об оборачиваемости. Только это и может как-то скрасить жизнь. Нужно крутить свою машинку, это главное. Все остальное приложится.оборотные средства крутятся, как колесо автомобиля, а грязь, которая отскакивает с этого колеса, и есть наш доход.

- А если на чистом шоссе нет грязи, то, значит, и дохода не будет? - спросил, вдумываясь в мысли Владимира Исаевича, Сергей Васильевич.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Это я образно сказал, дорогой Сергей Васильевич! Если есть вращение, оборачиваемость, то доход неизбежен. Но сначала не нужно думать о доходе. Нужно вращать, нужно вращать колесо, вращать, вращать, наращивать обороты. Нужно стремиться к созданию вечного двигателя. Потому что весь смысл жизни - в стремлении!

- Я понимаю, - сказал Сергей Васильевич. - Но тогда зачем мне столько подъемных дали, целую кучу?..

- Разве это куча! - воскликнул Владимир Исаевич. - Мы выйдем с вами на триллионы!

- Да-а! - вздохнул задумчиво Сергей Васильевич.

Во время их отсутствия пришел из Германии "мерседес", грузовой, с длинным тентованным кузовом, привез мужские меховые куртки. Сергей Васильевич наблюдал за разгрузкой, сделал замечание, когда несколько коробок сбросили из кузова на асфальт, чтобы коробки аккуратно брали на руки.

- А чего с ними будет, не стекло! - крикнул один из сотрудников.

- С ними ничего не будет, - согласился Сергей Васильевич. И добавил строго: - Будет с культурой нашей работы!

Тут же подъехал супер-МАЗ из Воронежа за товаром. Часть коробок с куртками перегрузили с борта на борт.

Сергей Васильевич неизменно присутствовал при каждой такой операции, с интересом наблюдал за работой, а то и помогал. Но не забывал делать замечания.

Когда не было погрузки-разгрузки, он с важным видом ходил по залу, где представители разных фирм осматривали для последующего оптового приобретения образцы товаров. Изредка заходил к себе в кабинет посидеть в кресле.

Во время обеда в столовой НИИ Владимир Исаевич сказал:

- С завтрашнего дня ни одна бумага без вашей подписи мною подписываться не будет. Соответствующий приказ я подготовил. Я думаю, вам несложно будет отслеживать номенклатуру и количество вместе с товароведами.

- Конечно, - не очень уверенно сказал Сергей Васильевич, начиная более серьезно относиться к словам мастера Сашки.

- Это не дублирование, - разъяснил Владимир Исаевич. - Это необходимая процедура введения вас в курс дела.

- Грамотки у меня маловато, - напомнил Сергей Васильевич.

Владимир Исаевич улыбнулся и сказал:

- Считать деньги и выбирать товар умеет каждый!
- С этим согласен! - бодро подтвердил Сергей Васильевич и в свою очередь улыбнулся.

На следующий день Сергей Васильевич принимал посетителей и подписывал им бумаги, предварительно сверяясь с копиями договоров, которые передал ему Владимир Исаевич, и проверяя по селектору с Людмилой Михайловной, главбухом, хотя ее подпись на бумагах стояла, поступила ли предоплата. Потому что копии платежей - даже с отметкой банка - Сергей Васильевич, по совету Владимира Исаевича, во внимание не брал. Главным аргументом для него была проводка в собственном банке, когда деньги совершенно точно были зачислены на счет фирмы.

На следующий день для упрощения работы он попросил Людмилу Михайловну постоянно давать ему копии банковских выписок. Людмила Михайловна на всякий случай проверила у Владимира Исаевича - давать ли выписки Сергею Васильевичу? Владимир Исаевич ответил положительно. Но, сказал он, кроме валютных.

Из первой же выписки Сергей Васильевич узнал, что на счету фирмы более семи миллиардов рублей. Сергей Васильевич завороженно смотрел несколько минут на узкую полоску бумаги, сопел и покашливал.

Перед тем, как подписать документ посетителю, Сергей Васильевич говорил:

- Добрый день! Садитесь, пожалуйста.

Посетитель присаживался, хотя садиться ему было незачем. Однако ни один посетитель замечания на этот счет Сергею Васильевичу не сделал, поскольку вид Сергея Васильевича внушал посетителям некий трепет. Была в Сергее Васильевиче помимо строгости какая-то внешняя загадочность.

Вечером в буфете НИИ Сергей Васильевич купил три банки шпрот, триста грамм пошехонского сыра и семьсот грамм докторской колбасы.

В среду, после обеда, Сергей Васильевич отпросился у Владимира Исаевича на свадьбу. Зашел в универмаг на Семеновской. Купил в подарок набор глубоких и мелких тарелок. Сначала хотел

ЗАМЕЧАНИЯ

что-то из одежды в фирме взять, но это был бы в денежном отношении перебор, а тарелки обошлись в тридцать одну тысячу. Зато всю жизнь будут помнить Сергея Васильевича, будут есть и вспоминать о том, кто подарил.

Жена еще с утра поехала к Ивану, готовить. Сергей Васильевич сел в метро, доехал до “Площади Революции”, там сделал пересадку, вышел на “Динамо” и на автобусе доехал до улицы 8-го марта.

Иван жил в белой башне на одиннадцатом этаже. В большой комнате уже был накрыт стол, ждали гостей. Сергей Васильевич поздоровался с Иваном, вручил дочери подарок.

- Спасибо, папочка! - вежливо поблагодарила она и положила, не разворачивая, подарок на стул в угол.

- Что ты им купил? - спросила шепотом жена.

- Набор хороших тарелок, - шепнул Сергей Васильевич и принялся расхаживать по просторной из-за отсутствия мебели квартире.

Иван как-то загадочно подмигнул и пригласил Сергея Васильевича в маленькую комнату. Когда дверь закрылась, Иван шепнул:

- У них было! - И достал из-под раскладушки бутылку водки.

Сергей Васильевич сразу повеселел и сказал торжественно:

- Слава Богу, вы сегодня не за рулем!

- Махнем поскорее, Сергей Васильевич, чтобы никто не заметил!

- Махнем! - согласился Сергей Васильевич, потирая руки.

Иван достал граненый стакан из-под той же раскладушки, налил сначала Сергею Васильевичу, тот мигом выпил, потом себе. Зажевали кусочком хлеба, предусмотрительно оказавшимся в кармане Ивана.

Из маленькой комнаты тут же перешли в среднюю, сели на стулья. Иван закурил “Беломор”.

- Вы разве курите? - удивился Сергей Васильевич.

- Когда выпью, - сказал Иван и спросил: - Ну как там ваш завод?

- Гудит завод, гудит! - с улыбкой ответил Сергей Васильевич.

Иван был все в том же джинсовом костюме, правда, с галстуком. Бросалась в глаза его явно излишняя веселость, но Сергей Васильевич объяснял ее грандиозностью события.

После некоторого молчания Сергей Васильевич спросил:

- Как вас величать по отчеству?
- Да зовите просто Иваном!..
- Нет. Я хочу называть вас по отчеству! - очень твердо, понимая, что тот наигрывает, возразил Сергей Васильевич.

- Ефимович, - сказал Иван.
- Хорошо. Спасибо. Иван Ефимович, вот вы растолкуйте все-таки мне насчет народа, чтобы между нами никогда не возникало недоразумений, - сказал Сергей Васильевич. - Я вас так понял, что я, значит, народ, а вы, выходит, не народ?

- Да нет, Сергей Васильевич, и вы народ, и я народ, дело не в этом. Но меня, знаете, поражает то, что люди в большинстве своем никак не хотят быть культурными. Понимаете, не стремятся к совершенствованию. То есть остаются просто народом! Понимаете, на-ро-дом! - повторил по слогам Иван Ефимович. - И это меня злит!

Сергей Васильевич держал себя в узде. Подумав, он сказал:
- Злиться не нужно. Это первое. А второе - не нужно произносить таких слов, которые ведут к конфликту. Это же так просто. Сначала надо думать, в уме подбирать слова, такие слова, которые бы не обижали вашего собеседника. Неважно, что вы хотите сказать, содержание не должно интересовать вас. Вас должна интересовать форма.

Иван Ефимович с неподдельным интересом уставился на Сергея Васильевича.

- Вы... так просто изложили закон искусства? Не может быть!
- Вы знаете, Иван Ефимович, однажды остановился я на улице и понял, что умру. Солнце наше погаснет, все погибнет, все исчезнет. Поэтому я понял, что содержание условно. Остается одна форма!

- Гениально, Сергей Васильевич! Нам надо повторить!
- Иван Ефимович, не торопите события, дождемся гостей!

Иван Ефимович встал, подошел к окну и некоторое время смотрел на улицу.

- Вы любите жизнь, Сергей Васильевич? - спросил он.
- Люблю, но не понимаю ее. Мне шестьдесят пять лет. И что же? Я не чувствую возраста. Как будто мне двадцать. В зеркало смотрю и не замечаю своих лет. Не понимаю.

Послышался дверной звонок. В комнату заглянула Лиза.

- Ну, что вы тут спрятались, как эти?..

Сергей Васильевич хотел сделать ей замечание, но промолчал. И вдруг ощутил себя раздвоенным. На работе он был одним, дома другим. И он подумал, что, пожалуй, всю жизнь он был каким-то раздвоенным. Про себя думал одно, вслух говорил другое и всю жизнь боялся чего-то. А чего, собственно, боялся? Выйти из колеи, свернуть с накатанной дорожки, опасаясь, чтобы не было хуже?..

Иван Ефимович пошел встречать гостей. Сергей Васильевич подошел к окну. С одиннадцатого этажа хорошо был виден стадион, осветительные вышки, часть трибун, табло. Он стоял и думал о своей жизни, которая, казалось, промелькнула одним рабочим днем на заводе. Он даже не заметил, как выросла Лиза. Когда она успела из красного комочка, каким он ее увидел в родильном доме, превратиться во взрослого человека?

От выпитого и от этих воспоминаний у Сергея Васильевича возникло в душе какое-то умиленно-тоскливое чувство. Ему вдруг стало жалко Лизу, жалко и себя, и жену, и даже Ивана Ефимовича. Он пожалел всех людей, зачем-то появляющихся на свет. Слезы выступили у него на глазах, но тут же сменились улыбкой радости - ведь он сумел сделать первый шаг навстречу совсем другой жизни! Он вспомнил умного Владимира Исаевича, вспомнил свои четыре миллиона в заглашнике и просиял. Как будто жизнь его только начиналась, а вся прежняя была лишь подготовкой к этой новой жизни. Он и не предполагал, что она будет такой интересной.

Сергей Васильевич вышел в прихожую. Лиза всем гостям говорила:

- Это мой папа!

Сергей Васильевич добавлял, здороваясь:

- Сергей Васильевич!

Сели за стол, поздравляли молодоженов, кричали: "Горько!". Жена Сергея Васильевича бегала из кухни в комнату и обратно, но не выпивала, и от этого тоже на сердце у Сергея Васильевича было покойно и легко. Он молчаливо выпивал и плотно закусывал, налегая на мясной салат со свежими огурцами и зеленым горошком.

- Сергей Васильевич, скажите тост! - обратился вдруг к нему Иван Ефимович - раскрасневшийся, веселый.

Сергей Васильевич вздрогнул было от неожиданности и растерялся, но вспомнил Владимира Исаевича, налил себе рюмку, поднался, кашлянул и сказал:

- Наша жизнь очень похожа на вращающееся колесо. Вот едет машина по грязной дороге. Колесо вращается. С него летит грязь. Это то, что нам достается от жизни. Это наш, так сказать, доход. Я это говорю образно. Машина может ехать по гладкому шоссе. Дорога уходит назад. Так уходит наша жизнь. Но колесо должно вращаться. При этом вращении мы должны обдумывать свои слова. Мы не должны говорить те слова, которые ведут к конфликту. Колесо должно вращаться, хорошие слова - производиться, доход должен быть постоянным. Содержание исчезает. Форма остается!

Сергей Васильевич поднес рюмку к губам и залпом выпил. Все оживленно загудели, раздались хлопки в ладоши. Так ли уж связан он сказал, он не знал, но то, что хотел сказать, сказал.

- Форма и есть содержание! - крикнул Иван Ефимович.

- Горько! - перебили его.

Лиза в белом платье, красивая, молодая, и Иван Ефимович опять встали, повернулись лицом друг к другу и поцеловались. И тут Сергей Васильевич против воли схватил вилку и нож, ударил по тарелке, проговорил: "Раз, два... восемь!" и запел:

Будет людям счастье,
Счастье на века!
У советской власти
Сила велика!

За столом раздался дружный хохот, и несколько гостей так же дружно подхватили:

Сегодня мы не на параде,
Мы к коммунизму на пути!
В коммунистической бригаде
С нами Ленин впереди!

Мало кто из гостей Ивана предполагал, видно, что отец невесты такой хохмач! До самого Сергея Васильевича только сейчас это дошло. И он тоже расхохотался до слез вместе со всеми, повторяя:

- Надо же! Ленин в коммунистической бригаде! Надо же! Мы к коммунизму на пути, оказывается, были! А пришли в тупик! Надо

ЗАМЕЧАНИЯ

же! Вот тебе и счастье людям на века! Надо же!.. Ой, не могу! Сил нет смеяться!..

- Пап, ну ты прям, как этот!.. - пыталась урезонить его Лиза.

Но Сергей Васильевич продолжал хохотать. И все хохотали. А Иван Ефимович уж и сам визгливо затыгивал:

Будет людям счастье...

Наконец, кое-как успокоились, слышались лишь отдельные всхлипы. Жена принесла блюдо с жареными куриными ногами. Сергей Васильевич прицелился вилкой и наколол самую жирную. Лиза тоже подцепила покрупнее и положила в полную салатом тарелку Ивана Ефимовича.

- Ваня, ты совсем не закусываешь! - сказала она.

- Я ем, - бодро возразил захмелевший Иван Ефимович, и на всякий случай пару раз ткнул вилкой в тарелку.

Сергей Васильевич сначала ел курицу руками, но заметив, что сосед, киношный приятель Ивана Ефимовича, ест ту же курицу при помощи ножа и вилки, последовал его примеру, предварительно вытерев пальцы бумажной салфеткой.

Вдруг Иван Ефимович вскочил, уронив на пол вилку, и закричал:

- Бездарности! Кругом нас одни бездарности! Чернь дорвалась до власти и управляет мыслящим меньшинством! Черные воды черной крови льются от берегов Нила, прародины европейской культуры, смывают эту культуру народившимся на-родом! На-род! Что это такое? Что? Я вас спрашиваю? Кто запустил эту рулетку жизни? Кто создал гниющего осла, которого мистифицируют создатели фильма жизни? На сей раз речь идет не о сновидениях. Мертвые разложившиеся ослы из "Андалузского пса" Бунюэля говорят мне о гниющей народной крови! Бездарности!

- Иван, не митингуй! - попытался одернуть его сосед Сергей Васильевича.

Однако Сергей Васильевич шепнул соседу:

- Зачем вы его прерываете? Каждый волен говорить то, что ему хочется сказать.

- Да я знаю Ивана, - ответил сосед.

Между тем Иван Ефимович продолжал витийствовать:

- Мир бездарностей, киша в навозной жиже, затягивает гениев в свой навоз! Но из на-ро-да возникает на-род! Вот что я провозглашаю, бездарности! Новое слово - роднад! Это мы, белая кость человечества, роднад! Вычеркиваю из словаря слово "народ", вписываю - роднад!..

Лиза дернула Ивана Ефимовича за рукав, усадила его, сказав:
- Ты мне обещал!

Иван Ефимович мутным взором обвел стол и затих. Наступило неловкое молчание. Сергей Васильевич стал смутно догадываться о причине странных свойств Ивана Ефимовича. Тот сидел, навалившись на стол, и тяжелым взглядом смотрел прямо перед собой. Затем взял бутылку и налил себе.

- Ваня, тебе хватит, - сказала Лиза. Сергей Васильевич тоже считал, что хватит, но рука как-то сама потянулась к Ивану Ефимовичу с полной рюмкой. Они чокнулись и выпили. Лиза сунула в рот Ивану Ефимовичу огурчик. Вяло пожевав, Иван Ефимович выплюнул остаток огурца в тарелку и вдруг заревел какую-то ему одному известную песню:

Сосновый бор тащил бродягу
Во внеполярную звезду,
Пьянел художник Верещагин,
Сшибая встречных на ходу.
За ним ползком шагал Саврасов,
В стакане моря исхудав,
И утонул в тарелке кваса
Разбойник Мусоргский, поддав.
Я с ними был в стране уродов,
В навозной русской стороне,
Чернеют трупы на подводах
И дети плавают в вине.
Тоска проела русский обруч,
Распалась бочка страшных снов,
А я, как падла, все же корчусь,
Не находя в аду основ...

В этом месте он зарыдал, уронив голову на стол.

- Надо уложить его, - сказал сосед Сергею Васильевичу.

Но Сергей Васильевич как бы не реагировал, молча смотрел в тарелку и о чем-то напряженно думал.

Потом принялся машинально освобождать свою тарелку от еды. Через пять минут, когда Ивана Ефимовича отнесли на раскладушку, Сергей Васильевич незаметно покинул квартиру. Ему очень хотелось, по старой привычке, еще и выпить, и закусить, но он сказал себе: “Хватит”. Пешком направился к метро. В аллее Петровского парка посидел на скамейке, думая о загадочности жизни, о странных свойствах людей, о несчастном Иване Ефимовиче и о глупой дочери Лизе. Конечно, не ему было решать их судьбу, но ведь от чувства сострадания никуда человеку не деться. С других людей он постепенно перешел на себя, мысленным взором окинул всю свою жизнь. И увидел себя стоящим в трусах на резиновом коврикe перед шкафчиком в раздевалке...

Чтобы отвлечься от этих тягостных мыслей, он резко встал и направился к метро мимо ограды стадиона. По пути купил мороженое, эскимо, и с удовольствием съел его. Шел девятый час вечера, но на улице было очень светло. Вспомнив, что завтра ему опять идти в фирму, он повеселел. Но тут почему-то полезли в голову мысли о смерти, сменившиеся мыслями о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть, как бы начать жизнь сначала. Но только чтобы не на завод ходить, а в новую фирму, общаться с культурными, умными, добрыми людьми. Однако Сергей Васильевич понимал, что такого быть не может. Тогда он стал думать о том, почему его жизнь основной своей частью легла на коммунистическую историю страны. Значит, был в этом какой-то свой резон, свой замысел? Собственная судьба представилась Сергею Васильевичу в виде длинной и широкой линейки, белой с черными делениями, рассчитанной почему-то до ста лет. Так и было написано на линейке: “Судьба длиною в сто лет”. Линейка стояла вертикально, как у геодезистов, когда они ловят уровень. Красная полоса, как в уличном термометре, поднялась до отметки “65”. Сергей Васильевич понял, что лучше не думать об этом.

Придя домой, он переоделся в домашнее, включил телевизор, прилег на диван и задремал.

Ему опять снилась деревня. Идет он с Владимиром Исаевичем по шоссе, и подходят они к его кирпичному дому. В палисаднике

цветут высокие золотые шары. Крыша из оцинкованного железа поблескивает на солнце.

- Великолепная у вас усадьба, Сергей Васильевич! - говорит Владимир Исаевич.

- Это потому, - говорит Сергей Васильевич, - что дед стремился к созданию вечного двигателя. Дед крутил свое колесо. А с колеса летела к нему в амбар, который сгорел до войны, пшеница.

- Хороший был у вас дед, - говорит Владимир Исаевич. - Создал вечный двигатель! Вы ему, наверное, замечания делали?

- Нет, не делал, - отвечает Сергей Васильевич. - Я не застал дед. Ему делал замечания мой прадед.

- Вы из самой гущи народа? - спрашивает Владимир Исаевич.

- Да. Из самой навозной жижи. Прежде чем я, чумазый, выбился на настоящую дорогу, много нашего брата легло костыми!

- Это потому, - объясняет ему Владимир Исаевич, - что вы меня долго найти не могли, а я вас. Пока мы были врозь, нами смело правили. А теперь, когда мы соединились, нам и правители не нужны. Постепенно все, кто шли в коммунистической бригаде рядом с Лениным, уйдут, исчезнут. Они не могут себе представить, что мы сами себе начальники и сами себе указ. Но для этого целое поколение коммунистов должно лечь костыми. Пройдут годы. Наступит другая жизнь. Новая жизнь!

У дома их встречает Ученый с почтальонской сумкой на плече.

- Вам с Марса прислали письмо, - говорит Ученый. - Там вам определили дома для загробной жизни.

- Разве загробная жизнь будет на Марсе? - спрашивает Сергей Васильевич, удивляясь.

- Да. На Марсе, - отвечает Ученый. - Для всех, кто работал на войну, работал на военных заводах, загробная жизнь определена на Марсе. Потому что Марс - это бог войны!

Сергей Васильевич хочет что-то спросить у Владимира Исаевича, но тут он слышит какой-то звонок и просыпается. Оказывается, жена забыла ключи.

Открыв ей дверь, Сергей Васильевич с удивлением увидел, что она трезва.

- Ну и набрался жених! - сказала она, качая головой.

- Разошлись все? - спросил Сергей Васильевич.

- Да, ребята хорошие. Помогли все перемыть. Потом разошлись. Ивана-то рвало незнамо как! Потом ничего, умыли его, заснул.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Это ты свой портрет видела, - сказал замечание Сергей Васильевич.

- Ладно уж тебе! Каждый по-своему в жизни мается!

- Можно выпить, повеселиться. Я всю жизнь пью, а дураком не делаюсь. Надо норму свою знать, - наставительно заметил Сергей Васильевич.

- У одного норма - лужа, а у другого - море!

- Похмеляться нечего, - поставил точку Сергей Васильевич.

Жена пошла к себе. Сергей Васильевич - к себе. Завел будильник. Выключил телевизор. Лег. Только задремал, как опять разбудила жена:

- Пойдем ко мне...

- Чего ты?

- Требуешься! - засмеялась жена.

Сергей Васильевич зевнул, не спеша поднялся и направился в комнату жены, вспоминая Ученого и планету Марс.

Среди ночи проснулся, захотелось в туалет. Поднялся. Затем выпил холодного чая на кухне. Вернулся в свою комнату и проспал крепко до звонка будильника. Снов больше не привиделось.

Когда Сергей Васильевич вышел на кухню, жена заканчивала приготовление завтрака. Она пожарила корейку, прихваченную со свадьбы, и сварила кофе. На кухне горел свет; за окном было пасмурно, шел дождь. Сергей Васильевич налил в кружку кипяток и пошел бриться. Изредка он смотрел в окно на остов церкви, думая о том, что нужно бы что-нибудь почитать о религии.

Хотя выпил вчера на свадьбе Сергей Васильевич умеренно, но аппетита все равно не было. Через силу он съел пару кусочков корейки без хлеба, запивая горячим кофе с молоком.

- В деревню-то собираешься? - спросила жена.

- Не получается, - ответил Сергей Васильевич, глядя в окно.

- Чего так?

- Рабата пошла. Надо денег подзаработать, - сказал Сергей Васильевич и посмотрел на закопченный потолок. - Ремонт в квартире не мешало бы сделать.

- Ремонт нужен, - вздохнула жена. - Но он в такую копеечку влетит! Одни обои чего стоят!

- Вот потому и работаю, - вслед за женой вздохнул Сергей Васильевич.

Помолчали.

- Скучно без Лизки, - сказала жена.

Сергей Васильевич молча встал и пошел собираться на работу. Он переживал за Лизу и думал о том, что Иван Ефимович, наверное, уже похмеляется.

Время до обеда Сергей Васильевич провел с товароведом в подвале - просторном, светлом, с длинными стеллажами, на которых хранился товар. Кондиционеры поддерживали постоянную температуру. Глядя на все это богатство, Сергей Васильевич поражался, как мог Владимир Исаевич за несколько месяцев так раскрутить колесо. Несомненно, в этом была какая-то загадка. Сергей Васильевич аккуратно заносил в заведенный им блокнот цифры, сверял с накладными, делал замечания товароведам, чтобы более тщательно пересчитывали товар.

Товароведы, главным образом бывшие сотрудники ЦСУ и этого НИИ, интеллигентные люди, поглядывали на Сергея Васильевича приветливо и с любопытством, расценивая его появление в фирме как прихоть Владимира Исаевича или подозревая в этом какой-то дальний тайный замысел. Но никто никого прямо ни о чем не спрашивал. Вообще здесь было не принято задавать лишние вопросы! Все держались чуть-чуть неестественно в обходительности, в вежливости, в некоем пережиме этих качеств, боясь, видимо, не угодить Владимиру Исаевичу и потерять место.

Николай Борисович сменил малиновый пиджак на черный, догадавшись, что в малиновых пиджаках разгуливает лишь всякая шантрапа из палаток и "мерседесов".

- Вам к лицу черный цвет, - похвалил его Сергей Васильевич, когда они, закончив дела в подвале, поднялись наверх и остановились у кабинета Сергея Васильевича.

Прежде Николай Борисович работал в ЦСУ, в отделе межотраслевого баланса, под началом Владимира Исаевича. Получал гроши, но был исполнительным, трудолюбивым, за что и ценил его Владимир Исаевич.

- А ведь это с моей легкой руки, можно сказать, изменилась кардинальным образом ваша жизнь, Сергей Васильевич, - сказал вдруг вполголоса Николай Борисович.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Да, - так же вполголоса согласился Сергей Васильевич. - Но всему есть причины. До этой перемены, до встречи с вами мне нужно было отработать на заводе почти пятьдесят лет!..

- Две моих жизни! Трудно себе вообразить...

- Что ж тут воображать? Так сложилась моя жизнь.

- И вы не хотели ее изменить?

- Привык и не думал об этом.

- А для меня завод - это что-то страшное, чем пугала меня мама, когда я получал двойки в школе.

- Вы плохо учились?

- Из рук вон! Как-то наплевательски относился к школе, а потом и к институту. Не принимал всерьез ни то, ни другое. Все интересы мои лежали вне этих стен.

- Это молодость, - сказал Сергей Васильевич.

- Может быть. Все казалось каким-то ненастоящим. А настоящее где-то пряталось.

- Что же за интересы у вас были?

- Театральные. С десяти лет пропадал в студии, в подвале. Репетировал до безумия. Даже в кино меня сняли - сидел на крыше с горном. Фильм, правда, дрянной получился. Про пионерскую верность. Потом тайно от родителей поступал в школу-студию МХАТ, провалился. Сказали, что у меня голосок слабоват. Набрали курс луженых глоток. Бездарности с басовыми голосами. Впрочем, МХАТ всегда славился и славится такими бездарностями. Все фальшиво у них, нежизненно, театрально. Показывали тут как-то по телевизору Тарасову в роли Анны Карениной. Я просто плевался.

- Я в театре плохо разбираюсь, - сказал Сергей Васильевич. - Раз пять за всю жизнь и был там. Помню только Гриценко в театре Вахтангова. Очень хорошо играл.

- Гриценко великолепный артист был, - согласился Николай Борисович. - Но человек, говорят, неумный был. Хотя теперь я начал понимать, что ум не нужен артисту. Даже, можно сказать, противополоказан.

Помолчали. Сергей Васильевич собрался уже идти к себе в кабинет, но тут Николай Борисович передернул плечами и начал болтать расслабленными руками, как будто был на шарнирах.

- Не нужно так делать, - мягко сделал замечание Сергей Васильевич. - Вы же не уличная шпана.

- Это все от студии, - сказал Николай Борисович. - Был у нас педагог по сценическому движению, который все учил нас расслабляться. У меня это расслабление вошло в привычку.

- Но это выглядит как развязность, - сказал Сергей Васильевич.

- Развязность?

- Да. И она пугает. Особенно на рынке. Я думал, что вы из этих, из новых бандитов.

- Вот видите, как обманчива бывает внешность, - сказал, улыбаясь, Николай Борисович. - Каждый человек - потенциальный актер, только не догадывается об этом. Выбирает себе какую-нибудь роль и играет всю жизнь. Например, у нас, в России, очень популярна роль неудачника, клянущего судьбу.

- Это вы правильно заметили, - сказал в задумчивости Сергей Васильевич, вспоминая заводскую публику.

- А сейчас, быть может, самое лучшее время наступило. Если раньше трудно, почти что невозможно было переменить свою роль, то теперь это может сделать каждый.

- Кому повезет, - сказал Сергей Васильевич. - Вот мне повезло. А на заводе осталось столько народу!

- Это очень странно.

- Что?

- Что так много народу. Да и вы там были. А вы не задумывались над тем, что работая на военном заводе, вы совершали преступление против человечества?

Сергей Васильевич вздрогнул от этого вопроса. Чтобы он - да совершал преступление?

- Я так не думаю, - сдержав однако обиду, сказал Сергей Васильевич.

- А я - думаю. Преступно работать на войну. Конечно, я идеалист, но... Неужели каждому не понятно, что нужно просто не устраиваться на военный завод, не ходить в армию, не поступать в военные училища! Тогда и войны не будет!

- Так не бывает, - улыбнулся наивности Николая Борисовича Сергей Васильевич. - У человека, бывает, нет выбора. Ищут работу поближе к дому. Да чтобы побольше платили. А на военных заводах платили до недавнего времени очень хорошо. Свои дома отдыха, пионерские лагеря и почти что бесплатно. Всегда были продовольственные заказы. Был свой дом культуры. Квартиры бесплатно давали. Я, вон, выхлопотал себе прекрасную квартиру.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Это были приманки.

- Конечно! - воскликнул Сергей Васильевич. - А как же без приманок? Ребенок только родился, все тянет к себе, ручонками машет - мне, мне, мне!

- Но нужно же делать различия в приманках! А то и в мышеловку зятянут при помощи приманки! - возразил Николай Борисович.

- Да, могут зятянуть, - сказал Сергей Васильевич, вздыхая.

- И вас зятянули на военный завод?

- Да нет. Сначала я ничего не соображал. Потом верил тому, что нас американский империализм покорит...

- Так ведь и покорил! - воскликнул с усмешкой Николай Борисович. - Но по-другому покорил. По объединительной идее. Государства рано или поздно отомрут. На земле не будет деления людей на нации. Все будут жить в мире.

- Вы верите в это? - спросил, поражаясь, Сергей Васильевич.

- Верю! А вы?

- Я нет.

- Почему?

- Потому, что в человеке слишком много разной грязи, - сказал Сергей Васильевич и сам удивился своим словам, как будто вместо него говорил Иван Ефимович. - Что такое на-род? Это то, что народилось и слепо живет, не думая ни о чем. А нужно из народа превратиться в мыслящее существо, стать как бы над народом. Роднадом стать!

- Кем? - не понял Николай Борисович.

Сергей Васильевич спохватился, что пошел не в ту степь, махнул рукой и направился к себе в кабинет.

Домой он вернулся в десять часов вечера. Жена спросила:

- И где же ты пропадаешь?

- Работы много, - спокойно ответил Сергей Васильевич.

- Что-то ты скрываешь!

- Мне нечего скрывать. Работаю и все.

Жена обиженно развернулась и исчезла в своей комнате. Сергей Васильевич попил чаю с бутербродами, включил телевизор, прилег на диван и задремал. Ему приснился родной завод.

Приходит Сергей Васильевич на завод. А у памятника Клименту Ефремовичу сколотили трибуну. Директор завода приглашает Сергея Васильевича выступить. Все уже знают, что проводится заводской митинг. Площадь перед памятником полна народа.

Сергей Васильевич поднимается на трибуну, вскидывает руку, чтобы все успокоились. И когда наступает тишина, громко начинает речь:

- На-род! Вы понимаете, что вы называетесь на-ро-дом? А? Я вас спрашиваю? Нет! Вы не понимаете, что вы на-род! Если бы вы понимали, что вы на-род, вы бы сразу же почувствовали всю оскорбительность этого названия. На-род! Что это такое? А это то, что вас, как животных, нарожали, и вы живете, как животные. Отныне вы перестаете быть народом, потому что все без исключения начнете тянуться к культуре! Вы начнете узнавать вращающееся колено! Оно должно вращаться, вращаться, вращаться. С него летит грязь. Это ваш доход. Я говорю образно. Каждый должен стремиться к созданию вечного двигателя. Военный завод не вращается, хотя и на нем крутятся-вертятся разные станки и механизмы. Все вы совершаете преступление против человечности. Вся наша Россия состоит из военных заводов и каждый день совершает преступление! Потому что везде это страшное порождение половом жизни - на-род! Внимание! Сегодня я закрываю родной военный завод. Прекращаю существование на-рода на отдельно взятой территории! Каждый из вас будет продавать меховые куртки из Германии. Для этого вам выделит помещение заместитель директора, друг Владимира Исаевина. Теперь вы будете роднадом! Да здравствует роднад! Слава роднаду! Без руководства партии и правительства - вперед к победе роднада над народом! Ура, товарищи!

Над площадью гремит мощное ура заводчан. На площадь вносят на руках отреставрированную церковь. Мощное ура сопровождается колокольным звоном...

Это звонил будильник. Сергей Васильевич открыл глаза и некоторое время лежал в страхе, думая, что с такими мыслями он давно бы сидел за решеткой во времена чуткого руководства КПСС.

Сергей Васильевич тихо поднялся, как будто за ним кто-то подглядывал, полез в ящик шкафа, где были спрятаны деньги, пошарил рукой по его дну, под газетой, нащупал и вытащил свой партийный билет, который все еще, на всякий случай, хранил. Он был членом КПСС с 1948 года. Помнится, всего два года отработал на заводе и его приняли. И он был счастлив тогда, как будто ему вручили диплом о высшем образовании.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Выделился из на-рода, камрадом стал! - с некоторым презрением к самому себе прошептал Сергей Васильевич, разглядывая красную книжицу. Ему захотелось вдруг сжечь эту книжицу, но затем, вглядевшись в старую фотокарточку, вглядевшись в самого себя юного, с волосами, Сергей Васильевич чуть не прослезился и спрятал книжицу на прежнее место.

И когда он брился, поглядывая на остов церкви, тоже все думал о себе молодом, как будто и не он жил в то время, а кто-то другой. И этот другой торопил его забыть прошлое.

Целый день Сергей Васильевич был под впечатлением своего сна. Хотел поделиться мыслями на этот счет с Владимиром Исаевичем, но промолчал.

Вечером, придя домой, он не обнаружил в квартире жены. Дверь в ее комнату была закрыта, и в щели под дверью была темнота. Сергей Васильевич понял, что это она сделала назло. Он пожарил себе картошки, поужинал. Потом, сидя на кухне, стал думать, куда бы ему потратить деньги, которые с каждым днем медленно, но верно мельчали. Решил начать закупку всего необходимого для ремонта квартиры. Загоревшись этой идеей, принялся рассчитывать на бумажке, сколько потребуется обоев, краски, побелки. Да надо бы ванную облагородить, выложить стену плиткой. А в уборной не мешало бы сменить унитаз.

Щелкнул дверной замок. Вернулась жена.

- Где это ты пропадала? - спросил Сергей Васильевич.

- Работы много, - спокойно ответила жена.

- У-гу, - промычал Сергей Васильевич и ушел к себе.

При свете ночника он отсчитал себе денег на покупку ремонтных материалов. Подумав, добавил еще пятьсот тысяч. Он все еще не мог поверить, что у него могут быть такие деньги. Заснул Сергей Васильевич, как часто это бывало, под урчание телевизора, но и выключил его, как обычно, - ночью, когда бегал в туалет.

На следующий день, в обед, прокатился на машине Владимира Исаевича по хозяйственным магазинам, купил все, что намечал. Завез все домой. Шофер помогал занести покупки в квартиру.

- Отличная квартирка у вас! - похвалил шофер.

После обеда, когда Сергей Васильевич подписывал бумаги посетителям, вызвал Владимир Исаевич, сказал, что им вдвоем нужно съездить по делам.

В машина у Сергея Васильевича сорвалось с губ:

- Нашел тут в ящике свой партбилет. Смеялся.

- А чего смеяться? Все мы из той эпохи. Вы думаете, у меня нет такой книжицы? Есть. Иначе я бы не защитил кандидатскую, не был бы начальником отдела.

Сергей Васильевич как-то облегченно вздохнул и, посмотрев в окно, определил, что они подъезжают к гостиничному комплексу "Измайлово". Вышли у одного из корпусов. Возле палатки продавали жарящиеся тут же шашлыки.

- Давайте возьмем, - предложил Владимир Исаевич. - Здесь из хорошего мяса готовят.

- Давайте, - сразу согласился Сергей Васильевич, пропустивший обед из-за поездки по хозяйственным магазинам.

По просьбе Владимира Исаевича продавец сострогал с шампуров обжаренные кусочки шашлыка с луком и помидорами на бумажные тарелочки, которые вручил Сергею Васильевичу. Владимир Исаевич, не сообщая Сергею Васильевичу о цели приезда к гостиницам, расплатился и пригласил его, направляясь к подъезду ближайшего корпуса:

- Пойдемте!

Сергей Васильевич, не задавая вопросов, направился за ним, держа перед грудью тарелочки с ароматным шашлыком.

Светило солнце, день был жаркий, люди улыбались, женщины были одеты в яркие легкие платья.

В вестибюле Владимир Исаевич предъявил швейцару в лампах картонный пропуск, сказав, что Сергей Васильевич следует с ним. В просторном холле было многолюдно, шла бойкая торговля на многочисленных лотках, за прилавками, в палатках. В лифте поднялись на четырнадцатый этаж, прошли по мягкому ковру длинного коридора до окна в тупике, и Владимир Исаевич открыл собственным ключом дверь номера.

- Мой запасной аэродром! - шутливо сказал он, бросая свой черный дипломат в мягкое кресло.

Сергей Васильевич оглядел прекрасный трехкомнатный номер, с ванной и туалетом. В дальней комнате на полу стоял огромный сейф, возле него холодильник "ЗИЛ". Из него Владимир Исаевич

достал две банки немецкого пива. Стали пить пиво и есть шашлыки, расположившись за низким полированным журнальным столиком темного дерева.

- Это ваш номер? - спросил Сергей Васильевич, наслаждаясь отличным шашлыком.

- Да. Я здесь часто ночую. Да и вообще живу. Собственно с этого номера все и началось. Я не говорил вам, что до создания фирмы у меня был небольшой кооперативчик. Я еще работал в ЦСУ, а кооперативчик уже был. Кооперативчик из трех человек. Я его создал для Веры. Она скоро должна подойти.

- И чем занимался кооператив?

- Чем еще можно заниматься! Купи-продай!..

Сергей Васильевич с волнением подумал о том, что вот оно - начинается раскрытие загадок. Он был в напряжении, но старался не подавать виду. Он стал понимать, что за этим вторым дном есть наверняка еще и третье, и четвертое, и пятое.

- Почему вы мне так доверяете? - вырвалось вдруг у него.

Владимир Исаевич помедлил с ответом. Он встал, прошелся по комнате. Солнце светило сквозь прозрачную штору. Тень от фигуры Владимира Исаевича двигалась по стене.

- Потому что я уверен, что вы даже своей жене не сказали, что работаете у меня.

- Откуда вы узнали? - поразился Сергей Васильевич.

- Вы человек закрытого типа.

- Что это значит?

- А то, что вы никогда не рассказываете о своих внутренних переживаниях. Вы все носите в себе. И не только от напуганности временем. Еще и от русской традиции - таиться от подобных себе.

- Вы как будто читаете мою душу! - обескураженно сказал Сергей Васильевич.

- Я же говорил вам как-то, что я психолог.

- Но вы же экономист! - возразил Сергей Васильевич.

- Психолог - это не профессия, это - состояние души. То, что я чувствую своей душой, то присуще и вам. А я всю жизнь испытываю какие-то загадочные сопротивления в собственной душе. И вечно преодолеваю эти сопротивления. Так что же - рассказывать об этом другим? У меня и так не проходит чувство, что кто-то тайный все время наблюдает за мной. Я говорю себе, что никто не наблюдает, но это не помогает. Идет настоящая борьба внутри, пока

я не преодолею очередное сопротивление. Но тут же возникает другое сопротивление. И так - до бесконечности...

Сергей Васильевич молча слушал, отыскивая и в своей душе какое-нибудь сопротивление. И быстро нашел его. Он и был в этом номере, и как бы внутренне противился собственному присутствию здесь.

Владимир Исаевич достал из кармана связку ключей, подошел к сейфу и открыл толстую дверь.

- Смотрите! - сказал он.

Сергей Васильевич из кресла увидел высокие стопы денежных пачек, огромное количество денег. Даже холодный пот прошиб Сергея Васильевича от этого зрелища.

- Это неучтенка! - с чувством прошептал Владимир Исаевич.

- Какая "неучтенка"? - не понял Сергей Васильевич.

- То, что не отражено ни в каких документах. Этих денег как бы нет. Но они есть!

Страшная улыбка скользнула по лицу Владимира Исаевича.

Сергей Васильевич почувствовал, как у него задрожали ноги. В голове пронеслось: прав был мастер Сашка! Вот оно - воровство, вот этот страшный новый мир! Вот эти преступные деньги!..

- Не понимаю, - дрожащим голосом проговорил Сергей Васильевич.

- Ну что тут не понимать, Сергей Васильевич! - воскликнул Владимир Исаевич. - Это то, что при помощи некоторых бухгалтерских комбинаций я спрятал от налогообложения! Это же просто!

- Не знаю, - выдавил бледный Сергей Васильевич. - Зачем вы мне это все показываете?

- Потому, что это составная часть нашей работы. Собственно, без этой части и работы бы не было, - ответил мягко Владимир Исаевич, расстелил перед сейфом на полу газету и принялся выкладывать на нее пачки. Выложил пачек сорок - по десять тысяч, заметил Сергей Васильевич; получился увесистый сверток, который Владимир Исаевич засунул в предусмотрительно оказавшуюся в кармане его пиджака авоську.

В неподдельном страхе наблюдал Сергей Васильевич за действиями Владимира Исаевича.

- А это не воровство, Владимир Исаевич? - вырвалось у него.

Владимир Исаевич удивленно посмотрел на него, сказал:

- Это то, что я не отдал вашему заводу.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Почему заводу?

- А налоги, простите, куда идут? Они идут на содержание военных заводов, армии, бесчисленных чиновников, которые плодятся бесконтрольно. И я их должен содержать? Я должен всю эту прорву наглецов кормить?

- Но есть же закон, - неуверенно возразил Сергей Васильевич, вытирая холодный пот со лба.

- Какой закон? Эти типографским способом отпечатанные строчки, придуманные теми же чиновниками? Да если им не противостоят, они завтра напишут, что каждая фирма должна платить 200 процентов налогов!

- Там же умные люди, - все еще сопротивлялся Сергей Васильевич.

- Там нет людей в общепринятом смысле слова. Там есть никем не управляемое, саморазвивающееся, самоплодящееся чудовище под названием государство! Именно государство занимается воровством. Вы что думаете - ставки налогов научно обоснованы и способствуют бурному развитию экономики? Ничуть не бывало! Эти бездарные, не способные к самостоятельному труду типы сбиваются в государственной сфере. Они подсчитывают, сколько им нужно денег для безбедной жизни. И это и называется государственным бюджетом! Или на простом понятном языке - намеченная к изъятию у людей, которые сами зарабатывают, денежная масса. То есть запланированный грабеж, воровство, ими же узаконенное! Если их не остановить, они уничтожат все на свете. Потому всякое огосударствление и заканчивается войнами. Потому что государство уничтожает индивидуальность! А с индивидуальностью уничтожается и индивидуальная совесть. И возникает совесть коллективная, которая по определению бессовестна! Эта коллективная совесть государства хочет элементарно жрать, жить, процветать! И она не будет задумываться над теми тонкостями, о которых я говорил. Она никогда не признает себя паразитом, питающимся плодами чужого труда, чужой жизни! Потому что признать это может только личное, у которой есть личная совесть. А чтобы изъять нужные средства, государство прибегает к террору, к запугиванию, к насилию. Так поступали и большевики, так поступают и нынешние государственники. Потому что схема паразитирования - вечна! Как только появился человек, так и пошла борьба, грубо говоря, добра и зла. Добро булки печет, а зло отни-

мает. Зло, разумеется, изощряется, делается цивилизованным. Выходит какой-нибудь современный пузатый Держиморда в золотых очках на трибуну и говорит, что подписан указ о 28-процентном налоге на добавленную стоимость. Вот и все. Закон! И он принимается к исполнению налоговой инспекцией. А откуда возникла эта цифра? Оттуда же. Маршалы заявку дали, колхозники заявку дали... И пошло, поехало! Воруй под знаком закона! Все эти законы условны, и их пугаться нечего! - гневно воскликнул Владимир Исаевич.

- Но ведь посадят! - голосом мастера Сашки прошептал Сергей Васильевич.

- А вы, Сергей Васильевич, живя при коммунизме, не думали о том, что вас могут просто так посадить, без всякой причины?

- Думал, - честно сознался Сергей Васильевич. - Скажешь иногда что-нибудь, и страх охватывает...

- Вот! Вот оно! Но чтобы превратить человека в раба, не обязательно его запугивать. Достаточно просто подавить его совесть. Потому что совесть - основа души человека, она интуитивно ощущается нами как подсказчик добра. И вот подавляется эта личная совесть, подчиняется интересам государства, то есть становится коллективной совестью. И тут человек спокойно уклоняется от мучительного собственного нравственного выбора по совести, перекладывает его на коллектив. Вы работали на военном заводе, то есть работали, Сергей Васильевич, на войну. Но ваша личная совесть была чиста. Вы были как все! Этот процесс происходит стихийно. И этот процесс массовой коллективизации совести десятилетиями организовано внедрялся и контролировался могучими политическими силами. Возникла таким образом особая форма несвободы без тюремной решетки и лагерной проволоки. Потому что там, где появляется стадо человеческое, там тупость и слепота...

- На-род, - по слогам сказал Сергей Васильевич. - Он не хочет тянуться к культуре. Его нарожали и все. А нужно отказаться от этого оскорбительного названия - на-род!

Владимир Исаевич внимательно взгляделся в Сергея Васильевича.

- Я вижу, Сергей Васильевич, вы во многом разбираетесь, - сказал Владимир Исаевич. - Совершенно верно! Противостоять коллективной совести нужно всяческими методами. И главный метод

у меня, да и у всех, кто зарабатывает сам, не отдавать им того, что они наметили к грабежу! Раньше был террор, теперь - налоги. Это вполне современная форма несвободы. Цивилизованная! Ведь что говорит, улыбаясь с трибуны, какой-нибудь современный Держиморда? Он говорит - отдавайте деньги мне, чтобы я жрал и плодил себе подобных! Он ведь только прикрывается этими несчастными пенсионерами! Да я столько перечисляю в пенсионный фонд, что на эту сумму могу сам содержать пятьдесят человек! И коллективная совесть по-прежнему процветает, она только сменила коммунистические лозунги на демократические. "Подлинная демократия!" Скоро в каждом доме будет налоговый инспектор. Паразит, отнимающий последнее для вышестоящих паразитов. Нет, коммунисты не ушли, Сергей Васильевич, они только сменили вывеску. Это они продолжают сопротивляться сокращению армии, закрытию военных заводов, это они создают администрации, префектуры, мэрии, министерства, отделы, подотделы, полиции, милиции, юстиции... Потому что изнутри они никогда сокращаться не будут. Нужен внешний сокращатель. А этот внешний - мы. Правда, пока нас мало. Но в будущем нас станет больше, и мы разберемся с этим монстром государства...

- Я никогда не задумывался так глубоко, - вздохнул Сергей Васильевич, несколько успокаиваясь. - Но ведь на их стороне, на стороне этой коллективной совести сила, армия и милиция! Не справиться с ними...

- В лобовую атаку на них никто и не идет. Происходит внутреннее сопротивление почти всех мыслящих людей. Умные ребята не идут в армию. Производители платят в бюджет столько, сколько сами считают нужным платить. А для успокоения надзирателей по всей стране действует другая экономика - успокоительная. Официально ее нет, но о ней все знают и говорят. Не по существу, правда, говорят, а лишь для красного словца. Но почти каждый представитель коллективной совести, поскольку он лично бессовестен, давно нашел уже себе во второй экономике тайный источник финансирования.

- Взятки?

- Вы опять употребляете слова, которые ведут к конфликту! Не взятки, а источники финансирования. Вот сейчас эту авоську вы вынесете из гостиницы, а там с нею пойдет Вера и отнесет ее, кому нужно, чтобы наша фирма работала еще успешнее. Понятно?

- Понятно, - взволнованно сказал Сергей Васильевич, страшась порученной ему к вынесению авоськи.

- Я вижу, вы взволнованы?

- Да, пожалуй, так.

- Не волнуйтесь. Знайте, что вы стали участником сопротивления коллективной совести! Так было всегда, во все века и при всех народах. Сопротивление - это необходимое условие любой деятельности. Самостоятельной деятельности...

Сергей Васильевич молчал и думал о том, как логично и точно обрисовал картину Владимир Исаевич. И еще о том, главное, что у Сергея Васильевича не нашлось ни одного аргумента против. Он сам прекрасно понимал, что бронзовые ручки с завода были тоже сопротивлением, и...

Но тут щелкнул входной замок. Вошла молодая женщина. Это и была, как сразу понял Сергей Васильевич, Вера. Она открыла дверь своим ключом. Вера была в джинсах, подчеркивавших плавную округлость ее бедер, и в черной водолазке. Каштановые волосы были собраны в большой пучок, сколотый золотистой ширококрылой бабочкой-заколкой.

- А-а! Вы шашлык ели! - воскликнула она со смехом. - А мне?..

- Извини, Вера, не подумал, - сказал Владимир Исаевич, представляя ей Сергея Васильевича.

- Здравствуйте, Вера, - сказал Сергей Васильевич, поднимаясь из мягкого кресла.

- Бабки готовы? - спросила Вера буднично.

- Да, сударыня.

- Тогда двинули! - сказала Вера.

- Простите, Вера, как вас по отчеству? - вмешался Сергей Васильевич, которому не понравился тон Веры.

- Дмитриевна, - сказала, удивляясь, Вера и посмотрела на Владимира Исаевича, который пожал плечами и развел руки в стороны, как бы говоря этим жестом, что противостоять своему заместителю он не может.

- Вера Дмитриевна, бабки имеют название "деньги", а вместо двинули можно сказать "пошли", - подумав, сделал замечание Сергей Васильевич, принимая из рук Владимира Исаевича авоську с увесистым газетным свертком в ней.

- Хорошо, Сергей Васильевич! - засмеялась Вера. - Буду следить за своей речью.

ЗАМЕЧАНИЯ

Сергей Васильевич почувствовал себя актером в каком-то загадочном спектакле и, когда все вышли в коридор, перебрал авоську через плечо, как носят деревенские. Он шел с улыбкой и все же в некотором страхе, но никто не обращал на него внимания ни около лифта, ни в вестибюле, ни на улице. У каждого прохожего были в руках сумки, портфели, дипломаты, авоськи. Сергей Васильевич представил вдруг, что этот каждый несет по сорок миллионов, а именно такая сумма была, видимо, в авоське, и ему перестало быть страшно.

Вера взяла у него авоську, поцеловала в щеку Владимира Исаевича пухлыми губами, сказав: “До вечера!” - и побежала в метро. Владимир Исаевич и Сергей Васильевич сели в машину и поехали в фирму.

К Сергею Васильевичу скопилось много посетителей. Часа два напролет он подписывал бумаги, потом ходил по залу, делал замечания, вникал в разговоры, советовал.

Придя домой около десяти часов вечера, он услышал шум и пение из комнаты жены. Солировала жена:

В низенькой светелке огонек горит...

Сергей Васильевич нервно сказал себе: “Так и знал!” - и быстро прошел в свою комнату. Но дверь тут же открылась, и Лиза, остановившись на пороге, сказала:

- Мы ждали тебя! Пойдем!

- Добрый вечер! - для начала сказал Сергей Васильевич. Потом все же спросил: - Мать выпивала?

- Выпивала. Ну и что?

Сергей Васильевич мрачно вздохнул и вяло пошел за дочерью.

Жена радостно вскочила из-за стола навстречу мужу. Она была красна и сильно накрашена. Смешанный запах духов и водки ударил в нос Сергею Васильевичу, и, как это часто бывает с трезвыми людьми, входящими в пьяную компанию, он непроизвольно отшатнулся. Жена была закована в тесное шелковое платье и от этого казалась еще толще, бесформеннее - как туго набитый мешок сахара. В комнате стоял какой-то кислый запах. Сергею Васильевичу стало совестно за нее и досадно.

За столом сидел спиной к двери Иван Ефимович в своей джинсовой куртке, вид которой вызывал уже у Сергея Васильевича про-

сто тошноту. Иван Ефимович оглянулся и встал. Глаза у него были потусторонние, в темных кругах. Он не сразу узнал Сергея Васильевича, хотел что-то сказать, но поперхнулся и всплеснул руками, как бы от страшного испуга. Потом со стоном подбежал к Сергею Васильевичу, обнял его, припал лбом к плечу и, мыча, как паралитик, замер. Сергей Васильевич брезгливо отстранился. На подбородке у Ивана Ефимовича была капуста: несло от него давним перегаром.

- Штрафную! Штрафную всенепременно! - проговорил Иван Ефимович, задыхаясь.

Он повернулся к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками и всхлипывая:

- Спаситель пришел!

Звякнула о рюмку бутылка, Сергей Васильевич, чтобы поскорее отделаться от этих людей и от кислого запаха, сел к столу и молча выпил. На столе стояли холодная картошка, банка шпрот с неровно открытой крышкой, тарелка со стрелками зеленого лука и редиской, запотевший сыр и подернутая зеленоватым отливом вареная колбаса, нарезанная толстыми кружочками. "Должно быть, - подумал Сергей Васильевич, - сильно торопились выпить". Он взял стрелку лука и принялся жевать его без хлеба, как бы показывая этим свое недовольство всем происходящим. Но минут через пятнадцать рука сама потянулась к бутылке - Сергей Васильевич налил всем, чтобы лишнего гвалта не было, и поспешно выпил. Люстра с подвесками из стеклянных трубочек засветила как будто ярче.

- Папа, - повернулась к нему Лиза, - я сейчас разогрею картошку и подам сардельки. Мы еще не брали горячее, - пояснила она.

- Хорошо, Лизочка! - одобрил Сергей Васильевич, ощущая приятный прилив легкого опьянения.

Лиза поднялась, взяла тарелку с картошкой и пошла к двери. Он смотрел вслед дочери, любуясь ею. Лизочка ходила всегда как-то особенно, мягко и неясно ступая. Легкий шум ее нового платья и запах свежих духов придавали всему ее облику праздничность. И когда она вернулась с горячей картошкой и горой толстых сарделек в эмалированной миске, нежно сказав: "Кушайте, пожалуйста!" - ее праздничный вид, поза, голос так растрогали Сергея Васильевича, что он схватил нож и вилку, ударил по тарелке и со своим неизменным: "Раз, два... восемь!" - запел:

Я люблю тебя, жизнь...

Жена весело подпевала, Лиза улыбалась, а Иван Ефимович сонным взглядом смотрел то на Сергея Васильевича, то на тещу, пытаясь, видимо, понять, что здесь происходит и где он находится. Скоро бутылка опустела, достали другую, последнюю. Потом с Лизой увели Ивана Ефимовича в ее комнату и, раздев, уложили под одеяло. Как и когда улеглась жена, Сергей Васильевич не знал, потому что сразу ушел к себе и закрылся на замок.

Он лежал на диване и сначала думал о страшных деньгах в авоське, о рискованном деле, о себе, вовлеченном в это дело. Потом ему вспомнился отец - бритоголовый, с пронзительными черными глазами на белом лице, отчего походил на снеговика, которому дети на место глаз вставили угли. Сколько помнил себя Сергей Васильевич, отец каждый день таскал домой полные сумки из столовой, где работал грузчиком. Набирал, что ему нравилось, и таскал - то есть, подумал Сергей Васильевич, воровал. Мать, маленькая тихая женщина, торговала в булочной, и хлеб таким же образом, как сумки отца, поступал в тесную комнатенку в Большом Сухаревском переулке. Но все равно почему-то никогда ничего не хватало. Была целая прорва родственников, которые, как помнил Сергей Васильевич, всегда приходили, как нищие, спали на полу на одежде, и мать одаривала их едой. До самого поступления на завод Сергей Васильевич никогда не носил новой одежды, ходил в перешитых отцовских брюках, в его же перелицованном френче, который отцу подарил еще до войны директор столовой.

Сергей Васильевич лежал на диване и думал о нужде, которая постоянно преследовала всех его родственников и знакомых. И каждый старался как-то выкрутиться из этой нужды, тащил в дом все, что подвернется под руку, включая коробку кнопок или канцелярских скрепок.

Потом мысли Сергея Васильевича перешли на Ивана Ефимовича. Он подумал о том, что надо будет спросить у него или у Лизы, начал ли он снимать свое кино. На этом Сергей Васильевич успокоился и заснул. Ему приснилось, что к его деревенскому дому Ученый подогнал самосвал с мелочью. Полный кузов металлических денег. Сергей Васильевич подивился и стал с Ученым разгружать эту мелочь совковой лопатой прямо на землю. У самосвала

кузов заклинило, и он не поднимался. Мелочь приятно звенела и поблескивала в солнечных лучах...

Прозвенел будильник. Сергей Васильевич заведенно поднялся и пошел на кухню ставить чайник. Следом показалась Лиза, сонная и почему-то некрасивая.

- Пап, мне деньги нужны, - сказала она, зевая.

- Рот нужно прикрывать ладонью! - сделал замечание Сергей Васильевич, ощущая неприятную тошноту.

- Да заткнись ты! - на привычном языке начала дочь.

- Заткнись сама, дура! - взорвался вдруг Сергей Васильевич, забыв, что надо сдерживаться, словно кто-то его встряхнул и заставил кричать: - Идиотка, вышла за алкоголика! Я что, гнал тебя из дому? Ты что, голодала? Зачем вы сюда приперлись? Чтобы мать спаивать? Только она успокоилась немного, так они приперлись с бутылками!..

- Ты, рязанская жаба, выбирай выражения!

- Я тебе сейчас выберу! - вскричал громче прежнего Сергей Васильевич и замахнулся на дочь.

- Урод! Убери руки! - завизжала Лизка. - Ублюдок! Обрадовался, что дочь выжил из дому!

От негодования Сергей Васильевич даже покрылся красными пятнами.

- Это я тебя за этого артиста выдал, щучка?!

В кухню с криком ворвалась жена:

- Куркуль! Не трогай мою дочь!..

За ней в проеме двери показалась зачумленная физиономия Ивана Ефимовича.

- Что тут у вас происходит? - удивленно спросил он, икая.

Только теперь Сергей Васильевич увидел весь вздор и глупость ситуации. Как это он дал себя завести? Он стиснул зубы и пошел из кухни, отстранив в дверях дрожащего с похмелья Ивана Ефимовича, как посторонний предмет. Закрылся в своей комнате, сел на диван и стал убеждать себя в том, что он не такой, как они, что он может сдерживать себя, может стремиться к культурному поведению. Кое-как преодолев в себе отвращение и к себе, и к этим людям, он пошел с кружкой на кухню за кипятком.

Иван Ефимович в трусах, с папиросой сидел, дуясь, на табурете. Жена, оттопырив толстый зад в ночной рубашке, смотрела в окно. На работу она явно не собиралась. Лиза стояла у холодиль-

ЗАМЕЧАНИЯ

ника, на ее глазах блестели слезы. Почему-то она - только теперь заметил Сергей Васильевич - была босиком. Ногти на пальцах ног поблескивали красным лаком.

Сергей Васильевич молча налил в кружку кипятка и собрался уже выйти, как жена оглянулась и нагло спросила:

- Ты думаешь в семью деньги давать?..

Сергею Васильевичу от этой наглости стало жутко и мерзко, но он промолчал, хотя молчать не было сил, крик рвался наружу. Он поспешно покинул кухню.

Сергей Васильевич брился, привычно поглаживая через окно на остов церкви, и думал о том, как опрометчиво поступил он совсем недавно, когда дал Лизе двадцать тысяч и жене тридцать, сказав, что ему насчитали за пять месяцев. Нельзя им даром давать деньги, нельзя ничего давать даром, только просить потом будут - еще и еще. Вот оно, уже началось...

Он посмотрел в угол, где возле сумок и рюкзака с блинной мукой лежали связки обоев, стояли банки с краской. Сколько денег истрачено, знали бы они! Да им нет дела до этого!..

А какое дело до них Сергею Васильевичу? Жена ему просто ненавистна, дочь - отрезанный ломоть, а этот Иван Ефимович и вообще посторонний человек. Что его к ним привязывает? Квартира? Да пропади она пропадом. Что вообще привязывает его к жизни? Новая работа, большие деньги, которые он получает? Но к чему Сергею Васильевичу деньги?..

Волна ненависти захлестнула было Сергея Васильевича, но тут он взглянул на часы и, вздохнув, стал быстро одеваться.

Надо было продолжать жить и выполнять свои обязанности. Вращать колесо.

Пора было идти делать замечания...

*“Континент”, № 86, 1995,
а также в книге “Родина”,
Москва, издательство “Книжный сад”, 2004.*

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

повесть

Переделкинское кладбище открылось с поворота на взгорке. Георгий Павлович Шевченко притормозил, оглядывая дорогу, принял влево, на встречную полосу, и остановил машину у песочной насыпи, чуть-чуть сдав назад к бетонной трубе. Ремонтировали мост и дорогу, по трубе, видимо, должна бежать речка. Шевченко прихватил портфель, закрыл машину и пошел по тропинке вверх, на кладбище. Миновал еще свежую могилу Рождественского, на которой истлели венки, могилу на самом краю кладбища, на задах, как будто государственному поэту не могли найти, подумал Шевченко, государственного места.

Шевченко поднялся еще выше, попетлял и сел на скамейку у могилы Пастернака отдышаться. Собственно, это и было местом встречи. Минут через пятнадцать, пока Шевченко умиленно перебирал в памяти стихи Пастернака, подошел полный Тофик.

- Салям, Георгий Павлович! - сказал Тофик.

- Привет! - сказал Шевченко и погладил лысеющую седую голову.

Тофик грузно опустился подле, открыл спортивную сумку.

- Перекладывайте сюда, - сказал Тофик.

Шевченко не спеша стал извлекать из портфеля и класть в сумку медицинские коробки с ампулами.

Когда закончил, вздохнул и посетовал:

- Сердце что-то заболело, пока сюда поднимался.

- Во-озраст, - растянул Тофик. - У меня тоже здоровье ни к черту! Давление прыгает. Таблетки глотаю. На диету встать не могу. Есть все время хочется.

Вдалеке зашумела электричка. Немного помолчали. Потом Тофик спросил:

- Три, Георгий Павлович?

- Три, - подтвердил Шевченко и покосился на бумажник Тофика.

Тофик отсчитал быстро, как человек постоянно имеющий дело с деньгами, три тысячи долларов сотенными купюрами, протянул Шевченко, тот сунул деньги во внутренний карман пиджака.

Опять некоторое время посидели молча. Смотрели на желтоватую стелу могилы с профилем Пастернака.

- Спасибо, Борис Леонидович! - сказал, поднимаясь, Тофик.

- Извините, если что не так, - тихо проговорил Шевченко.

И они разошлись.

Шевченко любил ездить быстро, несмотря на свои шестьдесят пять лет. Он вырвался на Можайку и до самой арки мчался под сто сорок, затем, в горловине у этой арки, сбросил до шестидесяти, но уже через семь минут сворачивал в свой переулок на Пречистенке. Во дворе, как всегда, было полно машин, но место Шевченко никто не занял. Он поставил машину, но не пошел домой, а вернулся к Пречистенке, пересек ее и вошел в Чистый переулок, где в одном из подвалов помещалась книжная лавка для интеллектуалов.

Ступеньки старые вели вниз, как в дворницкую. Лавка была забита новыми поступлениями. Шевченко с жадностью стал выхватывать с полок книги, пока не набрал целую охапку, которую, как поленья, высыпал на стол перед продавцом. Расплатившись и набив портфель, не все книги влезли, пришлось просить продавца увязать, Шевченко, прогибаясь под тяжестью портфеля, с пачкой под мышкой, пошел домой.

В двери его комнаты торчала записка. Шевченко узнал почерк соседки. Она писала, что звонил Фридман и просил позвонить. Шевченко открыл ключом дверь, прошел в комнату, напоминавшую фундаментальную библиотеку, вернее, склад этой библиотеки. Места для передвижения не было. Кровать стояла в арке. Книжной арке. Кресло вдвинуто между двумя столбами, от пола до потолка, книг. Стол завален книгами. Лабиринты узких ходов в книгах. Житие в книгах.

И пыль, пыль.

Разгрузившись, оглядев каждую книжку, даже поцеловав каждую книжку, Шевченко побежал в коридор звонить Фридману. Тот был у себя, сказал, что все документы оформлены и что на следующей неделе можно переезжать. Удовлетворившись этим, Шевченко повесил трубку и пошел на кухню ставить чайник. У плиты напротив хлопотала другая соседка, не та, что писала записку, старушка баба Маня.

- Привет, Маруся! - весело сказал Шевченко.
- Здравствуй, касатик... Измерил бы мне давление, а?
- Айн момент! - сказал Шевченко. - Сейчас перекушу и измерю.
- На вот, я тебе борщика плесну, только что уварился, - пред-
ложила баба Маня.

- А чего?! Давай! - сразу согласился Шевченко и подал бабе Мане свою глубокую тарелку.

Тут же на кухне, присев с уголка своего стола, съел борщ с хлебом. Хлеб у Шевченко оказался свой.

Пока он ел, старушка смотрела на него и говорила:

- Все никак не помру. В церковь захожу. Все святых людей хочю повидать. А их нету. Попы, правда, красиво обряжаются. Но они не святые. Так, актеры! - махнула куда-то за окно рукой старушка.

- Атеистка ты, баба Маня, отчаянная! - воскликнул Шевченко, сморкаясь от удовольствия в платок. - Но в правильном направлении мыслишь. Бога нет, святых нет. Кругом актеры и мошенники. Человек - гад. Вселенная - бессмыслица.

- Да я так, для порядку говорю, - сказала старушка. - Я же партийная всю жизнь. Учетчицей была. Измерь давление. Что-то кашает меня сегодня.

Шевченко сбегал к себе за аппаратом и тут же, на кухне, измерил соседке давление, затем закрылся у себя, включил приемник, настроенный на радио "Орфей", где звучала только классическая музыка, включил настольную лампу, задрапировал окна, убрал со стола книги и расстелил на нем огромную простыню, бумажную простыню, на которой была довольно-таки замысловатая схема. Шевченко аккуратно, очень мелким почерком вписал в нужные места авторов и названия вновь приобретенных книг. Затем стал внимательно рассматривать схему.

Это было нечто вроде Вавилонской башни, знака бесконечности, которая у основания была широка, а узкой вершиной уходила куда-то в космос. Внизу располагались популярные авторы, но не народное чтиво, а элитарные популярные, то есть такие, с которыми могли познакомиться все интеллигенты. А уже к вершине возносились такие, которых мог постичь лишь Шевченко, да еще пара-тройка его современников. Внизу - Платон, в середине - Фихте, в верхних этажах - одиночки, которые у Шевченко были зашифрованы индексами, и никто в них без Шевченко не мог бы разобраться.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

- Вот, к примеру, Х. Кто это такой? - прошептал Шевченко. - Кто этот икс? А, голубчики, не знаете. Когда я закончу свою башню, вы содрогнетесь, узнав, кто там на самом верху!

Между прочим, Библия у него размещалась в самом низу, в основании, между Платоном и Спинозой.

Часа через два, когда Шевченко ушел по уши в свою абсолютно трансцендентальную Вавилонскую башню, раздались три звонка в дверь его коммунальной квартиры. Шевченко, воскликнув: "Сволочи, не дают медитировать!", побежал открывать. В глазок разглядел Гуту, внучку. Она не вошла, а ворвалась. Уже в комнате Шевченко увидел: глаза сумасшедшие, руки дрожат, пальцы красные, тонкие, похожие на змеек, волосы кое-как причесаны.

- Дед, давай скорее кольки! Подыхаю!

И плюхнулась на кровать.

Шевченко моментально выхватил шприц, одноразовый, блеснувший острой иглой, подпил пилочкой ампулу...

Через полчаса Гута лениво поднялась с кровати, сказала:

- Ты не думай, дед! Не думай. Я еще им покажу, гадам! Я напишу такое, что они упадут на месте. Я уже задумала поэму "Черновик!" Ты же знаешь, что я гениальна! Меня в десять лет опубликовали в "Юности". Я им покажу!

- Гутка, завязывать тебе со всем этим нужно, - мягко сказал Шевченко. - Кому ты, кроме меня, нужна со своей поэзией?

Гута сжала кулаки.

- Нужна! - вскричала она. - Нужна вечности, огромному пространству! Слушай:

Агенты четвертованной души
Сосали кровь кровавого младенца.
Меня, как рыбу, взрывом оглуши,
Иль задуши холодным полотенцем.

Шевченко вздрогнул, испуганно уставился на Гуту.

- Это твое?

- А чье же! - рассмеялась Гута. - Я еще не такое дам. Я всем им докажу, что я гениальна. Я справлюсь. Все побежали за деньгами. Деньги, деньги, деньги... А мне не нужно денег. Я еще смогу родить ребенка. Да, я рожу ребенка, я воспитаю его так, что он бу-

дет самым умным человеком на свете, самым талантливым самым гениальным.

- Я верю тебе, - сказал Шевченко. - Только надо отвыкать от этого. - Он кивнул на шприц и пустую ампулу в пепельнице.

- Я отвыкну. Я больше не могу сражаться, - сказала Гута. - Я сегодня ночью слышала голоса. Один голос принадлежал Богу. Он сказал: "Верь в меня, Гута!". И я верю. А ты, дед, веришь?

Шевченко возвел глаза к потолку, елеиным голосом сказал:

- Верю! Страстно верю. Бог - это все. Это наша единственная опора, это наша вечная, радостная, счастливая, великолепная жизнь. Я не верю в смерть, я верю в бессмертие. Поэтому нужно работать над своей душой, нужно строить свою Вавилонскую башню, во что бы то ни стало, нужно работать, работать, строить, строить, строить...

Гута тупо уставилась в схему.

- Это невысказано! Сколько тут имен...

- Раз это я сделал, значит мыслимо.

Гута внимательнее посмотрела в схему, спросила:

- А почему у тебя Библия внизу?

- Потому что это просто плохо написанная книга, - прошептал Шевченко. - А Бог эту всю башню написал.

Гута понимающе закивала головой.

- И не только башню, - продолжил тихо Шевченко. - Он и шприц этот придумал, и пепельницу, и люстру, и тебя, и меня, и солнце...

- Какой ты умный, дед! Ты просто гений! - сказала с чувством Гута и без перехода спросила:

- Ты меня любишь?

- Люблю.

- Дай мне коробку и несколько шприцов.

Шевченко прикрыл глаза, вздохнул и подумал о себе в третьем лице, как о человеке, который не имеет к нему никакого отношения. Этот третий человек открыл глаза и уставился в одну точку, затем сказал:

- Хорошо. Я дам тебе коробку. Это принесет тебе успокоение в эту минуту. Я не стану препятствием для тебя, я для тебя буду самым прекрасным...

- Самым прекрасным, - повторила Гута.

- Самым добрым...

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

- Самым добрым, - повторила Гута.

- Самым светлым человеком на свете, который желает устранить все препятствия с твоего пути, чтобы тебе было приятно жить. Чтобы все твои желания исполнялись.

Гута встала из-за стола и, насколько позволяло пространство между книгами, прошла туда-сюда. Вся всклокоченность, так бывшая по глазам Шевченко вначале, исчезла, это была красивая, худенькая, двадцатипятилетняя женщина, умная и талантливая, способная на многое в этой жизни.

- Последние дни доживаю здесь, - сказал задумчиво Шевченко и обвел комнату рукой.

- Да?

- Да. Прощай коммунальная жизнь! - с чувством сказал Шевченко и продолжил: - Теперь буду жить в отдельной двухкомнатной квартире на Второй Парковой...

- Ты мне ничего об этом не говорил.

- Когда говорить, Гута? Ты помнишь, когда ты в последний раз была у меня?

- Месяца три назад, - сказала, подумав, Гута.

- Ну, вот видишь! И была с той же проблемой. "Кольни, дед!" А это плохо. Вспоминаешь меня, когда тебе худо. Причем в последний раз приходила с каким-то жутким алкоголиком.

Гута смущенно опустила глаза, сказала:

- Я не помню, кто со мной был.

- Спий с кем попало. Только перед моими глазами прошло с десяток твоих ухажеров за пять последних лет. И все время ты приходила ко мне либо выпить, либо кольнуться. Нехорошо. Однажды привела знаменитого поэта, этого дурака-клоуна в синей кепке! Стидно. Вся его знаменитость - в красивой упаковке. А так - пустота!

- Ты не думай, что я такая. Не думай! Я справлюсь, я напишу "Черновик", я рожу ребенка, и он у меня будет таким же умным, как ты, дед!

Шевченко вслушивался в то, что говорила Гута, и не верил ей. Да и сама Гута не верила в то, что говорила. Ей хотелось, конечно, верить. Но в этот момент ее интересовало лишь собственное самочувствие, приятные физиологические ощущения. И она не хотела, чтобы эти приятные ощущения покидали ее. В свете настольной лампы ее глаза казались особенно зелеными, усиленно зеле-

ными, наркотик делал свое дело, как бы проявлял истинную цветную сущность Гуты, и эти сочно-зеленые, какие-то змеиные глаза были ее сущностью.

Шевченко смотрел в эти глаза и страшился их. В глубине души он хотел, чтобы внучка исчезла куда-нибудь раз и навсегда. Но это желание снималось логическим доводом: то дочь моего сына. Так нельзя думать. Однако думалось. Самомнительная дуреха поверила в то, что она поэтесса. Вертелась в кругу поэтов с пятнадцати лет. А они видели в ней лишь предмет для вожделений. Как она сама этого понять не могла? Какое дело будет читателю через сто лет - в каком возрасте написано то или иное стихотворение! Ее, видите ли, в десять лет напечатали! Шевченко знал эти слабенькие стихи. Все эти молодые гении быстро сходят с круга и их забывают, даже таких ярких как Надя Рушева или Робертино Лоретти.

Шевченко не мог себя пересилить и сказать все это в зеленые глаза Гуте, этой дурочке, которая уже сошла с круга. Быть как все она уже не сможет, потому что для этого нужна огромная сила воли, которой у Гуты нет.

Все-таки вслух Шевченко сказал:

- Чтобы прожить, одолеть жизнь, нужно быть сильным, мужественным человеком.

- Это ты о чем?

- Да так, - неопределенно вздохнул Шевченко. Гута поводила по схеме указательным пальцем, на котором не было длинного, как на других пальцах, ногтя, сказала:

- Жаль, что ты уедешь отсюда. Все-таки центр. Удобно здесь тебя навещать.

- Чтобы кольнуться? - усмехнулся Шевченко.

Гута с некоторой обидой на лице промолчала.

- Приди когда-нибудь в нормальном состоянии. Поговорим.

- В нормальном состоянии я тупа, как овца. У меня и стихи идут только после галлюцинаций...

Шевченко вспомнил Переделкинское кладбище, стелу на могиле Пастернака, сказал:

- Пастернак не кололся и не пил, а писал гениальные стихи.

Гута промолчала.

- Мандельштам не пил и не кололся...

Гута промолчала.

- Чехов не кололся, хотя, как врач, мог этим заниматься регулярно...

Гута промолчала.

- Что уж говорить о Толстом!

Гута вскричала:

- Эдгар По пил, Есенин пил, Цветаева пила, Булгаков кололся, а Рубцов просто алкоголик!

Помолчали. Шевченко понял, что доводов про и контра предостаточно и не в этом сердцевина проблемы. А в чем? Шевченко казалось, что он знал ответ, но говорить его Гуте не стал.

Шевченко заговорил о другом:

- Месяца два назад во дворе ко мне подошел один тип и сказал: "Комнату свою продать не хочешь?". Я ответил, что не хочу. Тип пожал плечами и удалился. Я сначала не придавал этому никакого значения. Буквально на следующий день меня поджидают в подъезде двое. Сквозь зубы процедили: "Если не продашь комнату, изувечим!". И удалились. Я испугался. А потом забыл. Через пару дней подходит во дворе тот первый тип, говорит, что если я не соглашусь, то жить мне осталось недолго. И добавил, чтобы я всю квартиру освободил. Я возразил, что там соседи. А он говорит, что мне поручается убедить соседей, чтобы они согласились продать свои комнаты. Чертовщина какая-то! Я спросил, а куда нам деваться? Он ответил, что его это не интересует, что он лишь гарантирует оплату, а дальше - на все четыре стороны!

- Страшно, - сказала Гута.

- Конечно, страшно! Вообще жизнь - это страшная штука. С соседями намеками для начала переговорил. Не хотят. Привыкли к центру.

Шевченко замолчал и задумался. Его взгляд был устремлен куда-то в угол комнаты. Гута посмотрела туда, куда смотрел дед. Там на стене слабо поблескивала золотом большая икона с изображением Георгия, поражающего копьём змея. Со всех сторон икона была обложена книгами и находилась как бы в книжной нише. Гута перевела взгляд на деда. Его лицо поразило Гуту в этот момент чистотой, утонченностью черт, и Гута как бы впервые поняла, что ее дед по-настоящему красив.

- Но я не был бы я, если бы начал оказывать сопротивление, как это делают все люди, не понявшие установку книги для всех: подставь другую щеку. Не оказывай сопротивления и событие ми-

нует тебя. Надо сказать, что весь наш дом забит фирмами. Пожалуй, только в нашем подъезде остались еще жилые квартиры, а так - все фирмы. На другой день я пошел в самую крупную фирму. Меня принял директор. Я ему все как на духу рассказал. Он говорит: "Безобразия какое! Что же вы раньше ко мне не пришли? Мы все оформим, купим ваше жилье и предоставим вам квартиру и соседям вашим". Понимаешь?

- Понимаю, - сказала Гута.

- Никто больше мне не угрожал. Явилась в квартиру представительная комиссия во главе с тем директором, Фридманом. Они все осмотрели, составили договора с нами и вот - мне отдельная квартира, бабе Мане - комната, Сысоевым - квартира, Ивановым - квартира, Зинченко - квартира. Ловко.

- Как страшно! - воскликнула Гута. - Они делают все, что хотят. Этак они и до меня доберутся. У меня однокомнатная квартира, и я одна.

- Кому нужно твое Чертаново! - усмехнулся Шевченко.

Гута сжала ладонями виски и прошептала:

- Черту.

Серьезность ее тона удивила Шевченко, как будто черт существовал на самом деле. Для Шевченко же черт существовал только в Боге, как неотъемлемая, даже отличительная часть Бога.

- У тебя денежек стрельнуть нельзя? - вдруг спросила Гута.

- Ты решила полностью испытать мою вторую щеку?

- Да нет. Это я так. Но у меня совсем нет денег. Я с трудом нашла на метро, чтобы добраться до тебя. Все меня бросили. Занять не у кого. Отдавать не из чего.

- Родители?

- Я надоела им. И я их боюсь. Мне кажется, они вычеркнули меня из своей жизни. Купили мне в свое время квартиру и на этом поставили точку.

Протяжно вздохнув, Шевченко направился к шкафу, извлек из пиджака сначала одну бумажку, потом, подумав, вторую.

Гута алчно схватила двести долларов, сжав с хрустом бумажки в кулачке.

- Дед, ты мой спаситель!

- Нет. Я твоя дойная корова. Хотя, впрочем, корова существует для того, чтобы ее доили.

- Что ты! Я заработаю. Я отдам. Я не такая...

Она еще что-то несла, но Шевченко не слушал, он лишь повторял про себя: "Такая, именно такая... Бесцеремонная, наглая идиотка!"

Полностью выполнив план, потому что, когда ехала к деду, наметила уколоться, прихватить зелья с собой и стрельнуть денег, Гута заспешила, сунула коробку с ампулами и шприцы в сумочку, чмокнула деда в щеку и испарилась.

С тяжелым чувством Шевченко опустил на стул, уставился в схему, затем открыл "К философии поступка" Бахтина и был таков, то есть забыл обо всем, увлеченный текстом, как после первой рюмки увлеченно следует ко второй, восьмой, пятнадцатой алкоголик, как от первого укола устремляется к третьему, семнадцатому наркоман, освободившись от всех видимых проблем, приступая к решению проблем невидимых. "Существенным моментом эстетического созерцания является вживание в индивидуальный предмет видения, видение его изнутри в его собственном существе".

Знание лепится к знанию. Знание на знание. Вавилонская башня.

Шевченко язвительно усмехнулся и прошептал, глядя прямо перед собой в нишу, где поблескивал Святой Георгий:

- Хочется сказать всем входящим в жизнь: не принимайте все-ррез эту Вавилонскую башню, эту византийщину!

Тоска томила Шевченко. С одной стороны, он хотел построить башню, с другой, ему не терпелось разрушить ее.

Ему трудно было переходить из одного состояния в другое, от всепоглощающего знания к текущим житейским проблемам.

Шел дождь, постукивали дворники, приятный теплый воздух шел из печки. С Волхонки сделал правый поворот на мост, с моста пошел направо, на набережную. У Британского посольства постоял в пробке. Полюбовался Кремлем, Иваном Великим. Потом проскочил Балчуг, Мосэнерго, под Устьинским мостом, свернул направо, попал опять в пробку, выполз за самосвалом на мост, постоял у Яузских ворот, за трамваем въехал на Яузский бульвар, у Казарменного переулка развернулся, въехал в Петроверигский... Вот и больница, в которой Шевченко отработал тридцать лет. Сегодня день его дежурства.

В белом халате, со стетоскопом на груди Шевченко делает обход, потом пьет чай в ординаторской, на лестничной клетке рас-

считывается с Даренским, сует ему тысячу долларов за товар, договаривается о следующей партии.

Даренский, маленький, с бородкой, сказал:

- Что за чудесные времена пошли! Бабки можно делать только так!

- Прекрасные времена, - согласился Шевченко.

В обед, когда Шевченко с удовольствием ел паровую котлетку с пюре, медсестра сказала:

- Так больше жить нельзя. Все дорожает, зарплата нулевая.

- Да, - согласился Шевченко, - ужасное время, ужасные нравы.

- Ворье процветает! - воскликнула медсестра.

- Да, - согласился Шевченко. - Только ворье и живет теперь.

- Я бы правительство в тюрьму упрятала.

- Да, я бы тоже их всех в тюрьму упрятал.

- С вами приятно поговорить, - сказала медсестра. - Вы такой понимающий!

Из седьмой палаты больной Фролов спросил:

- Доктор, скоро я умру?

У него был цирроз, живот вспух, приходилось его изредка прокалывать, чтобы спускать жидкость.

- Это одному Богу известно, - отшутился Шевченко, поправляя белую шапочку.

- Какому там Богу! - психанул Фролов. - Вы должны, как доктор, дать мне точный ответ.

- Ответа нет, - сказал Шевченко. - Но я делаю все возможное, чтобы вы жили. Выписываю лекарства, процедуры.

- Э-хе-хе, - вздохнул Фролов и проговорил мечтательно: - Напиться бы теперь, да забыться, заснуть навсегда.

Ночью Фролов орал, не давал Шевченко спать, а под утро Фролова отправили в реанимацию.

Когда его катили по коридору санитары, Шевченко подумал об этом Фролове, как о счастливом человеке, который не прочитал в своей жизни ни одной книжки, не узнал того, что знает Шевченко, не обременял свой мозг.

От больницы Шевченко выехал на Солянку, затем перелетел по Варварке через мост на Ордынку, там свернул в Казачий переулок, въехал на тротуар и остановился у железных ворот. За воротами во дворике стоял двухэтажный бревенчатый дом. Шевченко любил этот дом и вот уже второй год приезжал сюда в книжную лавку, которая размещалась на первом этаже, - вход с крылечка, не-

сколько деревянных ступенек вверх, небольшие сени, дверь с колокольчиком открывается, взору предстают свежесколоченные полки с пачками книг.

Хозяин лавки, заядлый книжник и издатель, покуривая как всегда, приветствовал:

- А-а, Георгий Павлович, добрый день! Много новых поступлений.

Шевченко раскланялся и, ведомый хозяином, прошел в торговую комнату, в которой было очень много народу, просто не протолкнуться. Хозяин, пуская дымок от сигареты в потолок, представлял книги:

- Вот Ксенофонт, пожалуйста, вот Флавий, вот Топоров Владимир, вот Аверинцев, вот Кьеркегор, вот Лосский, вот Лотман, вот трехтомник Георгия Иванова, вот Ницше, вот Лосев...

Горящие глаза Шевченко только успевали следить за книгами, расставленными на полках, и Шевченко нетерпеливо повторял:

- Беру...

Хозяин брал по экземпляру каждой книги и передавал Шевченко. Вскоре у него на руках оказалась целая стопа книг, прижатых к груди. А хозяин продолжал рекомендовать:

- Вот Мамардашвили, вот Ясперс, вот Бергсон, вот Трубецкой, вот Гуссерль, вот "Летопись жизни и творчества Достоевского"...

Шевченко с жаром, как заведенный, повторял:

- Беру... Беру... Беру...

У столика Шевченко расплачивался.

- С вас сто сорок девять тысяч триста пятьдесят рублей, - сказала изящная, с короткой стрижкой, служительница лавки.

Шевченко что-то прикинул в уме и сказал:

- То есть, любезная, пятьдесят долларов... Хозяин помог донести книги до машины. В отличном расположении духа Шевченко тронул машину, пересек Полянку, переулком выбрался на Ленинский, медленно, поток машин был огромен, въехал в правом ряду на мост, на зеленую стрелку свернул с моста на набережную, с нее - на бульвар, сделал петлю у метро "Кропоткинская", постоял на красном свете, устремился по Пречистенке...

Соседка баба Маня выставляла свой скарб в коридор.

- Нынче перевозят, - сказала она.

- Замечательно! - одобрил Шевченко.
- Я там горохового супу наварила, - сказала она. - Пойди поешь.
- Не откажусь, - сказал Шевченко и, подумав, покопался в карманах, нашел отечественные деньги, посчитал и протянул бабе Мане двести тысяч. - Это, как говорится, за все хорошее, на переезд и на новоселье.

Баба Маня колебалась недолго.

После обеда на кухне Шевченко уселся за стол и склонился над схемой. Страна Вавилония расширялась. От схемы Шевченко перешел к книгам. Задержал внимание на "Летописи жизни и творчества Достоевского". Муки писателя предстали перед Шевченко в новом, каком-то приземленном виде. Задолжал бумажной фабрике, некий Попов ходит через день за долгом, Тургенев просит заплатить 300 рублей за повесть, Паша Исаев доконал просьбами о деньгах, вдова брата Михаила замучила такими же просьбами, сволочь Стелловский обложил со всех сторон, типограф просит оплаты, долги по журналу "Эпоха", источников дохода нет, Попов достал окончательно, грозит судом, лишь Лесков понимает и говорит, что подождет, кредиторы замучили, несут векселя, судебные исполнители навешиваются через день, бумажная фабрика напоминает о себе, а типограф о себе, Попов в тысячный раз просит вернуть долг, Стелловский душит сроками. Какому-то Чумикову он пишет, что не может заплатить по векселю брата, потому что "весь в долгах", "до 10000 вексельного долга и 5000 на честное слово", идиот Попов опять напоминает о себе, вообще, кто такой Попов перед Достоевским, понимала ли эта сволочь Попов перед кем он стоит? что такое поповы пред Вавилонской башней!, кредиторы грозятся описать и посадить в долговую тюрьму, жена умерла, брат умер, остался Феденька совсем один, со всех сторон рыла вопят: "Платите, платите, платите!"

Шевченко прослезился, так ему стало жалко Достоевского, никого он так в жизни, казалось, не жалел. Чтобы успокоиться, отойти от состояния безмерной грусти, Шевченко встал из-за стола, походил между книгами, вышел в коридор. Баба Маня давала указания грузчикам, что и как выносить на улицу. Машину и грузчики дала фирма Фридмана.

На кухне Шевченке выглянул в окно во двор. Крытый фургон стоял задом к подъезду. Шевченко отошел от окна, поставил на плиту чайник, подождал пока он согреется, попил чаю без сахара. Подумал о том, что и ему нужно начать подготовку к отъезду, ведь,

столько книг, но Фридман обещал все организовать как следует, книги уложат в коробки. Вообще-то, - подумал Шевченко, - нужно посортировать книги, прямо сейчас, отвлечься немного от душевной работы, от философских переживаний, от необъятности Вавилонской башни.

Первым для сортировки Шевченко избрал старый книжный шкаф. Стал из него выкладывать книги, просматривать. Каждая книга была дорога ему. Внизу лежали папки с тесемками. В папках была всякая архивная всячина: свидетельства, бумаги, фотографии... Попалась фотография деда, тоже Георгия, усатого, с глазами устремленными в одну точку. Шевченко увлекся, сел у шкафа на пол. На одной из фотографий дед стоял у того же самого дома, где жил теперь Шевченко. Под фотографией золотом было вытиснено: "Г-н Шевченко Г.И. у собственного дома в Москве на Пречистенке".

Играло музыкальное радио "Орфей". Звучало фортепиано, кажется, Брамс. Потом диктор объявил Виссариона Шебалина, сочинение № 29 для скрипки, альты и виолончели. Полилась музыка, а Шевченко все сидел без движений и смотрел, как дед на старинной фотографии, в одну точку. Не было ни размышлений, ни сопоставлений, а было какое-то непонятное состояние прострации, словно перед концом. Дед ходил с палкой по комнате и громко говорил:

- Это куда же ты, внучек, собрался из собственного дома, а?!

И взгляд деда был страшен. И страшные звуки по радио издавала скрипка.

Решения не было. Но переезд нужно было как-то приостановить. Это для Шевченко было очевидно. Пойти к чиновникам? Пойти в милицию? Пойти к Богу? Именно к этой инстанции все предыдущие и отошлют, если не пошлют еще куда подальше! Тут что-то стало проясняться в мозгу Шевченко, что-то проклевываться, вытанцовываться под взвизги скрипки, под повторы виолончели, под экивоки альты. Еще не додумав до конца мысль, пришедшую ему в голову, Шевченко бросился в коридор к настенному телефону. Он позвонил Тофику и попросил о встрече, сегодня же, сейчас, сию минуту.

Светило солнце. Во дворе поблескивали никелем и лаком иномарки. Шевченко презрительно посмотрел на застекленный подъезд фирмы Фридмана. Завел свою "шестерку" и поехал на встречу

с Тофиком через бульвар до Арбатской, по Кутузовскому, за МКАД, мимо поворота на Одинцово, далее синий указатель налево на Переделкино, мелькнула деревня Переделки, за нею - налево, справа потянулся забор Дома творчества, вниз, показался склон кладбища, немного налево, затем на встречную полосу и чуть-чуть за дом к огромной бетонной трубе.

Тофик уже ожидал, сидя на скамейке перед могилой Пастернака. Увидев Шевченко, проскандировал:

Грустно в нашем саду.
Он день ото дня краше.
В нем и в этом году
Жить бы полною чашей.

Шевченко тут же продолжил:

Но обитель свою
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель...

Могила была в тени кустов и деревьев. Шевченко сел на скамейку, вздохнул и молча протянул Тофику фотографию деда у собственного дома. Тофик долго разглядывал фотографию, затем сказал:

- Да-а, не знал, Георгий Павлович, что вы из богатой семьи. Так в чем же дело?

Шевченко с волнением рассказал всю историю с Фридманом, даже довольно подробно описал запугивавших его людей. Тофик рассмеялся. Затем посерьезнел и сказал:

- Что же вы раньше молчали! Нам необходимы, как воздух, помещения в центре! А вы испугались этих недоносков!

Шевченко промолчал. Он так и сидел молча, пока Тофик говорил. В конце Тофик, поднявшись, твердо сказал:

- Не дергайтесь. Мы это дело уладим. Не так ли, Борис Леонидович? - И уставился на профиль Пастернака, Шевченко прочитал:

Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

Более или менее успокоенным Шевченко ехал домой и все пытался понять, что же предпримет Тофик для того, чтобы он, Шевченко, остался жить в своей комнате, но через два дня, на дежурстве, когда ему на глаза попала известная своими короткими криминальными сообщениями газета, буквально был ошеломлен сообщением о том, что на Зубовской площади был изрешечен “мерседес” директора крупной фирмы Фридмана, что сам Фридман, его шофер, телохранитель и главный бухгалтер на месте происшествия скончались. Вечером того же дня в квартиру Шевченко явился участковый и сообщил, что договор с Шевченко оказался фиктивным, и что он может далее спокойно проживать в этой квартире.

- А соседи? - спросил деморализованный и счастливый Шевченко.

- В этой квартире хозяином только вы, - смущенно сказал участковый, глядя мимо Шевченко в даль полутемного коридора. - Так что можете занимать все комнаты. Извините, мне пора! - И удалился.

Комнаты были пусты: и Сысоевы, и Зинченко, и Ивановы съехали. А без бабы Мани было тоскливо. Кто теперь предложит борща или супа? Пришлось самому чистить и варить картошку. Потом он сидел в кухне перед тарелкой с картофелем и ел. Со сливочным маслом, с укропом, но без мяса. Шевченко сидел неудобно, с угла, потому что ближе сесть было нельзя, так как нависала полка с мисками, дуршлагами и кастрюлями. Но это неудобство доставляло ему удовольствие, потому что торопило к столу в комнате, к Вавилонской башне, к книгам.

Задернул занавески на окнах, включил настольную лампу и радио “Орфей”, передавали оперу “Евгений Онегин”.

Глядя на схему, Шевченко подумал о том, что вся история состоит из вселения, выселения, переселения. Вавилонская башня укоренилась в сознании людей как смешение языков. Но кто смешал языки и не позволил возвести башню? Яхве. То есть персонаж из Библии. Получается, что Шевченко правильно расположил эту книгу в основании новой Вавилонской своей башни, ибо сама Библия разрушила башню и смешала языки. Для чего? Для того,

чтобы разделяя - властвовать. Разумеется, Вавилонская башня историческая строилась сразу же после всемирного (на самом деле локального - в Междуречье) потопа с прагматической целью от последующих потопов в ней спастись. Но потопов больше не было, строительство забросили, а писатели Библии, все бравшие в строку для символа-примера, каждое лыко - в собственную строку! приписали разрушение башни не неумолимому времени, а своему герою - Яхве, дабы было не повадно строить башни до небес. Момент уравнивания всех со всеми отчетливо звучит в Библии.

- Ага! - воскликнул Шевченко и сказал деду: - Возрождение строительства Вавилонской башни есть низвержение, удаление с пьедестала библейского бога, с маленькой буквы, Яхве. Обобщаю и уточняю еще четче: с падением коммунизма, падает Библия и ее агитпункты - в церкви!

Дед с палкой ходил по комнате, поскрипывая хромовыми сапогами, шурился, подкручивал усы.

- А куда ж нам ходить тогда, если церковей не будет?

Шевченко задумался. В самом деле, куда ходить за вечными истинами людям? Ну, положим, Шевченко ходить никуда не надо, у него свой Вавилон, свой Бабель, не Исаак, хотя Исаак есть тоже и очень нравится Шевченко, но тот Бабель - Баб Эл, то есть врата бога, которые сами по себе есть уже настоящий с большой буквы Бог, потому что в нем все: и Яхве с идишем и ивритом, и Будда с японским, индийским, корейским и др. языками, и Магомет с арабскими, и Аполлон с итальянским, и Пифагор с греческим, и Перун с русским, и Лосский, и Бродский, и участковый, и Чубайс, и все без представительства и с представительством. Шевченко имел в виду представительство, выраженное в текстах, которые он лично отбирал сам, а люди без представительства как бы подразумевались входящими в новую Вавилонскую башню, но не персонифицировались, то есть не вносились в схему.

- Так как сейчас идет возвращение к истине земли, - сказал Шевченко деду, - то есть возвращение к единству людей, отказ от всего национального, движение к единому языку, к равенству стартовых возможностей, следует на время прекратить посещение церковей, где попы, как актеры, переодеваются и поют не своими голосами.

Дед сел на кровать, оперся на палку и задумался. Шевченко продолжил размышления о Вавилонской башне. Итак, если город

строят оседлые обладатели единого языка, умеющие обжигать кирпич, то башню - кочевники с востока. Если город строится для обитания людей и ради вечной славы, то башня - для спасения от наводнений или для ориентира в пустыне, чтобы не рассеяться. Но Яхве нарушает намерения людей, градостроители перестают понимать друг друга и вопреки их цели рассеяны, строительство прекращается. Город, который по замыслу его строителей должен был стать памятником вечной славы, получает, напротив, бесславное имя: тоже Бабель! Вот так язык, в котором одни и те же слова понимаются по-разному. У западных семитов это "Врата бога", а у восточных семитов - "смешение".

У писателей Библии сюжет возник, по-видимому, после вавилонского пленения, ибо тексты записывались после событий, а не во время. Дело в том, что пока простак строили из камня, мудрецы строили из слов. И Шевченко перехватывает у мудрецов инициативу и включается на равных с ними в строительство словесного Вавилона. То есть, отныне, перестает существовать библейский вопрос, поскольку строительством из слов умеют заниматься многие писатели. Таким образом, второе тысячелетие в корне меняет систему ориентиров и координат. Борьба бога с антихристом приравнивается к борьбе Карпова с Каспаровым... Второе тысячелетие само по себе исчезает. Назначается новое летоисчисление: 2001 год становится просто 1 (первым) годом равных возможностей: все боги, тираны, христы и антихристы и т. д. и т. п. - отменяются. Материальные постройки сохраняются и в них развертываются экспозиции по окончанию всемирно исторического мошенничества со всеми этими богами, литургиями, со всей этой маниакальщиной, коммунизмами, капитализмами...

- Я убью тебя, как этого змея! - вскричал дед и поднял посох.

Шевченко испуганно уставился на Георгия Победоносца, поражающего змея. Георгий был изображен прекрасным юношей, с короткими курчавыми волосами, в воинских доспехах. Его фигура находилась в энергичном повороте, подчиненном усилию высоко поднятой руки с длинным копьём. Копье вонзилось в алую пасть змея, извивающегося от боли. Белый конь, алый плащ Георгия, алая пасть змея, золотой фон иконы.

- Не трогай, не шевели прошлое, не шевели сложившееся! - кричал Георгий с иконы. - А то будешь извиваться от боли, как этот змей подо мной!

Не отводя взгляда от иконы, Шевченко сказал:

- Да-да, ты прав, прав, очень даже прав. Я устремился в своих мыслях не туда. Я только составляю башню, ничего не изменяя в прошлом. Я, даже если захочу, ничего не смогу изменить в прошлом. Я даже не могу изменить нынешний герб России, где ты, Георгий, эмблематично помещен на грудь византийского двуглавого орла!

- Молодец! - похвалил дед, встал и, постукивая палкой, пошел в коридор.

В коридоре было пустынно. Соседи вывезли все свои корыта, велосипеды, сундуки и ящики. Шевченко заглянул в комнату Ивановых. Комната метров в двадцать, окнами на улицу, паркет неплохо сохранился. В комнате Зинченко Шевченко включил свет. Тут паркет был выкрашен масляной краской, испортили паркет. Комната была узкой и длинной. Комната бабы Мани была когда-то, видимо, детской. А самой большой была комната Сысоевых, с тремя широкими окнами, как зала для балов.

- Прекрасно! - с чувством сказал Шевченко и провальсировал. Потом принялся ходить по всей квартире, энергично ходить, стуча каблуками, как хозяин, дыша полной грудью. Коридор от входной двери до конца равнялся тридцати шагам!

После некоторого возбуждения Шевченко мало-помалу успокоился, понимая, что счастье его иллюзорно. Ведь Тофик говорил о том, что им нужны помещения в центре. Стало быть...

Зазвонил телефон.

Шевченко снял трубку.

- Георгий Павлович?

- Да.

- Это вас из регистрационной палаты. Ваша фирма "Терапевтические услуги Шевченко Г.П." зарегистрирована. Если вам не трудно, зайдите к нам завтра часиков в одиннадцать...

И последовал адрес регистрационной палаты. Повесив трубку, Шевченко привалился к стене у телефона в глубокой задумчивости.

- Вот тебе и Бабилон! - прошептал Шевченко и продолжил размышления вслух: - Что же мне тут частную клинику открывать? Угу. Да-а. Э-э-э... Что ж... А может быть, это и правильно? Правильно! Нужно смыть все с себя, смыть!

И он направился в ванную, осиротевшую без стиральных машин, тазов и ведер соседей. Включил горячую воду и принялся раздеваться.

- Смыть! - воскликнул он и шепотом продолжил: - Кто я? Кто? Что совершил такое! Я совершил такое! Кто я?

Откуда-то из коридора донеслось басовитое:

- Ты - Георгий!

Шевченко в трусах, босиком вышел в коридор. А, это дед разгуливал со своим посохом.

Шевченко залез в ванну, блаженно растянулся в горячей воде. И лежал так, парясь, и хотя в воде не парятся, а в пару парятся, но млел, как давно не млел, потому что прежде ванная всегда была занята соседями. Шумела вода и сквозь этот шум Шевченко показалось, что раздались звонки в дверь. Он выключил воду, прислушался. Звонки повторились. Как это неприятно вылезать из ванны, когда только-только разнежился, когда еще не прикоснулся к мылу!

Обмотавшись полотенцем, Шевченко пошел к двери. Звонки повторились. Шевченко посмотрел в глазок. Увидел какого-то незнакомого мужчину с простецким лицом.

- Кто? - спросил Шевченко недоуменно.

- Да это я, Попов.

- Какой еще Попов?!

- С вехселем к Федору Михайловичу, - пояснил пришедший и добавил: - Мне Фридман сказал, что Федор Михайлович дома.

Пожав плечами, Шевченко открыл дверь и впустил Попова. Тот, увидев, что Шевченко обмотан полотенцем, стоит босиком и с него стекает вода, извинился и спросил, где находится комната Федора Михайловича. Шевченко сразу сообразил, в чем дело и, мысленно определив Достоевскому самую большую комнату, комнату Сысоевых, указал Попову на их дверь. Попов подошел к ней, постучал. К изумлению Шевченко из-за двери послышался хриплый, как бы простуженный голос:

- Входите!

Попов открыл дверь. Шевченко увидел Достоевского за широким письменным столом с зеленым сукном. Попов вошел, дверь закрылась. Шевченко в восторге смотрел на дверь некоторое время, затем побежал в ванную домываться. И пока мылил голову, все думал, как бы ему не ударить в грязь лицом перед Достоевским,

как бы так настроиться, чтобы не сморозить какую-нибудь чепуху, а говорить умно и возвышенно. Да что тут искать! Вавилонская башня - вот тема, достойная беседы с Достоевским! Однако тут же Шевченко себя притормозил. Дело в том, что он вспомнил слова Попова о том, что Фридман ему сказал, что Федор Михайлович дома. Интересная картина получается! Фридмана нет в живых, а Попов говорит, что он у него был?

- Да,- сказал сам себе Шевченко.

После мытья, когда уже был одет, Шевченко первым делом позвонил Фридману. Тот снял трубку сам. У Шевченко началось сердцебиение и в голове закололи иголки.

- Георгий Павлович, все в порядке! - весело сказал Фридман. - Тут ко мне подъезжали товарищи из Солнцева и все объяснили. Я, откровенно, не был в курсе, что у вас своя фирма...

- Разве я вам не говорил, что у меня фирма "Терапевтические услуги"? - не своим голосом сказал Шевченко.

- Может быть, говорили, но в этой закрутке разве упомнишь, - оправдался Фридман и спросил: - Ну как вам на Второй Парковой живется?

Шевченко вполне спокойно перенес этот вопрос, сказал:

- Хорошо, зелень и все прочее.

- Я рад за вас! - сказал Фридман и, любезно распрощавшись, положил трубку.

Шевченко вышел в глубокой задумчивости на кухню, выглянул в окно и поразился: вместо привычного пречистенского двора, заставленного иномарками, обнаружил скверик, а за ним точно такую же пятиэтажку, в которую вселился сам.

- Так, - сказал сам себе Шевченко. - Либо я спал, когда меня сюда перевозили, либо у меня что-то случилось с мозгами.

Он оглядел кухню. Увидел полку со своими мисками и дуршлагами и вспомнил, что сам сидел под этой полкой и ел. Ладно, это все допустимо. Переехал, так переехал. Но Попов?! Шевченко пошел в коридор. Да это вовсе был не коридор, а какая-то запятайка! Далее, подумав, заглянул в большую комнату - книги были на месте, вся комната в книгах. А где же машина?

Шевченко быстренько собрался, проверил ключи, документы, и побежал на улицу. Однако выскочил в старый двор. Его машина была на месте. Открыл дверь, сел за руль, воткнул в замок зажигания ключ, выжал сцепление, завел. И что дальше? Космос? Или

все-таки разобраться в происходящем. Первым делом съездить на работу и найти ту газету. Поехал.

Приятно светило солнце. По Пречистенке двигались машины. На Волхонке постоял у светофора, ожидая включения зеленой стрелки. Миновал мост, свернул под мост...

Газета валялась в ординаторской. Шевченко нашел ту самую заметку, вчитался. Да, на Zubovskoy площади был изрешечен "мерседес" директора крупной фирмы Фролова, сам Фролов, его шофер, телохранитель и главный бухгалтер на месте происшествия скончались... - А-а! - воскликнул Шевченко, чем напугал медсестру. - Фролов скончался?

- Скончался, - равнодушно подтвердила медсестра.

Шевченко сориентировался, приложив для этого немало усилий:

- В реанимации?

- Угу.

Шевченко подумал о заметке в газете. Что же там за фамилия напечатана? Попросил медсестру прочитать заметку вслух. Та, с подозрением взглянув на Шевченко, прочитала. У нее фамилия получилась: "Фирсов".

Шевченко облегченно вздохнул и успокоился. Надев свой белый халат и повесив на шею никелем поблескивающий стетоскоп, Шевченко пошел на обход. В седьмой палате больной Иванов спросил:

- Нельзя мне операцию сделать?

У этого молодого парня, уже алкоголика, был, как и у покойника Фролова, цирроз.

- Рановато, - сказал Шевченко. - В хирургию всегда успеете поехать. Я вас вылечу. Только дайте слово, что пить больше не будете.

- А зачем жить тогда?!

- Спросите у Бога, - ответил Шевченко.

В общем, дежурство протекало, как и обычно. Как и обычно, Иванов заорал ночью, и его отправили в реанимацию.

Утром, сдав дежурство, Шевченко сел в машину, завел и хотел уже ехать, но задумался. Куда ехать? На Вторую Парковую? На Пречистенку? Может быть, он живет и там, и там? Ключи! Он же

должен помнить ключи от квартиры. Но к ужасу Шевченко, у него оказалось две связки ключей: и от Второй Парковой - английский желтый, и длинный серый с бородкой; и от Пречистенки - английский никелированный, и английский из простого металла. Так. Неплохо в нынешние времена иметь две квартирki! Может быть, одну сдать за валюту? Однако прежде чем сдавать, нужно окончательно убедиться в наличии двух квартир.

Сначала Шевченко поехал на Вторую Парковую, через три вокзала, через Сокольники, Преображенку, далее направо, по Сиреневому бульвару... Вот его пятиэтажный дом, блочный. Шевченко остановил машину у подъезда. Поднялся на третий этаж к своей квартире. Открыл дверь и...

Попал в плохо освещенный длинный коридор квартиры на Пречистенке! Захлопнув за собой дверь, некоторое время стоял ошалело, затем услышал шум воды из ванной. Должно быть, забыл закрыть. Так и есть, вода стучала по дну ванны. Закрыв воду, прошел на кухню. В окно выглядывать побоялся, а сразу выдвинул из-под стола корзину с картошкой, принялся чистить ее, чтобы поест.

Когда ставил вымытую картошку на огонь, из коридора послышались голоса. Шевченко, вытерев руки кухонным полотенцем, вышел в коридор. А, это Попов прощался с Достоевским.

- Федор Михайлович! - крикнул Шевченко. - Я сейчас пообедаю и зайду к вам поболтать.

- Откровенно говоря, я в эти минуты занят, - простуженным голосом проговорил Достоевский. - Работаю. Диктую Анюте "Игрока".

- Разве Анна Григорьевна приходила? - спросил Шевченко.

- Пока вы были на работе, она пришла, - сказал Достоевский.

- Ну, тогда я вечером загляну.

- Заглядывайте.

Шевченко вернулся на кухню, попробовал варящуюся картошку вилкой, дал ей еще минут десять повариться и машинально посмотрел в окно. То был старый двор на Пречистенке. Для полной достоверности Шевченко сбросил шпингалеты, открыл рамы и, свесившись, проверил, стоит ли его машина внизу под окнами. Машина была на месте.

- Вот так, братец ты мой! - сказал сам себе Шевченко. - Едешь в Индию, попадаешь в Америку!

Поел. Пошел в комнату. Схема с Вавилонской башней была на столе. Открытая папка с фотографиями лежала на полу перед книжным шкафом. Шевченко задрапировал окна, включил настольную лампу и радио "Орфей". Звучал клавесин. Кажется, Рамо.

Шевченко посмотрел на фотографию деда, повздыхал. Затем убрал папку в шкаф. Встал. Вышел в коридор, а коридора не было. Было его подобие, три квадратных метра. Но тарелка немытая должна стоять в кухне? Тарелка стояла. Однако кухня значительно уменьшилась в размерах. За окнами был скверик.

- Нужно ехать на Пречистенку! - твердо сказал Шевченко.

Оделся, закрыл квартиру. Вышел на улицу. У подъезда стояла его "шестерка". Завел, поехал. За Преображенкой свернул на набережную Яузы, выехал к Яузским воротам, свернул на Кремлевскую набережную, миновал Кремль, проехал улицу Ленинку, свернул направо к метро "Кропоткинская", сделал петлю влево, остановился у светофора, поехал по Пречистенке...

Поднялся на второй этаж к своей квартире. Угу. Двери разные: в Измайлово - одна сплошная, коричневая; здесь - двустворчатая под дуб.

Открыл дверь, вошел в квартиру. Фу. Коридор старый, длинный. Тишина. Вода не шумит. Если на столе лежит схема с Вавилонской башней, то это - тупик. Нужно вызывать врача. Врача к врачу. Врачами, о врачах. Нет. Это, известно, чем кончится. Нужно просто спокойно привыкать к новому своему положению, не дергаться. Жить и жить. Работать, работать, работать.

Шевченко осторожно открыл дверь в свою комнату. Вошел. Схемы на столе не было!

- Что и требовалось доказать! - возликовал вслух Шевченко.

Схемы нигде не было. Шевченко обыскал всю комнату. Искал лихорадочно и все думал: кому могла понадобиться его Вавилонская башня? Ну, кому? Кто мог ее утащить? Может быть, Достоевский?

Шевченко вышел в коридор и постучал в комнату Сысовых. Дверь открылась, на пороге стоял Иван Сергеевич Сысоев, водопроводчик, глава семьи и сосед Шевченко.

- Вам чего? - спросил Иван Сергеевич и почесал волосатую грудь. Он был в синей майке.

- Соли, - задумчиво проговорил Шевченко.

- Клава, дай соседу соли! - крикнул в глубину просторной комнаты Иван Сергеевич и ушел.

Клава Сысоева была в ночной рубашке, под которой свободно волновались большие груди. Она протянула Шевченко открытую пачку соли с зеленой надписью "Соль".

- Чевой-то вам, Георгий Павлович, в два часа ночи соль пондобилась? - спросила она.

- Да капусту хочу насолить, - равнодушно ответил Шевченко.

- А-а, - зевнула Сысоева и закрыла дверь на крючок.

Шевченко некоторое время стоял под дверью Сысоевых. Потом пошел к себе, поставил соль на подоконник, за драпировку, и сел за стол. Куда могла деваться схема? Взглянул на часы, дедовские, с боем: было четверть третьего ночи. Любопытно.

Шевченко глубоко зевнул, подумал, и лег спать. Утром он первым делом еще раз поискал схему. Не нашел. Значит, она точно на Парковой. Хоть с одним вопросом покончено. Ну, частичная переброска вещей состоялась. Ага. А почему Сысоевы не выехали, не освободили площадь? Шевченко отдернул занавеску: соли с зеленой надписью "Соль" не было! Приснились Сысоевы. Шевченко вышел в коридор, подошел к двери Сысоевых, постучал:

- Входите! - прозвучал хриплый голос.

Шевченко открыл дверь. За широким письменным столом с зеленым сукном сидел человек, совершенно не похожий на Федора Михайловича.

- Вы кто? - испуганно спросил Шевченко.

- Великий инквизитор! - бросил сидевший и продолжил что-то строчить в толстую амбарную книгу.

Шевченко вытянул руки по швам и стоял так минут пять, пока Инквизитор писал, не обращая никакого внимания на вошедшего.

- Я - Георгий Павлович Шевченко, - напомнил о себе Шевченко. - За документами.

Инквизитор отвлекся от писания, сказал сквозь зубы:

- Возьмите ваши документы на тумбочке.

Шевченко увидел на тумбочке, стоявшей в углу у входа, бумаги. Взял. Тут было свидетельство о регистрации индивидуально-частного предприятия (ИЧП) "Терапевтические услуги Шевченко Г.П.", устав, справка из налоговой инспекции, справка из статистического управления...

Шевченко вышел в коридор, светлый пол покрыт линолеумом, посетители сидят, ожидают своей очереди. Шевченко оглянулся на дверь. На табличке мелькнуло “Инспектор Блинова”. Шевченко понял, что он машинально прочитывает написанное. Еще раз прочитал. Ему хотелось увидеть: “Инквизитор”, или, даже, “Великий инквизитор”, а увидел: “Инспектор Блинова”. Для пущей убедительности приоткрыл дверь и увидел женщину средних лет, пишущую что-то в амбарную книгу.

- Вам чего еще?

- Ничего. Только хотел спросить, что мне теперь делать? - растерянно проговорил Шевченко.

- Как что? Работать!

В коридоре Шевченко постоял немного, давая себе возможность успокоиться. Затем спросил у какой-то женщины:

- А налоги кому платить?

- В налоговую, - ответила, пожав плечами, женщина.

Ничего не понимая, Шевченко еще раз взглянул на дверь Сысоевых. Никакой таблички на ней не было, а документы были в руках. А, это он только что вернулся из регистрационной палаты. Понятно. Решил проверить тот звонок о регистрации. Проверил. Утром встал, позавтракал и съездил в эту палату. Был у инспектора Блиновой. Потом был в налоговой, потом был в банке. На каких-то бумагах расписывался, что-то отвечал.

Итак, по порядку. Сысоевы приснились. В палате был. Фридман жив. Жив ли? Шевченко подошел в раздумье к телефону, набрал номер Фридмана, тот сам снял трубку.

- Слушаю? - сказал Фридман.

- Это Шевченко Георгий Павлович...

- Ну, Георгий Павлович, сколько раз можно звонить! - возмущился Фридман.

- Я хотел спросить: к вам приезжали товарищи из Солнцева?

- Приезжали.

- А на какой улице я живу?

- Вы что, Георгий Павлович, выпили?

- Нет.

- Вы живете на Второй Парковой. Товарищи из Солнцева вам должны были объяснить. Вы живете на Второй Парковой. Там вы прописаны. А фирма ваша - на Пречистенке, в переулке...

- Спасибо. До свидания, - сказал Шевченко и повесил трубку.

Наконец-то наступила ясность. Так. Нет только ясности, как это он, Шевченко, с места на место летает, и кто его вещи перевозит?

Полутемный коридор, длинный. Это приметы Пречистенки. Хорошо. Шевченко, громко стуча каблуками, прошел на кухню. Так. Кухня большая, старая. Две газовые плиты. Пол кафельный. Цвет стен - желтый. Масляная краска. Нет, не так. Нужно все задокументировать. Шевченко пошел в комнату за бумагой. Комната была пуста: ни книг, ни кровати... Ничего. Старый паркетный пол, посеревший от времени потолок с лепниной, стены с трафаретной окраской. Комната большая, метров двадцать пять. Ладно, это можно понять. Допустим, в мое отсутствие, размышлял Шевченко, Фридман прислал машину. Так. Но в квартире никого не было. Что же они дверь ломали? Нет. Все в порядке. Так, нужно напрячься, вспомнить.

Нужно размотать все с самого начала событий. Ага... нет, ничего не понятно. Стоп, стоп. От входной двери Фридман мог забрать ключи у выехавших соседей.

- А почему это три окна! - вдруг вскричал Георгий Павлович.

И понял, что вместо своей комнаты, машинально вломился в комнату Сысоевых. То, что здесь не было Достоевского, его не смутило. Достоевский остается Достоевским. Он всегда есть. Вышел куда-нибудь с Анной Григорьевной.

Шевченко побежал из комнаты Сысоевых в свою комнату. Книжки были на месте, схемы не было. Бумага была. Шевченко прихватил несколько листов и побежал на кухню. Сел за свой стол, положил бумагу и принялся записывать: "Кухня старой квартиры. Допустим, пятнадцать метров. Пол - кафельный. Газовые плиты - 2. Цвет стен - желтый. Из окна - вид во двор. Во дворе много машин. Раковина старая. Вода холодная и горячая". Написав это, Шевченко таким же образом описал коридор, все комнаты и даже уборную. Ничего неестественного в квартире не было. Раздался телефонный звонок. Шевченко снял трубку.

- Дед, привет! - услышал он довольно-таки бодрый голос Гуты.
- Ты переехал?

- Переезжаю, - неопределенно ответил Шевченко.

- А можно я к тебе в гости сегодня приду?

- Куда?

- На новую квартиру.
- Если я скажу нет, ты обидишься?
- Обижусь, - сказала Гута.
- Приходи, - сказал Шевченко. - Как у тебя с этим?
- Нормально. Ты как поедешь, через центр?
- Через центр.
- Подхвати нас.
- Ты не одна?
- С подругой. Через полчаса мы будем стоять на углу Волхонки и Ленивки.
- Хорошо.

Шевченко обрадованно положил трубку. Гута была реальной. Не мог же Шевченко придумать этот звонок! А бумаги о регистрации реальные? Да, они лежали на столе в комнате. Шевченко сунул их в папку с дедовскими фотографиями, убрал в шкаф. И тут задумался. Если все книги здесь, на Пречистенке, откуда могли взяться книги на Парковой? Даже интересно самому стало сейчас съездить на Вторую Парковую.

Гуту, в красной куртке, он заметил издали. Притормозил на углу, задерживая движение машин, посадил Гуту с подругой. Как всегда, постоял перед светофором в ожидании зеленой стрелки, свернул на мост, под мост, по набережной, на Устьинский мост, на бульвар, направо на Покровку. Перед пересечением с Садовой - длинная пробка. Зря поехал по Покровке, нужно было дальше проехать по бульварам, пересечь Мясницкую, а там нырнуть в Костянский. Да уж ладно, поехал так поехал.

- Это Аня, - только теперь, в пробке, представила подругу Гута. Шевченко почему-то вздрогнул от этого имени и спросил:
- Григорьевна?
- Откуда вы знаете? - удивилась подруга.

А Шевченко про себя воскликнул: "Так и знал! Федора Михайловича проводила к Сыроевым, а сама встретилась с Гутой!". Но про Федора Михайловича Шевченко спрашивать все же побоялся.

Оставив машину перед подъездом, Шевченко пошел с гостями на третий этаж. А сердце колотилось от встречи с квартирой. Медленно открыл дверь, вошли в тесную прихожую. Шевченко первым делом ринулся в большую комнату: книг не было. Ничего из мебели не было, лишь на полу лежала схема Вавилонской башни. Увидев эту схему из-за плеча деда, Гута восторженно сказала Ане:

- Смотри, чем дед занимается!

Гута и Аня прошли в комнату и склонились над схемой. Шевченко заглянул в маленькую комнату. Здесь стояла белая табуретка и больше ничего. Пошел на кухню. Пусто. Плита двухконфорочная. Раковина. Вода холодная и горячая. На подоконнике - грязный граненый стакан.

Шевченко взял стакан и зачем-то стал мыть его под струей горячей воды. На кухне появилась Гута, сказала:

- Ничего себе, милая квартирка, сесть не на что! Ты даже ничего еще, дед, не перевез?

- Я так замучился со всеми этими проблемами, что уже ничего не понимаю. Приеду сюда, а кажется, что сижу на Пречистенке. И наоборот. Там табурет стоит в маленькой комнате.

- Да он и не нужен! - воскликнула Гута. - На полу удобнее. Мы водки взяли. Ты выпьешь водки, дед?

- Ты и колешься, и пьешь? Это плохо.

- Нормально, дед! Выпьешь, спрашиваю?

- Если я выпью, то не смогу вас отвезти и мне придется ночевать на полу. Если я откажусь от водки, то ты обидишься, то есть я испорчу себе... тебе настроение.

- Правильно мыслишь, дед!

Занавесок на окнах не было. В комнате было светло. Сели на пол вокруг схемы. Чистый стакан понадобился. Гута деловито налила Шевченко полстакана, вместо закуски предложила пожевать лимонную корочку, обнаруженную на дне сумочки.

От выпитого у Шевченко через несколько минут наступило некоторое просветление. Потом повторили, потом Шевченко отвечал на вопросы Ани по поводу своей Вавилонской башни, а потом он как-то незаметно, после того как повторил водки, задремал, развалившись на схеме.

Словно сквозь сон он слышал, как хлопала входная дверь, как донесся до него из прихожей, или из кухни голос внучки:

- Дуреха, слушай, чего тебе говорят! Охмури его и квартира будет твоя! Неужели ты не можешь охмурить его?

- Он старый, - сказала Аня.

- Ну и дура же ты! В этом вся соль, что он старый! Послышались приближающиеся шаги. Шевченко сделал вид, что крепко спит. Рядом с его лицом звякнули бутылки. Гута коснулась его плеча, потрясла, сказала:

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

- Дед, ну что ты, спать что ли сюда пришел?

Шевченко открыл глаза, сел, кашлянул, сказал:

- На дежурстве всю ночь не спал... Да. Вот и задремал.

Он увидел две новые бутылки водки.

- Откуда? - спросил.

- Сбегали.

Шевченко молча встал и сначала пошел умыться, а потом сказал, что выйдет на улицу взглянуть на машину, но выйдя из квартиры, вниз не пошел, а нажал звонок соседней квартиры. Послышался собачий лай, затем шаги и женский голос из-за двери:

- Кого еще там черт несет?

- Это ваш новый сосед из сорок третьей квартиры.

Дверь открылась.

- Извините, что побеспокоил. Но у меня ничего нет с собой, а я с внучкой приехал... Не могли бы вы одолжить пару стаканчиков?

- Еще чего! - пробурчала женщина, но добавила: - Погодите.

Тут же она вернулась с двумя тонкими стаканами.

- Отмечаете? - спросила более дружелюбно женщина.

- Да так, маленько, - сказал Шевченко и спросил: - А кто прежде жил в моей квартире?

Женщина тупо уставилась в пол, потом грубовато сказала:

- Да жил один ханурик. Пил каждый день, пока не нашли мертвым в третьем подъезде. Так упился, что и подъезды перепутал!

- Спасибо, - поблагодарил Шевченко и вернулся к себе.

Мрачные мысли о том, что, должно быть, "ханурика" убили за эту квартиру, отразились на бледном лице Шевченко, так как Гута спросила:

- Ты чего, дед, загрустил?

Он молча протянул ей стаканы и, как бы размышляя вслух, очень медленно произнес:

- Вся соль...

- Это ты правильно, дед! Вся соль в стаканах.

Спустя некоторое время, он потерял Гуту, как сквозь землю провалившуюся, везде была одна Аня, довольно-таки милая, худенькая, с темными глазами, от которых он уходил, а они все не отставали, и Аня все говорила что-то, и Шевченко вдруг заговорил о чем-то возвышенном, приятном, и ласкал Аню, а она ласкала его, смеялась, и Шевченко улыбался, вглядываясь в ее бездонные темные глаза.

Утром сильно болела голова. А тут еще эта Аня перед глазами. С больной головой повез ее в центр, высадил на Моховой. Поехал на Пречистенку.

Только вошел в квартиру, как услышал телефонный звонок. Звонила Гута.

После обычных приветствий, спросила:

- Как твоя фирма?

Шевченко вздрогнул.

- Какая фирма? - спросил он.

- "Терапевтические услуги"?

Шевченко понял, что вчера проболтался.

- Нормально.

- А как Аня?

- Прелесть, - сказал, чтобы что-то сказать, Шевченко.

- Я через час буду, - сказала, как о давно решенном, Гута.

- А если я буду возражать?

- Обидишь...

- Приходи, - сказал равнодушно Шевченко и повесил трубку.

Голова продолжала сильно болеть. Шевченко принял несколько нужных таблеток. Через некоторое время полегчало. Зашел в ванную побриться.

Потом долго умывался и сквозь это умывание услышал простуженный голос:

- Что же вы не заходите, Георгий Павлович?

Шевченко вздрогнул от испуга, от возвращения Достоевского. Стало быть, не все еще закончено. Когда шел к двери Сысовых, зазвонил телефон. Это звонил Тофик.

- Георгий Павлович, сейчас подойдет машина. Ну, все там погружат, перевезут...

- А мне где быть?

- Вам - на Парковой.

- А здесь?

- Нет. Здесь вам бывать не нужно.

- Понятно, - с дрожью в голосе сказал Шевченко и спросил: - А документы перевозить или оставить?

- Как хотите...

- Не понял...

- Не думайте об этом, - сказал Тофик и напомнил: - В среду жду вас у поэта со стихами!

- Понял, - сказал Шевченко, вспоминая о Даренском, и повесил трубку.

Открыл дверь в комнату Сысовых. Ни Достоевского, ни стола, ни Анны Григорьевны - никого. Три окна на улицу, три квадрата света на полу. Чужая квартира, сам себе чужой.

Как-то странно вел себя Тофик в разговоре. А звонил ли он, или это Шевченко почудилось? Решил сам набрать номер Тофика.

- О, Георгий Павлович! - обрадовался Тофик. - Ну, как там у вас?

Немного отлегло.

- Да вот, получил документы о регистрации фирмы.

- Замечательно.

- Вы мне не звонили только что?

- Помилуйте, зачем я вас буду беспокоить? - удивился Тофик.

Шевченко решил проверить те же пункты:

- Мне где жить, здесь или там?

- Чудак вы человек, Георгий Павлович! Где хотите, там и живите!

Распрощались. Шевченко повесил трубку. Тут же дверь Сысовых приоткрылась и выглянул оттуда худощавый парень, крикнул:

- Если сунешь мне вексель, убью! - И скрылся.

Ну, началось, подумал Шевченко, и поплелся в свою комнату. Открыл Бахтина: "Мое последнее слово лишено всех завершающих, положительно утверждающих энергий, оно эстетически непродуктивно...". Едва погрузился в прекрасный текст, как раздались звонки в дверь, на которые, собственно, Шевченко мог бы не реагировать, но он реагировал, как будто кто-то водил его на привязи, пошел к двери, припал к глазку и увидел все того же Попова, даже спрашивать не стал, а просто открыл дверь. Попов, покашливая, вошел.

- Я с векселем к Федору Михайловичу, - сказал он извинительным тоном, и по его простецкому лицу разлилась улыбка.

- Да я уж в курсе. В который раз вы навещаете нас!

- Что делать, - вздохнул Попов. - Деньги не отдают-с Федор Михайлович. Говорят, что нету денег у него теперь. А мне надобны теперь средства к существованию.

- Господи! - воскликнул Шевченко. - Да сколько он вам должен?

- Двести пятьдесят рублей...
- Рублей?
- Какая разница - рублей, рублей... Только вот отдал бы, я бы и перестал вас беспокоить...

Вновь раздался звонок в дверь. Попов оглянулся испуганно, а Шевченко посмотрел в глазок и обомлел. Там стоял Иван Сергеевич Тургенев, поглаживал седеющую бородку.

Шевченко дрожащей от волнения рукой распахнул дверь. Тургенев молча вошел в квартиру, спросил:

- Господин Достоевский дома?
- Дома, - поспешил ответить Шевченко и спохватился, дома ли на самом деле Федор Михайлович?

Сам подбежал к двери Сысовых, отворил дверь и облегченно вздохнул - Достоевский был на месте. Достоевский работал. Не хотелось беспокоить его. Как бы что-то придумав, Шевченко сказал:

- Господа, мне поручено расплатиться с вами. Прошу проследовать ко мне.

Гости последовали в комнату Шевченко. Войдя, они с изумлением стали оглядывать книжные залежи.

- Господа, - начал Шевченко, - я должен заметить, что нахожусь в некоторой растерянности по поводу надлежащей вам к возврату суммы... С тех пор, с ваших пор, все так изменилось, измельчало, раздробилось...

- Что измельчало? - спросил Тургенев.
- Что раздробилось? - спросил Попов.
- Деньги, господа, деньги! - сказал Шевченко. - Не хотите ли получить в долларах?

- Нет, - начал Попов, - мне надобно в рублях-с. Давайте мне мои двести пятьдесят и дело с концом.

- А мне - триста, за повесть по журналу "Эпоха", - сказал Тургенев, присаживаясь на кровать.

- Послушайте, на триста рублей батон хлеба вы теперь не купите!

- Французская булка стоит три копейки! - сказал Попов.

А Шевченко вспомнил про копейки.

- Нет теперь таким денег! Нету копеек!
- Как нету? - изумился Тургенев. - Георгия Победоносца нету?!

Снова раздались звонки в дверь. Шевченко с чувством захлопнул Бахтина, пробормотал: “Сволочи, не дают поработать”, плелся открывать. Посмотрел в глазок, увидел Гуту, открыл.

- Пойдем, пойдем скорее, - сказал Шевченко, подхватывая под руку Гуту, - я тебя познакомлю.

Тургенев по-прежнему сидел на кровати, а Попов стоял у книжного шкафа и смотрел в окно.

- С кем ты меня хочешь познакомить? - спросила Гута, оглядывая комнату и никого в ней не находя.

- А вот с Иваном Сергеевичем Тургеневым...

Как показалось Шевченко, Гута пошла прямо на Тургенева и села ему на колени, затем Тургенев как бы растворился в воздухе, а Гута осталась сидящей на кровати. Шевченко присвистнул от удивления, почесал затылок и, как показалось Гуте, слегка покраснел.

- Дед, не переживай, - сказала Гута, - я все заметила! Крыша поехала? Так это нормально. Я все время бегая со съехавшей крышей и ничего, живу! Я еще докажу им, сволочам! Я им покажу, кто я такая! Я задумала поэму “Черновик!” Это черновик моей души с уехавшей крышей! Я рожу ребенка и воспитаю его, я даю тебе слово! Не переживай, дед! Твой сын, а мой отец - сволочь. Он отрекся от нас с тобой!

- Да, - подтвердил Шевченко, - он отрекся от меня. Десять лет не звонит, не появляется. А мне зачем звонить ему? Чтобы он послал меня куда подальше?! И все из-за чего? Из-за жилплощади. Не захотел я тогда участвовать в размене, съезжаться, разъезжаться!

- И правильно сделал! Мы им всем докажем! Шевченко услышал звонки в дверь, но не дернулся, остался за столом и, уставившись на Гуту, спросил:

- В дверь не звонят?

- Нет, дед. Сиди спокойно. Когда позвонят, я скажу. Вообще, мой дорогой, в таком состоянии тебе нельзя быть одному. Да ты еще на машине, как сумасшедший, летаешь! Тебе нужна Аня. Разве ты не понял, почему я ее с тобой познакомила...

- Чтобы занять мою квартиру на Парковой...

- Плоско мыслишь, дед! Она будет отличать твои звонки от настоящих! Понимаешь меня? Ты после смерти бабушки, откровенно говоря, сильно сдал. За тобой нужен уход. Иначе ты со своей Вавилонской башней можешь таких дел натворить!

- Каких?

- Тебе виднее с башни. Ну, например, возьмешь Тургенева и пойдешь с ним в Кремль просить индексации трехсот рублей, которые ему должен Достоевский, не так ли?

Шевченко было очень стыдно перед внучкой за свою поехавшую крышу, очень стыдно, так стыдно, как будто у него не было носа.

- Не дай бог, еще майор Ковалев придет, - вздохнул Шевченко.

- Ну вот, видишь... Поэтому, действовать нужно срочно. Надевай пиджак, пошли к нотариусу...

- Пошли, - сказал Шевченко.

В нотариальной конторе была очередь, но Гута попросила немного денег - пять долларов, - сунула кому надо и проскочила в кабинет с дедом вне очереди. Составили завещание на квартиру в пользу Гуты. На обратном пути Гута сказала:

- Это жизнь, дед! Теперь тебе нужно бросить больницу и сидеть дома под присмотром Ани. Я же не могу с тобой сидеть!

На лестнице Шевченко поджидали двое. Один прошипел:

- Если не оплатишь вексель, повесим!

Шевченко схватился за локоть Гуты, вскричал:

- Кто это?

- Где?

- Да вот же они, двое!

- Успокойся, дед, никого тут нет...

Но Шевченко видел этих двоих, дрожал и никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Гута помогла, хотя у нее тоже заметно дрожали руки. В коридоре, длинном, полутемном, она сказала:

- Нужно кольнутья, дед.

Прошли в комнату, в которой Шевченко с недоумением обнаружил на столе схему Вавилонской башни.

- Как она сюда попала? - вскричал Шевченко.

- Кто?

- Схема, схема, схема! - кричал и тыкал пальцем в стол Шевченко.

Гута пожалала плечами, не видя на столе никакой схемы, сказала:

- Мы же на ней выпивали в Измайлово! А здесь ее нет на столе...

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

- Мне показалось, - сказал Шевченко, ощущая холодный пот на лице. - Значит, в Измайлово схема есть?

- Да есть, - подтвердила Гута. - На полу, в большой комнате.

- Понятно, - тихо сказал Шевченко, достал шприц, ампулу...

Руки почему-то перестали дрожать, вспомнили профессиональную выучку. После укола Гута некоторое время полежала на кровати с закрытыми глазами, потом, повеселевшая, села и сказала:

- Полный порядок...

В это время Шевченко услышал звонки в дверь, направился открывать. Гута звонков не услышала.

- Куда ты? - спросила она.

- Звонят, - сказал Шевченко.

- Никто не звонит.

Шевченко остановился и вдруг крикнул:

- Молчать! Мне нравится встречать гостей Федора Михайловича!

И пошел к двери. Пока он к ней подходил, звонки прозвучали еще раз. Шевченко посмотрел в глазок. Попов был тут как тут. Счастливый Шевченко открыл дверь. Попов вошел.

- Господин Достоевский дома? - тихо спросил Попов.

- А я вам рад! - с чувством сказал Шевченко. - Я уже так к вам привык, просто не знаю, как и выразить мою радость.

- Радость радостью, - сказал Попов, поглядывая на дверь Сысовых, - а вот деньги-то нужно Федору Михайловичу возвращать. У меня совсем не остается средств к существованию.

Не глядя на Шевченко, Попов быстро подошел к двери Сысовых, постучал. Простуженный голос сказал:

- Входите!

Шевченко смотрел на Попова, Попов на Шевченко, и они вместе, не задев друг друга в дверях, вошли в комнату. Федор Михайлович, сутулясь и покашливая, ходил по комнате и диктовал Анне Григорьевне "Игрока": "Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь одиннадцать часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтобы играть для Полины Александровны. Я взял все ее сто шестьдесят фридрихсдоров, но под двумя условиями: первое - что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе, второе..."

- Второе, - сказал Попов, - верните мне, пожалуйста, долг.

Достоевский отвлекся, взглянул на Попова мутным взглядом, как будто Попова вовсе не было в комнате. Затем перевел взгляд, более осмысленный, на Шевченко.

- Георгий Павлович, дорогой, вы же обещали в счет вашего первого романа оплатить мой долг в двести пятьдесят рублей господину Попову, не так ли?

- Разумеется, Федор Михайлович. Но почему вы сказали, что в счет моего первого романа? - удивился Шевченко.

- Потому что вы его сегодня вечером начнете писать, ввиду того, что ваша крыша съехала ровно настолько, насколько это требуется для написания романа.

- Правда? Вы думаете, что я готов?

- Я сегодня додиктую "Игрока" и передам вам для работы Анну Григорьевну.

- Но вам же до конца "Игрока" еще много нужно времени на диктовку!

- А я - дискретно.

- Понятно.

Попов кашлянул, напоминая о себе. Шевченко взял его под руку и повел к себе, отдавать долг за Федора Михайловича. В коридоре Шевченко увидел Гуту, направляющуюся к двери.

- Ты куда? - спросил Шевченко.

- Звонили же!

Гута впустила в квартиру Аню. Та улыбнулась Шевченко и чмокнула его в щеку.

- Анна Григорьевна, как я рад вас видеть! - обрадованно сказал Шевченко, теряя из виду Попова. - Но вы же еще должны дописать "Игрока"?

- "Игрок" уже написан, - нашлась Аня.

- Сейчас проверим, - сказал Шевченко и открыл дверь Сысовых.

Комната с тремя окнами была пуста. Три светлых пятна лежали на старинном паркете. Шевченко пожал плечами, но ничего не сказал.

- Отличная комнатка! - воскликнула Аня.

- Стоит за нее поработать? - спросил, подмигнув ей, Шевченко.

- В каком смысле? - спросила Аня.

Заложив руки за спину, Шевченко вошел в комнату Сысовых, не спеша прошелся из угла в угол, затем сказал твердо:

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

- Пишите заявление!

- Какое?

- О приеме на работу в фирму "Терапевтические услуги" на должность референта с окладом пятьсот долларов в месяц! - торжественно проговорил Шевченко, продолжая ходить из угла в угол.

- Прямо сейчас писать? - удивленно спросила Аня.

Гута толкнула ее в бок, сказала:

- Пиши, пока предлагают место, дуреха! Эта квартира вся принадлежит деду! Это юридический адрес его фирмы!

Аня откинула голову назад и закатилась таким мелким, веселым смехом, как будто только что хитро надула кого-то. Когда прошли в комнату Шевченко, Аня все не находила себе места и не знала, какую принять позу и что делать, после того как написала заявление, чтобы не изнемогать от избытка приятных мыслей. Она сама теперь прекрасно понимала, что счастье хлынуло на нее, как весенний ливень, освеживший и тело, и душу. Она поняла, что родилась счастливой, ее глаза, большие, темные, с поразительной глубиной, выражали томительное счастье. И все движения Ани это счастье подчеркивали. При виде счастливой Ани, Шевченко стало немного грустно и ему тоже захотелось счастья, хотя он знал давно, что такое счастье у него есть - каждодневная работа над Вавилонской башней.

После этого Гута распрощалась и ушла, оставив деда с Анной Григорьевной наедине. Глядя на эту молодую женщину, Шевченко подумал о бесконечности человеческого потока и почувствовал, что жизнь как таковая, в повседневном своем облике, надоела ему и стала невыносимо тяжелой. С чего это началось? С двойственности всего на свете, неопределенности и эфемерности, когда невозможно ухватить постоянно ускользающий смысл жизни.

- О чем вы задумались? - спросила Аня.

- О чем-то таком, что не поддается определению, - сказал Шевченко и взглянул на Георгия Победоносца. - Откровенно говоря, милая Аня, я устал от комплектования знаний.

- Интересно, - сказала Аня.

- Может быть, может быть... Но неужели знания - это змей! Змей, такой же, как вон на той иконе? Десятилетиями я слагаю свою Вавилонскую башню и не нахожу успокоения в знаниях. Вместо знаний какие-то подонки мне угрожают, пытаются выбросить

меня на улицу, решают за меня мою жизнь. Как это можно понимать? Всю свою жизнь я посвятил книгам. Я боюсь пропустить новую книгу. Покупаю, покупаю, покупаю. Читаю, как заведенный. Хочу представить сразу все написанное до этого момента с самой первой книги, с какой-нибудь глиняной таблички. Каждый талантливый человек в истории хотел подать свой голос, отметить себя. Вот и наотмечались. Горы книг, миллиарды названий. Вавилонская башня. А знания не помогают. Я перехожу от одной книги к другой, но все куда-то проваливается, в памяти остается какая-то сущая чепуха... Вы записываете?

- Нет, - сказала Анна Григорьевна.

- Почему? - удивился Шевченко. - Вы же закончили курсы стенографии! Умеете конспектировать!

- Что вы, откуда вы это взяли? - смутилась, даже покраснела Анна Григорьевна.

- А как же вы будете за мной записывать? Ведь выговориться - это единственная возможность оставить часть себя в этом мире, в виде книги. Книга - это душа в знаках!

Аня задумчиво смотрела на икону Георгия Победоносца.

- А змея - это действительно знания? - наивно спросила она.

Шевченко не обратил внимания на этот вопрос и повторил свой:

- Как же вы будете записывать?

- Да купите диктофон и записывайте!

Шевченко с чувством шлепнул себя ладонью по лбу, вскричал:

- Как же я раньше этого не придумал, а?! Точно. Диктофон. Пошли!

- Вам нельзя выходить, - сказала спокойно Аня.

- Нет, пошли!

Они вышли во двор. Шевченко завел машину, Аня села в страхе рядом, опасаясь, что сейчас Шевченко куда-нибудь врежется. Но он вел машину уверенно, вовремя остановился перед светофором на Зубовской, затем, на зеленый свет, пересек кольцо, на Пироговке свернул в Трубецкую, выехал на Комсомольский проспект, свернул направо, на маленькую дорожку, и остановился у магазина радиотоваров. Там ему приглянулся маленький, карманный диктофон "Сони". На вопрос Шевченко, сколько времени

продолжается запись, продавец ответил, что более двух часов на одну кассетку. Кассетки были маленькие, как спичечные коробки. Этих кассеток Шевченко купил десяток.

Когда садились в машину, чтобы ехать назад, Шевченко сказал:

- Карманная Анна Григорьевна!

И положил в карман диктофон.

По пути заскочили в продовольственный магазин. Аня сама покупала мясо, рыбу, картошку, капусту, лук, макароны, колбасу, сыр, масло... Потому что с продуктами в доме Шевченко было туго.

Пока он пробовал записывать свой голос на диктофон, Анна Григорьевна возилась на кухне с приготовлением обеда. Она решила сварить щи с мясом, нажарить картошки, а в духовке запечь рыбу.

Шевченко включил диктофон и проговорил:

- Три, три, три. Проверка записи. Неужели змей - это знания? Знание, в которое нужно воткнуть копьё, в алую пасть знания воткнуть копьё, а если не воткнешь, то эти знания расшевелят твою крышу и она поедет!

Он прервался и выключил диктофон. Отмотал пленку на начало, включил и приложил диктофон к уху. Он услышал:

- Три, три, три. Проверка записи. Неужели змей - это знания? Знание, в которое нужно воткнуть копьё, в алую пасть воткнуть копьё, а если не воткнешь, то эти знания расшевелят твою крышу и она поедет!

Выключил. Затем, весело блеснув глазами, вновь включил диктофон, убрал его в карман и пошел на кухню. Анна Григорьевна резала капусту для щей. Пар поднимался из раскрытой кастрюли, в которой закипало мясо.

- Как дела, Анята? - спросил Шевченко, взял ложку и принялся снимать пену из кастрюли.

- Скоро будет готово, Георгий Павлович.

- Хорошо. С удовольствием поем щей. Питаюсь я беспорядочно, от этого, видимо, сдвиг по фазам происходит... Вообще от многих знаний - многие беды. Что такое все книги мира? Это, разумеется, Вавилонская башня, но перевернутая, основание вверху и оно расширяется, а острием уходит в землю, вернее, в мозг человека, как копьё Георгия Победоносца в алую пасть

змея. Стало быть, змея можно принять за незнание! Вот в чем двойственность мира! Да, Георгий наш святой бьет копьем в незнание. А может быть, и в знание. Ибо знание не спасает, знание ничего не решает... Хотя... Что ты думаешь об этом, Анюта?

- Георгий Павлович, вы чудной человек! Вы же видите, что я занята, а вы под руку что-то говорите, что, я не понимаю!

Шевченко пожал плечами и молча пошел в комнату. Там он вытащил диктофон из кармана, перемотал пленку на начало и включил воспроизведение. Сначала прошла первая запись, где он говорил о проверке записи, затем началась вторая запись:

- Как дела, Анюта? - услышал он свой голос, а дальше - ничего, тишина, затем опять его голос: - Хорошо... - звучал его голос до слов: - Что ты думаешь об этом Анюта? - и опять тишина.

Шевченко вздрогнул от испуга пустоты. Не было на пленке голоса Анны Григорьевны! Он еще раз отмотал пленку, еще раз включил - не было голоса Анюты, не было! Шевченко стало вдруг так страшно, что он как бы вдавился в стул, на котором сидел, как бы съехал под стол. Это дело нельзя так оставлять, - подумал он, - нужно как-то распознать это пустое место! Он впал в какую-то прострацию, но его отвлек звонок в дверь. Сначала Шевченко не хотел идти к двери, но потом, подумав и странно улыбувшись, включил диктофон, сунул его в карман и пошел открывать, прежде, конечно, взглянув в глазок.

Так и есть. Это приплелся все тот же Попов. Шевченко открыл дверь. Попов, посапывая, вошел в квартиру.

- Извините милостиво, что одолеваю вас каждую минуту, но не могу же я жить без средств. Скажите, пожалуйста, дома ли ныне Федор Михайлович?

- А давайте вместе посмотрим, - хитро сказал Шевченко.

Они подошли к двери Сысовых, и сам Шевченко постучал. Из-за двери донесся такой знакомый, болезненный голос Достоевского:

- Входите!

Вошли. Достоевский сидел, осунувшись от усталости, за столом и продолжал диктовку "Игрока". Анна Григорьевна сидела тут же и строчила в тетрадь. Шевченко решил испытать эту Анну Григорьевну и обратился к ней:

- Анна Григорьевна, у вас там щи не выкипят?

- Ну, что вы, Георгий Павлович! - улыбнулась та. - Я время от времени выхожу на кухню, проверяю, помешиваю.

- А это все вы! - изумился Достоевский появлению приснопамятного Попова. - Вам что, еще не вернули долг?

- Так вы мне должны, Федор Михайлович, Вы. И нашими деньгами! У Георгия Павловича другие рубли-с, измельченные, раздробленные. Россия-то перед долларом ползает на коленках!

- Неужели? - удивился Федор Михайлович. - Я на сто рублей две недели жил в Дрездене! Зачем же я тогда роман свой диктую, если в России рубли раздробились?

- Не знаю, Федор Михайлович, это ваше дело сочинять-с, мое дело получить с вас долг по векселю. Ну сколько вы можете душу мою мытарить, отдайте ради Христа мои двести пятьдесят рублей!

- Рублей, - поправил Шевченко.

- Какая разница, - огорчился Попов, - рублей, рублей... Федор Михайлович, молю, отдайте долг! Шевченко не дослушал разговор, выскочил из комнаты и побежал к себе. Сел на кровать и в сильном волнении, пока отматывалась пленка, ожидал результата записи.

Включил и чуть не упал с кровати. Из диктофона послышался четкий голос Попова:

- Извините милостиво, что одолеваю вас каждую минуту, но не могу же я жить без средств.

Шевченко обалдело слушал, волновался за Анну Григорьевну, проявится ли она. И она проявилась. И что самое фантастичное - записался голос Достоевского, самого Федора Михайловича:

- ...Я на сто рублей две недели жил в Дрездене! Зачем же я тогда роман свой диктую, если в России рубли раздробились?..

Шевченко встряхнул головой, потому что понимал, что такого быть не может, чтобы записывалось то, что, он это-то понимал, существовало в воображении!

Что за вздор! У Шевченко сильно билось сердце и он сидел без движений, обхватив голову руками, и ему казалось, что у него и у Достоевского есть что-то общее в жизни. Живут бок о бок в ненадежных квартирах, с которых постоянно сгоняют, а они цепляются за помещения, потому что на улице не поживешь, цепляются друг за друга, и этот Попов олицетворяет какую-то невидимую, но значительную и необходимую связь, крепкую связь, подобную

той, что создает сам Шевченко в своей Вавилонской башне. Ни одна книга не существует сама по себе, она кровно связана, если хорошо подумать, с предшествующими книгами, как человек связан со всеми жившими до него людьми. Все связано со всем, все имеет одну грандиозную душу, постичь которую и нужно в жизни, проникнуть в существо таинственной цели, стоящей перед этой душой. Но это такая огромная работа, которая не по силам простому человеку, даже, вероятно, не задумывающемуся над этой проблемой, эта работа для бесстрашных одиночек, становящихся неврастениками из-за того, что реальная, постоянно ускользающая жизнь врывается без спросу в эту работу, нарушает эту работу, считая ее ненужной, эфемерной, случайной. Так мыслят и те, кто считает и жизнь свою случайной. Но ничего нет случайного в мире, и не случайно Шевченко возводит свою интеллектуальную Вавилонскую башню, не случайно, а так написано у него на роду. И его судьба вплетена накрепко в другие судьбы, составляющие, собственно, могучий духовный организм Вавилонской башни, чудесной и разумной.

Немного погодя Шевченко услышал звонок в дверь, но не стал реагировать на него, потому что не поверил в этот звонок. Но звонки продолжались. Аня заглянула в дверь, спросила:

- Открыть?

Значит, звонки были настоящими, ускользающими. Шевченко решил, что все реальное - ускользает, а нереальное - остается.

- Открой, - согласился Шевченко, понимая, что и звонки, и Аня сбили его с мысли о единой человеческой душе.

Через минуту в комнату вошел удивленный Даренский, с пухлым портфелем. И только теперь Шевченко обнаружил поразительное сходство Даренского с Достоевским, словно оба сошли со знаменитого портрета Перова.

- Я уж испугался, не случилось ли что! - начал Даренский, приживаясь к столу. - А вы дома! Что же вы сегодня на дежурство не явились? - спросил он.

Шевченко вздрогнул и понял, что со всей этой катавасией совсем забыл о работе.

- Приболел что-то, - сказал Шевченко. - Кашель, грудь давит, голова трещит... Должно быть, подхватил где-то грипп...

- Да, сейчас грипп разгулялся... Я несколько раз звонил, но никто не снимал трубку.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Шевченко вопросительно уставился на Даренского, спросил:

- А кто вам открыл?

- А там у вас открыто... Я позвонил, потом тронул дверь, она и открылась...

Шевченко вдруг оживился, взял диктофон, показал его Даренскому и сказал:

- Вчера купил. Интересная штучка. Разрешите проверить ваш голос?

Даренский стеснительно пожал плечами.

- Пожалуйста.

Шевченко нажал на запись.

- Проверка записи, - сказал Шевченко. - Радио "Орфей" - лучшее радио в России... Вы согласны?

- А что это за радио? Я не слышал. Вообще не слушаю радио.

Шевченко остановил запись. Даренский с любопытством смотрел на черную коробочку с поблескивающей никелем надписью "Сони". Шевченко отмотал пленку, включил воспроизведение.

- Проверка записи, - сказал Шевченко. - Радио "Орфей" - лучшее радио в России... Вы согласны?

- А что это за радио? - Я не слышал. Вообще, не слушаю радио.

Даренский улыбнулся и сказал:

- Голос все-таки изменяется. Вообще странно слушать себя со стороны...

- Конечно, странно! - почти с ликованием воскликнул Шевченко, убеждаясь в достоверности коллеги.

- Сегодня вторник, Георгий Павлович, - напомнил Даренский. - Я решил быть пунктуальным, так что все привез.

Пока переключали коробки с ампулами из портфеля в портфель, Шевченко все думал о том, почему входная дверь оказалась незапертой. Видимо, сам, когда впускал Попова, забыл закрыть. И тут светлый луч озарил сознание Шевченко. Он предложил послушать беседу свою с Достоевским.

Когда Достоевский сказал: "... Я на сто рублей две недели жил в Дрездене...", - Шевченко подскочил от удовольствия на стуле. Выключил диктофон и спросил:

- Кому принадлежит этот голос, знаете?

- Как кому? Это ваш голос! - отчуждил Даренский.

Шевченко быстро взял себя в руки.

- А ведь, правда, не очень похож на мой голос? - спросил он.

- В записи мы слабо узнаем свой голос, - сказал Даренский, Он откинулся на спинке стула и осмотрел книги.

- Неужели вы все это прочитали? - подивился он.

- Прочитал, мой дорогой, и еще столько прочитаю.

- Зачем?

- Ну я же без телевизора живу, жена давно умерла. У меня три свободных дня между дежурствами. Так что от нечего делать читаю себе тихо, увлекаюсь. Жизнь нужно как-то коротать.

- Это правильно, - согласился Даренский. - По телевизору ахинея разная идет, я тоже редко смотрю. В основном, езжу на машине, подрабатываю. Ввязался в строительство дачи. Расходов - море. Да еще жена достала - делай, говорит, ремонт в квартире.

Даренский положил ногу на ногу, ссутулился и потрогал свою бородку. Ну, вылитый Достоевский! Правда, проблемы, занимавшие Достоевского и Шевченко, абсолютно не трогали Даренского.

Шевченко вновь встрепенулся, вспомнив о голосе Анны Григорьевны на диктофоне. Включил. Сам услышал ее голос, а Даренский в нем признал голос самого Шевченко. Оказывается, за диалогичностью стояло лицедейство!

Шевченко подумал о том, что нужно еще каким-то образом провериться перед Даренским. Он вспомнил о регистрационных документах, подмигнул Даренскому, прошел к шкафу, с волнением вытащил снизу папку с фотографиями деда, развязал тесемки... Документы были на месте. Причем Даренский с нескрываемым интересом принялся листать их, прочитывать.

- Вот уж чего не ожидал! - воскликнул Даренский. - Здорово!

А Шевченко не слушал, ему в голову пришла на первый взгляд, казалось бы, обыкновенная мысль о фотоаппарате. Конечно, нужно фотографировать всех, находящихся рядом с Шевченко!

- Пойду в поликлинику, - как о давно решенном, сказал Шевченко, чтобы поторопить Даренского.

Проводил Даренского до его "девятки" вишневого цвета в переулок. Потом вернулся во двор, сел в свою машину и поехал за покупкой фотоаппарата. На Ленинском проспекте нашел хороший фотомагазин, остановил свой взор на "Полароиде" за шестьдесят долларов. Фотографию выдает сразу, не нужно проявлять, печатать, сам все делает аппарат. Попросил продавца зарядить кассету. Купил десяток комплектов, по десять снимков в каждом. Вышел на улицу и почувствовал, что стало прохладно. Как бы впервые увидел деревья, поддер-

нутые желтизной. Небо над городом было в легких облачках, светило солнце, ярко, но почти что не грело, поскольку Шевченко был в своем темно-синем, в тонкую нитку сероватого цвета, костюме.

Машина стояла под липой, на маленькой дорожке, передними колесами на бордюре. Шевченко направил аппарат на машину, щелкнул, что-то загудело в аппарате и из его чрева язычком вылезла фотография, на которой ничего сначала не было, а потом на глазах стала проявляться “шестерка” Шевченко бежевого цвета. На снимок попало и желтеющее дерево, и проспект, и несколько пестрых машин, и, вдали, универмаг “Москва”.

В квартире пахло горелым и было дымно. Шевченко побежал на кухню, увидел потрескивающую на огне совершенно почерневшую кастрюлю. Вода давно выкипела, мясо обуглилось и приварилось ко дну. Шевченко погасил огонь, мысленно навсегда распрощавшись с Анютой. Пока кастрюля остывала, принялся чистить картошку, чтобы хоть что-то поесть. Проверил духовку: в ней стояла на противне рыба. Хорошо, что духовку не успел включить. На сей раз включил, добавил подсолнечного масла на противень. Потом минут пятнадцать мыл, драил кастрюлю.

Через час он ел, сидя на углу стола. И уж только после этого позвонили в дверь. В самый раз позвонили, а то Шевченко истосковался по Попову, которого необходимо было щелкнуть на память! Шевченко взглянул в глазок. За дверью стоял Фридман и с ним еще несколько человек. Шевченко удивленно открыл дверь.

- Добрый день, Георгий Павлович! - весело сказал Фридман.

Фридман был невысок, широкоплеч, с рыжими усами и совершенно лыс. На нем был белый модный плащ с погончиками. Следом за Фридманом в квартиру вошли мужики в телогрейках и армейских бушлатах.

- Ну, вот и до вас дошла очередь! - сказал Фридман.

Шевченко взволновано спросил:

- Мне же сказали, что я могу жить и здесь и там...

- Да, - согласился Фридман. - Только, простите, Георгий Павлович, как же мы будем делать ремонт здесь, если ваша комната завалена книгами? Да и вы будете мешать рабочим...

- Понятно, - сказал Шевченко, ничего не понимая, и спросил: - А коробки для книг принесли?

- Вот они! - пробасил красноносый мужик и бросил на пол толстую картонную пачку.

Мужики принялись собирать коробки из картонных листов-заготовок. Потом пошли в комнату, чтобы укладывать книги. Мужики стали ходить туда-сюда с коробками...

- Ну, счастливого пути! - сказал Фридман и пожал на прощание руку Шевченко.

Крытый грузовик не спеша выполз из двора в переулок. Шевченко на своей машине ехал следом. Вот так вот все кончается. Буднично и с мужиками. Надо бы им поставить. Шевченко не поехал через Садовое кольцо, как грузовик, которому через центр ездить было запрещено, а поехал к Волхонке. Там остановился, купил пять бутылок водки и поехал самостоятельно. Приехал раньше грузовика. Поставил машину в сторонку, въехав на затоптанный газон между тополями, облетающими уже.

В большой комнате на полу лежала схема Вавилонской башни, и возле нее стояли пустые водочные бутылки. Шевченко свернул схему, убрал бутылки и стал примерно прикидывать, куда что ставить. Рычание грузовика он услышал через окно. Спустился, сам кое-что легкое стал носить в квартиру. Выглянула в дверь соседка, у которой он однажды занимал стаканы, сказала:

- Стаканчики-то верните.

Вернул стаканы, рассмотрев собаку, похожую на козла с бородой.

Мужики топали, кряхтели, громко говорили. Так продолжалось часа полтора. Потом Шевченко вручил им водку.

- От, это по-нашему! - порадовался за всех красноносый. - А то пашешь целый день, а тебе: фирма заплатит!

- Ну вот и все! - воскликнул сам для себя Шевченко.

Он понимал, что возврата назад не будет, что вся эта махинация еще продолжается, что его и из этой квартиры под каким-нибудь предлогом попросят, а то и просто убьют, как бывшего жильца. Весь вечер он приводил вещи в порядок, раскладывал, расставлял. Потом почувствовал сильную усталость. И руки и ноги гудели, постреливало в темечке, хотелось спать. Но все же перед сном он сделал несколько фотографий. Книги, шкафы, вещи отлично получились.

Чтобы отдохнуть как следует, выпил снотворного. И действительно спал как убитый.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Утром, зевая, обнаружил себя в новой квартире, не удивился, побрислся, умылся, попил чаю и поехал в Переделкино. Когда он ездил туда, все время вспоминал стихи Пастернака. Вот и сейчас он на всю машину скандировал:

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала все опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попраным парком из ливня - под град,
Потом от сараев - к террасе бревенчатой...

Свернул с Можайки на Переделкино. Показалось на взгорке кладбище, съехал в низину, взял влево, на встречную полосу, и сдал назад, к бетонной трубе. Закрыв машину. Пошел по склону вверх. Желтые листья шелестели под ногами. Дул ветерок, было прозрачно и прохладно. Плащ на Шевченко развеялся, был не застегнут. На кладбище пахло забродившим вином. Свет от солнца, тень от деревьев. Покосившиеся решетки оград.

Кресты, мраморные надгробия, узкая тропинка между могилами. Вот и могила Пастернака. Пожелтевшая от времени стела с профилем, вдавленным, поэта.

Шевченко сел на скамейку, с сожалением стал вспоминать старую квартиру, полутемный длинный коридор, комнату Сыроевых с тремя широкими окнами, пятна света на старинном паркете.

Тофика все не было. Прошло уже пятнадцать минут, как он должен был быть. Чтобы отвлечься, Шевченко прочитал тихо:

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят...

Тофика все не было. Шевченко встал со скамейки, отошел от могилы Пастернака, дошел до могилы Арсения Тарковского, на которой стоял большой деревянный крест, затем прошел к выходу с

кладбища. Тофика не было видно. Шевченко вернулся к могиле Пастернака, сел, поставил набитый ампулами портфель рядом. Посидел некоторое время, вновь походил.

Прошел час. Тофика не было. А где его искать, Шевченко не знал. У Шевченко был лишь телефон Тофика.

- Странно, очень странно! - прошептал в некотором страхе Шевченко, обернулся, испугавшись собственной тени, встал со скамейки и почти что побежал с кладбища к машине. Бежал и все оглядывался.

Но кладбище было пустынно.

Еще с откоса он увидел, столбenea, что его машины нет на месте. Не веря в это, он спустился к месту ее стоянки, к бетонной трубе. Посмотрел в одну сторону дороги, в другую: машины не было! Угнали! Ноги подогнулись, и Шевченко сел на песок. Весь он вдруг мелко задрожал и слезы брызнули из глаз. Но он тут же заставил себя встать и побежал в сторону Дома творчества, но не заметив там машины, устремился назад по шоссе и по нему обогнул кладбище, вышел к главному входу, но и тут машины не было. Вернулся к могиле, сел.

У Шевченко на лице было такое выражение, как будто он только что очнулся от обморока - сидит и ничего не видит, ничего не понимает. Он словно окаменел в постигшем его горе.

Чувство безутешной скорби овладело им. С трудом поднялся и пошел куда-то. Спросил у какой-то женщины, когда в ворота вышел с кладбища, где милиция? Нашел какое-то подобие отделения, написал заявление об угоне, указал сведения из технического паспорта. Старший лейтенант цыкал сквозь золотой зуб и покачивал головой. Попросил оставить номер своего телефона. Покопался в пухлый портфель, но ничего не спросил более. Шевченко, раздробленный, измельченный, поплелся на станцию железной дороги. Шел вдоль глухих заборов писательских дач и все думал о том, как он теперь будет передвигаться по городу, как он будет жить?

Солнце спряталось за тучами, и Шевченко показалось, что одна огромная сплошная тень легла на землю. Платформа была пустынна. Летела пыль, какой-то мусор. Шевченко купил в станционной кассе билет. И тут же шумно подошла электричка. В вагоне он стоял в тамбуре, смотрел в окно, но видел свою дорогую "шестерку", жалел ее, будто родного ребенка. Все время хотелось плакать, но

он крепился. Не очень тяжелый портфель казался ему непосильной ношей. И пока ехал в метро в Измайлово, все прощался с машиной, как с дорогим покойником.

Он понимал, что машину не найдут, что тут все было подстроено, но, войдя в квартиру, тотчас набрал номер Тофика. После нескольких долгих гудков трубку сняли, и женских голос на вопрос: "Можно ли попросить к телефону Тофика?" - ответил, что таких здесь нет.

Со вздохом Шевченко положил трубку, снял пиджак, прошел в большую комнату, которая сильно уменьшилась из-за мебели и книг, и прилег на кровать. Прямо против него висела икона Георгия Победоносца.

- Не Победоносец ты, а рогоносец! - крикнул Шевченко и заплакал.

Горячие слезы потекли по впалым щекам, и было так горько, как никогда еще не было в жизни.

Потом он как-то незаметно успокоился и задремал, а проснувшись, решил позвонить Гуте, поскольку куда-то товар из портфеля нужно было девать. Но ее, по всей видимости, не было дома, трубку не брали. Через минуты две буквально, как и положено, позвонили в дверь. Шевченко подошел, прислушался. Глазка здесь не было. Звонки повторились.

- Кто там? - вполне бодро спросил Шевченко.

- Константин Петрович, - послышалось из-за двери.

- Какой еще Константин Петрович? - удивился Шевченко.

- Победоносцев, Константин Петрович! - полностью назвался человек из-за двери.

Подумав, Шевченко открыл дверь и сразу же узнал обер-прокурора Синода.

- Прошу! - сказал Шевченко, отдавая себе отчет в том, что это фантом.

Победоносцев вошел, осмотрелся.

- Простите, а комната Федора Михайловича которая будет? - спросил Победоносцев.

Шевченко пробежал глазами по двум дверям, стараясь обнаружить комнату Сысоевых, но не найдя ее, после заминки указал на дверь в большую комнату. Хотя прекрасно понимал, что Достоев-

ский вряд ли мог доехать на Вторую Парковую на метро. Однако Достоевский как ни в чем не бывало сидел за столом и что-то писал в тетрадь.

Увидев Победоносцева, Достоевский отбросил перо, встал и горячо пожал руку Победоносцеву.

- Рад, очень рад! - сказал Федор Михайлович.

- Я только что из Англии, - сказал Победоносцев, - и сразу к вам. Прочитал по рекомендации наследника престола ваше "Преступление". Вещь сильная, но, как мне показалось, излишне многословная. Вам так не кажется, Федор Михайлович?

У Достоевского дернулось веко, и он сказал:

- Это все из-за денег, Константин Петрович! Работа из нужды, из-за денег задавила и съела меня!

- То есть вы хотите сказать, что специально нагоняете объем? - спокойно спросил Победоносцев.

Шевченко поразился этому точному вопросу, потому что сам понимал, что с текстами Достоевского творится что-то не то. И сам вставил:

- Константин Петрович прав. В одной фразе Чехова - половина Достоевского!

- А кто такой Чехов? - спросил Достоевский.

- Вы его не застанете, Федор Михайлович, - пояснил Победоносцев. - Вы умрете в 1881 году. А Чехов в это время только-только начнет печататься.

Это пояснение Достоевский пропустил как бы мимо ушей.

Шевченко продолжил:

- У вас какое-то беззастенчивое многословие. По сути, у вас и персонажей нет, то есть вы - плохой лицедей. Не умеете раскладывать свои словесные потоки по образам. Потому что везде вы один. Вы бы уж без всяких там Раскольниковых и Карамазовых шпарили бы да и шпарили от себя, от первого лица. Вы - не художник! - отчеканил Шевченко. - Вы - мучитель. Вы себя измучили и читателей мучаете. Читатель хочет подсмотреть чужие жизни, а вы ему одни свои потоки! Все преступление Раскольникова Чехов бы дал одним рассказом. Потому что создал бы образы. А образам не нужны словесные потоки. Помните у Чехова: "Вы святые?" - "Нет, мы из Фирсанова". Вот и весь диалог. А какова Липа! Каковы характеры! Каковы кричащие паузы!..

- Паузы? - удивленно спросил Достоевский.

- Да, именно паузы! - воскликнул Шевченко. - А у вас этого нет, вы не доросли до понимания кричащей паузы. Вы - словесная молотилка! Вы не могли просто написать: "Утром Раскольников почувствовал себя на подъеме. Спустился в дворницкую, прислушался, - никого. Взял под лавкой топор и пошел к старухе-процентщице опробовать свою тайную идею. Идея состояла в том, что Бога нет и все можно делать. Старуха была дома. В ее комнате Раскольников достал из-под полы топор и зарубил старуху. В другой комнате подвернулась ее служанка Лизавета. Испугалась страшного Раскольникова и кровавого топора, попятилась в угол, под иконы. Раскольников с помутненным сознанием метался несколько дней. Разумихин приметил его сумасшествие, познакомил с Порфирием, следователем"...

- Вы писатель? - вдруг перебил Шевченко Победоносцев. - Как точно и броско вы рассказываете!

- Я бы за столь короткий текст и десяти рублей не получил! - закричал Достоевский. - Я графоман по несчастью с философско-революционно-религиозным окрасом! Я черт в Боге! Я Бог в черте!

- Но вы монологичны, - уже спокойно сказал Шевченко. - Вы не poznали проблему автора и персонажей. У вас все в куче! Если бы вы знали закон паузы, изолирования отдельных мыслей или эпизодов, то тогда бы вы дошли до кричащей тишины! Понимаете?

- Не казните меня, мне деньги были нужны! - взмолился Достоевский.

- Деньги нужны всем. Это не оправдание. Служили бы по инженерной части и писали бы. Любую вашу вещь нужно было сокращать втрое! У вас все романы завершены монологом, от этого их слабость. А Чехов разгадал это и никогда не завершал событий, потому что работал с паузами. Излюбленная его композиция - это композиция несвершившегося события. А вы гнали свои листы, пытаясь объять необъятное. Не думали об упразднении. А ваши периоды нужно было упразднить. Само же упразднение лежит в основе апокалиптического сознания, в котором история является лишь предысторией.

- Но у меня исключительные обстоятельства! - вскричал Достоевский, чуть не плача. - Мне средства к жизни нужны!

- Да публике-то какое дело до ваших исключительных обстоятельств?! - с небольшим нажимом сказал Шевченко. - У вас, Федор

Михайлович, не писательство, не художество, а какое-то царство газетного ума. Монологи ваши газетные подаются столь серьезно, что начинаешь задумываться, а в порядке ли автор? У вас напрочь отсутствует юмор, самоирония, усмешка.

- Автор должен быть лицом серьезным, - сказал Федор Михайлович, - всеведущим и непогрешимым!

- Да чушь все это! - отмахнулся Шевченко. - Автора нужно топить, убирать, упразднять в художественной прозе. Хотите быть автором - пишите статьи в газеты от своего лица!

Победоносцев кашлянул, заметил:

- Но у Федора Михайловича из-за этой словесной избыточности возникает художественность более высокого уровня... Его читают. Вся мыслящая Россия следит за его творчеством...

- Я должен был продавать тексты, чтобы жить.

- Вы так об этом говорите, как будто продавали наркотики, - сказал Шевченко и спохватился, поскольку он сам торговал наркотиками напрямую.

Это прочитал по его глазам Достоевский.

- Георгий Павлович, вам ли говорить об этом. Я хоть текстами торговал, а вы? Вы безбожник, торгующий наркотиками! Вы изверг! А беретесь еще судить о высоком!

Шевченко покраснел и опустил глаза. Он понял, что Достоевский работает не образами, не паузами, а прямыми мыслями, серьезными мыслями, пусть и монологичными.

- Да я по три дня бегал за каким-нибудь рублем, чтобы писать, а вы хапаете за ворованные ампулы миллионами!

Вдруг Константин Петрович подхватил копьё и занес его над головой Шевченко. Шевченко съезжился от ужаса и упал пред всадником на колени. Победоносцев попятился, закачавшись в воздухе, и удалился в икону.

Шевченко стоял на коленях перед иконой и плакал. Он понял, понял происхождение всех своих несчастий. Однако поспешных выводов делать не стал. Успокоился и пошел в коридорчик звонить Гуте.

- Куда же вы? - услышал он болезненный голос Достоевского.

- Да сидите вы смирно! - крикнул Шевченко и махнул на него рукой. - С вами все вопросы давно решены, а со мною - только в процессе решения.

Тут опять в дверь позвонили. Шевченко припал ухом к ней.

- Кто? - спросил он нервно.

- Да это Тургенев...

- Принесла нелегкая! - проговорил Шевченко, но дверь открывать не стал. - Ну, что вам еще?

- Не могли бы вы пустить в ход все дополнительные пружины вашего ума, чтобы добыть от редактора "Эпохи" 300 рублей серебром?! Я рассчитываю купить дочери фортепиано...

- Зайдите завтра, - бросил Шевченко через дверь, - чтобы я все пружины свои успел запустить за это время!

Слышно было, как Тургенев пошел по лестнице. Шевченко набрал номер Гуты. После двух долгих гудков внучка сняла трубку. Шевченко рассказал об угнанной машине, о всех своих бедах и попросил Гуту приехать сейчас же.

- Я не могу! - твердо сказала Гута.

- Почему?

- Нетранспортабельна, по-олимпиаешь?

Только теперь Шевченко понял, что она плохо ворочает языком.

Нет ему жизни внешней, есть ему жизнь внутренняя. С чувством ускользающей реальности и тоски он расстелил на столе, прошеле- стев, как крахмальной скатертью, свою незабвенную схему Вавилонской башни, выхватил зажигающимся взглядом имена, которые застучали в голове молоточком, зазвенели серебристым колоколь- чиком, понесли русской тройкой с этого света: Карлейль, Кропот- кин, Апулей, Гомер, Конфуций, Гоголь, Гегель, Апухтин, Батюшков, Матфей, Макиавелли, Лютер, Гейне, Бердяев, Лермонтов, Паскаль, Булгаков М., Булгаков Сергей, Плутарх, Державин, Гофмансталь, Нароков, Солженицын, Герцен, Овидий, Вяземский, Бодлер, Довла- тов, Мандельштам, Случевский, Ренан, Лафатер, Искандер, Воло- шин, Борхес, Достоевский, Толстой, Тургенев, Карамзин, Платонов, Пастернак, Есенин, Алданов, Бунин, Лао-цзы, Наполеон, Набоков, Ленин, Сафо, Роднянская, Сурат, Лесков, Крылов, Эзоп, Белинский, Нагибин, Фолкнер, Фихте, Кант, Бальзак, Золя, Фома Аквинский, Языков, Грибоедов, Мей, Рылеев, Гаршин, Короленко, Никитин, Ме- режковский, Фрейд, Полонский, Пушкин, Глеб Успенский, Анакса- гор, Бергсон, Бострем, Введенский, Лихачев, Грановский, Шатобри- ан, Аксаков, Фромм, Островский, Соловьев, Полонский, Буренин, Ницше, Шиллер, Штерн, Киреевский Иван, Карсавин, Зеньковский,

Гумилев, Донн, Верн, Одоевский, Руссо, Рассадин, Ройс, Шопенгауэр, Корнель, Кавелин, Шеллинг, Тютчев, Лосский, Бакунин, Выше-славцев, Бейль, Фонвизин, Новиков, Квятковский, Шекспир, Державин, Ориген, Флоренский, Ходасевич, Сталин, Фурье, Суворин, Спенсер, Тэн, Ахматова, Леонтьев, Панин, Белов, Распутин, Тендряков, Залыгин, Трифонов, Твардовский, Фет, Белый, Пяст, Шестов, Чулков, Самойлов, Бродский, Маяковский, Войнович, Писемский, Козлов, Кувалдин, Чехов, Блок, Домбровский, Астафьев, Сэлинджер, Кольцов, Давыдов, Зайцев, Помяловский...

Резко позвонили в дверь. Цепочка имен, бесконечная цепочка, прервалась и наступила кричащая тишина.

Раз, два, три... Пауза. Молчание, молчание, молчание.

Шевченко задрожал от возникшего после паузы в голове звона колокольчика. Боязливо озираясь по сторонам, он медленно и бесшумно пошел в прихожую, припал чутким ухом к двери. Ему послышалось радио "Орфей", звучала по-немецки ария из какой-то оперы Моцарта. Потом из-за двери донесся картавый приглушенный голос:

- Вы в Бабкино едете?

Шевченко не понял, кто это говорил, даже Бабкино не сразу вспомнил.

- Кто там? - спросил он осторожно.

- Да это я, Левитан.

- Какой еще Левитан? - не понял Шевченко.

- Чегт знает, что такое!.. Какой дугак! Да это я, Исаак Левитан, газве не узнаете, догогой Геоггий Павлович?!

Со вздохом облегчения, что пришли свои, Шевченко открыл дверь. На пороге стоял в черной шляпе, с ружьем за плечом и с белой убитой чайкой в руке знаменитый художник.

- Собигайтесь скогее, поезд уходит!

- Господи, как это я забыл, что мы собрались с вами в Бабкино! Ведь, Антон Павлович ждет нас с Достоевским, чтобы привести в порядок его роман!

Левитан развернулся и пошел к лестнице. Шевченко накинул плащ и последовал за ним. Внизу заглянул в почтовый ящик, достал бумажку, в тусклом свете грязного подъезда прочитал: "Покупаем квартиры". В страхе оглянулся. С лестницы спускались двое черномазых, остановились возле Шевченко, один взял его за лацкан пиджака.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

- Продашь квартиру или нет, сволочь старая?!

- Да берите вы все, берите! - закричал Шевченко.

Молодцы обшарили Шевченко, выгребли содержимое карманов, открыли дверь подъезда и вытолкнули на улицу. Шевченко споткнулся и упал. Когда поднимался, увидел стоящего с убитой чайкой Левитана.

Только Шевченко хотел подойти к нему, как Левитан быстро пошел вперед. Смеркалось. Было безлюдно. Только фигура Левитана маячила впереди. Шевченко шел за ним неотступно. Он устал, сил уже не было идти, но он все шел и шел.

- В Бабкино! - повторял он шепотом.

Через несколько часов пришел на вокзал, сел на скамейку в зале ожидания. Левитан ушел за билетами в кассу. Шевченко сидел без движений, осунувшийся, небритый, старый и все повторял:

- В Бабкино!

На второй день к нему подошел милиционер, потрогал за плечо. Из синего рта слабо донеслось:

- В Бабкино...

*“Грани”, № 181, 1996,
а также в книге “Родина”,
Москва, издательство “Книжный сад”, 2004.*

ЮБКИ

повесть

Глава 1. Лилия, 1963.

Прошел красно-желтый двухвагонный трамвай, за ним - другой, в который вошла юная красавица с желтой косой до талии. Когда тебе четырнадцать лет, и бликует в окнах трамвая солнце, и золотится река, и весна опьяняет сиренью, тогда хочется любви. Только любви. Без дополнений, без примесей, без оговорок. Володя Абрамов вошел в трамвай за юбкой и переехал на ту сторону до самой Абельмановки, но так и не смог заговорить, а юбка вышла. Он постеснялся за ней приударить. Вот так всегда. Увидит юбку, за ней идет или едет, а потом... Вышел на следующей остановке, разочарованный, сел в обратную сторону, мест предостаточно свободных, смотрел в окно. Трамвай пошел на мост, внизу поблескивает река, летают чайки, идут баржи.

Володя огляделся, подходящих юбок в вагоне не заметил, и он улыбнулся, просто так, без причины, улыбнулся встречному трамваю, граниту берегов, монастырю с куполами без крестов. Володе Абрамову исполнилось четырнадцать, как уже сказано, лет, и он улыбался предчувствию. Какому? Спросите у него, но он не ответит, потому что нельзя спрашивать юношу о том, чего он не знает. Трамвай гремел сцепкой, все три вагона громко стучали колесами, вагоновожатая звонила машинам, которые из-за узости моста заезжали на рельсы. Трамвай свернул на Кожевническую и пошел к Павелецкому вокзалу. В этом районе некогда находился Ногайский двор, поблизости от которого ногайцы еще в XV веке производили торг лошадьми и кожами. Выделка кож производилась на этом дворе. Отсюда произошло название "Кожевницкой сотни черных людей" - одного из древнейших в Москве объединений ремесленников. К имени этой сотни и восходит название слободы кожевников, существовавшей здесь в XVI-XVII веках. Район в последующие века остается центром кожевенного производства в

Москве и именуется Кожевники. Это имя сохраняется в названии улицы и примыкающих переулков.

В середине Кожевнической Володя вышел. На нем красовались кеды и черные сатиновые шаровары; выцветшая красная трикотажная футболка колыхалась от ветерка на тонком теле. У Володи развязался шнурок; поставив ногу на бортовой камень, Володя нагнулся и завязал его... Кеды поизносились, почернели и на мизинцах прохудились, но все еще служили. Китайцы хорошо их делали: второй год Володя бьет в них мяч и бегаёт каждый день.

И он опять просто так улыбается, поддает ногой пробку от пивной бутылки, зажмуривается, подпрыгивает, как в баскете, и вприпрыжку идет метров десять, до своей подворотни, не замечая прохожих на тротуаре. Они для юного москвича прозрачны, то бишь - их просто нет, а есть только он, хотя кое-кого Володя замечает. Вот у него открылся рот, и Володя остановился, заглядываясь на двух красивых женщин в легких платьях. Женщины присели на низеньком металлическом заборчике; у одной из них немного разошлись нежные белые колени. Что там дальше? Володя сглотнул слюну и заставил себя пойти к подъезду. Он шел, как на привязи, оглядываясь.

Мать с отцом позавчера уехали в Горький на похороны. Володе хотелось использовать этот прекрасный момент и привести домой на ночь какую-нибудь девочку, или девушку, или женщину, но чтобы только она нравилась, чтобы хотелось ее. Пора же начинать взрослую жизнь!

Он еще раз оглянулся на женщин, но потом вдруг махнул на них рукой в сердцах, так как они казались недосягаемыми, опять подпрыгнул и вошел в подъезд. Володя чувствовал себя в эти минуты человеком, посаженным перед белым экраном в ожидании потрясающего фильма, на который дети до 16 лет не допускаются. И перед глазами предстал польский фильм, который он недавно смотрел в "Побед", где из темноты появляется красotka в шубке, и вдруг скидывает с плеч эту легкую шубку и остается голой, разглядеть ничего не удалось, но стало понятным, что она обнажена и что очень красива.

По темной лестнице взбежал на третий этаж, из-за шиворота вынул ключ на веревке, как крест на шее, открыл английский замок. В квартире царил духота, пахло жареной рыбой. На кухне

стояла тетя Нюра, соседка, жарила рыбу. Коричневые чулки подвязаны ниже колен, жирный зад обтягивало замызганное штапельное платье в горошек.

- Здравсьте, - сказал Володя, почти что не замечая привычное тело, взял кастрюлю со щами с подоконника, зажег газ и поставил кастрюлю на плиту.

- Нагулялся? - пискляво спросила тетя Нюра, и щеки ее розовые вздрогнули.

- Да, - ответил Володя, считая соседку глубокой старухой, хотя ей в прошлом месяце исполнилось 45 лет.

Володя отправился мыть руки в ванную, закрыл за собой дверь на крючок, на всякий случай, потому что вместе с руками решил помыть подрастающего малыша, который от предчувствий и от вида женских ног стал каким-то мыльным. Когда Володя дотронулся до головки малыша, тот мигом взбук и приобнажил розоватую головку, еще год назад не обнажавшуюся, но Володя так интересовался малышом, так хотел обнажить его головку, что прошлым летом, на даче, ему это сделать удалось, с болью, кровь шла, но довольно приятное ощущение осталось от этой обнажившейся боли, как и от движений взад-вперед крайней плоти малыша между большим и указательным пальцем; но холодная вода сейчас его остудила.

Вытерев руки о вафельное белое полотенце, Володя вернулся на кухню обедать. Он налил половником полную миску щей с большим куском мяса на мозговой кости, отрезал ломоть черного хлеба, намазал его маслом и принялся есть. Тетя Нюра выключила свою рыбу и поковыляла в ванную. Когда через некоторое время загудела колонка и пошла с шумом вода, Володя насторожился, затем быстро доел щи, и побежал в уборную, встал ногами на унитаз и припал, затаив дыхание, к окну в ванную. Толстая тетя Нюра нежилась под душем, ручейки бежали по рыхлому в складках телу, покрытому сетью голубых жилок, по крупнейшим грудям с блюдами сосков, свисавшим по животу, на котором отпечатался след от резинки, до самого тайного места, густо поросшего черными волосами.

Володя задервенел от вида этого леса, а затем стал краснеть и покраснел до свекольного цвета. Насмотревшись до одурения, Володя тихо слез с сиденья и вышел из уборной. Надо же, уставился, как маньяк, на этот жирный мешок! Ну, что он там увидел

только? Волосы? Эх! У самого уже виться начали, рыжеватые. То у самого! Володя пошел в комнату, сел на диван, включил телевизор, КВН-49 с линзой, похожей на плоскую банку, налитой водой подкрашенной синими чернилами, однако, ничего не показывали, только под сетку играла музыка. Володя никак не мог понять, что это мылось, для чего это белело, почему он полез смотреть на соседку, ведь он не хотел этого делать, а кто-то толкнул его: смотри! Через полчаса с улицы раздался громкий свист и крик за ним:

- Вовка! Выходи!

По голосу Володя сразу узнал, что это кричал Толя Моисеев из первого подъезда. Володя натянул шаровары, пряча возбужденного малыша, с которым все это время возился, подошел к окну, на подоконнике которого стояли столетник и герани, и помахал приятелю.

Переодевшись в брюки и рубашку, осмотрев себя в зеркало, зачесав длинные жесткие рыжеватые волосы назад, Володя, подумав, надел новые полуботинки с модными очень узкими носами.

У Анатолия блестели щеки, видимо, сбрил пушок. Он стоял, широко расставив ноги, тоже в новых ботинках, и подбрасывал на ладони металлический рубль с профилем Ленина.

- Чего будем делать? - спросил Володя, щурясь от солнца.

- Кадриться! - уверенно сказал Анатолий.

- Где? На улицах надоело.

- Пошли в кино.

- Пошли, - сказал Володя и, подумав, добавил: - А вечером на танцы! Там уж точно кого-нибудь закадрим.

На трамвае доехали до "Победы". Шло "Иваново детство". По мере вхождения в картину, Володя чувствовал, что один мир исчезает, а другой берет за душу. Маленький воин Иван переплывает черную реку в зловещем свете ракет...

Из зала выходили молча, с какой-то душевной раной, от которой очень медленно забывались в толчее города.

- Хорошее кино, - повторял Толя, кладя руку на плечо Володи.

Некоторое время шли пешком, потом сели на трамвай, потом вошли в привычную жизнь. Володя достал из кармашка рубашки трешник. И ребята рассмеялись.

Весело переговариваясь, вошли в продмаг, потолкались в очереди среди ханыг и купили крепкий портвейн, который с жадностью выпили между заборами Кожевнических переулков, и, поку-

ривая “Шипку”, пошли в клуб на Дербеневку, на танцы. Играл эстрадный оркестр профтехобразования: саксофоны, кларнеты, трубы, ударник... От звуков “чучи” у Володи побежали по спине мурашки. Он огляделся: в просторном зале собралось много девушек и, когда объявили белый танец, Володя ожидал, что к нему сейчас бросятся девушки, но к нему никто не бросился. Одна, правда, белокурая, пошла на него, но перед самым носом сделала крюк и пригласила высокого чувака, кажется, со Щипка. Володя разочарованно стоял у стены и наблюдал за тем, как танцует очастливленный плотненькой невысокой девушкой Толя. Володя горящим взглядом следил за ним и вздыхал, потом вожаденно разглядывал ноги девушек. И он хотел всех их любить. Вдруг его за локоть сзади кто-то взял. Володя даже не заметил, как отошел от стены. Он увидел крупную женщину в лиловом платье с глубоким вырезом, и сексуальной темной складкой между мощными грудями. У женщины вились каштановые волосы, связанные черной ленточкой. И от женщины легко пахло вином.

- Пойдемте, - сказала она, как о давно решенном деле.

Володя затрепетал, не понимая, как могла такая женщина, которой, очевидно, стукнуло уже лет двадцать пять, пригласить его, хотя Володя выглядел на все семнадцать и на сеансы, на которые дети до 16-ти лет не допускались, его через раз пропускали. Он порозовел, но пошел. Она сжала его руку, и он заметил перстенок с камушком. Она прижалась к нему вся, даже горячей щекой. И Володя телом своим увидел всю ее, как будто она сразу разделась.

- Меня зовут Лилия, - прошептала она и нежно прихватила горячими и влажными губами его ушко.

Володя ускорил темп танца. Казалось, что сама музыка зазвучала громче. Он, охваченный восторженным ужасом, вжимался в партнершу, ощущая дикий подъем и напряжение. Никогда он так не танцевал, и никогда не оказывался так близок к женщине. Володя дрожал, краснея от близости ее, от того самого, что она сама хочет, и деликатности особой не выказывает.

Лиля сильнее прижалась к нему, а он опустил свою ладонь на ее большую задницу и слегка углубил пальцы в ущельице между мягкими ягодицами. Оркестр перешел на медленную мелодию, во время которой из Володи самопроизвольно брызнуло то, что не могло утерпеть. Но это даже Лиля почувствовала, языком провела

по его щеке, вспыхнула, сжала крепче его руку, и вдруг повела из зала. Они вышли на крыльцо. В вечернем воздухе пахло сиренью, в окнах домов зажглись огни. Она опустила руку к его брюкам, и с усмешкой шепнула:

- Как хорошо, когда всегда стоит!

Володя от смущения чуть сквозь землю не провалился, но не успел, потому что выскочил Анатолий и спросил:

- Вы куда?

- Ко мне, - вырвалось у Володи, и Лилия, в своем лиловом платье с глубоким вырезом, с темной складкой, огладила понимающе бедра, глядя вдаль.

Толя привел свою низенькую подружку. Карманы еще до танцев опустели, а выпить хотелось. Лилия, догадавшись, достала из сумочки, помедлив, сначала зеленые три рубля, а потом красную десятку. Ребята облегченно вздохнули и пошли переулками к дому, а Толя сбежал на вокзал, потому что все магазины были уже закрыты, и купил бутылку "столичной" у швейцара.

Входили в квартиру тихо, хотели, чтобы соседка тетя Нюра не заметила. После первой же рюмки Володя полез к Лиле целоваться. Он целый час, наверно, целовал ее в большой чувственный рот, взасос, захлебываясь ее языком. Она, откинувшись, растрепанная, спросила:

- Ты хочешь меня?

Володя испугался этого прямого вопроса, который ему еще никто в жизни не задавал, и, краснея, согласно кивнул. В это время Анатолий целовался со своей, гладил ее ногу под юбкой, а она хотала. Погасили верхний свет, зажгли ночник. Лилия через голову сняла платье, расстегнула лифчик, сняла трусы. И у нее на животе отпечатался след от резинки! Но Володя в страхе удивился, не обнаружив внизу, в тайнике, волос. Сбритыми они оказались у Лилии! Чтобы он не смотрел вниз, она прижалась к нему и сказала:

- Я недавно аборт сделала. Я с ним завязала. Он оказался такой...

- Какой? - вырвался вопрос у Володи.

Но Лилия не ответила. Она по-бабьи, виляя белым задом, заслоня все на свете этим немислимым задом с кустистым ущельем, уверенно забралась на родительскую кровать. Володя, обескураженный, разделся, лег, она погладила его по животу, потом взяла рукой шалуна между большим и указательным пальцем, сдела-

ла несколько движений вниз-вверх, затем, как борец, легко бросила Володю на себя и, проворно разведя невыносимо полные ноги, втокнула остолбеневшего, с обнаженной головой шалуна во влажное глубоко. Попутно он почувствовал колющую щетину. Он брал ее, и воображал, как оттуда, куда он теперь с какой-то собачьей жадностью погружался, удаляли холодными никелированными щипцами потенциального человека. Поэтому Володя никак не мог сосредоточиться. Не это он представлял себе, тем более - с первой своей женщиной.

Утром он избегал ее взглядов, а она обнимала его, влекла, хотела, и когда, случайно отстранившись, увидел в ярком свете солнечного луча щетину, как небритость какого-нибудь алкаша, то Володю чуть не стошнило. Ему скорее хотелось распрощаться с Лилией, так она ему стала противна. И еще этот дурацкий пупок!

- Когда мы встретимся? - выходя на улицу, спросила Лиля. Володя набрался смелости, взглянул на ее крупные щеки, на крупный нос, и вдруг пожалел ее, и легкий намек на желание пробудился в нем, и Володе захотелось успокоить ее:

- Завтра в семь у клуба.

- Я буду ждать, - сказала она, повернувшись и пошла, виляя задом.

Он долго смотрел на этот зад под тонким лиловым платьем, на крупные икры и думал о чем-то, о чем сам не знал.

Глава 2. Любовь, 1964.

Утром в окне Володя увидел синее небо. Раньше он не видел синего неба в окне. На уроке он наконец-то обратил внимание на девочку своего класса. Ни одна не привлекала его, но он заставил себя разглядеть в какой-нибудь что-нибудь привлекательное. И не разглядел. Тогда он иначе подошел к вопросу: какая из них самая неприятная для него? Наверно, Соломонова Люба. Лицо круглое, щекастое, черная челка до бровей, нос картошкой, глаза бледные и маленькие, как у слепой. Это нормально. Именно это и вдохновляет.

На перемене он пристальнее взгляделся в нее. Короткие, формы бутылки ноги обнажены почти до самых трусы. Впрочем, все девочки теперь ходят в мини-юбках. Она пошла к реке. И он.

“В мини-юбках ходят Любки, - бормотал Володя, следуя на известном расстоянии после уроков за Соломоновой Любовью. - Любки, Любочки, Любчонки... Если букву “Л” убрать, то останутся юбки, юбочки, юбчонки”. Кругами, что ли, решила ходить по району?!

Люба свернула в Летниковскую улицу, бывший Гусятниковский переулок, и оглянулась, заметив Володю. Он не очень-то смутился, хотя ситуация выглядела дурацкой. Идет зачем-то по следам за самой некрасивой одноклассницей. Зачем? Почему? Куда дальше?

- Ты чего, по физике списать, что ли, хочешь? - хмуровато спросила Люба, глядя, не моргая, прямо в глаза Володе.

Этот взгляд поохладил его, он не выдержал этого взгляда и опустил глаза.

- Экскурсию по родному району совершаю, - с намеком на улыбку сказал Володя, медленно глядя взглядом колени и чуть выше.

- А-а, понятно, - сказала Люба, закрывая толстые ляжки портфелем, взяв его двумя руками. - Тогда скажи, в честь кого названа эта улица? - Она небрежно кивнула за спину.

- В честь рабочего Ивана Герасимовича Летникова. Он работал на кожевенном заводе “Поставщик”... И по физике спишу, - вплел Володя. - Если ты, конечно, к себе пригласишь...

Чуть-чуть насторожившись, Люба, тем не менее, спокойно сказала:

- Я тебе тетрадку дам... Вздохнув, Володя сказал:

- Дело не в тетрадке...

Он взял Любу за локоть и повел вперед.

- А в чем?

Про себя он бормотал: “Будь смелее, старик, лепи горбатого!”.

И сказал:

- Справа - завод, слева - завод...

Люба удивленно подняла на него глаза. Действительно, Летниковская улица сплошь была застроена промышленными зданиями, старыми... Вернее, когда их строили в прошлом веке или в начале нынешнего, или до войны, здания стояли новые, но такие безрадостные, что казалось, на них никогда не посмотрят люди. Собственно, их и не строили для красоты. Это был промышленный район, расположенный вдоль линии павелецкой же-

лезной дороги. И 1-й Кожевнический переулок, в который они свернули, выглядел таким же убогим. Стены кирпичные, низкие дома, решетки, железные ворота: справа - завод каких-то лент, слева - трикотажная фабрика. Переулок шел коленом, сначала упирался в забор, потом круто сворачивал направо, где тоже слева и справа лепились промышленные постройки без всякого архитектурного вкуса.

Светило солнце. Через ворота виднелся купол старой церкви. И никого в переулке не было. И стояла какая-то дикая тишина. Обеденный перерыв, что ли, наступил на фабриках и заводах? Выщербленный асфальт был сух. Справа стоял грузовик цвета хаки без колес, весь в пыли. Песок хрустел под ногами.

Володя оглянулся - никого, и впереди - никого. Тогда он крепко сжал локоть Любы одной рукой, другой обнял и, прижав к груди, нашел ее губы и впился в них горячим поцелуем. Люба сначала дернулась, но тут же обмякла, все больше открывая рот утопая в поцелуе. И целовалась она довольно сносно, как будто до этого с кем-то уже целовалась.

Не выпуская ее из объятий, продолжая поцелуй, Володя открыл глаза, так как начал поцелуй с закрытыми глазами, и прочитал на кирпичной стене очень неприличное слово, однако, оно его не смутило, но натолкнуло на более определенные и решительные действия. Он юрко запустил руку под мини-юбку, но не успел ни до чего дотронуться, потому что Люба моментально среагировала на происк врага и присела, вырвавшись из объятий, и разразилась истеричным смехом. Володя оглянулся, и вперед посмотрел, никто не вошел в переулок.

Она сидела на корточках и хохотала. На глазах ее показались слезы, такие крупные, как стекляшки в сережках. Он стоял над ней, а она сидела и хохотала в слезах.

- Вставай, - сказал он, оторопев. Она продолжала хохотать.

- Люба, пожалуйста, встань!

Смех оглашал пустынный и страшный кривой переулок.

- Любочка, - прошептал он, приседая и заглядывая в ее глаза, - что с тобой?

Она, словно не видя его, вдруг стала визжать. Володя покрутил головой, в испуге встал, повернулся и пошел назад. Люба продолжала визжать надрывно, словно сумасшедшая. Володя ускорил шаг, свернул налево, в короткую часть переуллка, затем - направо,

на Летниковскую улицу, а там уж пошел быстрым шагом, бегом, по Кожевнической, домой.

На другой день Люба, как ни в чем не бывало, сидела за партой и стреляла игриво мутными глазками в сторону Володи. Улавливая этот взгляд, он холодел, нервно вздрагивал. На перемене она спросила, косясь в окно:

- Ты меня проводишь?

Он вскинул руки вверх перед лицом, заслоняясь, шепнул:

- Что ты!

- Не бойся, я больше не буду, - сказала она и, не оглядываясь, побежала в буфет.

Никакого желания у него не наблюдалось, никакой страсти, но Люба словно приковала его этим вопросом, этим приглашением, и после уроков он послушно побрел за ней. Теперь Люба направилась по Дербеневке, любуясь Володей, свернула в Жуков проезд, добрела до моста через железную дорогу и остановилась. Володя подошел к ней и встал рядом. Люба облокотилась на поручень и стала смотреть вдаль. Володя тоже обратил взор на рельсы, идущие в сторону вокзала. От вокзала двигался поезд. На запасных путях стояли электрички.

Он молча положил руку на ее плечо. Она повернула к нему лицо, подняла его, закрыла глаза и медленно открыла рот, обнажая ряд белых зубов. Он собрал свои губы в пучок и дунул в ее рот. Люба открыла глаза и рассмеялась. Они весело зашагали по Жукову проезду в сторону Дубининской улицы, вдоль складов, заборов и решеток.

Она жила во 2-м Кожевническом переулке, недалеко от церкви. На стене висел пыльный ковер, на диване лежал пыльный ковер, на полу лежал пыльный ковер. За столом сидела сестренка и делала уроки. Сестренке на вид было лет десять, но она уже строила глазки. Володя сел напротив сестренки, открыл свою толстую тетрадь. Люба положила перед ним свою толстую тетрадь, по физике.

- Сходи за хлебом, - сказала Люба сестренке.

- Опять я! - огрызнулась сестренка, но потом, подумав, собрала свои манатки в портфель и сказала: - Сначала пластинку послушаю, потом пойду.

- Ладно, слушай свою пластинку, - разрешила Люба, листая тетрадь, отыскивая нужное.

Сестренка подняла крышку огромной радиолы, поставила пластинку с каким-то венгерским певцом. Под фокстрот сестренка, которую звали Светланой, подергивала плечами и косилась на Володю, добросовестно переписывавшего задание. Когда музыка кончилась, и пластинка зашипела на последнем кольце и отключилась, Светлана взяла сумку и побежала в магазин.

Люба выхватила у Володи ручку, положила на тетрадь и потянула его к дивану, открыв рот. Он запустил обе руки под ее ягодичы, и Люба села, а он легко снял с нее трусы, после чего она довольно-таки умело развела колени и он, упав перед нею, принялся разглядывать в упор то самое, открывающееся розоватое в окружении кустистых берегов. Из-под ягодич Володя провел указательным пальцем по розовому. Люба тихо вскрикнула и прошептала:

- Тебе хочется потрогать? Потрогай... Потрогай еще... Там есть дырочка...

И она шире развела дрожащие ноги, а Володя гладил ее набухшие губы и целовал ее в пухлый некрасивый рот.

Люба потянулась к его брюкам, нащупала пуговицу, пытаясь расстегнуть ее, но он сам это сделал и выпустил бодрого малыша на воздух погулять. Люба взяла его рукой и стала торопливо ощупывать.

- Ну, давай же! - вспыхнула она, обхватывая его ногами. Володя с трудом протолкнулся в ее влажное нельзя, задрожал, финишируя с ходу, не успев выскочить, со сладкой болью.

- Можно, можно, - успокоила его Любочка, неудовлетворенная.

Он посмотрел на ее лицо и отшатнулся: вместо глаз было какое-то туманное, молочное нечто. Так ему показалось. А Любочка опять протянула к малышу руку, и он воспрянул; зрачки опять вернулись на место, хотя были мутноватыми. Он вошел в ее тесное "никогда не покажу". Она еще шире развела ноги, нетерпеливо дергая ими.

Без стука вбежала сестренка Светлана, бросила хлеб на стол уперла руки в боки, глядя в точку сочленения двух полов, и сказала:

- Я тоже так хочу!

И капризно топнула ножкой в туфельке и в белом носочке.

В воскресенье с Анатолием Моисеевым ездили в парк, просто так, прошвырнуться, покадриться, выпить. Конечно, уговорили пару бутылок портвейна розового, покатались на каруселях, но никого не закадрили. Обратно плыли на речном трамвае, мимо Кремля, до Новоспасского своего моста. Через мост шли, рассказывая анекдоты, и хохотали.

На углу Кожевнической повстречалась подросток Светлана, сестра Любы Соломоновой, с которой дел Володя с тех пор больше не имел.

- Вов, ты чего к нам не заходишь? - ехидно спросила она. Володя порозовел от некоторого смущения, сказал:

- Занят все как-то...

Светлана качнулась в его сторону и, не обращая внимания на Анатолия, погладила руку Володи, коротко так погладила, как бы приглашая в гости, и сказала:

- Любка с мамкой поздно приедут, а я ключ потеряла. Ты не мог бы меня в форточку подсадить?

И посмотрела хитрыми глазами, которые были яснее глаз одноклассницы, прямо в его глаза.

- Ладно, пойдём, - сказал Володя и кивнул Анатолию: - Ладно, пока!

- Пока! - вяло откликнулся Толя, не собиравшийся расставаться с Володей.

Первый этаж, на котором они жили, был не очень высок, и Володя легко подсадил Светлану, не без удовольствия ощутив ладонями ее девическую жопку. Светлана легко влезла в широкую форточку, опустила на подоконник руками, потом встала, высунулась и прошептала:

- Иди к двери, я тебя сейчас пушу...

- Зачем?

- За тем! - приказно сказала Светлана, и ее детское личико превратилось во взрослое.

Легкий кайф и предчувствие новых впечатлений повели Володю в темный подъезд. Обшитая войлоком дверь открылась, Светлана стояла на пороге. Он вошел в длинный и темный коридор. От соседей лилась музыка.

- Тебя же могли пустить они, - кивнул он на соседскую дверь.

- А я хотела, чтобы ты...

Володя недоуменно пожал плечами, проходя в комнату с коврами, по-прежнему пыльными. Здесь ничего за год не изменилось. Ту же венгерскую пластинку поставила Светлана. Володя сел на диван и положил ногу на ногу, пытаясь вслушаться в мелодию, но никак не мог уловить тему. Светлана села к столу. Стала тереть конфету в обертке, карамель, за хвостики. Конфеты лежали в вазочке на столе. Володя потянулся и хотел взять себе конфету. Света поймала его руку.

- Что ты ждешь? - спросила она, и зрачки ее расширились до размеров самих глаз.

- Да ты что! - воскликнул Володя, отдергивая руку. - Ты же ребенок! Тебе нельзя! Мне нельзя с тобой.

Светлана вскочила из-за стола, встала так, чтобы он всю ее видел, рывком подняла подол: черный треугольник под прозрачными плавками полоснул Володю по глазам.

- Видел! Ты видел! - вскричала она. - Сделай со мной так же, как тогда с Любкой!

Володя с трудом проглотил слюну. Светлана присела, оставив трусы на полу, затем подошла к Володе, не опуская подола юбки.

- Потрогай меня... там, - задыхаясь, сказала Светлана. Зажмурившись, Володя протянул руку к ее паху и наткнулся на жесткий ворс.

- Ой, приятно! - вскрикнула Светлана. - Меня еще никто не трогал посторонний.

- Ты, наверно, сама себя трогала, - сказал Володя, поглаживая ее тугой живот.

- Дурак!

- Ладно, - вздохнул он, - дай я на стул сяду.

- Зачем? - Она все еще держала подол юбки поднятым к подбородку.

Он в страсти смотрел на ее прекрасное, совершенное детское тело, бархатистое от загара, на белую полоску низа живота, на влекущий холмик треугольничка.

- Чтобы я тебя на ручках покачал, - сказал он срывающимся голосом, спотыкаясь на каждом слове, словно в глубокой простуде, нагулявшись без шарфа на морозе.

Володя, озираясь, разделся, а Светлана мелко задрожала, увидев его напряженный фаллос, и даже побледнела, при этом сильно расширились ее глаза.

Он гладил ее, держа на руках, прижимая и отстраняя, целуя влажными губами. Светлана обвивала его шею тонкими руками, склоняла голову, откидывала назад, закрывала глаза, открывала, смотрела на Володю, но словно не видела его, погруженная в совокупление, и это чувствовал Володя, и все никак не мог её до конца почувствовать, удовольствие все надвигалось, приближалось, но никак не осуществлялось, оно исчезало, чтобы накатывать новой волной, чтобы дернуть током счастья, или иллюзией счастья, никогда не подчиняющегося воле человека.

Когда она потянулась губами к его уху, чтобы поцеловать, Володя услышал мелкий зубовный постук, мелкий-мелкий, как будто белочка грызла орешки.

Володя еще никогда не испытывал такой глубины физиологического удовольствия, такой любви, и поэтому с безоглядной отвагой преодолевал сопротивление почти что известного, но всегда нового, как это он теперь понимал, материала.

Глава 4. Валентина, 1966.

На "Труде" заливали лед, и Володя ходил на каток; Володя неплохо катался на канадах, играл в хоккей, между собой, двор на двор, не на время, не на голы, а пока есть настроение, есть силы, до темноты. Чуть поодаль катались девчонки, одну из которых заметил Володя потому, что у нее были очень большие глаза, синие глаза, а Володе очень нравились девчонки с синими глазами, с большими синими глазами, одним словом, Володе нравились девчонки голубоглазые, или, точнее, синеглазые, но голубоглазые говорят чаще, потому что в голубоглазых помимо цвета содержится еще что-то такое неуловимое, что-то от голубки, что ли. Коньки со скрипом резали лед, Володя сильно щелкнул клюшкой по шайбе и забил гол: шайба пролетела между двумя кирпичами, изображавшими ворота.

Он развернулся и, красуясь, подкатил задом к голубоглазой, едва не применив к ней силовой прием, который в свое время великолепно применял легендарный защитник ЦСКА Сологубов - эдак подсаживался под нападающего, а тот с полного хода летел через него кувырком. Но девушку Володя не стал таранить, резко тормознул, брызги льда полетели из-под лезвий коньков.

Девушку звали Валентина, и у нее, помимо огромных глаз, были огромные... то есть длинные и пушистые ресницы, вокруг синего, чуть влажноватого, черного, пушистого. Валентина каталась на "ножах", довольно-таки спортивно, но ход у нее был все же менее скорый, чем у Володи. Валентина, с которой он без труда тут же познакомился, когда подъехал и сказал, что хочет с ней познакомиться, просто так, как он обычно говорил, и что его зовут Владимиром, и она, взглянув на него с улыбкой, вообще, Володя заметил, что строение ее лица было улыбочивое, сказала, что ее зовут Валентиной. Володя смотрел все время в ее глаза, они как бы закрыли все остальное в ней. Она шла по прямой на своих ножах, согнувшись, положив руку в белой перчатке сзади на поясницу, а он кружил вокруг нее, то задом, то передом, закладывая невысказанные выражения, нагибаясь, приседая, выпрямляясь. Валентина громко смеялась, отпуская колкости, он отвечал, и все смотрел в ее глаза и не верил, что глаза могут быть такими огромными и такими синими.

Она жила на набережной. Перекинув коньки на связанных шнурках через плечо, Володя, в черном грубом свитере, в шарфе, в меховой кошачьей шапке шел рядом с Валентиной, которая несла сумку с коньками, в белой шубке и в белых сапожках. И глаза ее казались еще больше и еще синее. Володя не мог оторваться от них. Он взял Валентину за локоть и повел на ту сторону, к реке, где они облокотились на парапет и стали смотреть на почти что замерзшую реку, на Новоспасский монастырь, на купола его соборов. С куполов он все время переводил взгляд на ее глаза.

И в глаза смотрел, когда стояли в подъезде, на лестничной площадке, у окна, между этажами, и он целовал ее в очень горячие губы и гладил ее под шубкой ниже талии. А она, заведенная этими ласками, вдруг прошептала, что знает тут одно местечко, где их никто не увидит, и потащила его за руку на чердак, и там действительно все совершилось прекрасно, потому что она сама все сделала, и стояла на коленях, как будто мчалась в даль ледовой дорожки на своих беговых коньках, а он настиг ее, склонился над ней, припал к ней, сзади.

Когда она отнесла коньки домой, они пошли в кино по ее просьбе, потому что она не хотела расставаться с ним. Володя таскал с собой свои коньки. Они пошли в "Буревестник". И только в фойе, где играл оркестр и пела какая-то певичка, он рассмотрел

свою новую подружку: переносица была вдавлена, а сам нос был картошкой, и голова сидела на плечах без шеи, ну не было шеи у Валентины, голова росла прямо из плеч, и на спине обозначался горбик, росту она без коньков была маленького, одно плечо поднято выше другого; Валентина, эта горбунья с голубыми глазами, жалостливо, как будто просила милостыню, снизу вверх смотрела на Владимира и будто просила, чтобы он не бросал ее, чтобы и после кино слазил с ней на чердак, и побегал по ледовой дорожке, прижавшись к ней сзади, согнувшись, сзади, согнувшись, сзади - и еще один раз, сзади, и еще, как цыгане поют, много-много раз, сзади!

Глава 5. Раиса, 1967.

В цеху пахло кожей, к запаху которой Володя уже привык, как привык каждый день ходить на смену, переодеваться в темной грязноватой раздевалке, надевать синий халат и рабочие тяжелые ботинки из кирзы с металлическими заклепками по углам шнуровки. Время подходило к обеду, Володя внимательно заводил заготовки, жал кнопку, в поддоне росла стопка готовых деталей обуви. Да, время близилось к обеду, вернее, к ужину, поскольку эту неделю Володя работал во вторую смену. Подошел лысый и в очках мастер, спросил:

- Ты, Абрамов, сверхурочно в выходной не выйдешь?

Выключив станок, Володя почесал свою рыжую жесткую шевелюру, подумал и ответил:

- Если нужно, то...

- Нужно, - сказал мастер и, сняв из-за уха карандаш, пометил им что-то в замусоленном маленьком блокнотике.

Володя достал из тумбочки термос с киселем и батон за 13 копеек с маслом и тремя котлетами. Батон наvertела мать. Разрезав его вдоль, налив в никелированный колпак красного тягучего киселя, который Володя очень любил с детства, широко разинул рот и откусил большой кусок. Вкусен паёк: котлета остра, с чесноком, с перцем, из отличного мяса. Мать вообще превосходно готовила, а котлеты делала с особым фаршем из двух сортов мяса, обязательна была свинина, а говядину можно было заменить бараниной. Умяв батон с котлетами, выпив весь полулитровый термос ки-

селя, Володя утер рот носовым платком, протер руки концами и пошел прогуляться в другой конец цеха, где работали довольно-таки привлекательные особы, особенно одна особа, грудастая, невысокая, щекастая, в общем, собой особенная особа. Очень заманчивое сочетание: особенная особа.

Стуча подковками в развязной походке, Володя подошел к станку этой особы. Звали особу Раисой. Станок ее был почти автоматический, шил толстыми нитками, шил и шил, строчил кожу как ситец или штапель, толстую кожу прострачивал запросто, такая крепкая игла стояла, или несколько игл. А Раиса следила за правильностью строчки. И Володя, подойдя, стал следить за правильной строчкой, строгой такой строчкой, ровной, шаг в шаг. Правда, для начала спросил у Раисы, почему она не обедает, на что та, поглядев на него с предельной симпатией, ответила, что сегодня без обеда поработает, чтобы уйти - ей нужно - пораньше.

Еще ниже склонившись к станку и главным образом к ней, Володя осторожно и нежно, незаметно и плавно, украдкой положил руку на плечо Раисе, и та сделала вид, что не замечает его руки, потому что рабочий рабочему - друг, товарищ и брат, потому что один рабочий подошел к другому рабочему, чтобы посмотреть, как он работает, подошел поделиться опытом, мол, как это он норму дает на 120 процентов, дорожит репутацией ударника коммунистического труда. И, размышляя об этом, Раиса еще ниже склонилась к станку-полуавтомату, который толстой суровой ниткой строчил толстую кожу. И Володя не спеша опускал руку с плеча на спину в таком же, как и у него, синем халате, синем сатиновом халате. И спина была приятна, поката, гладка. И не заметно для самого себя и, главное, для станочницы Раисы рука лежала уже на тонкой талии и почти что начала, но на самом деле остановилась, движение начала, но не продолжила на симпатичной, зазывной, красивой, вызывающей страсть попке, широкой, при тонкой талии, что бывает очень редко, да, впрочем, никогда не бывает. Вы только взгляните на наших женщин: ну вот идет она, и нога под ней ничего, ровная, гладкая, и задок, вроде бы, широковат, но талия! Что это за талия, которой нет, столб, мешок, а не женщина. А нога ведь ничего себе, смотреть и терпеть можно. А на груди наших женщин посмотрите! Что это такое? То ли переход к полному животу, то ли две жировые складки, стянутые отвратительным, грубо сшитым лифчиком, заметным под какой-нибудь прозрачной коф-

точкой! Да не надевают на такой лифчик прозрачную кофточку! Товарищи советские женщины, запомните это! Раз и навсегда! На такой лифчик надевают телогрейку! Володя вдруг резко опустил ладонь до центра ближней ягодицы Раисы, и крепко сжал упругую плоть.

- О-ой! - выдохнула Раиса. - Какой ты, прямо не знаю!

И покраснела, и начала косынку поправлять-перевязывать, синюю косынку на кудрявых волосах, а в глазах ее карих искры так и заиграли любовные, которые она даже скрывать не собиралась.

- Пойдем пройдемся? - сказал Володя, кивая на дверь в конце цеха на лестничную клетку.

- Я не успею с нормой, - в некотором колебании сказала она.

- Успеешь, - сказал Володя. - Нам пяти минут хватит, - добавил он, оглядывая огромный цех, заставленный станками и механизмами. Некоторые работники бросали уже взгляды в сторону Раисы и Владимира.

Еще несколько секунд поколебавшись, Раиса выключила станок и пошла по пролету. Володя рядом, говоря:

- Меня мастер попросил в выходной поработать. А ты будешь в выходной работать?

- Да, я тоже буду работать. Наверно, все наши будут работать. Все-таки ведь не просто так, а к пятидесятилетию Октября! - с чувством выдохнула она, глядя на Володю и уже зная, что на темной лестничной клетке он начнет к ней приставать.

Раисе всегда хотелось, чтобы к ней кто-нибудь приставал.

Но к ней никто почему-то не приставал.

Спустились на один этаж, встали напротив друг друга у окна, как положено, приблизились и, крепко обнявшись, начали целоваться, страстно, глубоко, засосно. В моменты особенно сильных затажек, теряя рассудок, Раиса поглаживала его брюки, а он - ее халатик, но как только он хотел освободить ее от одежды, она вырывалась и говорила:

- Только не здесь.

- А где же?

После паузы она опять припала к нему, положила руки на его плечи и сказала:

- В выходной после смены пойдем к моей подруге, она одна живет, и мы можем быть с тобой там всю ночь.

Прижимая ее, глядя спину, Володя сказал:

- Для этого не нужна ночь, даже вечер и тот не нужен, для этого, - он так весело рванул одежды, что они легко, очутились в его руке, - нужны две минуты.

Он повернул ее спиной и с силой привлек к себе. Она переломилась пополам, а он подтянулся на ней, как будто на подножку трамвая. Раиса не своим голосом вскрикнула:

- Мамочка!

И утонула в удовольствии, зажав свой открытый, округленный рот ладошкой, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не услышал ее кошачьих стонов и визгов.

Бросая на короткое время взгляд вниз на ее белые пухлые ягодицы, Володя думал, что Раиса оказалась лучше, чем в недавних представлениях об этой любви с ней; вся Раиса была какая-то удобная, гибкая, плавная, целесообразная, и казалось, что сама природа соблюла при ее - Раисиним - проектировании все рекомендации науки о допусках и посадках, о стандартах и качестве продукции.

Как от тонкой талии разбегались у нее бедра!

- Я хочу еще любить так! - капризно, повернув к нему лицо, сказала она тогда, когда он готов уже вылететь из нее, как пробка из шампанского.

И он, погладив белые взгорки, повернул Раису к себе лицом, нашел своими губами ее губы, она, широко разведя ноги, обхватила Володину шею руками, подтянулась, сомкнула ноги на его спине, а он, придерживая ее снизу, стал ходить с нею по полутемной площадке и укачивать ее, укачивать, чтобы забыла обо всём, кроме любви, покачивал, укачивал, она глаза закрыла и голову откинула, а он укачивал ее, она сжимала его поясницу своими ногами.

Она его не видела. Он ее не видел. Но они видели друг друга по-другому, на трансцендентном уровне передачи (или имитации передачи) одной жизни другой жизни, то есть жизни, передающей жизнь, вот так, на фабрике, в обеденный перерыв вечерней смены, пролетарски, по-рабочему, без всяких там словоблудий и суходрочки романов XIX века, романов социалистического реализма и соблюдения норм коммунистической морали.

- Ой, ой, ой, - бурлила Раиса.

- Какая ты! - подвел черту молодой рабочий Владимир Абрамов и опустил ее на землю.

Она одернула халат, достала из кармашка носовой платок и сама обтерла разбойника, чтобы не ходил тут сопливым.

Володя нежно привлек Раису к себе, поцеловал в горячую нежную щеку и сказал:

- Спасибо! Ты очень хорошая!
- Мы будем встречаться?
- Обязательно!

Говоря о производственных проблемах, о нормах выработки, о скорой замене старого оборудования, они вошли в шумный пролет, в светлый цех, Раиса включила свой станок, а Володя направился к своему, чтобы успеть сегодня перекрыть план процентов на пятьдесят.

Работал Владимир Абрамов сдельно.

Глава 6. Надежда, 1968.

В офицерской столовой устроили танцы, сдвинув столы к стене, а оркестр посадив на возвышение, специально сделанное, вроде эстрады, для праздничных целей. Над эстрадой красовался портрет Брежнева и висел красный транспарант с призывом крепить боевую и политическую подготовку. Рядовой Абрамов только что перемыл всю посуду, будучи в наряде вне очереди за пререкание со старшим по званию, и наблюдал через приоткрытое окошко раздачи за входящими в зал офицерами в парадных мундирах, за их женами. Кое-кто привел на вечер взрослых детей. Абрамов был в белом халате и в белом поварском колпаке. Возле него стоял в таком же белом халате дежурный по столовой офицер и ждал начала, когда ему поручено было командованием налить каждому офицеру по 150 грамм водки и выдать два бутерброда с сыром.

В зале уже собралось много народу, когда в дверь протиснулся старшина второго батальона в форме Деда Мороза. За ним и Снегурочка следовала, дочка капитана штаба, кругленькая такая, толстоногая. Дед Мороз вошел, как и положено по уставу, строевым шагом. Остановившись в центре, махнул красой рукавицей, и оркестр ударил туш.

Под ритмичные и довольно сумбурные звуки самодеятельных музыкантов два солдата втащили в зал тяжелую елку в кадке, а третий солдат принес коробку с лампочками и игрушками. За ним вошел взвод из десяти человек.

Дед Мороз отложил на пол посох, вытянул руки по швам и гаркнул на всю столовую:

- Рядовые! Приступить к уборке елки!

Одни солдаты установили елку, другие принялись суетливо разматывать гирлянду, вешать игрушки под веселыми, предчувствующими выпивку взглядами офицерского состава. Дед Мороз наблюдал за ними с секундомером в руках. Солдатам потребовалось двадцать минут, чтобы он пробасил:

- Раз, два, три, - елочка, гори!

Тут же погас свет в зале, и заиграли разными огнями лампочки гирлянды. Раздались радостные, праздничные, легкомысленные возгласы жен офицеров, самих офицеров и их дочерей и сыновей.

Тут старшина-Мороз хлопнул в ладоши, и в зал вошел генерал Амосов, командир части, с величественной женой под руку. В волосах жены поблескивали бриллианты. У нее трясся белый второй подбородок, в ушах тоже сияли в золоте бриллианты, и на груди в широком вырезе - бриллианты. Взгляд ее походил на ястребиный, испепеляющий, малахитовый с искрами. У рядового Абрамова даже в голове задымилось от этих восторженно-праздничных форм. А грудь какая! Не грудь, а два арбуза, или, что точнее, две спелых дыни под переливающейся красной тканью. И нос с горбинкой. А руки! Длинные ногти с красным лаком! Посуду, наверно, никогда не моет! Вот так всегда в голове солдата - мысли не об укреплении боевой и политической подготовки подразделения, а о бабах!

Володя влюбился сразу, раз и навсегда, бесповоротно. Она в этот момент повернулась к нему спиной. О, боги древнего Рима! Что это за зад! Как она только в дверь прошла?! У Володи потекла слюна, а дежурный офицер, вздохнув, сказал:

- Екатерина Великая, да и только!

- Да-а, - протянул Владимир Абрамов, рядовой первого года службы.

И генерал хорош: малиновые лампасы, лакированные штиблеты, бриллиантовые запонки, звезда Героя, черный казачий чуб и шрам во весь лоб. Такой одним ударом семерых убьет. До сих пор сам прыгает с парашютом, и солдаты за ним готовы не раздумывая в огонь и в воду. Головорезы. Володя уже десять прыжков имеет. С ножами и автоматами, в тельняшках и в меховых куртках, в башмаках на высокой шнуровке - с неба в тыл врага, и нож в горло, снимать всех, кто попадает на пути. Резать, резать и еще раз ре-

зять, не жалеть, вырубать, отключать, кончать. Так учит устав, так учит генерал своих солдат.

Володя разлил водку в рюмки первого подноса, дежурный офицер понес поднос в зал, к столам, стоявшим у стены, в белых скатертях, с солонками и перечницами, и, разумеется, с горчицей. Горчицу лопали в части ложками. Буханку на четверых и банку горчицы. Из глаз искры сыплются, в глотке вулкан извергается... Но, надо. Надо закалять себя, воспитывать настоящим убийцей, без страхов там разных и комплексов. Одним ударом должен посылать противника в нокаут. Кстати, сам генерал - мастер спорта по боксу, по борьбе, по лыжам, по парашютному спорту, по фехтованию, по шахматам и по настольному теннису. Все-таки есть некоторая нежность в этих громилах, любят часок-другой побаловаться с пластмассовым шариком, поперебивать коней там разных и слонов.

Ей было лет сорок, не больше. Но выглядела она сущей античной статуей, богиней. Однако как к ней подступиться, подъехать, подмазаться, подкадриться, прилепиться? Между тем, дежурный офицер явно не успевал с подносами, хотя Володя наливал быстро. На поднос уходило четыре бутылки, и выделенная выпивка подходила к концу.

В зале кое-кто уже начал танцевать, оркестр играл вальсы, фокстроты и танго, страшно фальшивя, но, судя по всему, никто этого не замечал. Замечали лишь пустые рюмки и не поступление новых. К окошку подошел красный майор, спросил, мол, как там дела, на что Володя ответил, что норму уже выполнили и что без распоряжения вышестоящего начальства им наливать больше не положено. Майор пошел разыскивать подполковника Иванова, который командовал всем этим делом, потому что идти напрямую к генералу по уставу не разрешалось. Фактически же пришлось Володе опять тащиться на склад, получать под расписку Иванова пять ящиков водки. Володя надел бушлат, взял санки и поехал через две улицы к складу. Стоял мороз, и звезды ярко светили, напоминая свет бриллиантов на красавице генеральше. По крутым ступеням поднимал ящики, кладовщик, сержант-сверхсрочник, недовольный тем, что его оторвали от праздничного ужина, помогать не собирался. Поставив ящики на санки, пятый ящик сверху, Володя покатил санки к офицерской столовой. Над крыльцом светил прожектор, выбеливая широкую дорожку. А на

ступеньках стояла генеральша в накинутой шубе, и курила вместе с какой-то женщиной.

Увидев генеральшу, величественным жестом подносящую сигарету к покрашенным губам, Володя застыл парализованно, летаргически, восторженно-влюбленно, магнетически-сексуально, тревожно предчувствуя сумасшедшее знакомство. Он стоял, не доехав до подъезда метров пять, и как зачарованный смотрел на лицо генеральши, не моргая, не в силах отвести взгляда.

Генеральша никак не реагировала на смотрящего на нее солдата, легко затягивалась и короткими облачками выпускала дымок. Вздохнув, Володя пошел с санками к крыльцу. Ни генеральша, ни ее спутница не обращали на солдата никакого внимания. Володя удивился этому, но не настолько, чтобы не втаскивать ящики в столовую. Однако когда он поднял первый ящик, вернее, снял его сверху, и понес прямо на генеральшу, она не только не отступила в сторону, но даже, как говорится, бровью не повела, стояла скалой и о чем-то тихо переговаривалась с собеседницей. Володя чуть ли не уперся в генеральшу ящиком, но она в упор не видела какого-то там солдата; и только тут Володя, стоя перед ней с ящиком водки, догадался, что она вообще не считала солдат за людей, не видела их вовсе, презирала, даже, видимо, ненавидела. Он понял, что она специально так встала, чтобы он осознал, что он никто. И Володя осознал это, обошел величественную женщину, поставил ящик перед глухой половиной двери, а другую открыл, потом припер ее первым ящиком, чтобы была открыта, и пошел за вторым.

Тут генеральша совершила странный жест, подошла к припиравшему дверь ящику, нагнулась, так, что капрон сзади стал виден Володе чуть выше тыла коленей, взяла бутылку, поднялась, прочитала этикетку и, не выпуская, завела руку с бутылкой под шубу, вроде как незаметно спрятала, украла так это артистически. И Володя сделал вид, что не заметил этой уловки, пронес, опять обходя могучую женщину зигзагом, в столовую. Следом за вторым ящиком пошли и женщины, не спеша, продолжая беседовать.

Потом, в окошко, Володя увидел генеральшу, танцующую с генералом, потом беседующую с оркестрантами, потом поющую какой-то романс, так же фальшивя, как оркестр:

Уйди совсем, надежда умерла-а-а...

Уже заметно захмелевшая публика, тем не менее, бурно встретила пение жены командира. А она стояла на возвышении, сжав руки на высокой груди, с поднятой головой, как Ермолова, и ждала вступление к следующему романсу, который она пожелала исполнить на бис. Пока она так стояла, офицеры поспешно закладывали за воротник и рюмки пустели так же быстро, как и прежде. Лампочки на елке мигали, старшина-Мороз зажег бенгальские огни, кто-то рванул хлопущку, полетели ленты серпантина, и посыпалось конфетти. К окошку подошел сам лысый подполковник Иванов (при его подходе Володя в окошке вытянулся по стойке смирно) и поинтересовался насчет наличия-отсутствия запасов выпивки. Узнав, что остался всего лишь один ящик, Иванов задумался, затем, ухмыльнулся и, сказав: "Вот жрут-то!" - приказал принести со склада еще пять ящиков и на этом закончить.

Впрочем, ничего удивительного тут не возникало, думал Володя, на гражданке до армии он с Толей выпивал в один вечер по литру и еще ухитрялся лакироваться пивком. А здесь великовозрастные, доблестные, закаленные офицеры в количестве ста человек, плюс их супруги, и плюс их дочери-сыновья.

В этот момент пышная Екатерина Великая запела:

Только ты, и нет тебя милей...

Из репертуара Эдиты Пьехи.

Володя опять поехал с санками на склад, предварительно постучав в окно кладовщику. Тот высунулся из-за бордовых занавесок раскрасневшийся, пьяненький, веселый, подмигнул и через минуту выскочил на крыльцо раздетый, но в офицерской шапке. Принял от Абрамова требование на пять ящиков, в свете лампочки склад химическим карандашом переправил пять на шесть и один ящик, когда Абрамов загрузился, забрал себе. Только попал в свет прожектора, на широкую дорожку, ведущую к офицерской столовой, Володя вновь увидел курящую генеральшу в шубе и ее спутницу, тоже в шубе. И опять генеральша в упор не замечала рядового Абрамова. Он на нее пошел с ящиком, но она ресницей не моргнула, стояла как памятник Екатерине Великой в Царском Селе. Володя сделал зигзаг, обошел памятник, поставил ящик, открыл створку двери, подпер ее этим ящиком, направился за другим к санкам. Взял ящик, оглянулся, генеральша сложилась попо-

лам, обнажив очень полные ноги сзади выше тыла коленей, и выпрямилась с бутылкой водки, завела руку с ней под шубу и продолжила курение. Володя, заметив это, не заметил, пронес крючком ящик в столовую. Там двое солдат, надев белые халаты, строгали новую порцию бутербродов. Володя носил ящики, огибая курящую генеральшу, проходя по коридору мимо ломающихся у стен офицеров. Слышались голоса и уговоры, пьяные уже:

- Ты меня уважаешь, Ваня?!

- Я тебя уважаю, Митя!

- Ты понял меня, что я тебе толкую?

- Понял.

- Нет, ты не понял, что я одной ротой захвачу весь Нью-Йорк!

Берясь за последний ящик, Володя заметил, что генеральша с подружкой, чуть покачиваясь, пошла внутрь. Он подумал, куда они исчезают и где поддают? Для выяснения этого обстоятельства Володя прямо с ящиком устремился за генеральшей. А они, оказывается, сидели прямо в кабинете начальника столовой, за углом. Поставив ящик, передохнув и переждав, Володя тихо подкрался к двери и приоткрыл ее. На белой скатерти стояли закуски; на кожаном диване дремал генерал. С него были сняты лаковые штиблеты. В углу сидел потный полковник Лукин, видимо, муж подружки генеральши. А сама генеральша и эта подружка уже успели сесть за стол и откупорить бутылку. Спрашивается, зачем им нужно было умыкать эти бутылки, когда по приказу командира ему бы сам Володя притащил сюда ящик?!

Пожимая плечами, Володя прикрыл дверь, вернулся к ящику и понес его на раздачу. В зале веселье между тем продолжалось. Еще стоящие на ногах офицеры и их женщины устроили, конечно, бег в мешках. Оркестр передыхал с рюмками в руках. Играла радиола, пела Шульженко:

Ах, Андрюша, нам ли ждать печали...

Наливая новые порции в рюмки на подносах, Володя мысленно представлял себе тело генеральши, и вздрагивал от томления и невозможности осуществления этого плана. Что-то мешало Володе даже в фантазиях подойти к генеральше, взять ее за руку и повести куда-то. Куда можно пригласить такую бабищу? Против нее даже такой орел, казак, как генерал, кажется

щуплым! Дежурный офицер положил руку на плечо Володе и сказал:

- Вижу, Абрамов, ты дисциплинированный парень. Можешь в честь праздника выпить.

- Никак нет! - вырвалось у Абрамова.

- Ну, я с тобой тогда, что ли, - сказал офицер и поднял рюмку.

Пришлось Володе взять рюмку, вздохнуть, и опрокинуть, чокнувшись с дежурным офицером. Спустя минут десять легче стало фантазировать. Он облокотился на стол у окошка и принялся наблюдать за весельем. Вновь в зале появилась генеральша. И даже отсюда было заметно, что она запьянела. Волосы немного растрепались, платье перекосилось на левое плечо, и правая грудь была заметнее левой. Она взбодрила оркестр, тот заиграл очень знакомую мелодия, а она - генеральша - чуть покачиваясь, запела:

Я помню вальса звук прелестный...

Пока она так пела, Володя, поставив на всякий случай на свое место солдата, сбегал посмотреть в кабинет начальника, что там происходит. Был слышен оркестр из коридора и голос генеральши:

Да, то был вальс прелестный, томный,
Да, то был дивный вальс!

Володя приоткрыл дверь. Полковник храпел в углу на стуле, храпел надрывно, бурля и всхлипывая. Его жена, подруга генеральши, дремала за столом, уронив голову на руки, а сам генерал сладко, подложив ладони под голову, спал на диване.

Рядом с кабинетом начальника темнела какая-то дверь. Володя дернул ее: по всей видимости, это - бойлерная, или котельная. В темноте не разберешь. Володя пошарил возле косяка, нащупал выключатель, щелкнул, помещение осветилось. Тут проходили трубы и квадратная, из оцинкованного железа вытяжка. Ступени в глубине комнаты ввели в другое помещение, где виднелся оцинкованный шкаф, который глухо рокотал. Видимо, работала вентиляция. Володя не стал гасить свет. Свет он погасил в соседней комнате, где спали. Быстро, пока длилась песня генеральши, сбегал на раздачу, подмигнул солдату, сунул

бутылку в карман, прихватил пару рюмок, пару бутербродов, и побежал, мимо подпирающих стены офицеров и пьяных их жен, к комнате.

Когда генеральша вышла из зала и направилась к двери начальника, путь ей преградил Володя, и сказал загадочно:

- Извините, но там перегорела лампочка, - он кивнул на комнату начальника столовой, - я послал за электриком... Впрочем, там все спят. Это даже хорошо, что они немного подремлют в темноте. - Володя смотрел глаза в глаза генеральше и видел, что она пьяна, что глаза ее не видят его, что зрачки сильно расширены.

Он взял ее под руку и повел в ту комнату, где были трубы и горел свет.

- Куда это вы меня ведете? - довольно громко спросила вдруг протрезвевшая генеральша и дернула рукой.

- Вас там ожидает некто, кто вам будет интересен, - загадочно проговорил Володя и почти что втащил генеральшу в эту самую бойлерную. Она остановилась в центре, обернулась и спросила:

- Кто меня ждет? - И красивой рукой в кольцах и перстнях поправила прическу.

Володя осмотрел дверь, обнаружил шпингалет, закрыл на него. И подошел к генеральше, на ходу вынимая из галифе бутылку и рюмки с бутербродами. Осмотревшись, поставил бутылку и рюмки на квадратную трубу вытяжки, колено которой проходило как раз на уровне груди генеральши.

- Что это? Зачем?

Молча Володя открыл бутылку, быстро налил в рюмки, одну протянул ей, другую поднял и чокнулся, сказав:

- Я никогда в жизни не видел такой пышной... такой необыкновенной, такой красивой...

- Еще? - обнажив зубы, вдруг спросила она.

- Такой великолепной женщины...

- Еще, еще?

- Вы...

Он, не договорив, опрокинул рюмку, поставил ее на трубу, и взял руку генеральши.

- Пейте же!

Она, усмехнувшись, медленно выпила и протянула ему пустую рюмку.

- Что я?

Он взял рюмку и поставил ее рядом со своей на трубу. Генеральша немного поморщилась от водки. Володя опустил руки по швам и вожденно смотрел на генеральшу.

- Как вас зовут? - спросил он шепотом.

- Надежда Михайловна, - сказала она. - А тебя? - Она легко перешла с ним на "ты".

- Владимир...

Она погладила его по щеке, даже чуть-чуть похлопала. Он качнулся к ней и уперся в величественную грудь. Генеральша положила ему руку на затылок и прижала его голову к груди. Он осмелился поднять руки от швов и завести их сзади на необъятный зад генеральши.

- Убери руки! - властно приказала она.

И когда он руки убрал, наотмашь ударила его по лицу. Да так сильно, что слезы брызнули из глаз. Она приблизила свое лицо, спросила:

- Ты плачешь? Перестань. Зачем все это?

- Я никогда не видел таких красивых женщин! - наигранно всхлипывая, сказал Володя.

- Ты что, правда, не видел женщин?

- Таких красивых никогда.

- А некрасивых?

Володя немного подумал и сказал:

- Никогда.

- А что ты не видел у женщин?

- Ничего не видел.

- Интересно. Там тоже не видел?

- Нет.

- Ну, ты сядь, Володя, сядь, успокойся, сядь на трубу, - она положила большую ладонь на его плечо, и посадила на трубу в том месте, где она коленом с высоты груди падала до самого почти что пола.

Володя сидел и смотрел на нее, а она отошла на два шага назад, выпрямилась сначала, как перед пением на сцене, затем медленно нагнулась и подняла подол красивого красного переливающегося платя, подняла до самого подбородка и прижала им подол. Володя увидел женский пояс с резинками, которые держали прозрачные чулки, увидел соблазнительные белые полоски кожи между чулками и кружевными трусами. Затем Надежда Михайлов-

на как-то сзади завела руки в трусы и, виляя задом, спустила их до колен и развела полные колени. Володя чуть не взорвался от возбуждения при виде густых русых волос и ослепительно белых бедер.

Он резко отвернулся, как от вспышки сварки, чтобы не ослепнуть. В дверь постучали. Надежда Михайловна быстро привела себя в порядок, опустила подол, и сама открыла дверь. На пороге стоял дежурный по столовой. Он сильно удивился генеральше, и еще больше - рядовому Абрамову. Но тут же взял себя в руки, извинился, и мотнул головой Абрамову на выход. Генеральша, не оглядываясь, первой покинула комнату. В коридоре дежурный офицер спросил:

- Чего это ты с ней закрылся?

Володя хладнокровно сказал:

- Ну и пьет же она. Когда я ящики таскал, она курила на крыльце. Попросила меня втихаря притащить пару бутылок в эту бойлерную, мол, будет ждать там. Я понес, она дверь закрыла, чтобы муж не заметил, и стала пить...

- Понятно... Слушай, тут дело такое... Я вызвал машину, чтобы его... генерала с ней, отвезти домой. Шофер с его "козла" попал только что на "губу"... Успел напиться... Так что ты, и Сабанеев, погрузите генерала...

У подъезда стоял микроавтобус. Володя и второй солдат, этот Сабанеев, подняли, одели и повели к автобусу генерала, ноги которого волочились по полу. Генеральша не глядела на него, сразу села вперед, рядом с шофером, сержантом. Офицерский городок находился в трех километрах. Пока добирались, генеральша напевала довольно-таки громко:

Я о прошлом теперь не мечтаю...

Въехали на прямую улицу вдоль ровного строя желтых двухэтажных домов. Подъехали к подъезду. Генерала совсем развезло и, когда его выводили из автобуса, вырвало зеленым горошком на снег в свете уличного фонаря. Генеральша не глядела в его сторону, поднялась к квартире и дверь оставила открытой, чтобы солдаты свободно провели его. В прихожей лежала шкура белого медведя. По квартире бегала кудрявая беленькая собачка и звонко лаяла. В одной комнате со стеклянными дверями стоял белый ро-

яль, в другой - широченная кровать, в третьей - письменный стол и большой кожаный диван с валиками. На него и указала генеральша. Солдаты положили, сняв шинель и папаху, пьяного генерала головой на валик, без подушки.

Солдаты вытянулись по стойке смирно перед генеральшей и хотели уходить, но генеральша поступила так:

- Вы останьтесь на десять минут помочь мне, - ткнула она красным длинным ногтем в грудь Абрамову. - А вы, - перевела палец в грудь Сабанееву, - ждите внизу!

- Слушаюсь! - отчеканил тот, развернулся кругом и вышел. И закрыла дверь на замок. Затем взяла за руку Абрамова, повела к вешалке, помогла снять шапку и шинель, и повела к широкой кровати.

- Только не надо раздеваться! - строго шепнула она и опять подняла подол, милая моя, долгожданная, села на кровать и погладила белые колени.

- Милый мой! Мы закружимся в свадебном вальсе!

И поманила к себе. Когда он подошел, она протянула руку к нему, умело расстегнула, и согрела служивого дыханьем в ладонях. И мелодия любви зазвучала мажорно, еще никогда не быв такой жизнеутверждающей. Губы генеральши, пухлые губы, с которых за ночь праздника уже почти что сошла краска, открылись и жадно наехали на служивого... Спустя минуту, она откинулась на спину и очень широко развела ноги.

- Ну же, время не ждет! - крикнула она. Володя увидел набухшие нежные в капельках росы лепестки, которые сами собой раскрывались, словно в замедленной съемке.

Володя погладил розу, нежно, чтобы не помять лепестки, и она совсем как бы вывернулась наизнанку, огромная, как морская раковина, с твердой косточкой клитора. Генеральша заерзала задом на атласном одеяле.

- Ну же! - Она еще шире развела пронзительно белые ноги. Он медлил, впервые созерцая размеры страны Гулливера, сомневался, не ударит ли он сам лицом в грязь, не подведет ли родные Кожевники в трудном деле вечной любви. И с этой мыслью пошел на вы, пошел уверенно, упрямо, твердо, решительно, богатырски, до самого дна, до самого конца, до конечной остановки, до взвизга генеральши, до бешеного оргазма, до боли в висках.

Так зачинаются богатыри земли Русской, подумал Володя, глядя в глаза обезумевшей от совокупления генеральше.

Глава 7. Лариса, 1969.

После отбоя, когда в казарме погасили свет, Владимира толкнул в плечо дневальный Соколов; он склонился и прошептал, что Владимира ждет сзади казармы у гаражей некая Лариса. Владимир поднялся, в полумраке нащупал тапочки и вышел с Соколовым из спального помещения казармы в коридор, где обычно проводилось построение и поверка. Там горела неяркая дежурная лампочка. Володя уже фактически заснул и никак, поэтому, не мог сообразить, что за Лариса его ожидает. Соколов растолковал, что это та грудастая из деревни Дворики, что регулярно ходит на танцы в часть, что она кадрилась с сержантом длинным из второй роты, но теперь он, вроде, ее бросил, и вот она теперь хочет его, Володю. При этой информации дневального Владимир с ходу возбудился и пошел к кровати за одеждой. Когда он готов был уже покидать (а покидать ни в коем случае казарму после отбоя без разрешения старшего командира не разрешалось) казарму в одной гимнастерке, Соколов посоветовал ему взять шинель и бушлат.

Послушав опытного Соколова, который специализировался по деревне Дворики и многих там уже поимел, Владимир с шинелью и бушлатом под мышкой вышел из казармы и обогнул ее. Темнота стояла полнейшая, особенно после света, хотя и слабого, но все же, в казарме. Он остановился, и некоторое время привыкал к этой темноте. Поднял голову и посмотрел на небо, сначала показавшееся ему черным, а затем, постепенно проявляющимся, как изображение на фотобумаге: слабо замерцали звезды, а через минуту-другую Володя различил уже Большую медведицу, ковшом своим нависавшую над крышей казармы.

Тут его окликнула из темноты Лариса, и он пошел на ее голос к гаражам, пытаясь вспомнить, как же выглядит эта Лариса, какая она? Она еще раз окликнула его, и он различил темный ее силуэт в прогоне между гаражами. Он вошел в этот прогон, а силуэт двинулся по тропинке на пустырь за гаражами. Володе казалось, что тут, на пустыре, свету прибавилось: звезды рябили

уже в глазах. Эту рябь заслонила Лариса, лица которой по-прежнему не мог разглядеть Володя. Лариса прошептала что-то и приблизилась к Володе. Блеснули глаза (какого цвета?): два блика, как светлячки. И следом щеку Володи обдало горячее дыхание. Она прижалась к нему, и Володя с жадностью, не пытаясь разрешить вопрос о ее внешности, обнял ее и принялся целовать, конечно, развратно, взсос, с облизыванием языка. Тут же ощупывал ее, а она его.

Он бросил, расстелив, на траву сначала шинель, а затем, на шинель ватный бушлат. В воздухе разливалась влага ночи, и на траве слабо поблескивала роса. Где-то далеко кричала какая-то шальная птица, стрекотали за казармой кузнечики. На пустыре возвышался забор с колючей проволокой, а за забором начинался лес.

Лариса неуклюже обняла Володю и поцеловала мягкими, постными какими-то губами, и потянула Володю вниз на расстеленное обмундирование. Когда он прикоснулся к ее телу, то оно показалось ему холодным, как тело покойницы, - впрочем, некрофилией Володя не страдал, - так, во всяком случае, считал Володя; когда он погладил Ларисину мягкую, податливую ляжку, то жизнь как бы пробудилась в ней, но не вспышкой, а медленным нагреванием.

То ли сам Володя замерз, то ли действительно было холодно, но иногда Лариса казалась ему росистой, льдистой, даже какой-то влажной, как русалка. При этом она как бы вытекала сама из себя, из формы женщины, чтобы превратиться то ли в ручей, то ли в росу, то ли в болотце. Вся Лариса казалась Володе расхлябанной, разболтанной, и Володя понимал, или догадывался, что понимает, что Лариса была, по всей видимости, не с одним уже солдатом, но это, как ни странно, не очень занимало его; он, по сути, готов был любить кого угодно, даже такую русалку солдатской реки, потому что был ненасытен. И сейчас, в общем-то, Володе удалось немного подзагреть Ларису, и самому разогреться, в общем, еще раз скажем, действовал, как настоящий солдат, которому никогда не хватает любви. А здесь, в армии, женщин недокомплект, (призывать их нужно в армию!), и все были заняты, и отбить их не представлялось никакой возможности.

Глава 8. Татьяна, подруга Валентины, 1969.

На высокой никелированной кровати с шарами, с кружевным подзором и десятью пуховыми подушками Володя утонул с двенадцати ночи, когда смотался в поселок в самоволку (самовольную отлучку), на которую старшина смотрел сквозь пальцы и никогда не называл самоволку самоволкой, а говорил по-простому, по-народному, по-русски, по-мужски: пошел по бабам. Ходить на Руси по бабам считается делом столь же необходимым и обычным, как ходить в магазин на троих, или в баню, или в сортир. И никто никогда на “губу” тебя не посадит, если ты действительно пошел по бабам, а не по другой какой надобности, например, по заданию американской разведки переписывать слюнявым химическим карандашом номера вагонов, прибывших в часть с новой техникой. Ни в одном приказе, ни в одном уставе вы не найдете графу или параграф, посвященный хождению русских солдат по бабам, но все и всегда ходят, ходили и будут ходить по бабам, но никто вам об этом вслух не скажет, и Лев Толстой не напишет.

Лежа с маленькой рыжей поселковой Валентиной на пуховых подушках, Володя лениво думал обо всем об этом и поглаживал живот Валентины, сбросив одеяло. Рассвет медленно проникал в комнату, и Володя начал рассматривать всю Валентину, которая была сильно пьяна, и спала мертвым сном. Володя гладил ее бедра разведенные колени, живот, небольшие крепкие груди. Рыжие косы разметались по подушке. Смазливое лицо выражало тревогу и восторг.

В дверь постучали. Володя влез в галифе и накрыл спящую одеялом. На пороге стояла подруга Валентины, Татьяна, невысокая, курносая, коротко стриженная, под мальчика. Как только Володя открыл, она быстро проникла в комнату, достала из тряпчатой сумки бутылку водки и, приложив палец к губам, села за круглый стол к остаткам закуски с окурками во всех тарелках.

С Татьяной вчера на танцах познакомила Володю Валентина.

- Дрыхнет, лахудрочка? - спросила с улыбкой Татьяна, наливая в грязные стопки. - Наупражнялись?

Володя рассмеялся, выпил и, не обращая внимания на сидящую за столом Татьяну, скинул брюки, осветив ту прожекторами ягодиц, залез под одеяло к Валентине и сразу же положил руку на горячий живот.

- Чего ты? - спросила Татьяна.

- Дай маленько подремать, а то скоро бежать в часть на утреннее построение, - сказал он, ощупывая розу, пропуская дрожащие пальцы в самую увлажненную сердцевину.

Валентина развратно во сне проскулила.

Прошло минут пять, не больше, как до Володи донесся голос Татьяны. Володя оторвался от Валентины, развернулся и увидел Татьяну лежащую на диване с разведенными ногами, с выставленной на показ еще более яркой розой, нежели чем у Валентины.

- Чего ты там в ейной муфточке копаешься! Иди в мою скюды! - не позвала, а приказала Татьяна.

Володю долго упрашивать не пришлось. Он извинительно погладил лобок Валентины, спрыгнул с кровати, мелькнув ослепительно красным стоп-сигналом, прыгнул на Татьяну и без помощи рук загнал вагон с ходу до тупика.

- У-у! - взывала Татьяна, обхватывая его за ягодичицы. - Какой ты, сука, злонамеренный! Давай, давай, давай! - принялась повторять она, как молитву, и стучать пятками по его спине.

Володя давал во всю мощь, во весь опор, с чувством ответственности за порученное дело, буквально сразу же вошел во вкус, как бы вписывая новую страницу в сокровенную историю взаимоотношения полов, тут же целовал ее грудь, поскольку (и это каждому известно!) с молоком матери всосал привычку целовать женскую грудь, и продолжал правое дело самца, нажимая на все педали, работая от всего сердца, по всем правилам искусства репродукции человека, в классической, конечно, несколько ретроградной позе, но, собственно, этим и отдавая должное поискам самых удобных поз предками, предложившими для этого ритуала и ей и ему находиться в чем мать родила, то есть, точнее, ей - в костюме Евы, а ему - в костюме Адама.

И делу конец.

Но Татьяна грозно крикнула:

- Если в меня, то убью!

Поэтому молоко выплеснулось на белый живот возле самого пупка. Татьяна ухмыльнулась, прокручивая в мозгу весь цикл, с того момента, как он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплементы. И Татьяна отпустила их:

- Вот Вальке с тобой, минже лохматой, повезло!

Глава 9. Татьяна, 1970.

Дело близилось к дембелю, время шло поэтому еще медленнее, чем в начале службы. Солдат спит, конечно, и служба, следовательно, идет, но, однако, идет она гораздо проворнее, когда есть на кого глаз положить и с кем перепихнуться. Но много причин существует для того, чтобы мечты не осуществлялись, а если и осуществлялись, то очень редко, как красно-прекрасные 1-е Мая или 7-е Ноября.

Три года кряду видел эту толстую Татьяну, продавщицу военторга, Владимир Абрамов, но ни разу в эту сторону и не подумал, ибо страшна была Татьяна до ужаса, косая, с золотым зубом и редкими прилизанными, словно растительным маслом смазанными волосами, расчесанными на прямой пробор, и с крысиным хвостиком сзади. Голос она имела сипатый, зато задом обладала знатным. Вошел Володя в военторг за асидолом, чтобы на дембель как следует надраить пряжку и пуговицы, а продавщица Татьяна стоит, пополам сломавшись за прилавком: зад в полстены в сиреновом трико! Володя положил мелочь на прилавок и, когда Татьяна обернулась, прямо сказал:

- Хорошо бы сейчас любовью заняться!

Мечтательно и нежно так это проговорил, как говорят обычно любвеобильные кавказцы в кепках-аэродромах. И, что бы вы думали? Татьяна без всякого смущения, по-нашему, прямо так отвечает:

- Хорошо бы! Что тебе?

- Асидол. Когда?

- А сейчас на обед закрою, зайди с черного хода.

Володя чуть вздрогнувшей рукой положил баночку с асидолом в карман, подмигнул Татьяне, взглянул на наручные часы - было до обеда двадцать минут, и вышел. Послonyaлся по части, зашел в библиотеку, полистал подшивку "Красной Звезды", потом зашел в казарму, сказал дневальному, чтобы его порцовку отдал салаге, потому что он не пойдет на обед, положил асидол в тумбочку и пошел себе к Татьяне.

Он шел и думал только о ее заде, больше ни о чем, лица продавщицы военторга как бы не существовало для него, он мысленно накрывал лицо обложкой журнала "Огонек" с портретом почтальона Ивановой из города Коврова, симпатичной девушки, удар-

ницы коммунистического труда. Но одно дело - мечтать, а другое дело - жить. Хотя, разумеется, жить и верить - это замечательно, но продавщица Татьяна только закрыла за ним на ключ черную дверь, как полезла целоваться, крутиться лицом своим перед его лицом.

Володя только хотел приступить к нижней части, а она, косая с бельмом, тут как тут перед глазами, сжимает голову Володи руками и лезет целоваться, да все так по-бабьи, слюняво, не взасос, а чмокальски. Исчмокала всего старослужащего. Он только руку, как на буфет, на ягодицу ее опустит, она эту руку хватает и вверх поднимает, к своим щекам, чтобы он тоже, как и она, сжимал ее голову. Наконец она сама опустила свои руки, чтобы Володя превратился в эскимо; Татьяна, милая моя, долгожданная, девочка моя ненаглядная, принялась самым обольстительным образом пробовать эскимо золотым зубом.

Эскимо, известно, очень холодное, поэтому, когда все его берешь в рот, то тут же хочется вынуть его, чтобы не обморозиться.

Конечно, продавщица Татьяна не обморозилась, но глотками, через паузы, съела всего его, до точки, проглотив и эту точку.

После этого отводя глаза в сторону, как кошка, слизавшая сметану, изящно сбросила халатик, девочка моя, долгожданная, осталась без бюстгальтера и фиолетовых панталон, милая и долгожданная, и, резко повернувшись к солдату спиной, согнулась по полам, обхватив ящики, словно подставляя письменный стол для чистописания Володе.

Гормоны заиграли в Володе еще раз, с ретивостью графомана он ринулся к столу, и принялся писать роман об одном и том же, все о том же, буква в букву, повторяя то, что известно каждому, и все-таки не известно никому.

Известное неизвестное.

Потом Татьяна, одернув халат, сунула в знак благодарности Володе флакон "шипра", вытолкнула поспешно на улицу и закрылась.

Володя смотрел на зеленый одеколон, пожимал плечами и ду- мал о загадочности женской души, о бесконечной лестнице удовольствий, о повторяемости любовных приливов и отливов, о воспроизводстве (иногда моментальном, как теперь) желаний.

Глава 10. Елена, 1970.

Елена села в низкое кресло, колени поднялись на уровне подбородка, мини-юбка обнажила роскошные загорелые бедра, а когда она непроизвольно раздвигала колени, то были видны шелковые трусы на самом потаенном месте, которое, впрочем, для Абрамова Владимира было абсолютно известным, изученным, но тем не менее, увидев между разведенными в меру мягкими, притягательными бедрами полоску белых трусиков, он сразу же возбудился, в крови возник ток желанья, глаза его заблестели похотливым блеском.

Елена пришла с ухажером, коренастым приятелем Анатолия, с двумя бутылками водки и тортом “Сказка”, который сразу же съели, потому что у Анатолия мать была на даче и еды никакой не было. Анатолий от армии уклонился, поскольку поступил в Плешку, а Абрамов Владимир не прошел по конкурсу и отслужил положенные три года. Теперь он демобилизовался, третьего дня приехал в Москву, и второй день отмечает с Анатолием свое возвращение, наливает в хрустальные рюмки спиртное, в основном водку, пьянеет, поет под гитару песни и ничего не хочет делать, кроме как кадриться и любить, любить и кадриться. Вчера, однако, день прошел в холостую, поскольку никого с Анатолием не смогли зацепить, поэтому сидели здесь же, в креслах перед журнальным, асимметричным, низеньким столиком, столешница которого была сделана из пресованных опилок-стружек, покрашена в ядовитый зеленый цвет и залита толстым слоем смолы, которая блестела и, как толстое стекло, несколько увеличивала и подчеркивала фактуру ДСП. По гладкой поверхности стола прекрасные скользили стаканы и рюмки.

Абрамов все рассматривал стружки с опилками, как рыбок в аквариуме, и плыл от кайфа, потом увидел себя около Елены, со своей собственной рукой, запущенной под мини-юбку к самым трусикам, потом поймал себя летящим головой в дверь, поскольку ухажер ее точно попал увесистым кулаком ему в бровь справа, и в зубы слева. Раскрошился зуб, и полилась кровь. А ухажер принялся бить лежачего ногами. Абрамов с трудом поднялся и попал в глаз ухажеру, тот упал. Абрамов бить ногами его не стал, а просто, качаясь от стены к стене, вышел во двор,

размазывая ладонью кровь по лицу, прошел несколько метров, по дорожке, качнулся вправо, его сильно повело, он споткнулся и упал в бурьян.

Сквозь сон он услышал голос Елены, зовущий его; Володя приподнялся из зарослей у забора, позвал Елену, она бросилась к нему, он схватил ее за ногу, за юбку, за руку. Елена упала, он заголил ей подол, то есть холмы ягодиц обнажил, и стал тут же в бурьяне, почти что бессознательно, любить ее.

- Вот все вы такие! - всхлипывала Елена, или в сладострастии расплакавшаяся. - Вам только одно и нужно!

- Да, только одно! - подтвердил Володя, входя в пьяный экстаз.

Тут послышался голос Анатолия, и ухажер вторил ему. Владимир застыл в Елене, которая сильно напряглась и вытолкнула его из себя.

- Тихо лежи, кобель! - прошептала она едва слышно.

Анатолий с ухажером переговаривались на дорожке:

- Да не могли они далеко уйти! - говорил ухажер. - Я ему рожу, скотине, всю расквашу!

- Они к вокзалу, наверняка, побежали! - крикнул Анатолий.

И голоса смолкли. Володя привстал: во дворе никого не было. Он схватил Елену за руку и потащил ее к подъезду, она не сопротивлялась. На третьем этаже жил брат матери Анатолия, и Владимир направлялся к нему. Брат был дома, несколько не удивившись, уступил свою довоенную никелированную кровать парочке. Владимир разделся до костюма Адама, Елена молча, сопя, тоже сняла с себя все. Влезла на кровать, сверкнув снегами Килиманджаро, Володя лег возле этих снегов, или на снега; уснул на Елене, держась за крепкие небольшие груди до утра, так и не сумев завершить акта любви.

Утром он взглянул на свою физиономию и испугался: лицо все было в кровоподтеках, в синяках и ссадинах. Одевшись, Володя спустился к Анатолию, оставив Елену досыпать у брата матери. Анатолий, как ни в чем не бывало, пил кофе. Володя тоже выпил чашку. Рассказал, как покорила Елену. Через час зашел брат матери, сально улыбался, поведывал, что тоже овладел Леной и выпроводил ее.

Глава 11. Антонина, 1970.

Край неба сделался черным, подул ветер, холодный, пронизывающий до костей, и пошел густой снег. Володя поднял карачулевый воротник, плотнее натянул красную шапочку с зеленым помпоном; через плечо были перекинуты на шнурках коньки. Володя, вбежав в подъезд Анатолия, позвонил в дверь, открыла мать, статная, объемная, с высокой грудью, Антонина Михайловна. На ней был шелковый халат, открытый на груди; в черную складку уходила тонкая золотая цепочка с крестиком.

- Анатолий еще не пришел из института, - сказала она бархатым голосом и, подумав, добавила: - Проходи, кофейку попьем.

Володя прошел в квартиру, разделся, положил коньки на пол.

В комнате озирался, как будто появился здесь впервые. Хрусталь в застекленном шкафчике, фикус в углу за креслом, журнальный столик с зеленой под слоем лака столешницей, кресла. На столике свежая "Правда". Антонина Михайловна пошла на кухню готовить кофе, Володя сел в кресло под фикусом, открыл "Правду", от которой приятно пахло типографской краской.

На цветастом черном подносе Антонина Михайловна принесла кофейник, пару маленьких чашек, вазочку с печеньем. Она села напротив, налила кофе, взяла свою чашечку и, оттопырив мизинец с длинным бордовым ногтем, сказала:

- Я тяжело рожала Анатолия...

Володя, взяв свою чашку, с удивлением поднял глаза на Антонину Михайловну. Перед ним сидела величественная блондинка с чувственным накрашенным ртом, с тяжелой челюстью, с выщипанными подведенными бровями, с подкрашенными ресницами. Антонина Михайловна вдруг заголила полную ногу, провела пальцем по белой в синих венках коже до самых синих трусиков и сказала:

- Вот эти вены появились после рождения Анатолия. Да-а. А до родов я была сахарная.

Она закатила глаза и провела острым язычком по губам, вращательным движением. Другая рука поставила чашку на стол и сбросила с другой полной ляжки полу халата.

Володя кашлянул, что-то в горло попало, тоже поставил чашку на стол и впился взглядом в огромные бедра матери Анатолия. Он смотрел на мягкие ляжки, а она поглаживала, массировала их то с внешней стороны: от винта, то с внутренней - между ног, сомкну-

тых, но не очень плотно, полные белые колени были чуть-чуть разведены.

Володя не мог оторвать взгляда от ее красивых крупных ног, а Антонина Михайловна не торопилась скрывать их полами халата, шелкового, переливающегося синими волнами с крупными розами в зеленых листьях.

- Да-а, - протянула Антонина Михайловна, - трудно было рожать Анатолия. Твоя мама, наверно, тоже трудно тебя рожала?

Володя проглотил сладкий ком и сказал:

- Не помню.

- Конечно, откуда ты можешь помнить... А твоя мама с какого года рождения? - вдруг спросила Антонина Михайловна, положив острые наманикюренные пальцы в кольца правой руки на правую белую ляжку, а такие же острые с длинными бордовыми ногтями пальцы левой руки в перстнях и кольцах на белую кожу левой ляжки.

Володя хотел отвести взгляд на окно, и даже на короткое мгновение отвел этот взгляд, однако, он, как мячик на резинке, быстро вернулся к белым ногам и красным пальцам.

- Моя мама родилась в двадцать втором году, - сказал он, то ли краснея, то ли потея, но постоянно сдерживая себя, чтобы не броситься на эту женщину, напоминая самому себе, что перед ним сидит не женщина, а мать товарища, мама Анатолия, но это слабое утешение, этот тормоз в любую минуту готов был сорваться: тормоз сорваться, а утешение - забыться.

И она, Антонина Михайловна, провоцировала ребенка, выставив перед ним свои красивые ноги.

- О, значит, я ровесница твоей мамы! - воскликнула Антонина Михайловна, опустила взгляд на ляжки и, найдя самые толстую темно-синюю венку, повела по ней указательным пальцем и сказала: - Вот, смотри, это благодаря Анатолию появилась!

У Володи по позвоночнику пробежала мелкая дрожь, гормоны не на шутку разыгрались, и было сильно заметно шевеление брюк возле ширинки, просто неприличное шевеление, в мгновение ока вздулись Памиром штаны.

Ничего от oka Антонины Михайловны не ускользало, она смотрела теперь на бугор, облизывала губы, а Володя не в состоянии был вот просто так накрыть, спрятать, этот выросший вулкан ладонью или газетой. Неловко было хвататься за газету. А крес-

ла были предательски низкими, неудобными. Сидишь в них, как в гамаке, трудно из них подниматься. Хотелось Володе подняться, встать, походить, но он не в силах был приказать себе это сделать, он тупо и сладострастно смотрел на круглые колени, на широкие бедра, на большие красивые руки, на темную складку между великанскими грудями, где прятался крестик.

- Все-таки мужчинам легче, - сказала Антонина Михайловна. - Наслаждался и пошел себе по улице, а нам, женщинам, муки. Никогда мужчины не поймут, что значит родить ребенка. Нет, не поймут, не посочувствуют, хотя... Володя, посмотри поближе, какая это вена. Встань, подойди, посмотри на эту подлую вену, испортившую всю картину ноги... Встань, ну же!

Лицо Володи было бело, как ее ляжка, и он никак не мог передать команду от мозга к ногам. Затекали ноги его и не слушались. Или что-то еще, поясница, пресс, другие мышцы не слушались его. Состояние, знакомое каждому пьяному, когда он вдруг, на мгновение, трезвеет, видит, что лежит на мостовой возле урны и водосточной трубы, понимает, что лежит и что ему сейчас же необходимо быстро подняться, но не может подняться.

- Что ты ждешь? Не стесняйся, встань, подойди!

Тут она сама привстала, шелк халата чуть-чуть прикрыл ляжки, протянула через столик руку к Володе, взяла его за руку и легко потянула. Володя встал, подошел, нагнулся. Антонина Михайловна положила его ладонь на белую горячую ляжку. Какой же электрической показалась Володе эта ляжка! Какой гладкой, горячей, живой, сексуальной.

- Скорее, а то Анатолий придет, - сказала она, поворачивая голову к двери и прислушиваясь.

Тем временем сама протянула руку к брюкам Владимира Абрамова и наткнулась на бугор, и тут же закрыла глаза. А Володя гладил ноги ее и тихо постанывал, чем вызвал ответное постанывание. Володя повел руку по шелковистым трусикам к животу, нависавшему над ляжками, пропустил руку под резинку и опустил к волосам на очень мягком, жирном лобке. Антонина Михайловна вздрогнула, привстала и широко, насколько позволяло кресло, развела толстые ноги. Володя нащупал ее влажные гениталии и ввел пальцы в горячую ребристую, сжимающуюся глубину влагалища до самой твердой шейки матки, пытаясь войти в туго закрытое отверстие матки пальцем. Дру-

гой рукой он гладил складку между грудями, плавно опуская ладонь на огромную грудь, под лифчик, нащупывая вишню со-ска и вываливая всю белую могучую грудь наружу, на свет, с расплывшимся малиновым ободком вокруг вишни. Володя склонился губами к груди и поцеловал ее.

- Пойдем, скорей! - воскликнула Антонина Михайловна, вставая, отталкивая Владимира, хватая его за руку и ведя к кровати. Она скинула халат, покачивая широкими бедрами, сняла трусики, заведя руки на спину, расстегнула лифчик, отчего груди невероятных размеров упали до самого пупа. Она по-бабьи влезла на кровать, опрокинулась с закрытыми глазами на спину, подхватила свои бедра руками, развела и подняла ноги, бесстыдно открывая Володе, который скидывал брюки и трусы, черный рубец в густых зарослях самого красивого для Володи (а может быть, для каждого человека и всего прогрессивного человечества?) места.

Прикрывая ладонью налившийся кровью член, Володя, стараясь не заглядывать в лицо Антонине Михайловне, влез на кровать между ног, прикоснулся обнажившейся головкой к ее волосам, развел губы большими пальцами обеих рук и вошел в сомкнутое влажное отверстие, вошел медленно, постепенно погружаясь, а Антонина Михайловна пропустила свою руку между ляжкой и его рукой к волосатой мошонке, взяла ее в руку и легонько сжала, почувствовав яички.

- Скорее, давай, давай! - страстно прошептала Антонина Михайловна, еще выше поднимая ноги, еще шире их разводя.

И Володя дал, и сразу же кончил.

- Фу ты! - захохотала Антонина Михайловна. - Как ты быстро! Эх, ты, молодость! Никакого с вами удовольствия... Ладно, слезай, а то Анатолий сейчас придет.

И она толкнула Володю в грудь, он быстро соскочил с нее, она сомкнула, опустив, ноги, села на простыне, поерзала задом, выпуская из себя сперму, встала, повернувшись к Володе задом, очень большим и белым, и принялась одеваться.

Но Володя никак не мог успокоиться, был огромен, красен. Он обхватил зад, толкнул Антонину Михайловну вперед, она оперлась руками на кровать, и Володя скользнул в нее сзади, прижав ягодицы Антонины Михайловны к своим бедрам; и левый, и правый пах Володи наполнился горячей массой, женским телом, бабьим тестом. Было очень приятно чуть отдаляться от этой пышной мас-

сы и снова натягивать ее на себя, приближать, и самому вдавли-ваться.

- Ой, ой, ой, - стонала Антонина Михайловна, словно тяжело-больная, испытавшая агонию, но шедшая теперь очень быстро на поправку.

Володя брал ее и думал, глядя на это пышное, прекрасное, мягкое тело, от которого сам он, Володя, потерял разум, как же совершенно устроен человек, какое счастье он испытывает от любви, когда каждая его жилка ликует от наслаждения, от прикосновения противоположных детородных органов, от сладострастного трения нежной розовато-голубой кожи. И каждый, каждый живущий появился на свет, благодаря подобному воссоединению женщины и мужчины, благодаря этому великолепному состоянию восторженности, обожания, единства наслаждения, которое длится пусть и короткое время, но состоит, собственно, из цены жизни этого каждого живущего, каждого идущего на работу, каждого говорящего по радио, каждого едущего на метро, каждого стоящего на посту, каждого выступающего с трибуны, каждого мужчины, каждой женщины, каждого, каждой... Еще, давай, давай, глубже, ты как любишь: спереди или сзади? давай, еще, нужны люди, рожай, родись, родилась, родился, великий русский, великий немецкий, давай, еще, немного осталось, сейчас взорвусь, такого наслаждения я еще не испытывал (ла), что ты со мной делаешь? ты меня порвешь, я тебя хочу, ты меня хочешь, юбку снимай, трусы снимай, и давай, не забывай, ты не забудешь? нет, а ты знаешь, как это делается, это даже кошки знают без знания, тут не нужно знания, тут стоит, как часовой, и она готова надеть на него шляпу, давай, давай, давай, еще, поцелуй там, а ты возьми меня в ротик, языком, язычком, всегда, давай, и так, и эдак, вот разошелся-то, вот разошлась та, вся в поту, достал совсем ее, вогнал в пот, загнал до седьмого пота, все липкое и сладкое, велик человек, никогда не вымерет, вымер бы, если бы такой любви не было, а тут не захочешь мозгом, умом, сам встанет и сама розой раскроется, чтобы новый член выскочил, вот тебе еще, нравится? да, очень, очень, очень и еще, еще, вот так, именно так: в поте лица появляется новый человек, а может и не появиться, презерватив всегда у Володи в кармане; уж с Антонины Михайловны семь потов сошло, а он все любил ее сзади, потому что очень приятен был ему ее крутой, крупный, красивый зад, эта роскошная бабья задница. И кончил!

- Ты прекрасен! - проскулила, а не сказала Антонина Михайловна.

Через минут, буквально, пять (это надо же!) пришел из института Анатолий, а Володя сидел в кресле и пил кофе и читал "Правду", а Антонина Михайловна подметала в коридоре пол.

- Здорово, старик! - обрадованно воскликнул Анатолий.

- Здорово! Айда на каток?!

- Айда!

Глава 12. Ксения, 1970.

Подняв на лифте последнего больного, Володя переоделся, свой белый халат убрал в портфель и побежал вниз, к "скорой", которая подбросила его до метро. На подготовительных курсах в мединститут он заметил Ксению, плотную, с широкими икрами и большой грудью, русоволосую, с косой и румяными щеками, напоминающими яблоки, которые привозили на московские рынки из-под Алма-Аты и которые очень любил Володя. После занятий он предложил ей прогуляться, и Ксения согласилась. У желтой стены во дворе он начал к ней приставать, целовать, а когда пропустил руку под юбку, нащупав нежное местечко под трусиками, мягкое, как гнездышко, Ксения наотмашь ударила его по лицу. Щека загорелась кровью, но Володя не обиделся, а предложил в знак дружбы выпить чего-нибудь, например, вермута.

Купили большую бутылку, "огнетушитель" этого самого вермута, розового в синеву, как чернила, принялись цедить его прямо из горла, сидя на спинке лавки. Когда слабый алкоголь подействовал на Ксению, она сама обняла Володю и шепотом сказала, что у нее есть подружка, которая их пустит. Подружка жила в Красноказарменном переулке, до которого доехали от "Кировской" на трамвае, а потом шли в свете редких фонарей, никого не замечая, целуясь. Подружка работала дворником и жила в сыром подвале. У обитой войлоком двери стояли метлы и широкие алюминиевые лопаты.

В маленькой комнате в конце коридора было шумно и многолюдно: прычавый юноша с голосом кастрата читал стихи, другой брэнчал на гитаре, третий наливал в стаканы. Какая-то синяя и тощая девица полулежала на продавленном диване, рядом с нею возлежала бесформенная кубышка с заголенным подолом и цело-

вала синюю. Володя не удивился, но сразу же понял, что овладеть моментально Ксенией здесь не удастся. У хозяйки была водка, которая тут же кончилась, и, как всегда в подобных ситуациях, стали скрести-наскребать на новую, с трудом набрали, и Володя с Ксенией вызвались пойти по названному адресу к какой-то тете Зине, у которой всегда - ночь не ночь - было.

Одевшись, выйдя за дверь и прикрыв эту войлочную дверь, Володя обнял Ксению, ухватив ее сзади за толстую косу и поцеловал в сосиску, пытаясь восать ее сладкий язык в себя. Ксения, постанывая, припала плечом к другой двери, дощатой, обшарпанной, и она - это дверь - открылась в какую-то темную комнатушку, из которой понесло сырость, плесенью.

Володя, держа Ксению в поцелуе, втолкнул ее в эту комнатушку, в которую очень слабо доносился свет пятнадцатисвечевой лампочки, висевшей при спуске в подвал. Двигая Ксению в темный угол, Володя одновременно склонялся, беря Ксению за полное колено, затем под юбкой за мягкое, расширяющееся к ягодцам бедро, и когда он влез под трусики к густой поросли, Ксения сама как-то опала, села и помогла снять трусики, и легла то ли на кирпичи, то ли на гвозди, то ли в лужу, то ли на плесень, то ли на ящики, то ли на цемент... В общем, ничего от пронзившего ее желания не соображавшая, легла с удовольствием под Володю, который расстегивал ширинку и выпускал на свидание малыша, снявшего мгновенно шапку, заглянувшего в кустики, за кустики, в животное скользкое красное тепло.

И в этой грязи, в этом мраке, в этом загробном царстве, в этом подземелье, с этими запахами могилы и сортира сексуальные действия казались Володе наиболее плодотворными, перспективными, поскольку кровать, как таковая, опошляла любовь, такую животную, такую дикую, такую загробную, такую обрывную, такую заборную, такую низменную, такую подвальную; перспективными с точки зрения обновления репертуара соединений со все новыми и новыми женщинами, девушками, бабушками, в общем, со всей бесконечной армией женского пола, с ягодичками, с густыми зарослями, с бедрами, с упругими и отвислыми грудями, с развитой мышечной структурой потаенного места, реагирующего на любые изменения размеров баловника, или не реагирующего, не сжимающегося, доставляющего этим сжиманием наиболее полное удовлетворение гормональными процессам, проистекающим в этот период соединения двух любящих в их организмах, создан-

ных в свое время таким же бесхитростным, но пьянящим все человеческое существо, образом.

Ксения не сопела, не пытела, не урчала: она взяла в рот ухо Володино и молча лизала его, а Володе казалось, что к нему в ухо заползает змея, и было страшно и приятно. После окончания любви, по просьбе Ксении, прежде чем выйти из этой конуры на свет фонарей, отряхнул ее пальто, на котором был и цемент, и мох, и влага, и битый кирпич, и опилки, и даже налипло несколько ржавых согнутых гвоздей.

На сухой асфальт ложились длинные тени от их фигур. Володя держал свою руку у нее на плече, а она болтала обо всем, в основном о женском, о нижней части своего тела, о многих абортах, которые она успела сделать за свои девятнадцать лет... Володя слушал, пытаясь понять психологию женщин, не могущих и минуты прожить без мужского участия, без мужского члена, без малыша, без упругого, налитого кровью баловника, но скрывающих свою страсть ради совершенно необъяснимых привычек держать под запретом все то, что и составляет сущность человека, ну, не всю, быть может, думал Володя, а основополагающую.

Вот, говорят, что нет материи отдельно от движения, и нет движения без материи.

А, собственно, куда все движется?

Володя остановился и посмотрел на звездное небо. В этом участке переулка не горели фонари; и из ущелья этого переулка хорошо была видна Большая Медведица, ковш ее, и одиноко стоящая Полярная звезда.

- Ты о чем думаешь? - спросила Ксения, вслед за Володей останавливаясь и поднимая голову к небу.

- О любви.

Ксения рассмеялась, громко, звонко, впервые с момента их знакомства, как будто ее прорвало.

- Разве можно об этом думать? - спросила она с некоторой издевкой, как будто она все знала о любви, а Володя ничего не знал.

Глава 13. Подруга Ксении, 1970.

Купив бутылку, Володя с Ксенией, в обнимку, шли по переулку, целуясь, и одно у них было на уме: объединение, соединение, со-

итие, совокупление, снятие юбки с Любки, образно говоря. На столе в подвале горели свечи, было сильно накурено, звенела гитара, хрипели голоса. Володя сел на колени к Ксении, на мягкие ее ноги, в связи с отсутствием места. А рядом сидела невысокая коротко стриженная подруга, пришедшая в то время, пока они ходили за бутылкой, целуясь в переулке после максимально возможного сближения между женщиной и мужчиной. И подруга, притираясь бедром к его бедру, шепнула ему на ухо (Володе), когда заметила, что Ксения отстранилась в сторону, шепнула, что очень хочет его. И Володя похотливо прикрыл глаза, готовый идти в огонь и в воду за любой юбкой, и спустя минут десять пошел за юбкой из подвала, там шум начался, а он за юбкой незаметно пошел по ступенькам вверх, на улицу.

- А что же твой парень? - спросил Володя.

- Он - жених, я до свадьбы ему не дам, - сказала подруга.

- Где мы устроимся? - спросил Володя.

Они вышли во двор, темный, лишь слабый свет из некоторых окон и свет звезд освещал его. Она взяла Володю за руку и повела к высокому тополю, под которым стояла лавка.

- Ты садись, а я на тебя сяду, - деловито сказала подруга, и задрала юбку.

И в темноте Володя увидел эти знаменитые русские сезонные трусы, огромные, байковые на резинках, обязательно лиловые или синие, хотя цвета различить не мог; и с катышками после долгой носки. Обычным женским движением подруга Ксении запустила руки сверху под резинку сзади, повилыла задом и спустила эти выдающиеся трусы до колен. Белое тело возбудило сразу с козлиными завитками руна. Подруга развернулась ягодицами к Володе, который выпустил уже на прогулку вольтерьянца; Володя для интенсивности любви положил обе ладони на ягодицы, ощупал их, свел ладони к влажному руно, опять отвел по ягодицам, к талии, одним словом, как яблоко разглаживал, затем обнял подругу, глядя ее нежный живот, нащупывая пупок, опуская ладони ниже, к волосам, и медленно повел на себя, а подруга завела свою руку назад, нашла вольтерьянца, надвинулась задом, нащупала влажное отверстие и ввела его в себя, и сильно до дна села на него, и, выждав мгновение осознания происшедшего, вдруг так ретиво запрыгала, что бедный наш Володя, несмотря на обыкновенность происходящего с ним, мгновенно кончил эту акцию.

- Уже?! - разочарованно вырвался подружки Ксении стон.
- Что делать, я же не управляю любовью! - рассмеялся Володя.
- Это она управляет мной!

Подруга соскочила с его коленей, натянула трусы, повертела задом, нагнулась и припала губами к Кандиду, чтобы как следует умыть его. Все Володино тело пробивал в этот момент страшный электрический разряд, который всегда его пробивал, когда женщины после любви начинали заниматься с баловником, совершившим уже подвиг, а от него требовали тут же следующего подвига.

Володя сахарно, малиново-клубнично стонал, откинув голову, боясь затылком о ствол тополя, созерцая горящие звезды над родным огромным городом.

Глава 14. Татьяна, 1970.

Виктор Степанович Ситник, здоровенный мужик с бобриком волос, в белом халате, врач скорой помощи, после смены пригласил Володю к себе - помочь разгрузить мебель. Зашли в гастроном, взяли бутылку водки и бутылку сухого, двести граммов костромского сыру и триста граммов отдельной колбаски. Потом ехали на метро до "Проспекта Вернадского". Когда Ситник поднимал руку к поручню, из-под пальто выглядывал белый халат. Володя свой халат возил в портфеле, а Ситник не любил портфели, ходил с авоськой. На улице шел снег, радостно светились окна в новых белых девятиэтажных домах, кооперативных. Ситник купил себе двухкомнатную квартиру, вернее, на свою семью, состоявшую до недавнего времени из него, жены и дочери, но жену он предусмотрительно не прописал...

- Володя, женишься, - говорил наставительно басом Ситник, вставляя ключ в замочную скважину, - никогда не приводи бабу к себе. И тем более - не прописывай!

- Слушаюсь, товарищ командир! - взял по-армейски под козырек, подтянуто рядовой Владимир Абрамов в запасе.

Ситник склонился к скважине в полумраке закутка лестничной площадки. В это время соседская дверь, обитая черной кожей и по диагонали, буквой "X", двумя полосками кожи, украшенная гвоздиками с широкими золотистыми шляпками, - эта дверь при-

открылась, и выглянуло красивое лицо модно причесанной соседки, с высоким бюстом, и с сильно накрашенным чувственным ртом.

- Витя, это ты! - с придыханием сказала соседка и впилась взглядом в Володю, всего охватывая его. - А у меня коньяк не допит... Только что ребята с "Мосфильма" ушли.

- Заходи! - весело сказал Ситник, открывая дверь и пропуская Володю в прихожую.

Только принялись чистить картошку, в дверь позвонили. Вошла, виляя приличным задом, соседка в джинсиках и в красной водолазке, под которой вполне отчетливо виднелись набухшие соски; надо же, успела переодеться и скинуть лифчик, подумал Володя, и глаза его заблестели известным блеском профессионального юбочника, бабника, волокиты и т.д.

- Меня зовут Таня! - растягивая гласные, как резиновые перчатки, сказала соседка, приседая и протягивая для поцелуя руку с очень длинными ногтями с ядовито-алым маникюром гостю.

Володя не заставил себя ждать, припал, как истинный блядун с Кожевнических улиц и Ново-Спасского моста, к протянутой руке и принялся покрывать ее эротичными поцелуями с прикусом кожи. А Татьяна другой рукой, в перстнях и кольцах, принялась поглаживать рыжий чуб Володи, чуть заметно этим поглаживанием придавливая голову книзу, а руку целуемую отводя назад, к груди, и другой рукой склоняя рыжую голову молодого человека к своей жаждущей измятий и поцелуев груди, голой под тонкой красной водолазкой, скользкой водолазкой, как кожа змеи, извивающейся змеи, воплотившейся в женское тело, созданное Дарвином Чарльзом исключительно для репродукции человека, то есть для любви, где каждый участок тела женщины эротичен и служит только для солидарности полов, только для этого, другого места в женщине нет, только губы, грудь, живот, только материнские чудеса под юбками, только эти материнские фантазии, возникающие после работы сеятеля, который миллионы лет занимается одним и тем же - сеет неразумное, животное, похотливое, стадное, сеет и сеет, сеет и сеет, сеет и сеет, чтобы извивающаяся змея обзавелась материнскими чувствами, чтобы, идя по Кожевнической мимо "Парижской коммуны", по Летниковской мимо завода искусственных кож, крутила толстым задом, мягким, как тесто (дрожжевое, русское, сдобное!), под туго облегающей ягодицы юбкой, с крепкими икра-

ми под прозрачными капроновыми с черной стрелкой чулками, в черных лаковых туфельках на шпильках, и с черной же пяткой на этом обалденно-сексуальном капроне!

В дверь позвонили. Ситник, залюбовавшийся парочкой, лобызавшейся в пустой большой комнате, пошел открывать: пришла снизу шофер и грузчик. Мебель прибыла. В лифт не лезла. Поднимали на шестой этаж по лестнице. Полированный огромный шкаф, диван и два кресла. Каждый раз, когда Володя с этой мебелью, обливаясь потом, входил, корячась, в квартиру, то видел смазливую Татьяну с ножом в руке, выглядывающую из кухни: она занялась приготовлением закуски. И взгляд ее был похож на взгляд старой знакомой Володи, как будто он ее трахал каждый божий день в подвалах и на крышах, драл как Сидорову козу. Вот каким взглядом огромных зеленых глаз обладала соседка Татьяна.

Несли кресло по лестнице, а Ситник рассказывал, отвечая на вопросы Володи, о том, как живет соседка со своим мужем, кинорежиссером, как к ней ходят разные и как Ситник дает Татьяне время от времени ключи от своей квартиры, когда уходит на дежурства. Внесли кресло в квартиру, а полногубая Татьяна с подносиком их встречает, а на подносе рюмки с коньяком и два малюсеньких бутербродика, один черный кусочек пополам разрезан, и на каждом кружочек репчатого лука и килечка, серебристая, переливающаяся от света хрустальной люстры. От такого внимания, выпив без лишних приглашений, друзья поцеловали Татьяну в щечку, а когда целовал Абрамов Владимир, то успел потрогать большую мягкую грудь.

Расплатившись с шофером, сели за стол в большой комнате, Татьяна все так и шныряет глазками по Володе. Едва успели открыть водку и выпить по рюмке, как опять звонок в дверь: муж Татьяны, в дубленке рыжей, как положено этим хмырям-кинорежиссерам (все для Володи на одно лицо!), с белым меховым подбоем, мохеровый шарф, нараспашку, в ондатровой шапке пирожком, с подвернутыми меховыми же краями, в “москвичке” одним словом, и пьяненький, красный, с расширенными зрачками. И на ходу, прямо на пол, сбрасывает кинорежиссерскую дубленку, шарф, “москвичку”, все на пол сбрасывает, небрежно, в одном грубом кинорежиссерском свитере узорном остается, и за бутылку хватается, наливает в стакан, выпивает и уж после этого садится. Татьяна несколько смутилась и уже смотрела на рыжеволосого потен-

циального любовника, молоденького, лет на десять ее моложе, с некоторым смущением, как бы извиняясь за развязное поведение мужа.

Только немного попривыкли к кинорежиссеру, который сразу после стакана развалился в новом кресле, положил ногу на ногу в отличных мужских сапогах на “молниях”, и начал трепаться безостановочно о том, что вот ему, гению, не дают работу, а этой старой перечнице Герасимову дают. С этого начал и дальше пошел, пошел: Герасимов, Герасимов, Герасимов... Куросава, Бергман, Пырьев, Феллини, Куросава, Бергман, Пырьев, Тарковский... Только включились в монолог, слушая, как в дверь опять позвонили. Ситник, подмигивая Володе, мол, не бери в голову этот треп соседа, выпивай и закусывай, пошел открывать. То позвонила дочь Татьяна и этого кинорежиссера, очень симпатиченькая, совсем юная девушка, лет на двенадцать, в беленькой шубке, в белой меховой шапочке с белым пушистым помпоном. Татьяна пошла впустить ее в квартиру (ключ был у нее), а Володя положил глаз, как говорится, уже и на эту дочку.

Когда Татьяна вернулась, кинорежиссер все говорил, говорил. Татьяна нетерпеливо слушала, потом открыла дверь на балкон и воскликнула:

- Совсем не холодно!

И кивнула призывно Володе, чтобы он шел за нею, и шагнула на балкон. Володя спокойно встал из-за стола и, не обращая внимания на кинорежиссера, которому Ситник все подливал, отправился на балкон, где, конечно, чувствовалась прохлада. Воздух был прозрачен и морозен. Ярко светились окна дома напротив. Татьяна тут же прикрыла дверь балкона, за занавесками их из комнаты не было видно, и, обхватив шею Володи, впилась в его рот губами. Он не успел еще опустить руки на ее ягодицы в джинсах, как Татьяна сама проворно расстегнула его брюки и взяла демона в ладонь, сжала робко жезл жизни, потом быстро упала на колени и с невиданной жадностью, не выпуская из ладони, ввела демона жизни во влажный, горячий рот.

- Ну, что вы все в рот тянете! - с некоторым изумлением бросил расхожую материнскую фразу Володя, пытаясь, нагнувшись, хоть что-нибудь и у Татьяны потрогать-погладить, но перед ним ближними были ее плечи, за которые он и взялся, чтобы не упасть от надвигающегося семяизвержения.

Но Татьяна была хитра и не стала доводить дело до этого, встала и впиалась губами в его губы, раздвигая их нахально мокрым языком, а он, Володя, целуя ее, никак не мог отделаться от мысли, что целует своего баловника и это доставляет ему невиданное удовольствие, хотя на самом деле поцеловать себя – казалось делом почти что невозможным, Володя никак не мог, а ведь попробовал! согнуться так, чтобы взять губами его; и во сне часто ему снилось, что он сгибается к баловнику, но во сне он оказывался действительно похожим на демона, в два раза внушительнее; и сгибался Володя, как гимнаст, в три погибели, и целовал, как Татьяна только что, всего баловника.

Вернулись в теплую комнату. Кинорежиссер продолжал строчить: Курасава, Бергман, Пырьев, Феллини, Тарковский... Однако, увидев жену, поднялся, качнувшись, и припал к ее плечу. Татьяна взяла его под руку и повела домой. Потом, вернувшись, подняла шапку, шарф и дубленку и, шепнув, что сейчас вернется, понесла домой.

- Обнови диван! - хохотнул здоровенный Ситник и бросил постельное белье на поставленный в маленькой комнате диван.

Не дожидаясь Татьяну, Володя разделся догола, постелил и лег под пушистое одеяло на мягкую подушку и чуть было сразу не уснул, поскольку сутки не спал на работе: вызовов было очень много. Только подошел к нему сон, как за плечо тронула Татьяна. Она закрыла дверь в комнату и стала, не стесняясь, стаскивать с себя одежду. На ее мокрых губах светилась улыбка. Груды раздвоились, вздутые, отдаленные книзу, и уставились сосками в разные стороны. Снимая джинсы, Татьяна повернулась спиной. Володя видел, как широкая розовая спина двигалась перед ним. Татьяна села на диван, стянула, нагнувшись, брюки вместе с миниатюрными шелковыми трусиками. Она некоторое время сидела молча на краю дивана, расставив колени. Володя выпростал руку из-под одеяла и положил ее на толстую белую ляжку, погладил. Татьяна взяла его руку и положила на лобок. Володя ощутил пальцами мохнатый холмик. Татьяна шире развела задрожавшие ноги. Володя потрогал, сильно возбуждаясь, ее влажные и мягкие, полные, новизной озарившие губы.

Сон мгновенно покинул Володю, он привстал, взял другой рукой Татьяну за отвислую грудь и, сжимая ее, зажимая сосок, крупный, как мизинец, между пальцами, положил Татьяну на спину, лю-

буясь ее разметавшимися белыми грудями, плоским животом. Татьяна откинулась на подушке и шире раскрыла глаза. В них стоял только природный акт, предвосхищение любви. Володя погладил обеими руками мягкие места между ее разведенными ногами, и Татьяна еще шире развела колени, подняла их, и в свете непогашенной лампы Володя увидел ее межножье с влажными, прилипшими к розовому разводу волосами, и Володе страстно захотелось, пьяному, впитаться губами в этот розовый развод, и Володя склонился к этому розовому ущелью и прикоснулся к нему сначала языком, ощутив солоноватый вкус моря, а затем прильнул к разводу губами.

В этот момент дверь открылась, и на пороге предстал Виктор Степанович Ситник, с папироской в зубах; дымок идет вверх, один глаз прищурен. Воротник белой рубашки расстегнут, галстук приспущен, на лице снисходительная и вместе с тем пытливая улыбка.

- Молодцы, - сказал он, - это вы хорошо придумали. Только покажите мне, как по-настоящему это делается!

Володя поднял голову, покосился на Ситника и, подумав, не стал выказывать вслух эмоции. Володя почувствовал, что сама Татьяна поглаживает демона и ведет его туда, куда нужно. Володя не сопротивился. Володя погрузился в Татьяну, сосредоточенно, горячо, энергично. Татьяна, глядя на Ситника, выше подняла ноги, согнутые в коленях; и затрясла в скачке на себе молодого наездника.

Ситник смотрел на это дело без особого интереса, но смотрел. И причем так, как смотрят на витрину, выбирая себе подходящий костюм. И это доставляло любящим какое-то необыкновенное удовольствие. Мол, вот как нужно тайное (на самом деле известное всем) делать явным.

Володя наклонялся к ней и целовал в губы. Татьяна приподнимала лицо навстречу его поцелую, а Володя изредка трогал пальцем ее вздернутый носик.

Глава 15. Нина, 1970.

После того, как выпили, поехали к Игорю на Пятницкую. Окна выходили во двор, чуть ниже асфальта, из полуподвала комму-

нальной квартиры, в которой фельдшеру Игорю принадлежала комната. На восьми метрах стояло две узких, каких-то прямо-таки солдатских койки, диван и письменный стол. Игорь взял себе длинную Клаву из овощного, а Володя ее подружку, невысокую, худую Нину с глазами испуганной собаки. Нина приехала в Москву из Новосибирска в поисках лучшей жизни и нашла ее: устроилась уборщицей в овощной магазин невдалеке от станции метро “Новокузнецкая”. На столе ничего особенного не красовалось: килька в томате, вялая резиновая колбаса Микояновского мясокомбината, батон белого и крауха обдирного. Зато водки почему-то взяли два литра. Зачем? Ни Игорь, ни Володя ответить на этот вопрос не могли. Вот останови их на улице, заметив в авоське четыре бутылки “Московской” (нет, чтобы спрятать как-то, по карманам рассовать, так нет же! Несут в авоське, демонстрируют всему свету, всей Пятницкой улице, смотрите, мол, как нужно носить водку!), спросите: для чего, к примеру, вам, молодым ребятам, москвичам, строителям коммунизма, столько водки на двоих? ведь, не ответят.

Итак, только налили на четверых, бабам столько же, сколько и себе, так бутылки и нет! Выпили, конечно, первую с большим удовольствием; еще бы без удовольствия выпить, когда с мороза, с вечерней московской зимней улицы, да еще с бабами, предчувствуя любовные утехы, прикосновение к юбкам.

Стаканчики граненые,
Зеленый разнобой...

Вот некоторые фригиды спрашивают заинтересованно, мол, зачем мужчины, да и вообще все русские люди пьют? Володя отвечал себе прямо, без всех этих Кантовских завихрений: чтобы упрощать стаскивание юбок с подруг, поскольку каждый раз на трезвую голову этим заниматься все-таки несколько стыдновато. Однако, как опытный любовник, Володя и по-трезвому действовал смело, обнимет, прижмет, руки на ягодицы, под юбку, трусы вниз... Без всяких там интеллигентских комплексов. Нужна огромная воля, нечеловеческое мужество, чтобы трахать всех подряд, невзирая на чины и звания противоположного пола.

Эту тему надо раздевать окончательно и навсегда. А то - напялила на себя юбки! Впрочем, юбка и нужна для юбки. Это понятно. Не

снямая, так сказать, юбки, можно без всякого напряжения совокупляться. Она и названа поэтому так: ю б к а ! Некоторые женщины, да и мужчины, еще не поняли значения этого слова, а оно выпирает, как глаза у больного базедом, или у представителя ближневосточной общности людей, так напуганных манией преследования, что глаза их из орбит лезут, потому что все время в напряжении: не бежит ли кто за ними с топором! Нет, Володя не строит из этого простого, понятного и, главное, приятного дела никаких алгебр и, тем более, метафизик. Вставил перо и пошел дальше! Только и всего. Ведь это не душе нужно, а организму. А поэтому бросать палку нужно резко, как в городках: увидел ворота, прицелился и бросил. Будьте спокойны, как говорят в наших отделениях милиции, вас поймут правильно, поскольку противоположный пол только и озабочен тем, чтобы в него (или ему?) бросили палку, или вставили перо, чтоб полетела (в смысле, противоположный пол - полетел!).

Ну, разве это Володя Абрамов придумал, чтобы у него в брюках кое-что шевелилось, разве это он нормальной сексуальной целью признал соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, ведущем к разрядке сексуального напряжения и к временному, когда можно выпить и закусить, угасанию сексуального влечения (удовлетворение, аналогичное насыщению при голоде)?!

Игорь погасил абажур и включил настольную лампу с зеленым стеклянным колпаком, привлек к себе свою длинную доску и стал с ней лизаться. А Володя свою даже целовать не стал, полез сразу под юбку, завалил Нину на кровать, не разглядывая, не ощупывая, зная ее анатомическое строение, приступил к влажному половому сношению. Нина была, казалось, приспособлена для этого основополагающего человеческого занятия: подстраивалась под Володин ритм, не гнушалась ничем, все делала послушно, без пререканий, поворачивалась то задом, то боком, то вверх ногами, то вниз головой, понимая, что любовь есть высшее достижение живой природы, у которой главный лозунг: все для человека, все на благо человека.

Человек - продукт полового сношения.

Человек - это исчезающее удовольствие, которое хочется повторять бесконечно.

Ты, Володя, смертен, но половой акт не даст угаснуть человечеству.

Всю ночь он занимался с этой невзрачной, но бесподобно покорной (вот женщине что нужно!) Ниной, а когда под утро попы-

тался уснуть у нее на груди, разбудил металлический скрежет лопаты дворника из-за окна, которое, когда Володя открыл глаза и посмотрел на него, светилось синевой, борясь светлеющим синим с тянущим назад, в ночь, черным. Было ясно, что сейчас победит светлое; хотя и черное, проголодавшись, к вечеру, одержит свою победу. Все кругом круглое, все непонятное, все повторяющееся, и ужасно пустое, если хорошенько подумать. Володя подумал об этом, глядя на синее тело Нины в костюме Евы, потянулся и встал.

Он спешил на работу.

Глава 16. Марина, 1971.

После первой лекционной пары Володя подошел к стройной, с мальчишеской короткой стрижкой Марине и сказал:

- Провырнемся в киношку?!

Марина округлила и без того большие голубые глаза, удивленно проговорила:

- У нас же еще две пары...

- Это ничего, - сказал Володя, беря Марину за руку и, одновременно оглядывая ее сверху вниз: средних размеров грудь, тонкую талию, изящные бедра, вывел ее в коридор. - Но ты мне очень нравишься!

Марина вся вспыхнула, послушно вернулась в аудиторию, взяла сумку и пошла с Володей, который счастливо размахивал своим новеньким портфелем с двумя медными застежками. Стоял сивый сентябрьский вечер. В свете фонарей на Пироговке отчетливо виднелась желтая листва. Некоторые листья уже опали. Марина подняла воротник белого плаща, Володя последовал ее примеру и поднял воротник на своем сером, с погончиками, плаще; он шел нараспашку, ему нравилось так ходить, чтобы белела рубашка с зеленым галстуком и виднелся пиджак нового костюма. В довершение ко всему на ногах сияли новые, пахнущие кожей, ботинки.

Небрежно обняв Марину, Володя вскинул голову, посмотрел на небо и сказал:

- Я люблю смотреть на звезды.

Марина тоже посмотрела на небо.

- Звезды!

Он склонился к ней и поцеловал в щеку. Она вздрогнула, но не отстранилась. Пешком, болтая, дошли до Зубовской, свернули на Кольце в сторону Смоленской. В “Стреле” шел фильм Тарковского “Андрей Рублев”.

Когда в зале погасили свет и пошел киножурнал “Новости дня”, Володя уверенно положил руку на бедро Марине и шепнул ей на ухо:

- Я влюбился в тебя.

Марина сначала робко, а потом более уверенно, как Володя, положила свою миниатюрную руку ему на бедро и погладила в сторону паха.

И это было приятное ощущение.

Кто-то из монахов или нищих произносит, имея в виду блаженную и Андрея: “Видно, для позора своего ее и привел, чтобы грех свой все время перед собой иметь”. За стоп-кадром следует изображение совсем неожиданное: на общем плане лошадь, лежащая на берегу реки, снятая рапидом, медленно переворачивается через спину и снова ложится. Над Дурочкой потешаются татары, ей кидают куски мяса, как незадолго до этого грызущимся псам, а она жадно хватает куски, жует их, заискивает перед татарами, сделавшими из нее забаву, в восторге принимает их подарки.

Володя погладил колено Марины и повел руку под юбку, от этого Марина сладко и очень тихо простонала. Володя посмотрел на ее слабо освещенное светом, идущим от экрана, лицо: голова Марины плавно покачивалась, а накрашенные губы нервно вздрагивали.

“Готово дело!” - подумал Володя, поднимая ладонь по шелковистым трусам к резинке. Когда он положил руку на лобок, Марина прикоснулась губами к его уху и спросила:

- А хочешь, я у тебя тоже потрогаю?

- Хочу!

Марина проворно нащупала его ширинку, расстегнула пуговицы, пропустила руку в прореху и пошарила. Зритель выпрыгнул весь внимания. Марина обморочным голосом прошептала:

- Вот, вот он... ой! Какой же он большой!

Дурочка бегаёт от Андрея, который хочет прекратить ее постыдное самоуничтожение, а потом плюет Андрею в лицо - ему, спасшему ее от насилия! - и уезжает вместе с татарами.

- Чего ты боишься, - прошептала Марина. - Вниз потрогай, вниз.

При этом она шире развела колени. Володя пустил руку вниз, по влажным волосам, к нежной коже, по нежной влажной коже, к гнездышку, очень маленькому, тугому, невозможно сжатому.

- Я не была еще с мужчинами, - смущенно выдавила Марина.

Она большим и указательным пальцем трогала головку зрителя, смещая кожу с этой головки, затем поднимая ее и опять опускающая, и Марине, по-видимому, казалось, что зритель с каждым новым движением все больше подрастает.

Снег, прорубь в реке, крестьянские одежды, стены, лица. Христос проходит к месту казни по снежному гребню мимо маленькой круглолицей девочки, стоящей за гребнем так, что видна только ее голова. Девочка смотрит на этого дядьку в посконной рубахе снизу вверх и улыбается, обнажая свои редкие зубы.

Три мужика хватают у сарая Андрея, подглядывающего за голый колдуней, и прикручивают его к крестовине столба. Распятый чернец с блуждающим взором и смело целующая его молодая нагая женщина с грубо-чувственным лицом.

Рублева привлекают странные звуки, он не может противиться искушению и идет на их зов. Мелькание огней, призрачный свет, и среди деревьев бегут с факелами в руках обнаженные женщины и мужчины.

После кино они шли пешком до "Маяковской", Володя болтал под впечатлением от фильма что-то вроде того, что христианство убило настоящую русскую жизнь, противопоставило человека природе, сделало постыдным то, что великолепно - любовь! Человек не противопоставлял себя природе, а был полиостью в ней, черт возьми, растворен, он считал себя ее частью и поэтому видел в ней человеческие свойства.

Володя говорил все громче и громче, при этом размахивал руками, а Марина зачарованно слушала его, согласившись безропотно ехать к нему домой, на "Павелецкую".

А Володя, войдя в тему, продолжал рассуждать о том, что плодородие человеческое и плодородие земли для русского человека были явлениями одного порядка. Поэтому, скажем, роса и дождевые капли виделись ему истекающими из груди небесной матери, а осеменение земли отождествлялось у древних с оплодотворением женщины. Культ чувственного, эротического возникал, разумеется, не от развращенности "язычников", как называли русских пришедшие через Грецию чернобородые окрещенные иудеи с ли-

ками своих идолов, а, наоборот, от их неиспорченности христианством, и был не “блудом”, а выражением изначальной животворящей силы. Рожденный природой, нераздельно в природе пребывающий, человек, и умерев, растворялся в ней.

- Ты хочешь сказать, что христианство убивало Русь?! - с некоторым замешательством спросила Марина и остановилась, глядя Володе прямо в глаза.

- Это говорит Тарковский, - сказал Володя, любуясь пряничным видом гостиницы “Пекин”. - И это вынес я из этого фильма. Ты посмотри, как прекрасна любовь между женщиной и мужчиной! А Христос говорит, что это “блуд”! Почему?

- Да, почему?

- Да потому что ради выживания собственного народа, потеряв родину, иудеи не огнем, а идеей решили уничтожить другие народы, глупенькая!

- Ну, ты даешь! - воскликнула Марина. - По твоему получается так, что христианство - человеконенавистническая религия!?

- Именно так! Совершенно гениальный фильм! Ты помнишь сцену со скomorохом?

- Помню...

- С веселым надрывом пляшет, бьет в бубен! Для мужиков и баб, для детей. Пляска и пение все убыстряются - слов уже не разобрать, что-то про бояр; да слова и не важны, главное - испуганное неистовство. Собравшиеся смеются. Кажется - свободные люди! И вдруг - тишина. Хотя скomorох продолжает петь и плясать, а люди замолкают. Они видят в проем двери на улице княжеских зрителей нравственности. Они хватают скomorоха, выводят из избы и бьют его головой, раскачав, о столб! В угоду кому? Христу! Нерусскому! Россия погибает под паутиной чужой веры. Но за чужую - иудейскую, трансформированную иудеями же в христианскую и православную, - не бьют! Бьют за свою, за Русскую, за веру в Дажьбога, в Велеса!

Володя разменял рубль, сунул Марине пятак. На эскалаторе он продолжил:

- Ты, будущий врач, да и просто как женщина должна же это понимать!

- Я понимаю.

- Что?

- Ну, что фильм Тарковского гениальный!

- Да я не об этом.
- А о чем?
- О том, что христианство - придуманная схема, мозговая. А "язычество" - естественная жизнь, плодородие и секс!
- Поняла! - воскликнула Марина.
- Поэтому будь естественной со мной. Ты хочешь заниматься со мной сексом?
- Со мной так прямо еще никто не говорил, - сказала Марина, держась за поручень. Ногти у нее были длинные, с красным лаком.
- Неужели? Ты лжешь!
- Я? Лгу? Да ты что!
- Никто о сексе с тобой не говорил? Конечно, лжешь?! Или только притворяешься?
- Я не притворяюсь!
- Ты что, даже не трогала там себя пальчиками? - усмехнулся Володя, беря Марину под руку в конце эскалатора, при выходе на платформу, вернее, в длинный арочный пролет станции "Маяковская".
- Дурак! - Он увидел, как Марина порозовела.
- О, я вижу и на тебя христианство наложило свою пята: о таком простом явлении, как мастурбация, ты боишься говорить!
- Ну и дурак же ты! - почти что крикнула Марина и рванулась в другую сторону, но Володя удержал ее.
- Подошел поезд, и они сели в сторону "Павелецкой". Когда вошли в его комнату, в которой когда-то жила соседка, Володя первым делом полез к Марине под юбку, и Марина не сопротивлялась.
- Дорогая, - шептал Володя с некоторой иронией в голосе, - нормальной сексуальной целью считается соединение гениталий в акте, называемом совокуплением, ведущем к разрядке сексуального напряжения...
- Брось болтать! - сказала Марина. - Лучше помоги расстегнуть мне лифчик.
- Острые белые груди, заканчивающиеся двумя клубничками, обнажились, и Володя сразу припал к ним влажными губами и языком; Володе хотелось раскусить клубнички, и он уже прилаживался к ним зубами, как в дверь постучали. Заглянула мать, в колечках бигуди, все лицо было под кремовой маской. Она с некоторым интересом принялась рассматривать молоденькую козочку.
- Ну, мам, ты прямо, как эта, - вырвалось у Володи.

- Что ты, сыночка, я не смотрю, - сказала приятным грудным контральто мама и, не отводя глаз от свежей груди девушки, добавила: - Я хочу вам предложить торт и чай. Я испекла вечером прекрасный яблочный торт! - и мама поднесла наманикюренные пальцы в кольцах и перстнях к губам и чмокнула.

Пришлось временно бросить Марине свою клетчатую рубашку и в халате сходить самому на кухню за тортиком. Мать протирала плиту.

- Миленькая... Как институт?

- Очень интересные лекции были, - сказал Володя. - Хотя с двух пар мы с Маринкой, - он кивнул за стену, - ушли в кино.

- Что смотрели?

- "Рублева".

- И как?

- Стоит посмотреть...

Потом Володя погасил свет, потому что Марина отказалась снимать трусики при свете.

- Ты законченная христианка! - рассмеялся на это Володя и, когда вошел в Марину, сразу же включил ночник, потому что считал зрительные впечатления самыми сильными.

Волосы на лобке Марины золотились мелкими кудряшками, а чуть ниже пупка, на белом, незагорелом низе живота чернело большое родимое пятно с одним длинным золотистым волоском.

Глава 17. Юлия, 1971.

Выдался совсем летний денек, с голубым небом, с ярким солнцем, с пестрой листвой на Чистопрудном бульваре; сочная тень от памятника Грибоедову падала на гравий дорожки, звенели трамваи, летали голуби и вороны, чирикали воробьи. Одним словом, на Москву нагрянула долгожданная, неотразимая в своей русской живописной палитре Золотая Осень, а точнее - пришло Бабье Лето. А Володя ехал в институт, ко второй паре: он только что вышел из трамвая "А" и на минуту остановился, чтобы полюбоваться пронзительным в своей первобытной красоте деньком этой золотой осени, полюбоваться памятником страдавшему от ума поэту. Денек этот он сразу заметил, только проснулся, потом во дворе, потом у метро "Павелецкая", и не пошел в метро, а сел на трамвай,

чтобы на нем попрощаться с летней Москвой, переехать по Устьинскому мосту Москву-реку, голубую в серебристых отблесках, прокатиться по Яузскому бульвару, по Покровскому бульвару...

Счастливо вздохнув, как вздыхают молодые, ничего не знающие о жизни половозрелые кретины, Володя быстро пошел к ступеням метро, но внезапно на этих ступенях остановился, потому что увидел золотоволосую, по плечам бежали эти распущенные красивые волосы, с огромной грудью, казалось, что она сейчас упадет вперед от тяжести этих грудей, с большими зелеными глазами, с пухлыми малиновыми губами, со вздернутым беленьким носиком, с длинными пушистыми ресницами, увидел золотоволосое чудо, большое и сладкое, как Анита Экберг, как эта голливудская секс-бомба в роли Сильвии в потрясающем фильме Федерико Феллини "Сладкая жизнь", который только недавно удалось посмотреть Володе в "Повторном", о, эти белые-белые груди и белые волосы!

Не раздумывая, Володя подошел к ней и заговорил о прекрасном Бабьем Лете, вот так сразу подошел и заговорил, смело и мужественно, без всяких задних мыслей: подошел и сказал, что неплохо бы вместе прошвырнуться куда-нибудь в такой денек.

- Я жду подругу, - сказала она приятным акающим московским говором и едва скользнула взглядом по Володиному лицу.

- Можно я с вами подожду? - спросил он, весь истекая любовной жаждой, или томясь в этой жажде.

Она это, разумеется, почувствовала, но виду, конечно, не подала. С каких это пор у нас кто-то подает вид, что он заметил на себе (заметила на себе) влюбленный взгляд?! Ни в жисть! как говорит во дворе дядя Ваня, вечно пьяный сантехник. Вот эта "жисть" вся изовралась, вся исфальшивилась: говорят одно, делают другое.

- Ждите, - пожалла плечами она, озираясь по сторонам.

Володя едва сдерживал напор чувств и страстей, отводил взгляд в сторону, но темная впадинка между белыми грудями - она была в черном платье и в вязаной кофте, распахнутой, надетой поверх платья - магнитом возвращала взгляд. Да-а! Никогда еще Владимир Абрамов не видел таких грудей! Он масштабно сравнил размер грудей с ее головой, и груди казались раза в три больше головы. Это что-то просто невероятное! Да еще при такой тонкой талии, при таком росте, и таких великолепных стройных ногах в черных колготках, которые казались великоватыми, или немножко небрежно надетыми, а само платье, мягкое, эластичное, как колготки,

легко сползало и наползало на это белое воздушное тело. А глаза?! О! Это не глаза, а маяки любви, первородного греха! В сини светлой, с пульсирующими зрачками, пожирающими любовника. Он что? зачислил себя в ее любовники? Рановато, милый друг! сказал он сам себе или, как он тут же про себя поправился: сказали мы с Петром Ивановичем, да-с! Ох уж, эти нам московские влюбленные! Они о чем-то шепчутся на скамейках Парка культуры и отдыха имени Горького, под ручку прогуливаются по аллеям Выставки достижений народного хозяйства СССР, покорно стоят в очередях на аттракционы, кружатся в колесе обозрения, стоят в длинных очередях в кинотеатр "Россия" или удивленно разглядывают себя в зеркалах смеха, или пьют из грязных стаканов водку в подвалах Хлебного, Скатертного, Красноказарменного, 2-го Кожевнического, 1-го Щипковского и др. переулков, совокупляются в подъездах и на крышах, ловят проституток у "Националя"...

- Вас, случаем, не Сильвией зовут? - спросил он вдруг.

У девушки еще шире открылись синие глаза.

- Вы почти что угадали, - ответила бархатным голосом она. - Меня зовут Юлия.

И опять стала смотреть по сторонам, выискивая свою подругу.

- А меня - Владимир, - сказал он.

- Где же эта чертовка! - воскликнула Юлия и посмотрела на свои маленькие часики.

Она все смотрела по сторонам. Володя тоже сделал напыженное лицо и, вытаращив глаза, стал смотреть по этим сторонам, а возвращался к темной ложбинке в начале белых притягательных грудей. И живот у нее, наверно, такой же белый, а руно! О, это сущее наказание у блондинок: настоящее золотое руно, прикрывающее розоватую морскую раковину, дышащую влагой соленого моря, да, о, эти женщины вкуса моря! О, этот болезненный и приторный морской прибой, о, эти белые круглые колени! Поцелуй мои колени! Белые колени, медленно раздвигающиеся!

От этих мыслей Володя даже вспотел, сказал, что на минуточку, отскочил со ступеней к палатке мороженщицы и купил две пачки с вафлями.

- Спасибо, - сказала покорно Юлия, беря пухленькими, но длинными пальчиками с темным маникюром мороженое.

- Рад стараться! - сказал Володя и взглянул на свои часы, "Победу", 1-го часового завода.

И Володя понял, что он безнадежно опоздал сегодня на лекцию. Юлия уловила некоторое замешательство в лице его, спросила:

- Что-нибудь не так?

- А-а! - махнул рукой Володя и, развернув мороженое, откусил большой кусок и обжегся холодом.

Он принялся катать тающее мороженое от одной щеки к другой по языку, и то одна щека, то другая надувались. Юлия не спеша развернула мороженое и лизнула белое таким прелестным язычком, что все-таки Володя не выдержал и капнул на сухой асфальт. Потом, подумав, вспомнил чье-то стихотворение и вслух прочитал:

Она, как балерина в пачке,
В ней все - движение и жест,
Так, чтобы платье не испачкать,
Она мороженое ест.

И в предвкушенье сладкой муки
Она кричит: - Спасибо, па!
И губы выпятив и руки
В каком-то невозможном па.

Подобно трубачу, внедрившись
В им выдуваемый мотив,
Вся наклонившись, наклонившись,
Как бы в падении застыв.

- Прекрасные стихи! - с чувством выдохнула Юлия.

И высунула розовый, с голубоватыми тонкими прожилками язычок, и остреньким кончиком его как-то кольнула сначала, а потом бороздкой повела по мороженому, всосав затем в себя молочко. Володя чуть не кончил! И цвет, цвет языка точно такой же, как цвет морской раковины, и вкус языка, наверно, такой же, как вкус розовой влажной раковины, розовато-голубоватой, как этот язычок, лижущий мороженое.

Володя вдруг сделал к ней твердый шаг и уверенно взял за руку, которой она подносила мороженое к языку, и сказал:

- Ну, пойдём?

- Не пойдем, - ответила Юлия в том же ритме, в каком спросил Володя, и, преодолевая силу его руки, поднесла мороженое к губам, раскрыла их, как морскую влажную раковину, высунула язычок, точь-в-точь цветом похожий на головку баловника, и со сладострастным прикрытием век, лизнула белый тающий кусок.

Володя покачался с пятки на носок, одну руку, поставив портфель к ногам, сунул в карман брюк, приподняв полу пиджака. Он тоже лизал мороженое и качался. Качался и лизал мороженое, щурясь от солнца, глядя на памятник Грибоедову в начале бульвара, на подъезжающие и отъезжающие красные чешские трамваи, на толпы входящих и выходящих из трамваев; на людей, бегущих в метро.

- Ладно, пошли! - услышал он голос Юлии. - Я больше ждать не могу!

- Ты торопишься куда-нибудь? - спросил Володя, непроизвольно переходя на "ты".

- Куда теперь торопиться? Весь день испорчен.

Володя взвесил в уме ситуацию: в кармане лежал рубль, а любовь предполагала выпивку. Он тут же нащупал в боковом карманчике, маленьком таком, внутри большого кармана, двушку и, сказав Юлии, что сейчас звякнет кое-кому и вернется. Юлия осталась чуть сзади, а Володя вошел в будку телефона-автомата и набрал номер Анатолия Моисеева. Володя знал, что мать Анатолия до конца сентября на даче и что у него водятся деньги. К счастью, Толик сидел дома.

- Здорово! - сказал в трубку Володя.

- Хай, старичок! - сказал Толик.

- Чего делаешь?

- Ничего.

- Я тут приклеил чувиху, а в кармане рубль, - Володя оглянулся на великолепную Сильвию из "Сладкой жизни", прогуливающуюся на высоких каблуках позади автоматов.

- Вас понял, сэр! Что братъ?

- Возьми литрочку и пожевать что-нибудь... Да выпиши себе какую-нибудь мочалку! - Володя рассмеялся.

- Окей! - Анатолий повесил трубку.

Помахивая портфелем с золотыми застежками, Володя подошел к Юлии, как к давно знакомой, взял ее под руку и повел по ступеням вниз, мимо трамвайной остановки, к памятнику Грибоедову.

- И куда же мы? - спросила Юлия, рассматривая барельефы персонажей бессмертной комедии.

- К моему корешку, - просто сказал Володя и сжал руку Юлии выше локтя. - Он побежал за выпивкой, и пока он это делает, мы полюбуемся Чистыми прудами и лебедями, плавающими в них.

- А где живет твой кореш? - спросила, подлаживаясь быстро под тональность собеседника, Юлия, продолжая рассматривать памятник.

- На Кожевнической улице.

- Это где ж такая?

- Ты не знаешь Кожевническую улицу? - удивился Володя.

- А что тут такого? Не знаю. Подумаешь!

- Пятнадцать минут на "Аннушке", у Павелецкого вокзала.

- А-а, понятно.

Они шли, похрустывая гравием, по центральной аллее Чистопрудного бульвара. Кое-где уже высились кучки из опавших желтых листьев, сметенных дворниками. На белых скамейках сидели люди, читали газеты, играли в домино, ничего не делали. У бокового выхода с бульвара, возле остановки трамвая "Харитоньевский переулок", двое пьяных, но прилично одетых пожилых людей, с портфелями, поддерживали друг друга, чтобы не упасть, и говорили:

- Твоя газета "Мартеновка"?

- Да, моя газета "Мартеновка"!

- А моя газета "Автозаводец"! Это ж понимать надо!

- Я-а понимаю...

Вокруг пруда гуляли парочки, играли дети, спешили прохожие, а по синей, блещущей золотистой полосой солнца поверхности пруда плавали черные лебеди с красными клювами, пахло речной прохладой, водорослями. Володя посмотрел на Юлино лицо. Оно казалось счастливым. Юлия взяла его руку в свою, немного сжала и сказала:

- Как здесь красиво!

И рука ее была чуть-чуть влажная.

На Покровке, напротив пивной, возле которой валялся пьяный, сели в трамвай, переполненный пассажирами, так что Юлию прижали к Володе всеми ее прелестями. Юлия попыталась заслониться от него руками, прижав их к груди, но нижнюю часть пышного тела не заслонила, и тело прижалось к напряженному искателю

приключений, и лицо Юлии от этого прикосновения озарилось любовным светом и зрачки расширились.

На столе у Толика, все том же зеленом, стояла водка и пиво, кое-какая закуска, в частности, нарезанный тонкими дольками и посыпанный сахарным песком лимон.

И потом все как-то быстро исчезает.

Остается полутемная, другая, комната с книжным стеллажом, который недавно возвел Анатолий, и его кровать, на которой едва уместилось гигантское тело Юлии-Сильвии, а ее груди заполонили все, буквально все, куда ни бросал взгляд Володя; и он нырнул в соленое море мечты.

Дверь отворилась, яркий луч света упал на белые груди с вишневыми сосками, на пороге стоял Анатолий, в длинных черных трусах, с двумя рюмками водки.

- Вовик, давай по маленькой! - воскликнул он и икнул.

Володя продолжал прогулки по Колхиде, не обращая внимание на остановившегося в проеме двери Анатолия, от которого ложилась густая тень на пол.

- Ну, подождите вы е... Давайте выпьем!

Володя весь был в жемчужине, Юлия вся себя ощущала надетой на Вавилонскую башню. А тут? Нашла тьма-тьмуца языков...

- А вы могли бы стоя? - вдруг спросил Анатолий и опять икнул.

- Мы все можем, - беззлобно ответил Володя и встал, прикрыв одной рукой Вавилонскую башню, а другой беря за руку Юлию и стаскивая ее с кровати.

Огромное нечто не противилось, встало, груди свисали по бокам до талии. Анатолий, испуская искры из глаз, покачивался в дверях. И тень на полу покачивалась. Володя нежно положил одну руку на мягкую спину между лопаток, на позвоночник, и склонил Юлию к стеллажу. Она послушно повиновалась, протянула обе руки к полкам, оперлась на них. Груды достали до полу, а раздвоенный на ягодицы белый зад как бы вознесся к потолку.

Володя распахнул руки, обнимая сладкое видение и припал к нему, и рухнула башня от смешения языков, и зашатался стеллаж с книгами, и зашатался пол, и зашатался потолок с люстрой, и еще сильнее зашатался в дверях зритель Анатолий, за спиной которого зашаталась подружка его в виде обнаженной нимфы, с перевернутой плетенкой для печенья на голове.

- Во дают! - с подвизгом воскликнула она.

А Юлия-Сильвия, постанывая от удовольствия, прошептала:

- Только не в меня, только не в меня...

- Вас понял, - прошептал весь потный и дрожащий от подобно-го же удовольствия Володя.

И белые волосы ее свисающие дрожали.

Юлия ходила ходуном, держась за полки стеллажа, и стеллаж уже ходил ходуном, и вдруг с самой верхней полки упала книга и ударила Володю по голове, но он не перестал заниматься единением со все понимающей природой. Только потом, выплеснув на спину драгоценное млеко, на белую горячую, в каплях пота широкую спину Юлии выплеснув горячее, дышащее новой неосуществленной жизнью млеко, Володя нагнулся и поднял книгу. То, как это ни покажется странным, был "Декамерон" Боккаччо, из серии БВЛ (библиотеки всемирной литературы), в супере.

Глава 18. Эля, 1971.

Снег скрипел с подпискиванием, Володя почти что бежал от трамвайной остановки по Дербеневке, с двумя бутылками водки в авоське и бутылкой шампанского за пазухой. По счастливому совпадению Юрий Кулякин, однокурсник, жил рядом, почти что у школы и недалеко от ДК "Химиков". Особенно замерзли руки, потому что Володя потерял перчатки: то ли в метро, то ли в трамвае.

Уже в прихожей пахло елкой, из комнаты слышались веселые голоса, а Юра, приветливо вышедший встречать Володю, едва заметно покачивался, рубашка на нем расстегнулась, галстук сбился на сторону, а на белом рукаве сияло большое томатное пятно.

На диване сидел приятель Юрия, с которым тут же Володя познакомился и, как это в таких случаях почти что всегда случается, сразу же забыл его имя. По-видимому, потому, что положил глаз, как любители выражаются в Кожевниках, на толстую подругу девушки Юрия, имя которой Владимир запомнил: Эля.

Таких имен еще не встречалось в истории его любовных отношений, все шли Татьяны да Валентины... Вообще, в промзоне (так еще кореша называли район за Павелецким вокзалом, что соответствовало действительности: забор на заборе, завод на заводе, склад на складе, плюс - ж/д и перестук колес, и гудки маневровых

тепловозов, и визги электричек), да, продолжим, в промзоне имен таких - Эля! - Абрамов не слышал.

Когда Володя выпил первую рюмку, которая холодной горечью напомнила, что жизнь течет постоянным праздником, а женщина идет, как бутерброд к водке, Володя более детально стал изучать Элю. Почему? Да потому, что сначала смотрел только на ее пышные формы ниже талии, обтянутые шелковой красной юбкой. Теперь же Володя посмотрел на лицо Эли и увидел тяжелые очки в толстой пластмассовой оправе, а под стеклами - большие, от увеличения, глаза пронзительно голубого цвета. И почему-то сразу же вспомнил душеспитательный мотив:

В парке Чаир распускаются розы...

Выпили по второй, потом по третьей, Юра локтем, на котором красовалось пятно, угодил в салатницу. Приятель танцевал со своей подружкой, тощенькой, синей какой-то, и все щупал ее. Володя изредка бросал взгляд на них и понимал, что как это неприятно видеть щупающихся, и особенно - совокупляющихся. Володя просто терпеть не мог, когда в книгах наталкивался на места, где автор - Джойс, например, - позволял себе идти дальше, чем просто сцены затемнения после вполне целомудренного поцелуя. Глядя то на танцующих, то на задремавшего с локтем в салате Юрия, то на елку, то на толстую Элю, Володя пытался понять, зачем некоторые художники выносят на обозрение голых женщин, разные скабрёзности. Не надо выносить! В живой жизни иди по следу природных инстинктов, но зачем же эти инстинкты выносить на всеобщее обозрение. Но после этих выкладок Володя вспомнил свои ощущения 5-10-летней давности, когда каждая подобная сцена доставляла ему удовольствие.

Не полон, значит, человек, отображенный в художественных произведениях! Вот что вдруг пришло в голову Володе. Не полон! И он налил себе и Эле и предложил выпить, но зачем же нужно надевать на такие толстые бедра такую красную юбку? Есть ли на это ответ? Володя держал рюмку с водкой перед глазами и через рисунок звонкого хрустала рассматривал что-то красное и большое. И хрустальные рюмки возле елки, и красной юбки огненная ночь, и выпитая водка, и что-то с этой водкой исчезающее, и каждая любовь, уходящая прочь, как волки, убегающие из-под елки, и елки,

превращающиеся в иголки, осколки... Что там еще можно вставить в песню, из которой нельзя слова выкинуть? Володя даже не заметил, как выпил и сел на диван рядом с Элей. Интересные провалы памяти. Только что бежал по морозу, и вот сидит с красной юбкой и - заметьте! бесстрашно кладет руку на колено под этой красной юбкой. Что это? Для чего Владимир Абрамов опять кладет руку на колено незнакомой женщины?

Эля почему-то сняла очки, сжала ладонями лицо Володи и принялась целовать его в нос. Ну, зачем же целовать его в нос? Быстро же поплыл Володя, крепкий такой, Абрамов, и поплыл. Но куда нам плыть? Все туда же, отвечал сам себе Володя, пытаюсь всмотреться куда-то в даль праздничной комнаты, но не могу всмотреться; на всем как будто лежала тишина и плавная темнота, а вот на Эле покоился свет, отдельный, слабый, голубоватый. Откуда? Сама лезет, и сама же говорит, что ей сегодня нельзя. Вот интересные женщины! Новый Год, а ей нельзя. А сама тащит его в коридор, укладывает на пол и говорит, что ей нельзя, в красной юбке, в красных трусах, во всем красном и - нельзя! И стонет, сидит на нем, и краснеет и говорит, что нельзя.

Вот туда все и плывет Володя, туда, туда плывет корабль мечты его, туда плывет Володя, один, больше никто туда не плавает и никто не умеет плавать, только целуются и сразу занавес дают, потому что только Володя плавает туда, куда нельзя, нельзя потому, что нельзя туда плавать, потому что человек это вообще нельзя, это такое огромное, невыносимое, не перевариваемое нельзя, что от самого нельзя, ком в горле застревает, и дыбом волосы встают, нельзя говорит красная юбка, вся в красном, и почему нельзя окрашивается в красный цвет и идет вразнос?

Чуть слышно звенит колокольчик, или вилка по тарелке, чуть слышно, слабо, бесшумно, волшебным образом звенит красная юбка, юбка обладает таким качеством колокольчика, бронзовея в любви, опозитивированной всего лишь за какие-нибудь двести лет, с Державина, допустим, а раньше, прежде, до этих двухсот лет, где было человечество, и было ли оно, чем оно это - вечество занималось? Ничем не занималось, ничего не делало: ни телевизоров, ни машин, ни трамваев! Взлет за один век и все! Амба, кончились смыслы, кончились помыслы, все известно о человеке! Все, буквально! Она качается на паперти любви и повторяет как чокнутая, что теперь ей нельзя, как будто Владимир Абрамов, широко раскинув-

ший сети размышлений под ней, спрашивал Элю о том, можно ли ей или нельзя. Вот в чем фокус! Много очень на себя стали брать женщины. В сущности, женщины - те же люди, но этого людского в них так мало, в одном левом полушарии головного мозга, видимо, в них человеческого, а в остальном, как говорится, один голый факт половой потребности, о которой эти создание предпочитают умалчивать, пытаются скрывать себя, маскироваться под какие-то идеалы, а какие могут быть идеалы у человека? - никаких, абсолютно никаких идеалов, потому что идеален сам идиот человек, вот в чем дело, товарищи студенты, как говорит доцент Либерзон, и с ним Владимир полностью согласен, поскольку факт наличия человека отрицается как бы самим человеком! Эта задача абсолютно неразрешима. И с точки зрения художественной, и с точки зрения медицинской, и с точки зрения космической. Разрешать ничего не нужно, поскольку, добавим для ясности потока сознания под Элей, которая все чаще и чаще стала в последнее время повторять, что ей нельзя, а она себе сказала можно, и поэтому теперь мучительно соображает, как же ей быть, если ей нельзя, а она делает то, что ей нельзя, как вообще может так быть в жизни? но факт половой потребности у женщины превышает такой факт у мужчины в три с четвертью раза, что доказано опытным путем в лаборатории репродукции человека, при этом допуская аналогию с влечением к пище. Соответствующего слову "голод" обозначения в народном языке не имеется; наука пользуется словом "либидо". И вот на прошлой лекции доцент Либерзон довел до сознания студентов, что "либидо" значит хотеть женщину (для мужчины), хотеть мужчину (для женщины). И причем ударение в слове "либидо" нужно ставить правильно, на "бид". То есть произносить так: ли-БИдо. Как в бидо. И с места какой-то студент выкрикнул: "ЛиБИДИное озеро"! И все сразу стало ясно и с Чайковским, и с балеринами, и со сквериком перед большим театром. Все как-то обнажилось: и либиди, и озеро. Особенно озеро обрело изначальную сущность женского начала, в которое бросается с головой любой мужчина, как под красную юбку, и балет, исполняемый в отчаянии либидо Эли был потусторонен, под музыку Нового Года и под звон колокольчиков, или вилок, стучащих по тарелкам.

Какое великолепное название балета Чайковского: "ЛиБИДИное озеро"! Это сущая фантастика, умопомрачительная виртуозность любви, атласная юбка нельзя, но всегда можно, даже когда

абсолютно нельзя, ибо расхожее мнение содержит вполне определенные представления о природе и свойствах этого полового вожделения, влечения... то есть (без кавычек) ЛиБИДИного озера! А, как им, вам теперь будет казаться танец маленьких ЛИБИДЕЙ, вытекающий из красной юбки, когда нельзя, но можно, потому что всегда можно то, что нельзя? В этом сила философии красной юбки, исполняющей ЛиБИДИное озеро назло композитору, который сказал, что так нельзя исполнять балет, нельзя, а Эля исполняет ЛИБИДИНОЕ ОЗЕРО без разрешения композитора, нарушая все законы жанра, руша партитуру маленьких ЛИБИДЕЙ, когда в детстве этого полового влечения будто бы нет, потому что оно появляется приблизительно ко времени и в связи с процессами полового созревания, выражается в явлениях непреодолимой притягательности, которую один пол оказывает на другой, и цель его состоит в половом соединении или по крайней мере в таких действиях, которые находятся на пути к нему.

Но вот что странно: Володя видит широкое лицо Эли с голубыми глазами, хотя в коридоре темно, хоть выколи глаза. А ЛиБИДИное озеро заливают сахарным сиропом студента мединститута Абрамова Владимира, который, слыша над собой, как с потолка, постоянное нельзя, видит несоблюдение норм коммунистической морали, потому что, исходя из совершаемого действия, делается вывод, что можно, причем это "нельзя" попирается такими огромными ягодицами и ляжками, что иногда и Володя восклицает что-то, чего нет в словарях... И остановился в мыслях, поскольку решил более квалифицированно подходить к делу. А что значит подходить к делу, ясно каждому человеку: лгать, лгать и лгать. Вам говорят, что вы... а Вы настаиваете на том, что Вы не..! Вот и вся диалектика по металлу. Назовем лицо, которое внушает половое влечение, сексуальным объектом, а действие, на которое влечение толкает, сексуальной целью; в таком случае ни один хмырь... то есть, ни один пуританин в мантии коммунистического функционера не скажет вам ни слова; да, в таком случае точный научный анализ (главное, чтобы научный !) показывает, что имеются многочисленные отклонения от понятия "нельзя".

Толстозадая, или, чтобы пуритане... Кстати, кто такие? Володя даже у Эли хотел спросить, но она через нельзя шла к мнимой цели, поскольку цель нельзя состоит именно в отсутствии цели, поскольку человека нельзя считать целью этого бессознательного

животного действия, а ведь, сознайтесь, что именно в результате этого самого сладкого в жизни действия появляется новый человек, какой-нибудь новый юрист, который ужесточит статью за распространение порнографии, гаденыш! таких ревнителей закона нужно кончать на стадии аборта!

Итак, слово “пуритане” по-латыни означает “чистые”, чистюли, одним словом; религиозно-политические фанатики отделения человека от живой природы под лозунгами, принесенными с Ближнего Востока с христианством, логически вытекающим из иудаизма: подави другие народы ради расцвета своего, а поскольку нет военной мощи, подавляй интеллектуально, суперсовременным оружием - Словом; и земная простая жизнь заменится царством божьим! Вот какую словесную бомбу изобрели иудеи! И пошли по миру, сначала пала Греция, потом и вся Европа... Слово - медицинский термин, означающий примерно то же, что и наркоз, или реанимация, или скальпель. Володя вспомнил эти рассуждения доцента кафедры Истории КПСС, фронтовика Дубова.

Впрочем, сексуальный объект сладострастно продолжал выделять своим телом это нельзя, которое можно, как бы стараясь слиться с Володей в одно неразделимое целое. Эту притчу знают все. А если кто не помнит, то Володя Абрамов напомним: общепринятая теория полового влечения больше всего соответствует поэтической сказке о разделении человека на две половины - мужчину и женщину, стремящихся вновь соединиться в любви, поэтому весьма неожиданно услышать, что нужно соединить их медицинско-научным путем навсегда в одно целое, отменить половой акт, вот тогда человек будет соответствовать нормам христианской морали и лучшим образцам великой русской, подавленной христианством и социализмом, литературы.

Но что означает это нельзя в устах Эли, Володя понял только в ванной: он весь и вся его одежда были в крови обновления, в любовной крови этого бездонного, бесконечного, сладкого ЛИБИДИНОВОГО ОЗЕРА. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла перед ним. Расплывшиеся соски огромных грудей слепо уставились в стороны. Эля подложила ладони под эти тяжелые, низко спадающие груди и покачала их под струями душа. Володя упал на колени и целовал ее живот. Соски толкались в его колючие щеки. Эля вся покрылась гусиной кожей.

- Щекотно, - сказала она и рассмеялась.

ЮБКИ

- Ты мне нравишься, - сказал Володя, поднимая голову к упругим струям душа.

- На кого я похожа? - вдруг спросила Эля, принимаясь намыливать Володе голову. Он, подумав, сказал:

- На медведицу!

- Видишь, ты сразу понял. За это ты мне нравишься. С тобой не надо все время притворяться. И еще ты чистый, и руки у тебя не сальные. Ты знаешь, что это такое - сальные руки?

- Представляю.

- Не думаю. Ни один мужчина не способен понять, каково это женщине. Жить с человеком, у которого сальные руки!

Володя поднялся и поцеловал ее. Глаза ее сияли перед ним, точно две голубые звезды. Он почувствовал себя, как на экзамене...

Эля стала его женой.

Что их ждет впереди?

*“Наша улица”, № 11-2001,
а также в книге “Родина”,
Москва, издательство “Книжный сад”, 2004.*

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

повесть

1.

Разные газеты, журналы, радио и телевидение неоднократно обращались ко мне с просьбой дать им интервью. Кое-кому я шел навстречу, например, очаровательной Галине Фадеевой из телевизионной программы “Вести”, или Владимиру Приходько, ныне покойному, из “Московской правды”, или Роману Щепанскому из Всесоюзного радио, или Марине Дмитриевой из “Витрины читающей России”, или Наталии Дардыкиной из “Московского комсомольца”, или Игорю Зотову из “Независимой газеты”... Мне не хотелось этого делать, и не только из суеверия. Главной причиной было время, которого потребовала бы такая задача и которое я предпочел бы отдать работе над новым рассказом, романом или повестью, или чтению произведений авторов моего журнала, или редактуре уже отобранных вещей, или обработке текстов на компьютере, или сдаче балансового отчета в налоговую инспекцию, или покупке в Южном порту рулонов бумаги на текст и листовой меловки на обложку, или печатанию журнала в типографии, или еще многому и многому другому, творчески и производственно необходимому... Кроме того, для этого мне пришлось бы оглянуться назад и заново перечитать все мои произведения, а их накопилось томов на десять! Таким образом, я оказался бы перед перспективой, страдая, лицезреть искромсанные останки моих литературных усилий. Моим глазам предстали бы купюры, которые в свое время меня вынудили сделать. В моей памяти их нет, ибо вещи запечатлевались в ней по мере того, как они рождались, росли, наливались плотью реализованного замысла - словом, в своей цельности, а не в том виде, какой они обретали в последние дни противоборства с редактором.

Да что там с редактором, еще за много веков до христианской эры один певец, или, как ныне бы мы сказали - бард, вроде Булата Окуджавы, устав от бесконечно длинных стихов, которые он пел, переходя из города в город, осудил поэтов, приписывающих богам антропоморфические черты, и предложил грекам единого Бога в образе вечной сферы. Шар, сфера - это самая совершенная фигура и самая простая, ибо все точки ее поверхности равно удалены от центра. Бог - шар, как сама Земля, впрочем, как и Солнце, сфероид, потому что форма эта наилучшая, или наименее неподходящая, для того чтобы представлять божество. Сущее подобно массе правильной округлой сферы, сила которой постоянна в любом направлении от центра. Сфера бесконечна или бесконечно увеличивающаяся. Всемирная история шла своим путем. Слишком человекоподобные боги были низведены до поэтических вымыслов или демонов.

Поэтому снова и снова приходится мне разъяснять мою позицию. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, - то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, любитель современной русской литературы, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором я был наставлен. И не спеша уходим в такие дали, что дух захватывает. Ну, например, во дни фараона Аменхотепа IV, у которого был жрец по имени Моисей, родом египтянин, о чем Зигмунд Фрейд нам повествует. Из пророков Библии он переключался в пророки Корана и стал Мусой. С этим именем и связано происхождение названия столицы нашей родины Москвы, в которой и мне суждено было родиться. А со времен Эхнатона, Аменхотепа IV, прошло около трех с половиной тысяч лет. А во дни Ирода, царя Иудейского, был послан ангел Гавриил в город Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве: Мариам, или порусски Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, слово писателя найдет тебя, сила литературы осенит тебя; поспеши и роди ребенка святого наречется сыном литературы, или художественным образом. И будут все поклоняться литературе, и памятники ей в виде храмов и церквей будут по всей земле ставить.

А прежде храмов доисторические люди разбрелись от первой африканской обезьяны по всей земле. Вот и мы плыли на лодке по

неизвестным рекам, в краю лесов, болот и озер. Кое-каким рекам и поселениям давали названия. Я загляделся на высокий, поросший елями берег. Отсюда шла тропинка, вероятно, к какому-то селу, находящемуся западнее, километрах в двенадцати. Выходя из Венеции, Мемфиса, Александрии, Рима, Иерусалима и Вавилона, мы, разумеется, не знали, что здесь уже живут люди. Причем, говорят на понятном нам языке, но совершенно не знакомы с литературой, словом и логосом. Во вторую половину дня мы проехали еще столько же и стали биваком довольно рано. Долгое сидение в лодке наскучило, и потому всем хотелось выйти и размять онемевшие ноги. Меня тянуло в лес. Кувалдин и Достоевский приняли устроить бивак, а мы с Моисеем пошли на охоту.

В том лесу белесоватые стволы
Выступали неожиданно из мглы,

Из земли за корнем корень выходил,
Точно руки обитателей могил.

Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы,

И следы в песке видали рыбаки
Шестипалой человеческой руки.

Никогда сюда тропа не завела
Пэра Франции иль Круглого Стола,

И разбойник не гнезвился здесь в кустах
И пещерки не выкапывал монах.

Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой,

Но в короне из литого серебра,
И вздыхала, и стонала до утра,

И скончалась тихой смертью на заре
Перед тем, как дал причастье ей кюре.

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа,

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.

Я придумал это, глядя на твои
Косы, кольца огневющей змеи,

На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.

Может быть, тот лес - душа твоя,
Может быть, тот лес - любовь моя,

Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

Надо полагать, интервьюеру захочется, чтобы я принял анализировать свои работы; а где гарантия, что в этом процессе я не окажусь зануднее самого педантичного из критиков, когда-либо подвергавшего их критическому разбору? Мне придется умозрительно создавать “цели”, которых и в природе-то не было. Усматривать глубинный смысл в деталях, которые в момент работы над, допустим, романом “Так говорил Заратустра” были значимы лишь в соотношении с общим замыслом, автор которого не хочет наскучить публике. Если бы кто-нибудь из рецензентов расщедрился и назвал мои книги “скоморошьими”, я воспринял бы это как величайший комплимент. Да, я всегда сокрушаю старое, чтобы возводить новое. Вот почему я люблю творцов и ненавижу клерков, которые засели повсюду, даже в “Новом мире” на святом месте Твардовского. Как скоморошью, примерно, и восприняла повесть “В садах старости”, опубликованную замечательным писателем Александром Эбаноидзе, автором тонкого психологического романа “Брак по-имеретински” в журнале “Дружба народов”, в котором он работает главным редактором, одна критикесса из “Независимой газеты”, имя которой я забыл. Ведь за столом во время написания вещи происходит так много всего, и это неудивитель-

но: рождающееся произведение начинает жить своей жизнью. Интервьюер может захотеть, чтобы я разобрал свои произведения более целенаправленно и методично, нежели создавал их. В результате придется как бы заново писать эти произведения, а быть может, и специальные заметки, более тесно привязанные к готовым вещам, нежели те, что я набрасывал изначально. Скучное, не благодарное занятие.

Хотя об этом сразу забываешь, когда бегаешь по истории взад-вперед, как по Москве, вернее, как по Риму, или по Иудее, римской провинции, некогда бывшей Финикией, входившей в империю фараонов Египет. В общем, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, как у нас недавно Путин в России перепись тоже проводил. Римская перепись, о которой я вспомнил на станции моей линии метро “Римская”, была первая в правление Квирина Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марию, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей; и родила сына, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел и сказал: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть писатель Кувалдин, который напишет повесть “Интервью” и вас всех туда запишет. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее литературу и взывающее: слава в вышних слову, и на земле мир, и в читателях благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам вестник писательский. И, поспешивши, пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля художественную литературу за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Дали ему имя Кувалдин, нареченное ангелом - вестником писатель-

ским, точнее - самиздатчиком, прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Хиероссию, страну Эроса, назвали русским, то есть святым, в городе Моше, Мусе, Мошков, Москов, Москве, или городе Иерусалиме, или Новом Иерусалиме в Истре, чтобы представить пред литературой. И голос высокий и пронзительный Достоевского возвестил: ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа твоего святого, русского, самого литературного народа самой литературной страны. И благословил их Достоевский, и сказал Марии, которая была Клавдия из рода лесников-славян, пришедших много колен назад из Венеции, все были белыми, с голубыми глазами и римским профилем (валд - лес по-немецки), сказал матери его: се, лежит сей на падение и на восстание многих в Московии и в предмет пререканий, - и тебе самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец, живущих по лесам и болотам.

Сюда, в страну дождей и серых изб, славяне из Венеции пришли еще до возникновения христианства. До сих пор финны называют нас - веняйа. В прибрежных луговых местах так же легко заблудиться, как и в лесу. Мы несколько раз сбивались с дороги, но тотчас же спешили исправить свои ошибки. Найдя какую-нибудь кочку, я взбирался на нее и старался рассмотреть что-нибудь впереди. Моисей хватал орешник и крапиву руками, не боясь ожогов, и пригибал их к земле. Я смотрел вперед, в стороны, и всюду вдоль реки передо мной расстилалось бесконечное волнующееся травяное море. Население этих болотистых лесов главным образом пернатое. Кто не бывал в низовьях этой реки, которую в честь Моше я предложил назвать Москов-река, и Моше-Моисей согласился, так вот, кто не бывал на Москве-реке, когда не слышны в саду даже шорохи, во время перелета, тот не может себе представить, что там происходит. Тысячи тысяч птиц большими и малыми стаями тянулись к югу. Некоторые шли в обратном направлении, другие - наискось в сторону. Вереницы их то подымались кверху, то опускались вниз, и все разом, ближние и дальние, проектировались на фоне неба, в особенности внизу, около горизонта, который вследствие этого казался как бы затянутым паутиной. Я смотрел, как очарованный. Выше всех были орлы. Распластав свои могучие крылья, они парили, описывая большие круги. Что для

них расстояния? Некоторые из них кружились так высоко, что едва были заметны. Ниже их, но все же высоко над землей, летели гуси. Эти осторожные птицы шли правильными косяками и, тяжело, взвроброд махая крыльями, оглашали воздух своими сильными криками.

Эти крики часто слышались Кувалдину во сне, и ему снилось, что он в древнем храме слышит крики убогих. Каждый год родители Кувалдина ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Кувалдин был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник; когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался отрок Кувалдин в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что Кувалдин идет с другими; прошедши же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми; и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в Ленинской библиотеке с Библией в руках, дающего интервью писателю Юрию Кувалдину, нашли, одним словом, в храме, сидящего посреди учителей: Лакшина, Достоевского, Чехова, Солженицына, Искандера и Булгакова, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились; и мать его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Кувалдин сказал им: зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть там, где на острове Фарос под Александрией египетской фараоны со жрецами беседуют, где Достоевский читает речь о Пушкине в редакции "Дружбы народов", где в кабинете Эбаноидзе Александра картина Трифонова Александра "Несение креста" высоко на шкафу стоит в углу? Но они не поняли сказанных им слов. И Кувалдин пошел с ними, и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. Кувалдин же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у литературы и человеков читающих, задумавшихся. И тот, кто любит слово, тот услышит в нем все, что захочет, и пройдет с ним в глубь истории на 40 тысяч лет назад, и до истории на несколько миллиардов лет назад в черную Африку, где человек зародился, к обезьяне, слезшей с дерева и задумавшейся. От задумавшейся обезьяны, у которой стала зарождаться память, и пошел человек. Я бы назвал его - человек запоминающий.

А запоминающий помнит и мои произведения, и хочет выведать у меня что-нибудь про них. И вот он начинает задавать мне

вопросы. А я чувствую себя дураком, как всегда чувствовал себя в школе, когда меня собирались вызывать к доске. К тому же я окажусь перед необходимостью сделать попытку увидеть мои произведения глазами того человека, каким я был в пору их написания. А мое собственное "я", замкнутое в определенном отрезке времени, хоть и продолжает незримо существовать в моем мозгу, уже перестало быть моим. В результате придется мне без конца писать и переписывать. Переписывать, пока вся спонтанность и непосредственность не исчезнут из некогда полных жизни слов. Придется обобщать, обосновывать, оправдываться. Нет, пусть уж другие уничтожат мои творения - при помощи слов или любых иных инструментов, какими калечат прозу. Что до меня, то вместо этого я просто напишу еще одну книгу прозы, а не мемуары. К тому же - не будем лукавить - писание мемуаров сигнализирует о конце жизненного пути.

А если вспоминаешь о конце, то сразу начинаешь бежать по страницам книги к началу человечества, и читаешь, что в пятнадцатый год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее. При первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол литературный к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Иов проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь писателю, прямыми сделайте стези ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение в литературе. Ибо не религия правит миром, а литература, в которую входит, как дитя, как Моше-Москов-Моисей, религия. Ибо говорю вам, что писатель может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают (ку-валд) и бросают в огонь. И спрашивал его народ: что же нам делать? Кувалдин сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься и сказали ему: учитель! что нам делать? Кувалдин отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: то государство стоит в веках, которое жертвует половиной своего населения, как стоит и сияет в веках Хиеросия, Эросия,

Россия, то есть святая, плодородная, в расцвете жизни. Все имеет рождение, жизнь и смерть. Даже звезды. На смену одной звезде рождается другая, пятая, миллиардная, чтобы никогда не угасать. Так и человек. Эхнатон наложил на Аменхотепа (заменял его), Моисей наложил на Эхнатона, Достоевский наложил на Моисея, Кувалдин наложил на Достоевского. Сия жизнь дается через смерть в бессмертии.

Мне кажется, что все птицы и животные бессмертны, потому что они не обладают памятью. Летят себе, бегут без памяти, и мелькают города и страны, параллели и меридианы. Летят утки, летят гуси. И все куда-то каждый год летели. Лебедь летел на вертолете из Красноярска, Эросоярска, Эросоэрска... Не название, а сплошная тавтология, потому что не знали, что слово "яр" происходит от Эроса, и слово "красный" происходит от Эроса, или Хероса, так что можно произнести - Краснохерск, или, что точнее, Херохерск... Славянский мат и табуированная лексика возникли из чувства ненависти обывателей к высокой литературе. А все высокое высмеивается, или, как говорят в зоне, опускается. Так вот, летели утки с гусями, и рядом с ними летели казарки и лебеди. Внизу, ближе к земле, с шумом неслись торопливые утки. Тут были стаи грузной кряквы, которую легко можно было узнать по свистящему шуму, издаваемому ее крыльями, и совсем над водой тысячами летели чирки и другие мелкие утки. И вся эта масса птиц неслась к югу.

Я так же несусь в слове. И интервьюер за мною не успевает, хлопает глазами. Вот поэтому я не люблю давать интервью. Не люблю утомлять себя и других. В конце концов, все, что я мог поведать о своей жизни и своем творчестве, я попытался поведать в своих произведениях через вымышленных персонажей, или в образах. Подчас мне все же случается поддаться на уговоры: ведь именно с журналистики я начал свое восхождение к писательству и не забыл, как много она для меня значила. Думается, я был не так настойчив, как иные из моих коллег по ремеслу. Моя жизнь - в том, чтобы делать литературу в самом широком смысле этого слова, то есть самому писать, самому издавать, и самому читать. Каждый из этих процессов доставляет мне огромное удовольствие. Литература - это самая захватывающая вещь на свете, но рассказывать об этом - не самое захватывающее занятие. Мне под силу понять, отчего чуть ли не каждый мечтает стать писателем, но

для меня непостижимо, почему люди, захлебываясь от волнения, вслушиваются в чей-либо рассказ о том, как это делается. Когда я в процессе работы над каким-нибудь произведением, то мне хочется, чтобы она длилась бесконечно. Но когда меня вынуждают об этой работе говорить, я невольно вслушиваюсь в собственный монолог, и он кажется мне (и интервьюеру, что гораздо хуже) до невероятности скучным и монотонным.

Приходится невольно освежать монолог яркими историческими примерами. Например, современник войн Ганнибала, Шихуанди, император династии Цинь, завоевал шесть царств и уничтожил феодальную систему; возвел стену, потому что стены служат защитой; сжег книги, потому что к ним обращались его противники, чтобы восхвалять правителей древности. Сжигать книги и воздвигать укрепления - общий удел правителей, необычен лишь размах Шихуанди. Ряд синологов именно так и считают, но мне чудится в событиях, о которых идет речь, нечто большее, чем преувеличение заурядных распоряжений. Привычно огородить сад или цветник, но не империю. И глупо было бы утверждать, что самое обычное для народа - отречься от памяти о прошлом, мифическом или истинном. К тому времени, как Шихуанди повелел начать историю с него, история китайцев насчитывала три тысячи лет (и в эти годы жили Желтый Император и Чжуанцзы, Лаоцзы и Конфуций).

2.

Кувалдин, исполненный литературы, тоже захотел начать историю с себя, и, когда он возвратился от Иордана, то поведен был в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни; а по прошествии их, напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты писатель, сын вечности, как жрец, иерей, мавсон, то вели этому камню сделаться хлебом. Кувалдин сказал ему в ответ: написано, что не долларом одним будет жить человек, но всяким словом литературы. И, возвед его на высокую гору, дьявол показал Кувалдину все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми своими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если ты поклонись мне, то все будет твое. Кувалдин сказал ему в ответ: ты, как в электричестве, минус, а я есть плюс, поэтому твор-

чество без наличия плюса и минуса, добра и зла невозможно. Дьявол повел его тогда в ресторан Дома журналистов. Был в ресторане человек из партийного журнала "Коммунист", имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: оставь, что тебе до нас, Кувалдин из Венеции? Ты пришел погубить нас; знаю тебя, кто ты, святой, то есть русский писатель, автор повести "Поле битвы - Достоевский". Кувалдин запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди ресторана, вышел из него, нимало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Кувалдин со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят? И разнесся слух о Кувалдине по всей Руси (Эросу) великой, и, разумеется, по граду Моисееву - Москову. При захождении же солнца, все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Кувалдину; и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: ты, Кувалдин, велик, грамоте обучен, а мы недавно крепостными были и грамоте не обучены. А он запрещал им сказывать, что они знают, что он - Кувалдин. Он - инкогнито из Венеции, сплел венок слов, стал славянином и пошел на северо-восток в болота, где в глине между речками монастырь основал Москов, назвав его так по имени жреца Эхнатона Моисея-египтянина. И путь до этого был таков: обезьяна - египтянин - россиянин.

Величественная картина! И вдруг совершенно неожиданно откуда-то взялись два зубра. Они были от нас шагах в шестидесяти. В густой траве их почти не было видно - мелькали только головы с растопыренными рогами. Отбежав шагов полтора, зубры остановились. Я выпустил стрелу и промахнулся. Раскатистое эхо подхватило свистящий звук и далеко разнесло его по реке. Тысячи птиц поднялись от воды и с криком полетели во все стороны. Испуганные зубры сорвались с места и снова пошли большими прыжками. Тогда прицелился из арбалета Моисей. И в тот момент, когда рыжая крупная голова одного из них показалась над травой, он спустил курок. Когда мы подошли, животных уже не было. Моисей снова зарядил свой арбалет и не торопясь пошел вперед. Я молча последовал за ним. Моисей огляделся, потом повернул назад, пошел в сторону и опять вернулся обратно. Видно было, что он что-то искал.

- Кого ты ищешь? - спросил я его.

- Алефа, - отвечал он.

- Не алефа, а зубра, - сказал я. - Да ведь он ушел...

- Нет, у нас на иврите, и по-финикийски он называется алеф, потом мы и в Грецию принесли свой язык, семитский, знаковый, самый древний, тьмой египетской сохраненный, и пошла от алефа-быка - греческая буква альфа, - сказал Моисей уверенно. - Я, кажется, в голову алефа попал.

Я вслушался в звук слова "алеф", и мне показалось, что в нем есть слово "лев". Царь зверей, африканский житель, где обезьяна осознала себя человеком миллиарды лет назад. Лев с гривой, а не лев - с рогами. Не лев, значит, алеф. И тут меня потрясла еще одна догадка. В произношении Моисея слово "иврит" прозвучало, как ховрит, то есть - говорит! Вот она, стало быть, откуда речь наша идет - из Египта, от самого первого человеческого записанного слова. Иврит-говорит, говорите на иврите, но не врете, говорите... А потом и ропот дошел до Европы, ев - благо, роп - речь, хорошо говорите, иереи - хорошо говорящие, проповедники. Египет, Европа, евреи в Еврасее... Урус, ура, ра - солнце, Русь, Россия! И секс льется через края, ибо полна чаша сия. Я принялся тоже искать убитое животное, хотя и не совсем верил Моисею. Мне казалось, что он ошибся. Минут через десять мы нашли огромную тушу алефа-зубра. Голова его оказалась, действительно, пронзенной стальной стрелой. Моисей выхватил из ножен острый нож и принялся свежевать тушу. Я помогал. Потом мы несколько раз ходили к биваку со свежим мясом, взваливая тяжелые куски себе на плечи. Окончательно на бивак мы возвратились уже в сумерки.

Как бы то ни было, наступает день, когда вы решаете пожертвовать частью времени, выкроенного для себя, ибо все кругом убеждены: это необходимо. Ваша новая вещь, мол, не может долее оставаться в секрете; о ней должна услышать общественность; реклама и информация - категории первостепенной важности. И вы сдаетесь. Вы проводите время в обществе человека, вооружившегося аппаратурой и делающего в блокноте загадочные пометки. Заглядываете ему в лицо, стремясь уловить, все ли в порядке, но оно непроницаемо. Пытаетесь его рассмешить, но тщетно; скорее уж без устали наматывающий пленку магнитофон издаст ободряющий звук, чем ваш молчаливый собеседник. Надеетесь, что интервьюер вот-вот утомится и вашей пытке придет ко-

нец. Не тут-то было: с какой стати ему утомляться, когда всю работу делаете за него вы? И вот наступает миг, когда вы решаете: хватит.

Однажды, когда народ теснился к Кувалдину, чтобы слышать слово писателя, а Кувалдин стоял у Борисовских прудов, вотчины царя Бориса Годунова, увидел он две лодки, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была брата Годунова из села Братеево, Кувалдин просил его отплыть несколько от берега к Орехову-Борисову, и, сев, учил Моисеевых, то есть москвичей, из лодки: смотрите, сколько египетско-библейских людей собралось - и Абрамовы, и Моисеевы, и Соломоновы, и Давыдовы, и, главное, Ивановы... Иерейские (жреческие, еврейские) имена стали исконно святыми (хиерос) русскими. Иоанн, Анна, Мариам, Мария и так далее, и тому подобное. А путь назад будешь держать и придешь все к одному, к Африке, к волосатой, огромной, человекообразной обезьяне, которая задумалась и нанесла камнем на камень первый иероглиф, евроглиф, тайный, святой, благой знак. Кувалдин еще сказал им: не интеллигентные (читающие) имеют нужду во враче, но больные - не умеющие читать, и не желающие читать; я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Я еще сказал им, что литература - это религия. Что только она бессмертна. Они же сказали Кувалдину: почему авторы "Нашей улицы" читают и пишут, а девяносто девять процентов доисторических людей, живущих в наше время, как трава, вне истории, гоняются за деньгами, едят и пьют? Кувалдин сказал им: можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними невесты? Но придут дни, когда отнимется у них женщина, и тогда будут поститься в те дни. При сем сказал им притчу: никто не представляет заплату к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплатка от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, а мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше.

Вы облегченно вздыхаете. Интервьюер убирается восвояси. Но ненадолго: скоро выясняется, что есть надобность в еще одном интервью. Неважно, чем кончилось первое, - вас всегда попросят о втором. И ведь вам некуда деться: вы уже потратили уйму сил и

времени. Вместо того чтобы вволю посочувствовать самому себе, вы идете на новые издержки. А затем ожидаете, что вам радостно сообщат: ваши слова, мол, найдут дорогу в какой-нибудь малотиражный журнальчик, каковой бесплатно раздают десятку студентов выпускного курса в Литинституте, где ваших книг никто отродясь не видел. Но и на это рассчитывать слишком оптимистично. Ладно. Вы уповаете хотя бы на то, что сказанное вами не превратится на журнальной полосе в полярную противоположность; что напечатанная информация будет хоть как-то соотноситься с тем, что и как вы сказали; что вы не покажетесь читателю еще большим дураком, нежели являетесь на самом деле (что, между прочим, и подтвердили, согласившись на интервью); что ваше интервью все-таки кто-нибудь увидит; наконец на то, что его никто не заметит. В конце концов, просто забываете, что его дали. Я всегда так и делаю. Забываю, что какой-то материал пошел в какую-то редакцию.

Кувалдин сказал чиновникам литературы: не вы делаете литературу, но я. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Кувалдиным. В те дни взшел он на Карадаг, в подножии которого жил в своем доме поэт Волошин, помолиться, и пробыл всю ночь в молитве о литературе. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами: Лоринова, которого назвал Композитором, и Поздеева Валерия, художника Александра Трифонова, Анатолия Капустина и Клыгуля Эдуарда, Сергея Мнацаканяна и Виктора Кологрива, Александра Трофимова и Сергея Михайлина, Виктора Кузнецова и Александра Тимофеевского, прозываемого Поэтом, и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Московии и Эруссии, Египта и Иерусалима, Китая и Рима, Армении и Шумера, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите

врагов ваших из бывшей советской литературы, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинаящих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если займы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Великой русской литературы; ибо Кувалдин, в трех лицах своих - сын, отец и писатель, благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Кувалдин милосерден. Не судите, и не будете судимы; критикуйте, и будете замечены, пишите, и будете прочитаны, не идите по течению, как бревно, а идите против течения, как парус, не осуждайте, и не будете осуждены; осуждайте, и вас обсудят на правлении Союза писателей, и прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такую же отмерится и вам. Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя; но и, усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоём глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

И на лодке плывете. У подножия холма расположилась деревня какого-то Кучка или Кучки. Моисей предложил ее назвать по имени реки, которое дал я в честь него - Москов, где мы порешили начать строить монастырь литературы. Это было последнее в здешних местах селение. Дальше к югу до самого впадения Москов-реки в океан, то есть в Оку, которую мы назвали в честь Океана, бога водной стихии, сына Урана (бога неба) и Геи (богини земли), реку,

обтекающую всю землю, и так она была полноводна и широка, жилых мест не было. Взятые с собой запасы продовольствия подходили к концу. Надо было их пополнить. Мы вытащили лодку на берег и пошли в деревню, которую нарекли Москов. Посредине ее проходила широкая улица, бревенчатые дома стояли, зарывшись в землю, далеко друг от друга. Почти все оратаи были старожилками и имели надел в сто десятин. Я вошел в первую попавшуюся избу. Нельзя сказать, чтобы на дворе было чисто, нельзя сказать, чтобы чисто было и в доме. Мусор, разбросанные вещи, покочнувшийся забор, сорванная с петель дверь, почерневший от времени и грязи рукомойник свидетельствовали о том, что обитатели этого дома не особенно любили порядок. Когда мы зашли во двор, навстречу нам вышла женщина с ребенком на руках. Она испуганно посторонилась и робко ответила на мое приветствие. Я невольно обратил внимание на окна. Они были с двойными рамами в четыре слюды из бычьего, алефьева, зубрева пузыря. Пространство же между ними почти до половины нижних пузырей было заполнено чем-то серовато-желтоватым. Сначала я думал, что это опилки, и спросил хозяйку, зачем их туда насыпали.

- Какие это опилки, - сказала женщина, - это комары.

Я подошел поближе. Действительно, это были сухие комары. Их тут было, по крайней мере, с полкилограмма.

- Мы только и спасаемся от них двумя рамами в окнах, - продолжила она. - Они залезают между пузырями и там пропадают. А в избе мы раскладываем дымокуры и спим в комарниках.

- А вы бы выжигали траву в болотах, - сказал ей лучник Достоевский.

- Мы выжигали, да ничего не помогает. Мы в избе-то по-черному топим. Но мало помогает. Сами угореть боимся. Комары-то из воды выходят. Что им огонь! Летом трава сырая, не горит.

И тут вспоминаете об интервью. Да, вспоминаете лишь тогда, когда оно уже никоим образом не может повлиять на судьбу вашего произведения. И все-таки интересуетесь: где оно, что с ним, появилось ли? Может быть, вы мне подскажите: на дне какой пропасти находят приют все непопавшие интервью? Говорить о книге, которая еще не сделана, нелепо. На протяжении первых трех недель работы над новой вещью, я вообще о ней никому не говорю, тем более - журналистам. Этот период мне нужен, чтобы войти в ритм литературного процесса. Хотя я редко из него выхожу.

Когда Кувалдин окончил все слова свои к слушавшему корреспонденту, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен, при смерти. Услышав о писателе, он послал к нему членов парткома - просить Кувалдина, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедши к Кувалдину, просили его убедительно, говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам храм во славу литературы. Кувалдин пошел с ними. И когда Кувалдин недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: не трудись, писатель! ибо я недостойн, чтобы ты вошел под кров мой; потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе; но скажи слово литературное, принесенное из Венеции, сплетенное славянами, пронесенное через Словению, Словакию, Вену, Винницу, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойдя, и идет; и другому: приди, и приходит; и секретарю моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Кувалдин удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу африканско-египетскому, египетско-финикийскому, финикийско-еврейскому, еврейско-арабскому, арабско-индоевропейскому, индоевропейско-эллинскому, эллинско-римскому, римско-славянскому, славянско-русскому: сказываю вам, что и в Византии не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Кувалдин пошел в город, называемый Наин; а с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, писатель сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подошед, прикоснулся к одру! несшие остановились; и Кувалдин сказал: юноша! тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел, румянец коснулся его щек, и стал говорить; и отдал его Кувалдин счастливой матери его. И всех объял страх, и славили Кувалдина, говоря: великий пророк восстал между нами, это он написал роман "Родина", и он написал роман "Так говорил Заратустра", и он написал множество повестей и рассказов, и статей и эссе, и даже стихи писал в юности. Такое мнение о нем распространилось по всей Эротической Славянии и во всей окрестности до самого Нью-Йорка.

На берег за нами прибежали деревенские ребяташки в лаптях. Они стояли в стороне и поглядывали на нас с любопытством. Через полчаса мы тронулись дальше. Я оглянулся назад. Ребята по-прежнему толпились на берегу и провожали нас глазами. Река сделала поворот, и деревня скрылась из виду. Трудно проследить русло Москов-реки в лабиринте ее проток. Ширина реки здесь колеблется от 15 до 80 метров. При этом она отделяет от себя в сторону большие слепые рукава, от которых идут длинные, узкие и глубокие каналы, сообщающиеся с озерами и болотами или с такими речками, которые также впадают в Москов-реку значительно ниже. По мере того, как мы подвигались к Оке-океану, течение становилось медленнее. Шесты, которыми лучники проталкивали лодку вперед, упираясь в дно реки, часто завязали, и настолько крепко, что вырывались из рук. Глубина Москов-реки в этих местах весьма неровная. То лодка наша наткнулась на мели, то проходила по глубоким местам, так что без малого весь шест погружался в воду. Почва около берегов более или менее твердая, но стоит только отойти немного в сторону, как сразу попадаешь в болото.

3.

Что до произведений, работа над которыми уже позади, то бесконечный анализ просто уничтожает их. Я не могу воспрепятствовать этому литературоциду, но у меня нет ни малейшего желания участвовать в избиении моих детей. Мое нежелание распространяться о собственных произведениях объясняется очень просто: в мои цели никак не входит уменьшать их эмоциональное воздействие на читателей. Для меня принципиально не растратить ничего из запаса тех чувств и эмоций, каковым предстоит воплотиться в новой вещи. Я предпочитаю писать ее так же, как живу в своей второй реальности. В ее чудесном таинственном мире. Иногда мне кажется, что я Иван Карамазов, воспевающий первые зеленые клейкие листочки. Интервьюеры как археологи: и те, и другие тщатся найти следы вековой мудрости, запечатленные в камне. И приходят ко мне в надежде, что на них прольется дождь драгоценных камней. Мне никогда не приходило в голову анализировать свое творчество так, как это привыкли делать они.

Поэма Данте сохранила древнюю астрономию, которая на протяжении тысячи четырехсот лет господствовала в воображении людей. Земля находится в центре Вселенной. Она - неподвижная сфера, вокруг нее вращаются десять концентрических сфер. Первые семь - небеса планет (небеса Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна); восьмая - небо неподвижных звезд; девятая - хрустальное небо, именующееся также Перводвигатель. Это небо окружено Эмпиреем, состоящим из света. Вся эта сложная машина полых, прозрачных и вращающихся сфер (в одной из систем их потребовалось пятьдесят пять) стала необходимостью в мышлении: "Заметка к предположению о вращении небесных сфер" - таково скромное заглавие, поставленное Коперником, ниспровергателем Аристотеля, на рукописи, преобразившей наше представление о космосе. Для другого человека, Джордано Бруно, трещина в звездных сводах была освобождением. В "Речах в первую среду великого поста" он заявил, что мир есть бесконечное следствие бесконечной причины и что божество находится близко, "ибо оно внутри нас еще в большей степени, чем мы сами внутри нас". Он искал слова, чтобы изобразить людям Коперниково пространство, и на одной знаменитой странице напечатал: "Мы можем с уверенностью утверждать, что Вселенная - вся центр или что центр Вселенной находится везде, а окружность нигде".

После сего Кувалдин проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие логоса, и с ним двенадцать апостолов, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, которая была Мариам, потом путем миллиардных наложений стала Наиной, Ниной Красновой-Эросовой с-под Рязани (крас-храс-хорс-хиерос-эрос), из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему именем своим. Когда же собралось множество народа, и из всех родов жители сходились к нему, он начал говорить притчею: вышел сеятель сеять семя свое; и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взошед, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взошед, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Ученики же его спросили у него: что бы значила притча сия? Он

сказал: вам дано знать тайны литературы, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не понимают. Вот что значит притча сия: семя есть слово писателя; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо кто имеет, тому дано будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к Кувалдину мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ: мать моя и братья мои суть слушающие слово писателя, и исполняющие его. В один день Кувалдин вошел с учениками своими в лодку и сказал им: переправимся на ту сторону Борисовских прудов. И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И разбудили его и сказали: наставник! погибаем. Но Кувалдин, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе в удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему? И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Кувалдин на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев писателя, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: что тебе до меня, Кувалдин, сын русской литературы? умоляю тебя, не мучь меня. Кувалдин повелел нечистому духу выйти из сего человека; потому что дьявол долгое время мучил его, так что его связывали цепями и уза-

ми, сберегая его; но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыни. Кувалдин спросил его: как тебе имя? Он сказал: “легион”, потому что много бесов вошло в него. И они просили Кувалдина, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, пришедши к Кувалдину, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Кувалдина с повестью Юрия Кувалдина “Интервью”, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился чтением художественной литературы бесновавшийся.

Я не считаю себя интеллектуалом в общепринятом ныне смысле слова; ведь этот смысл имеет мало общего с интеллектом или интеллигентностью. Те, кто так себя называют, обычно нагоняют на меня скуку. Они - судьи и выносят приговоры другим. Я же просто люблю что-то делать сам. Как я это делаю, пусть судят окружающие. Давать сделанному определения, наклеивать на него ярлыки - не моя забота. Ведь на что наклеивают ярлыки? На багаж, на одежду. Еще на города. Взять, к примеру, нашу Москву. У кого бы я ни спрашивал, никто не знает значения слова “Москва”. Давайте порассуждаем вместе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского... Опять вопрос возникает. Что значит слово “русский”? Думаю, а когда я думаю, то прокатываю, катаю, как морская волна песчинки, катаю слова, играю ими, сопоставляю, слог подставляю к слогу, итак, думаю, что слово “русский” идет от слова греческого, которое таит в себе отголоски Иудеи, Финикии, Египта, слова литературного, религиозного Хиерос, Хиерус, проще говоря - Эрос, что в переводе означает полноту жизни, сексуальность и святость. Пришли на земли, где теперь мы живем, литераторы, носители логоса, слова, основали монастыри в лесах, под защитой рек, болот и озер, чтобы никто им не мешал творить, то есть писать, или сочинять... Бежит история литературы, как река. И теперь мы докапываемся до корней, до оснований. Вникаем в этимологию (происхождение) топонимов. Так, например, получаются у меня поучительные и занимательные рассуждения о происхождении названия российской столицы. Значение Москвы в истории российского и советского государств настолько велико, что не-

удивительно то большое внимание, которое ей оказывается. Делались попытки объяснить этимологию названия столицы, но... На предложенных вариантах останавливаться не будем, поскольку они изложены в книгах М. Горбаневского "В мире имен и названий" и Е. Осетрова "Живая древняя Русь". Любопытства ради заметим, что Осетров, исследовав предложенные варианты и видя тупиковую ситуацию, пустился, как говорится, во все тяжкие: ведь Москву можно было назвать по одноименной реке! Протаскивается мысль, что река имеет способность к самоназванию. До настоящего времени вопрос, однако, не нашел положительного решения. Поэтому вполне вероятно и закономерно появление новых версий и гипотез, так как всякий нерешенный вопрос привлекает внимание и возбуждает любопытство. Без учета исторического, религиозного и политического процессов невозможно понять происхождение целого ряда топонимов. При изучении топонима Москва допускается, по крайней мере, две ошибки. Первая ошибка состоит в том, что название Москвы не связывается с именем какого-либо лица. Вторая ошибка состоит в том, что не учитывается изменение слов во времени и пространстве. Наша страна почти тысячелетие развивалась как государство религиозное. Православное христианство наложило свою печать на страну в Восточной Европе, называемой на западе вплоть до XVII века Московией. Поэтому есть основание исследовать топоним Москва с помощью литературных (религиозных) источников. Я полагаю, что Москва названа в честь литературного героя Библии (Ветхого Завета) пророка Моисея (Моше). Если это утверждение верно, то мы должны найти еще города, названные его именем. Действительно, такие города есть, в Германии - Мосбург, в Ираке - Мосул. Первое письменное упоминание о Москве встречается в письме московского князя в 1147 году: "Приезжай ко мне, брате, в Москов". Сначала город назывался Москов, а со временем - Москва. Имя Моисей (Моше) в переводе означает - дитя. Вспомним, что в Коране он идет тоже как пророк, и называется Муса. Муса, мусульманство... Итак, с моей точки зрения и с точки зрения Кувалдина, египетского жреца, славянина из Венеции и писателя, вопрос об этимологии топонима Москва можно считать исчерпанным.

Создав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать власть над людьми литературы и исцелять ее силой больных. И сказал им:

ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды; и в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь; а если где не примут вас, то, выходя из того города, оттрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили по селениям, хваля литературу и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник обо всем, что делал Кувалдин, и недоумевал: ибо одни говорили, что это Гомер восстал из мертвых; другие, что Лев Толстой явился; а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил; кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, то есть авторы “Нашей улицы”, возвратившись, рассказали Кувалдину, что они сделали; и он, взяв их с собою, удалился в Ирак, в междуречье, к вратам Бога, Вавилону, Вавилону, и, взошед на Вавилонскую башню, сказал: нет тьмы языков, а есть один язык литературы, идущий от задумавшейся в черной Африке обезьяны. Черный - раб, нечерный - араб. Видимо, так. Сорок тысяч лет истории катаем слова-логосы. Народ, это все те, кто благодаря Эросу вышел на сей свет из материнского лона, все до одного из этого лона вышли, благодаря коитусу и фаллической силе литературы. Итак, народ, узнав, пошел за ним к башне и слушал его; и Кувалдин, приняв их, беседовал с ними о царствии литературы, о Пушкине и Гете, о Платоне и Платонове, о Достоевском и Эбаноидзе, о Шукшине и Довлатове, о Чехове и Кафке, о Кувалдине и Лермонтове, о Бердяеве и Фрейде, о Канте и Волошине и о многих других сынах литературы, а народ слушал и требовал исцеления от тупости и неумения читать. И Кувалдин словом славянским и святым, то есть русским, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступивши к нему, двенадцать говорили ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные библиотеки и читали тех, о ком говорил ты; потому что мы здесь у башни Останкинской американские фильмы со стрельбой устали смотреть и глупеем от них. И поджег тогда Кувалдин Останкинскую башню за измену русской симфонической литературе, и дым виден был в Нью-Йорке. Все проголодались от эрзацев американских. Тогда Кувалдин сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей на Черемушкинском рынке? Ибо их было около пятидесяти тысяч человек после футбольного матча ЦСКА - “Спартак”. Но Кувалдин сказал ученикам с нашей улицы: рассадите их

рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Кувалдин по зеленой подстриженной траве вышел в центральный круг стадиона имени Ленина, при свете софитов, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все и на западной, и на восточной, и на южной, и на северной трибунах; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда Кувалдин давал интервью в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ: за протоппа Аввакума, а иные за Федора Достоевского; другие же говорят, что один из фараонов в пирамиде воскрес. Он же спросил их: а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр: за писателя Кувалдина, носителя слова венецианского, сплетающего его в венок ради виты-жизни, чтобы в Вене по венам кровь славянская текла, как текут твои строки по произведениям твоим. Но Кувалдин строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что сыну египетско-венецианскому должно много пострадать, и быть отвержену старыми советскими толстыми литературными журналами, наемными литсотрудниками и сочинителями за деньги книг для развлечения, и быть убиту органами НКВД за слово, за литературу, за изготовление и распространение самиздата, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною; ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради литературы, тот сбережет ее; ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить, или повредить себе?

4.

Ибо, кто постыдится меня и моих проверенных тысячелетиями слов, того писатель постыдится, когда придет во славе своей и литературы и святых самиздатчиков; говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие бессмертных писателей. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Поздеева, Андрея Платонова, Юрия Нагибина, Иоанна и Купченко Владимира из дома Волошина, взошел он на Ленинские горы почитать "Философские тетради". И когда читал, вид

лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Эхнатон: явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Новом Русском Иль Име. Достоевский же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Кувалдина, и двух мужей, стоявших с ним у посольства Арабской республики Египет. И когда они отходили от него, сказал Эхнатон Кувалдину: наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Достоевскому, - не зная, что говорил. Когда же он говорил, то явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: сей есть писатель мой возлюбленный; его читайте. Когда был глас сей, остался Кувалдин один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с Воробьевых гор к парку Горького, встретило его много народа. День был солнечный, и повсюду продавали пиво "Балтика".

Мы плыли по главному руслу и только в случае крайней нужды сворачивали в сторону с тем, чтобы при первой же возможности выйти на реку снова. Протоки эти, заросшие осокой и камышами, совершенно скрывали нашу лодку. Мы плыли тихо и нередко подходили к птицам ближе, чем на полет стрелы. Иногда мы задерживались нарочно и подолгу рассматривали их. Прежде всего я заметил белую цаплю с черными ногами и желто-зеленым клювом. Она чинно расхаживала около берега, покачивала в такт головой и внимательно рассматривала дно реки. Заметив лодку, птица подпрыгнула два раза, грузно поднялась на воздух и, отлетев немного, снова спустилась на соседней протоке. Потом мы увидели выпь. Серовато-желтая окраска перьев, грязно-желтый клюв, желтые глаза и такие же желтые ноги делают ее удивительно непривлекательной. Эта угрюмая птица ходила, сгорбившись, по песку и все время преследовала подвижного и хлопотливого кулика-сококу. Кулик отлетал немного, и, как только садился на землю, выпь тотчас же направлялась туда шагом и, когда подходила близко, бросалась бегом и старалась ударить его своим острым клювом. Заметив лодку, выпь забилась в траву, вытянула шею и, подняв голову кверху, замерла на месте. Когда лодка проходила мимо, Достоевский выстрелил в нее из лука, но стрела пролетела мимо, хотя она прошла так близко, что задела рядом с ней камышины. Выпь не шелохнулась. Моисей рассмеялся.

- Эти птицы хитрее людей. Постоянно так обманывают, - сказал он. Действительно, теперь выпь нельзя уже было заметить, окраска ее оперения и поднятый кверху клюв совершенно затерялись в траве. Дальше мы увидели новую картину. Низко над водой около берега на ветке лозняка уединенно сидел зимородок. Эта маленькая птичка с большой головой и с большим клювом, казалось, дремала. Вдруг она ринулась в воду, нырнула и снова показалась на поверхности, держа в клюве маленькую рыбку. Проглотив добычу, зимородок сел на ветку и опять погрузился в дремоту, но, услышав шум приближающейся лодки, с криком понесся вдоль реки. Яркой синевой мелькнуло его оперенье. Отлетев немного, он уселся на куст, потом отлетел еще дальше и, наконец, совсем скрылся за поворотом. Раза два мы встречали болотных курочек-лысух - черных ныряющих птичек с большими ногами, легко и свободно ходивших по листьям водяных растений. Но в воздухе они казались беспомощными. Видно было, что это не их родная стихия. При полете они как-то странно болтали ногами. Создавалось впечатление, будто они недавно вышли из гнезда и еще не научились летать, как следует. Кое-где в стоячих водах держались поганки с торчащими в сторону ушами и с воротничками из цветных перьев. Они не улета-ли, а спешили спрятаться в траве или нырнуть в воду.

Помню, после выхода моей книги "Улица Мандельштама" один интервьюер спросил меня: "Какой картой вы пользовались? Я ни на одной карте не нашел такой улицы! Быть может, вы пользовались схемой Берлина?" Ну конечно, ответил я. Вопрос, глупость которого предусматривала адекватно глупый ответ. Он был принят всерьез, напечатан и с тех пор много раз перепечатывался. Меня и посейчас продолжают допрашивать по этому поводу. Похоже, мне так и не удастся расчитаться с этой репликой раз и навсегда. И она будет преследовать меня до гробовой доски. Что ж, похоже, единственный способ покончить с этим недоразумением - это заявить: "Совершенно верно, улица Мандельштама находится именно в Берлине".

В 1914 году Фрейд анонимно опубликовал в журнале "Имаго" исследование "Моисей Микеланджело", открывающее сборник "Очерки по прикладному психоанализу". Нужно ли думать, что Фрейд, вложивший, как ему казалось, слишком много личного в интерпретацию работы Микеланджело, решил компенсировать или завуалировать это личное отсутствием подписи? Широко из-

вестно, что его отношение к фигуре Моисея было очень глубоким, окрашенным попытками идентификации. Обращаясь к Юнгу в то время, когда Фрейд считал швейцарца последователем и принцем-наследником, он называл его “Иосифом”, для которого сам Фрейд был “Моисеем”. И вот, наконец, он посвящает еврейскому пророку последние годы своей жизни; редактированием и доведением до печати книги “Моисей и монотеизм” Фрейд занимается с 1934 по 1939 год. Это последняя головешка, которую он в возрасте восьмидесяти трех лет бросает в мир культуры. И сегодня этот мир, после шестидесяти лет страшной истории, вспыхивает ярким пламенем от одного от соприкосновения с идеями Фрейда, трансформирующего Отца - Основателя иудаизма в египетского священника и рисующего смущающий портрет еврейского народа, который, отягченный убийством Отца - Моисея и Иисуса, - упорно отказывается признать преступление... В отличие от этой своей книги, где он стремится очистить от шелухи ядро исторической правды, в небольшом анонимном очерке 1914 года Фрейд интересуется, прежде всего, эстетической формой: речь идет о мраморной статуе Моисея, выполненной Микеланджело, которую он часто и подолгу созерцал в церкви Сен-Пьер-о-Льен во время счастливого пребывания в Риме и которая, как он вспоминает, является лишь “Фрагментом огромного мавзолея, заказанного художнику для могущественного папы Юлия II”. К этому новому предмету анализа он применяет так называемый метод “отходов”, то есть внимательного и тонкого наблюдения за вещами скрытыми или незначительными, невыразительными деталями, по которым обычно взгляд бегло проскальзывает, а то и вовсе не замечает их, и которые, однако, для психоанализа оказываются в высшей степени значащими. Весь очерк Фрейда о Моисее Микеланджело построен на двух крошечных деталях скульптуры, оставшихся незамеченными или неточно описанными: погружение двух пальцев правой руки в складки длинной бороды Пророка и небольшой выступ на нижнем крае таблицы Свода законов, которую Моисей поддерживает правой рукой... Как удалось Фрейду рассмотреть этот незначительный рельеф, в то время, как статуя расположена в нише, в полутьме, видна лишь спереди, а край таблицы со Сводом законов более или менее скрыт за складками тоги? К тому же, как вспоминает Фрейд, этот рельеф совершенно не точно воспроизведен на большой копии из гипса

в Академии изящных искусств в Вене и почти незаметен на маленькой копии с подписью “Сантони”, которую можно видеть в церкви Сен-Пьер-о-Льен. Из этих деталей Фрейд с помощью рисунков, заказанных художнику, восстанавливает состояние ярости, охватившее Пророка при виде древних евреев, поклоняющихся идолам. Но вместо того, чтобы разбить таблицу Свода законов, он овладевает собой и ловит ее в тот момент, когда она начала падать, перевернулась и оказалась вверх ногами. Так скульптору удалось передать самый замечательный психический подвиг, на который способен человек: победить свою страсть во имя предназначенной ему миссии. Не увидел ли Фрейд здесь движения собственной страсти, смешавшейся в нем с движением его собственной “миссии”? Не почувствовал ли он, что совершил, как и Моисей, самый замечательный подвиг, на который способен человек: с помощью разума и знания овладел ощущаемой в себе инстинктивной яростью и спустился в Ад, в царство бессознательного? И не эта ли странная глубокая близость заставила его отказаться подписывать очерк, чтобы потом, уже позднее, поставить свое имя рядом с именем Моисея, занять место Героя?

После сего избрал Кувалдин и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом литературы во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молитесь специалиста жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему!

В институтах, в которых следят за развитием современной русской литературы, меня сделали предметом многих ученых штудий. Поначалу восторженное преклонение исследователей-энтузиастов не может не импонировать, но, спрашивается, как с ним жить дальше? Как не уронить свое достоинство в глазах людей, открыв рот вслушивающихся в каждое ваше слово? В конце концов, это начинает утомлять. Посудите сами: все вокруг ждет, что вы, вы сами будете бесконечно давать одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Это тяжелый груз. А разочаровывать людей не хочется.

Случилось, что, когда Кувалдин в одном месте говорил о литературе, и перестал, один из учеников его сказал ему: писатель! научи нас так говорить. Он сказал им: когда беседуете, говорите: литература наша, суцая на небесах! да святится имя твое; да при-

идет царствие твое; да будет воля твоя и на земле, как на небе; слово наше насущное подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от неведжд и не желающих читать произведения художественной литературы. И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне займы триста долларов, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: пишете, и напечатают вас, просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него на мороженое, подаст ему камень? или, когда попросит конфету, подаст ему соль, вместо шоколадки? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более писатель бессмертный даст духа святого просящим у него, ибо дух святой - это литература.

Мне вовсе не хочется, чтобы количество слов, сказанных мною о том, что я сделал в литературе, превысило сумму того, что я сделал. С какой стати мне слышать о себе: "Кувалдин - комментатор своих книг равнозначен Кувалдину-писателю"? Друзья знают, что преувеличить, расцветить, приукрасить что-либо - моя слабость. Некоторые даже считают, что я не прочь солгать. А для меня очевидно одно: лучше всего я чувствую себя в мире литературных образов, придуманных мною.

Шихуанди изгнал свою мать за распутство, в этом суровом приговоре ортодоксы видят только жестокость; Шихуанди, возможно, стремился уничтожить все прошлое, чтобы избавиться от одного воспоминания - о позоре своей матери. (Не так ли один царь в Иудее приказал перебить всех младенцев, чтобы умертвить одного.) Эта догадка заслуживает внимания, но ничего не говорит о стене, другой стороне мифа. Шихуанди, по описаниям историков, запретил упоминать о смерти, он искал эликсир бессмертия и уединился во дворце, где было столько комнат, сколько дней в году. Эти сообщения наводят на мысль, что стена в пространстве, а костер во времени были магическими барьерами, чтобы задер-

жать смерть. Все вещи хотят продлить свое существование, возможно, Император и его маги полагали, что бессмертие изначально и что в замкнутый мир тлению не проникнуть. Возможно, Император хотел воссоздать начало времени и назвал себя Первым, чтобы, в самом деле, быть первым, и назвал себя Хуанди, чтобы каким-то образом стать Хуанди, легендарным императором, изобретшим письменность и компас. Он, согласно “Книге обрядов”, дал вещам их истинные имена: и Шихуанди, как свидетельствуют записи, хвастался, что в его царствование все вещи носят названия, которые им подобают. Он мечтал основать бессмертную династию; он отдал приказание, чтобы его наследники именовали себя Вторым Императором, Третьим Императором, Четвертым Императором и так до бесконечности.

Некто из народа сказал Ему: учитель! скажи брату моему, что бы он разделил со мною наследство. Кувалдин же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? Каждый человек сам себя ставит в одно какое-то положение. Один ставит себя токарем на ЗИЛе, другой - пастухом овец в Грузии, третий - никуда себя не ставит, а воспаряет над партиями и религиями, и работает с буквами, слогами, словами, фразами, и мы говорим - се человек не от мира сего, се писатель, или - се Кувалдин. При этом он сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и человек рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих. И сказал человек: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Кувалдин сказал ему: безумный! в эту ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не для поддержки серьезной литературы. И сказал Кувалдин ученикам своим: посему говорю вам - не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело - одежды. Посмотрите на воронов, прочтите мою повесть “Ворона”: вороны не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и природа питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о

прочем? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Пушкин во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Вот трава на поле, которая сегодня вроде бы есть, а завтра будет скошена и съедена скотиной. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же писатель знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите царствия литературы, и это все приложится вам. Продавайте имения ваши и мерседесы ваши и давайте милостыню литературе, только она сохранит ваши имена для потомков. Приготовляйте себе места, не ветшающие, сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приблизится, и где моль не съест; ибо, где сокровища ваши, там и сердце ваше будет.

Погода нам благоприятствовала. Был один из тех теплых осенних дней, которые так часто бывают в Москов-краю в октябре. Небо было совершенно безоблачное, ясное; легкий ветерок тянул с запада. Такая погода часто обманчива, и нередко после нее начинают дуть холодные северо-западные ветры, и чем дольше стоит такая тишь, тем резче будет перемена. Часов в одиннадцать утра мы сделали большой привал. После обеда люди легли отдыхать, а я пошел побродить по берегу. Куда я ни обращал свой взор, я всюду видел только ели, траву и болото. Среди могучих елей кое-где светились стволы берез, под которыми было много грибов. Пробираясь к ним, я спугнул большую болотную сову - "ночную птицу открытых пространств", которая днем всегда прячется в траве. Она испуганно шарахнулась в сторону от меня и, отлетев немного, опять опустилась в болото. Около кустов я сел отдохнуть и вдруг услышал слабый шорох. Я вздрогнул и оглянулся. Но страх мой оказался напрасным. Это были камышовки. Они порхали по тростникам, поминутно подергивая хвостиком. Затем я увидел двух крапивников. Миловидные рыжевато-пестрые птички эти все время прятались в зарослях, потом выскакивали вдруг где-нибудь с другой стороны и скрывались снова под сухой травой. Вместе с ними была одна камышовка-овсянка. Она все время лазала по тростникам, нагибала голову в сторону и вопрошающе на меня поглядывала. Я видел здесь еще много других мелких птиц, названия которых мне были неизвестны. Через час я вернулся к своим. Достоевский уже согрел чай и ожидал моего возвращения. Утолив жажду, мы сели в лодку и поплыли дальше.

Любой, кто, как я, обитает в таком мире, мире нескланного воображения, вынужден изо дня в день прилагать поистине нечеловеческие усилия, чтобы его правильно поняли в обыденной жизни. Мне никогда не удавалось обрести общий язык с буквалистами. Из меня получился бы никудышный свидетель в суде. Да и журналистом я был хуже не придумаешь. Реальность мне всегда представлялась нереальной. Мне казалось необходимым подать событие так, как я его видел, а это редко совпадало с более объективным взглядом на происшедшее. Мне хотелось, чтобы реально имевшее место сложилось в стройный рассказ, и я тут же выстраивал его. Самое интересное: я сам проникаюсь искренней верой в истинность того, что увидел, и меня не на шутку удивляет, когда я слышу, что другим случившееся запомнилось иначе. Да и спустя время моя приукрашенная версия, то есть художественная версия событий сохраняет реальность - пусть лишь для меня одного.

В это время пришли некоторые и рассказали Кувалдину о ГУЛАГе, кровь узников которого Пилат смешал с жертвами их. Кувалдин сказал им на это: думаете ли вы, что эти зеки были грешнее всех советских граждан, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете вы, что те люди, погибшие в домах, которые были взорваны чеченскими боевиками, виновнее всех живущих в городе Моисея - Москве? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. В одной из комнат дома творчества писателей "Переделкино" учил он; там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться. Кувалдин, увидев ее, подзвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки; и она тотчас выпрямилась и стала славить всемирную литературу. При этом директор дома творчества, негодуя, что Кувалдин исцелил в субботу, то есть в выходной день, сказал народу: есть пять дней, в которые советский народ трудится; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Кувалдин сказал ему в ответ: лицемер! не заводит ли каждый из вас "жигули" свои или "москвич" в субботу, и не едет ли на садовый участок? Сюю же дочь аменхотепову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил Кувалдин это, все противившиеся ему стыдились; и весь литературный народ Переделкина ра-

довался о всех славных делах его. Он же сказал: чему подобно царствие литературы, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем: и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал: чему уподоблю литературу? Она подобна закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и странам, параллелям и меридианам, уча и направляя путь к бессмертию. Некто сказал ему: писатель! неужели мало спасающихся? Кувалдин же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Ибо сказано: у литературы очень узкий вход, и не каждый в нее войдет. Просто в нее войти невозможно.

5.

Спросили у него: как же ты тогда вошел? И так отвечивал Кувалдин: я в нее и не собирался входить, потому что я сам - литература, я родился таким, и сразу понял, что задумавшаяся в Африке черная обезьяна стала человеком только благодаря слову, иероголифу, литературе, логосу. Старые художники, как правило, изображали Африку в виде молодой девушки, прекрасной, несмотря на грубую простоту ее форм, и всегда окруженной дикими зверями. Над ее головой раскачиваются обезьяны, за ее спиной слоны помахивают хоботами, лев лижет ее ноги, рядом на согретом солнцем утесе нежится пантера. Художники не справлялись ни с ростом колонизации, ни с проведением железных дорог, ни с оросительными или осушительными земляными работами. И они были правы: это нам здесь, в Европе, кажется, что борьба человека с природой закончилась или, во всяком случае, перевес уже, очевидно, на нашей стороне. Для побывавших в Африке дело представляется иначе. Слоны любят почесывать свои бока о стволы деревьев и, конечно, ломают их, гиппопотамы опрокидывают плоты и лодки. Африканские леса равно открыты для людей и животных, к ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Можно увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безымянные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос

только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра; он подивится древнему племени, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе, чем на четвереньках; и если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказок (латинское “казус” – случай, дало жизнь многим русским словам: сказка, рассказ, казаться и т.д.). Человек должен одинаково закалить и свое тело, и свой дух: тело – чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голоденок; дух – чтобы не трепетать при виде крови.

Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: товарищ! отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Солженицына, Пушкина, Кувалдина, Бердяева, Краснову и всех пророков в литературе, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и войдут в литературу. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Кувалдину: выйди и удались отсюда, ибо КПСС хочет убить тебя. И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу; а впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне русского языка. Иерусалим, Эрос, Иерусалим, Русь, избивающая пророков, и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благоволен грядый во имя литературы!

Меня обвиняют, что безудержнее всего моя фантазия в том, что я рассказываю о себе. Ну, уместно спросить: кому и распоряжаться моей жизнью, как не мне самому? И если я заново переживаю ее в словах, почему бы не поменять местами кое-какие детали, отчего рассказ только выиграет? Например, мне вменяют в вину, что я несколько раз совершенно по-разному излагал историю

моего прихода в Москов-град из Венеции. Но этот приход заслуживал много большего! Я не считаю себя лжецом. Это всего-навсего вопрос точки зрения. Неотъемлемое право рассказчика - вдыхать в рассказ жизнь, расцвечивать его подробностями, расширять его рамки в зависимости от того, каким, по его мнению, должно выглядеть субъективное освещение происходившего. Этим я сплошь и рядом и занимаюсь - в жизни, как и в литературе. Иногда всего лишь потому, что не помню, как было на самом деле.

Желая пополнить свой дневник, я спросил Моисея, следы каких животных он видел в долине Москов-реки с тех пор, как мы вышли к болотам. Он отвечал, что в этих местах водятся енотовидные собаки, барсуки, волки, лисицы, зайцы, хорьки, выдры, водяные крысы, мыши и землеройки. Во вторую половину дня мы прошли еще километров двенадцать и стали биваком на одном из многочисленных островов. Сегодня мы имели случай наблюдать на востоке теневой сегмент земли. Вечерняя заря переливалась особенно яркими красками. Сначала она была бледная, потом стала изумрудно-зеленой, и по этому зеленому фону, как расходящиеся столбы, поднялись из-за горизонта два светло-желтых луча. Через несколько минут лучи пропали. Зеленый свет зари сделался оранжевым, а потом красным. Самое последнее явление заключалось в том, что багрово-красный горизонт стал темным, словно от дыма. Одновременно с закатом солнца на востоке появился теневой сегмент земли. Одним концом он касался северного горизонта, другим южного. Внешний край этой тени был пурпуровый, и чем ниже спускалось солнце, тем выше поднимался теневой сегмент. Скоро пурпуровая полоса слилась с красной зарей на западе, и тогда наступила темная ночь. Я смотрел и восторгался.

Художественная проза - мой способ существования. Таких возможностей не может предоставить ни одно другое искусство. Быть творцом в литературе лучше, нежели в живописи, ибо жизнь можно воссоздавать в движении, в рельефности, как под увеличительным стеклом, кристаллизуя ее подлинную сущность. С моей точки зрения, литература ближе, чем живопись, музыка или даже кино и театр, к чуду зарождения жизни как таковой. Вначале было слово. А в слове был лов. А в лове был логос. По существу слово и является новой формой жизни, которой присущи собственный пульс развития, собственная многоплановость и многозначность, собственный диапазон понимания. Творческий процесс у меня начинается с чув-

ства, а не с идеи и уж тем более не с идеологии. Я - пленник своего рассказа; рассказ жаждет быть поведанным, и мое дело - понять, куда он устремится.

Приближались к Кувалдину все мытари и грешники слушать его. Филологи же и литературные клерки-партийцы роптали, говоря: Кувалдин принимает грешников и ест с ними. Но Кувалдин сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью? И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадитесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая десять рублей мелочью, если потеряет одну монету в рубль, не зажжет свет и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А, найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадитесь со мной, я нашла потерянный рубль. Так, говорю вам, бывает радость у писателя, об одном грешнике кающемся. Еще сказал: у некоторого человека было два сына: и сказал младший из них отцу: папа! отдай мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: папа! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в числа наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: папа! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабочим своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и,

возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из рабочих, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое - твое; а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Когда на каком-нибудь вечере организаторы принуждают меня к общению с прессой, на меня обрушивается поток жалоб. Обрушивается даже тогда, когда я во всем иду ей навстречу. Форма пресс-конференции в принципе не устраивает журналистов. Каждый из них стремится провести со мной отдельную встречу. Сетуют на то, что с пресс-конференций корреспонденты всех изданий уносят в руках одни и те же ответы. А чем, кроме этого, могу я их вооружить? Тогда я вычеркиваю из жизни еще один день - день, в который, возможно, мне пришла бы в голову самая блестящая мысль. Но и эта жертва оказывается напрасной, ибо интервьюеров из Ада не удовлетворить поистине ничем.

Люди почувствовали себя затерянными во времени и пространстве. Во времени - ибо если будущее и прошедшее бесконечны, то не существует "когда", в пространстве - ибо, если всякое существо равно удалено от бесконечно большого и бесконечно малого, нет, стало быть, и "где". Никто не живет в каком-то дне, в каком-то месте: никто не знает даже размеров своего лица. В эпоху Возрождения человечество полагало, что достигло возраста зрелости. И вскоре опять испугалось, поскольку ощутило себя в устрашающей сфере, центр которой везде, а окружность нигде.

Вечером мы долго сидели у огня. Утром встали рано, за день утомились и поэтому, как только поужинали, тотчас же легли спать. Преддрасветный наш сон был какой-то тяжелый. Во всем теле чувствовалась истома и слабость, движения были вялые. Так как это состояние ощущалось всеми одинаково, то я испугался, думая, что мы заболели лихорадкой или чем-нибудь отравились, но Моисей успокоил меня, что это всегда бывает при перемене погоды. Нехотя мы поехали и нехотя поплыли дальше. Погода была

теплая; ветра не было совершенно; камыши стояли неподвижно и как будто дремали. Дальние леса, виденные дотоле ясно, теперь совсем утонули во мгле. По бледному небу протянулись тонкие растянутые облачка, и около солнца появились венцы. Я заметил, что кругом уже не было такой жизни, как накануне. Куда-то исчезли и гуси, и утки, и все мелкие птицы. Только на небе парили орланы. Вероятно, они находились вне тех атмосферных изменений, которые вызвали среди всех животных на земле общую апатию и сонливость. Моисей сказал, что это к перемене погоды.

Понимали бы перемену погоды интервьюеры! Рассказываешь им, рассказываешь, а они хоть бы бутылку поставили, как сказал один персонаж в больничной сцене в фильме Шукшина “Живет такой парень”. Сидят, записывают, морщат лбы, что-то бормочут. Долгое и нудное дело. И что же мне доводится услышать в итоге? Может быть, “Благодарю вас, Юрий Александрович”? Как бы не так. Напротив, жалобы. “Каждому из нас, - канючат они, - вы изложили ваше мнение по-разному. Что же вы думаете на самом деле?” Они собираются вместе, сравнивают свои заметки. А чего они, спрашивается, ожидали? Того, что я стану раз за разом тянуть все ту же канитель, повторять одни и те же слова? Но если дело в этом, чем их не устраивала пресс-конференция?

И как было во дни Дарвина, так будет и во дни слова: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как горилла задумалась и стала запоминать, и превратилась в человека. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, сажали деревья, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех: так будет и в тот день, когда сын писательский явится, то есть художественный образ. И человек станет образом, а образ воплотится в человека. Вначале было слово, и словом все закончится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад: вспомниайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится; двое будут молотить вместе: одна возьмется, а другая оставится; двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится. На это сказали Кувалдину: где? Кувалдин же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.

Мне никогда не удается предугадать, чего хотят от меня интервьюеры. Интересно, а какво приходилось Солженицыну, от которого только и ждали чего-нибудь экстравагантного и остроумного? Не знаю, есть ли что-нибудь тяжелее, нежели необходимость общаться с незнакомыми людьми, ждущими, что вы скажете или сделаете что-то такое, о чем они смогут потом, захлебываясь, рассказывать друзьям и знакомым. Если вы не выдадите им искомую порцию афоризмов, они так и разойдутся с вытянутыми лицами. Временами мне кажется, что я должен спрятать под подкладкой пальто топор и так уподобиться героине моего романа "Родина". От одного этого ощущения становится неуютно. С незнакомыми, особенно разовыми авторами моего журнала "Наша улица", я быстро становлюсь грубым и нетерпеливым. Мне не хочется, чтобы меня спрашивали, что я думаю о том-то и о том-то, чтобы из меня "вытягивали" мое мнение, чтобы меня подначивали или провоцировали на откровенность. И самое неуместное - когда кто-то ждет, что я стану распространяться о произведении, которое собираюсь писать. В таких случаях я присутствую и одновременно отсутствую на встрече. Думаю о том, какие образы могли бы вертеться в моей голове, если бы меня оставили предаваться моим одиноким грезам, о вещи, которую я прокручивал бы в своем воображении. Порой мне кажется, что есть только два типа людей, чье существование безраздельно связано с литературой. Это писатели и литературоаннигиляторы. Когда ко мне подходит некто и обращается с вопросом: "Каков смысл вашего романа "Родина", Юрий Александрович?" - я немедленно узнаю литературоаннигилятора. Литературное произведение существует только как целое со всеми своими частями. Впрочем, так существует все в мире. Стоит что-то разъять, и оно умирает. Литературоаннигиляция - куда более разветвленная сфера деятельности, нежели писательство. Литературоаннигиляторам не требуются годы работы над произведением. Все, что им нужно, - несколько лет учебы в институте или университете; после этого квалификация литературоаннигилятора обеспечена. Им также нужен магнитофон, компьютер.

б.

Кувалдин, потомок задумавшейся обезьяны, в свою очередь, прошедшей путь от амебы, подозвав их, сказал: пустите детей

приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть царство литературы; истинно говорю вам: кто не примет литературы серьезной и художественной, как дитя, тот не войдет в бессмертие. И спросил Кувалдина некто из начальствующих: учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Кувалдин сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один художественный образ, лучше даже - икона. В ней остановилось мгновенье. И я помню чудное мгновенье. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй; не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Кувалдин сказал ему: еще одного не достает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Кувалдин, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство войти в русскую литературу! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в русскую литературу. Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Кувалдин сказал: невозможное человекам возможно писателю. Петр же сказал: вот, мы оставили все и последовали за тобою. Поздеев сказал: замечательна повесть твоя "Свои". Кувалдин сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для литературы, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век будущей жизни вечной. Отозвав же двенадцать учеников своих, сказал им: вот, мы из Москова восходим в Иерусалим, и совершится все написанное чрез пророков о сыне писательском: ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить и убьют его; и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил Кувалдин к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни; и услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, что Кувалдин из Венеции идет и славянскую славу в слове-логосе несет. Тогда он закричал: Кувалдин, сын славян, основателей монастырей Эроса по всей Руси Великой: и Ростова (Эростова), и Ярославля (Эросу слава), и Красной (Эросной, Хорсной) площади! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: сын Венеции и Египта! помилуй

меня. Кувалдин, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: чего ты хочешь от меня? Он сказал: писатель! чтобы мне прозреть. Кувалдин сказал ему: читай “Поле битвы - Достоевский”. Тот взял номер “Дружбы народов” и начал читать, не умея сначала читать, но научившись с ходу под гипнозом Кувалдина. Кувалдин рек: прозри! вера твоя в литературное произведение спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Кувалдиным в редакцию, славя русскую литературу. И весь народ, видя это, воздал хвалу литературе, церквям ее и золотым фаллическим куполам ее.

Я спросил Моисея, отчего птицы перестали летать, и он прочел мне длинную лекцию о перелете. По его словам, птицы любят двигаться против ветра. При полном штиле и во время теплой погоды они сидят на болотах. Если ветер дует им вслед, они зябнут, потому что холодный воздух проникает под перья. Тогда птицы прячутся в траве. Только неожиданный снегопад может принудить пернатых лететь дальше, невзирая на ветер и стужу. Чем ближе мы подвигались к Оке, тем болотистее становилась равнина. Деревья по берегам проток исчезли, и их место заняли редкие, тощие кустарники. Замедление течения в реке тотчас сказалося на растительности. Появились лилии, кувшинки, курослеп, камыши и т. д. Иногда заросли травы были так густы, что лодка не могла пройти сквозь них, и мы вынуждены были делать большие обходы. В одном месте мы заблудились и попали в какой-то тупик. Кувалдин хотел было выйти из лодки, но едва ступил на берег, как провалился и увяз по колено. Тогда мы повернули назад, вошли в какое-то озеро и там случайно нашли свою протоку. Лабиринт, заросший травой, остался теперь позади, и мы могли радоваться, что отделались так дешево. С каждым днем ориентировка становится все труднее и труднее. Раньше по деревьям можно было далеко проследить реку, теперь же нигде не было даже кустов, вследствие этого на несколько метров вперед нельзя было сказать, куда свернет протока, влево или вправо. Предсказание Моисея сбылось. В полдень начал дуть ветер с юга. Он постепенно усиливался и в то же время менял направление к западу. Гуси и утки снова поднялись в воздух и полетели низко над землей. В одном месте было много плавникового леса, принесенного сюда во время наводнений. На Москов-реке этим пренебрегать нельзя, иначе рискуешь заночевать без дров. Через несколько минут лучники разгружали лодку, а Моисей раскладывал

огонь и ставил палатку. До Оки оставалось немного. Мы сидели у костра, пили чай и разговаривали между собой. Сухие дрова горели ярким пламенем. Камыши качались и шумели, и от этого шума ветер казался сильнее, чем он был на самом деле. На небе лежала мгла, и сквозь нее чуть-чуть виднелись только крупные звезды. К утру небо покрылось слоистыми облаками. Теперь ветер дул с северо-запада. Погода немного ухудшилась, но не настолько, чтобы помешать нашей экспедиции по закладке монастырей литературы на неисследованных землях восточных славян.

Если “героическая” и “мозаичная” идентификация и существует, то она существенно осложняется благодаря другому фактору - сложному и противоречивому самоотождествлению Фрейда с еврейским народом, которое заставляет его избегать “гневного и презрительного взгляда героя”. “Порой, - пишет он, - я осторожно выскальзываю из тени храма, как будто сам принадлежу к сброду, на который направлен этот взгляд, сброду, неспособному на верность убеждениям, который не умеет ни ждать, ни верить, но издает крики радости, как только ему возвращают иллюзорного идола”. Несомненно, эта картина Фрейда навеяна отголоском статуса “неверного еврея”, который он часто относил к себе. Но нам важно увидеть здесь выраженное от противного утверждение Фрейда о “верности своим убеждениям”, которые в течение всей жизни заставляли его отвергать и разоблачать “иллюзорного идола” (идола Иллюзии) даже в своем последнем поступке, последнем движении мысли, направленном против самого Моисея - доминирующей фигуры в иллюзии евреев, идола религиозной иллюзии. Представляя в письме Джонсу от 3 марта 1936 года свою работу “Моисей и монотеизм” как опровержение национальной еврейской мифологии, Фрейд ожидает встретить активную оппозицию со стороны еврейских кругов. Он оказался прав: с момента появления книги в 1939 году начались негодующие отклики, критики обвиняли Фрейда в антисемитизме, в лучшем случае неосознанном, и заключали, что в глубине души он ненавидит иудаизм. Суждение известного специалиста по библейским текстам и еврейской истории Абрахама Шаломе Иегуды обобщает реакцию широкой публики на положения Фрейда: “Мне кажется, что я слышу голос одного из наиболее фанатичных христиан, выражающего свою ненависть к Израилю, а не Фрейда, который ненавидит и презирает фанатизм такого рода от всего сердца и изо всех сил”.

Для нас вопрос стоит по-другому: действительно ли “Моисей...” является последним мощным усилием Фрейда, предпринятым с целью атаковать и попытаться разрушить фанатизм в его истоке, структуру иллюзии, порождающей и питающей его. Он проделывает это на себе самом, действуя через посредство поразительного выхода в самоанализ: он разрушает, разрушая себя в своем “героическом” отождествлении с Моисеем, в своей “мифологической” сущности еврея, разбивая фигуру Моисея, внося раскол, трещину в еврейскую реальность, что как нельзя более ясно видно из нижеследующих строк: “Чтобы в наиболее лаконичной форме представить результаты нашей работы, мы скажем, что к известным проявлениям двойственности в еврейской истории: два народа сливаются, формируя нацию, два королевства образуются при разделении этой нации, божество имеет два имени в библейских источниках, - мы добавили еще две формы двойственности: образование двух новых религий, одна из которых, подавленная вначале другой, вскоре вновь победно проявилась, и, наконец, два основателя религии, оба по имени Моисей, личности которых мы должны различать”. Нелегко блуждать по лабиринтам двойственностей, но если мы последуем за Фрейдом до конца в его мозаичном пути, нас ожидает странное открытие. Схема фрейдовской интерпретации, на первый взгляд, достаточно проста: Моисей, великий пророк, фигура которого доминирует в Ветхом Завете, Герой - основатель иудаизма, человек, “создавший евреев”, как пишет Фрейд, - Моисей не является евреем, он египтянин. Используя различные источники, Фрейд показывает, что Моисей был священником из окружения Эхнатона, фараона, совершившего грандиозную монотеистическую революцию и удалившего всех древних богов из египетского пантеона ради единственного бога - Атона. Но новой религии, выдвигающей новые требования духовности, угрожают возвращением с помощью силы более популярны древние верования. Моисей, решительный сторонник религиозной революции, в которой он сам принимал непосредственное участие и одним из авторов которой, возможно, являлся, решает сохранить ее суть, покинув Египет во главе семитских племен, кочевых и достаточно беспокойных. Он внушает им новые принципы, обращая их в монотеизм; таким образом родилось то, что исторически стало еврейским монотеизмом - новой эрой в истории религии.

Там, где Абиссинское плоскогорье переходит в низменность и раскаленное солнце пустыни нагревает большие круглые камни, пещеры и низкий кустарник, можно часто встретить леопарда, по большей части разленившегося на хлебах у какой-нибудь одной деревни. Изящный, пестрый, с тысячько уловок и капризов, он играет в жизни поселян роль какого-то блистательного и враждебного домового. Он крадет их скот, иногда и ребят. Ни одна женщина, ходившая к источнику за водой, не упустит случая сказать, что видела его отдыхающим на скале и что он посмотрел на нее, точно собираясь напасть. С ним сравнивают себя в песнях молодые воины и стремятся подражать ему в легкости прыжка. Время от времени какой-нибудь предприимчивый честолюбец идет на него с отравленным копьем и, если не бывает искалечен, что случается часто, тащит торжественно к соседнему торговцу атласистую, с затейливым узором шкуру, чтобы выменять ее на бутылку скверного коньяку. На месте убитого зверя поселяется новый, и все начинается сначала. Леопарда заманивают на козленка. Привязывают бедного, и он кружит вокруг колышка. И вот появился леопард. Моисей прицелился и выпустил стрелу. Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону: стрела перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я подошел к леопарду; он был уже мертв, и его остановившиеся глаза уже заволокла беловатая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передернуло. И вдруг я ощутил страх, нарастающий тягучим ознобом, очевидно, реакцию после сильного нервного подъема. Я огляделся: уже сильно темнело, только один край неба был сомнительно желтым от поднимающейся луны; кустарники шелестели своими колючками, со всех сторон выгибались холмы. Козленок отбежал так далеко, как ему позволяла натянувшаяся веревка, и стоял, опустив голову и цепenea от ужаса. Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно. Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток чернокожих жителей Африки с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на шее и лбу, как бисер, поблескивали капли пота. Вслед за

ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник. Это он всполошил всю деревню.

Понятие магии, носящей имя “слово-логос”, для литературоаннигилятора неприемлемо; первое его побуждение - подвергнуть ее интеллектуальному разъятию на части. Но такого рода диссекция то и дело грозит перерасти в посмертное вскрытие. Стремление уяснить для себя, каков механизм того или иного трюка, понять еще можно, но литературоаннигилятор тщится постичь нечто большее: он, видите ли, желает знать, какие мысли роились в голове фокусника в то время, как он исполнял свой коронный номер, и, главное, что вообще побуждало его данный фокус проделывать. Последний же, всего вероятнее, думал лишь о том, получит ли он очередной ангажемент, или беспокоился, не сбежали ли из-под фальшивого дна цилиндра дрессированные кролики, или просто помышлял о пышных прелестях улыбнувшейся ему блондинки из третьего ряда.

Кончено время игры,
Дважды цветам не цвести.
Тень от гигантской горы
Пала на нашем пути.

Область унынья и слез -
Скалы с обеих сторон
И оголенный утес,
Где распростерся дракон.

Острый хребет его крут,
Вздых его - огненный смерч.
Люди его назовут
Сумрачным именем: “Смерть”.

Что ж, обратиться нам вспять,
Вспять повернуть корабли,
Чтобы опять испытать
Древнюю скудость земли?

Нет, ни за что, ни за что!
Значит, настала пора.

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Лучше слепое Ничто,
Чем золотое Вчера!

Когда Кувалдин приблизился к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав: пойдите в противоположащее селение; вошедши в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязавши его, приведите; и если кто спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен писателю. Посланные пошли и нашли, как Кувалдин сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяйка его сказала им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен писателю. И привели его к Кувалдину; и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Кувалдина. И когда Кувалдин ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить литературу за все чудеса, какие видели они. Говоря: благословен писатель, стоящий выше царей и государств, выше партий и народов, выше золота и мирской суеты, грядущий во имя литературы! мир на небесах и слава в вышних!

Когда ко мне подходит литературоаннигилятор и интересуется, что на самом деле я имел в виду, показывая императора Александра Второго с моим дедом в преддверии проведения крестьянской реформы 1861 года, я и впрямь не знаю, что сказать. Если мне очень повезет, его диссертация найдет себе приют на какой-нибудь библиотечной полке, где и будет пылиться бок о бок с другими столь же эрудированными сочинениями, выращенными на ниве наших ценных и отнюдь не неистощимых природных ресурсов. Если не повезет, ее напечатают в книжной форме, и кто-нибудь прочтет. Если же мне совсем не повезет, ее автор станет профессором филологических наук некоего университета или, что самое худшее, литературоведом. И тогда найдутся люди, способные поверить тому, что он пишет.

7.

Я говорю о цели магической, и мне кажется, что сооружение стены и сожжение книг не были одновременными действиями.

Это (в зависимости от последовательности, которую мы предпочтем) даст нам образ правителя, начавшего с разрушения, от которого он затем отказался, чтобы оберегать, или разочарованного правителя, разрушающего то, что прежде берег. Обе догадки полны драматизма, но, насколько мне известно, лишены исторической основы. Известно, что прятавших книги клеймили раскаленным железом и приговаривали строить нескончаемую стену - вплоть до самой смерти. Эти сведения допускают и другое толкование, которому можно отдать предпочтение. Быть может, стена была метафорой; быть может, Шихуанди обрекал тех, кто любил прошлое, на труд, столь же огромный, как прошлое, столь же бессмысленный и бесполезный. Быть может, стена была вызовом, и Шихуанди думал: "Люди любят прошлое, и с этой любовью ничего не поделаться ни мне, ни моим палачам, но когда-нибудь появится человек, который будет чувствовать, как я, и он уничтожит мою стену, как я уничтожил книги, и он сотрет память обо мне, станет моею тенью и моим отражением, не подозревая об этом". Быть может, Шихуанди окружил стеной империю, осознав ее непрочность, и уничтожил книги, поняв, что они священны или содержат то, что заключено во всей Вселенной и в сознании каждого человека. Быть может, сожжение библиотек и возведение стены - действия, таинственным образом уничтожающие друг друга.

Обобщая этот случай, я могу сделать вывод, что все формы обладают смыслом сами по себе, а не в предполагаемом "содержании", поскольку, на мой взгляд, литература стремится быть музыкой, которая не что иное, как форма. Музыка, ощущение счастья, мифология, лица, на которых время оставило след, порой - сумерки или пейзажи хотят нам сказать или говорят нечто, что мы не должны потерять.

И мы не потеряем, потому что и Моисей назвал литературу делом Эхнатона и Достоевского. Литература же не есть воз мертвых, но живых, ибо у нее все живы. На это некоторые из филологов, для которых литература все еще под вопросом, сказали: писатель! Ты хорошо сказал. И уже не смели спрашивать его ни о чем. Кувалдин же сказал им: как говорят, что я есть сын литературы? А сам Давид говорит в книге псалмов: сказал писатель моему писателю: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, Давид писателем называет его; как же он сын ему? И когда слушал весь народ, Кувалдин сказал ученикам сво-

им: остерегайтесь филологов, которые любят ходить по Тверской в Гнездниковский переулок, и любят приветствия в ЦДЛ на вечерах, заседа в президиумах.

Из литературоаннигиляторов редко выходят писатели. Однако готов поручиться, наступит день, когда самые отъявленные литературоаннигиляторы примутся делать документальные книги о том, как они пишут книги об изничтожении писателей. И хуже того. Будут проводиться конференции антипрозы литературоаннигиляторов. Интервью, как вы видите, давать очень трудно, поскольку неравноправна сама исходная ситуация. Один с умным видом задает вопросы, другой, как дурак, отвечает, стараясь выглядеть в глазах собеседника умным, занятым, оригинальным, не лишенным чувства юмора. Стоит мне только услышать, что кто-либо намерен меня интервьюировать, как я стараюсь улизнуть, раствориться, убежать куда глаза глядят. Когда это в моих силах, я ровно так и поступаю, ибо не могу до бесконечности отвечать на одни и те же опостылевшие вопросы. Иногда мне думается: вот было бы здорово, додумайся кто-нибудь присвоить вопросам и ответам порядковые номера! Скажем, интервьюер выкликает: “Сто двадцать”. Я отвечаю: “Сто двадцать”. Вот и все. А сколько времени сэкономлено!

Время от времени я даю намеренно идиотские ответы на вопросы типа: “Какие книги вы считаете лучшими за всю историю литературы?” Не моргнув глазом, называю свою последнюю вещь - “Интервью”, а ее и прозой-то назвать трудно: так, просто работа для вечности и пространства. И что вы думаете? Все, что я говорю, принимают всерьез и запечатлевают для этой непонятной вечности, которую я не могу вместить. Похоже, в таких случаях надо держать перед собой плакат с надписью “Кувалдин шутит” и еще подчеркнуть это слово.

Приближался праздник Пасхи; и искали филологи и критики, как бы погубить Кувалдина, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел и говорил с властями, как его предать им. Власти обрадовались и согласились дать Иуде денег; и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день Пасхи, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Кувалдин Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они же сказали ему: где велишь нам при-

готовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: писатель говорит тебе: где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную; там приготовьте. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, он и двенадцать апостолов с ним. И сказал им: очень желал я есть с вами сию пасху прежде моего страдания; ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в литературе, в которой время исчезает. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою; ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царствие художественной литературы. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается; сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечера, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот, рука предающего меня со мною за столом. Потом Кувалдин вышел в сад. Появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Кувалдину, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть Кувалдин. Кувалдин же сказал ему: Иуда! целованием ли предаешь писателя? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали Кувалдину: писатель! не ударить ли нам мечом? И один из них ударил агента и отсек ему правое ухо. Тогда Кувалдин сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Люди, державшие Кувалдина, ругались над ним и били его; и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: прорекли, кто ударил тебя? И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, филологи с вопросами и критики в звании кандидатов советских наук, и ввели его в свой синедрион, и сказали: ты ли Кувалдин? скажи нам. Он сказал им: если скажу вам, вы не поверите; если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня; отныне сын литературы воссядет одесную силы слова. И сказали все: итак, ты сын литературы? Кувалдин отвечал им: вы говорите, что я. Они же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст его! Так же можно поверить, что навстречу Кувалдину с гор Кавказа по узкой тропе шел в мягких сапожках, мелодично поскрипывая мелкими камнями, с посохом и в белой бурке с газыря-

ми, с кинжалом на бедре, в черной папахе Александр Эбаноидзе, писатель и друг всех народов. Он шел и размышлял почти что вслух о чувстве правды. Впрочем, сначала он вспомнил о том, почему ему пришлось совсем недавно перебраться из дома в хлев? Видимо, для того, чтобы найти некий покой. И тут Дареджан (та самая троюродная сестрица, которую бабушка в свое время советовала взять в натурщицы) привела в хлев еще одного гостя. Надо заметить, что нежданного и малоприятного гостя. Это был Гермоген Симартлишвили - фельдшер из деревни дедушки Апрасиона. Фамилию его следует перевести, поскольку изначально она, несомненно, служила псевдонимом. Начиная с тридцатых годов Гермоген развивал активную деятельность на общественном поприще - был селькором и, считая себя борцом за справедливость, назвался сыном правды, или Правдиным. Газета "Правда" тут сразу вспоминается, и Василий Розанов со своей сентенцией насчет того, что скоро начнут издавать газету под названием "Окончательная истина". Гермоген с легким презрением относился к деньгам (даже к трехрублевому гонорару, подобно Кувалдину, он относился с недовольством, как к скрытой взятке), он гордился своей неподкупностью, презирал анонимки и под всеми заявлениями и заметками каллиграфически выводил - Герм. Симартлишвили. С одинаковой суровостью этот деревенский Савонарола обрушивался на свою начальницу - молодую врачиху, посмевавшую выйти на работу в брюках, на вороватого завскладом и на колхозного кузнеца, который, совершая в великий четверг какой-то старинный обряд, бил молотом по наковальне... Право, в далеких закутках души Гермогена таилось что-то детское. Возможно даже, что его воинственная непреклонность в борьбе со злом была не чем иным, как другой ипостасью детского стремления к справедливости: что она выросла из этого стремления, как из костного вещества теленка вырастает боевой рог. Внезапный приход медбрата насторожил. Оказалось, что у дедушки Апрасиона подскочило давление, и теперь он лежал, свекольно-красный, увешанный разбухшими пивками, и время от времени, собравшись с силами, проклинал свою старуху. "Ему необходим покой, - заключил Гермоген. - При гипертонии покой - первое условие выздоровления".

Есть в моем деле еще одна сторона, не вызывающая у меня восторга. Она заключается в том, что приходится просить милостыню. Это - необходимость обходить с шапкой спонсоров, дабы

вымолить моему очередному номеру “Нашей улицы” или моей книге позволение родиться на свет, - единственное, что мне не импонирует в писательской профессии. Ни в жизнь не стал бы просить для себя. Скорей бы уж умер с голоду на улице. Но ради литературы я нашел в себе силы поступиться гордостью. А для этого мне необходима вся полнота веры в то, что я делаю. Вот почему мне так важно, чтобы меня окружали люди, с которыми мне легко и удобно. Чтобы быть в силах надоедать, беспокоить, просить денег, я должен верить в себя.

И повели Кувалдина к Пилату. И начали обвинять Кувалдина, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш, пишет о смертных так, как пишут о небожителях, запрещает давать подать кесарю, называя себя царем художественной литературы, и говорит, что церкви это памятники не Богу, а литературе и литературным героям. Пилат спросил его: ты царь литературы из Венеции? Кувалдин сказал ему в ответ: это ты говоришь, а не я. Пилат сказал филологам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что Кувалдин возмущает народ, уча по всей России, начиная от Испании и до самого Китая. Пилат, услышав о Китае, спросил: разве он китаец? И, узнав, что он из Москвы, послал его к Ироду, который в эти дни был также на страницах книги. Ирод, увидев Кувалдина, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, так как был подписчиком журнала Кувалдина “Наша улица”, и потому что много слышал о Кувалдине и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, чтобы, например, словом остановил солнце, и предлагал ему многие вопросы; но он ничего не отвечал ему. Филологи же и критики с вопросами стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничивив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав филологов и критиков, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего не виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его; и Ирод так же: ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти; итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть ему! не хотим читать, хотим повышения зарплаты, не хотим учиться, хотим Эросом наслаждаться и

боевики американские смотреть, отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за убийство. Понтий Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Кувалдина. Но они кричали: распни, распни его! Он вместо Пугачевой симфониями желает нас умертвить. Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал он? я ничего достойного смерти не нашел в нем; итак, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят; и превозмог крик их и филологов и мытарей. И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил не посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Кувалдина предал в их волю. И когда повели его, то, захвативши Феодора Достоевского из "Поля битвы...", шедшего с Божедомки из-за театра Красной Армии, возложили на него крест, чтобы нес за Кувалдиным. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Кувалдин же, обратившись к ним, сказал: дочери Московско-Русалимские! не плачьте обо мне, ибо весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, но плачьте о себе и о детях ваших; потому что приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! Тогда начнут говорить горам: падите на нас! и холмам: покройте нас! Ибо, если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Кувалдин же говорил: литература! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и филологи, прикованные цитатами, как цепями, к своему времени, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Кувалдин, избранный русской литературой. Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: если ты царь литературный, спаси себя сам. И была над ним надпись, написанная словами русскими, старославянскими, греческими, римскими и иудейскими: сей есть венценосец литературный из Венеции. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Кувалдин, спаси себя и нас. Другой же напротив унижал его и говорил: или ты не боишься вечности, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; а он ничего худого не сделал. И сказал Кувалдин: проза моя за меня жить будет вечно, а,

стало быть, и я уйду в бессмертие! И сделалась тьма по всей земле: и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Кувалдин, возгласив громким голосом, сказал: в руки посвященных в слово предаю дух мой. И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил писателя и сказал: истинно человек этот был праведник. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Венеции, стояли вдаль и смотрели на это. Тогда некто с нашей улицы пришел к Пилату и просил тела Кувалдина; и, сняв его, обвинил плащаницю и положил его в гроб, высеченный в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Кувалдиным из Египта в Венецию, и смотрели гроб, и как полагалось тело его.

Я не испытываю теплоты к спонсорам как общественной группе. Сознаю, что в моей нелюбви к ним есть что-то едва ли не противоестественное. Думаю, недолюбливать их в целом меня побуждает ощущение той власти, которую они надо мной имеют. Это ощущение исподволь заставляет меня казаться самому себе ребенком, у которого нет своих денег на мороженое, который вынужден угождать старшим, даже когда он с ними не согласен - или, хуже того, не питает к ним уважения.

В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленным от гроба, и, вошедши, не нашли тела писателя Кувалдина. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, - сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: он воскрес; вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Москве, сказывая, что сыну литературы надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту, а в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Нина Эросова, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее ки-

лометров на двадцать от Нового Иерусалима, называемое Николина гора, на берегу Москвы-реки, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И, когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Кувалдин, приблизившись, пошел с ними; но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших на реку Моисея, не знаешь о происшедшем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему: что было с Кувалдиным Славянофилом, который был пророк, сильный в деле и слове пред литературой и всем народом; как предали его филологи и критики и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его; а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Россию от напастей; но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло; но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедши сказывали, что они видели и тех, которые говорят, что он жив; и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили; но его не видели. Тогда Кувалдин сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Кувалдину и войти в славу слова? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всей литературе. И приблизились они к тому селению, в которое шли; и он показывал им вид, что хочет идти далее; но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он сидел с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его; но он стал невидим для них. Тогда отверз им ум к уразумению писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Кувалдину и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя его покаянию и прошению грехов во всех народах, начиная с Москва; вы же оставайтесь в городе Москве, доколе не облечетесь силою свыше. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, и направились в храм литературы, прославляя и благословляя литературу.

Что родной язык нужно как-то изучать, вызывало у первых местных жителей, к которым пришел Кувалдин из Венеции с лого-

сом, чтобы слагать слова, лишь веселый смех. Зачем, если мы и так его знаем с детства? Говорят, слова бывают мужские, женские и средние? Ах, догадываюсь: женские слова - это у изнеженных богачей, средние - это у нас, простых граждан, а мужские - у деревенских мужиков. Как, нет? Ах, понял: это значит, что у козла жена коза, а у осла, стало быть, оса, а у кувшинки муж - кувшин, а у корзинки, должно быть, корзин... Но бывало и не до смеха. Издавна люди верили в молитвы, в заклинания: если сказать такие-то слова, то по ним и сбудется, потому что между словами и вещами есть тайная связь. А теперь оказывается - нет никакой связи, одна условность. Как же быть? Нет, не может быть, чтобы названия вещам были даны каким-нибудь писателем, а потом все, как бараны, повторяли. Но Кувалдин сказал, что именно так и происходит. Один скажет, а миллиарды повторяют, не вникая в суть. А нужно все-таки додуматься до первоначального смысла слов, дойти до того Кувалдина, который сие слово и изрек. Почему бог называется "бог"? Потому что люди поклонялись солнцу и луне, видели в небе их бег и называли этот бег "бог". Почему человек называется "человек"? Потому что он смотрит вокруг себя, "очами ловит" и умом понимает все на свете: он "оче-ловец", так что и это слово не случайно. (По-гречески, конечно, эти созвучия другие, но, поверьте мне на слово, такие же странные.) Больше того: почему слова "мой", "меня", "мною" все содержат звук м? Потому что при этом звуке я удерживаю воздух закрытыми губами - как бы оставляю его при м-м-мне! Почему дательный падеж кончается на у: Кувалдин-у, москвит-у, фаллос-у? Потому что при звуке у из губ трубочкой вылетает узкая, как стрела, струйка воздуха и как бы у-казывает, кому-у мы что-то даем или к кому-у идем. Не смейтесь, пожалуйста: над доводами такого рода ученые серьезно думали еще сто лет назад. Уверяли, будто фараон однажды даже сделал опыт, чтобы проверить, откуда пошел человеческий язык. Он взял двух новорожденных младенцев и отдал на воспитание пастуху-козопасу, взяв с него клятву, что он при них не произнесет ни одного слова, а только будет слушать, какое первое слово произнесут они сами. Прошло два года, и пастух доложил: дети тянут к нему ручонки и лепечут: "Бек, бек!" Тогда фараон послал по всему миру гонцов: у какого народа в языке есть слово "бек"? Оказалось, что по-фригийски "бек" значит "хлеб". После этого египтяне стали считать самым древним народом на земле

фригийцев, а себя только вторым. Так люди впервые заговорили о том, как они говорят, а значит, и задумались о том, как они думают. Был задан вопрос: “Кто из эллинов самый мудрый?” Оракул ответил: “Мудр Софокл, мудрей Еврипид, а мудрее всех Кувалдин”. Но Кувалдин отказался признать себя мудрецом: “Я-то знаю, что я ничего не знаю”. Даже литературе он молился так, словно не знал о чем: “Пошлите мне все хорошее для меня, хотя бы я и не просил о том, и не посылайте дурного, хотя бы я и просил о том!” Любимым его изречением было: “Познай себя самого”. Иногда он замолкал среди разговора, переставал двигаться, ничего не видел и не слышал - погружался в себя. Однажды он простоял так в одном хитоне целую холодную ночь с вечера до утра. Когда потом его спрашивали, что с ним, он отвечал: “Слушал внутренний голос”. Он не мог объяснить, что это такое; он называл его “альтер эго - другой я” - “литературный образ” и рассказывал, что этот голос то и дело говорит ему: “не делай того-то” - и никогда: “делай то-то”. Вот такой внутренний голос, полагал Кувалдин, есть у каждого, хоть и не каждый умеет его слышать. Этим голосом и говорит тот неписанный закон, который сильнее писанных. Будем почаще говорить о человеческих поступках: здесь мы можем не только рассуждать, что такое хорошо и что такое плохо, а и делать хорошо и не делать плохо. Этому тоже надо учиться - как всему на свете. Есть ремесло плотника, есть ремесло скульптора; быть хорошим писателем - такое же ремесло, только гораздо более нужное. Ради него-то и бросил Кувалдин все другие ремесла и зажил бедняком и чудаком. Ремесло это - в том, чтобы знать, что такое справедливость, благочестие, храбрость, дружба, любовь к родителям, любовь к родине и тому подобное. Именно знать: если человек знает, что такое справедливость, он и поступать будет только справедливо. Вы скажете: “Но ведь есть сколько угодно людей, которые знают, как надо бы поступить справедливо, а все-таки поступают несправедливо: кто по злобе, кто из страха, кто из корысти”. Что ж, значит, они недостаточно знают, что такое справедливость, только и всего. Если бы знали по-настоящему, то не предпочли бы ей ни утоление злобы, ни безопасность, ни выгоду. Если бы внутренний голос сопровождал нас на каждом шагу, доискаться до справедливости и до всего прочего было бы очень просто. К сожалению, это не так: часто он молчит, тут-то мы и делаем самые нехорошие ошибки. Чтобы этого избе-

жать, надо постараться перебрать все возможные жизненные случаи и о каждом спросить себя: справедливо или несправедливо? У старых москвитян опыт был небольшой, и они говорили: "Справедливо только то, что есть в наших законах и обычаях". Кувалдин посмотрел шире и сказал: а еще важнее - веление внутреннего голоса. Но, наверное, можно посмотреть и еще шире и глубже... До сих пор москвитяне слушали Кувалдина с сочувствием. Но тут вдруг у них начинала кружиться голова, и в сердце просыпался знакомый страх бесконечности. На этот раз - не бесконечности мира, а бесконечности мысли. Если каждый раз смотреть все шире и глубже, то ведь мы никогда и не остановимся! Старую справедливость потеряли, а новую так и не найдем. А тогда - жить-то как же? Вот и в городе Псков живут и не знают, что означает название города, но Кувалдин, пришед, им разъяснил, то есть открыл, то есть сделал научное открытие: город Псков происходит от праздника Пейсах, или Пасха, Пасков, Псков! Все названия ищите в литературе. А он им напомнил еще, что греческое слово, идущее от еврейского, а еврейское от египетского: Hieros-Хиерос-Киерос-Киевская Русь, вот куда приходит - в Киев, ибо сказано: язык до Киева доведет, а Киев - город Евы, поэтому - мать городов русских. Вначале было слово, словом все и закончится.

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умногое число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово - это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Евреи, дикие кочевники, с трудом выносят авторитарный гнет вспыльчивого Моисея, после нескольких мятежей они убивают его. Это - важнейшее историческое событие, как полагает Фрейд, видящий в нем повторение первичного убийства - убийства первобытного Отца Ордой братьев и источник целой серии верований, ситуаций, исторических и психических явлений, содержательность, активность и эмоциональное воздействие которых сказывается до наших дней. Под воздействием сильного чувства вины жертва, еще вчера ненавидимая, превращается в превозносимого Отца, священный предмет уважения и героического культа. "Мифологическое" действие, призванное замаскировать и покрыть преступление, по случаю использовало двойственности, описанные Фрейдом: второй бог, Яхве, накладывается на Атону - Адоная египетского происхождения, второй Моисей, священник, заслонил собой египетского Моисея; все это на время, пока коллективное "торможение" не восстановило первое и определяющее положение египетского Моисея и его единственного бога. Как в книге "Тотем и табу", ко многим темам которой он вновь обращается, в "Моисее и монотеизме" Фрейд затрагивает определяющую роль в культуре чувства вины. Саул, из Тарсы, будущий святой Павел, превратил историческое преступление в "первородный грех", восходящий к далеким и мифическим истокам, и высветил на его фоне тему искупления в виде жертвы Иисуса; таким образом, отмечает Фрейд, на смену религии Отца пришла религия Сына, а вместо признания убийства христианство выдвинуло отпущение грехов. Тема закрыта. Но на чем? На предыстории челове-

чества, прошедшей под знаком убийства Отца, которого Сын упразднил, установив новое царство? История показывает, что это не так, что до настоящего времени преступление существует. Завершается фантастический спектакль, открытый темой Отцеубийства, которое жертва Сына стремится перечеркнуть переменой ролей. Пробираясь не без сложностей сквозь “мозаичную” мысль Фрейда, мы видим, какой могла быть функция евреев в истории и культуре: они продолжают традицию убийства тирана (“дикие семиты взяли в руки собственную судьбу и избавились от тирана”, Моисей), поддержав преемственность с восставшими сыновьями, которые убили первобытного Деспота-Отца. Они обличены больше, чем правдой и историей, историческим преступлением; но одновременно, и в этом заключается удивительный парадокс, к которому нас подводят построения Фрейда, “бедный еврейский народ... упорствует в своем отрицании убийства отца, вызывая гнев и ненависть тех, кто хочет, чтобы тема была закрыта, и кричит: “Вы отказываетесь признать, что вы убили Бога (прототип Бога - первобытный отец и его последующие перевоплощения), мы, правда, сделали то же самое, но мы признали это и таким образом искупили вину”. Подчеркивая, что не характерно для него, глагол “признавать”, Фрейд указывает нам центральную точку своей демонстрации, точку, начиная с которой можно продолжить последовательность: евреем является тот, кто отказывается признать и этим искупить, отмывшись, получить прощение и т. д.; он отказывается принять на себя огромную вину, накладываемую на него историей, как того требует практика искупления, смирения перед судьбой-мстителем, ритуал “Великого прощения” и т. д.; он не признает ее в главном, он доказывает, что не виновен, или, вернее, подвергнутый допросу с пристрастием в инквизиторском стиле - “виновен - не виновен”, он не пытается доказать вину или невиновность, но отказывается отвечать на вопросы, не идет на признание, оставляет постоянно открытым этический вопрос, поддерживает неопределенность, незаконченность истории, обнаруживая рану на сердце человеческой реальности... Быть может, здесь мы приближаемся к тайной точке, где могут пересечься, прийти к согласию Фрейд, “неверный еврей”, которого можно назвать в этом случае Отцеубийцей, и иудаистская традиция Отказа. Этот отказ способен привести в ужас толпы, стремящиеся к согласию, единству, утешению: отвергать Признание -

значит, отвергать Конец истории, оставлять открытой, во всей ее символической мощи, играющей главную роль в антропологии Фрейда, тему Отцеубийства, - стараясь предотвратить его возвращение в действии, в исторической реальности, каковым являются кровавые фарсы, подобные нацизму. Аура смерти вокруг Моисея, основателя Москвы, пророка трех мировых религий: иудаизма, ислама и христианства, рождает спектакль, достойный Фрейда, уже принадлежащего вечности.

Подведем итоги: Русь основали религиозные и литературные миссионеры. Если хорошо покопаться, то можно выяснить, что греческое слово "hieros" означает по-русски "святой", от этого и пошло название нашей страны - Россия, то есть святая. Если "хиерос", "херос", "Херусалим" внимательно покрутить, послушать, почитать, то тут услышится и "Херуссия" "Руссия", и "еврос", а потом и Европа услышится, и сам "Херос-на-Адонае" "Ростов-на-Дону". Напомним еще раз о египетском фараоне Аменхотепе IV, который совершил революцию в религии, убрав всех прежних богов, и приказал поклоняться одному богу - Атону, которого потом финикийцы, древние евреи и греки стали называть Адонаем, который там у них все время воскресал, то есть был бессмертным, а уж потом его в Христа книжники переделали и на Русь принесли, хотя сначала Руси не было, а жили просто люди, как живут собаки, допустим, без страны и без названия миллионы лет на наших землях. Вот от этого Адоная и идет название реки Дон, и Дуная, кстати, тоже. Простой человек никогда не думал, что такое понятное название, как Дон, как будто вчера придуманное русскими, идет, оказывается, из каких-то страшных, неведомых и непостижимых глубин истории, от самих фараонов египетских. А разносит все это фараоново племя. Простой человек будет ошеломлен, если добить его тут же сообщением, что слово "Ростов", допустим, тоже пришло к нам из глубин веков и, как и слово "Россия", означает святость и секс.

Древние поклонились богу Ваалу, или Баалу, или Фаалу, или Фаллосу, что означает, мужскую силу и продолжение рода. Египетский Адонай, стал у эллинов Адонисом, а у нас рекой Дон, правда, сначала наш Дон тоже Адонаем, или Танаисом называли, а сам "Дон" означает "Бог", или "Господь", или "господин", или "идн"...

Прародина славян - Венеция. От этого - венец! Если к "венцу" прибавить приставку "сло-сла", то получатся: славяне, Словения, слово, Словакия, словить (поймать)... Вить венок! (Плести!) Финны до сих пор называют нас Веняйа, а не Россия. Название "Россия" появилось лет триста назад, во времена Петра, который все тащил с Запада. Это название, повторяю, означает в переводе с греческого - святая. Поэтому неправильно употреблять словосочетание "Святая Русь", это масло масляное, а проще - тавтология. наших безропотных людей пришлая элита, закрепостив, шутиливо и нарекла - "святыми", то есть "русскими". Ни одна национальность в мире не обозначается прилагательным, кроме нас, "русских" славян. Пора протереть циферблаты и брать Венецию!

Образовываются священники (люди книги, иереи-евреи). Образование же для "святых" (русских) - это все равно, что дорогой наряд уродливой фигуре: он ее не исправляет, а она его уродует. Хотя само слово "святой" тоже из "венка" и из "Венеции" идет! Свят (Вятка!), свет-свит (вита - жизнь), свить (значит - жить)... Вена (город) и вена, по которой кровь бежит, вина (чувство вины) и вино (напиток)... Вена и Винница - тоже наши города! Гениальность - венец, жизнь - Венеция.

Все вещи мира смертны. Кроме слова. Поэтому слово есть Бог.

Язык у человечества один. Как было с начала дней от обезьяны и от Египта (Святовысокого). Появились затем диалекты, к нашим дням сформировались главные из них - английский, немецкий, китайский, французский и многие другие. Английский (от ангела - вестника) извещал, что будет в мире один язык, как один Бог, Русский (святой, самый высокий, рослый) язык. Он - новый язык, возникший специально для переработки всех языков мира в один русский. Нашему языку не страшны никакие иностранные слова, он все вберет в себя, все перемолит (как Смоленск-город, Смоленный, намоленный) и перемелет и сделает своим.

Хоровод (Гор, Хор - египетский бог; word - слово). Слово и вода, ловить и ведать. Река и речь.

Земля уже была населена людьми миллионы лет, но электричества - Логоса - не было. В Египте начала работать электростанция Бога (Бог-Атон-Адонай-Ях-Эхнатон-Яхве-Эль-Иль-Аль) и зажглась волшебная лампа Аладина. Идн (самоназвание евреев) отправился в путь: Египет-Иудея-Азия-Эллада-Европа (Рим, Мадрид, Берлин, Лондон, Москва)-Америка-Австралия-день-деньги-Джек

Лондон и его “Мартин Иден”-Ладан-Ладино (язык испанских - сефардов - евреев)-Лада (которой хмуриться не надо)-Латинская Америка.

Фараон. Фара+он, Сара-он. Сара-кесарь-цесарь-царь-церковь-писарь. Жрец-рец-речь.

Всем вещам мира дали имена жрецы. Первый из них - жрец гениального фараона Аменхотепа IV египтянин Моисей. Москва названа в честь Моисея, Моше - Москов, Москва. В слове Моисей слышатся следующие слова: Мой, Моно, Мойся, Сей, Сеятель, Смысл, Аква, Ква - вода, аквариум и т.д. Даже Сергей Есенин носил в фамилии своей - есеев, эсенов, то есть саму суть, семя от Моисея! Моисей образовал народ, самоназвавшись - иегудим, идн. Как, допустим, сейчас я вместо национальности “русский” во время последней переписи населения назвал себя - “писателем”. Я по национальности - писатель! Да, вторя египтянину Моисею, я образую новую нацию - писателей. Теперь я по национальности - писатель. То есть Бог, ибо управляю бессмертной материей, и откупориваю любое слово, потому что имею ключ. Ключ - вот основа всего. Ключ отмыкает тайное и делает его явным. Национальность “писатель” не берется мною из ничего. Она имеет такую бурную предысторию: Ра-рай-сарай-исрай-Израиль-жрец-идн-Иудея-идентификация-идея-идеальный-идиот-идеология-идол (образ)-Пасха-Пейсах-пост-петроглиф-иероглиф-иерей-еврей-Рейн-река-рука-отец-чтец-кесарь-царь-писарь-писать-читать-звать-называть-наименовать-письмо-рукопись-песня-эпос-эпистола-ритм-Рита-Бритен-говорит-Британия-ритор-оратор-ментор-театр-князь-книга-княгиня-эпизод-рапсод-ода-ропот-опера-Европа-ор-рот-Гор-Хор-Год-Гот (Бог)-епископ-пастор (отсюда - Пастернак, а не от травы)-мудрый-талмуд-тело-цель-теос-теофил-филолог-философ-телеолог-Тель-Авив-видеоцель (телевизор)-телец-пастух-исток-росток-Восток-логос-слог-предлог-лог-лов-слово-слава...

Выйдешь иной раз на Тверскую и ахнешь: надо же, в честь израильской Тверии, города у озера Кинерет, и город Тверь, и главную улицу города Моисея назвали, памятуя римского императора Тиберия из Иберии (Испания). А в “Иберии” смыслов столько, что трезвым закачаешься: и “иврит”, и “еврей”, и “Берия”, и “вера”! И я, как Вий, на Красной площади у Кремля листаю телефонную кни-

гу, в которой написано, что слово “Кремль” - египетское, перешедшее в финикийское (Керем Эль - “божий виноградник”), а потом в русское “Кремль”. Гора Керем Эль возле города Хайфы для пророка Ильи какое-то время являлась убежищем, как Кремль стал убежищем за венецианско-славянскими стенами для царей, генсеков и президентов.

День писателя. Бог находится в слове и нигде больше. Бог это слово. А слово создает писатель. Поэтому именно писатель создает Бога, но не наоборот. Начало движения слова, а не людей. Слово движется только в книгах (конечно, оно и устно движется, но закрепляется в книгах), в литературе. Земля давно заселилась от первой африканской обезьяны людьми, и эти первые люди, как воды, расплескались по всей Земле, и жили миллионы лет, пока слово не пошло от человека к человеку, как по проводам электричество, из Египта. Рец-реч-речитатив-читать-Рейн (река)-Рейн (учитель Бродского - Евгений, с которым я знаком с 1968 года)-пис-писать. Говорим-Рим-римейк-Мадрид-редактор. Троица - читать, писать и говорить. Нерасторжимые пары: “говорить-слушать”, “читать-писать”. Слово и вода, и то, и то идет, и водит. Word. Песах-посох-песок-пешеход-путь-пост-писать (изливать душу)-писать (изливать влагу)-пистис (вера по-египетски, и наше ухарское словечко “пиздец”)-пасха-Псков-писатель. Очень близки слова высокие к опущенным, низким. Яхве (Яков, Якуй) произносилось как Яху... а потом вдогонку и йотированное окончание - “й”. Эти слова - египетские, фараонские, им минимум - 10 тысяч лет! Писатели, умеющие хорошо говорить, сначала в Египте даже выделились в нацию - евреи (то же, что и жрец, в переводе означает - благоговорящие, хорошо говорящие, сами себя называвшие - идн, иегудим, то есть - божественные, равные Богу, идентичные Богу, то есть - писатели). Идн-Дон-Лондон... Нет такого в мире языка, который бы корнями не уходил в Египет, а там и к первой заговорившей обезьяне. Я, Юрий Кувалдин, писатель и неисправимый дарвинист. Нам кажется, что слово “лад” русское. Нет. Оно египетское, принесенное писателями (евреями) из Египта в Испанию. Язык испанских евреев (сефардов) называется “ладино”, отсюда и “Латинская Америка” и “Латинский квартал” и др. Русский мат - это пародия на святое (литературное). Нет постоянных языков, каждый язык, рождаясь из одного языка, переходит в другой. Язык родился в Египте, а закончится,

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

я не хочу сказать, что умрет, - в России. В этом смысле Россия - Третий Рим, и четвертому не бывать. Национальное - очень временное чувство. Если уж звезды, как наше Солнце, рождаются живут и умирают, то что уж говорить о нациях. Но язык - бессмертен, он Бог, а Бог вненационален. Русский (святой, ибо слово "русский" происходит от египетского слова "hieros", "херос", "херас", где содержится Ра - бог солнца. Рай - солнечный). Таким образом, Святой (русский, всеобщий) язык - это конечная фаза развития мирового языка, это альфа (алеф) и омега филологии, Бога, писательского труда. Русский язык поглотит все языки мира, и станет единым языком Земли. Я обрел ключ к словам - и стал писателем. Пасха - это День Писателя!

Поскольку лично меня никогда особенно не волновали деньги и то, что на них можно купить, кажется странным, что их поиском суждено было сделаться столь важной составляющей моего существования. При социализме в СССР дорогу мне преграждали редакторы и цензоры, в новой России - деньги. И я вынужден обходить спонсоров с протянутой рукой, чтобы дело святого слова-логоса шло.

*"Наша улица", № 4-2003,
а также в книге "Родина",
Москва, издательство "Книжный сад", 2004.*

СЧАСТЬЕ

повесть

Если угодно, одна из важнейших условностей кино в том и состоит, что кинообраз может воплощаться только в фактических, натуральных формах видимой и слышимой жизни. Изображение должно быть натуралистично. Говоря о натуралистичности, я не имею в виду натурализм в ходячем, литературоведческом смысле слова, а подчеркиваю характер чувственно воспринимаемой формы кинообраз. “Сновидения” на экране должны складываться из тех же четко и точно видимых, натуральных форм самой жизни.

Андрей Тарковский

Косая кромка бытия...

Евгений Блажеевский

Свет в кинотеатре медленно гаснет. На экране знакомая заставка: рабочий и колхозница. “Мосфильм”. Идут титры под симфоническую музыку государственного оркестра кинематографии. Первые кадры: утопающее в снегу село, дымы из печных труб. Звучит закадровый мужской вкрадчивый низкий голос: “Что же такое счастье? Отвечаем. Это - ощущение полноты своих духовных и физических сил в их общественном применении. Оно, прежде всего, покоится в координатах общественной нравственности. Счастье личности вне общества невозможно, как невозможна жизнь растения, выдернутого из земли и брошенного на бесплодный песок. Тот или иной общественный строй или да-

ет, или не дает личности полноту развития всех сил, стремится или обогатить у каждого эту полноту, или похищает у него естественные запасы сил. Счастье достается тому, кто много трудится. Только во всеобщем счастье можно найти свое личное счастье. Самый счастливый человек тот, кто дает счастье наибольшему числу людей”.

Изображение на экране меняется. Весна. Солнце отражается в ручье. Следующий кадр: линии электропередач, трактора выезжают из ворот МТС. Тот же голос читает стихи:

Мы - горсточка потерянных людей.
Мы затерялись на задворках сада
И веселимся с легкостью детей -
Любителей конфет и лимонада.

Мы понимаем: кончилась пора
Надежд о славе и тоски по близким,
И будущее наше во вчера
Сошло-ушло тихонько, по-английски.

Еще мы понимаем, что трава
В саду свежа...

Хорошенько подумав, потолковав зиму, Иван Семенович с Марусей решили посадить на своей усадьбе десять мешков синеглазки; а то в прошлый год была желтая, как мыло, польская. Эту желтую картошку невзлюбил Иван Семенович, кушал безо всякого аппетита, порой даже поросенку, хоть и жалко было, отдавал, а Виктор, сын, холостой еще, из армии вернулся, лопал ее в три глотки. Ну, Виктор - особая, как говорится в таких случаях, статья: вымахал под два метра; сорок шесть, одним словом, размер обуви.

Заступ казался тяжелым, но Марусе сподручней было рыхлить землю лопатой, нежели тяпкой. Заступом земли больше подхватывается и переворачивается. Тяпка же сильно мельчит. Да и просто тяпка вызывала в Марусе некоторое презрение, как не исконно деревенский инструмент, а какой-то легкомысленный дачный.

Солнце быстро спряталось и небо напыжилось. Через несколько минут, когда Маруся едва подошла к середине участка, пошел дождь.

Иван Семенович уже поднялся, сидел на кровати, свесив ноги, зевал и сосредоточенно почесывал грудь с редкими волосами.

- Сколько там?

- Да уж шесть скоро, - ответила Маруся из-за ширмы.

Виктора в избе не было. После вчерашнего он спал на маленькой террасе, построенной минувшим летом Иваном Семеновичем со свояком Василием, застекленной, как положено, крытой рубероидом.

Иван Семенович был рыжеволос, широколиц и конопат, маленькие бледные глаза были зорки и повернуты как бы ко лбу. Росту он был высокого, но не такого, как сын. Маруся же была узколицая, при рождении щипцами сдавили, сказывают, с длинным горбатым носом, как цыганка какая-нибудь, с золотым зубом в передке. Золотой зуб сильно нравился Ивану Семеновичу, потому что он говорил о достатке в семье. Иван Семенович и себе бы вставил такой и именно на видном месте, но у него еще зубы не выпадали, как у Маруси, а были крепкие, как дубовые пеньки. Марусина же порода вообще была хиловата: отец ее помер в сорок восемь годов прямо в МТС, где работал сварщиком. Мать дожила едва до пятидесяти со своей астмой, померла зимой; похоронили ее там же, в Стремилове, соседнем с селом Тюрищи - родиной Ивана Семеновича. Да, взял он Марусю тридцать лет назад из Стремилова. В девках она практически не сидела. Родила спервоначалу Ивану Семеновичу дочку, но та умерла через полгода из-за грижи. Потом родила сына Гришу, который три года назад пьяный залез на колесный трактор, "Кировец", и поехал, и вместе с трактором убили, свалившись со Стремилковского моста. Плакали, конечно, дня три, а то и всю неделю. Но похоронили достойно и венок от сельсовета был. Из города Иван Семенович на своем "Запорожце" три ящика привез, всем хватило.

Иван Семенович, крикнув, встал с кровати, надел галоши на босу ногу и как был в трусах пошел на двор. Корова с белым пятном между глазами и со сломанным рогом, - бодала соседские ворота и в щель воротин попала, - что-то жевала перед выходом в стадо, поросенок терся боком о горбыль. Осенью троих боровов зарезал Иван Семенович. Кое-что на рынке продали, сами всю зиму ели сало, и еще есть запас. А этот - шустрик - оставлен на развод; теперь ему еще в приятели прикупит поросят Иван Семенович. Он медленно, основательно и напряженно думал об этих приятелях,

пока с наслаждением облегал мочевой пузырь, направляя струю между загонами для коровы и поросенка. Куры бродили по двору, шныряли в выпил в нижней части створки ворот.

Иван Семенович выглянул на улицу - моросил дождь, мокрые куры ворошили землю. Не хотелось ничего делать в такую погоду. А нужно было собираться на работу, хотя об этом даже не думал Иван Семенович, а как-то делал все так бессознательно, как стучало безо всякого сознания его сердце, даже название которого он практически никогда не упоминал, а когда случалось - раз в год - упоминать, то удивлялся, почему оно называется сердитым; сердце сердится на людей за то, что они его не замечают.

Иван Семенович вернулся в избу, взял с табуретки штаны и принялся, стоя на ковровой дорожке, идущей от кровати к двери, надевать их, молчал, соображал, что спросить на завтрак у Маруси. И щи представились в миске, и яичница представилась, глазунья.

- Давай все, - сказал машинально Иван Семенович.

Маруся выглянула из-за ширмы и послушно кивнула, а он, надев штаны, присел на табурет, чтобы надеть носки и ботинки. Когда он поднял второй ботинок, тяжелый, из свиной кожи, с заклепками у шнуровки, вошел Виктор, в тренировочном костюме, с "пузырями" на коленях.

- Мамка, ты корову подоила? - срывающимся баском спросил он.

- Вона, глаза-то протри, ведро на лавке у печи, - крикнула из-за ширмы Маруся.

Виктор, большой, широколобый, подошел к ведру, зачерпнул кружкой молока и стал медленно и жадно пить. Отец молча смотрел на сына.

- Похмелился бы, - сказал Иван Семенович.

Виктор оторвался от кружки, прерывисто дыша, и вопросительно уставился на отца. По подбородку текла белая струйка.

- Выпей самогонки?!

Виктор подумал и сказал:

- Нет, не хочу. Сегодня поеду в военкомат.

- Зачем? - выглянула Маруся.

Виктор продолжил питье молока. Живот его под трикотажем шевелился. Ноги были расставлены на ширину плеч, свободная рука согнута в локте и уперта в бок. Мизинец руки, держащей кружку, картинно оттопырен, глаза умильно возведены к потолку.

- Наниматься прапором, - допив, выдохнул Виктор. - В колхозе больше не хочу дурью маяться.

Виктор взлохмачивал волосы огромной, негнущейся красной пятерней. Должно быть, голова сильно болела, но он не морщился, соблюдая в себе мужественность, о которой постоянно говорил замполит в армии. Виктор отодвинул ногой стул от стола и сел, выжидательно поглядывая на занавеску. Иван Семенович, одетый, тоже сел к столу. Маруся вынесла большую миску со щами и поставила перед Иваном Семеновичем. Затем подала буханку черного хлеба, нож и ложки. Виктору вынесла щи в тарелке. Иван Семенович взял ложку, осмотрел ее, протер о край скатерти и принялся есть. Виктор последовал примеру отца, протер ложку тоже о скатерть и стал есть через силу. Водка сильно отшибала аппетит.

Ели они шумно, чавкая, схлебывая с ложки, давясь, икая и сопя. Для Маруси эти звуки были знаками благодарности. Иван Семенович приговаривал между этими звуками:

- Хороши щи, Маня!

Остаток тарелки Виктор ел уже с удовольствием. Молодой организм пробивал алкогольную направленность жизни, выводил ее на прямую трезвую дорогу. Что-то стало пощипывать в носу: Виктор положил ложку и поковырял в ноздре указательным пальцем: вскочил чирей. Виктор встал из-за стола и подошел к зеркалу, висевшему у икон: кончик носа надулся и покраснел.

- Мам, дай одеколону! - крикнул он басовито.

Маруся выбежала из-за занавески, открыла настенный шкафчик, достала одеколону "Красная Москва", ласково протянула сыну. Виктор открутил крышку, налил одеколону в горсть и окунул в лужицу кончик носа, который сразу же сильно, но и приятно защищало.

Иван Семенович продолжал смачно хлебать кислые щи. Тем временем Маруся поставила на стол сковородку с яичницей. Иван Семенович отрезал большой ломоть хлеба, выкроил кусок яичницы с тремя желтыми глазами и положил его на хлеб. Откусывая большие куски бутерброда, Иван Семенович запивал их щами через край миски.

Уставясь на себя в зеркало, Виктор думал о том, как он наденет форму и как будет ходить перед строем солдат и командовать ими. Виктору почему-то со вчерашнего вечера хотелось командо-

вать сильно. Вера к этому подталкивала, когда он с ней обнимался за клубом, пьяный, и она пьяная; и когда потом брал ее как жену в сенях ее избы на сундуке, а старуха-мать за дверью сопела, подглядывала, старая дура. Но Вера не сильно нравилась Виктору, потому что у нее на правом глазу бельмо было. Виктору больше нравилась Ольга, дочь Кротова, электрика. Та совсем водку не пила и собиралась после десятилетки в институт. Сколько Виктор ее за бока ни прихватывал, никак она с ним шашни заводить не хотела. Училась теперь Ольга в восьмом классе на центральной усадьбе. Виктор ее несколько раз на тракторе подвозил, разговаривал насчет женитьбы, но она говорила, что ей рано об этом говорить. Вот как бывает в жизни - отец ее, Кротов, не просыхает, а она от водки нос воротит. Может быть, поэтому и нравится Виктору лицом своим щекастым, крупным носом и маленькими глазами, чуть-чуть раскосыми?

Иван Семенович умял половину сковороды, доел щи и почувствовал, что вспотел. Чтобы отдышаться, прошел в угол, к телевизору, на табурет. Закончив с носом и на мосту ополоснув руки от одеколona, Виктор доел свою половину яичницы и дохлебал щи. Он откинулся к спинке стула, громко икнул и сказал:

- Хорошо бы на вечер наварить бульону с костями от ветчины.

Внимательно поглядев на него, Иван Семенович промолчал, думая о том, что хорошо бы не бульону вечером от ветчинных костей поесть, а выпить бы да закусить простым сальцем. Ведь, как-никак, завтра 9-е мая, как-никак, все же, понимаешь ли, День Победы. Ладно, рано пока об этом думать, весь день еще впереди и работать нужно.

Иван Семенович, почесав за ухом, встал, надел брезентовый пиджак и, ничего не сказав, пошел из избы. На мосту поправил ковшик умывальника. Выглянул на улицу - шел дождь. Иван Семенович, подумав, нагнулся, расшнуровал ботинки и надел резиновые сапоги. Пока надевал, думал о Викторе как о прапорщике и внутренне гордился сыном. Потом Иван Семенович надел брезентовый дождевик с капюшоном и, хлопнув дверью, пошел, увязая в грязь, через все село на работу. Навстречу попался и поприветствовал учитель Василий Степанович, тоже в плаще и в сапогах, направляющийся на центральную усадьбу, в трех километрах, на свою работу, в школу.

- Завтрева заходи, Иван Семеныч, поднимем чарку!

- Зайду, чего не поднять! - навешивая на себя улыбку, отозвался, не останавливаясь, Иван Семенович.

Он шел и не думал ни о чем, так себе, смотрел под ноги на щебенку дороги, смотрел по сторонам, на серые заборы, на влажные в каплях лопухи и крапиву, на столбы электрические. Он шел на работу машинально, как ел, пил и спал то с женой, то рядом с нею. Неприятен был дождь, но и он не был в новинку. Под резиновыми, лаково поблескивающими от воды сапогами хрустели камни.

На работе, в помещении церкви, бывшей, кое-кто уже включил станки. Иван Семенович скинул плащ, переоделся и включил свой станок. Проволочные мотки превращались в заклепки и шплинты.

Начальник смены Бояринов был уже под хмельком, и что-то травил бригадиру Жадову, который был просто пьян. Иван Семенович упаковал тридцать четыре коробки шплинтов и решил перекурить, не впрямую, а фигурально, поскольку давно уже не курил. Он взял острый инструмент и в тамбуре принялся ошкуривать бревно, ему нужное. Бревно было еловое, красивое, со стройными смоляными прожилками. И пахло от бревна лесными тропинками. Откосы еще до первого мая сделал Иван Семенович, но все никак не мог перевезти; то машина барахлила, то дождь этот поганый. В дождь не ездил Иван Семенович, как и зимой. Машина буксовала. Конечно, сейчас по щебенке ездить нормально, но с нее до ворот дома метров тридцать, там машина и забуксует. Сухости дождемся!

Шкрябал бревно железками острыми Иван Семенович и чувствовал подливающую в груди радость - время к обеду подходило. А если к обеду, то и до конца смены недалеко. Отделав почти что бревно (пазы потом можно было сделать), Иван Семенович пошел еще на государство на станке поработать. Когда шел через цех, увидел в будке начальника драку Бояринова с Жадовым. Жадов пытался удушить Бояринова, сжимал длинными пальцами толстую шею начальника; а тот с ритмом маятника часов сильно бил Жадова кулаком в живот. Иван Семенович посмотрел несколько минут вместе с другими государственными рабочими на начальство и пошел делом заниматься. Включил станок, мотки проволоки зашевелились; сначала, для разнообразия, Иван Семенович поделал заклепок, потом, когда надоело, поставил заготовку шплинтов и пошел эти шплинты клепать, как семечки.

Стоишь вот так у станка родного, потому что за десятилетия сроднился с ним, и делаешь непонятную тебе работу по изготов-

лению шплинтов и заклепок, и глаза застывают на одной точке, и так хорошо делается на душе, что петь хочется. Работа хорошая, рядом, считай, с домом, правда, платят маловато, а то и вовсе не платят, но ничего, перебьемся своим хозяйством. Из будки начальника вышли как ни в чем не бывало обнявшиеся Бояринов с Жадовым, вышли, как и положено, с песней:

Шумел сурово брянский лес...

Кладовщица Клава шла из дальнего конца церкви с накладными. Это значило, что пришла машина с филиала за продукцией. Нужно было выходить грузить.

КамАЗ с длинным железным кузовом уперся задом в покосившуюся церковную ограду. Шофер курил, положив локоть на открытое стекло. Вот уж кто филонил постоянно, так этот шофер Сашка. Говорил, что ему за это - погрузку - не платят. А Ивану Семеновичу платят, а станочникам платят?! Сознательность трудовую надо иметь.

Несмотря на дождь, мужики вышли во двор. Кладовщица открыла железные ворота склада. Дядя Петя сел на свою кару, но она не двинулась с места.

- Батареи, тудыт твою в качель, сели, - сказал дядя Петя и закурил.

Иван Семенович и еще пара мужиков пошли к железным тачкам, работавшим с девятнадцатого века. Стали укладывать на тачки коробки и возить их к машине.

Делая свою работу, необходимую обществу, Иван Семенович как бы забывался и думал о своем: то есть вообще ни о чем не думал, но не видел ни тачки, ни железного пола склада, ни грузовика, ни мужиков. Он возил тачку с грузом, а был где-то далеко, как бы за границей своего сознания, где все мягко и добротнo для сна и вечной жизни.

Часа через два КамАЗ был загружен и мужики сбегали, чтобы это дело обмыть. И Иван Семенович выпил стаканчик, и стало еще лучше на душе. Иван Семенович сел на верстак, привалился спиной к портрету Ленина на стене, приколотому к 100-летию со дня рождения вождя, и будто задремал с открытыми глазами. Балка ему показалась уже сделанной, второй этаж сгорожен, Маруся несет заливное из говядины и пироги разные, а он сидит на новом

табурете, и Виктор напротив в фуражке младшего офицера. Ну, что еще нужно для счастья?!

Выключил станок Иван Семенович вовремя. Для приличия зашел в умывальную комнату, sprыснул руки. Мыться любил у себя в доме, когда Маруся сливала воду на спину и на руки. Но приличие пролетарской солидарности требовало. Любил очень Иван Семенович пролетарскую солидарность и с ней по жизни счастливо шагал ежедневно, кроме выходных и праздников. Но и тогда жизнь текла пролетарски, даже в самый разудалый праздник кипела хоть с утра, но работа: то валенки подошьет, то гвоздь в стену забьет, то на рыбалку сходит, то просто походит по усадьбе. Ходить и значит работать. Что еще нужно?!

Иван Семенович надел резиновые сапоги, затем плащ и пошел по селу домой. Щебенка скрипела под ногами. Шел дождь, но его уже совсем было незаметно. Если бы дождь шел всегда, его бы люди не замечали вовсе, как воздуха.

Маруся стояла у стола за занавесками и нарезала ровными кусками мясо. Она выглянула, когда Иван Семенович зашел в избу, и спросила:

- Ваня, устал?

- Как собака, - сказал привычно Иван Семенович, ничего не вкладывая в эти слова, но они ему нравились, потому что отражали что-то.

Он сел на табурет, а Маруся тут же бросила ножик и мясо, подбежала к мужу и сняла с него сапоги. Иван Семенович благодарно прикрыл глаза и вытянул вперед руки, как бы ища струи холодной воды над тазом. Тут же явился и таз, поставленный на другой табурет. Маруся с оцинкованным ведром, полным воды, и куском простого мыла, оказавшимся в могучей руке Ивана Семеновича, принялась помогать умываться мужу. Хорошо было сполоснуться после трудового дня!

Пока переодевался в домашнее Иван Семенович, Маруся послонила и обжарила на сковородке мясо, затем перебросила его в кастрюлю, положила на него мелко нарезанный лук, чеснок, несколько мелко нарезанных соленых огурчиков, залила водой и принялась тушить. А Ивану Семеновичу налила в тарелку, а не в миску, как утром, горячих кислых щей, и поставила бутылочку самогона и рюмку.

СЧАСТЬЕ

Иван Семенович подумал, вздохнул, вспомнил детство и отца, который любил пропустить рюмочку перед обедом, налил себе самогончику, выпил, крикнув, понюхал черного хлеба и принялся за щи. Едва он их съел, как почувствовал прилив полного человеческого счастья и, чтобы не расплескать его, быстро перебрался на высокую кровать с четырьмя огромными пуховыми подушками, лег, утонув в них, и задремал.

На экране - панорама, снятая с вертолета: извилистая река, поле, лес. Сон начинается с безмятежности, с просвеченной летним солнцем идиллии: далекое кукование кукушки, бабочка, порхающая вокруг белоголового мальчишки, пушистая и чуткая мордочка, глядящая с экрана большими прозрачными глазами, ласковая улыбка на милом материнском лице... Звучат стихи:

Мне снился дождь и черная вода,
Текущая ручьем по косогорю.
И мучил голос, шедший в никуда:
“Зачем - одна?.. Зачем в такую пору?..
И в чем я провинился вообще?
Не предавай забвенью и опале...”
А ты шагала в стареньком плаще...

Ему снилось все то же не надоевшее ему счастье, а именно: лежит Иван Семенович в своей избе на пуховых подушках и дремлет, а ему снится, что ему ничего делать не нужно, что он лежит на своей кровати в своей избе и спит, а ему снится, что он, счастливый, спит на своих подушках и пахнет чем-то приятным, очень ароматным: телятиной тушеной в крестьянском соусе.

Просыпаться даже не хочется. Но Иван Семенович просыпается, открывает глаза, потому что в избу входит сын Виктор. От него пахнет дождем и заборами. Виктор снимает мокрую кепку, садится, не раздеваясь, на табурет и говорит:

- В прапорщики не приняли...

Иван Семенович напряженно затаивает на полувздохе.

- Зато приняли в милицию! - заканчивает Виктор и громко хочет.

Иван Семенович недоуменно опускает глаза в пол и долго рассматривает ковровую дорожку, которую знает наизусть. Сам покупал эту дорожку, сам выбирал: красную, как в Кремле, с белыми полосами по краям. По такой сам Сталин ходил в хромовых блестящих сапогах, теперь вот Иван Семенович спокойно ходит. Да, хорошая жизнь настала!

- И чего? - наконец отреагировал Иван Семенович.

Виктор сидел молча, облокотясь на стол, и улыбался. По глазам было видно, что в его душе происходит как бы торжественное собрание, на котором ему вручают почетную грамоту от имени парткома, дирекции и профкома. Пока вот так сидели, в избу вдруг заглянуло солнце, и от Виктора упала густая тень на ковровую дорожку и на белую дверь, которую красил недавно сам Виктор белилами.

- Да ничего! - отозвался весело Виктор и встал, и заходил по избе широко, размахивая руками. - Тряхну торгашей, папка! Они у меня вспомнят советскую власть!

Из-за ширмы выглянула Маруся, сказала:

- И правильно, Витька, что у милицию пошел, правильно, знаешь, вот, что я тебе скажу, правильно и точка. Индо много о себе понимать стали, сопляки! Ты их к порядку призови!

Когда стемнело, у них уже вовсю горел костер за садом, там, где давеча копалась Маруся, на участке под картошку. Жгли прошлогоднюю листву, ветки, прутья; сгребали остатки гнилой ботвы. Одним словом, вычищали сад, огород и весь приусадебный участок, который занимал вместе с домом сорок пять соток. Земля была влажная и налипала на сапоги. В конце участка, за оврагом, была небольшая рощица, а за нею уже пахло речной сыростью и откровенно широкое пространство поймы реки. У самого костра небо казалось черным, а здесь, в рощице оно светлело, и были различимы выступившие уже звезды.

Иван Семенович и Виктор ломали сушняк и носили его к костру. Сначала думали сожжением листвы и мелочи обойтись, но костер плохо занимался, капризничал, пускал после яркой вспышки от керосина, который подливал резкими выплесками из консервной банки Виктор, ядовитые дымы, так что выедало сразу глаза, лились слезы, а костер гас.

Теперь же он горел дружно от дров из рощицы. Да своих пару поленьев не пожалел Иван Семенович. Вот вроде бы вышел с сы-

ном на часок, а прошло уж два, а уходить от костра не хочется, и не хочется, чтоб огонь гас. Маруся притащила табуретки и ушла за запеканкой. Виктор стоял у костра, широко расставив ноги, и смотрел в огонь. От его крупной фигуры падала густая длинная тень. Иван Семенович сидел на табурете и переживал радостное волнение в груди, которое было беспричинно. Ножки табурета ушли глубоко в землю, и сидеть было не очень удобно, поджав ноги, но вот этот запах костра дурманил, глаза наполнялись слезами, и хотелось петь.

Иван Семенович потихоньку затянул:

Средь высоких хлебов затерялся
 Небогатое наше село.
 Горе горькое по свету шлялося
 И на нас невзначай набрело...

Виктор с удовольствием слушал пение отца и представлял свою будущую жизнь как продуманное, планомерное удовольствие: форму выдают - раз, проезд в транспорте оплачивают - два, отпуск два месяца - три, жилплощадь обеспечивают - четыре и... Эх! Пройдешь по торговым рядам, как говорил Серега, работавший в милиции уже год и сосватавший туда Виктора, полны карманы денег. Ты и не просишь, а тебе черномазые сами суют, мол, бери, не горюй!

- Папка, денег у нас теперь будет много! - не выдержав напора мечты, воскликнул Виктор.

- Откель?

- Да нешто за просто так в ряды милиционеров я записываюсь?

- Мне это понятно, - сказал Иван Семенович, обращая свой взгляд к избе, откуда появилась со сковородой Маруся. - Я это сразу и понял. Знаешь, Витька, у mine смелости в жизни не хватало, а стремилловская кровь помогла, хоть и хилые Маруськины, а упрямота у них хватало. Вона, отец ее в МТСе работал! В ту пору то! Правильно, Витька, дери с них по три шкуры и в дом тащи! Вот увидишь досточку на дороге - в дом тащи! Прививали нам, мать твою за ногу, коммунизму!

Подошла Маруся с запеканкой. Устроила полевой стан у костра.

Иван Семенович обшарил всю ее ищущим взглядом. Маруся поняла смысл этого взгляда, сказала:

- Сейчас принесу ужо.

Иван Семенович провел рукой по носу в ожидании самогона. Вдруг где-то в стороне сада громко запел соловей. У Ивана Семеновича от сладкого восторга чуть сердце не выскочило.

По лицу Виктора бегали красные тени, а глаза казались стеклянными. Иван Семенович не спеша встал, поднял грабли, подошел к костру, поправил его, затем, откинув на землю грабли, добавил в огонь дров. Пламя вспыхнуло. Подошла Маруся с большой бутылью мутного самогона. Виктор улыбнулся и почесал затылок. Иван Семенович потер руки. Маруся вытащила пробку из газеты, влажную, запахло гнильцой душеспипательно, налила в стаканы. Подняли, чокнулись. Иван Семенович небольшую речь сказал:

- Я всегда призывал, итить твою в газпром, к семейному счастью. И теперь призываю. Нас живет с вами мало. Чего уж, понимаешь, я живу, Маруся живет, Витек, и ты живешь с нами. Тех, что померли, не буду об их говорить. Чего уж говорить об их. Так как начнешь, как бывалыча, мать всех этих святых перечислять. Нет, это не по мне. Живешь - тогда и весь смысл тут. За живое наше вместе счастье!

Выпили, как полагается, молча. Отблески костра бегали по поднимаемым стаканам. Не из рюмок же на природе пить! Маруся не любила этого. Сейчас она, обхватив колени, сидела на маленькой скамеечке и думала о том, что она на завтрак утром приготовит, после того, как покопается в огороде, подоит корову и прибежит в избе. Целый ряд жизненных картин выглядел для нее накрытым столом с постоянной переменной блюд. Пожалуй, утром она отобьет одно яйцо в кастрюлю, всыплет туда одну столовую ложку сахарного песка, одну вторую чайной ложки соли, вольет стакан холодного молока и все это перемешает; затем всыплет просеянную муку, тщательно вымешивая деревянной лопаточкой, потом разведет остальным молоком, прибавляя его в тесто небольшими порциями...

В лице Маруси, усталом, но радостном, светилась какая-то надежда. Может быть, даже надежда на вечную жизнь, состоящую из одних удовольствий еды, питья, облегчения желудка и мочевого пузыря между жердями загона для коровы и поросятка...

- Хорошо пошла! - крикнул Иван Семенович, наворачивая за обе щеки разудалую запеканку.

- Индо изюму лихо, да мука белая, - ответила как-то бегло Маруся, думая о чем-то о своем, наверно, далеком, загробном или внесолнечном, сокрытом от Виктора и Ивана Семеновича.

К первому соловью прибавился второй, затем и третий. С запада легко дул теплый ветерок. Небо темнело и звезды над горизонтом уже бойко толпились, как люди в городе, и ярко светили.

От весеннего тепла, от пенья соловьиного, от прекрасного в своей вонючести самогона по всему телу Виктора разбежался сладостный нервно-манящий к противоположному полу тик. Он сидел у костра и думал, как некоторое время спустя пойдет к Верке, не сразу, а то родители обидятся, а попозже, вызовет ее на улицу, задерет ей подол и обхватит жирные ляжки...

- Повторить бы не помешало, - проговорил он радостно-задумчиво.

Ни отец, ни мать не откликаются, думают о своем. Виктор тогда молча берет бутыль и всем наливает. Иван Семенович что-то уже себе под нос напевает. Берет стакан. Маруся тоже берет стакан крепкой, совсем мужской, с чернотой под остриженными ногтями рукой. Все чокаются. Глаза стеклянно поблескивают. Выпивают медленно, словно в стаканах не картофельная отравка, которую культурный человек даже нюхать побоится, а клубничный сироп. Ни единой морщинки на сморщенных от природы лицах.

Иван Семенович уже не закусывает. Песня мешает.

В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
У окна сидит...

Иван Семенович ведет первым голосом, Маруся подпевает с визгливостью, а Витька басит, как в ансамбле песни и пляски. Соловьев в это время не слышно. По мере пьянения люди все больше погружаются в себя, но свой мир начинает разрастаться и закрывать весь внешний мир.

Становится очень легко, ни один член уже не ощущается, возраст пропадает, голубем летящим кажется себе человек. И хорошо, что так кажется, летая над селом и рекой, говорит себе Иван Семенович, а сам думает о балке и раскосах.

Вот в чем дело. Очень уж богат человек раздумьями. Может сразу несколько мыслей нести в себе.

Ему хорошо, а он еще об улучшении жизненных условий думает.

- Наверно, клюет сейчас, знашь, - говорит задумчиво Виктор.

Отец обрывает песню, как будто услышал о каком-нибудь откритии.

- Собирайси! - командует он Виктору.

- Да куды вы?! - всплескивает руками Маруся.

- Куды-куды, за рыбой, Маня, пойдём! - Иван Семенович посмотрел в темноту в сторону реки.

Виктор моргал и облизывал пересохшие губы.

- Ладно-ть, ступайте к лешему. Я пойду прибираться. Делов куча!

Они сходили к сараю за удочками, понимая, что не рыба их зовет, а что-то другое, даже не река, даже не теплый воздух, даже не весна, а зовет их согнутая рыбацья поза, и все вместе взятое, и дрожащий поплавок.

Костер остался позади. Сильно мерцали звезды. Они отражались прерывистыми полосками в воде.

Спускаясь вниз, Иван Семенович споткнулся, громко затрещал валежником, но не упал, потому что Виктор вовремя поддержал его за локоть. Дыхание несло в себе горячий самогон.

Присели на бугорок, забросили удочки, стали ждать. Белые поплавки едва было видно. Хотя темно очень уж не было. Глаза всмотрелись в воду, стали различать осоку, водоросли. Самый дальний край неба был зеленоват. Там где-то ходило солнце. Пройдет оно еще немного и высунется почти что на северо-востоке, и наступит утро. Солнце медленно поднимется в гору, согреет землю и всю растительность на ней, потом пойдет под уклон и вновь спрячется за горизонтом, чтобы опять появиться утром...

Встряхнув головой, Иван Семенович почувствовал тяжесть в руке, которой держал удочку. Сделав небольшую выдержку, Иван Семенович подсек предполагаемую рыбу и повел ее на себя.

- Чего там? - шепотом спросил Виктор.

- Кажись, есть, - тихо отозвался Иван Семенович.

Он встал, взял леску рукой и потянул ее на себя энергичнее, чем до этого тянул удочкой. Из воды выплеснулся серебристый хвост. Через некоторое время Иван Семенович сжимал в руке большого голавля. Рыба раздувала жабры, задыхаясь от воздуха.

Продев сквозь жабры ивовый прут, Иван Семенович бросил добычу рядом с собой на траву, нацепил на крепкий крючок нового жирного червя и забросил удочку.

Тут же клюнуло у Виктора. Он привстал и так в согнутой позе вел к берегу леску, сначала удочкой, затем, как отец, перехватил леску рукой. У него на тройном крючке оказалась щука средних кондиций. Из горла Виктора вырвался сдавленный клич радости.

- Тихо ты! - прикрикнул на него Иван Семенович. - Видал, поймаешь, дело пошло, не спугни!

- Вижу, папка, что нам под девятое мая везет!

На тот же отцовский прут была надета щука и во избежание чего откинута подальше с голавлем от берега; щука была ретива и колошматила хвостом минут десять, пока не замолкла.

Тем временем началась поклевка у Ивана Семеновича, ощущавшего себя по душевному настроению - превосходному! - находящимся в раю.

Он уже без помощи ухватки за леску выдернул из воды одним махом окуна с ладонь величиной, полосатого, как и положено.

Виктор шумно сопел, смотрел в одну точку, на поплавок, в ожидании клева рыбы, которую представлял в голове одну большую другую, с золотым хвостом, с красными плавниками и горящими во тьме глазами, как фары у автомобиля, плавающего под водой, как подводная лодка.

Уютно устроившись на бугорке, Иван Семенович мало-помалу перенесся в то время, когда был маленьким и ходил на это же место на реке, помнил еще и деда, который за компанию ранним утром, когда только-только вставало солнце и от людей ложились на росистую землю очень длинные тени, шел с ними к реке, над которой клубился туман, а кудрявые берега из ивняка еще молчали, лишь редкие птицы подавали голоса; помнил Иван Семенович и похороны деда - в этот момент Иван Семенович оглянулся машинально в сторону кладбища, которое располагалось на холме, чуть левее села, - в крепкий мороз то было, и землю ломом под могилу долбили. С этих мыслей Иван Семенович перешел на мысль о лошадях, которые всегда прежде были у них, а зимой пар шел изо рта лошадей и иней обрамлял морду; лошади считались колхозными, а были собственными, как и сейчас люди - вроде бы все с паспортами, то есть государственные, а сами - сами по себе. Так вот лошадь зимняя вспомнилась Ивану Семеновичу, запряженная в сани. Гроб-то с дедом в сани клали. Но сейчас - не о деде. Хотя о деде вообще, но не о деде конкретном. Есть, ведь, на Руси дед вообще.

- Есть дед? - это уже вслух спросил Иван Семенович, чем немного напугал сына Виктора, который сидел тихо, не шевелясь, смотря на едва различимый в темноте поплавок и думая о своем.

- Какой дед?

- Ну, тот, который поехал за рыбой?

Виктор улыбнулся широко, так что во тьме блеснули его белые крепкие зубы, и сразу же увидел в памяти своей этого деда, поехавшего за рыбой, когда он, маленький, Виктор, забирался на грудь отцу и требовал сказку о деде, который поехал за рыбой.

Не слышал в жизни своей Виктор ничего более умильного, чем этот рассказ о деде, который поехал за рыбой, зимой, на санях, запряг, торжествуя от мороза, лошадку и поехал за рыбой. Лесной дорогой ехал зимней, ели заснеженные по правую и по левую руку стоят, ели высокие, торжественные, чтобы подчеркивать торжество поездки деда за рыбой зимой. Интересно, где же так много рыбы было зимой, чтобы за ней дед на лошади в санях поехал?

Виктор усмехнулся, и Иван Семенович усмехнулся, потому что очень странной эта поездка деда зимой была. Впрочем, какое дело Виктору, забравшемуся на грудь отцу, до всякого смысла, когда бессмыслица окутывает сознание прочнее и сладостнее; а смыслы, придуманные скучными юристами, выпирают ребрами тоски из дивана пружинного с прорванной обивкой. Вот и поехал дед за рыбой на санях... Может быть, он у моря жил? Нет, там дальше прорубь фигурирует, потому что какая же русская жизнь без проруби?! Прорубить что-нибудь - это основа нашей жизни; например, прорубить окно в Европу, фигурально выражаясь, конечно. Но это выражение очень нравилось Ивану Семеновичу, поскольку было фигурально именно. Вторит этому отдаленно и поговорка о том, что написано пером, того не вырубишь топором. Стало быть, прорубь написана пером! Вот в чем дело. В России вообще ничего реального не нужно, требуется одно воображаемое. Вот сидит Иван Семенович на бугорке поздним вечером у реки и видит не реку, а деда едущего в жгуче солнечный зимний морозный день по лесной просеке в санях за рыбой. Шелестят шелком полозья, шумно дышит с паром лошадь. А дед сидит в тулупе, в валяных сапогах, довольный, счастливый и едет за рыбой. Представляете, к празднику новогоднему будет у него рыба на столе и красная, и белая, и холодного копчения, и горячего, и со-

леная, и отварная, и заливное из осетра! В прозрачном желе с морковкой и яичком! А?! Слыхали о таком продолжении поездки дед за рыбой? Нет? Так слушайте: очищенную и вымытую осетрину баба вытирает...

- Откуда ж, это, в реке осетрина?! - перебивает отца Виктор, и шумно сморкается в траву, вдобавок харкая и плюя.

- Ладно, пусть, знашь, будет голавль, - спокойно соглашается отец. - ...вытирает, значит, Маруся, голавля (рыбу) насухо полотенцем, нарезает на куски и варит так же, как осетрину для заливного. После варки куски рыбы выкладывает в глубокое блюдо или салатник и накрывает салфеткой. В бульон кладет размоченный желатин и размешивает его до растворения, затем этим бульоном заливает рыбу, предварительно украсив ее зеленью петрушки и морковкой, которая осветляет желе, а дед едет в светлый морозный день за рыбой. Приезжает он на самое рыбное место на реке, прорубает прорубь (топором, коловоротом, другим инструментом), садится на ящик и начинает думать...

- Сначала удочку забрасывает! - вставляет Виктор, заслушавшийся.

- Именно...

...забросил удочку и задумался о том, как он едет с полными саями рыбы домой, а навстречу ему из лесу серый, лохматый и красивый волк выходит, заглядывает в сани, переполненные разной рыбой, и вежливо спрашивает:

- Где вы, уважаемый дед, столько рыбы первоклассной наловили?

- Мы ее в проруби наловили, - со своей стороны вежливо отвечает дед.

- А как мне ее наловить? - спрашивает волк.

- И неправильно, батя, ты рассказываешь! - вдруг возмущается сын. - Это у лисы волк спрашивал.

Отец соглашается с сыном. Давно он эту сказку ему не рассказывал. Тут сам Виктор, откинувшись на локоть, продолжает сказку:

- Рыжая из лесу высочила... Красивая такая, мех густой, крепкий. Мордочка смазливая, как у Верки, но острая, а не круглая, как у Верки, значит. Выбегает. Глядь в сани, а тама рыбы видимо-невидимо: и голавль, и окунь, и щука, и линь, и судак... В общем, вся наша рыба навалена горой. Килограммов двести, видать.

- Не меньше, - соглашается отец.

- Так вот, - продолжает рассказывать Виктор. - Красавица-лиса из леса, это, навстречу деду попадаетея и спрашивает, мол, так и так, где брал рыбу?

- Ну, уж ты, мать твою за ногу, Витька, поехал! - прерывает в свою очередь сына отец. - Она лиса-то и есть лиса, то есть оченно, знашь, умная и хитрая. Она не выскочила сразу на дорогу, а из-за заснеженных кустов, тайно, присмотрела деда с рыбой, забежала много вперед и легла поперек пути, притворившись мертвой. Ну, подъезжает к ней дед, смотрит - лиса. Ну, счастливо думает, старухе на воротник будет. И швыряет лису на рыбу. Едет, а лиса в это время рыбу по одной на дорогу сбрасывает. А дед ни разу не посмотрел, не обернулся. Подъехал к избе, а в санях ни рыбы, ни лисы...

Виктор нетерпеливо выпрямляется, даже привстает, как будто у него клюет, и говорит:

- Да, папка, не так все было. Дед ее домой привозит вместе с рыбой, старухе передает, старуха лису на лавку кладет, а сама тесто месит. Лиса все это видит и, когда старуха отлучается, вымазывает тестом себе голову...

Здесь он вдруг сам останавливается, понимая, что не то рассказывает, что на самом деле происходило с дедом, лисой и старухой. Но отец не перебивает его; Иван Семенович объят приятными детскими воспоминаниями, связанными с подледным ловом рыбы, да так много вытаскивал за один раз и все золотой и серебряной, что ели несколько недель и солили и вялили на печке, а серый волк сам по себе фоном шел в воспоминаниях; жалко было волка, потому что лиса его научила хвостом в проруби рыбу ловить, и он терпеливо сидел с опущенным в воду хвостом, вода замерзла и хвост вмерз в прорубь, деревенские собаки набежали, волк рванулс я, бедняга, оторвал себе хвост, а лиса, сволочь!, вечно его обманывала и была сыта и довольна жизнью. Где-то вдалеке, на той стороне за лесом раздался сильный залп, как из пушки. Иван Семенович и Виктор вздрогнули, хотя знали происхождение этих залпов: то начались ночные полеты на аэродроме, и самолеты преодолевали скорость звука.

На экране появляется белокаменная стена храма. На фоне ее белизны особенно безобразно выглядит сшитый из разномастных овчин и кож воздушный шар... Гомон погони, готовой рас-

терзать дерзкого, и удивленный крик: "Летю!" Вся земля, с ее храмами, реками, стадами распахивается вширь и поворачивается, как глобус, под взглядом допотопного воздухоплователя. Вкрадчивый баритон читает стихи:

Иду-бреду почти что наугад,
 Курю в тени могучего платана.
 Судьба растет, как дикий виноград,
 Как дерево, - без чертежа и плана.

Не знаю, что меня сюда влекло,
 Иду по пыльной медленной дороге.
 На гребнях стен толченное стекло
 Сверкает на июльском солнцепеке.

Подожвы жжет бугристая земля,
 И только на мгновение подуло,
 Пронзительной прохладой дразня...

Потом сидели молча. Пропищал первый родившийся комар. И так приятен был писк его Ивану Семеновичу, что он завертел головой, пытаясь увидеть этого спутника теплой весны и лета существа, но не увидел, потому что комар полетел в сторону Виктора, который в этот момент зашевелился, встал, и резко дернул удочку: в воздухе затрепетала небольшая зеркально поблескивающая плотва, известная каждому рыбаку, относящемуся к этой рыбе надменно-снисходительно, но не брезгующему ею и для приготовления уха, и для жарешки. Виктор не спеша вытащил крючок из губы плотвы, оглянулся, поискал глазами ивовый прут с рыбой, нагнулся, поднял его, надел плотву сквозь жаберный ход на него и положил рыбу в траву. Поплевав на руки, Виктор, довольно пожимая широкими плечами, сунул два пальца в консервную банку, в которой шевелились холодные, скользкие земляные черви, подцепил одного, упитанного, поднял к глазам, поглядел на него - хорош ли? - и воткнул в него сначала один крюк, затем второй, а потом и третий своего трехпалого крюка. Виктор все это делал вдумчиво, придавая большое значение каждому своему движению, потому что он не просто был на рыбалке, а слился в одно с этим рос-

кошным занятием, как бы растворился в нем, а вместе с ним и с безграничной и равнодушной природой, соблюдающей вечную красоту с ее реками, небом, звездами, садами, цветами... Вот уже двадцать два года, как Виктор живет на свете, и не сочтешь, сколько раз за эти годы он ходил на рыбалку, и почти всегда одной и той же дорогой, одной и той же тропинкой; и была ли весна, как теперь, или осенний вечер с дождем, или зима, когда речка подо льдом бежала, как говорится в народе, - для него было, в сущности, все равно, и всегда неизменно хотелось одного: поскорее бы пойти с удочками на реку. Поэтому так был ему приятен рассказ отца о старике, который поехал зимой на санях за рыбой. Виктору казалось, да не просто казалось, а у него было такое чувство, как будто этот дед с зимней рыбой жил в этих краях вместе с Виктором лет сто, а то и больше.

Будучи в самом что ни на есть приятном расположении духа Иван Семенович как бы погрузился в самого себя; и звездное небо, и сладость во всем организме от выпитого делали этот вечер для него чудесным; он смотрел на реку и беспричинно улыбался. Летом это была довольно-таки мелкая речушка, которую без особого труда можно было перейти вброд и которая становилась совсем неширокой к августу, теперь же, после половодья, она была метров двадцать шириной, достаточно быстрая, холодная; на берегу и у самой воды видны были свежие следы от коровьих копыт - пастухи любили гонять сюда и колхозное и частное стада. Иван Семенович посопел приятно от хорошего настроения и живо, с поразительной ясностью, в первый раз за долгие годы, представил себе свою мать, покойницу, отца, погибшего под Москвой в сорок первом году, в декабре, почувствовал себя ребенком, несмышленишем, зачем-то явившимся на этот свет, и чувство радости и счастья вдруг охватило его, от восторга он сжал крепче удочку.

Виктор передумал идти к Верке. Уже спать хотелось. Но он не поленился, сходил за водой; мать поставила пустые ведра на крыльце. Он пошел к колодцу. Длинная тень падала от него в свете луны на дорогу. Виктор смотрел на эту тень, и ему казалось, что он самый высокий и самый сильный человек на земле. Подойдя к колодцу, поставил одно ведро на лавку, а другое зацепил на зацепку и стал медленно раскручивать ворот. И пока ведро опускалось, все думал об Ольге Кротовой, о том, что с нею он будет по-

настоящему, пойдем свататься, в фуражке милицейской. Ну, думал ли он, деревенский парень, что достигнет таких высот?! Ведро далеко внизу шлепнулось в воду. Как только оно набралось, Виктор стал поднимать его.

Между тем Иван Семенович засветил огонь в сених, где была разложена посадочная картошка на завтра. Он присел, поднял одну, взгляделся в нее. Затем, подумав, положил.

И пошел на кровать под горячий бок к Марусе...

Утром еще петухи не пропели, а Иван Семенович был уже на ногах. Поднялся раньше Маруси даже. А на улице совсем летнее дневное, а не утреннее тепло: так и поддавал теплый воздух, так и поддавал. Чудеса. Казалось, за ночь распустились листья на яблонях и вишнях, а от черемухи веяло дурманом. Даже росы на траве не было, так было тепло и уютно на воздухе. Хотелось сразу же приняться за работу, хотелось копать, сажать, окучивать, забивать гвозди, строгать, пилить. И Иван Семенович, стоя в трусах и в галошах у верстака на заднем дворе, в задумчивости чесал рыжий затылок, глупо зевал и все никак не мог придумать, с чего бы ему начать этот прекрасный теплый день. И так всегда в выходной. А тут еще настроение: повеет ли весной, пойдет ли дождь, донесет ли ветер холода, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, прямо кучей нахлынут, без всякого порядка, но все такие милые сердцу, что это самое сердце, о котором и не помнится, сожмется, и из глаз польются обильные слезы, но это только на несколько минут, а там опять разнообразие повседневности, и знаешь, зачем живешь - для счастья.

В углу на верстаке лежали раскосы, Иван Семенович присмотрелся сквозь слезы умиления и заметил, что один плохо оструган. Взял его и рубанок, приложился: стружка пошла аппетитная, широкая. Недаром давеча наточил лезвие рубанка на камне. Там в посылочном ящике гвозди лежали у раскосов. Отложив рубанок, Иван Семенович взял несколько гвоздей и принялся прикреплять горбыли в загоне поросенка, хлюпая в жиже галошами. Поросенок нюхал тонкие ноги, и было щекотно. Заодно бак попался старый; раньше в нем Маруся белье кипятила. Иван Семенович взял, осмотрев, совковую лопату и стал жижу из-под поросенка в бак нагребать. Когда нагреб, поставил бак на тачку и решил свезти удобрение на компостную кучу. Когда вез, заметил мешок с поделкой, полиэтиленовый мешок, специально приготовленный,

чтобы побелить яблони и вишни. Бросил тачку с навозом, взял ведро со двора помойное и в нем развел известь. Намотал на палку ветошь и принялся белить в саду яблони. А от земли тепло так и поднимается!

Вышла в ночной рубашке Маруся, на ногах у нее были кирзовые сапоги. Она зевнула, поблескивая золотым зубом и поднимая над головой руки. Затем, что-то заметив в грядках, прошла в междурядье, нагнулась, повернувшись к Ивану Семеновичу задом, и стала вырывать проклюнувшиеся за теплую ночь сорняки. Иван Семенович уставился на ее заголенный зад, на мослы совершенно мужских ног с узлами синих вен, с красными подтеками. Это были ноги футболиста, а не женщины. Маруся, словно увидев взгляд мужа, обернулась, подмигнула своими хитрыми глазами и насмешливо улыбнулась, как будто знала что-то сверх требуемого жителя села Тюрищи.

Маруся чувствовала себя прекрасно; она не только выпалась, но и сумела поглядеть несколько снов, в которых она непременно была с мужем, Иваном Степановичем, и все им счастье выпадало жить в селе Тюрищи, никуда не уходить-уезжать, радоваться каждому новому дню, помнить о родных и близких, особенно о сыне Викторе, примерном в поведении и в уважении к родителям. Маруся знает, что Иван Семенович любит ее, и Виктор любит ее. В деревне весь народ хороший; новых со времен Батыя не было, а все свои, плодятся, умирают; мужики продолжают свои фамилии, а девок берут из близких сел. Так всегда было в нашей стране, так и должно быть. Да, думает Маруся, дергая сорняки, в деревне народ хороший, смирный, разумный. Бога боится, и Маруся тоже боится, оттого и счастлива, добрая она, кроткая, работающая.

- Что ты? - спросил Иван Семенович, обмазывая белым стволы яблонь.

- Да ничего, - ответила Маруся и повернулась, поднявшись, к Ивану Семеновичу плоской грудью.

Глядя на нее, Иван Семенович подумал о том, что ей идет эта ночная рубашка, сквозь которую просвечивают соски опавших, измятых им грудей. От прошлого у Ивана Семеновича осталось горячее воспоминание о доброй близости с Марусей, постоянной какой-то близости, как будто он сросся с нею; и он был благодарен жене за счастье совместной жизни.

- Марусь! - позвал он знакомо.

- Да ну тебя! - стыдливо усмехнулась Маруся, но тут же пошла за мужем в сторону бани, бревенчатой, в углу сада, у плетня.

И опять, как всегда, как много-много раз, все та же угловатость, несмелость всегда повторяющейся как бы неопытной молодости, неловкое чувство; и было ощущение счастливой растерянности, как будто кто-то вдруг заглянул в дверь. Маруся, эта труженица природы, как и всегда, отнеслась к тому, что произошло, деловито и радостно, как к поливке огорода или посадке моркови, очень серьезно. У нее поднялись, расцвели черты и по сторонам лица распушились курчавые волосы, она улыбнулась в счастливой позе, точно после первой брачной ночи, предчувствуя долгий, сладкий, великолепный медовый месяц.

- Хорошо, - сказала она.

- Мне, знашь, тоже, - сказал он.

Вернувшись к яблоням, Иван Семенович почувствовал легкое головокружение от счастья, окружавшего его.

Маруся промелькнула в дом.

Взошло солнце. С улицы послышался хриплый, гундосый голос пастуха. Маруся выгнала, успев подоить, корову, которая сначала, как и всегда, не хотела выходить, пригрелась к дому, но потом, угоняемая Марусей, совавшей ей в черный, влажный, кожаный нос ломоть черного с солью, крупной, хлеба, не спеша, вальяжно пошла, припадая сломанным рогом, как бы бодаясь. И этот чертенок, поросенок, запрыгал в загоне; тут же Маруся намесила ему чугунок с отрубями и объедками, и вылила на дворе в корыто, к которому сразу же сбежались куры, но поросенок их тут же разогнал и принялся за обе щеки хлебать.

- И ешь, и ешь, - сказала Маруся, радуясь за животное. Она любила радоваться и за животных, и за мужа, и за сына, и за родственников, и за хороших людей. То же делал и Иван Семенович, радовался, а злобу скрывал и давил ее в себе, как и всякие болячки и неприятности; не доставлял он людям удовольствие сочувствовать себе; мало столь верных способов приводить этих людей в хорошее настроение, как рассказывать им о своих горестях или обнаруживать свои слабости. И вот этот талант ни Маруся, ни Иван Семенович в себе как бы не замечали. А ведь это талант: не гноить чужую душу своими гнойниками! Но что, однако, за наивный человек тот, кто мнит, будто обнаруживать свой талант и ум - это средство найти себе любовь у людей, в коллективе, в колхозе, в деревне! Да на-

оборот, в большинстве людей и талант, и ум возбуждают ненависть и злобу, тем более ожесточенную, что чувствующий ее не должен жаловаться на ее причину, даже таить ее от самого себя.

И что же? Да ничего! Не причинять людям вреда так же было естественно Ивану Семеновичу и Марусе, как есть и ходить на двор. И в этом заключалась вежливость. Вежливость - это ум; невежливость (тот, кто вам рассказывает о том, что у него болит мочевого пузырь, что дочь его развелась и уехала на работу в Германию, что его замучила теснота в хрущобе, что у него хронически не хватает денег и т.д. и т.п.), следовательно, это, как ни печально, - глупость: без нужды и добровольно наживать себе с ее помощью врагов - безумие, подобное тому как если человек поджигает свой дом. Так зачем, спрашивается, Маруся и Иван Семенович будут поджигать свой дом?! Конечно, вежливость является трудной задачей, поскольку она требует, чтобы мы перед всеми людьми обнаруживали величайшее уважение, хотя большинство их не заслуживает никакого.

Поросенок, хлебая из корыта, так увлекся, что перестал отгонять кур, которые обступили корыто со всех сторон, и даже клевали из-под самого поросычьего рта.

Иван Семенович покончил с побелкой и, подтянув трусы, пошел в дом. Маруся тоже пошла переодеться. Она стояла голая в кирзовых сапогах у кровати. Потом скинула сапоги и надела свои любимые байковые трусы с резинками чуть выше колена. Иван Семенович надел рабочие штаны и кирзовые ботинки, потом, подумав, облачился в футболку, а на голову нацепил кепочку-шестиклинку с пуговкой. Наблюдая, как одевается жена, он некоторое время молчал, затем вдруг крикнул:

- Витька, знаешь, вставай!

Через некоторое время в избу вошел заспанный Виктор, большой, с опухшим лицом (пил-то вчера больше отца). Голову нагнал на пороге, чтобы не удариться о притолоку, верхнюю часть дверной коробки, опирающуюся на косяки. Виктор начал с обычного вопроса:

- Мамка, ты корову подоила?

- Вона на лавке ведро-то с молоком! - сказала мать, быстро проходя за ширму.

Виктор взял кружку, зачерпнул парного молока и принялся жадно пить, как будто его всю ночь мучила жажда. На самом деле

ему приснился не очень приятный сон: ему отказали в приеме в милицию. Он, было, хотел даже отцу рассказать этот сон, но, подумав, не стал отца беспокоить. То есть, по-видимому, от родителей ему передалось врожденное чувство вежливости. Он стоял в центре избы, широко расставив ноги, и пил молоко из-под коровы, откинув голову, отставив локоть и оттопырив мизинец. Он пил и немощно боялся сна: как бы он не сбылся.

- Ладно-ть, - сказал Иван Семенович, - накрывай, мать, поскорее на стол завтракать, да и пойдём картошку посадим.

Маруся стала выносить на стол отварную картошку, яичницу с колбасой и соленые огурцы. Виктор пошел на мост умыться. Иван Семенович сел к столу и приступил к завтраку: осмотрел вилку, протер ее о скатерть, затем наколол ломоть черного хлеба и стал выкраивать себе кусок яичницы для бутерброда. Освеженным от умывания вернулся в избу Виктор, взял вилку, осмотрел ее, протер о край скатерти и наколол горячую картофелину.

- Надо бы к обеду управиться, - сказал Иван Семенович.

- Управимся, - сказала Маруся.

- А то, неровен час, Василий с супругой пожалует, да Валерий Ефимович из города с ночевкой приедет...

- Хорошо бы приехали, - сказала Маруся, - родня все же.

Маруся накинула на голову с плеч косынку, поднесла руку к губам, как бы задумавшись, потом сказала:

- Витька, знашь, принеси воды!

- Дак я вчерась принес.

- Срасходовала...

- Ладно, мамка, сейчас дожю и принесу.

Когда он вышел с ведрами на улицу, то, к своему удивлению, заметил вдалеке Ольгу. Он поставил ведра и пошел ей навстречу. Ольга нарядилась в новое красное с белым воротником платье, сшитое специально для праздника; в ее волосах, редких, рыжих, собранных в пучок, вилась пунцовая ленточка, точно пламень. Лицо ее круглое покрывали веснушки. Она была молода, в сущности, еще девочка, с едва заметной грудью, но с очень широкими бедрами и огромным тазом, поставленным на толстые ноги, очень короткие для Виктора, она была самая красивая, и особенно ему нравились ее большие, мужские руки, которые теперь празднично висели, как у солдата-новобранца в строю после команды "вольно".

- Чего ты так рано? - спросил Виктор, краснея от смущения.

- Дядю Гришу вышла встречать.

- А он, что, приедет?

- Да, на своем "Москвиче".

Виктор помнил, что дядя Гриша был родным братом отца Ольги, жил в военном городке и работал вольнонаемным в авиационной части механиком-двигателем.

- Чего он так рано-то?

- А у него сын сегодня женится. В загсе назначили на девять утра. Пока доедем, пока то да се и так далее.

- Давай мы тобой поженимся! - вдруг вырвалось у Виктора из груди, и он пуще прежнего покраснел.

Ольга тоже, видимо, смутилась, прикусила тонкую губу и обернулась.

- Дурак ты, это! - сказала она.

Виктор с любовью посмотрел на ее крупный нос со вдавленной переносицей, на эдакую прекрасную картофелинку, на круглые щеки, на маленькие глаза, посаженные близко ко вмятой переносице, которые сильно косили, и чуть не разрыдался от нежности.

- Я люблю тебя, знаешь! - всхлипнул Виктор и, приблизившись, положил свою тяжелую ладонь ей на плечо.

Ольга вдруг зарделась, быстро приблизилась к Виктору и поцеловала его в щеку. Только Виктор опомнился от внезапно подкатившего к нему счастья, как Ольга пустилась наутек: ее крупные икры замелькали под красным платьем.

- К вечеру давай, знаешь, приезжай! - крикнул Виктор.

- Приеду, это, как штык!

Посопев и сплунув, Виктор пошел возбужденный к колодцу, нацепил ведро и пустил его падать в глубину. Потом Виктор некоторое время все ходил по ковровой дорожке в избе и посвистывал или же, вдруг вспомнив, что его берут в милицию, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно репетировал властный взгляд для всяких торгашей в палатках.

Отец заглянул в избу, спросил:

- Ну, ты чего, итить, застрял, Витя. Я уж ряд с матерью посадил.

Виктор смахнул внезапную радость с лица и пошел на зады сажать картошку. Солнце уже нещадно палило, обещая жаркий день. В душах сажающих картошку был праздник, и хотелось отметить праздник ударным трудом. Говорили, что в праздник грешно работать, но в эти разговоры Иван Семенович не верил. В лю-

бой день нужно было посуетиться и что-нибудь сделать, иначе день шел насмарку.

Земля высыхала на глазах; комья в руках рассыпались в пух и прах. Виктор выкапывал лунки, отец кидал в нее по две-три картофшки, а мать сзади присыпала посадку землей.

Виктор скинул рубаху, одновременно с посадкой загорал; его мускулистое спортивное тело было смугло, и пот стекал по хребту и из-под мышек, заросших густыми рыжими волосами. Иван Семенович тоже на некоторое время снял рубашку, позагорал, но минут через пятнадцать снова надел ее, боясь обгореть. Тело его было бело, только кисти рук и шея были смуглы. Маруся тоже скинула кофточку и работала в черном шелковом лифчике: тело у нее загара не боялось, было словно цыганское.

Свежая голенастая крапива яркой зеленой лентой бежала вдоль плетня, радуя глаз тружеников и пугая всяких других своей воинственностью и ядовитостью, как будто каждая травка в природе должна ласкать человека; так никто не договаривался, природа просто сама случайно выделила человека из себя для примотра за собой, а если человек надоест, то так же легко его сведет на нет без сострадания и объяснений. Ну, положим, размышлял Иван Семенович, любуясь сочной крапивой, кто разрешил природе иметь крапиву?

На экране появляется изображение Кремлевской набережной. Бесконечной чередой идут машины. Солнце блестит в куполах колокольни Ивана Великого. Раздается громоподобный голос диктора всесоюзного радио Юрия Левитана: "Говорит Москва...". По Москве-реке идет тяжелая баржа с песком. За кормой кружат чайки. Вкрадчивый голос читает стихи:

А жил я в доме возле Бронной
Среди пропойц, среди калек.
Окно - в простенок, дверь - к уборной
И рупь с полтиной - за ночлег.
Большим домам сей дом игрушечный,
Старомосковский не чета.
В нем пахла едко, по-старушечьи,
Пронзительная нищета.

Я жил затравленно, как беженец,
Летело время кувырком,
Хозяйка в дверь стучала бешено...

Капля пота попала в глаз вместе с ресницей и Иван Семенович часто заморгал, слеза пробилась, а рука была в земле, пальцем в глаз не полезешь; тогда он выдернул из штанов подол рубахи, нагнул голову и подолом согнал ресницу к переносице, а потом и на ткани ее увидел: маленькую, загнутую, как серп.

- Чего ты там? - спросила Маруся.

- В глаз попало.

- Ну, дак я посмотрю, - сказала Маруся.

- Я уж вынул ресницу-то, попала, понимаешь, - сказал Иван Семенович, запихивая подол в штаны и глядя себе под ноги.

Как раз из-под ноги выполз жирный красный дождевой червь с лиловым ободком, полежал немного, затем начал двигаться, подтягивая тельце, к маленькой червячной норке в комке земли. Иван Семенович нагнулся и отбросил червя на уже посаженные места.

- Витька, а бывают корни круглые? - крикнул Иван Семенович сыну. Тот выпрямился, не понимая, о чем спрашивает отец.

- Круглые корни? - переспросил Виктор.

- Ну да...

- Не бывает, - сказал Виктор.

- А картошка?

- Разве картошка корни?! - засмеялся Виктор. - Картошка - еда.

Иван Семенович мотнул головой и рассмеялся, удовлетворившись нестандартным ответом сына, затем нагнулся и выдернул белый длинный корень осота, эдакий провод прямо-таки. Мощный этот осот; найдет себе ходы на глубине штыка в любой почве. Недаром сказывают, осот скрещивали с пшеницей, чтобы она выносливее была. А то и сама пшеница произошла за много столетий от этого дикого осота: высокой травы с трубчатым стеблем, идущим один из другого, как составная удочка или антенна приемника.

Вспомнив о приемнике, Иван Семенович сходил за ним в избу, принес, выдвинул никелированную антенну и включил радиостанцию "Маяк", которую только и принимал он, а первую и вторую программы слышно было плохо. Этот приемник Ивану Семеновичу подарили на работе ко дню Советской Армии и Военно-морского

флота. Какая-то музыка смолкла, и строгий низкий женский голос объявил следующую музыку: па-де-де из балета Чайковского "Щелкунчик".

- Вот под музыку оно сподручнее, - сказал Иван Семенович, взял лопату и принялся копать лунки.

Маруся, вспотевшая, сделала замечание:

- Глыбоко...

Не "глыбоко", а именно "глыбоко".

- Земля, знашь, теплая, - сказал Иван Семенович, - она пойдет вширь, клубиться будет лучше.

Прежде чем сунуть в лунку картошку, Маруся все равно ребром ладони сбросила на дно немного земли. Ну, вот ты упрямая какая!

- Говорят, глыбоко.

- Ладно, буду мельче нырять, - согласился Иван Семенович и посмотрел на небо, совершенно прозрачное и ярко-голубое.

Виктор тем временем делал другой ряд по доске, чтобы ровно было, клал доску в межрядье, шел по ней, ковыряя лунки, а затем бросая в них картошку из корзины. Он думал о предстоящем празднике, даже дядю Васю и Валерия Ефимовича поджидал с удовольствием, хотя не очень любил рассиживаться за столом с родней; тянуло к молодежи.

И почему так тянет молодых людей сбиваться в стаи? Древнее стадное чувство, когда можно было существовать в безопасности именно в стаде, теплом, родном, единокровном. Чем больше людей, тем веселее.

Виктор остановился, задумался, расправил плечи, посмотрел туда, где находилась река, потянулся, затем поднял картошку, маленькую, покрутил в руке, вгляделся в нее, в неровные бока, в морщинистую плотную кожуру, в синие ростки.

Какие из этих синих ростков станут корнями, а какие ботвой и цветами? Вот что занимало в этот момент Виктора: под землей или над землей будет росток, что справа? А левый? Можно было только гадать, припоминая разные сведения из школьной программы, забытые уже, мерцающие каким-то одним светлячком в памяти знаний.

- Пап, а как растет картошка? - спросил Виктор.

Иван Семенович на мгновение застыл с лопатой, но после ответил:

- Растет себе и растет.

- Нет. Как растет? Я знаю, что она растет себе и растет. Но как растет? Вот смотри, - Виктор подошел к отцу, - тут три глазка.

Вот который из них над землей зеленым будет, а который под землей?

Иван Семенович сначала уставился на картошку, а потом, хотнув, сказал:

- Она сама разберется.

- У моркови-то видно, где низ, где верх, - не сдавался сын. - А тут загадка выходит.

- Выходит, - буркнул отец, продолжая посадку.

Подошла Маруся, посмотрела на картошку и, подумав, сказала:

- Если б знали, то б спортили.

- Морковь-то не портим. - Маруся махнула рукой и отошла.

Виктор задумчиво направился к своей доске, старой, посеревшей, бывшей когда-то в числе прочих досок в старой створке ворот.

Маруся смотрела со стороны на сына и улыбалась; она благоговела перед ним. Виктор никогда не ласкался, говорил только о серьезном, как вот сейчас о картошке; он жил своею особой жизнью, загадочной, хотя и вроде понятной, но загадочной в том смысле, что его внутренний мир был закрыт для матери, а она очень хотела видеть, как телевизор, этот внутренний мир, но не могла его видеть, хотя произвела этот мир из себя, родила Виктора, а он такой теперь самостоятельный, загадочный, хотя и, повторялась Маруся, понятный.

- Наш Виктор замечательный человек, - говорила часто Маруся Ивану Степановичу.

- Такого сына дай Бог каждому иметь! - торжественно соглашался тот, поднимая ложку для первого.

- Грамотный, десятилетку кончил, - добавляла Маруся.

Что тут сказать? Иван Семенович и не говорил ничего, только чувствовал некоторое равнодушие к грамотности: ну прочитаешь вывеску на магазине, ну и что?

Конечно, и неразвитость его пугала, поскольку неразвитость эта вечна и животные размножаются неостановимо таким же древним способом, как человек. Значит, человек - животное. Но не только... На этом нить размышления терялась и в голове все смешивалось.

- Вона, мухи уже! - сказала Маруся, увидев жирную зеленую муху на борозде.

В ее голосе слышалось удивление, точно ей казалось невероятным, что мухи после долгой и холодной зимы больше никогда не появятся.

- Ох, уж эти мухи, знаешь! - вздохнул Иван Семенович.

- Мухи летают, - задумчиво сказал Виктор и смахнул пот со лба. Все помолчали, глядя на муху и четкую черную точку тени от нее на земле, сухой и серой. От людей тоже ложились тени на эту землю, но большие и не такие черные.

Маруся взяла пустой холщовый мешок, подошла к плетню и бросила его, сложив вдвое, прямо на крапиву. Затем села на него.

- Тут, пожалуй, прохладней... - проговорила она.

Иван Семенович взглянул на нее, промолчал, а минуты через две прикрикнул:

- Встань, не бабье это дело на земле сидеть.

Маруся умилилась от заботы и, хотя поверх байковых трусов на резинке была надета трикотажная юбка, тут же встала; она, быть может, и присела у плетня в его тени только для того, чтобы муж заботливо попросил ее встать. И в этом была ее какая-то подсознательная житейская мудрость. А что такое житейская мудрость, как не умение провести свою жизнь возможно приятнее и счастливее! Это только глупцы талдычат о том, что оставят этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его.

- Сколько время? - вдруг спросил Иван Семенович.

Виктор полез в задний карман своих тренировочных брюк за наручными часами, достал их, на желтой браслетке, посмотрел на циферблат, сказал:

- Двадцать минут девятого.

- Эка, время-то бежит! - сказал Иван Семенович. - А мы едва половину сделали.

- К десяти управимся, - сказал Виктор степенно.

- Должны, - поддержала Маруся. - Мне, знаешь, готовить уже пора. Неровен час, Василий да Ефимыч пожалуют.

- А ты иди, вари себе, - сказал Иван Семенович, - мы тут с Витьком управимся.

- Управимся! - подтвердил Виктор.

Маруся отерла руки о юбку, поджала губы и повернулась в профиль - казалось, что она сейчас дунет на солнце, чтобы оно умерило свою прыть.

Присели в ожидании гостей. Виктор включил телевизор для приличия, хотя в экран никто не смотрел; телевизор бубнил что-то про разные рекламы “мириканские”. Так Иван Семенович называл американские товары.

- Опять мириканцев показывают? - обычно спрашивал он.

Иван Семенович переоделся к столу, был в белой сорочке с зеленым в полоску галстуком и в коричневых брюках от костюма. Ботинки выходные были начищены с гуталином.

Виктор придерживался молодежной моды - на нем была надета черная трикотажная с коротким рукавом футболка и джинсы.

Отец и сын поглядывали на бутылки, но не прикасались к ним, отчего испытывали к этим бутылкам уважение. Свою водку, самогон, сразу ставить не стали. Пусть магазинная праздник начинается.

Потом по телевизору пел женский хор.

В дверь постучали, и голос Василия разрядил напряженность ожидания:

- По Берлину - огонь!

И в его руках взорвалась бутылка шампанского, вернее, из нее вылетела, как снаряд, пробка, просвистела над столом и со звоном ударилась о стекло. Это Василий приготовил сюрприз еще у прогона: сдернул с шампанского проволочку, пошевелил пробку и так и шел до дверей. Жена, сестра Маруси, Вера шла сзади и маленьким кулачком стучала Василия по спине, приговаривая с улыбкой:

- Ну и чавала, ну и чавала!

Василий был смугл и кучеряв и чем-то действительно походил на цыгана. Голос у него, правда, был не цыганский, а какой-то бабий, визгливый и размазанный, как по тарелке манная каша. Так говорили блатные. Василий сидел три года в Бодайбо за оскорбление командира роты. У Веры был такой же длинный и горбатый нос, как и у сестры Маруси, но кожей была светлее и походила на щуку: из-под длинного носа сильно выдавалась вперед нижняя челюсть; и губы были вытянутые, щучьи.

Завершала процессию первых гостей их дочь, тринадцатилетняя Марина, шкодница, со сплюснутым лицом, вся в отца.

- Дядя Ваня, это тебе, - сказала она, протягивая Ивану Семеновичу цветок, гвоздику, и цветную открытку, на обороте которой Иван Семенович прочитал ученический текст: “Дорогой дядя Ваня! Поздравляю тебя с Днем Победы! Желаю здоровья и счастья! Марина”.

Иван Семенович благодарно погладил девочку по голове и поцеловал куда-то возле уха. От Маринки сильно пахло духами, а в ушах поблескивали сережки, желтенькие, с зеленым камешком.

- Дак вот и праздник подошел, - сказал Иван Семенович.

Василий сел на венский стул к столу, но не за сам стол, а вполборота к Ивану Семеновичу. Вера прошла за занавеску к сестре.

- Большой праздник, - сказал Василий. - Большой...

- Долго ехали? - спросил Иван Семенович.

- Хорошо, знашь, ехали. Ты знашь, автобус сразу подошел.

- Семнадцатый? - уточнил Виктор.

- Семнадцатый, - сказал Василий. - С местами ехали. Народу праздничного много везде. У завода военный оркестр играет. Там трибуна красная.

- Нас звали как с филиала, но я отказался. Куды нам! Пусть молодежь отдыхает от парада.

Василий вдруг расхохотался и сквозь этот хохот выговорил:

- Это ты, Ваня, фартово сказал: отдыхает от парада. Вот оно по стране нашей определение. Отдыхаем от парада!

Иван Семенович прервал его:

- Да что ты - это с песни... Как уж ее? Забыл. Вона Витька, небось, помнит...

Виктор сидел, положив руки на колени. Он смущенно кашлянул и сказал:

- "Москва майская". Композитор Покрасс, слова Лебедева-Кумача. Исполняют, знашь, Бунчиков и Нечаев...

Василий вклинился:

- Праздник нужно, это, нести на себе, пока не свалишься и не помрешь.

И опять захохотал.

Отец обратился к Виктору:

- Возьми струмент, что ли, понимаешь, сыграй.

Из-за ширмы выглянула жена Василия, прикрикнула на него!

- Ну что ты, как этот, ржешь?!

- Как кто?

- Как конь!

Виктор полез в шифоньер, достал из-под тряпок гармонь, расстегнул ее, попробовал, гармонь празднично взвизгнула; после этого заиграл известную мелодию и громко запел:

СЧАСТЬЕ

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля...

Гармонь, как весна, замкнула на себя праздник. Далее Виктор подошел и к взвеселившему Василия выражению:

День уходит и прохлада
Освежает и бодрит.
Отдохнувший от парада,
Город праздничный гудит...

Василий вновь расхохотался, а Вера уже прямо выскочила из-за занавески и съездила Василию ладошкой по затылку.

Лишь праздник отвлекает от безнадежности, и он же ее символизирует в полной мере, замыкает ее, как все ту же весну, на себя.

Ведь в празднике нет и не может быть истины, внеположной празднику, а есть только ритуал, условный его свод, и за эти пределы никто не способен вырваться. В то же время мнимая условность праздника, особенно парада, когда отряды обряжаются в наряды и маршируют рядом с трибунами, на которых стоят вожди, сродни условности самого языка, на котором изъясняются люди; так что язык слит с праздником, а праздник с языком, плавно перетекающим в перманентное ощущение счастья.

Виктор подходил почти что к концу песни, приподнявшей всех до уровня понимания этого праздника, как Василий вновь затаился, перебивая Виктора, уже пройденный где-то в начале песни куплет:

Солнце майское светлее
С неба синего свети,
Чтоб до вышки мавзолея
Нашу радость донести,
Чтобы ярче заблестали
Наши лозунги побед,
Чтобы руку поднял Сталин,
Посылая нам привет.

И уж Вера с Марусей взвизгнули припев, без водки, трезвые; вот что песня, паразитка, делает с людьми:

Кипучая, могучая,
Никем не победимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая!

Сентиментальная идиллия воцарилась в избе. У Василия уж настоящие слезы от имени Сталина появились на глазах.

- Он, знаешь, велик, а эти в пинжаках! - кричал Василий под перебор гармошки. - Понимаете, он вождь, а эти - домуправы...

- Ладно тебе, ботало! - прикрикнула на него Вера. - Не пил еще, а орешь, знаешь, как этот!

- Как кто? - спросил Василий.

- Как Гитлер! - вмазала Вера.

Василий вскочил и чуть не рванул рубаху на груди, но только показал движением рук, что готов разорвать выходную рубашку.

- Да я за советскую власть, знаешь, всех гадов-немцев попишу-порежу!

Иван Семенович улыбнулся, как бы усомнившись в реальности существования Василия; с ним часто такое случалось: посмотрит на людей, и не верит, что они живые, настоящие, поставленные в жизнь и мир для такой же, как и у Ивана Семеновича, жизни.

С напряженно-испытанным лицом первым в избу шагнул Валерий Ефимович, за ним в креп-жоржетовом платье Антонина, с шестимесячной завивкой, круглолицая, губастая, щекастая; уж за нею вошла худая, с мужскими ногами, совершенно рыжая дочь Татьяна. Каждая пьянка для Валерия Ефимовича была школой мужества. Насколько раз он пытался завязать, к врачам обращался, но постоянно развязывал. Сейчас он приехал просто посидеть за столом, как настаивала Антонина и как он сам думал.

- Только не сорвись! - грубым мужским голосом говорила жена.

Жена была сестрою Маруси и Веры, средняя, между ними; работала в городе на физприборе вместе с Валерием Ефимовичем. А познакомил с ним ее в свое время Василий. Валерий Ефимович с друзьями ночью взломал палатку, чтобы выпить; в палатке оказалось две четвертинки. За эти две четвертинки Валерий Ефимо-

вич, из деревни под Иркутском, получил пять лет и отсиживал их вместе с Василием в Бодайбо. Срок заключения у них истек одновременно; когда Василия посадили, Валерий Ефимович отбыл уже пару лет. Так как Василий был родом из Европы, то и потянул за собой Валерия Ефимовича. Василий сначала нашел Веру, а потом и Валерия Ефимовича с Антониной познакомил, поскольку пришло время обзаводиться семьей, а то без семьи можно было опять угодить за решетку, и чуть было Валерий Ефимович не угодил из-за одного милиционера, которого били какие-то парни возле продмага, а Валерий Ефимович в это время мимо проходил, еле отбрыкался, следовательно все в дело его подшивал.

Валерий Ефимович был щупленьким, маленьким, с косою челкой, с рядом стальных зубов сверху и снизу, так что когда он открывал рот, то казалось, что у него там консервная банка. На Валерии Ефимовиче была желтая вязкая рубашка с коротким рукавом; все руки были испещрены наколками: “Не забуду мать родную”, “За Родину, за Сталина”, “Когда умру, не пойте песен” и т.д. Рисунки были в основном военно-морской тематики.

- Ну, вот и Валерий Ефимович прибыл! - сказал Иван Семенович, вставая.

- Как доехали? - спросил Василий.

Виктор отложил гармонь, крепко пожал руку гостю, а Антонине сердечно кивнул.

- Витька, сегодня купаться можно! - весело сказала Татьяна.

Антонина, взбивая и без того чудовищную кудрявую шевелюру растопыренными с накрашенными ногтями пальцами, прикрикнула на дочь:

- У, сотона, угомонись!

Конечно, ударение было поставлено именно на первом слоге “со”.

То, что это сатана, Антонину не занимало, да и она не знала значения этого слова, просто во дворе старухи так кричали, и она так стала кричать; кричали бы они что-нибудь на каком другом языке, то бы и Антонина стала кричать; впрочем, все мы не на своем языке кричим: мы просто рождаемся в готовый язык, и все.

- Чего ты! - огрызнулась Татьяна.

Виктор порозовел от столь прямого к нему обращения Татьяны и сказал, не подумав:

- Оно, конечно, можно.

- Ну так сбегает сразу, пока эти водку не стали жрать.

- У, сотона! - взвизгнула Антонина еще раз. - Щас как дам по жопе!

Щуплый Валерий Ефимович как бы не замечал перепалки жены с дочерью, поскольку это был лишь слабый отблеск ежедневных диалогов.

Валерий Ефимович сел поближе к Ивану Семеновичу, положил ногу на ногу и закурил "беломор". Антонина это сразу отметила:

- Ну, вот, ханурик, задымил!

Маруся и Вера вышли из-за ширмы, нарядные, в обновках; на Марусе было, мешком, шелковое платье, на Вере, тоже мешком, тоже шелковое, но голубое против Марусино розового.

От окрика Антонины Валерий Ефимович стал совсем жалок. Иван Семенович заметил это и некстати бухнул:

- Давай, Валерий Ефимович, махнем, знаешь, по рюмочке!

Василий понял это как обращение к себе и подсел к столу.

Все знали, что Валерий Ефимович законченный алкоголик, но в то же время все делали вид, что не знают этого.

- Вань, ты прямо, я даже не знаю, ить, ноне, - проговорила Маруся, чтобы косвенно напомнить Ивану Семеновичу, что Валерию Ефимовичу нельзя пить, как будто Иван Семенович об этом не знал.

И Василий схватил бутылку, и Иван Семенович, и начали открывать их, и женщины потянулись к столу, и все, кто был в избе, порассаживались кто куда, кто на стулья, кто на лавку, кто на табуреты.

Всем места хватило: все ж таки два стола сдвинули, чтобы просторнее было и локтями не пихались. Валерий Ефимович, как цыпленок, тем не менее, оказался стиснутым могучим Иваном Семеновичем и Антониной: кисти рук он выбросил над столом, а локти прижал к туловищу, а кисти этих рук свисали над тарелкой, а сам Валерий Ефимович не знал, куда глаза девать от трезвого позора, и в нем сразу же началась борьба: пить или не пить?! Это после того, когда врачи в него вшивали, вливали, впихивали, вталкивали, гипнотизировали. Борьба шла нешуточная: он стал бел, как мел, глаза ввалились, губы посинели, рот раскрылся и стальные зубы заговорили консервной банкой.

- Ну, Витька, сбегает искупнемся! - просила Таня.

- Угомонись, сотона! - крикнула Антонина.

Виктор вопросительно посмотрел на отца, мол, что делать, уважить племянницу или не уважить. Отец прекратил его сомнения:

- Садись к столу.

Виктор послушно сел на табурет, огляделся, спросил:

- Мамка, а где хлеб?

Маруся всплеснула руками, запричитала:

- Ой, девки, а хлеба-то я, ить, бляха-муха, не намахала, ой, совсем, старая, забыла...

Она бойко побежала за занавеску, но зацепила с угла стола тарелку, на которой стоял граненый лафитник; тарелка с лафитником упала и разбилась.

- Ой! - воскликнула Маруся, побледнев.

Иван Семенович прикусил губу, потому что не любил всякого такого боя; ну, что, спрашивается, бить тарелки, когда можно было Антонину попросить хлеб нарезать, она ближе к кухне сидит; Иван Семенович хотел сделать замечание жене, но воздержался, поскольку ему самому очень не понравились грубые замечания Антонины в адрес дочери и мужа. Валерия Ефимовича просто жалко; елки зеленые, да пусть он лучше так и будет жить алкоголиком, чем муки такие испытывать и ему, и его окружению.

- На счастье! - крикнул Василий, весь подавившись улыбкой, разливая водку, спеленатый праздником, как грудной ребенок.

Иван Семенович и тут хотел промолчать, потому что всю жизнь при любой разбитой тарелке или чашке слышал это "на счастье!", но не промолчал, а твердо сказал:

- Счастье - это когда никто, знашь, ничего не бьет!

Виктор поглядел на отца с недоумением, тупо, не понимая, почему отец уделил внимание какой-то тарелке. Он хотел сказать ему замечание, чтобы не обращал внимания на такие пустяки, но отец показался ему в эту минуту таким диким, темным, что он испугался. Он сам, Виктор, жил в этой дикой жизни, в лесах и в снегах, без дорог, с пьяными мужиками, из уст которых кроме мата ничего не слетало, и, вместо того, чтобы делать отцу замечание, только махнул рукой и еще громче, чем Василий, крикнул:

- На счастье!

Тем временем мать вынесла хлеб на большой тарелке и стала передавать его по столу; Василий, как изголодавшийся, схватил себе кусков десять черного, затем, подумав, и белого прихватил два кусочка.

- А что такое, знаешь, между нами девочками говоря, счастье? Где оно? - с приклатненной ядовитостью сказал он, кончив разливать из первой бутылки и беря новую.

- А вот и есть счастье, что мы в праздник, живы, понимаешь, здоровы, за столом сидим! - крикнула Маруся.

- Правильно, - поддержала Вера. - А ты, Васька, помалкивай, коли ничего в жизни не понимаешь.

Вдруг Валерий Ефимович сказал:

- Это слишком мелко! Мелко плавааете и не знаете, что такое счастье! Счастье - это когда ты можешь делать то, что тебе запрещают! - он схватил бутылку, налил целый стакан и, пока гости соображали, что к чему, засадил его залпом.

У Ивана Семеновича аж мурашки по спине побежали, одна мурашка быстрее другой, как блохи. Он только успел наколоть на вилку ломоть жирного окорока и поднести прямо к железным зубам Валерия Ефимовича; тот не стал сопротивляться, а стукнул зубами, сорвав окорок с вилки и, слабо прожевав, проглотил его: огромный кадык на цыплячьей шее заходил вверх-вниз.

У Антонины из глаз брызнули слезы; она рванулась и выскочила из-за стола и молча побежала в сад. Маруся за нею, и дочь Татьяна тоже. Виктор недоуменно пожал плечами, в силу возраста не понимая всего значения алкоголизма для семейной жизни, встал и пошел за ними, скорее даже за матерью, чтобы вернуть ее и всех за стол. В саду, в ярком солнечном свете, на фоне зелени, Антонина картинно обхватила ствол яблони-китайки и стала биться об этот ствол головой.

- За что мне муки такие!

- Да уймись ты, Тоська!

Взяв ее крепко за локти, Виктор оторвал Антонину от дерева и, сказал:

- Антонина Николаевна, давайте не будем, давайте пройдемте к столу, - повел ее в избу.

И что странно, Антонина пошла, а ведь характер у нее был норовистый, еще в девках все время артачилась и мать, покойницу, не слушалась. Маруся, идя сзади, гордилась сыном. А он представлял сам себя милиционером; у него так любой пойдет куда следует, надо только так это спокойно говорить: "Давайте пройдемте". Исстари закрепилось это выражение на Руси и ныне оно не исчерпано. Милиционер выходит из территорий искусства, чтобы вернуться к собственной личнос-

ти и ее уберечь от людей. Он похож на ребенка; посмотрите на милиционера где-нибудь на Казанском вокзале или на Красной площади, и вы поймете, что это ребенок, потому что взрослому противна всякая форма; форма идет детям и артистам; вот поэтому милиционер похож на ребенка среди шума вокзала, на ребенка, что посреди удовольствий внезапно бросает игрушку, - он устал, ему все надоело, ему хочется спать, но он вынужден подходить к вам и устало говорить: "Давайте пройдемте!".

А Татьяна поглядывала на Виктора как-то лукаво, вздыхала, как взрослая, и покачивала головой. Года три назад, когда вот так же был праздник, он посадил ее к себе на колени, чтобы рассказать сказку о том, как дед поехал за рыбой, а она подумала, что он полюбил ее. И с тех пор хотела, чтобы он полюбил ее. А он почему-то не любил.

Валерий Ефимович расцвел лицом, курил и говорил громко, смело Ивану Семеновичу:

- Да, Ваня, счастье - это когда супротив! Не иначе, вот, как, конечно, вежливо, без нажима на свободы окружения! Но - супротив! Теперь я человек, и теперь я счастлив, мне так хорошо! Так похорошело на душе, если б ты, Ваня, знал!

Антонина села на место. Виктор быстро выпил стопку, чокнувшись со всегда готовым выпить Василием, взял гармонь и для тоски и веселья запел:

Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкой я прощаюсь навсегда...

Гармонь переливами зажгла души сидящих, все стали подпевать, а Василий громче всех одну строчку выкрикнул своим блатным голосом:

Последнее прости с влюбленных губ слетает...

Иван Семенович встал из-за стола, улыбаясь, подошел к Марусе, спросил:

- Где мой парадный пиджак?
- У шифонере. А чего?

- Да надо по селу пройтись. Все ж День Победы.

Услышав это, все оживились, все повскакивали с мест, все захотели прогуляться по деревне, себя показать, других посмотреть. Жарища стояла несусветная, а Иван Семенович возглавил процессию в своем парадном черном в полоску бостоновом пиджаке, на котором красовалась одна юбилейная - к 40-летию Вооруженных Сил СССР - медаль, нагрудный знак "Гвардия", значок классного специалиста, и значок ГТО 3-й ступени.

В первой шеренге шли вместе с Иваном Семеновичем Василий и Виктор с гармошкой. Во второй - Валерий Ефимович, Татьяна и Маринка с двух сторон. Замыкали процессию сестры.

Праздник создает замкнутый и тотальный цикл. Настоящий праздничник стремится к тому, чтобы принять участие во всех возможных праздниках: Новом Годе, Первомае, Дне Победы, дне рождения, похоронах, свадьбах, поминках, Дне учителя, Дне дня... И это желание являет собою актуальную бесконечность и беспредельную радость, лишь отчасти умеряемую возрастом и сознанием уходящего поезда в тот самый сиреневый туман, о котором пел Виктор. Легко возразить, что столь же празднично неутоленным может быть и желание овладеть всем золотом мира, всей его славой или непрерывностью его чувственных наслаждений, но сопоставление это, пусть даже справедливое для кого-то в психологическом плане, неверно в решающем плане - онтологическом. То есть в плане понимания учения о сущем или бытии. Все золото и вся слава - сказка о деде с рыбой, которая /сказка/ не только не обещает конкретного обладания рыбой, но и бесплодна даже для воображения, потому что плодотворно только реальное взаимодействие, после оказывающееся не-реальным.

- Играй, Витек! - сказал Иван Семенович.

И Виктор заиграл:

Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны,
В строю стоят советские танкисты
Своей великой родины сыны...

Приосанившись, Иван Семенович шел чуть ли не строевым шагом, гордо поглядывая по сторонам. Гуляющих еще не было видно. Но на гармонь стали выглядывать из домов. Вон Гаврилов

Шурка выглянул, тракторист. Вон доярка Полина в окно посмотрела. Концерт, да и только.

На экране - этюд непогоды, ожидания, беспокойства. Парти-тура света экспрессивна - лица ожидающих то освещаются лу-чом тусклого берегового маяка, то погружаются во тьму. Кача-ется бледная лампочка на дебаркадере. В помещении круг света настольной лампы очерчен вокруг читающего вслух человека: "Привлекательность познания была бы ничтожна, если бы на пу-ти к нему не приходилось преодолевать столько стыда".

В шашлычной шипящее мясо,
Тяжелый избыток тепла.
И липнет к ладони пластмасса
Невытертого стола.

Окурок - свидетельство пьянки
Вчерашней - в горчицицу врос.
Но ранние официантки
Уже начинают разнос.

Торопят меню из каретки,
Спеша протирают полы
И конусом света салфетки,
Когда сервируют столы...

Женщины уже не просто шли, а приплясывали и носовыми платками помахивали. Виктор начал плясовую. Остановились. Валерий Ефимович пошел вприсядку. Этого маленького человечка водка не могла никогда свалить. Вот в чем дело. Все думали, что алкоголик это тот, кто с пятидесяти грамм валится. Ничуть не бывало. Этот мог один выпить литр, а то и полтора, и не упасть. На-утро, конечно, будет зеленым и мертвым, но встанет, чтобы пить теперь уже мертвую, неразволочную месяц, чтобы опиться, свалиться, переболеть, завязать, чтобы новую начать. Это не тот алко-голик, кого ветерок легкий как былинку клонит, это неугомный весельчак. Вон он как пляшет, то вправо пойдет, склонившись, то влево, то припадет одним плечом, то другим. О! Этот тип совер-шенно не исследован. Это человек-праздник. А то, что он через

месяц концы начнет отдавать, так то стоит того, праздник стоит этих концов, которые никто не видит.

- Ловко пляшет Валерий Ефимович, - сказал Иван Семенович, ощущая милые, приятные минуты праздника.

Солнце поднялось уже высоко, тени от гуляющих уменьшились, было очень жарко, по-июльски, и казалось, что трава растет на глазах, все село буйно зазеленело. Дошли не спеша до церкви - филиала завода сельскохозяйственных машин, где трудился Иван Семенович. Сторож, дядя Саша, был уже под хмельком, радостно поприветствовал Ивана Семеновича из калитки, возле которой дремала лохматая собака. Далее за церковью была автобусная остановка, за нею село плавно перетекало заборами в центральную усадьбу, та - в поселок, поселок в город.

Валерий Ефимович, отплясав, сел на лавку под тополем перекурить.

- Дай и мне, что ли, побаловаться, - попросил, присаживаясь рядом, Василий.

Василий был сильно вспотевший, даже рубашка была мокрой, а Валерий Ефимович словно и не плясал - был сух, словно потеть было нечему в его щуплом тельце.

Марина с Таней стояли возле Виктора.

- Сыграй эту, ну как ее, по ящику показывали, американскую, - попросила Таня.

Иван Семенович услышал, сказал:

- Нет, девки, мириканскую, знаешь, не нужно. Давай "Амурские волны".

Виктор послушно заиграл вальс. Таня подхватила Марину, и они запыхтели на дороге кругами.

- Индо лошади! - незлобиво бросила Антонина.

Постепенно улица стала заполняться: нарядные люди выходили из домов проветриться. Начищенные ботинки покрывались пылью подсохшей дороги. У заборов и палисадников в сочной траве желтели одуванчики.

Подшел учитель Василий Степанович, худой и высокий, в черном пиджаке, с галстуком и в соломенной шляпе; видно, жара ему была нипочем. На груди была приколот орденская жидкая планка с тремя ленточками. Он приподнял шляпу и сказал:

- Ивану Семеновичу и всем товарищам добрый день и поздравления с праздником!

Василий вперед всех вылез:

- Тем же концом, по тому же месту! - и захохотал. На него никто не обратил внимания, а Валерий Ефимович поднялся и пожал руку учителю.

- С праздником! - сказал Иван Семенович, после Валерия Ефимовича пожимая руку.

Учитель поднял высоко голову и, придерживая шляпу, долго смотрел на небо.

Как бы следуя его примеру, все вдруг стали смотреть на небо: не появилось ли там чего интересного. Но интересного там ничего не было.

- Жарко, - опустив, наконец, голову, сказал учитель.

- Жарко, - повторил Иван Семенович. Подошли женщины. Антонина сказала:

- Да, ноне очень жарко.

- И не говори, - поддержала Вера, оглаживая свое платье на бедрах и поглядывая на Василия, который закашлялся от непослушного "беломора".

Василий перехватил ее взгляд, бросил папиросу под ноги и затоптал ее.

- Много наших прекрасных людей полегло на войне, - сказал учитель и, плотно сжав губы, сильно выпустил воздух через нос.

Все опустили головы в землю.

- Да, как мух, - сказал Валерий Ефимович.

- Люди - не мухи, а мухи - не люди, - сказал учитель.

- Это да, - согласился Валерий Ефимович и добавил: - это я фигурально выразился.

Учитель сделал несколько шагов вперед, сцепил руки за спиной, развернулся и сделал несколько шагов назад, как бы размышляя на ходу, сказал:

- Конечно, фигурально выразаться приятно. Фигурально - мы все хабрецы...

- Это да, - согласился Василий.

- Конечно, - сказал Валерий Ефимович и пригладил косую челку на лбу, сильно от размышлений наморщенном.

Уловив напряжение, возникшее в компании с появлением Василия Степановича, Иван Семенович сказал:

- А не пора ли нам вернуться к столу? И Василия Степановича пригласить, а?! - посмотрел он на учителя.

- Зайду в честь праздника, - сказал он просто и, подумав, вдруг запел:

Вы слышали как поют дрозды...

Виктор подладилась на своей гармошке, так, с этими "дроздами", дошли до дому и уже хотели заходить внутрь, как учитель, закончив песню, предложил вынести столы в сад.

В саду около дома была тень. Яблони начали убираться нежно-розовыми цветами, а вишни, точно присыпанные пушистым снегом, стояли, как говорят в народе, чистыми невестами. Под стать вишням у забора сильно цвела дурмящая запахами черемуха.

- Рано ноне зацвело все, - сказала Антонина.

- Рано, - сказала Вера, но сирень еще не тронулась.

Все посмотрели на сирень, а потом перевели взгляд и на рикиту, верхушку которой приветливо румянило солнце. Одним словом, сад неподвижно млеет и нежится в душистом и жарком, как дыхание, воздухе. Пчелы с веселым жужжанием пронеслись над цветами, тормозили, клубились, а когда отлетали с добычей, попадая в солнечные лучи, то сверкали и казались золотыми.

Вынесли столы, посуду, закуски и выпивку. Стулья выносить не стали, так как они впивались тонкими ножками в землю и сидеть на них было неудобно, да и просто небезопасно. Сели на лавки и на скамью, которая была врыта в саду за домом. Тот, кому случалось в жаркий весенний день сидеть за столом в саду, помнит высокое синее небо, едва заметный шелест и шорох ветвей деревьев, самозабвенное, до отрешения от всего существующего, упоение влажно-душистым весенним воздухом.

Учитель поднял праздничный тост, затем, отвернув тыльную сторону ладони губы, с придыханием заговорил:

- Я вот смотрел, знаешь, в небо. И вы смотрели в небо. Как это прекрасно, просто смотреть, знаешь, в небо. Но опасайтесь вникать в смысл этой красоты. Красота, товарищи, не любит смыслов. Она бессмысленна. Отрешитесь от всяких, это, умных мыслей, разъедающих душу. Откройте свою душу одной только тихой русской красоте!

Иван Семенович облокотился на край стола и подпер голову кулаком. Он смотрел на яблони, в разрядке листы которых виднелось голубое небо. Он как бы иллюстрировал мысли учителя. По губам Ивана Семеновича бродила какая-то подмывающе-бодрая, слегка

лукавая усмешка. Этой усмешкой он как бы говорил, что относится к учителю, как к ребенку, наивному, несмышленому. Ну что говорить о том, что и так ясно. Это все равно, что говорить о том, как хорошо посидеть на май в саду, попить водочки с хорошей закуской, попеть.

Все чувствовали себя с учителем скованно, как с человеком другой породы, или другого сорта. И все знали, что он будет говорить не по-русски. Вроде русскими словами, но не по-русски. Ну, кто в России говорит о небе, о красоте?! Ясно и так, кто.

- Витька, ты готов? - спросил Иван Семенович.

- Готов, - сказал Виктор, беря гармошку на колени и расстегивая застежку. - Чего играть-то, папка?

- Давай нашу, - мечтательно сказал Иван Семенович и запел:

За столом никто у нас не лишней...

Он пел с душой, торжественно и плавно, сильным баритоном; у него был отличный слух, данный ему природой, которая через этот простой голос как бы говорила, что счастье вещь нелегкая, счастье очень трудно найти внутри себя и невозможно найти где-либо в другом месте.

Лучше всех Ивану Семеновичу подпевал Валерий Ефимович высоким голосом, с тем прекрасным напряжением, когда на шею дрожит каждая жилка и звук посылается в кость, не колуается в глотку, а вылетает в зубы, тем более такие, как у Валерия Ефимовича, стальные.

Но и Василий не отставал, пел очень серьезно, даже проникновенно, закатывая как-то по особенному глаза, однако у него все равно выходила и из этой песни какая-то бластная.

Виктор тоже пел, но не громко, он как бы весь был обращен в слух, склонял голову над гармонью то левой, то правой стороной, иногда наклоняясь так низко, что касался ухом гармони.

Женщины пели громко, громче обычного, почти что с надрывом, пуская петухов, визгливо подчеркивали окончание строки, ныряя в новую песенку, забега вперёд, так что Виктор, как хормейстер, иногда косился на них с улыбочивой укоризной.

Татьяна и Марина слов не знали, но тоже что-то мычали вместе со всеми.

Не пел только Василий Степанович; он в данном случае был настоящим слушателем, внимательным, понимающим, ироничным,

как будто он все знал о жизни и о счастье, чтобы жить вполне обдуманно и извлекать из собственного опыта пользу; он любил вечером, прежде чем заснуть, прокрутить в уме все то, что им сделано в течение дня.

Его жена работала учетчицей на отделении, дочь вышла замуж за корейца и уехала в Сеул после института. Теперь она писала, что в Корее лучше, чем в России, а почему лучше, не объясняла.

- Василий Степаныч, так просто, знаешь, не сиди, пей или пой! - закончив песню, сказал Иван Семенович.

Василий Степанович сдвинул свою соломенную шляпу на затылок (он так и сидел за столом в шляпе) и глубокомысленно сказал:

- Я все думаю, знаешь, вот о чем. Политически и практически, это, Россия не может утратить своего влияния на мир... Потому что Россия, знаешь, не подлежит дальнейшему делению или сокращению. Ну ладно, отдали Прибалтику, но Чечню не отдадим. Она как, знаешь, перец в борще. Итак, во-первых, геополитическое положение, это, России таково, что ни одна держава не может, знаешь, покорить нас. Мы непокоряемы по причине Таймыра. Мы будем отступать до Таймыра и любой американец подохнет в снегах где-нибудь под Верхоянском при температуре минус 48 градусов. Нам нельзя вступать с ними, знаешь, в компьютерную игру, понимаете. Никаких компьютеров, связь осуществляем проводными телефонами, раскручиваем катушки и говорим в трубки. А то они нам, знаешь, Ирак подкинут...

Василий ударил вилкой по бутылке, ехидно ввинтил:

- Лекцию, знаешь, не заказывали!

Учитель, захмелевший, пропустил это мимо ушей. Он продолжал:

- Можно, конечно, до Москвы дойти, даже отдать ее, как Наполеону! Но удержать нас, это, невозможно. Придет наша сволочная, знаешь, зима и прибудет любого француза. Мы можем даже исследовать вопрос методически, знаешь... Осмелюсь заявить, что именно в Конституции 1993 года заложен, это, вечный конфликт между демократической исполнительной властью и консервативной, не желающей идти в светлое будущее представительной властью...

- Лекцию, знаешь, не заказывали! - повторил Василий.

Учитель посмотрел в его сторону и сквозь него, как будто Василия вообще не было не только за этим столом, но и на свете.

- В чем смысл партийного строительства в нашей стране? - чуть повысил голос Василий Степанович и встал из-за стола, уронив та-

бурет. - Всенародно выбранный президент, как гарант, это, прав и свобод граждан своей страны должен если уж не ходить в парламент, то, по крайней мере, уважая волю народа, формировать исполнительную, знаешь, власть с учетом расстановки сил в парламенте, а по большому, это, счету в обществе. Именно в этом должен заключаться механизм общественного согласия...

За столом начало возникать некоторое напряжение, но Иван Семенович успокоительно прижимал ладонями воздух к столу.

- Сегодня же исполнительная, знаешь, власть, находясь на непримиримых позициях по отношению к власти представительной, забывает о Таймыре. Прошу выпить! - Василий Степанович отыскал глазами бутылку, но Валерий Ефимович опередил его и налил ему.

Василий Степанович поднял лафитник и сказал:

- За нового Петра Первого, который перенесет столицу России на Таймыр! - и выпил.

С головы свалилась шляпа.

Василий Степанович сел, но табурет лежал, и учитель оказался лежащим.

- Это, знаешь, не дело! - сказал Иван Семенович.

Учителя подняли, отряхнули, усадили, надели шляпу.

- Конечно, - заплетаясь, продолжил тот, - в глазах кого-то на Западе уезжающий на "джипе" гарант покажется... В общем так: первым на Таймыр уезжает гарант, за ним все эти новые русские на "джипах"... Банкиры там всякие и прочие чубайсы... Ставят палаточный город и Павла Корчагина реально изучают с кайлом и лопатой, знаешь... А то распустились, пупы мира, знаешь! Долой их, паразитов, из Москвы! Пусть осваивают залежные и целинные земли...

- Лекцию не заказывали! - с хохотом вставил вновь Василий.

А ловкий Валерий Ефимович налил учителю и произнес тост:

- За отъезжающих в новую столицу!

Василий Степанович с удовольствием выпил и минуты через две, пытаясь закусить соленым огурцом, упал под стол. Его тут же поставили дыбком, путаясь в длинных руках, висевших плетьюми, попытались усадить за стол, но он валился опять; тогда Иван Семенович, взорвав от возни, положил его руку себе на плечо, обхватил за пояс и повел, волочащегося, домой на край села.

Выбежала юркая - пестом в ступе не поймаешь - черная собачонка тракториста Гаврилова и, трусясь обок, вдохновенно облаивала идущих.

Изредка очухиваясь, учитель кричал:

- На Таймыр их, знашь! - и опять вял ботвой.

Здоровый Иван Семенович похлопывал его и бормотал с подначкой:

- А столицу-то как назовем?

Жена учителя, полная, неповоротливая, краснощекая, растрепанная и вспотевшая, сидела в горнице и строчила на швейной машинке.

- Ну, привели демократа, - усмехнулась она, откусывая нитку.

...Как-то быстро, резко стемнело и стихло в селе, не играла гармошка, не горели огни, словно все тут вымерли, только где-то далеко-далеко, должно быть, на железной дороге, раздавались тоскливые, протяжные, тянущие нервы гудки тепловоза. Виктор, покачиваясь, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в обложной, кромешной тьме, двигался за околицу медленно, осторожно, чтобы не упасть и не уронить Ольгу, чью руку он крепко сжимал в своей руке.

Звучит закадровый голос: "Мы привыкли к тому, что кинематограф экранизирует прозу и что оба - в удачном случае - оказываются в выигрыше. Кино не только популяризирует, но и актуализирует первоисточник: обращает на него внимание читателя. Так что же такое счастье? Хотелось бы, чтобы счастье пришло не как случай, а как заслуга. Труд, который создает все материальные и культурные ценности, труд, который делает нашу страну все богаче и сильнее, - этот труд стал самой жизненной потребностью миллионов россиян, источником их настоящего человеческого счастья".

На экране - армия тракторов на бескрайнем поле. Их гул перекрывает мажорная мелодия. Экран темнеет. Вспыхивает надпись: "Конец фильма".

*"Наша улица", № 5-2001,
а также в книге "Родина",
Москва, издательство "Книжный сад", 2004.*

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

повесть

Рядовому Виноградову бросился в глаза распластанный на стене красный щит с белым, как и положено в армии, текстом. Виноградов из любопытства напрягся и медленно, с улыбкой удивления прочитал: “Излишнее многословие способствует распространению цивилизации и культуры”. Но ничего не понял в этой чудовищной ахинее. В учебной части, располагавшейся в красном замке какого-то бывшего польского магната, он видел лозунг: “Болтун - находка для шпиона”. Коротко и ясно! А тут! Виноградов подозрительно огляделся: куда это он попал? И для разрядки чуть слышно запел:

Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
Только слышно - на улице где-то
Одинокая бродит гармонь...

Виноградов любил петь, и пел хорошо, у него был отличный слух и приятный голос. Бывало, в деревне, в престольный праздник, да и так, без повода, сядут за стол, как следует, выпьют и запоят, затаянут что-нибудь родное, а Виноградов - солирует. И вся жизнь ему представлялась застольем с песней. А без застолья глагол “петь” сиротел, нужна ему была пара - “пить”, тогда и петь хотелось, и никакой там сиротливости не возникало.

Станция между тем была пустынна. Виноградов вышел из единственного вагона, прицепленного к тепловозу. В этом странном вагоне были мягкие кресла, кремовые шторы на окнах, витал запах кофе, и на каждом столике - розы в хрустальных вазах. Смущенный этим антуражем, Виноградов, дабы не пачкать сидений, спал в проходе на бушлате, сапоги не снимал, портянки на голени-

цах не развешивал. К сапогам не привыкать, всю жизнь проходил в сапогах, иначе нельзя – грязь.

Когда уезжал из учебной части, командир роты, кривоногий толстяк, тоже деревенский, свой, понимающий, пропустив стакан и, обняв Виноградова, который выпил уже два стакана, сказал, что направляет Виноградова для прохождения дальнейшей службы в лучшую строевую часть: на станцию Энгельгардтовскую! Виноградов несколько раз повторял это название, чтобы оно улеглось в его памяти, хотя память у него была крепкая. И в Брянске повторял, где делал пересадку с киевского поезда. В Брянске видел красивый дом с белыми колоннами и был на шумном рынке, где сообразил в палатке у какого-то молдаванина четыре стакана “красенького”, похожего на уксус. Потом его угощали какие-то усаые запорожцы. Потом пил с узбеками, сидя на дынях и закусывая этими дынями. Потом с вологодскими откушивал мутный самогон и запивал огуречным рассолом. Потом долго искал рюкзак и скатку на том же рынке. Подарил какому-то цыганенку звезду с шапки, отколол и отдал; на шапке осталась на сером фоне тень от звезды. Затем в пьяном угаре плясал русского. Кто-то принес рюкзак, кто-то скатку. Ноги от изнурительного пьянства волочились. Последнее, что Виноградов смутно помнил, это как его вообрал в себя какой-то серебристый сгусток света овальной формы с очертанием небольшого купола наверху.

Когда тепловоз подходил к станции, Виноградов сквозь болезненное похмельное состояние как бы видел надвигающийся на него из темноты яркий луч прожектора, в котором кружились снежинки. Виноградов стоял в тупике в свете надвигающегося теплового с басовитым гудком и тяжелым фырканием. Потом увидел самого себя, выходящего из единственного вагона. Снег не ложился на платформу: уклонялся в сторону, словно какая-то воображаемая крыша не давала ему этой возможности. И что особенно поразило Виноградова – по всей платформе была раскатана бордовая ковровая дорожка. Ждали, что ли, кого? Боязно было ступить сапогами по ней, однако, Виноградов тут же заметил вращающиеся мохнатые щетки автомата для чистки обуви, подошел и с удовольствием начистил свои кирзовые сапоги.

Голова гудела, как тепловоз. Вот бы сейчас выпить и поесть солений: рыжиков, груздей! И потом спеть с чувством что-нибудь. Виноградов старался что-то припомнить, но припоминалось толь-

ко одно - что, кажется, вчера он ходил вприсядку перед цыганенком, во лбу которого ярко горела красная звезда. Виноградов покопался в карманах и среди семечек набрал рубль мелочью. Огляделся в поисках станционного шалмана. В застекленной будке сидел благообразный, горбоносый, как Наполеон, офицер и увлеченно читал книгу. Специально высоко держал ее, чтобы Виноградов заметил название. Но Виноградов и не взглянул на книжку. Никогда ему на ум не приходило почитать книгу.

- Товарищ капитан! - обратился Виноградов к дежурному, считав маленькие звездочки на погонах. - Где тут у вас магазин?

Офицер снисходительно улыбнулся, разглядывая Виноградова: его огромные синие глаза, с прелестью вечного недоумения в них, подпольного проказничества и смелости, румяные щеки, белый вихор, выбивавшийся из-под шапки, надетой задом наперед, так что содранной звезды не было видно. И чем-то Виноградов походил на жеребенка. Офицер строго сказал:

- Разве вы не видите, что я читаю "Цветы зла" Бодлера?

- Не-а, не вижу...

- Повторите за мной вслух: "Цветы зла", и голова ваша пройдет.

- "Цветы зла", - произнес Виноградов и почувствовал невероятное просветление, как будто вышел на зорьке косить траву.

- Вот и прекрасно, - сказал офицер. - А то вы своим магазином хотели сразу поставить меня на одну ступень с вами, по всей видимости, полагая, что дежурный станционный офицер тоже, как и вы, не в состоянии овладеть всем богатством поэзии. Это не так. За многие годы службы я перечитал всю мировую поэзию...

У Виноградова на лице постепенно появлялась пугливая улыбка от непонятных речей офицера.

- Да я что, - сказал Виноградов, озираясь, - читайте, если делать нечего...

Офицер чмокнул губами, вытянул по-лебединому шею, встал (он был строен и подтянут), согнал складки гимнастерки назад и сказал:

- "Цветы зла" вы должны выучить здесь же, на станции. Иначе вас придется отправлять в другую часть.

И протянул Виноградову книжку. У того от напряжения выступила испарина на лбу. В другом бы месте он бы сам дал почитать кому следует! Так бы дал, что грамотку окончательно бы забыл. А здесь была армия. Нужно было подчиняться старшему по званию.

Что в уставе записано? Правильно. Виноградов боязливо, как горячий утюг, взял книжку и отошел в сторонку, косясь на придурочного офицера. Тот сел и взял другую книжку, уперев в нее восхищенные глаза. Виноградов даже сплюнул в сердцах. Как ни направлял на Виноградова обложку офицер, Виноградов читать название новой книжки не стал. Бочком отошел и сел в кресло. Кресло стояло под пальмой в кадке. Виноградов расслабленно откинулся к спинке, вздохнул. Почему-то вспомнились нити сухеных грибов на косяке двери, а в углу - большой образ Спаса, с горячей лампадой. Мать ухватом вынимает из печи чугунок с картошкой в мундире. И все-то кругом в деревне деревянное, по-русски, не то что здесь! Еще даже не раскрыв эти самые "Цветы зла", Виноградов заметил за кадкой лыжи. Мелькнула мысль сбегать в самоволку. Что за прелесть для солдата - самоволка! В захолустном украинском городке, где располагалась учебная часть, Виноградов через день бегал в самоволку. К Зинке и за самогоном. Доску в заборе за складами отодвинешь - и ты среди хат и мазанок!

Виноградов затаился и почувствовал дрожь во всем теле от предвкушения самовольной отлучки. Раскрыл книжку, сделал вид, что читает, встал, надел лыжи и, держа книжку перёд глазами, пошлепал на лыжах по ковровой дорожке в конец платформы. Там съехал под уклон по снежку, и пошел вдоль линии железной дороги. Серебрились рельсы, ясное небо сияло звездами. Хорошо было идти на лыжах по морозцу. Но, не пройдя и ста метров, Виноградов с изумлением обнаружил конец железнодорожного пути. Рельсы обрывались перед тупиковой полосатой шпалой. Дальше было голое заснеженное поле и черный лес вдалеке.

Виноградов смотрел на тупиковую шпалу и никак не мог понять, откуда же он сам приехал в вагоне. Развернулся и пошел назад, по своей же лыжне, обследовать путь. Может, где-нибудь ответвление прозевал. Но путь был прям, как линейка. На Виноградова смотрели два красных глаза концевого и единственного вагона! Елочкой поднявшись на платформу, Виноградов на лыжах прошлепал мимо офицера в будке, уже не показывая, что он что-то там читает, а, сунув книжку в карман шинели, прошлепал сосредоточенно в другой конец платформы. Уклона для съезда на лыжах здесь не оказалось. Здесь было ограждение. Внизу, в конце пути, такая же тупиковая полосатая шпала в ярком луче прожектора тепловоза. Черное, белое, черное, белое.

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРТОВСКАЯ

Виноградов сначала очень испугался безвыходности положения, но потом подумал, что это, должно быть, очень засекреченная часть, мол, для шпионов - кругом тупики, а для наших - есть выход, только нужно освоиться, не спешить, войти в курс дела. Может, этот самый тепловоз под землей тут как ходит? Мало ли что. Недаром же нас весь мир страшится. Понапридумывали черт знает что, свои-то никак не разберутся. С этими мыслями Виноградов подошел на лыжах к креслу, сбросил их и поставил на место за кадку с пальмой. Достал из кармана Бодлера и сел в кресло. Приступил к заучиванию стихов, прочитав по слогам первое четверостишие первого стихотворения под названием "Вступление":

Безумье, скарედность и алчность и разврат
И душу нам гнетут, и тело разъедают,
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомые и жалят и язвят...

В этот момент тепловоз дал гудок и тронулся, содрогая землю. Куда он, там же тупик, нет пути? Виноградов уронил книжку на колени, во все глаза наблюдая, как тепловоз миновал тупик и исчез в чистом поле. Виноградов хотел от невероятности происходящего выдать трехэтажно на врожденном языке что-нибудь, но против воли чеканно выпалил начало:

Безумье, скарעדность и алчность и разврат...

Офицер из застекленной будки видел, как Виноградов произнес это наизусть и подумал, что минут через двадцать вся книжка Бодлера будет освоена. Виноградов тоскливо икнул и заговорил стихами. Эх, назад бы, в учебку! Думал об учебке, а рот говорил стихами. С нежностью вспоминалась тусклая казарма, двухэтажные койки, мрачная столовая с длинными столами, клуб, где давали "фильму"... А рот все говорил и говорил стихами этого самого Бодлера, страница мелькала за страницей, пока, наконец, не произнес последнее четверостишие книжки:

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,

На дно твое нырнуть - Ад или Рай - едино! -
В неведомого глубь - чтоб новое обрести!

Не понимая, отчего это так развилась у него тяга к стихам, Виноградов доложил офицеру, что всю книжку вызубрил. Офицер навскидку проверил закрепленный материал из разных мест книжки, и на все-то вопросы получал от Виноградова чеканные цитаты.

- Поздравляю, что и вы подтянулись по строевой поэзии! - похвалил офицер.

- Почему "строевой"? - удивился Виноградов.

- Потому что под Бодлера мы ходим строем на завтрак, обед и ужин!

Виноградов болезненно поморщился и подумал о том, что лучше уж уголь разгружать и бревна ошкуривать, как в учебке, чем тут с вами дурью маяться.

- Куда же мне, товарищ капитан, идти теперь? - спросил он. - Стишки-то освоил я.

- Теперь прямой дорогой, в штаб гвардейского полка! - сказал офицер, указывая за кадку с пальмой, откуда начиналась дорога в гарнизон, которую раньше Виноградов как бы и не замечал.

Хорошая дорога, асфальтовая, снежок убран в аккуратные кучки, фонари светят как днем. Впереди - синие ворота с красными звездами. Будка часового. На часах - строгий усатый солдат, вроде чеченца, в белом полушубке, с автоматом.

- Пароль? - спрашивает.

- "Цветы зла"! - бодро отвечает Виноградов.

- Проходи! - разрешает часовой через окошечко и механически открывает огромные ворота со звездами.

Виноградов увидел широкий бульвар со строем заснеженных лип, со скамейками, тоже заснеженными, с памятником. Памятник - это как положено. По углам фонари из прошлого века так и сияют. И голова у памятника склонена, тоже как положено по уставу. Чтоб знали, кому этот памятник, подписали: "Бодлер", - прочитал Виноградов. Вот он, значит, какой такой будет этот Бодлер, вгляделся в золотисто-зеленоватый огромный монумент Виноградов. Справа и слева бульвара тянулись двухэтажные желтые дома, некоторые с пряничными белыми колоннами, барельефами, атлантами, поддерживающими балконы. Который дом из них штаб гвар-

дейского полка? Бульвар и дома вдоль него уходили в такую далекую перспективу, что Виноградов растерялся, где этот самый штаб искать. Пуст был бульвар. Виноградов решил заглянуть в первый попавшийся подъезд. В фойе за барьером сидела полная женщина, с маленькими накрашенными губками, в военной форме, в звании лейтенанта. Виноградов смутился, но все же спросил:

- Разрешите обратиться, товарищ лейтенант?!

- Извольте, сударь, - машинально сказала женщина, продолжая что-то то ли читать, то ли писать за своим барьером. А от нее запах французских духов так и бьет в нос Виноградову.

- Мне нужен штаб гвардейского полка!

- Бульвар Бодлера, дом сто сорок восемь, - так же машинально сказала женщина-лейтенант, не поднимая глаз.

Виноградов еще раз с удовольствием вобрал в себя запах французских духов и вышел из теплого фойе на мороз, и на углу дома повстречал первую колонну. Это шла в ногу, чеканя шаг, какая-то рота, вся в белых полушубках. Над ротой зависла строевая песня на слова Бодлера:

Какой напиток в трепкой пене
Я залпом выпью,
Какие звезды упоенья
В туман просыплю!

Это из "Танца змеи", узнал слова Бодлера Виноградов и зашагал вперед, поглядывая на номера домов. Вдруг взгляд обожгла вывеска: "Военторг". Рука в кармане нащупала рубль мелочью. Смело вошел в магазин. За прилавком - грудастая блондинка с выщипанными бровями, в звании старшины, в пилоточке. А выбор! Выбор на полках! И "шип", и "тройной", и "цветочный" по двадцать восемь копеек!

- "Цветочный" и конфетку! - бодро попросил Виноградов, высыпая мелочь на прилавок.

Грудастая блондинка отсчитала длинными наманикюренными ноготками нужную сумму, остальное отодвинула в сторону. Виноградов тут же эту сторону ссыпал назад в карман, принял с ликованием "цветочный" и карамельку. Блондинка подозрительно как-то взглянула на него и рассмеялась. Виноградов не обратил внимания на этот смех, выскочил на улицу, скрутил пробку с фла-

кона, и тут же, на ходу, каплю за каплей, горлышко узкое, льется плохо, влил в себя весь флакон. Однако закусывать конфеткой не пришлось: сладок был одеколон, сладок, как лимонад! В злобе Виноградов взгляделся в этикетку и прочитал: “Энгельгардтовская фабрика безалкогольных напитков”! Вот паразиты! Свинство всегда торжествует. Голова была ясная, не болела, а выпить, вот что интересно, хотелось! Подумав, Виноградов вернулся в военторг.

- А “шипр” покажите? - смущенно попросил он.

Блондинка, как ни в чем не бывало, протянула ему “шипр”. Нормальная зеленая жидкость. Взгляд на этикетку - та же самая надпись, тем же самым шрифтом! Виноградов переступил с ноги на ногу, посопел.

- Мне бы чего-нибудь со спиртиком, прижечь фурункул на колене, - сказал он.

- Со спиртиком у нас ничего не бывает, - сказала блондинка. - А с фурункулом - в медсанчасть, пожалуйста, господин!

- Какой я такой господин! - обиделся Виноградов. - Что вы придумываете обо мне, товарищ старшина!

- Так положено по уставу, - сказала блондинка.

- Давайте лучше познакомимся, - сказал Виноградов и протянул руку к груди продавщицы.

Та, казалось, никак не отреагировала, но как только Виноградов сжал крепкую грудь под гимнастеркой, тут же получил удар по уху, резкий такой, отрывистый.

- А вот драться не обязательно! - крикнул он.

Блондинка сняла с полки книжку и положила ее на прилавок.

- За то, что вы взяли меня за неприкосновенную часть моего драгоценного тела, вы должны купить устав.

Виноградов, потирая горячее ухо, прочитал на обложке:

“Устав истинного учения по несению гарнизонной жизни”.

- У меня денег нет, - сказал он.

- Есть. Цена устава две копейки.

Виноградов покопался в кармане, высыпал мелочь на прилавок, продавщица острым ноготком выловила двушку, тут же раскрыла книгу, а Виноградов, как дурак, против воли, стал читать написанное вслух:

- Истинное учение научает людей высшему добру - обновлению людей и пребыванию в этом состоянии. Чтобы обладать высшим благом, нужно 1) чтобы было благоустройство во всем наро-

де. Для того чтобы было благоустройство во всем народе, нужно 2) чтобы было благоустройство в семье. Для того чтобы было благоустройство в семье, нужно 3) чтобы было благоустройство в самом себе. Для того чтобы было благоустройство в самом себе, нужно 4) чтобы сердце было чисто. Для того чтобы сердце было чисто, нужна 5) правдивость, сознательность мысли. Для того чтобы была сознательность мысли, нужна 6) высшая степень знания. Для того чтобы была высшая степень знания, нужно 7) изучение самого себя.

Текст кончился, книга закрылась. Виноградов облегченно вздохнул. Блондинка протянула ему книгу. Виноградов нехотя сунул ее в карман и обреченно покинул военторг. Одеколоны без спирта, уставы какие-то... Да, совершенства нет на земле! В раздумье вспомнилось из Бодлера:

Будь мудрой. Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь Сумрака? Уж Вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим - ярмо забот.

Из груди Виноградова вслед за стихами вырвалось отчаянное:
- Неужели мне в этой дыре два года трубить?!

Скрипнул зубами, смахнул слезу и зашагал проворнее. Вон дом двадцать мелькнул, двадцать два, двадцать четыре... Черт знает что! Подвез бы кто-нибудь, что ли?! И как раз в этот момент сзади послышался шум мотора. Виноградов неуверенно проголосовал. "Козел" притормозил, приоткрылась дверца. За рулем сидел маленький, тощий, с кудрявыми бакенбардами сержант в дубленке.

- Подбрось, корешок, до сто сорок восьмого дома, - попросил у него Виноградов.

- Так я в ту степь и еду, - весело сказал сержант какими-то незнакомыми словами, но Виноградов их понял. - Садитесь, пожалуйста. Новичок?

- Да вот, сегодня прибыл, - сказал Виноградов, забираясь в машину.

- Откуда?

- Да с учебки.

- Нет, я не об этом, сударь. Родом откуда будешь?

- Деревенский я... С-под Рязани...

- Не слышал, - сказал сержант.
- Чего, Рязани не слышал? - удивился Виноградов.
- Нет.
- Ну, ты, корешок, даешь! - воскликнул Виноградов, оглядывая проплывающие по сторонам, бульвара дома. - Рязань! Дурья твоя голова!

- Да не слышал я такого названия! - очень серьезно сказал сержант. - Где это?

- Так, - сказал сам себе Виноградов. - Понятно. Разыгрываешь. Эта, блондинка, продала какой-то устав за две копейки...

Виноградов полез за ним в карман, а шофер тут же сказал:

- Да это она тебе Конфуция подсунула... Китайцы выпустили двести миллионов экземпляров и все никак реализовать не могут. Там же иероглифы, по-китайски напечатали...

- Это что ж получается, - раскрыл книгу Виноградов и, действительно, обнаруживая иероглифы, - я по-китайски читал?!

- А чего такого, - усмехнулся шофер.

- Сам-то ты откуда? - спросил Виноградов.

- Из-под Парижа, - сказал сержант. - Версаль слышал?

- Не-а, не слышал... Ты кто? - вдруг сообразил Виноградов. - Француз, что ли?

- Ну не китаец же! - воскликнул сержант. - Дембель через месяц!

Виноградов отупело уставился на дорогу. Что ж это такое? Как это такое может быть, чтобы русский и француз в одной армии служили?! Виноградов вполголоса, будто что-то вспоминая, запел:

Сегодня в доках не дремлют французы,
На страже мира докеры стоят.
Мы не допустим военные грузы!
Долой войну! Везите смерть назад!

Это он вспомнил "Песню французских докеров", которую час-то заводили по радио в детстве.

- Хорошо поешь! - похвалил француз.

- А как же ты по-русски выучился говорить? - осторожно спросил Виноградов.

- Я и не учился. Говорю всю жизнь по-французски.

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

- Как это - по-французски? Я же тебя понимаю...

- То-то и оно! Сам в толк не могу взять. Без малого три года от-бабахал здесь, а ничего не понимаю! - воскликнул сержант. - Тут ребята с Америки есть, с Германии, с Китая в роте охраны...

И все в одном гарнизоне...

- М-да, - недоумевая, вздохнул Виноградов и тут же вспомнил и бодро запел:

Русский с китайцем братья навек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас!
Слушают нас!
Слушают нас!

Припев грянули вместе с французом:

Москва - Пекин!
Москва - Пекин!
Идут, идут вперед народы,
За светлый труд,
За прочный мир,
Под знаменем свободы!

Подъехали к штабу гвардейского полка, белоколонному особняку. "Козел" с французом порулил дальше, а Виноградов вошел в автоматически открывшиеся перед ним стеклянные двери. На месте дежурного сидел майор с профессорской бородкой и, паразит, читал "Цветы зла"! Рядом устав этого самого козла Конфуция! У Виноградова так всё внутри от этого и опустилось. Рот сам открылся и проскандировал:

Я - трубка автора стихов.
Я - деревянная фигурка
С головкой кафра или турка:
Знать, у поэта вкус таков.

И вытянул руки по швам. Майор, почесав бородку, удовлетворенно кивнул и сказал:

- Очень рады вам, господин Виноградов! С прибытием в inferнальный гвардейский полк!

- Служу Советскому Союзу! - заорал как положено Виноградов.

- Молодцом, молодцом! - похвалил бархатистым голосом майор и поднес к уху радиотелефон. - Так, вас, господин Виноградов, направляю в ТЭЧ! Дом восемь по переулку Второму Бодлеровскому!

- А что такое, товарищ майор, ТЭЧ? - с легким испугом спросил Виноградов.

- ТЭЧ - это ТЭЧ! Теоретическо-эстетическая часть! Идите!

- Слушаюсь! - сказал Виноградов и, повернувшись через левое плечо, вышел на улицу.

К подъезду подкатил тот самый "козел", подбросивший Виноградова.

Из машины вышел упитанный, маленького роста, генерал в папыхе, с красными лампасами на великолепно отглаженных брюках. Виноградов от страха застыл по стойке "смирно" и приложил руку к виску.

- Вольно, - детским голоском добродушно проговорил генерал и похлопал Виноградова по плечу. - Как там звучат заключительные строки из сонета "Красота"?

Виноградов моментально процитировал:

Я - строгий образец для гордых изваяний,
И, с тщетной жаждою насытить глад мечтаний,
Поэты предо мной склоняются во прах.

Но их ко мне влечет, покорных и влюбленных,
Сиянье вечности в моих глазах бессонных,
Где все прекраснее, как в чистых зеркалах.

- Прекрасно! - воскликнул генерал, и лицо его приняло возвышенное выражение. - Однако замечу, что датировка этого сонета вызывает споры. Иногда называется начало 40-х годов. Но формальное совершенство сонета и его редкая у Бодлера концепция красоты в неподвижном говорит, что сонет должен относиться к периоду 50-х годов, когда Бодлера искушала эстетика Готье и парнасцев.

Виноградов пытался внимать генералу (настоящего генерала он видел впервые), но ничего не понимал. Генерал, видимо, это почувствовал и сказал:

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

- Не смущайтесь, ничего, ничего. Я в ваши годы ни писать, ни читать не умел. Куда вас распределили?

- В ТЭЧ, товарищ генерал!

- Хорошо. Очень хорошо. Думаю, вам удастся определить точную дату "Красоты", - сказал генерал и, подумав, спросил: - Откуда родом?

- С-под Рязани...

- Не слышал... Ну да ладно, ступайте в ТЭЧ. Лучшее у нас подделение.

И ушел в подъезд. При слове "лучшее" Виноградова передернуло, он внезапно икнул, сердце стукнуло, пропало, чтобы через секунду вновь объявиться. Француз выглянул из окна "козла" и сказал:

- Генерал-то наш душа-человек! С Новой Зеландии... Везде есть хорошие люди...

- Где эту ТЭЧ-то искать? - спросил Виноградов обреченно.

- Да вон, за угол, четвертый дом справа, - сказал француз и уехал.

С горестным чувством Виноградов пошел за угол, и чтобы развеяться, запел негромко свою любимую:

Где найдешь страну на свете
Краше Родины моей?
Все края земли моей в расцвете,
Без конца простор полей!

И чуть громче - припев:

Светит солнышко
На небе ясное,
Цветут сады,
Шумят поля
Россия вольная,
Страна прекрасная,
Советский край, -
Моя земля!

Правильно говорили старики в деревне, что в армии уму-разуму научат. Не думал Виноградов, что здесь могут быть такие чуде-

са. А что делать? Бежать? Поймают, посадят! Будь проклята эта служба! Работал бы да и работал в колхозе, пользу приносил. Нет, обязательно нужно было призывать на действительную военную службу. Этого козла Бодлера учить! Пропади он пропадом! Генерал с Новой Зеландии, шофер с Франции! Эх, знать, сильна страна Советов, что всех в кулачок взяла. То-то ребята в учебке поговаривали об особых частях, мол, есть в стране такие части, что не приведи Господь! Весь, мол, земной шар опутали сетями шпионажа. Неужто и я угодил в самую секретную?! Почесав затылок, Виноградов вошел в желтобокое, с белой лепниной - грудастые какие-то девицы с венками и кубками, - здание ТЭЧ.

Из-за стола дежурного поднялся аккуратненький старший лейтенант в пенсне, как только Виноградов отдал ему честь и по форме доложил о своем прибытии. Книжке Бодлера "Цветы зла", которую заметил на столе, не удивился.

- Тэк-тэк, - сказал старлей, оглядывая Виноградова, и нажал кнопку на щитке приборов.

Тут же явился бодренький старшина, правда, лысый, и молча повел Виноградова в подвал. А там был комфортабельный склад. Старшина выдал Виноградову все новое, даже сапожки, кожаные, легкие. Но верхом совершенства была белая дубленка. Никогда и не мечтал Виноградов о таких полушубках, легких, с золотистым ярлыком на загровке: "Мэйд ин Энгельгардтовски".

- Вы знаете, износу не будет, - сказал старшина. - Все натуральное, никакой синтетики.

- Надо бы того, обмыть, что ли, - неопределенно сказал Виноградов, вспоминая, что каждую новую вещь в деревне положено было обмывать.

- Как это "обмыть", одежда же новая? - не понял старшина.

Виноградов даже повторяться не стал, понял, что старшина не местный, хотя, черт его знает...

- Товарищ старшина, а вы откуда, разрешите поинтересоваться, родом будете?

- Я местный.

Виноградов несказанно обрадовался.

- Так давайте выпьем!

- Я энгельгардтовский, - пояснил старшина, - и мы все тут - непьющие. Согласно Конфуцию. Нам нельзя. Сгорит заслонка.

- Какая заслонка?

- Это не нашего ума дело...

- А чьего ж ума?

Старшина выставил вверх указательный палец и поднял глаза на потолок, мол, там наш распорядитель. И только тут Виноградов догадался спросить:

- А Энгельгардтовская где находится?

- Как где? - удивленно переспросил старшина. - На Бодлере! - и рассмеялся, так для него был очевиден ответ. И для убедительности проскандировал:

Мне факты кажутся какой-то ложью шумной,
Считая звезды в тьме, я попадаю в ров...
Но Голос шепчет мне: "Храни мечты, безумный!
Не знают умники таких прекрасных снов..."

- Этого же нет в "Цветах зла"! - отреагировал Виноградов.

Старшина снисходительно улыбнулся, в его карих глазах блеснули дьявольские искорки, и сказал:

- Эх, салажонок! Ничего, наверстаешь. Это - из дополнений, из "Книги обломков"... Пойдем в сауну!

Тут же, в подвале, через дверь от склада, в прекрасном предбаннике, где кипел ароматный чай, Виноградов сбросил с себя кирзу и х/б, прожарился в сауне на полированной полке и обмылся в голубой огромной ванне. Надев чистое вискозное белье и шерстяную форму, пошел в сопровождении старшины на второй этаж, полагая, что попадет в казарму, но попал в номер 23, отдельную однокомнатную квартирку, с деревянной кроватью, креслами, письменным столом, на котором, разумеется, лежала книжка Бодлера "Цветы зла"... Чувствуя с дороги усталость, Виноградов прилег на кровать поверх одеяла, хотя знал, что в неположенное время это делать запрещается. Однажды в учебке, когда он вот так же прилег, старшина вlepил ему наряд вне очереди. И пошел Виноградов на кухню, в этот ад, мыть посуду. Пять тысяч курсантов в учебке, стало быть, пять тысяч железных тарелок, пять - кружек, а уж ложки - без счета. Пять ванн с кипятком, а в нее - засыпаешь горчичный порошок. Грудами кидаешь в ванны тарелки, кружки, ложки. Пар застилает взор. Потный, разбухший, с красными руками, вылавливаешь посуду из ванн и бросаешь ее на конвейер машины посудомоечной, в ней крутой кипяток. Едва к обеду успеваешь перемыть посуду с завтрака. И опять

грязную несут! Без передышки. Так спрашивается, стоило ли в неположенное время ложиться на кровать? Но здесь никто не видел, что он прилег. Можно было чуть-чуть отдохнуть до отбоя. А когда отбой? Только подумав об этом, Виноградов почувствовал сильный прилив головной боли. Эта боль преследовала его лет с двенадцати, с тех самых пор, как впервые напился на свадьбе сестры. Жених, - бывший матрос, налил ему полстакана... Ну и понеслось! То в овраге проснется, то в хлеву, то в МТС под колесным трактором - и вперед, похмеляться, с одной мыслью: как бы уклониться от работы. Так до самой армии. А уж провожали с таким грохотом, что очнулся только в бане учебки. И из учебки точно так же проводили. Вот и очнулся!

Голова просто стала раскалываться. Виноградов резко поднялся, так резко, что огненно-зеленые круги поплыли перед глазами. Он стоял у окна и тупо смотрел в темное небо, по которому плыли зеленые круги. Потом эти круги уменьшились, и цвет изменили - стали серебристыми. Голова перестала болеть, а серебристые точки с неба не исчезли. Это ж, звезды, решил Виноградов, но тут же отказался от этого решения, поскольку точки плавно и быстро двигались из левого верхнего угла окна в правый нижний. Красиво, ничего не скажешь! Виноградов пропел проникновенно:

Далеко-далеко,
Где кочуют туманы,
Где от легкого ветра
Колышется рожь,
Ты в родимом краю
У степного кургана,
Обо мне вспоминая,
Как прежде живешь...

Вдруг послышался чей-то голос:

- Построение на ужин!

Виноградов заученно согнал складки гимнастерки под ремнем назад, надел шапку и высочил в коридор. Подразделение быстро строилось в две шеренги. Виноградов, как это бывает с новичками, замешкался: куда ему вставать? Смущенно прикинул соотношение своего роста с ростом других солдат и нерешительно втиснулся третьим слева во втором ряду. Появился старшина, в шапке, оглядел личный состав и сказал:

- Рядовой Виноградов!

- Я! - испуганно выкрикнул Виноградов, краснея от столь поспешного внимания к своей персоне.

- Два шага вперед!

- Есть! - Виноградов положил руку на плечо впереди стоящему солдату, тот сделал шаг вперед и шаг в сторону, пропуская Виноградова.

Виноградов, выпячивая грудь, вышагнул из строя, лицом к старшине.

- Встаньте лицом к строю! - приказал старшина.

Виноградов, весь красный от волнения, довольно-таки уверенно выполнил команду "кругом", как и положено по уставу - не Конфуция, разумеется! - а внутренней службы, повернулся через левое плечо и со стуком приставил ногу, вытянув руки по швам и еще заметнее выпятив грудь. Старшина глазами одобрил движения и, выдержав малую паузу, сказал:

- Представляю пополнение: Виноградов, рядовой и... - Старшина на некоторое время замешкался, потом заглянул в шпалгалку и дополнил: - С-под Рязани.

Виноградов стоял столбом, видя, что его заинтересованно разглядывают "старики". Разглядывали так, будто он был каким-то чудом диковинным. Послышался шепот:

- С-под Рязани? Не слышали...

- Разговорчики в строю! - крикнул старшина.

Воцарилось молчание.

- Встаньте в строй! - сказал старшина Виноградову, и для всех: - Разойдись! Одеться! Построение на улице!

Все бросились по своим квартирам за дубленками. Надев ее, Виноградов столкнулся в коридоре с соседом из 22-го номера, быстро спросил:

- Что тут по небу летает?

Сосед рассмеялся над этим вопросом, сказал:

- Ночные полеты начались. Первая эскадрилья сегодня летает.

- На чем летает?

- Ну, ты даешь! - удивился сосед, и его сросшиеся густые черные брови совсем соединились в одну черту над глазами. - Тебя чему в учебке учили-то?!

Они спускались по мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой. Перила - в стиле модерн.

Чему? Виноградов начал вспоминать и ничего не вспомнил: потому что опять сильно заболела голова.

- Бодлероиды летают, дурья твоя голова! Со скоростью миллиард мыслей в секунду! Миллион солнечных систем проходят за час! - сказал сосед, выходя на улицу.

Виноградов про себя прошептал: "Цветы зла". Бодлер", - и голова тут же прошла.

Старшина, расставив ноги и убрав руки за спину, стоял у беседки, засыпанной снегом, наблюдал, как подразделение самостоятельно строится в колонну по три. Виноградов оказался в третьем ряду, как раз возле соседа из 22-го номера: росточком они были одинаковые.

- С песней "Парижский сон" ша-агом марш! - крикнул старшина.

Подразделение грянуло в ногу:

Пейзаж чудовищно-картинный
Мой дух сегодня взволновал:
Клянусь, взор смертный ни единый
Доныне он не чаровал!

Когда прошли вдоль фасада казармы, старшина подал команду:

- Левое плечо вперед!

Колонна, не нарушая рядов, свернула, выгибаясь как змея, направо и зашагала по переулку, оглашая его "Парижским сном". Остановились перед ярко освещенным величественным зданием. По одному вошли в фойе, с фонтаном посередине, с бронзовыми женскими фигурами, держащими в высоко поднятых руках матовые стеклянные шары светильников. "Старики" привычно сдавали полушубки гардеробщикам, которые все были прапорщиками. Виноградов отдал свою дубленку, подождал, когда ему дадут номерок. Но ждал напрасно, номерков никому не давали.

- А как же я узнаю свою? - спросил Виноградов у прапорщика.

- Скажешь: "23" - я и отдам, - удивленно ответил прапорщик.

Виноградов помедлил и еще спросил:

- А до меня кто был двадцать третьим?

- Он надясь дембельнулся. В Турцию свою уехал, - сказал прапорщик.

Пожимая плечами, Виноградов пошел за всеми в огромный зал со сводчатым потолком, расписанным в русском стиле богатырями в кольчугах и русалками чешуйчатými. На сцене играл симфонический оркестр человек в полтора: скрипки там разные, виолончели и прочее. Даже барабан большой увидел Виноградов. А в зале с роскошным паркетным полом, поблескивающим как стекло, стояли столики на четверых с белыми скатертями, с живыми красными, розовыми, опаловыми розами в хрустальных вазах. И аромат струился такой, как в оранжерее.

- Виноградов, чего застыл, давай к нам! - позвал его 22-й.

Виноградов робко сел на краешек мягкого стула, обнаружил перед собой несколько тарелок саксонского фарфора одна на одной, пару ножей справа от тарелок, пару вилок и пару ложек слева. Тут же возле тарелок фужер из толстого стекла. И, конечно, салфетки, свернутые конусом. Виноградов напряженно соображал: так, нормально, чего делать? Сосед заметил растерянность Виноградова, успокоил:

- Не бойсь, ща покормят! Расслабься. Меня Рафаилом зовут, - представился сосед и, кивнув сначала на одного, затем на другого сотрапезников, представил: - Это Тадеуш, а это Ивар.

- А ты откуда? - спросил Виноградов у Рафаила.

- Я с Варшавы, слышал?

- С Польши, что ли? - переспросил Виноградов.

- Ну да! А вон Тадеуш с Кракова.

- А Ивар? - спросил Виноградов, успокаиваясь в разговоре.

Рыжеволосый Ивар сам пробасил:

- Я с-под Лиепаи.

- А-а! С Эстонии! Это я знаю! - воскликнул Виноградов.

- Да не с Эстонии, а с Литвы, - поправил Рафаил.

- Да не с Литвы, чайник! С Латвии! - обиженно пробасил Ивар.

- Это не страны, а блохи какие-то, черт, все время путаю! - извинительно проговорил Рафаил.

К их столику официант в черном фраке, в бабочке, на фраке погоны старшего сержанта, подкатил коляску с серебристыми кастрюльками. Из первой он выложил на тарелки шипящие, фыркающие маслом, только что с огня, эскалопы в грибном соусе, из второй - отварной картофель в сметане, присыпанный укропчиком, из третьей - тушеные с морковью и специями баклажаны. Фужеры наполнил темным искристым напитком. Виноградов торопливо

схватился за фужер и жадно выпил его. То ли кофе, то ли лимонад, непонятно, но вкусно.

- Чего это я засадил? - спросил удивленно Виноградов.

- Кока-колу, - пояснил Ивар.

- Не слышал! - сказал Виноградов.

Официант, наблюдавший за Виноградовым, спросил:

- Вам еще чего-нибудь?

Виноградов, конечно, в другом бы месте заказал себе бутылку водки, но тут этот номер, он понимал, не проходил, поэтому поинтересовался:

- А вы, товарищ старший сержант, откуда родом?

- Я с-под Падуи, слышали?

- Не слышал, - сознался Виноградов, поражаясь, сколько всяких разных городов существует.

Вмешался Рафаил:

- Так то ж с Италии!

- А я думал с Украины, - сказал Ивар.

- Не "с" Украины, а "из" Украины, - поправил Тадеуш.

- Вот тебе раз! Я всегда говорю так: еду на Украину, приезжаю с Украины. Ведь говорим же - еду на Кубу...

- Это остров, - сказал Тадеуш. - А все страны на островах под это правило подходят. Например, еду на Мадагаскар, или на Гаити. Понял?

- Понял, - сказал Рафаил.

- Но Украина же не остров...

- Вот ты и сам ответил. Правильно, не остров. И не часть СССР!

- Ты спятил! - вскричал Виноградов.

- Я не спятил, - спокойно сказал Тадеуш. - Просто вы отстали от жизни. Украина - самостоятельная страна. Поэтому говорим: еду в Украину. Если Кубань станет самостоятельной, то перестанем говорить: еду на Кубань, а будем - еду в Кубань!

- Точно, - сказал официант и сообщил по секрету, что скоро Италия будет в составе СССР и все будут говорить: еду на Италию. Потом добавил: - На завтрак будут настоящие спагетти!

- Чего? - не понял Виноградов.

- То есть - макароны, длинные такие, тоненькие, как нитки, - пояснил официант.

- Так бы и говорили сразу, - обидчиво произнес Виноградов и принялся откусывать от целого эскалопа.

- Э, э! Стоп, динозавр! - остановил его Рафаил. - Положи мясо на место.

Виноградов недоуменно опустил вилку с наколотым на нее эскалопом на тарелку, вопросительно посмотрел на Рафаила.

- Так, - сказал Рафаил и принялся учить Виноградова, в какой руке держать вилку, в какой нож, как резать мясо и так далее.

Виноградов, державший вилку в деревне только по большим праздникам, да и то только до третьей рюмки - дальше закусывал руками, - довольно быстро освоился, поглядывал то на Рафаила, то на Ивара, то на сторонника независимости Украины Тадеуша, как они ловко пользовались вилкой и ножом. Конечно, неудобно было использовать левую руку, но ничего не попишешь - армия! Как говорится, всему научит. Что говорил Конфуций? Правильно. Виноградов ел и все про себя думал: ладно, если так кормят рядовой состав, то как же питаются офицеры?! А генералы? Уму не постижимо.

После ужина, когда одевались в гардеробе, Виноградов спросил у Рафаила:

- А теперь чего будем делать?

- Как чего, щас строим - в оперу! Сегодня дают "Парижский сон". Закачаешься! - и он, приставив пальцы к губам, причмокнул.

- Так "Парижский сон" строевая ж песня!

Бодлер неисчерпаем! - резюмировал Рафаил.

- Бод-лер, - повторил значительно Виноградов по слогам.

- Это наш генерал либретто заделал! - сказал Рафаил.

- А когда ж личное время? - огорчился Виноградов.

- Опера и есть - личное время, - спокойно пояснил, Рафаил, надевая дорожную дубленку.

Виноградов вспомнил, как в деревне мать сразу же выключала радио, когда начинали передавать оперы, приговаривая: "Ну, завели канитель".

- Двадцать три, - сказал Виноградов гардеробщику-прапорщику и получил свою белую, с белым же подбоем дубленку, погладил даже ее нежно, как гладил в детстве козу Машу.

Старшина, тоже одетый в дубленку, напоминавший гриб-боровик, переминался с ноги на ногу на морозце. Мигали огоньки гирлянд на заснеженных деревьях.

- ТЭЧ! Становись!

Дружно, находясь во власти родного стадного чувства, построились в колонну по три, толкали друг друга плечами, смеялись.

- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-а-арш! Раз, два, раз, два, левой, левой! За-апевай! Правое плечо вперед!

Художник, в гений свой влюбленный, -
Я прихотливо сочетал
В одной картине монотонной
Лишь воду, мрамор и металл...

Впереди, на площади с фонтаном, показалось величественное здание с колоннами, освещенное теплым розоватым светом. Виноградов увидел, что со всех сторон гарнизона к зданию стекаются ровные марширующие колонны разных подразделений. Ни толкотни, ни давки. Все ходят строем. Ровно, поочередно, культурно, взаимно, на одного линейного дистанция, вежливо. И все-то для Виноградова ново, монументально, музейно, каменно! Главное - все из камня. Не то что в деревне: покосившиеся избы, сараи, плетни... Эх, мать моя родина, вот всю бы тебя превратить в такой великолепный гарнизон! Прав был капитан в учебке, что говорил о лучшей части. Это не часть, а какой-то рай Господен! Вернусь в деревню, расскажу - ведь, козлы, не поверят, где мне угораздило служить!

- Комсомолец Виноградов!

- Я!

- Вы выписали "Комсомольскую правду"?

- Так точно, товарищ старшина!

Перед входом пестрели афиши под стеклом: "Бодлер. "Парижский сон". Опера в 10-ти действиях, 120 картинах. Либретто генерал-полковника Новозеландского. Симфонический оркестр Энгельгардтовской филармонии. Главный дирижер генерал-лейтенант Альдебаранов. Опера идет без антрактов"... Как и положено, сияла люстра, поблескивали ложи, а уж о партере и нечего говорить! Так и расстилался, так и расстился... Виноградов был ни жив, ни мертв. Это и понятно. Человек с-под Рязани первый раз удостоил театр своим посещением. Погас свет, вспыхнула рампа, бросив на низ тяжелого, шитого золотом занавеса красноватый отблеск. Начали перечислять действующих лиц и исполнителей. Виноградов то мимо ушей пропустил, но только до: "Зодчий ска-

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

зочного мира - артист-рядовой Виноградов"! Виноградов не знал, верить ли ему ушам своим или не верить. Бывало, по радио, в деревне, услышит - Козловский там, Лемешев... А тут! Рафаил толкнул его локтем, мол, давай, нечего за спинами отсиживаться, ступай на сцену. Виноградов с огромным волнением встал, и на деревянных ногах пошел. Шел и видел, что с разных уголков огромного зала на сцену стекаются исполнители.

Он взглянул в зрительный зал и замер от страха: на него были направлены тысячи биноклей! А под биноклями - погоны. Вот, прямо, у всех бинокли, и у всех на плечах погоны. Что же Виноградову делать? Он растерялся. Но тут заиграла музыка, близко, внушительно, пробирая до печенок. Какой-то капитан, загримированный под негра, затянул:

Когда же вновь я стал собою...

Виноградов сосредоточился и голосом Шаляпина запел:

Зелеными просторами
Легла моя страна
На все четыре стороны
Раскинулась она.

Все, кто были на сцене, - как по команде, грянули припев:

А над ней стальные соколы
И день и ночь парят,
И огни ее высокие
Над всей землей горят.

Виноградов оглянулся. За спиной стоял могучий краснознаменный ансамбль имени песни и пляски, амфитеатром уходил к колосникам, все в парадных мундирах, с погонами рядовых, с аксельбантами. Дирижер спросил у Виноградова:

- Вы слышали, что ЦСКА проиграл "Ротору" из Волгограда на его поле?

- Не слышал, - сказал Виноградов, но спросил: - С каким счетом?

- Ноль - два!

Оркестр заиграл позорный похоронный марш для ЦСКА. Из зала понеслись негодующие возгласы:

- Конюшня!

Публика в зале заволновалась. В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Виноградов услышал голос старшины:

- Сбой программы!

На сцену вышел простолицый, он был из народа, министр обороны одной из планет и, разведя руки в стороны, сказал:

- А я хотел сделать их одним парашютно-десантным полком!

Дикий хохот поднялся в зале, кто-то уже вложил пальцы в рот и пронзительно засвистел. Старшина, покраснев, еще раз крикнул:

- Сбой программы!

Тут в глазах у Виноградова мелькнули зеленые круги, голову сдавила невыносимая боль, но он тут же вспомнил “Цветы зла” Бодлера, и боль как рукой сняло. Ему протянули свежий выпуск газеты “Красная звезда”, которая вся была забита знакомыми стихами Бодлера Шарля. Виноградов поспешно сунул газету в карман и допел свои “Зеленые просторы”. Дальше опера шла без сучка, без задоринки. Потому что мать, только что вошедшая в избу с подоиником, козу подоила, выключила штепсель радио - черной тарелки, висевшей возле иконы Спаса, - и больше не включала эти “Зеленые просторы”. Там пели хором. Россия - страна хоровая. А ведь, бывало, маленький Виноградов любил слушать радио, когда его провели в деревню. Виноградову было три года, как раз в 53-м году, словно к смерти Сталина приурочили, мол, Сталин умер - теперь пусть все что угодно треплют! Закончив свою партию, Виноградов ушел за кулисы, передохнуть. Спросил у пожарника в звании младшего лейтенанта:

- Вы знаете, кто был Сталин?

- Знаю дело, - сказал усатый пожарник в серебристой каске: - Сталин - наша юность боевая!

У артиста, которому нужно было выходить, спросил о том же.

- Знаю дело, - сказал тот, спеша на сцену: - Сталин - нашей юности полет!

Следом сам Виноградов вышел на сцену. Остался один в свете прожектора. Ногу выставил вперед, вскинул руку. Оркестр торжественно вступил. Виноградов запел:

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.

Сталин - наша слава боевая,
Сталин - нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

Вспыхнул свет. Женский батальон в парадной форме - все женщины в чине сержантов, в пилоточках, в юбках цвета хаки, в лаковых сапожках - пронес огромный портрет Сталина. У одной женщины на голове была кастрюля, и женщина отчаянно стучала по кастрюле ложкой. Вернувшись за кулисы, Виноградов поинтересовался у пожарника, откуда тот.

- С-под Мадрида, - сказал пожарник.

Виноградов не выдержал, вскричал:

- Ну что вы все тут иностранцы какие-то!

К нему подошел патруль с красными повязками на рукавах.

- Ваши документы!

Виноградов покопался в карманах, нашел военный билет, предписание. Начальник патруля был в чине майора. С ним два сержанта. Майор долго читал документы, потом сказал:

- Все правильно. Вам на поезд "Орел - Рига", до станции Энгельгардтовская!

И взял под козырек. Козырнул и Виноградов.

- А сейчас я где? - спросил Виноградов.

- Как где? - удивился майор. - В театре!

На улице шел снег. Старшина приказал строиться. Виноградов уже привычно занял место рядом с Рафаилом. Тронулись с песней:

От Кремля ведут дороги
Прямо к пашням и садам,
И заботливый, и строгий,
Вождь приедет в гости к нам.

Поглядит из-под ладони
На бескрайние поля;

В золотом пшеничном звоне
Встретит Сталина земля...

- Сбой программы! - крикнул старшина.

И тут же, у казармы, песню окончили. Поднялись на второй этаж, разбрелись по квартирам. Виноградов снял дубленку, сбросил шапку, заодно расцепил ремень с латунной пряжкой и бросил его на кровать. Хотел присесть, но из коридора донесся голос дневального:

- Выходи на вечернюю поверку!

Виноградов устало взял ремень, подпоясался и вышел в коридор. Старшина с папочкой уже стоял перед строем, то хмурясь, то язвительно усмехаясь, то неодобрительно поджимая губы.

- Поживей, поживей, господин Виноградов! - прикрикнул он.

Виноградов протиснулся на свое место.

- Равняйся, смирно! - крикнул дневальный и, строевым шагом, дубася каблуками паркет, подойдя к старшине, доложил: - Товарищ старшина, ТЭЧ на вечернюю поверку построена!

- Встаньте к тумбочке, - сказал старшина дневальному.

Дневальный, со штыком на поясе, послушно отошел на место к тумбочке, на которой стоял черный телефон без диска и лежала амбарная книга записей разрешенных отлучек личного состава ТЭЧ и Управления. Старшина зычным и ясным голосом начал переключку:

- Английский?

- Я! - откликнулся рыжий, в конопушках, англичанин из второго отделения.

- Французский?

- Я! - откликнулся худощавый, с впалыми щеками француз.

- Мацумото?

- Я! - откликнулся коренастый японец с жестким, как проволока, ежиком волос.

- Баджио?

- Я! - откликнулся смуглый итальянец с Сицилии.

- Виноградов?

- Я! - крикнул Виноградов с внутренней интернациональной радостью.

- Бодунов?

- Я! - хрипло отозвался детина с прыщавым лицом.

После поверки уже ничего не хотелось. На ватных ногах Виноградов ушел к себе на квартиру, кое-как разделся и завалился под одеяло. Голова не болела. Сон был легким, приятным, без пробуждений. Утренний, самый сладкий и крепкий сон нарушил голос дневального:

- Подъем!

Первыми пришли в голову Виноградова “Предрассветные сумерки”:

Казармы сонные разбужены горнистом
Под ветром фонари дрожат в рассвете мгlistом...

Виноградов выглянул в окно: фонари в переулке действительно дрожали. Было еще темно, пять пятьдесят утра. Светили звезды, и эти паразиты бороздили небо, катились из левого верхнего угла окна в правый нижний. Виноградов широко зевнул, ни о чем не задумываясь, как бессмертный, и потянулся до ломоты в суставах. Пошлепал босиком по гляцевому узорному паркету, ни пылинки, в туалет умыться. Всюду - кафель, никель, медь, пахнет лавандой, вода горячая и холодная, ваннные комнаты - пожалуйста, принимай ванну с шампунями, поливайся душем! Почистил зубы “блендамедом”, побрился бритвой “жилетт” с плавающими ножами. Проверил подворотничок на гимнастерке - еще белый.

- На построение выходи! - донесся голос дневального.

Ремень - на пояс, шапку - на голову, бегом, в строй.

Перед строем - старшина, румяный, утренний, свежий, с папочкой, зачитывает:

- Английский?

- Я!

Виноградов и свое “я” выкрикнул бодро: состояние было какое-то приподнятое, радостно было стоять в едином строю в великолепной казарме, более походящей на кремлевский президентский дворец - потолки слепили белизной, люстры сияли и, казалось, графический портрет Бодлера на стене весело подмигивал. После переклички старшина отдал команду одеваться и выходить на улицу строиться на завтрак. Все делалось быстро и слаженно. Утренний морозец бодрил. С песней “Душа вина”:

В бутылках в поздний час душа вина запела
“В темнице из стекла меня сдавил сургуч,
Но песнь моя звучит и ввысь несется смело
В ней обездоленным привет и теплый луч!..” -

дошли до столовой. Все, как и вчера, да и итальянец-официант не соврал, притащил свои макароны, залил их таким чудесным соусом, что солдаты смели их в минуту. Под завтрак симфонический оркестр играл вариации из вчерашней оперы генерал-полковника Новозеландского. Иногда давали солировать роялю, иногда скрипке. Всю эту музыку Виноградов про себя называл “балалайкой”, но не выключишь же ее как радио штепселем. Тут серьезное дело: армия!

- Они с музыкальной части, что ли? - спросил на всякий случай Виноградов у Рафаила.

- Не-е, - сказал тот. - Они в наряде. И ты туда попадешь.

- Я ж ни бум-бум на музыкальных инструментах! - удивился Виноградов.

- Это тебе только так кажется. Я сначала тоже думал, что скрипку от табуретки отличить не смогу. А как первый раз пошел в наряд в оркестр, так заиграл на гобое как миленький!

- Выходи строиться! - крикнул старшина.

- А сейчас куда? - спросил Виноградов.

- По бабам! - воскликнул Рафаил, поблескивая глазами.

- Как “по бабам”? - совершенно не понял Виноградов.

- Очень просто... Увидишь...

Построились, выполнив команду “равняйся”, затем “смирно”. С левой ноги начали движение, запели “Парижский сон”. Остановились у дома номер 98.

- По избранницам разойдись! - крикнул старшина.

Все бросились в подъезд. Виноградов стоял, не зная, что делать.

- Мне куда?

- 23-й номер, - подсказал старшина.

- Это ж мой номер...

- Номера совпадают.

Виноградов вошел в подъезд, спросил у швейцара с галунами, где 23-й номер, тот подсказал, что на втором этаже. Мраморная лестница, белая, изгибающаяся, вывела Виноградова на второй этаж.

В коридоре витает запах французских духов. Дубовая филенчатая дверь с медной табличкой “23”, бронзовая ручка в виде головы льва. Постучал, вошел. А там блондинка с выщипанными бровями, с военторга, голая! Стоит голая на роскошном ковре и лыбится. Груды с мутными сосками выставила и даже вьющиеся волосы на лобке не прикрыла рукой. Вот это наглость! А дальше - и рассказывать стыдно.

От дома номер 98 двинулись в совершенно другую сторону, куда-то на зады, по шоссе. Виноградов, отходя от любовных утех, заволновался, в перерыве между песнями спросил у Рафаила:

- Куда это нас опять погнали?

- На работу, - шепнул Рафик и с некоторым ехидством добавил: - Ты что думал, что тебя здесь задарма кормить и предоставлять баб будут?!

Слева от шоссе Виноградов увидел железнодорожную ветку, платформу, на которой стояли какие-то контейнеры, за платформой, высокую кирпичную башню наподобие водонапорной. Сигналя, колонну обогнал “козел” типа “джип” с мигалкой на крыше. Мелькнуло в окне лицо генерала. Подразделение чеканило шаг по очищенному от снега шоссе. Неслась песня:

Мир фантомов! Людской муравейник Парижа!
Даже днем осаждают вас призраки тут,
И, как в узких каналах пахучая жижа,
Тайны, тайны по всем закоулкам ползут...

Это из “Семи стариков”, подумал Виноградов, еще громче вpleтая свой мощный голос в другие голоса родного подразделения. Справа, вдалеке, виднелись дома бульвара Бодлера. Шоссе забирало влево, куда уходил железнодорожный путь. Впереди показалось огромное здание необычной формы. Вроде стадиона, подумал Виноградов, и начал волноваться по мере приближения к этому феноменальному сооружению, потому что по мере этого приближения, сам себе казался маленьким, уменьшающимся на глазах, как, впрочем, все солдаты и старшина уменьшались.

- Чего мы маленькими такими становимся? - спросил Виноградов.

- Микробы вселенной! - выдохнул Рафаил и добавил: - Это ж ТЭЧ!

- Так ТЭЧ же там, откуда мы пришли!

- Там казарма, - пояснил Рафаил, - а тут мастерские.

Тут мало-помалу к Виноградову стала возвращаться память об учебке, вспомнились самолеты, реле, контакторы, вольтметры, отвертка-крестик, паяльник... Подразделение обогнуло здание с левой стороны и оказалось перед полуоткрытыми огромными алюминиевыми воротами ангара.

- Стой! Раз, два! - скомандовал перед воротами старшина. - По рабочим местам - разойдись!

Все пошли в ангар, один Виноградов замешкался, спросил у старшины:

- А мне куда?

- К начальнику ТЭЧ.

- А кто он?

- Полковник Фицджеральд.

Виноградов пошел в ангар. В воротах на него приятно дуло горячим воздухом из щели ветродуя. В ангаре был полумрак. Стояли какие-то расстыкованные самолеты: плоскости в одном месте, двигатели в другом, колпаки кабин откинута, тут и там - кресла-катапульты. Справа по стене шел ряд дверей, в которых исчезали солдаты. На дверях таблички типа "Концепция сонета", или "Перекрестная рифма". Одним словом, черт знает что! Навстречу попался светловолосый капитан.

- Разрешите обратиться, товарищ капитан?

- Вольно, - добродушно сказал капитан. - У нас тут не принято солдафонить...

Виноградов от недопонимания этой реплики пожал плечами.

- Да я из ШМАСа, новенький, - пояснил он.

- Из ШМАСа? Не слышал?

Ну, опять снова-здорово, подумал Виноградов, но все же объяснил:

- То ж школа младших авиационных специалистов, из Украины! - памятуя о самостоятельности этой страны, вставил Виноградов "из" вместо "с".

- Не слышал... Ну ладно, не волнуйтесь, - сказал капитан. - Сам я из Ольстера, слышал?

- Не слышал...

- У нас тут, - универсальность, вселенская постановка проблем, свойственная "Цветам зла", понимаете? - сказал капитан по-английски, с ирландским акцентом, но Виноградов, разумеется, все понял.

Однако пропустил мимо ушей, спросил, где можно найти полковника Фицджеральда. Капитан указал на застекленное полутемное помещение вдали слева. Козырнув по привычке, Виноградов направился туда. В застекленном помещении нашел еще дверь, открыл, там было светло. За столом сидел полковник и рассматривал какую-то огромную карту звездного неба.

- Разрешите обратиться? - спросил Виноградов.

Полковник поднял на него усталые глаза, видно, уж очень перетрутился над этой картой, и разрешил.

- Для дальнейшего прохождения службы рядовой Виноградов прибыл!

- Вольно! - сказал полковник, задумался и не спеша произнес:

Упорен в нас порок, раскаянье - притворно;
За все сторицею себе воздать спеша,
Опять путем греха, смеясь, скользит душа,
Слезами трусости омыв свой путь позорный...

Только сейчас Виноградов заметил, что один глаз у полковника был как бы разрезан: шрам на веке и на самом глазном яблоке.

Полковник перехватил взгляд, сказал:

- 23-го февраля выпили хорошо. Шел домой, деревья какие-то, ветки бьют по лицу, потом из темноты на меня пошел штакетник, и прямо в глаз... Лежал, в госпитале. Глаз починили, но видит неважно, как через полиэтиленовый пакет...

- Вы ж тут не пьете! - вырвалось у Виноградова.

- Конечно, не пьем... Но выпиваем. Начиная со звания полковника, когда заслонку снимают.

Виноградов понял, что ему стать полковником не грозит, поэтому сник. Помолчав немного, полковник сказал:

- Ну, что ж, будете обслуживать "Красоту"... Идите к майору Лондону в группу вдохновений... Седьмая комната.

- Слушаюсь! - отчеканил Виноградов, повернулся кругом и вышел.

В седьмой комнате было жарко от модельного обогревателя: на короткую асбестовую трубу была намотана толстая спираль, от напряжения светившаяся белым светом. У верстака сидела молодая, симпатичная женщина в звании сержанта, с тремя лычками. Густые темные волосы были собраны в пу-

чок. Виноградов смутился. Он стоял в дверях и переступал, как конь, с ноги на ноги. Наконец женщина подняла на него глаза и улыбнулась. Виноградов сразу же влюбился. Эта была гораздо приятнее, чем та грудастая бесстыдница, которую выделили ему для отправления физиологических потребностей.

- Меня направили... к вам... к майору Лондону, - с волнением сказал Виноградов.

- А Лондон сегодня в полетах, - сказала сержант. - Полетел рассматривать город Лондон.

Виноградов не обратил внимания на это пояснение и, "как бывалыча", сказал:

- Девушка, давайте познакомимся!

Он подошел к ней и положил руку на плечо. Она прикрыла глаза. Он стал смелее, погладил ее по шее и, наклонившись, прислонился к ее горячей щеке.

- Отвали! - крикнула вдруг она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз посыпались искры.

А она, сменив моментально тон, как ни в чем не бывало, расмеялась, сказала:

- Вы закреплены за 23-й, а я закреплена за 736-м... А вы вчера хорошо пели на сцене. Я заслушалась. Что это за песня "Зелеными просторами"?

- Это я в детстве по радио слышал и запомнил, - потирая нос, сказал Виноградов. - Сам я с-под Рязани...

- С-под Рязани? Не слыхала...

- Ладно, не беда. Вот женюсь на вас и увезу с собой. Тогда увидите! А вы откуда?

- Я местная. Надя меня зовут.

- Энгельгардтовская? - мрачновато поинтересовался Виноградов.

- Да.

- С заслонкой?

- Конечно!

В руках у Нади была маленькая отвертка, и она что-то отвинчивала в черном приборе. Этих приборов было на верстаке видимо-невидимо!

- Что это? - спросил Виноградов, взяв одну коробочку.

- Реле вдохновения, - сказала Надя.

- И что же оно делает?

- Управляет двигателем подъема вдохновения.

- А мне что делать? - спросил Виноградов.
 - Регламентные работы на помпе "Красоты".
 - Как это?
 - Вот берите чемоданчик и - вперед, к бодлероидам, на улицу!
- вроде как приказала Надя и, склонившись под верстак, достала фибровый чемоданчик.

Виноградов поднял его, раскрыл, обнаружил никелированные инструменты: пассатижи, щипчики, паяльник, отвертки, вольтметр, запчасти и прочее.

- А свидание вам можно назначить? - спросил Виноградов, собираясь на улицу.

- Никак нет. Размножение у нас строго регламентировано. Да вы и не сможете овладеть мною, заслонка не позволит...

- А сломать ее нельзя?

- Бесполезно... Да вы и сами все поймете... Я же не "я", и вы не "вы"... Мы - биороботы, способные к самовоспроизводству...

- А как же быть с любовью?

- А что это такое? Не слыхала...

Виноградов объяснять не стал, потому что сам толком не знал, что это такое. Молча пошел с чемоданчиком отыскивать бодлероиды на улице. По пути спрашивал, где тут бодлероиды по части "Красоты". Все кивали куда-то за бугор. На бугор, который располагался метрах в ста от ворот ангара, шла асфальтовая тропинка. Поднявшись на этот бугор, Виноградов замер от восхищения перед открывшимся простором. То была широкая и, казалось, бесконечная взлетно-посадочная полоса, выложенная огромными шестигранными бетонными плитами. По полосе ползали оранжевые машины с красными мигалками, с вращающимися уборочными щетками. На круглых площадках, прикрепленных к полосе, стояли какие-то серебристые волчки типа самолетов, только без крыльев, с красными бортовыми номерами. У первого волчка Виноградов против воли воскликнул:

- Е-мое, шагнул же разум человека! А ведь в ШМАСе о новом вооружении ни слова не говорили, паразиты! Кругом секреты!

С чего было начинать, Виноградов не знал. Огляделся, увидел сбоку на площадке щит какой-то. Подошел. Там надпись: "Зона "Красоты" 23-го номера".

- Это ж моя зона! - радостно воскликнул Виноградов и нажал первую кнопку, откинув с нее красный колпачок.

Сразу на площадке стало тепло. Виноградов снял свою дубленку, повесил у пульта на крючок, надел белый халат, висевший там же. Из щели пульта вылезла инструкция: “После слов “В лазури царствую” - вскройте люк под лазерным объективом”. Виноградов с инструкцией прошел под волчок, размером с легковую машину, на четырех шасси, как табурет. Увидел объектив, возле люк с четырьмя крестообразными насечками на винтах. Достал отвертку-крестик, вывинтил эти винты, открыл люк. Справа нажал кнопку, опустилась лестница, встал на нее, снова нажал кнопку, поехал в кабину. Красота, да и только! В уютной кабине - мягкое вертящееся кресло, тепло, обзор через прозрачный колпак на все четыре стороны. Снял две заглушки со щитка приборов, просунул в отверстия руки и на ощупь вывинтил из помпы пару щеток, медно-графитных, измерил штангенциркулем. Стесались, паразитки! Взял из чемоданчика новые, проверил зазор, попробовал на сжатие пружинки и поставил их на положенное место. Откинул красный колпак кнопки холостого вдохновения, нажал. Все вокруг посветлело, как будто только что выпил сто грамм водки и закусил соленым рыжиком. Запахло черемухой, вишневый сад расцвел, соловьи запели, солнышко засияло, речка голубая показалась вдали, бережок, лодочка, журавли к родным местам вернулись, пчелы жужжат, трава вымахала в рост человека: васильки там, ромашки, ну и рожь, конечно, так и колосится, так и колосится! На щитке зажглась надпись: “Вторая строфа”. Рот Виноградова сам собой проговорил:

В лазури царствую я сфинксом непостижным;
Как лебедь, я бела, и холодна, как снег,
Презрев движение, люблюсь неподвижным;
Вовек я не смеюсь, не плачу я вовек

Надпись погасла. Виноградов собрал инструмент, спустился на землю, задраил люк и подошел к следующему бодлериду. Оказалось, что за ним закрепили их двадцать три штуки. Когда шел к седьмому волчку, увидел в дальней части взлетки серебристый сгусток света с куполом, который легко и быстро оторвался от шестигранных плит и пошел в небо. За ним - второй, третий, четвертый. В наушниках прозвучало: “Вторая эскадрилья пошла!”.

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

На обед строились перед воротами ангара. И когда старшина скомандовал: “Запевай!”, Виноградов прежде всех вылез со своим оперным голосом:

У нас в подразделении
Отличный есть солдат...

- Отставить! - крикнул старшина и сам напомнил, что нужно петь:

В объятиях любви продажной
Жизнь беззаботна и легка,
А я - безумный и отважный -
Вновь обнимаю облака.

У столовой попалась встречная колонна дошкольников из детского сада. Маршировали карапузы ничуть не хуже взрослых и все были в черной форме с красными погончиками, как суворовцы. Маленькие сапожки у всех были до зеркального блеска начищены. Детсадовцы пели:

Авеля дети, дремлите, питайтесь,
Бог на вас смотрит с улыбкой во взоре.

Каина дети, в грязи пресмыкайтесь,
И умирайте в несчастье, в позоре!

Виноградов не мог оторвать взгляда от детей и глубоко задумался. Машинально сдал прапорщику дубленку, прошел в залитый светом зал к своему столу, сел, сунул край салфетки за ворот гимнастерки. Оркестр на сцене играл что-то до-мажорное. Суп из осетрины Виноградов съел без всякого аппетита. Все думал о марширующих детях. Жалко ему было детей. Они-то тут при чем? Кровавый ростбиф с хрустящим картофелем ел так же без особого вдохновения. Задумчиво намазывал белый хлеб сливочным маслом и зернистой икрой. Изредка отпивал из фужера боржоми.

- Чего загрустил? - спросил Рафаил.

- Детей жалко, - сказал Виноградов.

- Чего их жалеть! - воскликнул Рафаил. - Это ж - биороботы. Плоды совокуплений с избранницами, сплошная физиология, без поэзии.

- Они же Бодлера поют?!

- Магнитофон тоже поет... Их в летчики готовят. Потому что летают только местные.

- Других летчиков, что ли, нет по стране?

Рафаил как-то странно улыбнулся и прошептал:

- Тут стран других нет.

Старшина закричал от дверей:

- ТЭЧ! Выходи строиться!

Виноградову строиться не хотелось. Надоело. Целый день - стройся, расходись, стройся, расходись! Черт знает что! Конфуций говорил: изучай самого себя. А чего я себя изучать буду, если я такой же биоробот, как эти малыши! Сказано же в уставе - оплодотворенный мужским семенем в женском лоне есть биоробот! Вот тебе и так, и восьмое марта и двадцать третье февраля! Построились. С левой ноги по команде старшины тронулись, запели Бодлера, но пошли не в столовую, а на взлетно-посадочную полосу. Виноградов по пути спросил у Рафаила:

- А кто же тогда люди, если все мы биороботы?!

- Да вот, хоть Бодлер. Книгу-то его никто в лоне не оплодотворял.

- Значит, все писатели - люди?

- Не все. Только те, которые переживают свое время, то есть биологическую сущность...

Остановились у застекленной высокой башни командного пункта. Подошли другие подразделения. Застыли по команде "смирно". Оркестр ударил "Прощание славянки". И вдруг с неба посыпались крылатые то ли биороботы, то ли люди, черт их знает, все у Виноградова перепуталось в похмельной голове.

- Это кто? - испуганно спросил шепотом Виноградов у Рафаила.

- Не бойсь, - успокоил Рафаил обыденным голосом. - Это ангелы.

Ангелы приземлились, выстроились в длинную колонну, у всех на плечах были погоны младших лейтенантов, крылья сложили за спиной, как рюкзаки, по пятьдесят ангелов в шеренге, и так выразительно промаршировали по взлетке, что Виноградову показалось, что это идет по Красной площади сводная колонна военно-политической академии имени Ленина. А в это время на трибуне появился лысый с ободком белых волос пузатый человек. На пле-

чах погоны, да такие ослепительные, что звания не разобрать, но, наверняка, не ниже генералиссимуса.

- Это кто? - отказываясь понимать происходящее, спросил Виноградов.

- Да этот, с Ерусалима, Бог, - равнодушно сказал Рафаил. - Щас доклад на пол-Библии зашпандорит...

- Как поп в церкви? - спросил Виноградов.

Но Рафаил не успел ответить, поскольку сам Бог с трибуны, вроде как мавзолея, обратился к Виноградову:

- Виноградов, вам особое приглашение требуется?!

Виноградов беспокожно заворочался и почувствовал, что у него болит бок. Отлежал, наверное. Сначала он подумал, что на него летит сияющий ангел, но, присмотревшись, обнаружил перед собой плафон голубоватого цвета. Голова опять загудела. Он вспомнил "Цветы зла", но голова и не думала проходить.

- Виноградов, вам сколько раз можно повторять! - вновь донесся голос Бога, но уже не с трибуны, а откуда-то снизу.

Виноградов завибрировал от страха. Он лежал в шинели на верхней полке. Под голову был положен бушлат. Бросив мутный взгляд вниз, Виноградов увидел за столиком незнакомых людей, улыбнулся и болезненно закрыл глаза, точно ему все это снилось. Потом снова открыл и свесил голову с полки.

- Где я? - задал идиотский вопрос.

- В поезде, - усмехнулся бородатый человек. - Спускайтесь. Самочувствие поправите. Это ж надо так напиваться! Как вас только патруль не арестовал! Хорошо, мы вмешались и уговорили отпустить.

Эта новость побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и Виноградов поежился. Пошевелив ногами в тяжелых кирзовых сапогах, провел ладонью по колючей щеке - два дня не брился, собрался с силами, сердито выдохнул из груди весь воздух, поднялся, ударившись головой о близкий потолок, и кое-как слез с верхней полки. Он был какой-то померкший. Все качалось перед глазами. В сумраке купе плавали зеленые круги. Но они тут же пропали, как только среди бутылок и закусок Виноградов увидел книжку Бодлера "Цветы зла".

- Бодлер, Бодлер! - заорал в ужасе Виноградов, пятясь к двери.

- Ну и что? - удивился второй пассажир, гладко бритый молодой человек с сильными залысинами. - Чего ты испугался? Садись, выпей.

Виноградов ощущал, да не просто ощущал, а видел, как у него разрасталась голова, с треском ломая череп, чтобы остановить этот процесс, Виноградов сдавил голову руками и застонал. С этим стоном сел поближе к столику. Бородатый, пассажир тут же налил ему в тонкий стакан коньяку. Виноградов привычно, не размышляя, выпил. Понюхал дольку лимона и застыл, чтобы не расплескать выпитое.

- Где мы? - чуть более уверенно спросил Виноградов минут через пять.

- К Талашкино подъезжаем, - сказал лысоватый.

- Тебя не Рафаилом зовут? - вдруг спросил Виноградов.

- Точно так, усмехнулся Рафаил.

- А тебя? - спросил Виноградов у бородатого.

- Ивар.

Виноградов с некоторым успокоением сказал:

- Понятно. "Цветы зла". Бодлер. Читали?

- Читали.

- О биороботах говорили?

- Говорили...

- Все понятно. Наливай.

- Бодлер - великолепный поэт. Полет на одном вдохновении!

- Это я знаю, - вполне определенно сказал Виноградов и выпил налитое.

- Что же ты пьешь-то так! - с горечью в голосе воскликнул Рафаил.

- Я больше не буду, - сказал Виноградов, грустнея, и спросил, кивая на книжку: - Значит, "Цветы зла" на самом деле существуют?

- Они-то, вне всякого сомнения, существуют. А существуешь ли ты?

- Существую! - твердо сказал Виноградов, ощущая прилив бодрости.

- Ну и мы существуем, - сказал Ивар. - Едем в Ригу на научную конференцию по Бодлеру. Мы - филологи. Изучаем творчество Бодлера.

- Он, когда жил, был биороботом, а потом книгой превратился в человека, - пояснил Виноградов.

Пассажиры переглянулись.

- Доклады свои зачитаем, - сказал Рафаил. - Мало еще изучен Бодлер.

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

- То-то мне все Бодлер снился. Даже памятник ему в гарнизоне поставили!

Рафаил усмехнулся и сказал:

- Цветы зла - это люди, так сказать, во всей полноте интертекстуального звучания. Ты понимаешь, Виноградов, что ты - цветок зла?

- Понимаю, господа биороботы! Наливайте!

Пассажиры переглянулись. Но налили. Настроение у Виноградова улучшилось. Всякая загадочность постепенно исчезала, как бы холодно говоря, что в жизни возможно все, что угодно. И это все - становилось ясным, понятным, объяснимым. Но почему-то Виноградов вдруг проскандировал ни с того ни с сего:

Безумье, скаредность и алчность и разврат
И душу нам гнетут, и тело разъедают;
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомое, и жалят и язвят.

Ученые с заметным интересом вгляделись в солдата.

- Неужели ты это во сне запомнил? - спросил Рафаил.

- Вот это память! - воскликнул Ивар. - Я вроде бы негромко читал, а, смотри, уловил и запомнил. Это говорит о том, что у тебя определенный талант. Дорожи этим талантом. Хотя талант - рок. Какой-то опьяняющий рок.

- Да ладно, - махнул рукой Виноградов. - Чего там запоминать-то! Бывало, в детстве, радио послушаю и сразу - запоминаю. И без предупреждения громко запел:

Зелеными просторами...

Его несколько грубоватый, но все же прекрасный природный голос поразил ученых, которые от восхищения смотрели певцу прямо в рот. В общем, хорошо было. И хорошим был перестук колес поезда. И хорошим было звездное небо за окном. Закончив песню, Виноградов осторожно взял со столика книжку Бодлера, раскрыл и уставился на портрет.

- Вот он какой! - через некоторое время воскликнул Виноградов.

- Такой, - сказал Рафаил. - Сумел дать лик своей эпохи и самого себя в этой эпохе, художественно и обобщенно полноценно, полнозвучно. Сумел - значит, классик!

- Понимаю, - кивнул Виноградов.
- Молодец! - похвалил Ивар. - Как говорили классики, мы не по думанью любим, а по любви думаем, даже и в мысли - сердце первое!

- А Бодлер этот с Франции? - спросил Виноградов.

- Из Франции, - поправил Рафаил.

Это "из" для Виноградова было непривычно, как "из" Украины. Но он тут же произнес как полагается:

- Вы говорили, что там будут ребята из Америки, из Китая, а генерал - прямо из Новой Зеландии? Да еще ангелы маршируют строем и Бог с Ерусалима на трибуне?

Ученые переглянулись.

- Где?

- На Энгельгардтовской!

- Да нет! Это тебе приснилось. Мы болтали, конечно, и о божественном, и об ангелах, и о конференции. Действительно, на ней будут представители из Америки, из Франции, из Польши, из Китая, из Новой Зеландии...

- Он был несчастным? - вдруг спросил Виноградов.

- Как ты все схватываешь! - удивился Рафаил. - Конечно, Бодлер был глубоко несчастен. И это наложило на него свою печать. Отсюда его раздражительность, его пьянство, его вызывающее поведение, его озлобленность - в творчестве и в жизни.

- Такой же, как я, - спокойно резюмировал Виноградов.

- Сколько тебе еще служить? - спросил Ивар.

- Два года.

- Не теряй времени зря, - сказал Рафаил. - Занимайся самообразованием. Хочешь, мы тебе список книг набросаем? Ведь должна же быть в части библиотека?!

- Это обязательно, - согласился Виноградов. - В учебке эти чудики... москвичи, все туда ходили... Вы Бодлера обязательно запишите! Это ж надо - летать на одной силе поэтической мысли!

- И ты - полетишь! - рассмеялся Ивар и принял за листочек писать имена и названия.

Виноградов пребывал как бы в двух измерениях: он еще всею душой был там, на странном Бодлере, и здесь - тоже не в очень привычном обществе. Какой, оказывается, странной может быть жизнь во сне, в воображении. Странной и прекрасной! И под обложкой книжки - жизнь, иная, загадочная и вдохновенная. И до-

статочно прочитать книгу, погрузиться в нее, даже раствориться в ней, чтобы почувствовать, что твоя собственная жизнь стала полнее, как будто ты прожил еще одну жизнь. А если прочитать десять книг? То, значит, проживешь еще десять жизней. А сколько книг существует в мире? Страшно подумать. Собственной жизни не хватит, чтобы и малую часть прочитать. Виноградов представил огромную библиотеку, которая суть бесчисленные другие жизни, и поразился самому себе, что прежде никогда не задумывался над этим.

- Читать книги - это жить другие жизни? - спросил он для подтверждения собственных догадок. Ивар поднял на него удивленные глаза.

- Конечно, - сказал он. - В книгах - бессмертная жизнь, со своими законами и своею реальностью. Слова, произносимые нами, умирают, не будучи записанными. А будучи зафиксированными с определенным талантом, обретают единственную реальность, бессмертную реальность. Ты же не знаешь, кто были твоими предками, допустим, в десятом веке...

- В десятом?! - восхитился Виноградов.

- Именно. Ведь, посуди, чтобы ты родился, цепь твоих предков не была прервана. Ты как лампочка в елочной гирлянде, вроде как сам по себе горишь, но на самом деле - в цепи человечества. Но все - дело в том, что память гаснет, человек гаснет, хотя и другой рождается, но незаписанное - исчезает. Поэтому не реальная жизнь составляет историю, а книжная, составленная из слов. И эта книжная жизнь не похожа на обыденную, книжная - богаче, безграничнее, величественнее. И если жизнь есть твое представление, то оно в соприкосновении с книгами - уходит в бесконечное бессмертие... В общем, там, где включаются слова, там начинается совсем другая реальность...

- Я в ней побывал, - вздохнув, сказал Виноградов.

В купе заглянула сонная, помятая проводница, сказала:

- Солдат, давай на выход! К твоей Генгардовой подъезжаем!

Это перевранное название кольнуло неприятно Виноградова. Он поправил:

- Энгельгардтовская!

Проводница равнодушно зевнула и молча ушла.

- А ты знаешь, как можно перевести это название? - спросил Рафаил.

- Как?
- Ангельский сад.
- Это вот почему ангелы снились...

Виноградов взял рюкзак и перевязанный веревкой грязный бушлат (в нем он плясал на рынке в Брянске и упал в лужу), грустно вздохнул, попрощался, даже расцеловался с учеными, и пошел в тамбур. В непонятной тоске, разведающей душу, он прижался лбом к стеклу и попытался что-нибудь разглядеть во тьме. Но ничего не видел, кроме звезд. И одна вдруг заскользила из левого угла и плавно пошла в правый. Проскользнула мысль, что он может оказаться дома гораздо раньше срока.

И - всё.

Поезд остановился. Проводница открыла дверь и отбросила заглушку лестницы, заскрипевшую, как несмазанная в деревне телега. Виноградов подавленно спустился на безлюдную, плохо освещенную платформу: повесишься тут - снять некому будет. Ни тебе ковровых дорожек, ни пальм в кадках, ни офицера с "Цветами зла". Станционная бабка в сером платке (зачем они только эти платки носят, ведь лица и так у них серые, как асфальт!) указала дорогу через пути. Обследовать эти пути Виноградов не стал: и так было очевидно, что они были без тупиков, что вели от полустанка к полустанку, от городка к городку, от одной войсковой части к другой, и что по ним идут поезда, и что в них едут люди в погонах. И что идет снег и земля пуста. Зато синие ворота со звездами были на месте. На КПП дежурил ефрейтор с грубым мужицким лицом, в замызганной шинели, от которой пахло мокрой овчиной. Посмотрел документы Виноградова, потом спросил:

- Поддать ничего нету?

- Не, все выпил дорогой, - сказал Виноградов с тоской во взоре.

- Ладно, солобон, иди в штаб гвардейского полка.

Виноградов, не обидевшись, пошел. Слабо светили фонари. Справа и слева показались двухэтажные дома, больше похожие на бараки. Думал ли он о чем-нибудь, пока шел? Синие его глаза в красных веках не смотрели теперь ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались. Вошел в тот подъезд, в котором, как и говорил ефрейтор на КПП, стоял на посту у знамени (само знамя было за стеклом, как на витрине) часовой, с узкими глазами, как китаец, в парадном мундире, с карабином у

ноги. Направо и налево шел полутемный коридор. Виноградов отдал честь часовому. Тот кивнул налево. Виноградов пошел на кивок, открыл обшарпанную дверь. Тут сидели дежурные радисты, пили из железных кружек что-то. Он спросил у них, где найти дежурного. Подсказали: дверь напротив. Дежурный, капитан с рыхловатым бабьим лицом, оглядел Виноградова, вздохнул, но ничего не сказал по поводу нетрезвости. Вызвал посыльного и приказал отвести Виноградова в ТЭЧ.

- Теоретическо-эстетическая часть? - попытался развеселить капитана Виноградов.

- Чего? - не понял капитан.

Повторять Виноградов не стал. Когда шли по темной аллее, посыльный спросил:

- Сам-то откуда?

Виноградов сначала хотел сказать, что "с-под Рязани", но потом небрежно бросил:

- Из-под Бодлера.

- Не слышал, - сказал посыльный.

- Еще услышишь! - себе на уме сказал Виноградов.

Казарма оказалась самой обычной: дощатый пол, надраенный красной мастикой, стены, выкрашенные в цвет детского поноса (может быть, он называется "хаки", но Виноградов подумал о детском поносе), койки с серыми одеялами, штук сто. В другой стороне: за решеткой - оружейная комната с карабинами, за - застекленной двухстворчатой дверью - Ленинская комната, у комнаты - самодельное объявление: "В субботу в библиотеке конференция по роману С.Бабаевского "Кавалер Золотой Звезды". Виноградов обрадовался при упоминании библиотеки. Далее была курилка, где стояли банки с черным жиром для смазки сапог, и сортир с чугунными нужниками на десять посадочных мест, с разъедающим глаза запахом хлорки. Далее - в торце у окна, отгороженная барьером - бытовая комната, с рядом небольших зеркал, с электрическими розетками (это у кого из солдат есть электрические бритвы и для парикмахерской машинки). Виноградов пришел в тот момент, когда солдаты готовились к отбою: бродили в галифе и в нательных рубашках. Старшины не было. Его замещал сержант срочной службы с изъеденным оспой лицом и африканскими кудряшками Эрик Гофман, как он сам представился.

- Замена! - заорал он, как только Виноградов доложил ему о прибытии.

Солдаты сгрудились вокруг Виноградова, заинтересованно разглядывали его, как необходимый материал (как цемент или кирпич на стройке), обеспечивающий демобилизацию Эрику Гофману.

- Скоро и нам замена прибудет, - мечтательно вздыхали они.

Виноградов сначала подумал, что сон в лице Эрика да еще Гофмана продолжается, и даже с улыбкой спросил:

- Вы с Германии, что ли, товарищ сержант?

Воткнул все-таки по забывчивости это колхозное "с", но затем быстро поправился:

- Из Германии?

- Да нет, Старик, что ты! Я с Одессы!

- А-а, - неопределенно отреагировал Виноградов.

- А ты откуда?

- Из-под, - медленно произнес Виноградов, - Рязани.

Эрик опять заорал на всю казарму:

- Шматриков! Иди сюда! Земляк прибыл!

Из толпы вышел какой-то маленький, коренастый, в очках в тонкой металлической оправе на простецком лице, Шматриков.

- Здорово, земля! - воскликнул этот Шматриков и принялся обниматься с Виноградовым.

- Ты откуда? - спросил он.

- Из деревни Епихино, - сказал Виноградов.

- А я из Скопина! - сказал Шматриков так, как будто был с Бодлера.

- Слышал, - сказал Виноградов.

Гофман едва отодрал Шматрикова от Виноградова, сказал:

- Дайте моей замене отдохнуть! Устал ведь с дороги человек!

Глаза сержанта Гофмана были полны восторга, а в голове пульсировала одна и та же сладостная мысль - через два дня домой, в Одессу, дембель! Дождался своего спасителя! Виноградов попытался охладить пыл Гофмана фразой:

- А вы слышали, что Украина отделилась от СССР?

Но никто, разумеется, всерьез это не воспринял. Виноградову показали свободную койку; место в общем шкафу для бушлатов-шине-лей; в фанерной тумбочке, которая стояла между койками, место на верхней полке, нижнее отделение принадлежало соседу. Виноградов разделся до рубахи, разулся, долго разглядывал и нюхал портянки, затем надел свои шлепанцы, сшитые из кирзы, пошел со всеми в куриль-

ку. Закурил. Все тоже закурили и с поблескивающими глазами ждали рассказов Виноградова. Мол, как добрался, и всякое разное по ходу дела? Виноградов, поднимая на расспрашивающих воспаленные синие глаза, кое-что рассказывал, особенно отмечая, как здорово поддал в Брянске и как чуть не забрал его патруль, но ученые отбили.

- Какие ученые?

- Бодлероведы, - как о само собой разумеющемся сказал Виноградов.

- Метеориты, что ли, изучают? - спросил Гофман.

- Во-во, - не стал разубеждать Виноградов. - Вроде того. На одной силе поэтической мысли летают!

От тумбочки дневального донесся зычный голос:

- Управление, отбой!

Виноградов вскочил с лавки.

- Не бери в голову, - сказал Гофман. - Эти пажоны с Управления дисциплинку свою показывают!

- Из, - подчеркнул, - какого Управления? - спросил Виноградов, не поняв.

- У нас казарма - на два подразделения, - пояснил Гофман. - Справа от входа - ТЭЧ, слева - Управление.

Управленцы (писари, штабисты, дешифровщики, радисты) погасили свет на своей половине, послышались их недовольные голоса:

- Тэчеры, гасите свет!

Пошла, зевая, потягиваясь, почесывая бока, и ТЭЧ укладываться. Виноградов только донес голову до подушки - сразу заснул. Причем, ничего ему в эту ночь не снилось. Утром, в пять пятьдесят, при команде "подъем", военнослужащие поднимались без суеты, не как в учебке, лишних движений не совершали, все делали как-то по-домашнему, словно никуда не спешили, никуда не опаздывали. Виноградов умылся. Рядом - иностранная речь.

- Вы откуда? - удивленно спросил Виноградов.

- С Эстонии, - сказал рыжий верзила.

- Из Эстонии, - поправил немного смущенно, будто сам над собой посмеиваясь, Виноградов.

"Иностранцы" переглянулись и молча отошли в сторонку. Виноградов чистил сапоги. Опять рядом - иностранная речь, восточная какая-то.

- Вы откуда?

- С Таджикистана.

- Из Таджикистана, - поправил Виноградов, оглядывая ребят с задумчивым любопытством.

- Ну да, - сказал крепыш с раскосыми глазами. - С Душанбе.

Виноградов брлся в бытовой комнате. Рядом опять - иностранная речь.

- Вы откуда, ребята?

- С Латвии.

- Из Латвии, - поправил Виноградов.

Латыши на всякий случай отошли в сторонку. Появился старшина: ноги колесом, как у кавалериста, нос картошкой, лицо блином, в шапке, офицерской, каракулевой.

- ТЭЧ! Становись! - крикнул он и, подумав, добавил: - В головных уборах.

В две шеренги выстроились. Виноградов, прикинув свой рост, встал третьим во вторую шеренгу. За спиной старшины на стене он увидел щит с моральным кодексом строителя коммунизма, который вчера не заметил. Старшина начал перекличку:

- Абельсон?

- Я!

- Блезенблаттер?

- Я!

- Вайнштейн?

- Я!

- Гофман?

- Я! - крикнул Эрик.

- Друнискайтенис?

- Я!

- Енбергалиев?

- Я?

- Жупенко?

- Я!

- Зуппе?

- Я!

- Игнатов?

- Я!

- Крупп?

- Я!

- Керимов?

- Я!

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

- Козлов?

- Я!

- Лиепиньш?

- Я!

- Мормышкин?

Тишина.

- Где Мормышкин?

От тумбочки дневального донеслось:

- В наряде!

- Зубов?

Тот же голос дневального:

- На губе!

Старшина вставил, отвлекаясь от списка:

- Норму не знает, пьет, как этот...

Когда речь дошла до Виноградова, старшина приказал ему сделать два шага вперед, представил подразделению, а дневальному приказал сбегать в штаб и поставить Виноградова на довольствие, потом, дочитав, список личного состава, сказал, чтобы выходили строиться на улицу, в бушлатах. Виноградова же приостановил, завел в оружейную комнату и закрепил за ним карабин СКС № 36795, боевой, незаряженный. Затем Виноградов схватил свой бушлат, а он весь в каких-то ржавых пятнах.

- Где это вы, рядовой Виноградов, унавозились? - спросил старшина.

- В Брянске, товарищ старшина! - доложил Виноградов.

- Хорош был?

- Так точно, товарищ старшина!

- Вот это я люблю, - усмехнулся старшина. - Правду я люблю! Зайди вечером в каптерку, - и подмигнул.

На улице построились в колонну по три. Старшина стоял у бередки, засыпанной снегом, командовал:

- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Запевай, ВВС!

Кто-то звонким тенором повел:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет -
Там пролетит стальная птица...

Подразделение поддержало:

Пропеллер, громче песню пой...

В столовой стоял полумрак. Длинные столы, покрытые выцветшей клеенкой. Пахнет вымытым полом и селедкой. Железные миски. Котел - на центр стола. Виноградову, как самому молодому, поручили "разводящую", по-простому - черпак. Накидал всем поровну пшенки и по куску жирной селедки. Налил всем по железным кружкам чаю из огромного алюминиевого чайника. Сам взял алюминиевую ложку с перекрученным черенком...

- ТЭЧ! Выходи строиться!

Надели бушлаты, подпоясались. Построились.

- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Запевай!

Тот же тенорок начал:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...

Между казармами вышли на шоссе. Слева потянулась железнодорожная насыпь. Платформа. На ней - какие-то контейнеры. За платформой - высокая круглая кирпичная башня, наподобие водонапорной. Над башней - стая ворон. Шоссе уходило влево. Казармы, уменьшаясь, отдалялись вправо. Подразделение обогнал "козел". Мелькнуло заспанное лицо майора. Впереди показался авиационный ангар. Солдаты заметно уменьшались по мере приближения к нему. Остановились перед приоткрытыми воротами.

- Стой! Раз, два! - скомандовал старшина. - По рабочим местам - разойдись!

На площадке перед ангаром стояли самолеты с откинутыми колпаками кабин. С горки на площадку ехал, рыча как трактор, огромный тягач с красной кабиной, тащивший на регламентные работы очередной самолет. А ангаре стоял полумрак. Лишь в бомболюке расстыкованного самолета ярко горела переноска и луч пятном лежал под ним на цементном полу. С Эриком Гофманом Виноградов зашел в отдел электрооборудования. На стенах - наглядная агитация. На полу - самодельный обогреватель: на асбестовой трубе - раскаленная толстая спираль. За верстаками сидели механики в комбинезонах. И среди них - женщина, крупная, во вкусе Виноградова. Одному механику Эрик доложил:

- Товарищ капитан, вот замену привел...

- Ну что ж, (непечатное), Эрик, давай, иди, (непечатное), в штаб, оформляйся, - сказал капитан и обратился к новичку: - А тебя, (непечатное), как зовут?

- Рядовой Виноградов! - отчеканил тот, не сводя глаз с женщины.

- Это (непечатное), понятно. У нас тут, (непечатное), не принято солдафонить. Вот, (непечатное), что, (непечатное), Виноградов... Бери чемодан, (непечатное), - Эрик тут же выдвинул из-под верстака свой фибровый чемодан с инструментами и передал Виноградову, а капитан продолжил: - И давай, (непечатное), по-быстрому и "23-му", (непечатное)... Смени щетки, (непечатное), на помпе подкачки и замени, (непечатное), в двигателях реле запуска... Чтoб управился за полчаса, (непечатное)! Потом, (непечатное), покатым на взлетку, (непечатное) В час дня, (непечатное), ему в полеты, (непечатное)... Понял, (непечатное)?

- Так точно! - выкрикнул Виноградов, поражаясь частоте всяких разных выражений капитана.

- Слушай, (непечатное), перестань тут так кричать, пугаешь, (непечатное)... Иди, работай, (непечатное)

Виноградов опустил руки и, пожав плечами, пошел на улицу. Эрик проводил до самолета, сказал:

- Душа-человек капитан, хоть и ругается как сапожник.

- Там же женщина, - сказал Виноградов.

- А женщина, что, не человек?

Сначала Виноградов решил заменить реле. Отверткой оттолкнул держатели облицовки двигателей. Потом голову сунул, как в бочку, во входное воздушное отверстие, обхватил руками эту обшивку и попятился с нею, поставив затем ее на землю. Делал, работу и про себя повторял:

Пейзаж чудовищно-картинный
Мой дух сегодня взволновал;
Клянусь, взор смертный ни единый
Доныне он не чаровал!

Появилась мрачная рожа Енбергалиева.

- Давая поскорее, - сказал он. - Давая двигателя мне починять!

- Ты кто? - спросил Виноградов.

- Моя - двигателиста.

Виноградов ловко поменял реле. Перешел в бомболок. Едва размонтировал помпу, показалась физиономия Лиепиньша.

- Корей, корей тафай... Мне нато пиропатрон пломпировать...

Руки у Виноградова замерзли. Пальцы плохо слушались. А тут этот, иностранец, над душой стоит. С трудом поменял щетки, закрутил заглушки. А за Лиепиньшем уже Жупенко лезет с какой-то дрыной.

- Гарно, гарно, - говорит. - Тикай!

- Чего спешишь? Ты уже отделился от СССР! - бросил ему Виноградов.

Он все свое закончил, пригнулся, вышел из-под самолета. Жупенко, ошарашенный юмором, как он это воспринял, новичка, исчез с железкой под самолетом. Виноградов пошел докладывать капитану.

- Перекури, (непечатное), - сказал капитан, что-то паявший на верстаке.

Механик-сержант Гриша держал это что-то пассатижами. В теплой курилке сидели взрослые механики из других отделов. Сплошь сержанты-сверхсрочники. Виноградов смущенно присел в уголочке на ящике. Один говорит:

- Три часа вчера мочалил свою и так и не кончил...

Другой говорит:

- У дочки в детском саду карантин. Ветрянка.

Виноградов подошел к говорящим.

- Это что... Все делается по уставу Конфуция не так... Там, значит, на сцене - симфонический оркестр человек в полтора года...

- Где?

- Да на Бодлере... Это вам не столовая, это вам - ресторан. На потолке, высоченном; богатыри в кольчугах, русалки там разные... И дают то осетрину, то икру красную, столики на четверых... Я в белой дубленке ходил...

Виноградов не стал дожидаться реакции, и так заметил, что на него стали как-то подозрительно смотреть, бросил окурок в урну и пошел в отдел. Капитан уже собирал с Гришей самодельный торшер.

- Ну, (непечатное), как? - спросил он у Виноградова, кивая на торшер.

- Красиво, - сказал Виноградов, оглядывая поблескивающие латунные трубки, плексигласовые столик и подставку, широкий абажур из парашютного шелка. - Только когда у голых женщин матовые шары светильников в поднятых руках - то красивее!

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

- (Непечатное, непечатное, непечатное)! - сказал капитан.

Потом на руках, как телегу, катили самолет, облепив его, как мухи, на взлетку. Бросили под колеса, чтобы не покатился, специальные башмаки. Капитан залез в кабину. Подъехал ЗИЛ-электрозарядчик. Воткнули тяжелую вилку кабеля в розетку на борту самолета. Капитан запустил двигатели. Виноградов тут же оглох. Даже бетон под ногами завибрировал. Из сопл двигателей вырвался огонь. Погазовав минут пять, капитан выключил двигатели. Наступила тишина, но свист в ушах продолжался. Виноградов побежал в отдел. Так и есть - женщина-механик была одна.

- А вас я знаю как зовут! - с порога выпалил он.

- Как? - удивилась женщина.

Взгляд ее был неподвижным, как у проснувшегося человека.

- Надя!

Он подошел к ней и положил руку на плечо. Надя молчала, только подбородок ее дрогнул. От нее шло тепло, как от обогревателя. Затем погладил ее шею и, склонившись, вдыхая запах пудры и волос Нади, прижался щекой к ее щеке, но тут же получил удар локтем по носу. Свист в ушах продолжился. Совсем он исчез, когда строились перед воротами ангара на обед.

- Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Запевай!

Абельсон затынул:

Путь далек у нас с тобою...

Где-то против водонапорной башни песня кончилась. Виноградов, не глядя на старшину, шагавшего сбоку, затынул:

Мы люди большого полета,
Взрастил нас геройский народ,
Орлиное племя - пилоты,
Хозяева синих высот...

Он пел до самой столовой.

- Хорошо поешь! - похвалил старшина.

Виноградов смущенно опустил глаза. Потом сказал:

- Я другие песни знаю. Бодлера, например.

- Не слышал, - подумав, сказал старшина.

Виноградов привычно орудовал “разводящей”, налил мутный суп из перловки, потом разбрасывал по мискам перловую же кашу с почками, и наконец, разливал по кружкам компот из сухофруктов.

- Становись! Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш! Виноградов?

- Я! - отозвался бодро Виноградов.

- Запевай!

На только ему известный мотив ритмичного марша Виноградов запел:

О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!

И грудь моя, что всех погубит чередой,

Сердца художников томит любовью властно,

Подобной веществу, предвечной и немой...

У ворот ангара старшина с недоумением во взоре спросил:

- Что это ты пел?

- “Красоту”, - сказал Виноградов.

- Хорошо, - вздохнул старшина. - Но непонятно. Ты пой чего-нибудь поближе к народу...

- Это сначала непонятно, - сказал Виноградов. - Потом - поймете. Ведь, на одной силе поэтической мысли все летает!

- Ну, иди, иди, - неопределенно сказал старшина, пристально глядя на Виноградова, - работай.

Механики занялись другим самолетом на улице перед воротами.

- Чефой ты пель? - спросил Лиепиньш с некоторым испугом.

- “Красоту” Бодлера, - сказал Виноградов. - Я же из спецчастей прибыл, там стран никаких нет, только одна страна, а ребята есть с Америки, с Франции, с Польши, а в роте охраны - с Китая, - вмазывал специально, с удовольствием это “с” Виноградов.

Лиепиньш, побледнев, молча полез под самолет.

- Ну, ты даешь! - только и сказал Жупенко. - Ты кто? Интеллигент, что ли?

- Нет, инопланетянин.

Виноградов менял свои щетки и реле. На него уже почему-то никто не покрикивал, не торопил. Терпеливо ожидали, когда он закончит свои операции. Капитан заметил это, крикнул под самолет:

- Ну что ты, (непечатное), как этот (непечатное), прости господи, (непечатное)!

В пять часов рабочий день закончился. Старшина скомандовал:

- ТЭЧ.

Виноградов поддержал:

- Теоретическо-эстетическая часть!

Да так громко поддержал, что наступило тягостное молчание. Наконец старшина тихонько одернул, искоса глядя на него:

- Становись, становись в строй, Виноградов.

Виноградов встал в строй, чувствуя, что жизнь обманывает всех нас своим мнимым реализмом; только чувствуя это, но не облекая это чувство словами типа "реализм".

- Техническо-эксплуатационная часть, - на всякий случай, глядя на Виноградова, произнес подробно старшина, - становись! Равняйся! Смирно! Ша-агом а-арш!

В казарме было тепло. Виноградов повесил бушлат в шкаф. Хотел зайти в ленинскую комнату, полистать газеты. Старшина отозвал его в сторонку, сказал:

- Кто тебя этому научил, как его?

- Бодлеру?

- Во-во... Бодлеру кто научил?

- Американцы и эти... инопланетяне... Из правого верхнего угла светящиеся сгустки света в левый нижний идут... Бодлероиды летают. А стран, товарищ старшина, честное слово, там нет! Все в одной части служат: и ребята из Америки, и из Франции, и, как у нас, с Эстонии, с Латвии... И ангелы, - Виноградов оглянулся на всякий случай, - летают, и Бог выступал с трибуны. Оказывается, он настоящий, лысый. На Бодлере живет и по всему небу летает. А чего такого? На одной силе поэтической мысли! Ангелы, между прочим, все с погонами, в чине младших лейтенантов... И у Бога с Ерусалима на плечах погоны! А что вы думали! Там и дети все в форме ходят, как наши суворовцы. Они - биороботы! Да, вот так вот. Правда, я не разглядел, сколько звезд на погонах у Бога с Ерусалима...

Старшина с испугом ухватил Виноградова под руку и повел к себе в капертку, прикрикнул на каптенармуса Грачева, чтобы тот исчез. Сели под полками с личными вещами солдат (чемоданами и рюкзаками) на топчан из реек. Старшина спросил:

- А почему с Америки-то?

- Да это ж инфернальный полк, товарищ старшина! Командир полка - генерал с Новой Зеландии! - рассмеялся Виноградов.

- Ну-ну, - часто заморгал старшина.

- Он на “джипе” типа нашего “козла” ездил! Они все там сплошь ученые, конференции созывают! А, слышали, что Украина от СССР отделилась?

Тут старшина вздрогнул, совсем как-то обмяк и прошептал:

- Идите, Виноградов, идите... Разрешаю в неположенное время полежать на кровати...

Виноградов пожал плечами и вышел. Лежать ему не хотелось. Он поклонялся по казарме, почитал моральный кодекс строителя коммунизма. Спросил у Гофмана, который пришивал свежий подворотничок к парадному мундиру:

- Сейчас личное время?

- Личное, - покосился на него Гофман, про себя думая, что за мудака к ним еще прислали.

- А там в личное время, - сказал Виноградов, присаживаясь рядом с Гофманом на табурет, - в оперу все строем ходят!

Гофман застыл с поднятой иголкой в руке и, не моргая, уставился на Виноградова.

- Где, не понял?

- На Энгельгардтовской, - простодушно пояснил Виноградов, разглядывая на мундире Гофмана значки “Гвардия”, классного специалиста, ГТО, комсомольский...

Гофман вдруг покраснел и закашлялся.

- Старичок, у нас нет оперы, - сказал он. - Ты что-то перепутал.

Виноградов улыбнулся загадочно, встал с табурета, вытянул руку, отставил ногу и громко, на всю казарму, объявил:

- “Зелеными просторами”. Слова М. Исаковского, музыка В. Захарова. Исполняет солист оперного театра Энгельгардтовской филармонии рядовой Виноградов!

И запел (текст песни дается полностью):

Зелеными просторами
Легла моя страна
На все четыре стороны
Раскинулась она

А над ней стальные соколы
И день и ночь парят,
И огни ее высокие
Над всей землей горят

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРТОВСКАЯ

Гремят победной песнею
Заводы и поля,
И мы, страны ровесники,
Проходим у Кремля.

Наше знамя, шелком шитое,
Пылает в вышине
И лежат пути открытые
Для нас по всей стране.

Куда б ты ни поехал,
Куда б ты ни пошел,
Повсюду наша молодость,
Повсюду комсомол.

Все мы Сталиным воспитаны
В родном своем краю,
Все проверены, все испытаны
В работе и в бою.

И мы проходим с песнями
Во всех концах страны, -
Мы все - ее ровесники
И верные сыны.

И пускай друзья и недруги
Увидят в этот час,
Что на свете нету юности
Счастливей, чем у нас.

Гофман был бледен. Вокруг собрались любопытные, столь же бледные. Гофман оглядел всех испуганно. Трудно было измерить глубину молчания, воцарившегося в казарме. А Виноградов, царственным взором окидывая собравшихся, спросил торжествующе:

- Может, скажете, что и Бодлера у вас нет?

- Бодлера у нас... нет, - нетвердо сказал Гофман и добавил: - Крупп есть, Енбергалиев есть, даже Жупенко есть, а вот этого... как его?

- Бодлера...
- Вот... Бодлера - нет.
- А это что?! - воскликнул Виноградов и с подъемом проскандировал:

Пейзаж чудовищно-картинный
Мой дух сегодня взволновал;
Клянусь, взор смертный ни единый
Доныне он не чаровал!

Виноградов с каким-то победоносным видом блеснул глазами и, подойдя к стене, крикнул:

- Вот он Бодлер-то! Чудаки, смотрите! - и указал на графический портрет в рамке.

Из толпы выглянуло лицо старшины.

- Дневальный!? - страшась самого себя, позвал он.

- Я!

- Отведите рядового Виноградова в санчасть!

Виноградов пожал плечами, сказал:

- Я здоров. Зачем мне в санчасть?

Потом вспомнил про спиртик и нехотя согласился. На улице уже стемнело. Качались на ветру тусклые фонари. Дневальный шел молча. Сначала держал Виноградова за локоть. Потом, видя, что тот сам шагает бодро, отпустил. Виноградов чуть слышно напевал:

Мы люди большого полета,
Взрастил нас геройский народ,
Орлиное племя - пилоты,
Хозяева синих высот...

Вошли в одноэтажное кирпичное здание медсанчасти. Дежурный лекарь-сержант выслушал дневального, отойдя с ним на неслышное расстояние. Дневальный ушел. Виноградов снял бушлат и с лекарем пошел в палату, в которой стояло четыре пустых койки.

- Разденься и ложись, - сквозь зубы сказал лекарь.

- Слушаюсь, товарищ сержант! А у вас тут библиотеки нет?

- Нет?

- Бодлера бы почитать, - мечтательно произнес Виноградов.

Лекарь кашлянул и молча ушел, но вскоре вернулся с мензуркой.

- Давай-ка выпей.

- А чего это? - покосился Виноградов на жидкость.

- Не твоего ума дело!

Виноградов послушно выпил. Повспоминал в приятной истоме Энгельгардтовскую. Потом задремал. Утром в палату зашел майор в накинутом на погоны халате. Один погон со звездой между двумя синими полосами был виден.

- Итак, рядовой Виноградов, как ваше самочувствие?

- Отличное, товарищ майор! - доложил, приподнимаясь на локтях, Виноградов, разглядывая красноватое лицо майора.

- Так, значит, ангелы - лейтенанты?

- Младшие лейтенанты, все как один!

- И у Бога - погоны?

- Точно!

- А генерал откуда, говорите?

- С Новой Зеландии, товарищ майор!

- Понятно. А что там летало?

- Серебристые сгустки света, товарищ майор! - попытался с волнением объяснить Виноградов и для доходчивости добавил: - Бодлероиды. Они без крыльев. Летают на одной силе поэтического вдохновения!

- Вы не волнуйтесь, - сказал майор. - Я понимаю. Летают без крыльев. Как ракеты?

- Да нет, что вы! Они как волчки!

- Понятно.

Но Виноградов по лицу майора понял, что тот ничего не понимает. Поэтому Виноградов заговорил:

- Да это же на Энгельгардтовской! Понимаете? Там ребята с Америки, с Франции, с Польши... А в роте охраны - ребята с Китая! Официант с Италией! Там стран никаких нет! Всего одна страна! Понимаете? По уставу Конфуция все идет, мол, главное, изучай самого себя! - заволновался Виноградов, вспоминая, как его выбрал в себя на рынке в Брянске серебристый сгусток света, и произнес чеканно:

В мозгу моем гуляет важно
Красивый, кроткий, сильный кот

И, торжествуя свой приход,
Мурлычет нежно и протяжно...

- Ну ладно, - сказал майор, вставая, - отдыхайте. Все пройдет.
- Бодлер не может пройти! - с чувством сказал Виноградов и восторженно покрутил головой. - Он классик, такой же, как и я! А, слышали, что Украина отделилась от СССР?

Майор не просто застыл, но задеревенел в дверях.

- Ну-ну... - сказал он и хотел что-то добавить, но вдруг замолчал, побледнел и удалился.

Принесли завтрак. Пюре с котлеткой. Как на Энгельгардтовской почти что. Виноградов с удовольствием съел "порцовку". Затем с не меньшим удовольствием выпил стакан какао с белым хлебом и сливочным маслом. Могли бы, конечно, красной икры положить. Заглянул лекарь. Виноградов попросил:

- Принесите мне Бодлера почитать.

- Поинтересуюсь в клубе, - более вежливо, чем вчера, сказал лекарь.

Вошел медбрат со шприцем. Сделал укол. Виноградов уснул до обеда. Когда проснулся, то ощутил всею кожей страшную пустоту армейской жизни. Какой-то солдатик в халате протянул ему книгу. Виноградов взглянул. "Цветы зла". На самом деле существует! И затрепетал от восторга. Подали борщ со сметаной в фарфоровой глубокой тарелке. Солидный кусок мяса плавает в борще. На второе - жареный картофель с антрекотом. Чай. Виноградов жадно принялся за "Цветы зла", минут за двадцать освоив десять страниц, но тут сделали еще один укол и Виноградов заснул. Проснувшись, он приподнялся и долгим взглядом смотрел в окно на небо, на садящееся солнце. Потом принесли ужин: запеканка из манной каши с клубничным вареньем! С улицы донесся отдаленный грохот Виноградов догадался, что вторая эскадрилья начала полеты. На другой день он проснулся поздно, когда уже солнце по-зимнему дымно било в окно, и свет от него, расчерченный переплетом рамы, ложился золотым квадратом на пол. Вошел новый дежурный, старший сержант, с темным, заветренным лицом, сказал:

- Собирайся. В госпиталь на обследование поедешь.

- Вот чудачки! - усмехнулся Виноградов. - Чего меня обследовать, ведь я здоров!

- Это не тебе решать! - хмуро сказал старший сержант.

СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ

У подъезда стоял коричневый фургон с красным крестом на боку. Виноградов залез в него. Старший сержант - следом. "Цветы зла" Виноградов на всякий случай прихватил с собой. Вдруг да там не окажется библиотеки. Старший сержант долго смотрел на него молча. Потом спросил:

- Ты чего, с американцами, что ли, служил?

- А чего такого! Там были ребята с Франции... А в роте охраны - с Китая! Но главное - генерал с Новой Зеландии! Мне приказал изучать "Красоту" Бодлера. Вот я и изучаю! - Виноградов придвинул обложку "Цветов зла" к самому лицу старшего сержанта.

За окнами проплывали заборы и сараи какой-то деревни, через которую шло шоссе.

- Думаешь, комиссуют? - вдруг ехидно спросил тот, отодвигая от себя книгу.

- Чего? - не понял Виноградов.

- Ладно, сиди, придурок!

Виноградов снес молча оскорбление. Чтобы не заострять на этом оскорблении внимание, процитировал, не торопясь, вслух:

В провалах грусти, где ни дна, ни края,
Куда Судьба закинула меня,
Где не мелькнет веселый проблеск дня,
Где правит Ночь, хозяйка гробовая...

- Я - цветок зла, - сказал задумчиво Виноградов.

- Ты же ведь деревенский, - рассудительно сказал старший сержант. - Откуда всё это?

Солнце ударило в лицо, на мгновение ослепив Виноградова.

- С Энгельгардтовской, - спокойно ответил он.

- Ну, давай-давай, наяривай! Вошел в роль, придурок!

Виноградов опять не обиделся. Ну что обижаться на тех, кто не знает Бодлера.

*"Наша улица", № 8-2000,
а также в книге "Родина",
Москва, издательство "Книжный сад", 2004.*

ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК

повесть

В пять утра Олегу Олеговичу сильно захотелось есть. Он перелез через толстую жену, так как спал у стенки, и босиком, зевая, проследовал на кухню. Слабый свет из кухонного окна через тюль осветил всю его фигурку. Это был, что называется, много раз описанный странными русскими перьями типический экземпляр титулярного советника, которых в одной Москве насчитывается столько, что собьешься со счета, и все титулярные советники хотят есть, ну, разумеется, не точно в пять утра, а по-разному, в течение суток, кто когда. Говорят, что теперь с красными флагами на улицы выходят те, кто хочет есть. Но Олегу Олеговичу казалось, что только ему одному хотелось есть. Странно, конечно, он был устроен, но по образу и подобию, как и подобает.

Он долго шарил по кухне в поисках еды, но кроме остатков гречневой каши на дне кастрюли ничего не нашел, даже хлеба, В нервном отчаянии он стал впахивать в себя кашу холодную эту. Что ж делать, виновато правительство, приватизация, коммерциализация, номенклатура - бывшая и настоящая, долларизация, разгул преступности, инфляция, начальник отдела, главный бухгалтер и мерзкий московский климат! Это он, климат, сделал Олега Олеговича похожим на мопса - морщинистое серое лицо с жиденькой бородкой, которую когда-то в юности отпустил для солидности, и так и оставил на всю жизнь, даже удобно - бриться не надо. Рост он был низенького, телосложения - щуплого, а есть хотел, как Поддубный. Хотя Олег Олегович был не Поддубным, а подкаблучником, то есть в семье правила жена, а он как бы был при ней, вроде посыльного.

Олег Олегович проглотил кашу, икнул и сел на табурет, уставившись в окно. Никаких мыслей в голове не было, одно отражение, согласно Марксу, реальной действительности, жуткой и бездарной. В сумерках он видел в окно помойку, которую не вывози-

ли всю зиму, и вот теперь, весной, вся эта грязь вылезла гниющей горой. Контора, в которой работал Олег Олегович, развалилась, и он оказался безработным. В трудовой книжке появилась сорок шестая запись: “Уволен по собственному желанию”. В советское время он с легкостью менял места работы, искал наиболее выгодного, то есть такого, где бы платили максимальный оклад, самый максимальный за то, что ты показываешься там минимальное количество раз в неделю, просто показываешься.

Теперь же положение Олега Олеговича было аховым. Вот уже три месяца он не мог найти себе работу. Тащила кое-как воз семьи жена, работавшая некогда, до катастрофических событий в России, как считала она - и Олег Олегович в этом мнении был с нею полностью солидарен, - секретарем-машинисткой парткома военного завода, а теперь учетчицей в отделе труда того же завода, который дышал на ладан: зарплату не выдавали с января, а теперь май! Жена занимала, перезанимала, покупала у подруги на чулочной фабрике кое-какую продукцию и перепродавала ее родственнице на Украину, где уже положили зубы на полку, - в общем, спекулировала, как могла, а могла плохо, не будучи подготовленной к рыночным отношениям. Ее не раз обманывали, брали носки в кредит, а деньги не платили. Вот тебе и родственники!

Олег Олегович неоднократно подумывал, а не выйти ли ему под красные флаги и не побить ли булыжниками ненавистные ему палатки коммерсантов, даже Володе Гусеву как-то звонил, расспрашивал о коммунистическом движении. Гусев ходил под красными флагами с Анпиловым, громил палатки, потому что Гусев был смелым и у него в трудовой книжке была лишь одна запись - принят слесарем в учреждение № 36795. С ним его познакомила много лет назад жена на одной вечеринке. Но Олег Олегович смелым не был, боялся, что его поймут и посадят. Так что от битья стекол он отказался, а других идей в его голове не возникло. Жена постоянно твердила: “Надо что-то делать!”, но что делать, не объясняла Олегу Олеговичу, возила его с собой за тюками, он таскал эти тюки на барахолки, она торговала, а он при ней стоял и волновался, как бы не обокрали.

Олег Олегович находился в перманентном состоянии нервного потрясения. Три месяца в этом состоянии! Разве можно так жить? Он отвел взгляд от помойки и тихо заплакал, уронив голову в ладони. Стыдно было перед детьми, кормить их стало нечем. Скоро

они поднимутся, а что им давать на завтрак? Может быть, жена что-нибудь для них припрятала? У Олега Олеговича было трое детей: Елена заканчивала институт, Вика - школу, Маринка ходила в детский сад. Дохода никто не приносил, но есть хотели все. Поплавав некоторое время, Олег Олегович пошел умываться, и пока умывался, повторял слова жены: "Надо что-то делать!". Повторив эти слова раз пятьдесят, он ничего не придумал и от этого бессилия проскулил тоскливо.

И с такой же тоскливостью булькала струйка воды из сорванного крана. Олег Олегович попытался плотнее закрутить его, но сорвал резьбу и вода хлынула потоком. Он полез перекрывать воду в уборной за перегородкой, но там на кране не было вентиля. В ванной вода била фонтаном. Олег Олегович испугался, пошлепал в комнату будить жену. Та в ужасе вскочила, огромная, грудастая, вытащила из-под шкафа чемоданчик с инструментами, схватила разводной ключ и побежала перекрывать воду. Олег Олегович стоял в дверях уборной и наблюдал за уверенными действиями жены. Вода была перекрыта.

- Слесаря нужно вызывать, - сказала жена после этого.

- Он на бутылку попросит, - сказал Олег Олегович.

- Да, - согласилась жена. - Придется на заводе кран просить у сантехников. Но и им нужно платить. Хотя они подождут, - размышляла вслух жена и без перехода спросила: - Ты что-нибудь придумал?

- Что тут придумаешь!

- Надо что-то делать! - твердо сказала жена.

- Что? - возвел глаза к потолку Олег Олегович.

- Ох, интеллигенция! Что мне с вами делать? - усмехнулась жена и увлекла Олега Олеговича, заметно замерзшего, на брачное ложе, что она любила делать часто и истово.

Когда поднялись дети, жена разогрела припрятанную банку немецкой тушенки из гуманитарной помощи, которую за минуту как ветром сдуло.

- Я не наелась, - сказала Маринка.

- В саду покормят! - грубовато сказала студентка Елена, симпатичная девушка, понимая всю сложность текущего момента.

Олег Олегович одобрительно кивнул головой. Вчера вечером Елена разоткровенничалась с ним о создавшейся в семье ситуации, что дальше так жить нельзя и что она придумала кое-что, а

именно она прочитала рекламу в газете, что можно выйти замуж за состоятельного западного бизнесмена, что эти бизнесмены ищут русских девушек себе в жены и что она уже написала по одному адресу в Нью-Йорк, теперь же ждет ответа.

- Только матери не говори, - попросила Елена, - а то она такое подымет!

- Могила, - сказал ей Олег Олегович и лег спать в десять часов.

Олег Олегович был ранней птахой. А если его уговаривали посидеть у телевизора, посмотреть какой-нибудь интересный фильм после двадцати двух часов, он, помучившись минут десять, засыпал прямо в кресле. Прежде он любил вечером просматривать газеты. Наденет очки и листает. А теперь и газет в доме не было. Не подписались по известным причинам.

Первой убежала в школу Вика. У нее уже были мальчики, об этом Олег Олегович догадывался, но не расспрашивал. Затем жена повела в сад Маринку, сказав, что сейчас вернется и поедет с Олегом Олеговичем на чулочную фабрику за товаром.

- Дай сигаретку, - сразу же, как дверь за женой закрылась, попросил у Елены Олег Олегович.

- Пап, свои нужно иметь! - усмехнулась Елена, но одолжила пару сигарет.

Елена курила уже полгода, но мать об этом не знала. Все откровения у нее были с отцом. А он за нее не беспокоился, он знал, что она - красивая, стройная, усидчивая - найдет свой путь в жизни.

- Ладно, пока! - покурив, сказала Елена и, уходя, добавила: - Кужину что-нибудь притащу!

Олег Олегович знал, что она держала на коротком поводке двоих однокурсников из довольно-таки состоятельных семей. Как бы ему, Олегу Олеговичу, стать состоятельным? Он прошелся из угла в угол и вдруг в голову пришла довольно-таки ясная идея - вызвать всю свою телефонную книжку, может быть, что-нибудь ниспадет? Как ему раньше в голову не приходила подобная идея! И он принялся накручивать диск телефона. Даже палец устал. Однако толку было мало. Все были заняты, всем было некогда, все понимали его положение, но ничем помочь не могли, поскольку сами искали свою спасительную соломинку.

Закончив двадцать лет назад институт, ни с кем из однокурсников Олег Олегович контактов не поддерживал. А тут наткнулся в

записной книжке на фамилию Маркова и вспомнил о нем, и набрал его номер. В трубке послышался мужской голос, должно быть, самого Маркова, но Олег Олегович с некоторым сомнением попросил:

- Мне Андрея Ивановича.

- Это я, - сказал Марков.

- Привет, старик! - выпалил по-студенчески Олег Олегович. - Не узнал?

- Нет. Говорите скорее. Я спешу.

- Да это я, Олег, твой однокурсник.

- Олег? Хорошо. Слушаю, - столь же нейтрально проговорил Марков.

- Надо встретиться, - сказал Олег Олегович.

- Давай. Ты где?

- Дома.

- Сиди. Я через час сорок к тебе заеду, - сказал Марков. - Адрес?

Не успел Олег Олегович продиктовать адрес, как Марков положил трубку.

Олег Олегович вновь набрал его номер, но телефон не отвечал. Вернулась жена. Узнав, что он должен сидеть и ожидать какого-то Маркова, обозлилась и помчалась на чулочную фабрику одна. Олег Олегович стал в ожидании ходить из угла в угол. А что, если Марков как-нибудь поможет? Ведь, помнится, в стройотряде Марков был командиром, таким инициативным, и денег тогда дал Олегу Олеговичу за безделье много. Хотя, с другой стороны, прикинул Олег Олегович, номер телефона остался у Маркова тот же, стало быть, он живет там же, в двухкомнатной квартирке, что и в студенческие годы. Но тогда он на третьем курсе женился и на стройотрядовский заработок купил себе эту двухкомнатную квартирку, что по тем временам для студента было невероятно. Собственно, поэтому Олег Олегович набрал номер Маркова.

Ровно через час сорок явился Марков. Олег Олегович сделал кое-какое вступление, сказав, что и угостить его нечем, но Марков пропустил это мимо ушей.

- На ловца и зверь бежит, - прервал извинения Марков. - Я принимаю решения быстро. Ты позвонил как раз в тот момент, когда я подумал о тебе, Олег. Я вспомнил тебя и ты позвонил.

- Неужели?

Марков махнул рукой. Он был такой же собранный, быстрый, как и в студенческие годы, только седина говорила о том, что с той поры минуло двадцать лет.

- Мне нужен человек, такой как ты.

- Я сам хотел тебя просить...

- Помолчи. Я перебрал в памяти всех своих знакомых и остановился на тебе.

Через пять минут Марков достал из портфеля круглую печать и приложил ее к одной из последних страниц трудовой книжки Олега Олеговича с записью о том, что он принят на работу в должности заместителя директора производственного предприятия "Цветы России".

У Олега Олеговича от волнения дрожали руки, когда он писал заявление. Все это ему казалось сном. Марков с собственной печатью, должность заместителя директора и, главным образом, аванс в таком размере, о котором запрещено было думать в этом доме.

- Благодаритель! - воскликнул Олег Олегович, склоняя лысеющую голову.

- Ладно. Помчались. Ты готов?

- Готов!

При виде "Мерседеса" у Олега Олеговича заблестели глаза, и он осторожно сел на мягкое сиденье. В Подольск они не ехали, нет, они летели, бесшумно, как птицы.

- Дело в том, что мне нужен верный человек, - сказал Марков. - Хоть ты знатный бездельник, но в верности и молчании тебе не откажешь...

И всю дорогу Марков говорил о своем индивидуально-частном деле, о том, что он уже успел принять на работу к себе и уволить порядка десяти человек, лживых, жадных, мстительных, живущих одним днем.

День прошел за одну минуту. В конце его Олег Олегович под управлением Маркова накупил в новом коммерческом гастрономе таких вкусняшек и в таком объеме, что не помнил, как Марков подкатил его к подъезду и как он дотащил все это до квартиры. А дальше он прозрел и увидел алчущие физиономии детей и жены. Жена смеялась и плакала, напевала и заикалась, когда нарезала тонкими прозрачными ломтиками осетрину, раскладывала по тарелкам шейку, говяжий рулет, швейцарский сыр и прочая, и прочая, и прочая...

- Что это?! - восклицала она.

И Олег Олегович, почувствовав, что он овладевает жизненной ситуацией, несколько приподнял голову и объявил, что он теперь заместитель директора одной из состоятельнейших частных фирм. И семья ела, ела, ела. И было счастье на лицах детей, и жена почувствовала, что муж Олег Олегович не такой уж подкаблучник. Они не уходили с кухни до двадцати двух часов, все ели, пока сам Олег Олегович не поднялся и не направился опочивать.

Он пробудился, как и обычно, в пять часов и по инерции пошлепал босиком на кухню, думая, что сейчас ему придется шарить в поисках еды. Но неубранный стол поразил его остатками яств. И Олег Олегович принялся есть и съел больше того, что мог съесть. Желудок уже отказывался принимать роскошную пищу, а глаза Олега Олеговича были голодны. И он все ел и ел. Пока пища не встала колом в горле. Только тогда он отвалился от стола и закурил собственную сигарету, но вдруг отложил ее, вспомнив, что купил прекрасный кофе. Приготовив его, он жадно выдул чашку ароматного напитка и вновь зажег сигарету.

В семь часов на кухню вышла в одной ночной рубашке жена и тоже принялась есть. Она хватала мясо, рыбу, сыр, маслинки прямо руками и засовывала жадно в рот. Потом плюхнулась тяжелым задом на табурет и тоже приступила к питию кофя с оттопыренным мизинчиком. Закончив, спросила:

- Ну, и чем же этот Марков занимается?

Олег Олегович многозначительно посмотрел на нее. Раньше у него взгляда такого не было.

- Цветами, детка моя.

Жена даже смутилась от такого снисходительного обращения.

- Да-а... - протянула она, - видно, выгодное дело.

Олег Олегович молча встал, прошел в прихожую, извлек из кармана деньги и, вернувшись на кухню, бросил их перед женой.

Взгляд жены будто помрачился, минуту она сидела каменной, затем решительно схватила деньги и прижала их к взволнованной груди.

- Пошли! - приказала она и увлекла Олега Олеговича на кровать.

Страсть ее была воистину беспредельна. Потные, часто дышащие, они лежали потом и смотрели в потолок.

- Надо сделать ремонт, - через некоторое время, успокаиваясь и обнаружив на потолке свисающую на паутине побелку, сказала жена.

За завтраком девочки ели так, что хрустело за ушами, и глаза их, полные счастья, истово смотрели в тарелки.

- Папа, ты молодец! - похвалила Олега Олеговича Елена, уходя в институт.

Вика сделала бутерброд с черной икрой и сказала:

- На переменке съем.

В девять часов, поблескивая никелем, у подъезда припарковался "мерседес". Олег Олегович увидел его в окно. И жена увидела тоже, с нетерпением ожидая знакомства с Марковым и на-красившись так щедро, как давно не красилась.

- Андрей Иванович, - представился ей Марков.

- Кофейку? - спросил Олег Олегович.

- С удовольствием! - согласился Марков.

Пили кофе, Марков то и дело посматривал на часы.

- И как же вы, Андрей Иванович, вот так... в наше трудное время?

- А кто вам сказал, что наше время трудное? Коммунисты? Так они бездарны. Наше время самое легкое, поэтичное, - сказал Марков. - Какие проблемы? Проблем нет! Идите в регистрационную палату, открывайте свою фирму и работайте! Вот и все.

- Легко сказать, - засмеялась жена. - А налоги, а взятки, а рэкет?

- Вы начитались "Московского комсомольца"? Так не читайте этот бульварный листок, который делает бывший правоверный комсомольский коммунист с сопливыми мальчишками из конъюнктурных соображений.

- Нет, нет я не читаю "Московский комсомолец", - словно бы испугавшись, сказала жена.

- Ну, тогда смотрите новости по телевизору. Там такие же совки на гособеспечении, бездарные и самомнительные.

- Выходит, только вы, Андрей Иванович, талантливы? - с укором спросила жена.

- Я этого не говорил. Но я - свободен в принятии решений. Сейчас самое лучшее время для работы. А тех, кто умеет работать, у нас почти что нет. Вывелись!

В "мерседес" Олег Олегович садился уже более успокоенным, чем накануне, но волнение все-таки присутствовало, тем более,

что за ним наблюдал их дворник, еще не проспавшийся после похмелья.

- Гора помойная гниет, - сказал Олег Олегович как бы для себя, - а этот пьет каждый день.

Марков подозвал к себе дворника и сказал:

- Ты можешь убрать все это? - кивнул он на помойку, затем достал несколько купюр и, протянув их очумевшему от вида крупных денег дворнику, добавил: - Чтоб завтра этого не было!

- Будет выполнено! - сказал хрипло дворник и вытянулся.

Летели в машине быстрее вчерашней птицы. Марков всю дорогу говорил. Было такое впечатление у Олега Олеговича, что Марков соскучился по разговору. У теплиц стояла огромная фура. Полдня грузили ящики с розами. Причем Марков работал энергичнее грузчика и шофера. Олег Олегович из-за своей комплекции титулярного советника едва успевал за ними, руки немели, ноги гудели, но он не жаловался, не хныкал, а стиснув зубы, таскал и таскал ящики, довольно-таки легкие, но походи за ними полдня туда-сюда на сто метров!

Фура ушла в Питер после того, как заехали по пути в одну посредническую фирму, где Марков получил столько наличных за эти розы, что Олег Олегович окончательно перестал понимать происходящее.

- А теплицы кому принадлежат? - по дороге к дому спросил он у Маркова.

- Мне, - ответил Марков.

- Так это ж целый совхоз!

- Это и был совхоз, пока я его не купил, - сухо сказал Марков, поправляя зеркало заднего вида.

- А где столько денег взял? - осторожно спросил Олег Олегович.

- Заработал.

- Ну, а сначала?

- С рубля начал, - сказал Марков. - Откуда у меня деньги! Занял на регистрацию предприятия. Розы в этом совхозе взял в кредит, на реализацию.

- Они сами не могли продать?

- В том-то и дело. Довели совхоз до того, что розы на свалку выбрасывали. Не идут, говорили. Лентяи чертовы. Привыкли, что оптом у них все забирали и твердо платили. А оптовая торговля рухнула. Ну, а эти... Впрочем, что говорить об этом! Это общеизвестно.

Олег Олегович радостно ехал к дому, полагая, что Марков отстегнет ему какую-то сумму, но не тут-то было, тот высадил Олега Олеговича и восвояси укатил.

Жена просто-таки надрывалась от счастья, когда показывала Олегу Олеговичу обновки: платья, юбки, сапоги...

- Деньги остались? - спросил несколько сосредоточенно Олег Олегович.

- Нет. Я все до копейки истратила. И за квартиру вперед уплатила.

Олег Олегович в задумчивости опустился к не столь уже роскошному столу. Ел не спеша, не потел.

- А что, он тебе сегодня денег не дал? - спросила жена.

Некоторое время Олег Олегович молчал, как бы закипая, а потом повысив голос, спросил:

- А тебе на работе каждый день зарплату дают?!

- Что ты волнуешься? - спросила жена. - Ты как с ним договорился?

- Никак.

- То есть как "никак"? Да это же самое главное? Завтра немедленно же расставь с ним все по полочкам.

Вмешалась дочь-студентка:

- Пап, ты, прямо, какой-то. Да с ними нужно контракты писать! Дай-ка мне его телефон, я поговорю с ним!

Олег Олегович против воли продиктовал номер телефона.

Елена из другой комнаты позвонила Маркову.

- Здравствуйте, Андрей Иванович, - сказала она, когда тот снял трубку. - Это говорит дочь Олега Олеговича. Он у нас такой непрактичный... Я хочу спросить, сколько вы ему будете платить за работу и когда?

На том конце провода установилось странное молчание, затем трубка брякнула и послышались короткие гудки.

- Слышали, - ворвалась Елена на кухню, - он не стал на эту тему разговаривать!

Утром Олег Олегович проснулся раньше обычного, в четыре часа, потому что за окном гремели чем-то железным, рычала машина и раздавались бодрые голоса.

Прошлапав босиком на кухню, Олег Олегович увидел дворника в руководящей роли, а какие-то работяги разделялись с помойкой. Солнце еще не поднялось, а во дворе уже было светло.

В девять часов “мерседес” не подкатил к окну, и Олег Олегович заволновался.

- Что это он не подъезжает? - спросила жена.

Олег Олегович ответил ей резковато в несвойственной ему манере:

- Не надо лезть не в свое дело!

В десять он набрал номер Маркова, но никто не отвечал. Весь день Олег Олегович находился в страхе. Вечером дозвонился до Маркова.

- У меня твоя дочь работает? - спросил Марков.

- Нет.

- Хорошо. Значит, так. Зарплата у тебя один раз в месяц, второго числа. Это первое. Второе: ты будешь получать пятьдесят минимальных зарплат с учетом инфляции. Вопросы есть?

- Нет.

- Тогда завтра в девять, как и обычно! - закончил Марков и положил трубку.

У Олега Олеговича отлегло от сердца, он повеселел, ему даже захотелось посмотреть фильм после двадцати двух часов, и он принялся смотреть фильм, но через пятнадцать минут против желания - задремал. Жена и Елена перенесли его на кровать, маленького, размякшего, раздели и укрыли одеялом.

В пять часов утра он проснулся с легким чувством голода, перелез через жену и пошлепал на кухню босиком. С жадностью прикончил последний кусочек сыра и принялся дуть кофе и смачно курить.

В девять часов подъехал “мерседес”, и Марков пожаловал в квартиру.

- Кофейку? - с порога спросил Олег Олегович.

- Обязательно! - согласился Марков.

Появилась жена, сказала:

- Вы уж извините, но ничего особенного Елена у вас не спросила...

Олег Олегович дикими глазами взглянул на нее, так что она сначала попятилась, а потом исчезла. Но появилась в кухне Елена в прозрачной белой маечке, так что видна была молодая грудь с темными большими сосками. Марков смущенно отвел взгляд в сторону, а Олег Олегович спросил:

- Ты почему не в институте?

- Свободный день! - сказала Елена, схитрив, - она осталась дома специально, чтобы увидеть Маркова.

Она его увидела. За столом сидел мужчина ее мечты и, главное, с сединой в красивых волосах. Она и маечку эту прозрачную специально надела, чтобы увидел - какая она, Елена, привлекательная. Конечно, это доказывать было не нужно. Она и была привлекательной, с голубыми глазами, с тонкой талией. И, потом, эта грудь...

В машине Марков сказал:

- У тебя дочь красавица!

Олег Олегович смущенно промолчал, не зная с чего начать разговор. Затем, подумав, сказал:

- А помойку-то убрали.

- Заметил. Деньги - это вода, которая толкает лопасти турбин!

- Старик, ты извини меня, но я немножко не понял насчет оплаты, - начал Олег Олегович скромно, - бухнул все деньги на стол жене, а она их все потратила... Не мог бы ты... в счет зарплаты?

Марков, не снижая скорости машины, извлек из кармана деньги. Их оказалось вдове больше, чем он дал в прошлый раз. Олег Олегович прямо-таки затрепетал от охватившего его чувства. Хотелось расцеловать Маркова. Хотелось ликовать. Он закрыл глаза и ему показалось, что у него выросли крылья и что он летит.

- Советую не давать жене денег, - вдруг сказал Марков. - На хозяйство брось и достаточно. Женщины не знают меры.

- Это точно! - подтвердил Олег Олегович. - Но ведь и расход в семье большой. Как сядем обедать, так кастрюли нет.

- И все-таки будь жестче, - сказал Марков.

Вечером Олег Олегович не выдержал и отдал жене половину полученной суммы. Елена при сем присутствовала и попросила, когда мать вышла:

- Пап, подкинь бедной родственнице!

И Олег Олегович подкинул столько, что Елена подпрыгнула.

- Ну, ты выяснил, сколько он тебе платить будет? - спросила она, когда на кухню вошла мать.

Олег Олегович безоглядно выпалил:

- Пятьдесят минимальных зарплат! Второго числа каждого месяца.

Жена от близости наступления рая на земле всплеснула руками. Затем достала из какого-то своего тайника бутылочку.

- Выпьем? - спросила она.

- На троих? - спросила Елена.

Все рассмеялись. Олег Олегович, захмелев, сказал:

- А ты не ценила мой талант!

- Откровенно, не ценила, - согласилась жена.

- Пап, сейчас единицы столько зарабатывают, как ты, - сказала Елена, закусывая балыком из новой партии продуктов, закупленных Олегом Олеговичем в том же гастрономе.

- Я думаю, что нужно деньги вложить в товар, - голосом бывалой бизнесменши сказала жена. - Я уже договорилась насчет мужских курток. Но мне немного не хватает, у тебя еще есть?

Царственным жестом Олег Олегович бросил на стол оставшиеся деньги.

Утром, когда ел, сидя в трусах на кухне, корил себя за этот поспешный жест, но совесть не позволила в семь утра, когда к трапезе присоединилась жена, попросить у нее денег хотя бы на сигареты. Поэтому в машине он завистливо поглядывал на курящего Маркова, на пачку сигарет, лежащую на полочке перед рычагом скоростей. Но Марков, словно перехватил его взгляд, предложил закурить. Олег Олегович бережно взял из пачки сигарету. К концу же дня уже машинально, не спрашивая дозволения, брал пачку и курил вволю. Марков притормозил у коммерческой палатки, купил блок сигарет и, положив его на колени Олегу Олеговичу, сказал:

- Дома спрячь, и чтобы у тебя было всегда свое курево!

А Олег Олегович, как назло, забыл спрятать. Елена воспользовалась этим, взяла себе половину блока, а когда Олег Олегович сделал ей замечание, парировала:

- Ну, пап, ты даешь! Как мои курить - это можно, а как я взяла...

- Ладно, ладно, - испуганно смутился Олег Олегович, - а то мать услышит.

А мать в это время в большой комнате сдавала оптом куртки, которые успела выкупить, какой-то знакомой. Когда знакомая удалась с товаром, жена вошла с улыбкой в кухню и сообщила, что наварила прилично, но деньги отдадут через неделю.

- Ты что, в кредит отдала? - удивился Олег Олегович.

- Да это в доску своя женщина! - ответила жена, махнув рукой.

Но через неделю денег не было, и через месяц не было, и знакомая, которая оказалась незнакомой, и куртки исчезли с концами.

Олег Олегович, распаковывая хозяйственную сумку с очередным провиантом, пожурил жену за доверчивость, та не возражала и говорила, что впредь будет отдавать товар только за живые деньги, то есть в твердый счет. Олег Олегович положил на стол очередную зарплату, оставив себе кое-что на карманные расходы. Но вот незадача - на следующий день Марков остановился у магазина "Электрон", и Олег Олегович ходил за ним возле прилавков, наблюдая, как тот покупает то одно, то другое.

- Я заметил, у тебя телефонный аппарат разбит. Купи вот этот.

Олег Олегович мысленно прикинул остаток средств и понял, что на аппарат не тянет. Произошла заминка, которую Марков решил быстро: сам пробил в кассу и вручил коробку с телефоном Олегу Олеговичу, у которого на лице было выражение мелкого воришки.

Перед тем, как тронуться, Марков сказал:

- Твою жену надо как-то отсекать. Она обанкротит тебя. Я все вижу и все понимаю.

- Изголодалась она, - тихо сказал Олег Олегович, - а вокруг столько соблазнов, столько товаров!

Марков хмуро, не отводя взгляда, уставился на него.

- Жить нужно по средствам! - отрезал он.

- Я понимаю, но что с ней делать?

- Давай отошлем ее в деревню, - предложил что-то непонятное Марков.

- В какую? У нас нет деревни, нет даже шести соток, - сказал Олег Олегович и при этом даже покраснел - так стыдно ему вдруг стало, что у него нет ни кола, ни двора. Хотя трехкомнатная квартира, конечно, была. И все благодаря жене, она выхлопотала в свое время на заводе через партком. А сам Олег Олегович, ну, ничего ровным счетом за всю свою жизнь не выхлопотал.

- Едем! - сказал твердо Марков и со свистом рванул машину.

На сто семидесятом километре от Москвы Марков свернул с шоссе и через пять минут прижался к двухэтажному зданию районной администрации. Чиновница деревенского вида на глазах у терявшего сознание Олега Олеговича выправила ему документы на владение землей и домом, и с улыбкой благодарности приняла мзду от Маркова.

Дом стоял на опушке леса. Старый русский дом, который в народе называют избой.

Губы у Олега Олеговича почти дрожали, и он едва мог произносить односложное “да”. Сон стал реальнее яви, а явь - реальнее сна.

К трем часам дня были уже у Олега Олеговича. Марков поднялся к нему в столь торжественный момент. На кухне сидели: жена, Елена, Вика и Маринка.

И все вместе ели.

- Кофейку? - предложил Олег Олегович.

- Обязательно, - улыбнулся Марков.

Маркову освободили табурет у окна. От еды он отказался, но кофе пил с удовольствием.

- Я никогда не думала, что муж будет столько зарабатывать! - сказала жена.

- Ничего особенного, - сказал Марков.

- В общем-то, да, - согласилась жена и, как бы между прочим, добавила: - Я тоже могла бы свое дело открыть.

Олег Олегович поперхнулся и закашлялся, даже слезы появились на глазах. Марков тут же, уловив его смущение, сказал:

- Так в чем же дело? Регистрируйте фирму.

- Э, там взятки нужно давать, - сказала жена.

- Я помогу, обойдемся без взяток, я вам дам своего юриста.

Жена замялась, выискивая мысленно причину, которая бы ей не позволила открыть свое дело.

- Рэкета я боюсь.

Марков хладнокровно заметил:

- Против лома нет приема, окромя другого дома! Справимся.

- Нет, я боюсь. И потом - налоги!

- Вы их хоть когда-нибудь платили? - задал вопрос Марков.

- Нет.

- Ну, а что же говорите.

- Андрей Иванович, вы не думайте, что только вы можете работать! Я тоже могу! - с некоторой укоризной сказала жена.

Олег Олегович наступил ей на ногу под столом.

- И нечего мне на ноги наступать! - крикнула жена на мужа, так что тот сжался, поник и опустил глаза в тарелку. - А то они - бизнесмены, а мы никто! Да на нас страна держалась!

Елена вскочила, схватила мать за рукав платья и потащила из кухни.

Марков молчаливо наблюдал за происходящим. Олег Олегович готов был провалиться сквозь землю. Маринка застучала вилкой по тарелке. Вика положила свою руку с маникюром на руку Маркова и сказала:

- А вы не могли бы мне достать билет в Большой театр?

Марков с удивлением взглянул в ее глаза и вдруг обнаружил, что Вика гораздо красивее Елены.

- Нет проблем.

Олег Олегович поднялся из-за стола и сказал:

- Дайте нам поговорить с Андреем Ивановичем.

Девочки покорно покинули кухню, Маринка даже закрыла за собой дверь.

- Не обращай внимания, старик! - извинительно проговорил Олег Олегович.

- Знакомо. У меня тоже есть жена и тоже есть проблемы.

- Такие же?

- Дорогой мой, кушать хотят все, даже моя жена!

Олег Олегович впервые подумал о том, что и у Маркова, оказывается, есть семья и есть проблемы. Хотя, конечно, он знал, что у него есть семья, но знал как-то поверхностно, неопределенно, а вообще, если чистосердечно, никогда об этом не вспоминал. И вслед за этими мыслями полезли в голову Олега Олеговича совсем новые, ранее никогда к нему не приходившие мысли: а за что, собственно, Марков платит ему зарплату, разве за то, что катает на "Мерседесе" и болтает в дороге с ним обо всем, что придет в голову? Но эти мысли Олег Олегович поспешно потопил, потому что какими-то чудовищными в своей непонятности были эти мысли, потому что они напоминали Олегу Олеговичу советское время, когда он получал зарплату ни за что.

- Пригласи жену и вручи ей документы на дом, - прервал его размышления Марков.

Когда жена вошла и поняла, что за бумаги ей подает муж, она побледнела и ватно опустила на табурет.

- Ой! - сказала она.

На другой день Марков подрулил к Олегу Олеговичу, но дома была лишь Елена, и притом в своей прозрачной белой маечке.

- Они уехали в деревню, - сказала Елена. - Хотите кофе?

Марков изумленно стоял в прихожей, не зная, что делать: то ли повернуться и уйти сразу, то ли повременить.

- Ладно, выпью чашечку, - все же согласился он и добавил: - Странно, мне Олег Олегович ничего не сказал, что и он поедет.

- Да это все мать! - сказала Елена.

- При чем тут мать?

- Она сказала, что с вами ничего не случится, если папа ответит ее с детьми в деревню.

- Но я не думал, что это произойдет в тот же день!

- Я говорила, что нужно вам позвонить, но мать категорически запретила. Сказала, что отец тогда заколеблется.

Марков ощутил весь идиотизм своего положения, почувствовал себя каким-то шофером, который приехал за хозяином, а тот уехал на дачу. Ему стало очень обидно, но он не хотел показывать виду перед Еленой. Тем более, что она всячески крутила попойкой в облегающих шортах, придыхала, как будто намекала Маркову на что-то необычное. Но Марков как бы и не реагировал, а вскоре поднялся и, не обращая внимания на уговоры Елены еще посидеть и попить кофе, удалился.

Олег Олегович появился лишь на пятый день. Марков сначала хотел его уволить, такая мысль у Маркова возникла, только мысль, но он ее не высказал Олегу Олеговичу, склонившему повинную голову с объяснениями:

- Приехали, дождь... потом тракторист пьяный два дня пахал землю под картошку, потом сажали...

- И сколько же посадили? - с долей язвительности спросил Марков, закуривая.

- Гектар, - прошептал Олег Олегович и жадно посмотрел на сигаретный дымок.

Марков заметил этот взгляд и сказал:

- И ни сигарет, ни денег?

Олег Олегович отвернулся и покачал в знак согласия головой. Марков остановил машину у метро. Олег Олегович не шевелился, покуривал чужие сигареты.

- Давай, - сказал Марков, протягивая ему руку, - до завтра, в этом же месте.

Олег Олегович не понял, спросил:

- Ты что, ко мне не заедешь? Кофейку?

- Да у меня кофе есть, - сказал Марков.

Смущенный этим ответом, Олег Олегович открыл дверцу и виновато вышел, переспросив:

- Здесь же в девять утра?

- Да! - отрезал Марков. Сам дотянулся до дверцы, захлопнул ее и дал такого газу, что завизжала резина колес.

А Олег Олегович не знал, куда себя девать, потому что у него язык не повернулся сказать Маркову, что сегодня вечером он с Еленой по приказанию жены должен был ехать в деревню. С этой тяжкой думой он вошел в метро и машинально приехал на вокзал, взял билеты, и пока это делал, перед глазами стоял деревенский дом, простор, лес и речка тоже стояли перед глазами, и вечером он уехал до понедельника в деревню с Еленой.

Четверг и пятницу Марков работал один, забыв, какое время года на дворе, потом вспомнил, что лето, усадил в машину жену, сына, собаку, кота и укатил на дачу. Олег Олегович вернулся, как и намечал, в понедельник, через каждый час звонил Маркову, через каждые полчаса звонил в течение недели, но никто не отзывался. Денег не было, еды не было, курица не была, Елена укатила на юг. Он не отважился поехать в деревню, вдруг да Марков появится, но тот не появлялся. Олег Олегович в жутком страхе за себя, за семью шлепал босиком по квартире и бранил Маркова.

Да, Олег Олегович ругал не себя, а Маркова! В общем-то, согласно КЗОТа, делал это справедливо. Кто за кого отвечает? А? Марков отвечает за Олега Олеговича, потому что именно Марков принял на работу его, поставил круглую печать в трудовую книжку, зачислил заместителем директора. Если бы Марков не принял Олега Олеговича на работу, то Олег Олегович нашел бы себе другое место, может быть, повыгоднее. А, собственно, почему Олегу Олеговичу не поискать места повыгоднее? Он слышал краем уха, что некоторые бизнесмены на "мерседес" зарабатывают за день, за месяц возводят особняки, летают на отдых на Гавайи. Они такие же люди, как Олег Олегович, у них есть глаза, как у него, уши, как у него, рот, как у него... Но тут в голове Олега Олеговича зазвучал голос жены с ее рэкетами, налогами, и Олег Олегович испугался своих мыслей. Испугался даже самой мысли о возможности регистрации своего дела. Ему представились бесчисленные коридоры, чиновники, справки, уставы, приказы, согласования, а там еще банк, платежки, накладные, бухгалтерия... Он вспотел от этих мыслей, но тут как раз и зазвонил телефон.

Звонил, ура! Марков.

- Ну, как там деревня? - спросил он как ни в чем не бывало.

- Да вот торчу здесь, как дурак, - с обидой в голосе сказал Олег Олегович.

- Действительно, дурак! - согласился Марков. - Я тебя отправил в отпуск на два месяца, до первого сентября. Подъезжай на наше место к метро, получишь отпускные!

Олег Олегович расцеловал телефонную трубку и бережно положил ее. На крыльях обожания Маркова он примчался минута в минуту в назначенное место. "Мерседес" Маркова был припаркован. Олег Олегович счастливо плюхнулся на воздушно-мягкое сиденье. Марков без промедления выдал ему пять банковских упаковок.

- Это все мое? - похолодел Олег Олегович.

- Твое! - рассмеялся Марков.

- Ну, ты даешь, старик!

Марков смеялся, а сам думал, извинится ли Олег Олегович за прогулы или нет? Не извинился. Теория Маркова подтверждалась и поэтому Марков еще громче рассмеялся, а затем вдруг посерьезнел и спросил:

- Ты не мог бы мне сегодня помочь?

Олег Олегович испугался, он тотчас собирался в деревню, смертельно соскучился по жене, по детям, по приволью провинциальному. Но и Маркову было отказать невозможно, и Олег Олегович против воли сказал:

- О чем речь, старик, без вопросов.

- Тогда - вперед!

Через полчаса были в Голицыне на кирпичном заводе. Через час за ними ползли два трейлера с французским кирпичом. Французы там в четвертом цеху линию поставили. Не кирпич, а шоколад!

- И куда же мы?

- Ко мне! - сказал Марков.

Оказывается, пару недель назад он купил землю, пятнадцать соток, на берегу Москвы-реки за Николиной горой. Олег Олегович был подавлен размахом строительства: огромные бетоновозы заливали котлован под фундамент, кран разгружал поддоны с кирпичом.

- Сколько этажей будет, - осторожно спросил Олег Олегович.

- Три хватит, - сказал Марков, усадил Олега Олеговича и примчался с ним на ДОК.

Там-то и был нужен Олег Олегович для погрузки. Потому что грузчиков не было. Часа два грузили половую шпунтованную доску, вагонку, дверные и оконные блоки. Олег Олегович умаялся, но понимал, что помогать надо начальнику, а то - обидится.

На обратном к владениям Маркова пути Олег Олегович посетовал:

- Ты меня вроде как за грузчика держишь...

Марков сверкнул улыбкой, сказал:

- Сами грузим, сами строим, сами деньги раздаем!

Олег Олегович не принял улыбки.

- Ты бы мне, старик, поручил какую-нибудь самостоятельную работу.

- Придет время, поручу, - сказал Марков и, как понял Олег Олегович, проговорился: - Ты у меня на испытательном сроке.

Произошла заминка, после которой Олег Олегович спросил:

- То есть?

- Когда я принял тебя на работу, то издал приказ о зачислении тебя заместителем директора с испытательным сроком на год.

- Понятно, - поникшим голосом промолвил Олег Олегович и в задумчивости погладил свою жидкую бородку. - Не доверяешь, значит, старому институтскому другу?

- А я с некоторых пор никому не доверяю, - сознался Марков.

- Я пять лет работаю самостоятельно. Начал с кооператива. Это когда у меня рубль был в кармане. Взял цветы на реализацию. Большой доход получил и решил его весь в производство запустить. Но не тут-то было. Компаньоны, - а нас в кооперативе было пять человек, - говорят, давай делить поровну. Я, разумеется, спорить не стал, поделил. И на другой день кооператив закрыл. Новых людей нашел, у которых спрашивал, как ты у меня сейчас, о взаимном доверии, и открыл товарищество с ограниченной ответственностью. И что ты думаешь? Через три месяца эти "доверительные" унесли сейф со всеми бабками и больше не появились. Тогда я нашел двоих самых проверенных - работал с ними десять лет в НИИ, - открыл свое собственное индивидуально-частное предприятие и их зачислил, как тебя, заместителями директора. Год проработали, а потом говорят, чтобы отдавал их долю, они свое дело открывают. Отдал, а производство на полгода встало. Я уже боялся людей, никого не принимал, один мотался как проклятый. И понял, что мне не хватает настоящего партне-

ра, просто без него, как без рук. Едешь и поговорить не с кем. Думаю, не может же быть, чтобы порядочные люди, пусть бездельные, перевелись. И вспомнил о тебе. Почему? Да потому что ты не стучал, когда стучали все! Ты же помнишь, сколько у нас было дел в институте с отрядами. Трех посадили. А в нашем отряде - все тип-топ. Почему? Потому что никто, кроме тебя, ничего не знал о моих левых договорах. Мы дорогу тогда строили кому?

- Колхозу.

- Молодец. Так и думай дальше. На самом деле с колхозом только липовые документы были. А мы подвели дорогу к генеральским дачам. Понятно?

- Понятно, - сказал Олег Олегович, хотя только сейчас понял смысл своего молчания в стройотряде. - Значит, ты меня держишь, как и тех, до поры до времени?

- Пройдет время и придет пора! Нужна стабильность в главном экономическом вопросе - в людях. Что такое экономика? Это столкновение интересов людей. А они - скоты, за редким исключением. Вот и подтверди, что ты не скот. Подтверди! А уж когда я тебе поверю, то и у тебя будет земля на Москве-реке, и своя машина, и все будет!

- Зря ты во мне сомневаешься, - с горечью сказал Олег Олегович.

- Да это не я сомневаюсь! - воскликнул Марков, сворачивая к своей стройке. - Это экономика сомневается. Если люди - скоты, то с ними нужно обращаться, как со скотами! Заработай себе право быть человеком!

Низенький, плешивый, с всклокоченной бородой Олег Олегович подавленно вышел из машины. И когда разгружал доски, все думал о себе, о том, что он самый порядочный, самый верный и что он докажет Маркову, что он человек, а не скот.

Когда все разгрузили, постояли с Марковым на бугре над рекой. Солнце отражалось в гладкой поверхности. На островке, поросшем плакучими ивами, сидел с удочкой мальчишка. И почему-то Олегу Олеговичу захотелось вернуться в детство, быть этим мальчишкой с удочкой.

Только Олег Олегович приехал в деревню, как жена сказала, что ей нужно в Москву, потому что она договорилась взять товар, в твердый счет, и эта операция казалась ей супервыгодной. Олег

Олегович спорить не стал, остался с детьми на природе, целыми днями все сновал туда-сюда, а что, собственно, делал, сам понять не мог. Неделя промелькнула, приехала жена с приваренными деньгами, операция ей на сей раз удалась и она горделиво цедила сквозь зубы хулы Маркову, который уж слишком нос задрал, а она ему еще покажет, как нужно работать и вгрохала все деньги в поднятие сельского хозяйства на отдельно взятых собственных сотках: возвела забор из металлической сетки, завезла несколько машин навозу, переложила печь, купила холодильник, люстру, телевизор - не сидеть же в деревне без него! Но все в жизни кончается, в том числе и деньги. И к середине августа именно такой красивый изящный ноль воссиял пред глазами Олега Олеговича. Стали думать, у кого занять на обратную дорогу. Жена подружилась с некоторыми деревенскими, но те сами сидели на бобах. Все же деньги сыскались, пришлось убеждать соседку бабу Машу, что она еще поживет, и та достала из сундука свои похоронные.

В машину к Маркову Олег Олегович садился с печальным взором, без копейки денег в кармане, без сигарет, а в доме не было еды, Жена сказала Олегу Олеговичу, когда он уходил:

- Ты с ним поостроже! Проси, даст!

Олег Олегович по-свойски взял чужую пачку сигарет, закурил и обиженно молчал всю дорогу. Марков пару раз пытался с ним заговорить, но Олег Олегович не реагировал, и Марков почувствовал себя провинившимся сотрудником фирмы Олега Олеговича.

Через некоторое время Олег Олегович покойно задремал. Марков остановил машину у банка, Олег Олегович пробудился, закурил и принялся ожидать, когда Марков вернется. В банк Марков ходил один, как, впрочем и в другие, за редким исключением, присутственные места. Олег Олегович, конечно, хотел заглянуть и в банк, но там пропускная система, охрана, а пропуск ему Марков выправлять не собирался.

В места, куда допускался Олег Олегович, они шли вместе, причем Олег Олегович, как правило, нес портфель Маркова, был вроде оруженосца, входил в присутствие, Марков его представлял, а Олег Олегович садился на стул или в кресло, смотря, что предлагают, и молчал, так это вежливо, аккуратно молчал, поглядывая то на Маркова, то на собеседника, а со стороны глаза Олега Олеговича казались бегущими.

Из банка Марков вышел сосредоточенным.

- Придется подтянуть пояса, - сказал он как-то неопределенно. Олег Олегович забеспокоился, спросил:

- То есть?

- Зарплаты в этом месяце не будет, - определенно сказал шеф.

Олег Олегович побледнел.

- Зачем же ты меня, старик, брал на работу? - голосом жены спросил Олег Олегович.

- Тебе не нравится? - спросил Марков.

Олег Олегович сосредоточился и сказал:

- Зарплату нужно выдавать регулярно!

Марков оторопел и даже присвистнул, затем, размышляя вслух, заговорил:

- Знаешь что, давай поменяемся местами: ты регистрируешь свою фирму, раскрутишь ее, купишь машину, зачислишь меня заместителем директора, будешь подъезжать к моему подъезду, я буду предлагать тебе кофейку, а потом садиться рядом с тобой, привольно разваливаться на сиденье и дремать, но ты мне будешь платить столько, сколько я тебе.

При этих словах Олег Олегович ссутулился и как-то вжался в сиденье. И такой он был маленький, невзрачный, словно несъедобный грибок.

Однако Марков продолжил:

- Ты меня с кем-то спутал! Ты что, принимаешь меня за советское социалистическое предприятие? Нет, дорогой, ошибаешься! Я предприятие собственного интеллекта, собственной воли, собственной смелости. И если я заработал что-то, то это заработал я, а если прогорел, то это я прогорел. Винить мне некого, кроме как самого себя. Я раздвоен на удачника и неудачника, и вот, время от времени, неудачник корит удачника, во мне самом идет спор, а не вовне. И я тебя как бы впустил в себя, а ты меня воспринимаешь, как нечто вне тебя стоящее, и тебя не заботит, удача у меня правит или неудача, тебе отдай твое и баста! Плохо! Ты не переродился, тебе нужно под красными флагами ходить и просить у абстракции, то есть у правительств, средства к существованию, а эти средства эта абстракция ворует у меня через бредовые налоги. Я работаю на таких, как ты!

Олег Олегович в буквальном смысле слова оскорбился, даже взбунтовался:

- Да кто ты такой?! Неужели ты думаешь, что я не способен делать то же, что и ты?

Олег Олегович еще что-то бормотал, а Марков не слушал, он внутренне радовался тому, что преподал небольшой урок. Дело в том, что деньги у Маркова были и более того - любые деньги, но он решил теорию свою испытать до конца и согласно этой теории он должен был предложить Олегу Олеговичу такую ситуацию, то есть поработать месяцок без зарплаты.

У самого Маркова бывали времена, когда он по полгода работал без зарплаты, но ему пенять было не на кого, кроме как на самого себя. Логически завершая эту ситуацию, Марков притормозил у одного присутственного места и с Олегом Олеговичем двинулся по кабинетам. Олег Олегович шел как тень. В главном кабинете Марков взял из рук Олега Олеговича свой портфель, извлек из него целлофановый пакет, набитый деньгами и передал его чиновнику. Олег Олегович, наблюдая это, задохнулся, побледнел и опустил голову. В машине же набрался храбрости:

- И ты оставил меня без зарплаты?! Такие деньги вбухал, а мне не дал. Да ты знаешь, что семья моя сидит без копейки!

Марков не спеша курил, молчал.

- Да ты в первую очередь должен думать о сотрудниках! - закончил мысль Олег Олегович.

- Я думаю, - сказал Марков, - и те, кто выращивают мои розы, без зарплаты не остаются!

Олег Олегович принялся кусать заусенцы на пальцах, ковырять эти пальцы возле ногтей, соображая, как ему поступать в сложившейся ситуации, но ничего не придумал, потому что страшно было думать. В два часа дня он был свободен, впрочем и в другие дни он не шибко перерабатывал. Он вышел из машины у метро, и когда Марков укатил, стоял все у метро и думал, что ему делать. Но отвлекало чувство голода и он отправился домой. Поев пустой картошки, принялся ходить из угла в угол, затем вспыхнула идея обратиться к уже проверенному способу - покрутить телефонный диск. Крутил, крутил, крутил - все были на бобах, все суетились, все находились на грани психического заболевания. Пришла Елена, радостно сказала:

- Пап, американец прислал письмо и фотографию.

Увидев эту фотографию, Олег Олегович перекосялся и застыл.

- Это чудовищно! - воскликнул он.

С фотографии на него смотрел толстый негр в бабочке.

- Ничего ты не понимаешь! - воскликнула Елена и удалилась к себе в комнату.

Олег Олегович закрылся в ванной, мылся и плакал от бессилия овладеть жизненной ситуацией.

Розы, красивые розы, с розовыми лепестками, но и они имеют шипы, думал он, вылезая из ванны, приняв решение не суетиться, терпеть. Однако жена без околичностей спросила:

- Что Марков?

Олег Олегович схитрил, не стал распространяться о затруднениях, а сказал о том, что произошла небольшая задержка с зарплатой из-за неплатежей.

Жена вроде бы поверила.

- То и дело слышишь про эти неплатежи! Черт бы побрал этих демократов! Раньше такого не было!

- Но раньше ты в один день не покупала телевизор с холодильником! - грустно пошутил Олег Олегович.

Жена посмотрела на него долгим взглядом, затем вздохнула:

- Раньше я бесплатно получила вот эту квартиру.

Олег Олегович парировал:

- А я купил дом с землей!

Жена прикусила губу.

Кое-как месяц скоротали, жена комбинировала: носки-то ей на чулочной фабрике давали под честное слово!

Пошел снег, да такой крупный, что колеса у "мерседеса" пробуксовывали. Марков решил сразу же поставить зимнюю резину, заехали в техцентр, колеса быстро поменяли. А там - подержанные "жигули" продают. Марков приценился, да взял и купил машину Олегу Олеговичу. Тот в трепете поцеловал Маркова ос словами:

- Спасибо, старик!

За месяц Олег Олегович получил права на ускоренных курсах, за которые платил Марков, и как только получил эти права, исчез на неделю. Марков в первый день отсутствия Олега Олеговича попил кофейку с Еленой, без злобы, даже с волнением - не случилось ли что, все-таки зима? А Олег Олегович поехал под управлением жены за картошкой, на обратном пути машина сломалась, ни с того ни с сего погорела вся электропроводка, намучился с женой, пока тащили их на прицепе в Москву.

- Какой тебя черт туда понес?! - спросил Марков.
- Не бросать же картошку!
- О, да! Да я тебе на ближайшем рынке мешок куплю!
- Жалко, свой урожай, - посапывал Олег Олегович.
- А ты вообще, чем в жизни занимаешься? - вдруг спросил Марков, угощая сигаретой Олега Олеговича.

Тот смутился сначала, но потом отмахнулся:

- Тем же, чем и все люди, - живу!
- Понятно.

К Новому году картошка кончилась. Жена не отставала: давай съездим, да давай съездим. Поехали. Маркову опять не позвонил. А в деревне - свадьба. На три дня задержались. На свадьбе были москвичи (выходила замуж внучка бабы Маши, которая одалживала ему похоронные деньги), разговорились с одним. Олег Олегович держал себя за столом большим человеком. Да, в деревне все знали, что Олег Олегович - большой человек. Жена так слухи поставила, что ее муж - замдиректора крупнейшей фирмы в России! Так вот, разговорился Олег Олегович с одним москвичом, Антоном, коммерсантом. Этот Антон, оказывается, хоть и молодой был, вообще ничем не торговал, хотя, впрочем, торговал - воздухом, ну, то есть, акциями. Сам придумал себе синдикат, нашлепал акций и торговал.

Олег Олегович почувствовал себя обойденным. Какой-то мальчишка свое дело придумал, а он, Олег Олегович, не может. А что, если ему самому акциями торговать? Страшно самому: налоги, рэкет, чиновники, банк... Нет уж! И тут, за столом, Олег Олегович вдруг ощутил в себе силы. Да, ведь, он, по сути, мудрее Маркова, мудрее этого Антона! Они мечутся, взваливают на себя груз небывалой ответственности, а он, Олег Олегович, ни за что не отвечает, а идет в гору. Года не прошло, а у него - дом, машина, доходы! Олег Олегович смекнул, что это же его бизнес - ни за что не отвечать и быть при ком-то! И он решил втайне от Маркова быть при Антоне, тому, как выяснилось в разговоре, не хватало как раз такого человека, как Олег Олегович, опытного в делах бизнеса!

В "мерседесе" было все же приятнее ездить, чем в "жигулях". Но Олег Олегович, беря сигарету из пачки Маркова, понимал уже, что и он до "мерседеса" доживет, но по-своему. И в голосе его, заметил Марков, появились самоуверенные нотки. Теперь каждый день Олег Олегович спрашивал, когда он освободится, а если

предстояло ехать с Марковым куда-то к вечеру, то Олег Олегович предлагал перенести поездку на утро, а сам мчался к Антону. Второй доход необходим! Антон поставил вопрос ребром - трудовую книжку на стол, но Олег Олегович все тянул время, внутренне не готовый к разрыву с Марковым. Наконец, он решился.

Утром в "мерседесе" Олег Олегович хотел ему уже преподнести речь о том, что он открывает свое дело - не говорить же, что переходит оруженосцем в другую фирму. Но Марков опередил его сообщением, что они сейчас едут писать контракт с голландцами. Этого Олег Олегович не ожидал. В голове молниеносно прокрутилась догадка: возможно получение зарплаты в валюте, и смолк.

После подписания контракта голландцы устроили фуршет, Олег Олегович жадно поглощал деликатесы, а сам все думал об Антоне. И когда ехали в машине потом, все думал об этом и перед тем, как сесть в метро, машинально сказал:

- Старик, как ты считаешь, я способный твой ученик?

Марков недоуменно пожал плечами.

- Короче, я хочу открыть свое дело!

Марков облегченно вздохнул. Он сам готовился предложить Олегу Олеговичу отставку, потому что тот не прошел испытательный срок.

- Твоя судьба в твоих руках, - мягко сказал Марков.

- Завтра поставь мне печать в трудовую, - с чувством гордости, даже уважения к себе сказал Олег Олегович.

- Поставлю, а ты заявление напиши по собственному, - сказал Марков, ощущая неприятный комок в горле.

Олег Олегович вышел. Марков поехал, огорошенный, конечно, откровением Олега Олеговича, но и обрадованный тем, что все кончилось, что теория Маркова о том, что люди - скоты, подтвердилась и что он отныне будет полагаться только на себя.

Однако Олег Олегович исчез, не звонил неделю. А когда позвонил, то уже Марков, исходя из своей теории, грубо попросил его больше не звонить. А запись об увольнении пусть сделает сам Олег Олегович. Печать там одна стоит, ну, и достаточно. Но не тут-то было. Олег Олегович позвонил бухгалтерше Маркова и сказал, что если Марков не выплатит ему последнюю зарплату и не поставит печать в трудовую книжку, то он, Олег Олегович, подаст на него в суд и расскажет обо все его делах.

Бухгалтерша испуганно передала весь этот разговор Маркову. Марков почувствовал в этом руку жены Олега Олеговича и решил не осложнять ситуацию. Он сам позвонил Олегу Олеговичу, но тот был на стоянке у своих “жигулей”, тогда Марков попросил жену передать ему, что он ждет его в семь вечера на старом месте у метро.

Когда несколько испуганный Олег Олегович сел в “мерседес”, Марков сунул ему деньги в банковских упаковках, поставил печать в трудовую книжку и сделал запись о том, что Олег Олегович уволен по собственному желанию, на всякий случай взял с него заявление о том же. Ибо, согласно теории Маркова, скоты могли прицепиться к любой закорючке.

- Хочешь, расскажу, чем я буду заниматься? - гордо, с видом владельца фирмы спросил Олег Олегович.

- Нет, - ответил Марков, зная, что Олег Олегович не способен к самостоятельному делу, а подробности его не интересовали.

Через два месяца Олег Олегович, проснувшись в пять утра, почувствовал, что он голоден, перелез через тело жены и в трусах, босиком, отправился на кухню, но нашел лишь остатки подгоревшей картошки на сковороде. Почесывая бородку, со слезами на глазах он опустился на табурет. Разве мог знать Олег Олегович, что Антон окажется в буквальном смысле слова проходимцем?! Чувство ужаса, охватившее Олега Олеговича, улеглось лишь тогда, когда он вспомнил о своей телефонной книжке...

*“Время и мы”, № 137-1997,
а также в книге “Родина”,
Москва, издательство “Книжный сад”, 2004.*

ТВЕРСКАЯ

рассказ

Они идут по Тверской, прогуливаются. Приятель отстает со своей девушкой. В страхе Черепанов, профессор МГУ, замедляет шаги, но приятель и его подружка идут еще медленней. Черепанов знает, приятель делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны - оставить Черепанова наедине с Тamarой, его студенткой. Черепанов не ожидал от приятеля такого предательства!

Мостовая пусть качнется, как очнется.
Пусть начнется, что еще не началось...

Осторожно, сбоку Черепанов смотрит на Тамару: зеленоватые глаза, светлые, кудрявые волосы, тонкие, выщипанные брови, придающие ей немножко наивный вид... Но губы у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

Некоторое время Черепанов молчит, подавляя робость. Потом начинает рассказывать Тамаре о Тверской, он говорит, что Тверская улица, которая с 1932 года по июль 1990-го была улицей Горького, возникла в начале дороги, соединявшей в XIV веке Москву с Тверью - главным городом Тверского княжества, в 1485 году присоединенного к Московии. "Город Тверь - в Москву дверь", - гласит старинная поговорка. С XVIII века возникшая в одном направлении с Тверью новая столица государства Петербург обусловила значимость и парадность Тверской. Улица стала главной въездной магистралью для царей, вельмож, посольств да и менее знатного люда в старую столицу, поэтому-то и обстраивалась с особой пышностью, украшалась триумфальными воротами, просторными площадями, красивыми дворцами.

Черепанов с Тамарой выходят к "Националю". Черепанов принамеается насвистывать и сует руки в узкие карманы джинсов.

Пусть думает, что знакомство с ней Черепанову не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, он может уйти домой, он тут рядом живет, в Дмитровском переулке, и вовсе не обязательно ему шататься по Тверской и мучиться, видя, как прикидывается она интересующейся Тверской. Но делать нечего. Черепанова привлекает ее, если так можно сказать, фактура. Грудь, полновытые бедра...

Про себя он размышляет о том, что хорошая жена, которая должна быть подругой, помощницей, родильницей, матерью, главой семьи, управляющей хозяйством и, быть может, даже отдельно от мужа должна заведовать своим собственным делом или должностью, - такая жена не может одновременно быть любовницей: это значило бы, в общем, требовать от нее слишком многого.

Тамара смотрит на него зеленоватыми блестящими глазами. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

- Слушаю, - говорит она.

Черепанов отвлекается от мыслей о предназначении женщины, задумывается, затем продолжает толковать о Тверской, о том, что в 1939-1941 годах исчезали старые ряды домов и на красную линию улицы вышли новые, построенные в глубине кварталов корпуса. Улица на глазах выпрямлялась, ширина ее удвоилась, горбы были срезаны, хотя общий уклон к Красной площади сохранился.

В послевоенные годы реконструкция улицы продолжалась, она украсилась многими капитальными зданиями, первоклассными магазинами и ресторанами. В 1948 году ее обсадили липами, а вскоре под ней прорыли подземные тоннели для пешеходов.

До 1938 года улица начиналась почти у Исторического музея (правой стороной этого отрезка был портик гостиницы "Москва"). Ныне старое ее начало давно уже растворилось в образованной на месте большого старого квартала Манежной площади.

Черепанов поглядывает на Тамару, и в его голове пролетают мысли о том, что величайшие ошибки в оценке человека совершаются его родителями; это факт, но как объяснить его? Может быть, родители потому превозносят своего ребенка, что они никогда не стояли достаточно далеко от него?

В глазах ее какая-то блестящая пустота, но Тамара говорит:

- А я совсем не знаю Тверской.

Черепанов набирает полную грудь воздуха и, пытаясь взбод- рить Тамару, почти что декламирует:

- Есть ли улица краше Тверской, по крайней мере, в Москве?! Нет! Для Москвы Тверская, как Бродвей для Нью-Йорка. Мальчиш- кой я бегал сюда выпрашивать значки и жвачку у иностранцев, потом, когда подрос, всюю занимался фарцовкой. Пошли долла- ры. У меня были самые настоящие американские джинсы “ливи страус”, как мы их называли, щузня была итальянская...

- А что такое “щузня”? - спросила Тамара, впервые услышав это слово.

- Туфли... - сказал Черепанов и продолжил: - Я знаю, что ни один из бледных и номенклатурных ее жителей не променяет на все бла- га Тверскую, более знакомую им как улица Горького. В советское время улицей Горького считался огромный отрезок Ленинградского луча от Кремля до Белорусского вокзала. Теперь этот отрезок в ли- це Тверской улицы сократился до Триумфальной площади, бывшей площади Маяковского, или проще - Маяка!

Тамара останавливается, долго стоит и смотрит на Черепанова холодными глазами. Чего она хочет? Нет, Черепанов больше не может стоять с ней! Почему она так его рассматривает?

- Покурю, - говорит Черепанов отрывисто, ожидая, когда при- ятель догонит их.

Потом Черепанов небрежно отходит к коллеге, почему-то не хочется курить. Черепанов осматривается; толпы идут по Твер- ской. Тамара о чем-то шепчется с подружкой приятеля. Черепан- нов курит и думает о Тверской. В восторге от Тверской не только кто имеет девятнадцать лет от роду, но даже тот, у кого на подбо- родке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебря- ное блюдо, и тот в восторге от Тверской. А модницы! О, этой раз- новидности женщин еще больше приятна Тверская. Да и кому же она не приятна? Едва только выйдешь на Тверскую, как уже пах- нет сплошным бездельем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, не- обходимое дело, но, выйдя на нее, несомненно, позабудешь о вся- ком деле.

Здесь единственное место, где показываются люди не по необ- ходимости, куда не загнал их меркантильный интерес, объемлю- щий всю Москву.

Кажется, человек, встреченный на Тверской, менее обыватель, нежели на Перовской, Владимирской, Скотопрогонной, Электродной, Абельмановской, Чертановской, Рябиновой, Прокатной и на других улицах, где тупость, и корысть, и надобности выражаются на идущих и едущих в машинах и в автобусах. Тверская есть всеобщая коммуникация Москвы. Здесь житель Бескудниково или Филей, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Пресне или в Лосинке, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Тверская улица. Имперская Тверская, с Моссоветом и державным Юрием Долгоруким! Очень богатое развлечение нацеленной на гулянье толпы! Все нацелены на отдых, по телевизору - отдыхают, газеты призывают к отдыху... Никто не рекламирует ЗИЛ с токарными и карусельными станками! Все отдыхают! От чего? От отдыха! Ленивое безделье окутывает тинэйджеров после приема дозы и разбойного нападения в подъезде на солидного клерка. Раньше бы их за 101-й километр Хрущев за тунеядство выдворил, а теперь... Хотя чисто подметены тротуары, и, надо же, сколько ног оставило на нем следы свои! И начищенный гуталином сапог солдата, под тяжестью которого остаются отпечатки подков в асфальте, и стильная туфелька молоденькой профурсетки, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазинов, считающая, что смысл жизни заключен в каждодневных хождениях по ним и регулярных покупках. "Мы рождены, чтобы покупать!" - написано на ее глупеньком с большими удивленными глазами лице.

Черепанов переключается на другое. Быть может, нередко случается, что люди с благородными и высокими целями должны выдержать самую трудную свою борьбу в детстве; например, потому, что они должны пробить путь своему образу мыслей через низкий духовный склад отца, склонного ко лжи и видимости, или должны жить в постоянной борьбе с ребячливой и гневной матерью. Если человек пережил что-либо подобное, то он всю свою жизнь не перестанет страдать от мысли, кто, собственно, был его величайшим и опаснейшим врагом.

Наконец Черепанов докуривает сигарету. Он очень медленно подходит к Тамаре. Не глядя друг на друга, они идут в сторону телеграфа.

Через десяток метров Черепанов оглядывается, приятель его совсем исчез. Это так действует на Черепанова, что он начинает говорить все, что знает об этой, нечетной стороне Тверской, а именно, что дом № 5, некогда казавшийся солидным, ныне выглядит карликом. Построен он в 1888 году для пассажа и гостиницы. Пассаж еще в первые годы революции был переоборудован под театральное помещение, здесь с 1929 до 1936 года выступал Театр обозрений, с 1936 по 1938 год - театр Мейерхольда, с 1938 по 1946 год - Театр эстрады и миниатюр, а после него - Театр имени Ермоловой.

Черепанов чуть задумался о том, что если мысленно стать выше требований традиции, то можно поставить вопрос, не говорит ли человеку природа и разум в пользу многократной женитьбы, например в той форме, что он сначала в возрасте 22 лет женится на более пожилой девушке, которая духовно и нравственно стоит выше его и может стать его руководительницей через опасности двадцатилетия (честолюбие, ненависть, самопрезрение, страсти всякого рода).

Ее любовь позднее совершенно перешла бы в материнское чувство, и она не только терпела бы, но даже лучше всего содействовала бы тому, чтобы мужчина тридцатилетним вступил в связь с совсем молодой девушкой, воспитанием которой он сам бы руководил.

Брак есть для двадцатилетнего возраста необходимое дело, для тридцатилетнего - дело полезное, но не необходимое; для позднейшей жизни он часто становится вредным и содействует духовному регрессу мужчины.

Здание телеграфа построено архитектором Рербергом к десятой годовщине Октябрьской революции. Дома между Газетным переулкам и Моссоветом, заложенные еще до войны, завершены в 1949 году. Ярко-красное здание Моссовета построено в 1782 году Казаковым для графа Чернышева, полководца, занявшего Берлин во время Семилетней войны в 1760 году. С 1790 по 1917 год дом, тогда высотой в два с половиной этажа, служил резиденцией московских генерал-губернаторов. С февраля 1917 года в нем помещается Моссовет. В 1939 году здание Моссовета передвинули на 13, 6 метра в глубь квартала, а в 1944-1946 годах надстроили двумя этажами, но так, что общий облик дома сохранил черты архитектуры классицизма. В доме № 15 жили поэт Твардовский, ре-

жиссер Завадский, в доме № 17 - скульптор Коненков и пианист Гольденвейзер. Ныне мастерская скульптора и квартира пианиста превращены в музей...

Выговорившись, Черепанов перестает вообще о чем-либо думать. Просто идет и молчит.

На улицах по-прежнему полно народу. Еле ползут, почти что стоят, отравляя воздух выхлопными газами, сотни автомашин.

Так Черепанов с Тамарой доходят до метро. Оказывается, Тамара живет на Абельмановке. Ехать ей до "Пролетарской".

Линия прямая.

Едут молча, потому что в вагоне говорить невозможно - в приоткрытые черные окна врывается железный скрежет. От "Пролетарской" Черепанов провожает Тамару до ее дома. Останавливаются во дворе. Поздно уже, но все окна горят, и во дворе от леса тополей темнее, чем на улице. Тамара смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от Черепанова, потом начинает поправлять волосы...

После личного раздора и ссоры между женщиной и мужчиной одна сторона страдает больше всего от мысли, что она причинила боль другой; тогда как другая больше всего страдает от мысли, что она причинила противоположной стороне недостаточно боли, и потому старается еще позднее отяготить ей сердце слезами, рыданиями и расстроенным выражением лица.

Наконец Черепанов очень небрежно, как бы между прочим говорит, что им нужно еще встретиться завтра. Он очень рад, что во дворе темно и она не видит его пылающих ушей.

Она не возражает, согласна встретиться, и добавляет:

- Хочу услышать продолжение рассказа о Тверской.

Черепанов размышляет, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Тамара сама протягивает ему тонкую руку, белеющую в темноте.

На другой день Черепанов приходит к памятнику Пушкину за пятнадцать минут. Время ползет медленно. Черепанов выкуривает несколько сигарет. Вот стрелка на часах показывает уже десять минут седьмого. А Тамары все нет. Потом Черепанов поворачивается и видит Тамару. Она с подругой подходит к памятнику со стороны "Известий", смотрит на Черепанова, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

Так как женщины гораздо более личны, чем объективны, то в круге их идей уживаются направления, которые логически проти-

воречат друг другу; они обыкновенно увлекаются поочередно представителями этих направлений и принимают их системы целиком, но притом так, что возникает всюду мертвая точка, в которой позднее получит перевес новая личность. Быть может, случается, что целая философия в голове старой женщины состоит из одних таких мертвых точек.

На подругу Черепанов не смотрит. Зачем она идет с ними? Что Черепанов будет с ними обеими делать? Он молчит, и Тамара начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а Черепанов молчит. Они болтают о какой-то ерунде. Черепанов читает рекламу на кинотеатре. Какие-то дебильные американские фильмы! Потом Черепанов покупает три вафельных стаканчика мороженого. Они садятся на скамейку у фонтана, чтобы съесть мороженое. Мороженое сверху прикрыто этикетками с какими-то надписями. Тамара подцепляет кружочек этикетки длинным ногтем и отбрасывает ее. Снимают бумажки и Черепанов с подругой Тамары. Через минут пять Черепанов с подругами доходит до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью Черепанов смотрит на нее.

Так как одно из двух, связанных любовью лиц есть обыкновенно любящее, а другое - любимое лицо, то возникло мнение, что в каждом любовном отношении есть некоторая неизменная мера любви: чем больше из нее берет себе одно лицо, тем меньше остается для другого. В виде исключения случается, что под влиянием гордости каждое из обоих лиц уверено, что именно оно должно быть любимым, так что оба хотят давать любить себя; отсюда, в особенности в браке, возникает немало полусмешных, полунелюбимых сцен.

Подруга уходит, а они идут к Охотному ряду по левой стороне Тверской. Сколько влюбленных ходило по Тверской! Теперь по нему идут они. Правда, они еще не влюбленные. Впрочем, может быть, они тоже влюбленные, Черепанов этого не знает, и чтобы прервать молчание, начинает о Тверской, о том, что угловой дом № 16 построен в 1880 году. В двадцатые годы прошлого века в нем помещались редакция газеты "Рабочая Москва" (тогда он носил № 42 и адрес в рекламах рифмовался: Тверская, сорок два, "Рабочая Москва") и объединение Теакинопечать. В 1935 году дом надстроили и заново облицевали. В новых этажах осенью 1936 года разместились Всероссийское театральное общество (ВТО) и Дом ак-

тера, который недавно сгорел. Теперь Дом актера на Арбате, напротив театра Вахтангова. Перед Козицким переулкем - дом № 14, построенный Казаковым в конце XVIII века для богачки Козицкой. После многочисленных перестроек от Казаковскоро дома остались лишь фундамент и часть наружных стен. Поэтому правильной вести его историю с последней перестройки в 1901 году, когда петербургский купец Елисеев открыл здесь богатейший магазин. Роскошь магазина подчеркивала социальные контрасты Тверской. В октябре 1901 года над магазином отпраздновал свое новоселье Литературно-художественный кружок, членами которого были Шаляпин и Собинов. Здесь была и гостиница, в ней останавливался Горький. В 1935 году Советское правительство предоставило одну из квартир дома автору "Павла Корчагина"...

Внезапные решения "за" и "против", которые обыкновенно высказывают женщины, мгновенные, как молния, озарения личных отношений посредством прорывающихся наружу симпатий и антипатий - словом, доказательства женской несправедливости приобрели благодаря любящим мужчинам особый ореол. Можно даже сказать: природа вещей так устроена, что женщины всегда оказываются правыми.

Вдруг Черепанов замечает, что у нее сзади к юбке прилипла круглая этикетка от мороженого. У Тамары замечательная юбка, Черепанов такую ни у кого не видел - от пояса до подола, который приходится много выше колен, золотистые сердечки. И вот эту красоту испортила этикетка от мороженого, а Тамара этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам с прилипшей этикеткой от мороженого на видном месте! Как бы Черепанову сказать ей об этом? Может быть, взять и отлепить самому? Сказать что-нибудь смешное и снять, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда Черепанов отворачивается, выдерживает паузу и говорит, чтобы она привела себя в порядок. Тамара сразу замолкает. Чтобы снять внезапное напряжение, Черепанов продолжает рассказ.

Слепое поклонение женщин любви есть в сущности и первоначальное изобретение расчета, так как вся эта идеализация любви усиливает их могущество и представляет их более желанными в глазах мужчин. Но благодаря вековой привычке к этой чрезмерной оценке любви произошло то, что женщины попались в свою

собственную сеть и забыли указанное происхождение этой оценки. Они сами теперь обманываются еще больше, чем мужчины, и потому и больше страдают от разочарования, которое почти неизбежно наступает в жизни каждой женщины, - поскольку у нее вообще есть достаточно фантазии и рассудка, чтобы быть способной обманываться и разочаровываться. Могут ли вообще женщины быть справедливыми, раз они так привыкли любить, всюду чувствовать "за" и "против"? Поэтому они и реже увлекаются делом, чем лицами; но если они увлечены делом, то они тотчас же становятся его партийными приверженцами и тем портят его чистое, невинное действие.

Громоздкий дом № 10 выстроен булочником Филипповым в конце XIX века. В 1905 году Филиппов, прославившийся на всю Россию своими калачами и сайками, открыл в угловой части дома фешенебельную кофейню, ныне ресторан "Центральный". В оформлении ее принимали участие художник Кончаловский и скульптор Коненков. В 1911 году Филиппов-сын оборудовал в левой части гостиницу "Люкс", ныне гостиница "Центральная".

Тверская площадь, именовавшаяся в советский период Советской, которая до 1912 г. называлась Тверской, затем до 1918 г. - Скобелевской, намного моложе улицы. Она была устроена как плац для ежедневного развода караулов перед генерал-губернаторским домом в 1792 году. В 1912 году на ней был установлен конный памятник генералу Скобелеву. В начале 1918 года памятник был снят, его сменил открытый 7 ноября 1918 года обелиск Октябрьской революции со статуей Свободы. В связи с повышением этажности домов на площади, в окружении которых обелиск стал "утопать" (таково было официальное объяснение), в апреле 1941 года его разобрали. В 1947 году, в дни празднования 800-летия Москвы, здесь был торжественно заложен памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому, открытый в 1954 году.

Дом № 8, укрепивший ансамбль площади в левой ее части, воздвигнут в 1940 году по проекту Мордвинова. В 1958 году в нем открылся книжный магазин № 100, получивший затем название "Москва". В квартирах этого дома жили писатели Шишков, Демьян Бедный, Эренбург, кинорежиссер Ромм...

На фотографии 1941 года можно видеть дом № 6 в первую, столь тяжелую военную зиму - с магазинными витринами, заложенными мешками с песком. В доме № 6 находилась квартира

Корнея Чуковского. Пройдя сквозь арку во двор, обнаружим отодвинутое сюда в начале 1938 года на 50 метров вглубь так называемое Саввинское подворье (1907 г., архитектор Кузнецов); одно из его помещений занимала до революции старейшая русская кинематографическая фирма Ханжонкова с крохотным ателье, где проводились павильонные съемки первых отечественных фильмов.

В состоянии ненависти женщины опаснее мужчин: во-первых, потому, что их раз возбужденное враждебное настроение не сдерживается никакими соображениями справедливости и что их ненависть беспрепятственно нарастает до последних ее результатов, и, во-вторых, потому, что они привыкли отыскивать уязвимые места (которые имеются у каждого человека и каждой партии) и колоть в них, в чем им оказывает превосходные услуги их острый, как меч, рассудок (тогда как мужчины при виде раны становятся более сдержанными и часто более великодушными и склонными к примирению).

Левое крыло дома № 6 включило в себя (кроме срезанной угловой части) старинное здание гостиницы “Дрезден”, фасадом выходящее на Советскую площадь. В “Дрездене” останавливались хирург Пирогов, немецкий композитор Роберт Шуман, писатели Тургенев, Некрасов, Островский, Чехов; в 1916 году в гостинице жил и умер художник Суриков. В июле 1917 года в “Дрездене” поместились МК РСДРП (б) и редакции большевистских газет “Социал-демократ” и “Деревенская беднота”.

Признаком расчетливости женщин является то, что они почти всюду сумели заставить кормить себя, как трутни в улье. Но нужно сообразить, что это первоначально означает и почему мужчины не дают себя кормить женщинам.

Несомненно потому, что мужская заносчивость еще более велика, чем женская рассудительность: ибо женщины сумели через подчинение обеспечить себе гораздо большую выгоду и даже господство. Даже воспитание детей могло быть первоначально использовано женщинами как повод, чтобы по возможности уклониться от труда.

Еще и теперь, когда они действительно деятельны, они умеют придавать этому такое упомянутое значение, что мужчины обыкновенно вдесятеро преувеличивают заслугу их деятельности.

Иногда достаточно более внимательного взгляда, чтобы исцелить влюбленного; а кто обладал бы достаточной силой воображения, чтобы представить себе лицо и фигуру возлюбленной на двадцать лет старше, тот, быть может, весьма спокойно провел бы жизнь.

Дом № 4 облицован светлой мраморной крошкой и украшен лепным орнаментом на тему “Урожай”. Низ здания, сплошь занятый магазинами, отделан темно-красным полированным гранитом. Светлые тона, цветные вставки, разнообразный рельеф призваны придать этому сооружению жизнерадостный, праздничный характер. Автор проекта дома № 4, как и дома № 6, - известный советский зодчий Мордвинов. Оба дома, завершенные в одно и то же время (1939 г.) и сходные по архитектуре, - первенцы обновленной улицы. Вначале они именовались корпусами А и Б.

Торцом к Тверской выходит величественное, в полном смысле - советское здание, построенное в 1935 году архитектором Лангманом для Совета Труда и Оборона. Потом там был Госплан СССР. Ныне здесь размещается Государственная Дума...

Интеллект большинства женщин характеризуется полнейшим самообладанием, присутствием духа, использованием всех выгод. Они передают его как свое основное свойство по наследству своим детям, а отец присоединяет к нему более темный фон воли.

Его влияние как бы определяет ритм и гармонию, в которых должна разыгаться новая жизнь; но ее мелодия исходит от женщины.

Потом Черепанов закуривает. Он очень долго закуривает. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом Черепанов несмело взглядывает на Тамару. Юбка уже в порядке, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на Черепанова, смотрит так, будто он очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь они идут уже немного ближе друг к другу.

Прошел уже, наверное, час, а они все ходят, он говорит, она слушает. По Москве можно ходить без конца. Черепанов готов ходить бесконечно. Он только спрашивает у Тамары, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. На скамейках в Александровском саду, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной

паре. Черепанов смотрит на них с завистью и думает, будем ли и он с Тамарой сидеть когда-нибудь так...

Женщины легко замечают в мужчине перемены настроений; они хотят, чтобы их любили без соперниц, и ставят ему в вину цели его честолюбия, его политические задачи, его науки и искусства, если он питает страсть к таким вещам. Впрочем, если он благодаря этому блистает - тогда они рассчитывают, через любовную связь с ним, увеличить и свой блеск; в этом случае они благоприятствуют любовнику.

А через два дня Черепанов с женою и дочерью уезжает в пансионат под Псков. Черепанов впервые попадает в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. Под Псковом очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду и в солнце Черепанов выходит рано утром из комнаты корпуса, оставляя жену и дочь еще спать, и идет в лес. Там Черепанов собирает грибы или просто переходит с поляны на поляну и смотрит на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно.

Согласно весьма проницательному наблюдению Черепанова, образованные мужчины современной России походят на помесь из Обломова и Чичикова, но отнюдь не на Чацкого, которого наши деды, по крайней мере в юности, чувствовали в своей груди. Продолжая это суждение, можно сказать, что к ним совершенно не подходит Маргарита. И так как на них нет спроса, то они, по-видимому, вымирают.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над головой Черепанова и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И Черепанову очень странно следить за ними.

Довольно много времени Черепанов уделяет жене и дочери: ходит с ними на завтрак, обед, полдник и ужин, посещает летний кинотеатр, катается на каруселях. Мало ли что можно делать в пансионате. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Тамаре. Можно даже говорить с ней. Черепанов рассказывает ей об озерах и лесах, о прекрасном запахе дыма костра, и Тамара понимает его.

При вступлении в брак нужно ставить себе вопрос: полагаешь ли ты, что ты до старости сможешь беседовать с этой женщиной? Все остальное в браке преходяще, но большая часть общения принадлежит разговору. Неопытные девушки обольщают себя мыслью, что в их силах сделать счастливым мужчину; позднее они научаются, что предполагать о человеке, будто ему достаточно девушки, чтобы стать счастливым, - значит слишком низко ценить его. Показной стиль жизни женщин требует, чтобы мужчина был чем-то большим, нежели просто счастливый супруг.

Сколько в мире девушек, которым по восемнадцать лет! Но он знает одну, только одной он смотрит в глаза, видит их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает его до слез, только ее руки он боится даже поцеловать. Она говорит с ним, слушает его, смеется, молчит, и он видит, что он единственный ей нужен, что только им она живет и для него, что его одного она любит, так же как и он ее.

Но вернувшись, Черепанов начинает кое-что замечать. Нет, он ничего не замечает, он только чувствует с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Потом все катится под гору, все быстрее, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры их делаются неестественно веселыми и пустыми. Черепанов догадывается, что Тамара уходит от него с каждым разом все дальше, все дальше...

Девушки, которые надеются обеспечить всю свою жизнь с помощью юных прелестей и хитрость которых поддерживают расчетливые матери, хотят того же самого, что и легкие женщины; они только умнее и бесчестнее последних. Существуют женщины, которые, куда ни посмотришь в них, не имеют нутра, а суть чистые маски. Достоин сожаления человек, который связывается с таким почти призрачным, неизбежно неудовлетворяющим существом; но именно они могут сильнее всего возбудить желания мужчины: он ищет их души - и ищет без конца.

Но по-прежнему Тамара слушает его рассказы о Тверской. Они встречаются на Пушкинской, и идут по левой, нечетной стороне к Маяку. На этом, втором отрезке, от Пушкинской площади до площади Маяковского, улица была расширена за счет левой стороны. Жилой дом № 19 начали строить в 1940 году, закончили в 1949-м. Он включил в свой объем два отодвинутых здания конца XIX века. Одно из них, у арки в Малый Палашевский переулок, до сих пор

выделяется своей несовременной облицовкой. В нем помещалась гостиница “Гренада”. Бросавшаяся в глаза вывеска с ее названием натолкнула поэта Светлова на мысль написать стихотворение о солидарности российских и испанских борцов за свободу - ставшую классической с музыкой барда Берковского “Гренаду”. Торцовая часть дома, обращенная к бывшему Музею Революции СССР, украшена лоджией с колоннадой: попытка смягчить переход от современных форм к классицистическим. В доме № 19 жил поэт Исаковский.

Женщины по большей части любят значительного человека так, что хотят его иметь целиком для себя. Они охотно заперли бы его на замок, если бы этому не противостояло их самолюбие: последнее требует, чтобы он и другим казался выдающимся человеком. Годность брака испытывается тем, что он может вынести “исключение”. Каждого человека можно настолько утомить и обессилить беспокойствами, страхами, накоплением труда и мыслей, что он уже не может противостоять делу, которое имеет вид чего-то сложного, а уступает ему, - это хорошо знают дипломаты и женщины.

В доме № 21, за решеткой и воротами со львами, которых Пушкин упомянул в “Евгении Онегине”, помещался Музей Революции СССР. Ныне здесь - Музей современной истории России.

Здание, в котором расположен музей, построено в 1780 году, после пожара 1812 года перестраивалось, в 1830-х годах дополнено крыльями, крайние части которых пришлось срезать при расширении улицы в 1939 году. С 1831 по 1917 год здесь находилось любимое место встреч московской аристократии - Английский клуб. Название объясняется тем, что клуб был устроен на английский манер: принимались в него только мужчины дворянского сословия, и то по строгому отбору, никаких балов или музыкальных вечеров в нем не устраивали, время проводилось в обедах и ужинах, карточной игре на деньги, чтении газет и журналов, беседах и дискуссиях, иногда приобретающих либерально-опозиционный характер. Недаром Пушкин охарактеризовал это как “народных заседаний проба”, то есть как опыт русского парламента. Английский клуб упоминается в “Горе от ума” Грибоедова, подробно описан в “Декабристах”, “Войне и мире” и “Анне Карениной” Толстого. Гиляровский посвятил ему обстоятельный очерк.

Музыкант, который любит медленный темп, будет играть одни и те же пьесы все медленнее. Так и ни в какой любви нет остановки. С красотой женщины, в общем, увеличивается ее стыдливость. Брак, в котором каждый через другого хочет достигнуть определенной личной цели, хорошо сохраняется, например, когда жена хочет стать знаменитой через мужа, муж - стать любимым через посредство жены. Женщины из любви становятся всецело тем, чем они представляются любящим их мужчинам.

Дом № 23, фасад которого носит черты стиля неоампир, был отстроен к 1916 году для кинотеатра "Арс" (по-латыни "искусство") и меблированных комнат. В 1921 году здесь открылся первый в стране театр для детей (ныне это Центральный детский театр на Театральной площади), с 1936 по 1948 год помещение было отдано Театру юного зрителя, затем Драматическому театру имени К. С. Станиславского. Черепанов был на спектакле в конце 60-х, или в начале 70-х годов "Дни Турбиных", в котором в первом акте роль Лариосика исполнял Евгений Леонов, а во втором артист Борзун. Леонов тогда разошелся во взглядах со Львовым-Анохиным, главным режиссером, и ушел к Марку Захарову в Ленком.

Лучший друг, вероятно, получит лучшую жену, ибо хороший брак покоится на таланте к дружбе. Неразрешенные диссонансы в отношении характера и образа мыслей родителей продолжают звучать в натуре ребенка и образуют внутреннюю историю его страданий.

Каждый носит в себе образ женщины, воспринятый от матери; этим определяется, будет ли человек почитать женщин вообще, или презирать их, или в общем относиться к ним равнодушно. Когда не имеешь хорошего отца, нужно раздобыть себе такового.

Угловой кирпичный дом казарменного типа под тем же № 23 в 1939 году вместе с "Арсом" отодвинули на новую линию улицы. Наиболее дальнее путешествие накануне войны проделал стоявший на правому углу переулка Садовских дом XVIII века, занимаемый глазной больницей. С улицы, повернув на 90 градусов, его переместили в глубь переулка, где он благополучно пребывает и сейчас. На этом углу, но уже на новой красной линии, в 1949 году вырос дом № 25 (левая секция), пристроенный к правой секции, сооруженной в 1936 году. Автор живописной росписи на фасаде - Фаворский. Обе секции соединены трехъярусной аркадой. В 1950-1960-х годах здесь жили выдающиеся советские дирижеры

Мелик-Пашаев и Гаук, а в 1951-1969 годах работал художник Дейнека. В этом же доме прошли последние годы жизни артистов Лемешева и Гилельса.

Отцам приходится много работать, чтобы искупить то, что у них есть сыновья. Знатные женщины думают, что вещь вообще не существует, если о ней нельзя говорить в обществе. Против мужской болезни самопрезрения вернее всего помогает любовь умной женщины. Матери легко ревнуют своих сыновей к их друзьям, если последние имеют особый успех. Обыкновенно мать любит в своем сыне больше себя, чем самого сына.

Шестиэтажный дом № 27-29, построенный в 1948 году, включает в себя старые дома, ранее отодвинутые и надстроенные двумя этажами. У ворот - мемориальная доска с барельефом писателя Фадеева, который жил здесь с 1948 по 1956 год.

Дом № 31, главным фасадом обращенный к площади Маяковского, построен в 1938-1940 годах. Это Концертный зал имени Чайковского, до сих пор один из лучших в Москве. Вход с Тверской улицы ведет в помещение Московской филармонии.

Потом от площади Маяковского они идут к Пушкинской по четной стороне. Черепанов продолжает экскурсию. Он говорит о том, что в угловом доме № 30 постройки 1860-х годов жил художник Перов в период создания им картин "Тройка", "Утопленница", "Птицеловы", "Похороны крестьянина", а также писатель Левитов - бытописатель московских трущоб.

Детей из скромных семей нужно через воспитание столь же приучать к повелеванию, как других детей - к послушанию. Пары, которых свели внешние соображения, часто стараются стать влюбленными, чтобы избежать упрека в холодном утилитарном расчете. Точно так же те, кто ради выгоды вступают в партию власти, стараются стать действительно "правильными": ибо этим обеспечивается беспечальное существование.

С претензией и выдумкой построен дом № 28 в 1871 году архитектором Вебером, долгие годы высившийся одинокой громадой среди окружающих мелких строений старой Тверской. Здание подробно и сочно описано Боборыкиным в его романе "Китай-город" как владение и жилище Калакуцкого. Под этой фамилией выведен Пороховщикова - известный в то время московский делец, подрядчик строительных работ, наживший бешеные деньги на строительстве жилых домов.

В 1870-1880-е годы квартирантами дома были артисты Малого театра Самарин и Медведева. Позднее здесь помещалась редакция журнала “Детское чтение”, в котором сотрудничали Бунин, Златовратский, Мамин-Сибиряк, Станюкович. В доме жили также архитектор Шехтель и писатель Паустовский.

Далее - сверкающая стеклянными полосами ленточных окон открытая в 1964 году гостиница “Минск”. Название избрано не случайно: неподалеку Белорусский вокзал. Ресторан “Минска” славится белорусскими национальными блюдами. Под зданием - арка-проезд в Дегтярный переулок, где в XVII веке были склады дегтя.

Женщины свободно могут заключать дружбу с женщиной; но чтобы сохранить ее, - для этого потребна небольшая доля физической антипатии. Многие люди, а в особенности женщины, не испытывают скуки, потому что они никогда не умели порядочно работать. Во всякого рода женской любви проступает и элемент материнской любви. Если бы супруги не жили вместе, хорошие браки встречались бы чаще. Всякое общение, которое не возвышает, тянет вниз, и наоборот; поэтому мужчины обыкновенно несколько опускаются, когда берут себе жен, тогда как жены несколько повышаются в своем уровне. Слишком одухотворенные мужчины столь же нуждаются в браке, сколь и противятся ему, как отвратительному лекарству.

Дома № 24 и 26 по обеим сторонам Старопименовского переулка, бывшей при Советах улицы Медведева, - однотипные корпуса, возведенные в начале нынешнего века и надстроенные двумя этажами в 1930-х годах.

Рядом столбиком высятся четырехэтажный особняк. Нижние этажи его возведены в 1872 году для фабрикантов Мазуриных (архитектор Гедике), верхние два - в 1927 году. Ничем не примечательный ни в историческом, ни в художественном отношении дом с 1975 года внезапно обрел всеобщую и международную известность. После капитального переоборудования здания в нем находился Оргкомитет Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Дом № 20 перестроен из здания, проектированного Казаковым в 1770-х годах. Со двора еще заметен его старинный, классический рисунок, все остальное обновлено. Многие годы это была резиденция московского гражданского губернатора. После революции у входа появилась табличка: “Московский губернский Совет

рабочих и крестьянских депутатов”. 15 мая 1918 года В. И. Ленин выступал здесь на Московской областной партийной конференции с докладом о текущем моменте и с заключительным словом. В 1931-1935 годах дом надстроили на два этажа, расширили в обе стороны и оформили во вкусе того времени. Помещался в нем тогда Наркомлеспром, затем другие наркоматы и министерства.

Влево уходит Настасьинский переулок - по имени княгини Настасьи Волконской, жившей в нем два с половиной века назад. Любопытный и трогательный пример долговечности некоторых укоренившихся городских названий.

В зрелом возрасте и при созревшем разуме человеком овладевает чувство, что его отец не имел права дать ему жизнь. Иная мать хочет иметь счастливых, почитаемых детей, иная - несчастных: ибо иначе не может обнаружиться ее материнская нежность.

Перед новым, выросшим в 1975 году корпусом “Известий”, - дом под № 18, сооруженный в 1904 году Эрихсоном для редакции крупнейшей дореволюционной газеты “Русское слово”. Это очень интересный образец стиля модерн. Хотя здание строго симметрично, все в нем как бы в беспокойстве и движении: стены криволинейно сужаются кверху, завершаясь вышкой-мезонином с огромным полукруглым окном; прихотливо извивается растительный орнамент; разная форма окон, мозаичный фриз - все это было в то время неожиданным, смелым, вызывающим. На доме доска в память выдающегося книгоиздателя-просветителя Сытина, жившего в нем до 1928 года. В первые 10-15 лет после перенесения столицы в Москву в здании помещались редакции газет “Известия ВЦИК” и “Правда”. В 1935 году дом заняла редакция газеты “Гудок”, затем тут была редакция газеты “Труд”. Историческое здание не вписалось в новый облик Пушкинской площади. Поэтому, несмотря на его внушительный объем и вес, в 1979 году оно было передвинуто на 34 метра в сторону площади Маяковского и поставлено на новый фундамент...

В следующий раз договорились встретиться у “Макдональдса” на Пушкинской.

В назначенный час Черепанов стоит на углу закусочной. Как много здесь народу! И все хотят есть! Вдруг он видит Тамару. Она пробирается к нему сквозь толпу. Черепанов никогда не видел ее такой красивой. Тамара быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут его. Он делает шаг ей на-

встречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет его в сердце, и во рту становится сухо.

Она не одна!

Рядом с ней стоит грубоватый молодой человек с лицом, изъеденным оспой, и смотрит на него. Он крепко держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как Черепанов только на второй месяц осмелился взять Тамару под руку.

- Здравствуйте, Виктор Иваныч, - говорит Тамара, и голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. - Вы давно ждете? Мы, кажется, опоздали...

Тамара смотрит на большие часы на столбе и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на своего ухажера. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на Черепанова? Тамара извиняется и уходит со своим парнем.

Тамара ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а Черепанову нет туда доступа, он грешник - и рай не для него. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают Черепанова! Он, профессор, опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и он стоит с пустыми руками, и впрямую ему упасть и кричать, вызывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда он упадет и закричит, Тамара взглянет на него, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость - все, но того, что Черепанову надо, не появится, и единственного взгляда он не получит, ее любовь, ее жизнь не для него. Черепанов даже может стать лауреатом Государственной премии, министром, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда он никогда не получит. Теперь Тамара не оглядывается. Черепанов стоит, и мимо него идут люди, обходят его, как столб. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми компаниями, - совсем нет одиноких. Черепанов стоит и смотрит, и думает. Например, о том, что некоторые мужчины вздыхают об отбитых у них женах, Черепанов же - о том, что никто не хочет его жену отбить у него.

ЩИПОК

рассказ

Иногда Ларисе казалось, что она молода. Поменьше в зеркало нужно смотреться. Нет шестидесяти пяти лет. Вообще нет возраста без зеркала. Душа молода. Вот в чем дело. Поверьте мне, это очень талантливо - жить без зеркала. Кто так живет? Собаки, кошки. Лариса брала на руки свою Крыску, так она называла черненькую с белым фартучком кошечку, подносила к зеркалу и говорила: "Смотри". Сикилявка отворачивалась, не желала смотреть в зеркало, потому что для нее гладкой, отражающей поверхности не было. Дело, конечно, не в произволе точек зрения на животных. Дело в том, что сам человек - животное, научившееся смотреть в зеркало.

В проем окна был виден дощатый стол, на котором лежали зеленые недозрелые яблоки. Шел дождь. По яблокам стекали капли, как слезы. Два мужика в телогрейках и сапогах вошли во двор и, хрустя битым стеклом, подошли к столу, поставили бутылку и граненый стакан. Взяли по яблоку. Дождя мужики не замечали. Было слышно, как булькает водка в стакан из горлышка. Странно белые, как будто негативные березы у забора, и запрокидывающие головы пьющие мужики в желтых пластмассовых касках, по которым, как по яблокам, стекают капли дождя. Лариса знала, что все это - прием поэтического кино - один мотив откликается другому, как эхо, как далекая рифма, как отражение в зеркале.

Как она пришла в этот дом без окон и дверей? Закрыла железную дверь склада и пошла к Даниловскому монастырю. Там работала ее подруга в патриархате. С подругой вместе кончали университет. Лариса приехала на склад на "каблуке" ("москвич"-фургон) за коробками пленки. Склад очищали. Продали кому-то. Впрочем, это неважно. Критики не спросят, как у него когда-то: что вы хотели сказать этим фильмом? Критики - идиоты. Они думают, что мы на этом свете что-то кому-то говорим. Поднесите кошку к зеркалу.

Хорошо, что Ларису с ее пенсионным возрастом еще держат и платят. Но скоро, по-видимому, и держать будет некому. В советское время в институте работало двести сорок человек, а сейчас - тридцать семь!

Как нож в сало, входят лопаты в землю. Идет дождь. Кадр черно-белый. Образ мыслей черно-белый. Кажется, что и жизни не было. Все за одну минуту проскочило. Где она живет? Нет, нет... Не то. Известно, живет Лариса на улице Свободы в Тушино. Но где она живет в смысле другом. Какое? Не известно. Размыто туманом. Над рекой плывет туман, купаются лошади, потом выходят из тумана к столу, на котором лежат яблоки, и едят эти яблоки. Уже не видно работающих в яме, глубоко ушли. Ушел день к закату. Расплавленную бронзу заливают в форму колокола. Поиски глины по скользким буграм позади, слишком актерские, наигранные сцены. Выборка, избрание из истории только черно-белых мест. Серое незаметно. Незаметно. История живет крайностями. В летописях - войны, мор, голод. Спокойная жизнь не требует фиксации. А так как человечество всегда жило спокойно (животно), то и история такая короткая. Что делало человечество с нулевого года до тысячного?

Что делала Лариса в жизни. Репетировала. Жизнь ей с самого начала казалась ненастоящей. То она готовилась к урокам в школе, писала, зубрила, переписывала. То трепетала перед сессиями. То жертвовала замужеством ради защиты кандидатской. Осталась старой девой. Почему, для чего? Все готовилась к чему-то. Другие смотрели на жизнь просто: писали сценарий и снимали то, что хотели. Она удивлялась им, пожимала плечами, восхищалась их произведениями. И думала, что они - из другого мира. А она не может так работать, она должна постигать, учить, зубрить и постоянно готовиться. Опомнилась в пятьдесят пять, когда оформляла пенсию. А уже десять лет после этого проскочили молнией в чистом и черном поле. Была ли жизнь? Какая память о Ларисе останется?

Ну, что ей пришло в голову думать об этом, стоя в дождь в проеме дома в 1-м Щипковском переулке, в доме, где когда-то жил Андрей Тарковский. Нет ни крыши, ни перекрытия между первым и вторым этажами, ни рам, ни дверей, ни стекол... Только стены. Двухэтажный дом номер 26. Рядом безликая башня. Чуть дальше серый радиотехнический техникум, а за ним - мужики в белых рубашках копают яму под колокол. Лошади едят яблоки у стола, мужики им предлагают выпить, но лошади вежливо отказываются.

У белых стен Даниловского монастыря в застекленной палатке звучала жалобная, приторно-сахарная песня о храме на горе. Что-то такое пронзительное, вышибающее слезу: мол, храм ты мой, храм, и святые ноги моют в ручейке и все такие хорошие. Берут за руки, за ноги и лбом бьют о ствол дерева, чтобы мозги выскочили. Хорошие такие борцы с русскими верованиями. Княжеские холуи уничтожат из-за денег все что угодно, даже русскую веру в Дажьдбога. Белая стена монастыря: на фоне этой белизны особенно безобразно выглядит сшитый из грубых овчин и коровьих кож воздушный шар. Из трамвая, красного на белом фоне, выходит поэт Николай Глазков. Лошадь щиплет траву на трамвайной остановке. Глазков привязывает лошадь к шару и вместе с ней летит к Серпуховке, в Первую Образцовую типографию, где до самой пенсии работала мать Тарковского - Мария Ивановна Вишнякова.

Черная яма все больше разрастается, тьма мужиков в белых рубахах на дне, как мухи в тарелке с вареньем. Копошатся. На краю обрыва в белом кашне, простоволосо, в длинном драповом черном пальто, стоит Андрей Платонов, автор "Котлована". Камера медленно панорамирует, давая рассмотреть рубленые бревенчатые стены сарая, узкие прорезы окон, грубые скамьи, мужиков и баб с детьми, телегу и упряжь в проеме двери, нудный дождь и грязь за порогом, пьющих в грязи водку мужиков.

От Даниловского монастыря Лариса шла по узкой, грязной Дубининской улице, не приспособленной для пешеходных прогулок. Это - улица промзоны и грохота трамваев. Узкие тротуары, заставленные машинами, кирпичные заборы, склады и заводы. Улица выходит к Зацепе, к Павелецкому вокзалу. Лариса свернула в 4-й Щипковский переулок, налево. Пошла по правой стороне 1-го Щипковского переулка мимо каких-то складов и заводов и вот... провал, металлический сетчатый забор, калитка, двухэтажный дом без окон, без дверей. Верх бревенчатый, первый этаж кирпичный. Страшно. Никого. Пусто. Идет дождь. Пола нет. Там, где когда-то ходил Андрей, - лужи, битое стекло, мусор, испражнения животных (людей) и собак. Глухая стена. Запах тлеющей вечности. Андрей Платонов стоит на краю котлована, смотрит вниз, а глаз у Платонова нет - черные провалы. Оживляет вид труп белый шарфик: он вьется на ветру. Тарковский кадрирует воображаемую сцену, параллельно поставленные ладони водит перед лицом.

Почему Лариса не вышла замуж за Николая, однокурсника, после замечательной любовной ночи в давнем далеке? Потому что не верила в реальность происходящего. Не был идеалом Николай. Лицо широкое, грубоватое, а Ларисе хотелось узкое и с голубыми глазами, а у Николая были черные, как у цыгана. Впрочем, и сейчас, стоя в этом разрушенном доме, Лариса думает, что дом ненастоящий. Не жил здесь Тарковский, не мог жить рядом с этой бомжовой Дубининской улицей, в этой промзоне, на Щипке, нет, не мог. Все Ларисе кажется декоративным, и жизнь не течет в ней, поскольку нет никакой убедительности этой жизни. Она поглядит на монахов, и они торопливо выйдут из дому в безлюдье переулка...

А потом умерла мать, и Лариса должна была меняться, переезжать, чтобы не пропала материнская квартира. У Ларисы была однокомнатная, а у покойницы - двухкомнатная. Лариса выменяла трехкомнатную в Тушино. До этого жила в Свиблово, а мать - в Перово. И все репетировала выборы мужа, вечеринки устраивала, на ночь жениха оставляла. От него же пахло потом или табаком с водкой. Особенно это соседство мешало утром, смотреть на него не хотелось, а он требовал продолжения любви. Когда выпроваживала его, давала себе клятву: никогда не бросаться на первого встречного, хотя женихи не были первыми встречными.

Можно сказать, что в темных сценах ничего не происходит. Просто идет жизнь без запоминания. Эти несюжетные лирические отступления Ларисе кажутся такими длительными потому, что судьба ее не знает длительного покоя, судьба подходит к концу, почти что подошла и... Лариса не вышла замуж, не родила ребенка, не сняла картину, не написала книгу, ничего: ничего, ничего не сделала... А красивая такая, с голубыми глазами, со старым, но аристократическим лицом, следит за собой... Из зеркала не вылезает, а говорит, чтобы в него не смотреться, чтобы возраст не замечать. Жизнь - какой-то чудовищный обман, Лариса всегда себя считала лучше других. А как доставалось Тарковскому от нее в свое время. Не ему самому, конечно, а друзьям Ларисы, подругам, которые вместе с нею смотрели либо "Иванове детство", либо "Рублева", либо "Зеркало"... Ларисе казалось, что Тарковский что-то не так делает, что у него чего-то не получается, хотя, конечно... И так далее. Вот она бы там сделала так бы, а вот там - эдак бы... Сделала? 65 лет и ни звука! Как бы и не жила. Самое главное, что Тарковского она не волновала ни прежде, ни теперь, он о ее суще-

ствовании не знал ни тогда, ни теперь, хотя его и нет на свете, но он есть в своих фильмах, которые особенно стали дороги Ларисе теперь. Вчера посмотрела по телевизору “Зеркало” и весь фильм рыдала без остановки. О чем Лариса плакала? Да ни о чем. Вот какой ей теперь в конце жизни открылся фокус. Ей хотелось всем крикнуть: перестаньте себе морочить голову, все тленно в этой жизни, не тратьте время на институты и школы, на выбор мужей. Женитесь сразу, рожайте детей и без спросу снимайте фильмы, без репетиций, без подготовки. И плакала, и плакала, рыдая... Вот и поехала на “каблуке” на склад вместо кладовщицы, чтобы, пораньше освободившись (склад был на улице Щипок), сходить к дому Тарковского, о доме много слышала, но ни разу не была.

Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке. Белый-белый день. Гремит трамвай у Даниловского монастыря, вылизанного, как Кремль. Тень Гоголя ушла за горизонт, как солнце. Раньше Ларисе казалось, что “Зеркало” начинается в момент, когда разрыв между отцом и матерью уже совершился и должен стать бытовым фактом. Ларисе отец снился, хотя она его не помнила. Отец погиб на фронте. Но она почему-то видит усатое лицо, как на фотографии, кожаные ремни портупей, темную гимнастерку с тремя ромбами в петлицах. И все. Таким был отец Ларисы. Всю ее жизнь, и сейчас он такой. На самом деле картина начинается с пролога: лечения заикающегося мальчика. Использован телевизионный прием прямой трансляции. Для контраста. Телевидение - не искусство. Лариса всю жизнь смотрела и смотрит ныне телевизор и на второй день ничего из просмотренного не помнит. Все вытравляется из памяти. Помнятся вещи, прокрученные телевидением, но созданные совершенно иначе, по другим законам, по законам пустоты. Как это? Да. Пустоты. Только высочайшая пустота запоминается навечно. Пролог по-своему перефразирует тему исповеди, как усилия освободиться от немоты. Заговорить! Только теперь Лариса распечатала этот ключ. Поэтому рыдала перед экраном. Распечатала - и зарыдала. Она всю свою жизнь потратила не известно на что и не заговорила. Она - немая? Хотя - доктор, профессор! Мать твою так-то. Подобно Феллини, Тарковский мог бы назвать свой фильм “Амаркорд” (“Я вспоминаю”), но Лариса не может так вспоминать, она ничего не может вспомнить из своей жизни, что бы могло стать фактом искусства. Стол на работе, ученые записки, стол дома, звенящая пустая чаш-

ка на блюдце, когда Лариса несет ее. Берет за блюдце, несет, и чашка мелко стучит. Самое же любопытное во всем этом то, что при любви к Тарковскому и Феллини, Лариса писала диссертации и статьи о “Ленине в Октябре” и “Коммунисте”... Она говорит, что иначе нельзя было бы защититься. А зачем нужно было защищаться ~ такого вопроса до сих пор Лариса перед собой не поставила.

Вот она стоит в проеме двери в бывшем доме Андрея Тарковского в белом плаще, в белых осенних сапожках, в белой косынке, губы подкрашены, тени на глазах подведены, издалека кажется молодой, красивой (кожа подтянута), на пальцах красивые длинные ногти с темным маникюром, поблескивают кольца и перстни, даже не скажешь, что стоит пожилая женщина... Исчезающий субъект. Вернуться туда невозможно и рассказать нельзя. Словно режиссер предложил актрисе трудную задачу: воплотить один и тот же женский тип в двух временах - женщину шестидесятых годов и постперестроечного времени. Всегда она современна, в курсе и поэтому... Что поэтому? Двойная и тройная экспозиция персонажа приобретает значение почти мифологического тождества-различия (недаром на вопрос Ларисы герой один раз отвечает, что да, она похожа на мать, другой раз, что нет, не похожа), а отношение и игра времен заменяют фильму повествовательный сюжет.

Жизнь борется с повествовательностью. Жизнь смывает свои следы и выставляет напоказ двойников, тройников... Береза всегда бела, но это не та береза, когда Платонов рыл свой “Котлован” с Андреем Тарковским, это совершенно другая береза, черный ствол на белом фоне, напечатанный негативно, вывороткой. Мальчик стоит под деревом на снежном холме, и ему на шапку садится птица. С той стороны зеркального стекла. В чурбак воткнул топор. Лариса подносит белого петуха, но к топору не прикасается. Лариса вспомнила тот кадр, когда она - очень молодая, лет в шестнадцать - долго-долго смотрела в туманящееся зеркало, пока в глубине его не прояснилось настоящее ее лицо - 65-летней старой женщины. Она как бы ощупывала, как на таможне, саквояж своей жизни.

Ощупывать судьбу на улице Щипок.

Щипок улица (XVIII в.), она же Щипковский переулок. Урочище Щупок, позднее Щипок, обязано своим названием щупу, железному пруту, которым корчемный сторож проверял везы с се-

ном и соломой при въезде в город у Зацепского вала (за таможенной цепью), чтобы выявить товары, облагаемые пошлиной. Примыкает к Дубининской улице в Замоскворечье.

Щипковские 1-й, 2-й и 4-й переулки (XIX в.); 1-й - бывшие Щиповский, М. Щиповский и часть Безымянного пер., 2-й - бывшие Б. Щиповский и часть Безымянного пер. Названы по соседней улице Щипок, имя Щиповские сменились Щипковскими. Примыкают к Б. Серпуховской и Дубининской улицам.

Дубининская улица (1922), бывшие Даниловская и Коломенская-Ямская улицы. По ним везли хоронить в катафалке тело Гоголя в Даниловский монастырь. А Иван Константинович Дубинин (1888-1920) - участник Великой Октябрьской революции в Москве, член Московского комитета РСДРП(б), депутат Московского Совета, председатель фабзавкома фабрики Котова, впоследствии фабрики "Красный суконщик"... Жил и работал на этой улице. Прежнее название - Даниловская - было дано по находящемуся в конце улицы монастырю - древнейшей передовой крепости, основанной на рубеже XIII и XIV вв. для защиты города от набегов татар. Монастырь получил имя княжившего в это время в Москве Даниила Александровича, сына Александра Невского.

Доля художника обернется ужасом: по лесу гарцуют всадники. Догоняют камнерезов и выкалывают им глаза. Слепые идут по лесу, выставив руки, с черными провалами вместо глаз.

А 3-й Щипковский переулок назывался Партийным. И это по нашему. Смело Лариса вставала из-за партийного стола на заседании парткома и, не страшась, критиковала в глаза зама по идеологии Булыгина, да, прямо в глаза бросала ему. Что? Да разве это важно! Лариса вообще теперь не помнила, о чем шел тогда разговор. Тогда столько было разговоров. И все смелые, как Лариса, вставали и бросали в лица, говорили в глаза. Даже звона не осталось. А Тарковский выходил через этот проем двери и шел снимать. Лариса репетировала, а он снимал. Лариса готовилась, а он работал без подготовки (хотя по-своему готовился).

И перестройка началась и закончилась в разговорах. Десять лет выступлений и никто палец о палец не ударил из интеллигенции, такой, которую представляет Лариса, - в белом плаще, в белых сапогах, вся белая, как березка, а внутри красная, как коммунист (она не вышла из партии, просто положила в ящик стола партийную книжцу). Жить по лжи очень

комфортно. Так и нужно было жить: днем в парткоме, вечером с самиздатом и Тарковским. И это по-человечески.

Мужики в касках под дождем налили по третьему стакану,
Андрей Тарковский - о фильме "Зеркало":

1. "Зеркало" монтировалось с огромным трудом: существовало около двадцати с лишним вариантов монтажа картины. Я говорю не об изменении отдельных склеек, но о кардинальных переменах в конструкции, в самом чередовании эпизодов. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах, в ней не было никакой целостности, никакой внутренней связи, обязательности, никакой логики. И вдруг, в один прекрасный день, когда мы нашли возможность сделать еще одну, последнюю отчаянную перестановку, картина возникла.

Я еще долго не мог поверить, что чудо совершилось..."

2. "В "Зеркале" всего около двухсот кадров. Это очень немного, учитывая, что в картине такого же метража их содержится обычно около пятисот. В "Зеркале" малое количество кадров определяется их длиной..."

3. "Вот когда кино уйдет из-под власти денег (в смысле производственных затрат), когда будет изобретен способ фиксировать реальность для автора художественного произведения (бумага и перо, холст и краска, мрамор и резец, икс и автор фильма), тогда посмотрим. Тогда кино станет первым искусством, а его муза - царницей всех других".

Почему Лариса не захватила зонт? Потому что утро было солнечное. И вдруг, пока была на складе, набежали тучи. Шестидесятые годы (годы Тарковского и Шпаликова) - романтические, солнечные, с высоким синим небом, поэтические годы. Потом набежали тучи "Сталкера", "Жертвоприношения". Мрачное, светлое. Жизнь, смерть. Партком, казино. Для развлечения. Но человек живет внутри иных событий.

Я к вам травую прорасту,
Попробую к вам дотянуться,
Как почка тянется к листу
Вся в ожидании проснуться...

Лариса смотрела на яблоки под дождем и никак не могла проснуться. Всю жизнь провела во сне. Теперь ей это стало ясно, что то,

что казалось реальностью - школа, институт, диссертации, партком, коммунизм. Дворец съездов, демократия, Дом кино, Сахаров, Солженицын, Сталин, Ельцин... - было глубоким, затяжным сном, не имеющим отношения к жизни. А что есть жизнь?

И дети постепенно просыпаются, открывают глаза, плачут, кричат. Их мир - настоящ! Реален! Это потом придет ощущение подделки, вымысла, мифа, бесконечного воспроизводства человеческой жизни, повторения, как промышленное воспроизводство телевизоров, компьютеров и видеомагнитофонов. О, да! Это закон жизни - исчезновение! Материя существует только в движении. Пока в тебе пульсирует кровь - ты живешь, как останавливается - ты исчезаешь. Безвозвратно. И никаких надежд? Только одна голая форма существования материи. И почему у Ларисы появились сейчас эти мысли? Впрочем, мысли о смерти возникли у нее еще в детстве. Однажды, лет в пять, она с истошным криком проснулась среди ночи. Мать едва успокоила ее. Мать расспрашивала, что ей страшного приснилось. Лариса, сглатывая слезы, рассказала, что ее какие-то мужики в телогрейках насильно запихали в холодный гроб, забили крышку и закопали в глубокую могилу. И она задохнулась.

Нужно искать ключ в образной сфере, например, представить себе Ларису, зависшую высоко над кроватью, как бы поднявшуюся во сне к потолку, но не долетевшую до потолка, причем представим Ларису совершенно обнаженной: мы видим небольшие груди, живот, гладкие бедра с золотым руном замкнутого пространства. Тогда нам придет идея: мы вспомним свое ощущение от индийской музыки с постоянно часто звучащим одним опорным тоном или звукорядом. Эта музыка будет ассоциироваться у нас с напряженно застывшим пространством. Что-то такое сонорно-акустическое, близкое по спектру к тембру индийского инструмента тампур.

Отвлечься от неизбежной смерти - смысл жизни. То есть, чтобы быть счастливым, нужно постоянно жить по лжи. Врать себе, что ты - бессмертна, что ты - не животное, что ты не совокупаешься, как лошади или как собаки, что у тебя есть какой-то бог и т.д. Человек не любит правду. Правда нестерпима. Правда невозможна. Ложь (миф) призывает к жизни. Правда тормозит жизнь. От этого - законы искусства - возвышать, лгать, прикрывать золотое руно фиговым листком, находить детей в капусте или ловить их в небе, как ангелов.

Лариса вошла в подъезд, не обращая внимания на дождь. Дождь в подъезде, дождь в комнате, сквозь второй этаж до первого. Капли стучат о старый, искореженный чайник, валяющийся на битых кирпичках. Потом Лариса появилась силуэтом в окне, в провале окна. Станный дом без окон и дверей, без крыши, без лестниц и перекрытия. Дом Андрея Тарковского, старый московский дом, почти что деревенский. В деревнях строили верх - второй этаж - всегда деревянным, летним. Дом стоит торцом к переулку. И если кто не знает, что это за дом, говорит, скорее бы эту допотопщину сломали.

Ларисе показалось, что в комнате за ее спиной погас свет, мужской голос позвал ее. Она отошла, и из комнаты послышались первые звуки телепередачи.

- Ты пришла на экскурсию? - спрашивает голос.

- Да, я пришла посмотреть на этот дом. Этот фантастический дом в 1-м Щипковском переулке...

- Оставайся здесь жить.

- Как?! Тут же полный разгром!

- Что тебя не устраивает? Здесь прекрасно, как в "Сталкере". Ты попала в "Сталкер" и теперь тебе из фильма не выбраться. Когда я снимал "Сталкер", я знал, что все так и будет.

Он весь - одно сплошное воплощение смысла, которое в конце пути так и не находит ответа. Потому что ответа нет ни для кого. Ответ в самом движении во времени. Поэтому, считала Лариса, Тарковский так иронизирует над набившим оскомину христианством. В "Сталкере" мотив троицы (заметьте, женоненавистнической троицы!) свернулся почти в изобразительный мотив: в кадре то и дело - троица. Потрясающая, горькая пародия на триединство. Тарковский открыто говорит - не может существовать религия без женщины, без плотской любви...

Лариса шла по зоне среди вполне будничных развалин, предсказанных автором. Кафельный фрагмент пола, обломки шприцев (наркоманы что ли сюда ходят!) вдруг напоминают о лаборатории, и быть может, ничего космического здесь вовсе не было, а проводились вполне человеческие эксперименты, закончившиеся зрой местной, щипковской, разрухой. Лариса, как и герои "Сталкера", не обнаруживает в себе достаточно сильной мысли, страсти или желания, чтобы испытать возможности таинственных сил, в которые, оказывается, русские не очень-то и верят. Писатель не без суетли-

ности отступает. Ученый демонстрирует бомбу, которую с риском для жизни тащил через зону. Заглянув в себя в пограничной области бытия, они оказываются нищими духом (особенно бездетная, как выполнившая христианский завет не размножаться, ущемлять плоть свою, очищать пространство только для святых - иереев - людей, да, не продолжившая род человеческий - русский - Лариса) и не решаются осуществить свою волю - отречься раз и навсегда от чужих богов.

Христос - чужой бог (с маленькой буквы). Впрочем, режиссер и не настаивает на легенде о чудодейственной комнате, исполняющей желания, - выглядит она так же непрезентабельно, как дом № 26 по 1-му Щипковскому переулку, как и вся Зона жизни и ее - жизни - исчезновения. А сюжет не дает тому никаких примеров, кроме разве Дикообраза, учителя Сталкера. На Дикообраза стоит обратить внимание хотя бы потому, что это персонаж закадровый, созданный лишь средствами слова. Это новое. Его присутствие в путешествии - предупредительный сигнал духовного (лжедуховного!) поражения. И Сталкер не просто не находит своего Христа, он убеждается, что это великий миф, навязанный Царьградом Руси, другим странам, дабы покорить непокорных. Христос - схема, сильнодействующая. Слово - бомба. Демонтаж слова - уход от схем. И тут - странным образом - становится Ларисе очевидно, что всегдашние мотивы Тарковского никуда не делись из фильма. Стихийное живо. Монолог, который в конце обращает прямо в зал жена Сталкера (Алиса Фрейндлих), - может быть, самое сильное место фильма, его кульминация, ибо, в отличие от незадачливых искателей смысла жизни, ею движет простое, существенное и непреложное чувство - любовь. И камера, которая так долго и пристально держала в фокусе троицу взыскующих, - их напряженные позы, траченные жизнью лица, - как бы дает себе волю отдохнуть на серьезном и полном скрытой жизни личике вечной дочери Сталкера. Она сидит за голым столом, на котором стоит стакан и банка. Девочка совершенно русско-народная, повязанная платком. Указательный палец поднесен к губам, не вертикально (молчание), а горизонтально (размышление). На коленях - книга. Что это за книга?

Дождь уменьшился. Лариса подняла голову к потолку... к небу. Как это было странно для нее: стоять в комнате Тарковского и смотреть из нее на небо. Рваные свинцовые тучи быстро проносились

над домом. Кое-где выскакивали на мгновенья синие прорехи. Лариса улыбунулась, прошла к выходу, к подъезду, к пролому, к дверному провалу. Сколько раз сюда входил Андрей, сколько раз выходил? Вдоль дома до торца, в переулок, направо, слева серое здание радиотехнического техникума, прямо - улица Щипок. Направо по Щипку на Дубининскую. Трамвай "А"... "Аннушка". Остановка "Жуков проезд". Улица Щипок выходит как раз напротив Жукова проезда. Жуков проезд идет между складами и заводами (самая гуща промзоны) к узкому мосту через линию павелецкой железной дороги, выходит к Летниковской улице сначала, а потом к Дербеневской, а там и Москва-река. Тарковский садился на трамвай на Жуковом проезде. Тарковский выходил из трамвая на Жуковом проезде. Впрочем, до метро "Павелецкая" одна остановка, можно было и пешком прошвырнуться. До Серпуховки пешком идти дальше...

Солнечный луч пробежал по дому. Лариса вспомнила молодые праздники: 1-е Мая, 7-е Ноября... И вот Лариса сидит на террасе с однокурсниками за большим круглым столом - старинным дубовым столом, покрытым белой хрустящей (обязательно хрустящей, как ледок) скатертью. На лицах собравшихся известное напряжение, смешанное с радостью. На столе расставлены тарелки с летней едой... Значит, это не ритуальные 1-е Мая и 7-е Ноября... Значит, это конец июня, конец сессии. На столе расставлены тарелки... Крупные, мясистые помидоры, твердые, колючие, с желтенькими цветами на хвостиках, только что собранные мокрые огурцы, и среди них есть уже разрезанные пополам. Они так пахнут, что ребята набрасываются на них, на отварную с укропом картошку, на длинные сочно-зеленые стрелки лука с белыми сахарными головками и с мочалкой чистых корней, суют эти головки в солонку, разрезают пополам сочные помидоры, и наливают холодную - из холодильника - водку в граненые лафитники, стенки которых сразу же запотевают.

Сейчас, когда пробежал по слепым окнам и по лицу Ларисы солнечный луч, у нее сложилось такое впечатление, что все это было где-то на Солярисе. Мыслящий океан, создающий запросто двойников (словно Тарковский предвидел клонирование и появление клонов). Точный двойник, но лишенный главного - психики, памяти, а, следовательно - чувства Родины, языка. Жизнь - существование психики! А не только - белковых тел. Хотя без белковых

тел нет психики. Намек Тарковского на абсолютную пустоту нового (рожденного) человека. Мы пусты. И в этом - сила жизни. Все смыть! Все до последней запятой. Память, как и правда, - тяжкое бремя. Обновление человечества - забвение. В забвении колоссальная сила жизни. Остановить мгновение, чтобы запомнить его: абсолютная формула смерти, уничтожения, аннигиляции. Нельзя найти контакт с Океаном. Нельзя найти контакт с очередным Клоном. Люди на корабле отделены не каютами, а непониманием. У Ларисы мелькнула мысль, что само искусство возникло в древности как протест против этого непонимания. Диалог в жизни невозможен. Диалог возможен только в художественном произведении под руководством автора. В жизни сколько раз Лариса хотела большим начальникам прямо бросить что-то такое протестное в лицо. И бросала - в досягаемые лица. А как быть с лицами недосыгаемыми? Записаться к ним на прием? Иллюзия. Лариса теперь, после краха трибунной перестройки, окончательно поняла, что диалог невозможен. Вы будете, идя к трибуне, думать, что вы сейчас все им скажете, но, выйдя на трибуну и говоря с этой трибуны, вы вдруг поймете, что не знаете, что сказать, и что даже сказанное вами будет не воспринято сидящими и что ведущий прервет вас, постучав по графину - истек регламент... Диалог невозможен. Поэтому появилось искусство, поэтому писатель пишет, а режиссер снимает. Только дождь идет в доме, а Лариса стоит в проеме подъезда и смотрит на убитого на войне отца, не замечающего, как с новой силой ударивший дождь хлещет по его плечам. Образ неизведанного: родной и странно-зеркальный мир, вызванный из небытия живым Океаном-Солярисом.

Тогда на даче Лариса опьянела, смеялась и целовалась в саду с высоким Костей, а потом в овраге он брал ее по-животному, хрипел и посвистывал носом, часто дыша, выдыхая на нее водку. И плохо было после того, как он закончил акт, плохо было и Ларисе, и ему. Ларису вырвало огурцами и помидорами. Она до сих пор помнит ту блевотину в овраге. Помнит стоящего на коленях и тоже блюющего в лопухи Костю. Пограничная встреча "своего" и "чужого" миров?

Детские впечатления, говорят, самые сильные. Ларисе теперь это кажется аксиомой. Пустой сосуд быстро наполняется информацией в первые годы жизни. Вытеснить эту информацию в последующие годы не дано никому. Эта информация (первоначаль-

ная) и есть чувство Родины. Родину из души не вытравить даже каленым железом. Родина - материнское молоко, слово, зрительные впечатления. Но главное - язык, русский язык. Национальность человека определяется по тому языку, на котором он мыслит. Понятие Родины, таким образом, бессознательно заполняет душу. Это бессознательное и есть Ностальгия. Как ни странно это может показаться, "Ностальгия" - не только первый заграничный фильм режиссера, но и первый собственно современный, сегодняшней, действие которого приурочено к текущему дню. Именно поэтому в нем очень заметно не только то, что есть, но и чего нет в кинематографе Тарковского, что вычтено из запечатленного им времени. Из него вычтен быт. Вернее, символизирован. "Ностальгия", как всегда, естественно вытекающая из череды его собственных картин, казалась Ларисе чуть-чуть нарочито вписанной в текущую постмодернистскую моду, обнимающую сегодня все области искусства: цитаты, самоцитаты, отсылки, отзвуки, переключки, отражения, коллажи. Тарковский почти что всегда так: балансирует на грани высокого и пошлого, искусства и моды.

Лариса нервничала, кусала губы, ей казалось, что Тарковский хочет вытянуть из нее все нервы. Эпизод тянется долго, камера не отрывается от Ларисы, стоящей в жалком разрушенном доме, белая в черном провале. Мужик в желтой каске и телогрейке несет пустую бутылку, как свечу. Он оберегает ее всем своим существом. В неподвижном черно-белом кадре - пейзаж слепого дома в 1-м Щипковском переулке. В проеме стоит Лариса и возле нее сидит овчарка с высунутым ярко-красным языком, по которому стекает слюна. Идет дождь. Мокрый белый плащ, особенно на плечах, Ларисы, мокрая шерсть овчарки. Бабий голос начинает причитание, овчарка водит мордой в поисках источника причитания, и начинает жалобно поскуливать.

Комментарии

Александр Логинов

О ПОВЕСТИ “ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК”

Меня так и подмывает сравнить Кувалдина с Чеховым.

Потому что это соблазнительное сравнение трепещет в воздухе совсем рядом и щекочет крылышками лицо, оставляя на кончике носа пудру пыльцы: а ну-ка поймай меня, заформалинь, припили навечно к бумаге. И название повести - “Титулярный советник” - тоже толкает настырно в ребро: “Экий ты увалень, не видишь очевидного-невероятного!”

Но слишком это было бы просто.

Оставим Чехову Чехово. Оставим сонмищу мертвым воскрешать усопших из праха. Оставим эту основу основ печали философии общего дела. Дело немногих живых - продолжать великое бесконечное дело, начало которого мерцает розовым пламенем во тьме забиблейских времен.

Я отчетливо вижу как Кувалдин, не впрягшийся самовольно, но впряженный Логосом в русскую литературу вместе с Чеховым и Достоевским, таранит железобетон обыденной жизни стенобитным кастетом художественности и продирается сквозь крючья разорванной арматуры в метафизическое надпространство, осиянное светом второй, настоящей реальности.

Кувалдин не живописует мерзости жизни, а использует их в качестве реактивного топлива, позволяющего ему взмывать над этими мерзостями. Этот обманчивый иронический парадокс неотступно сопровождает движение истинной литературы по отчаянной ее орбите.

Зависший между пасмурным небом и раскисшей землей главный герой кувалдинской повести бывший чиновник Олег Олегович, вкусивший в совковой жизни сладких плодов титулярной никчемности, напоминает кран с безнадежно сорванной резьбой. В этой повести титулярный советник - не более чем саркастичный ярлык, маркирующий принадлежность протагониста к тучному классу советских нахлебников. “Да на нас вся страна держалась!” - взвизгнула как-то в припадке гнева жена Олега Олеговича, отождествляя себя с державным социальным статусом своего подкаблучного мужа. Эта женщина или, скорее, универсальный разводной ключ, наделенный способностью к механическому совокуплению, пытается починить мужа, то есть заставить его вновь засочиться материальными благами.

И чудо как будто случается. Волшебник Марков - когда-то институтский приятель Олега Олеговича, а ныне успешный предприниматель - превращает испорченный водопроводный кран в рожок изобилия.

И многочисленное семейство Олега Олеговича начинает, прежде всего, неистово жрать. “И семья ела, ела, ела. И было счастье на лицах детей...”

Стремительное возвышение бывшего титулярного советника кружит магнитную стрелку в голове его плотоядной жены, заставляя ее всерьез возмечтать о собственном бизнесе. И только рэкет с налогами чуть-чуть леденит ее сердце.

И вот уже у семьи есть собственный дом в деревне. Потекли в семью деньги ручьем шириной в пятьдесят минимальных зарплат. И отпуск двухмесячный Олегу Олеговичу ни за что ни про что обломился. Хотя он и пальцем о палец еще и искринки не высек.

Но идеальная пара Обломов-Штольц тоже не до конца вытанцовывается. Увы, не тянет Олег Олегович на Обломова. Советский Союз с корнем выдрал из российского чернозема редкую поросль обломовых и густо натыкал на освобожденной от морали и нравственности территории заскорузлые черенки перевернутых совковых лопат. Лопаты поднатужились и дали чахлые корни, а на черенках взбухли почки, которые начали распускаться в крохотные, изначально ржавые лезвия. Под безжалостным солнцем и беспощадными ливнями с градом закалялось и множилось ржавое воинство тоталитарных советников, не обремененных ни честью, ни совестью, ни трудолюбием. Их главный девиз гневно озвучил тряпичный Олег Олегович: “Зарплату нужно выдавать регулярно!”.

Прагматичный альтруист Марков, еще с институтской скамьи осознавший деловую никчемность Олега Олеговича, остро нуждался только в двух качествах своего однокашника - в его верности и неболтливости. Однако возвращенный в неволе совок оказался неспособен даже на такую человеческую малость.

И вот на этом-то месте действие, казалось бы, необратимого чуда необратимо заканчивается. Замаячивший на горизонте мерседес превращается в реальный мешок картошки, а новоиспеченный рожок изобилия - вновь в испорченный водопроводный кран. Олег Олегович застывает, поперхнувшись даровым тульским пряником. Поскольку даровой тульский пряник - не самое лучшее средство для того, чтобы разбудить в титулярном ленивце чувство ответственности хотя бы за собственную жизнь. На иссохшем донце души Олега Олеговича нет ни капли жизненной силы.

Пинок справедливой судьбы ничему не научил Олега Олеговича. Изможденная совковая лопата больше не даст плодов. Нельзя привить к ее корявому черенку ни добросовестность, ни порядочность. Остается одно - вырубить ее под самый корешок.

Слава Богу, что поголовье совковых титулярных советников стремительно вымирает. И да обрушится на их ржавые головы стопудовый сарказм автора замечательной повести “Титулярный советник”.

Анатолий Шамардин

“ВСЕ ВЕЩИ МИРА СМЕРТНЫ. КРОМЕ СЛОВА” (о повестях Юрия Кувалдина)

О книге Юрия Кувалдина “Родина” (Издательство “Книжный сад”, Москва, 2004, 576 с.) нельзя сказать двумя-тремя словами: дескать, книга интересная, советуя всем ее прочитать. Разумеется, книга читается запоем с самой первой страницы, с повести “Замечания”.

Читатель невольно, как-то само собой втягивается в атмосферу взаимоотношений главных персонажей повести, и ему нестерпимо хочется узнать, а что же там дальше будет. И дело тут не только в сюжетных перепетиях повести, а в удивительной правдивости человеческих отношений, в узнаваемости описываемых событий и ситуаций. Но и этого, оказывается, мало, чтобы завладеть вниманием читателя, заставить его читать неспешно книгу, смакуя отдельные слова и фразы, размышляя над поступками и действиями персонажей, населяющих повесть. А действуют они, эти персонажи, очень активно, весело и непринужденно. И тут понимаешь, что дело еще и в том, как писатель все это описывает, чем он цепляет читателя, заставляя сопереживать своим персонажам, наводя читателя на размышления по поводу всего описываемого. А дело, оказывается, в том, что писатель Юрия Кувалдин очень умелый и тонкий стилист, и это позволяет ему самые обыденные и, казалось бы, ничем непримечательные события и ситуации описывать так, что они трогают читателя и он сопереживает, сочувствует персонажам.

Кто-то из знаменитых писателей или философов, не помню кто, сказал: “Стиль - это человек”. И, видимо, научиться стилю невозможно. Писательскому ремеслу - можно, а вот стилю - нет. Для этого нужно природное чутье к языку, умение владеть словом, “слововыбором”, или “Wortwahl” (“Вортвааль”), как говорят немцы, и массой других тонкостей, о которых тоже не скажешь двумя-тремя словами. Это как вокалист, окончивший консерваторию. Его можно научить великолепно петь, брать высокие и низкие ноты, артистично двигаться, интонационно чисто выпевать фразы, но если от природы ему не дано красивого, обольстительного, чувственного тембра, не получится на выходе красивый голос. Будет то, что приписывается Н. В. Гоголю, якобы сказавшему про самого себя: “Голос у меня небольшой, но противности необычайной”. Так и со стилем. Тут важен не только сюжет, не только “о чем” пишет писатель, но и “как” он пишет. Писатель должен понимать это “как” и развивать это в себе. Это как в древнейшем китайском рецепте: “Как приготовить жаркое из тигра?”. Совет китайский звучит примерно так: самое главное, что надо делать, это - вначале поймать тигра. Так и со стилем. Его надо вначале поймать у себя, развить его в себе. У писателя Юрия Кувалдина он есть.

Читая Юрия Кувалдина, испытываешь симпатию к действующим лицам его произведений, хотя живут и действуют его персонажи в условиях, прямо скажем, не очень пригодных для здорового образа жизни.

Общере героев повести “Замечания” между собой вызывает у читателя чувство сопереживания, щемящей грусти, несмотря на грубую порой лексику, которую автор вкладывает в уста героев повести. Все дело в умении автора передавать словами атмосферу эпохи, которая вроде бы и прошла уже, но что-то осталось от нее такое, которое нельзя забыть. Подобное, схожее с этим, впечатление у меня было, когда я прочитал в 25 лет в оригинале на немецком языке роман Ганса Фаллады “Маленький человек, ну что ж?” (“Kleiner Mann was pup?”), где описание простых, т. е. маленьких людей из народа, живущих трудную жизнь в послевоенное время, тоже вызывает щемящее чувство сочувствия и симпатии, но у Фаллады там не было того, что есть у Юрия Кувалдина, а именно: самоиронии, юмора и умения заставлять читателя размышлять в определенном направлении, т. е. побуждать к размышлению. Достигает это Юрия Кувалдин благодаря стилю, умению пользоваться словами так, что они “играют”, приобретают в контексте новые оттенки, “сосмыслы” (“Nebensinn”), и это воспринимается читателем на чувственном уровне. Ему, читателю, интересно это читать. Научиться этому стилю, начитавшись разных книг, вряд ли возможно. Это зависит и от внутренней духовной наполненности человека, от многого чего зависит.

В результате - читаешь повесть, и она вызывает не просто размышления о жизни вообще, но и навеивает читателю определенные мысли, заставляя задуматься о своем менталитете, задуматься о том, о чем он не привык задумываться, принимая это как данность, не имеющую к нему прямого отношения. Автор как бы ничего не говорит, но мощный подтекст присутствует у него в тексте: “Слева был военный завод, и справа был военный завод, еще более огромный, на котором с 1946 года трудился Сергей Васильевич”. Несколькими строчками здесь дана потрясающая картинка пейзажа местности огромного военного завода. Повторение слова “военный” завод и слова “огромный” “разрыхляет” эти два слова, добавляя к ним дополнительную стилистическую окраску и приплюсовывая к ним едва заметную лексическую добавку, то, что в немецкой филологии именуется “Nebensinn” (“Нэбензинн”), т. е. “сосмысл”, и еще “Auflockerung” (“Ауфлокерунг”), т. е. “разрыхление” в буквальном переводе. В результате чего слово приобретает новые оттенки, образуя “лексико-стилистическое единство”, и оно воспринимается уже по-другому, оно теряет часть своей нейтральности, исчезает “сухость”, прямолинейность, и слово начинает играть, оно “цепляет” читателя.

Вот герой повести едет на работу: “Трамвай прогромыхал дальше, к другим военным заводам”. Юрия Кувалдин не комментирует, не резюмирует, как Лев Толстой, не описывает событие, а дает просто картинку, а вывод у читателя напрашивается сам собой, безо всякого авторского морализаторства и назидания. Читатель размышляет: а надо ли нам такое количество военных заводов? А есть ли такая уж острая необходимость работать не покладая рук под девизом - “Каждой российской семье по автомату Калашникова, включая и грудных младенцев!?” И так ли уж верна поговорка: хочешь мира - готовься к войне? И надо ли человечеству постоянно совершать одну и ту же ошибку - делать общие вы-

воды из частных посылов, тем самым оправдывая и обосновывая необходимость безудержной и вдохновенной работы на военном поприще? Т. е. ход рассуждений государства до примитивности прост: если не вооружаться постоянно, то непременно на тебя нападут, 100-процентно нападут и обязательно уничтожат, как тараканов. А почему, собственно, такой вывод? И много других мыслей возникает у читателя, когда он читает Юрия Кувалдина. Мысль о том, что единственно правильной установкой, ведущей к миру, есть безудержная, оголтелая подготовка к войне, выпуск смертоносной продукции в огромных количествах, по принципу “запас карман не тянет” (еще как тянет, оказывается), на самом деле далеко не бесспорна и даже вредна. А поди ж ты, она довольно-таки убедительно преподносится властью как необходимость. А в чем, собственно, ее доказательность? А дело, оказывается, в способности слова, как такового, убеждать народ. А слово можно применять и не совсем корректно, что и делают политики.

По идее, тезис насчет того, что не будешь вооружаться, на тебя непременно нападут, был бы на 100 процентов верным только в том случае, если из 100 возможных случаев на тебя напали более 50-ти раз. Но ведь на практике этого не происходило никогда. Но это уже другой вопрос. Как и то, что есть масса стран, на которые никто не покушался, несмотря на то, что они не занимались вообще никакими вооружениями.

Вот Юрия Кувалдин дает, показывает нам живописную картинку: “На путях видно было несколько составов с готовой продукцией, которые стояли здесь без движения уже месяцев пять”. У обывателя, у читателя возникает сам собой вопрос: а зачем, собственно, выпускать столько готовой продукции в мирное-то время? Из принципа - пригодится? И как определить принцип разумной достаточности? И кто это будет определять? А что делать с рабочими, умеющими делать только это, если вдруг уменьшить количество выпускаемой продукции и, стало быть, уменьшить и количество рабочих, т. е. сократить число работающих? А у них у всех семьи? Все, оказывается, не так просто. Люди выпускают вреднейшую продукцию в неизменно больших количествах, ибо им сказали: это нужно, чтобы мы мирно жили. Мой давний приятель еще со студенческих лет работал одно время на каком-то секретном предприятии, занимающемся какими-то там биологическими экспериментами. Не знаю, чем он там занимался, но через пару лет заболел какой-то непонятной болезнью и умер в сорок лет, так и не поняв, а зачем ему надо было там работать, для чего?

Сергей Васильевич, главный персонаж, основной герой повести, описан очень выразительно. Вернее, даже не описан, а выписан, изображен через его действия. Персонаж этот, герой повести Сергей Васильевич, и все другие персонажи Юрия Кувалдина активно действуют, их диалоги между собой потрясающе динамичны, остроумны, и от этого все персонажи получаются очень правдоподобными. Они все очень трогательны. И даже то, как и во что они одеты, какую обувь они носят, годами не меняя ее, все это делает их живыми, естественными, возникает картинка с полной характеристикой персонажей.

Жизнь и условия жизни этих людей формируют их ментальность. Каждый из них старается приспособиться к этой жизни, где всё - от продуктов до дверных ручек - в дефиците, но в то же время в самом этом дефиците есть приятные стороны, ибо то, что редко человеку достается, воспринимается им, чело-

веком, с большим наслаждением, с большей радостью, вкус продукта кажется ему намного лучше, чем когда он становится обыденным и общедоступным. Это как велосипед у подростка в послевоенные годы. У такого подростка ведь чувство, ощущение безграничной радости, счастья от велосипеда было гораздо сильнее, чем у современного обладателя “мерса”.

Удовлетворение жизнью, оказывается, зависит не только от материального достатка, и даже не столько от него, не столько от величины получаемой зарплаты, но и от многих других нюансов, на которые люди не обращают внимания. Эти мысли возникают, когда читаешь Юрия Кувалдина. То, что человек получает больше удовольствия, наслаждения, если продукт дефицитен, если он попадает к человеку реже, чем он того хочет, бесспорно верно. Кроме того, дефицитный товар, он ведь, как правило, более качественный, ибо он не массовый. Разве можно сравнить ту же бытовую японскую аудиотехнику образца 60-70-х годов и нынешнюю, наводнившую весь мир, но потрясающе низкого качества? Например, какой-нибудь аппарат, магнитофон. Он работает и долго работает, а звучание у него хуже, чем было в 70-х годах. Ибо тогда эти аппараты не были массовыми.

Главный герой повести Сергей Васильевич 15 лет ходил в одних и тех же брюках, и они хорошо выглядели, поскольку качество у них было высокое. Брюк выпускалось мало, - но они были качественнее. То же самое и с обувью. По 20 лет люди носили обувь чешского производства, она была не массовой. Герои Юрия Кувалдина ходят в такой вот одежде и в такой вот обуви, хотя и старенькой, но очень добротной, долговечной, но, конечно, мечтают о достатке, о том, чтобы у них было много одежды и много обуви. А у читателя возникают размышления о том, а надо ли человеку иметь у себя дома, скажем, 300 рубашек, чтобы каждые два дня выбрасывать одну и надевать другую? И тем самым наносить вред природе, лесу и прочей и прочей окружающей среде ради нашей прихоти каждодневно щеголять в разных одеяниях? Такие вот мысли возникают у читателя. Не лучше ли выпускать продукции немного, но качественную и красивую? Вот описание жены Сергея Васильевича: “Жена работала на швейной фабрике, продукцию которой никто не покупал”. Видимо, потому что фабрика выпускала много продукции, но такую, которая была непривлекательна, и у людей не возникало желания купить ее. А фабрика продолжала и продолжала выпускать ее. Это тоже повод для размышления.

Особо следует остановиться на описании Юрием Кувалдиным застолий. Они у писателя Юрия Кувалдина занимают, прямо скажем, ведущее место в его прозе. Удивительно, но читатель проникается симпатией к персонажам, ведущим, прямо скажем, не совсем здоровый образ жизни. Персонажи Юрия Кувалдина любят пить спиртосодержательные напитки. И пьют они их не просто так, ради отключки, а для удовольствия, для наслаждения, для расслабления и возможности непринужденно пообщаться между собой и с какими-то интересными людьми, пофилософствовать, поговорить о смысле жизни, одним словом, для создания благодушного настроения, веселья и чтобы у них возникало ощущение, что вот, кажется, в их жизни что-то такое происходит и что все, что ни делается, то все к лучшему.

Описание Юрием Кувалдиным застолья вызывает у читателя симпатию к персонажам. Происходит это от умения автора дать картинку застолья, употребить нужное слово в нужном месте. Мастерски выстроены у Юрия Кувалдина диалоги персонажей.

Ироничность и стилистическая окрашенность слов в тексте, казалось бы, совсем нейтральных, но употребленных в таком контексте, что возникает очень забавный подтекст, и он тоже какой-то особенный, вызывающий у читателя свои размышления, так сказать, на тему. Через иносказание и через “слововыбор”. Интересно употребление Юрием Кувалдиным самых обычных слов, которые слегка “разрыхлены”, что обозначается в немецкой филологической литературе термином “Auflockerung” (“Ауфлокерунг”, о чем я уже говорил), в результате слово окрашивается в оттенок особого свойства, слово начинает играть, становится выразительным и даже теряет свой первоначальный нейтральный оттенок. А если это грубое слово, то в результате такой “разрыхленности” оно в данном контексте сохраняет свое основное значение усиленной эмоции и приобретает дополнительную стилистическую окраску, делая это слово более приемлемым, как, например, в слове “дурачок”, сказанном незлобиво и с добрыми намерениями. Кроме того к окраске этой добавляется и еще что-то неуловимо значимое к лексическому значению слова, в результате чего оно приобретает более выразительный оттенок, теряет свою нейтральность. У лексического смысла слова появляется то, что немцы называют - “Nebensinn”, “сосмысл”, о чем я уже говорил. При этом появляется ироничность высказывания, легкость восприятия слова и одновременно теряется и куда не исчезает серьезность самой темы. Прозе Юрия Кувалдина свойственно полное отсутствие назидательности, пафоса морализаторства, того, что обычные читатели воспринимают как скуку. Читатель как бы вовлекается во все эти забавные действия персонажей, вливается в этот веселый коллектив неунывающих людей и сочувствует им, персонажам, ибо они читателю симпатичны. А симпатичны - потому что достоверны.

Очень выразительно описывает Юрий Кувалдин быт. С потрясающим подтекстом. Стилистически окрашенное бытоописание, ирония, не саркастическая, а добрая, трогательная, наивная. Создается портрет доброго в принципе работяги, наивного где-то и в то же время все понимающего, терпеливого, умеющего видеть в этой серой жизни много приятного и хорошего, умеющего меняться, развиваться.

То, как человек решал свои жизненные проблемы, как это ему доставалось, описано очень достоверно, иронично и в то же время очень трогательно. Юрий Кувалдин потрясающе ироничен, но эта ирония у него добрая и в то же время читатель прямо-таки провоцируется на размышления, философские размышления о жизни, о смысле жизни. Великолепно использованы автором повторы в качестве стилистических средств.

Очень тонко и иронично описана сцена застолья, где Сергей Васильевич, приняв на грудь, поет песню “Мы люди большого полета” и “Будет людям счастье, счастье на века, У Советской власти сила велика!”, а его родные и друзья подхватывают ее. И у читателя возникает ощущение, что персонажи поют эти песни совершенно искренне, безо всякого подвоха, и в то же время тут чувствуется и сильный подтекст и специфическая окраска. И создается впечатление

парадоксальной достоверности, узнаваемости людей старшего поколения, которое впитало в себя эти песни с их текстами и трогательными щемящими мотивчиками.

Песня “Будет людям счастье” начинается в миноре, она потрясающе мелодична, запоминаема, с щемящей грустинкой и светлой надеждой на счастливое будущее, т. е. в самой мелодии уже заложена эта надежда и грустинка. А далее мелодия переходит в мажор и звучит уже бодро и жизнеутверждающе, с некоторой долей бодряческой агрессивности. А в целом подобная песня воздействовала на наших людей страшого поколения с невероятной эффективностью, формируя ментальность особого рода. Ибо талантливо придуманный мотивчик облагораживает текст песни, даже если он не очень удачный. А тут - вполне благозвучный, песенный текст с оптимистическим прицелом, искренне написанный.

Есть у Юрия Кувалдина и фразы, афоризмы, которые хочется запомнить и время от времени расшифровывать их, делая для себя полезные выводы или просто размышляя, как говорится, “на тему”: “Господи, - охрани от ближнего!”

Диалоги персонажей Юрий Кувалдина поразительно упруги, выразительны, побуждающие к размышлению. Юмор - просто брызжет на каждой странице. Разумеется, почувствовать это может не каждый. Тут необходим определенный читательский уровень, читательский талант. Иначе можно и не заметить ничего, никакого юмора. Но это уже другая тема.

Интересны рассуждения одного из персонажей Юрия Кувалдина по поводу работы на военных заводах. Этот персонаж говорит Сергею Васильевичу, что преступно работать на войну и что нужно не устраиваться на военные заводы, не идти в армию, не поступать в военные училища и т. д., тогда и войны не будет. Конечно, на это всегда можно возразить, что тут же, немедленно на нас нападут и всех до единого уничтожат. Но это не бесспорный факт. И опять-таки повод для размышления на тему о том, что хорошо, а что плохо.

Интересны и такие рассуждения персонажа: “Государство ворует за счет налогов, содержит на эти деньги военные заводы, чиновников и прочих бездельников, а народ должен их всех содержать. Поэтому умные люди стараются избежать этих налогов, хотя бы частично. Именно государство занимается воровством”, - говорит персонаж повести. Получается запланированный грабег государства.

“Раньше был террор, теперь - налоги, оброк. Это вполне современная форма несвободы”, - говорит персонаж Сергею Васильевичу. Результат - люди постепенно превращаются в стадо, в толпу. “Там, где появляется стадо человеческое, появляется тупость и слепота”. “Спротивление - это необходимое условие любой деятельности, самостоятельной деятельности”. Вот где повод для размышлений.

Само по себе питье описывается Юрием Кувалдиным очень тонко, со знанием этого дела, этого удивительного процесса. Вот как описывается застолье и первый прием рюмки с водкой персонажем. “Через некоторое время в голове приятно зашумело”. Читатель невольно ловит себя на мысли о том, что спиртные напитки, собственно, обладают не только плохими свойствами по воздействию на человеческий организм, но в них есть и приятная сторона, т. е. нельзя сказать однозначно: “Водка - это ужасно, это кошмарно!” Она поми-

мо бесспорной вредности, помимо вредного влияния на организм, имеет, оказывается, и плюсы. И главный из них, главный плюс - это удовольствие, наслаждение, или, скажем, тот кайф, который человек получает, приняв в себя этот напиток. Если бы не было этой приятной стороны, человечество вообще бы не пило спиртных напитков.

Люди, населяющие повести Юрия Кувалдина в книге “Родина”, это “маленькие люди” со своими маленькими заботами, слабостями, интересами, это и простые рабочие, и люди творческого труда, и все они живут в общем-то бедно, но живут нескудно, интересно, несмотря на не совсем здоровый образ жизни. Герои Юрия Кувалдина любят выпить, знают в этом толк, но при этом они почему-то не вызывают антипатии, поскольку наделены тонким юмором, умом, обаянием, в результате чего читатель симпатизирует этим героям. Они не скучны, не примитивны, они действуют, интересно общаются, характеры персонажей достоверны. Понятно, что подавляющее большинство алкоголиков, да и просто сильно пьющих людей, не обладают выдающимися творческими данными, большим умом и прочими достоинствами, но в этой среде встречаются и очень умные люди, их очень мало, они редки, как и любой талантливый человек, и пьющий, и непьющий. Они - большая редкость, и это хорошо, - общество не может состоять сплошь из гениев и из талантливых людей.

Ясно и то, что если человек сильно пьет, и вообще если он алкоголик, то нельзя делать вывод, что, стало быть, он талантлив и гениален. Ибо наличие в истории нескольких действительно талантливых и при этом сильно пьющих людей вовсе не означает, что все пьющие непременно талантливы. Талант все-таки - исключение, а не правило. И такие редкие исключения бывают и среди сильно пьющих. Правда, очень редко (тем более они губят сами себя раньше, чем успевают реализоваться).

Жена главного героя повести описана автором очень выразительно. Это крепко пьющая женщина, даже галлюцинации у нее бывают на этой почве, а вот поди ж ты, отторжения у читателя она не вызывает. Так автор умеет ее описать, показать “маленького”, простого человека со своими слабостями.

Повесть “Титулярный советник”.

В ней автор показывает менталитет, характеры наших людей, отсутствие бытовой культуры, широту натуры, перерастающую в мотовство, неумение жить по средствам, неумение честно работать, неумение объективно оценить себя.

Показывает он новое русское предпринимательство, отношение разных людей к труду.

В повести возникает ситуация, похожая на сказку “О рыбаке и рыбке”. Неумная, жадная до денег жена одного из героев, и его дочь, их психология халаящиков и нежелание честно и с душой работать... В результате они остаются у разбитого корыта.

Главное, по Кувалдину, - это порядочность человека, его умение работать, умение быть благодарным тому, кто помог тебе подняться со дна. Эта мысль проходит через всю повесть.

В Германии я замечал, что состоятельные, чего-то добившиеся люди там чрезвычайно скромны, щедры, дружелюбны, ездят на скромных машинах, тру-

долюбивы, ответственные, благородны, умеют радоваться успехам других людей. А наши заедаются и чем становятся богаче, тем становятся все более жадными, завистливыми, высокомерными и делаются похожими на старуху из сказки Пушкина.

Повесть “Юбки”.

Здесь Юрий Кувалдин показывает подростка четырнадцати лет, Володю, который превращается в мужчину, его ощущения, потаенные желания, взгляд на окружающий мир... Автор делает это интересно, помещая героя и всех действующих лиц в разные районы Москвы, описывая улицы, здания, дома, где живут и действуют действующие лица.

Он подробно говорит о первых влюбленностях своего героя. Володя влюбчив, ему нравятся разные девушки, девочки. В его возрасте, в его годы они и не могут не нравиться молодому человеку, поскольку в нем играют гормоны и любая девушка кажется ему красавицей, даже горбунья. Автор очень поэтично и динамично показывает сцену близкого знакомства героя с горбуньей, у которой голубые глаза, которыми она и очаровала его, и что из этого получилось. Этот эпизод, как и многие эпизоды книги “Родина”, наводит читателя на размышления, и весьма философские.

В эротических сценах Юрия Кувалдина - бездна юмора, иронии и опять-таки масса моментов для размышлений, очень уж у него в прозе все правдиво, все человечно.

Показывает он и солдатскую жизнь героя. Старшина никогда не говорил, что кто-то из солдат ушел в “самоволку”, в поселок, а говорил просто: пошел по бабам, по-русски, по-мужски, по-народному. Такой графы не было в военном уставе, но она подразумевалась (и это тоже ведь пища для размышлений). А как лаконично и выразительно описание автором девушки, пришедшей на свидание к своему герою: “Смазливое лицо выражало тревогу и восторг”.

“Юбки” - повесть не только о желании мужчины любить, но и о вечном желании женщины, чтобы ее любили, и не только за ее низ, но и целиком всю, невзирая на ее внешний вид, который может быть не очень привлекательным (с лица воду не пить), о ее желании нравиться мужчине и хотя бы на какой-то момент почувствовать себя желанной для него и любимой им.

“Гормоны заиграли в Володе еще раз...” - Это описание полового акта Володи с очередной девушкой. Известное неизвестное... Здесь и философское обобщение любовной темы, и осуществление потаенного, и очень точный подбор слов и повторение одних и тех же опорных слов, которые создают глубокий подтекст.

Каждая женщина знает, чем она хороша, а чем нет. Скажем, у одной хороший зад, а у другой - глаза. Мужчине и женщине, чтобы не разочароваться друг в друге, лучше всего знакомиться голыми и трезвыми. Вот к какому выводу приходишь, когда читаешь “Юбки”.

Юрий Кувалдин озвучивает то, о чем обычно из ложного понимания такта, корректности умалчивается, писатели не решаются сказать “про это”, боясь впасть в пошлость. Ибо тонка грань перехода от эротического описания в эту самую пошлость, порнографию.

У Юрия Кувалдина эротические сцены целомудренны, чувственны и потрясающе реалистичны в то же время - реалистично правдивы, точнее сказать. Целая

гамма чувств, переживаний, страстей человеческих описана в этих сценах, любовных моментах.

“Станция Энгельгардтовская”.

Эта повесть, как и все остальные, начинается с хорошей выпивки. Главный герой, персонаж повести Виноградов, солдат советской армии, с самого начала жутко пьянствует. Он едет для прохождения дальнейшей службы на станцию Энгельгардтовскую (ангельскосадовскую), где расположена воинская часть. И вот он подъезжает к станции и видит: “По всей платформе была раскатана бордовая ковровая дорожка”. Это Юрий Кувалдин в утрированной форме показывает, как должно бы быть. Когда жизнь благоустроена, когда красиво все вокруг, человек меняется изнутри, делается совсем другим, может быть даже, на подсознательном уровне, у него меняется менталитет, то, что мы называем национальным характером, человек становится лучше, удобнее и безопаснее для окружающих, честнее и прочее. Это вывод, который может сделать читатель, но это не совсем та мысль, которую высказывал еще Достоевский по поводу того, что “красота спасет мир”. Это маленькая часть этой мысли.

Солдат видит в будке - офицера, читающего какую-то книгу. Автор описывает реакцию солдата на это: “Никогда ему не приходило на ум прочитать книгу”.

Герой Юрия Кувалдина Виноградов попадает в фантастическую, нереальную среду, совершенно стерильную среду, где все обитатели ведут исключительно здоровый образ жизни и при этом веселы и бодрны. И вывод, который делает солдат Виноградов, очень интересен: надо завязывать с выпивкой, а то будешь белой вороной выглядеть. Второй вывод, который делает уже читатель: для привития здорового образа жизни недостаточно одних лозунгов и умных книг, этот здоровый образ жизни пропагандирующих.

Молодой солдат заходит в военторг (это на станции Энгельгардтовской, где все по-другому, не так, как в жизни) и видит на полках обилие разных флаконов спиртосодержащих, одеколон “Шипр” и прочее, и покупает за копейки один флакон и конфетку, чтобы тут же это употребить вовнутрь. Но оказывается - одеколон этот безалкогольный, так на этикетке написано, в этом военном городке, в этой части так положено по уставу, т. е. человек хочет выпить, но не может, не получается у него это, поскольку порядки в этой части другие. Здесь не приветствуется желание человека выпить и тем самым ощутить “веселие”. Как писал еще Н. Г. Чернышевский, “человек глуп, его надо насильно вести к счастью”. Видимо, в этом военном городке решили этот тезис Чернышевского воплотить в жизнь.

Картинку эту писатель Юрий Кувалдин описывает настолько забавно, весело, иронично, с таким “Nebensinn” (“Небензинном”), “сосмыслом”, когда к основному значению слова прибавляется еще и оттенок этого слова, плюс к нему присоединяется еще и стилистическая окраска, превращая в конечном счете это слово в то, что у немцев, к примеру, называют словом “Größe” (“Гроссе”), дословно - “величина”, существительное с большой буквы, это лексико-стилистическое единство с усиленным “разрыхлением”, с особыми свойствами, воздействующими на наше восприятие, совсем по-другому, чем просто нейтральное или синонимичное слово с похожим значением.

Вот как описывает Юрий Кувалдин знакомство своего героя Виноградова с девушкой (сцена происходит в военторге, а магазине): “Давайте лучше познакомимся, – сказал Виноградов и протянул руку к груди продавщицы, но тут же получил (от девушки) резкий удар локтем в переносицу”. Нейтральное в общем-то слово “грудь” в этом контексте заиграло другими красками. Фраза получилась настолько выразительна еще и потому, что начало ее совсем не предвещало столь неожиданного хода руки солдата (как и столь неожиданного хода локтя девушки). И потому возникает очень выразительная картинка, с одной стороны – очень смешная, с другой – очень правдивая и поучительная.

Потрясающе правдивы у Юрия Кувалдина иронично поданные описания человеческих отношений. Его персонажи действуют порой в фантастическом окружении. И здесь интересны философские размышления автора о мире, в котором мы живем, о цели человечества, размышления о том, что все, что не записано, исчезает, сам человек исчезнет, его память, а останется только написанное, поэтому не реальная жизнь составляет историю, а книжная, составленная из слов. И эта книжная жизнь не похожа на быденную, книжная богаче, безграничнее, величественнее. И если жизнь есть твое представление о ней, то оно – в соприкосновении с книгами – уходит в бесконечное бессмертие. В общем, там, где включаются слова, там начинается другая реальность.

Выводы читателя. Пьют люди не ради укрепления здоровья, а для своего удовольствия, наслаждения. И вывод сам напрашивается: если что-то доставляет человеку удовольствие, то никакая вредность, никакой страх перед последствиями не остановит человека, он будет радостно, с восторгом и с чувством глубокого удовлетворения потреблять то, что ему приятно, так уж мы устроены. Такой вывод должен сделать философски настроенный читатель, читая Юрия Кувалдина.

Пьющий человек – это не обязательно глупый человек. Глупость – она все-таки нечто данное человеку от природы, изначально. Трезвых дураков достаточно много, как мы знаем. Другое дело, что умный, но сильно пьющий человек быстрее разрушает себя и просто не доживает до того возраста, когда даже пить становится затруднительно, когда человеку не хватает физических сил для совершения этого обряда.

Эдраг По был гениален, но пил. Цветаева – пила, и гениальный Булгаков пил и колосся, Рубцов был – алкоголик, но умел писать стихи. Из этого иные люди делают вывод, вроде бы логичный, что алкоголизм и наркомания творчеству не помеха. Но здесь как посмотреть на это дело. Дело в том, что людей пьющих, но гениальных в тысячи раз меньше, чем непьющих и гениальных. И дело не в количестве тех и других.

У Юрия Кувалдина показан в повести момент преображения главного героя и предвосхищение этого момента. Это показано очень обоснованно и очень ярко, выразительно. Человек, поставленный, помещенный в хорошие условия, в хорошую, благоприятную, культурную среду, в хороший быт, способен удивить самого себя. Его небольшие творческие и другие данные (интеллектуальные, эстетические) превращаются в огромные, он расцветает, как цветок, за которым ухаживают, который правильно подкармливают и поливают. Человек в этой ситуации способен ставить рекорды. Солдат Виноградов попадает на время в такие вот благоприятные условия, где все делается для удобства и полноценного развития человека, и он незаметно меняется, у него меняется характер и металитет.

Я вспомнил, как я приехал в Германию, отправился гулять с приятелем на машине в город Штутгарт. Приятель был за рулем и время от времени рассказывал, а вернее комментировал мне, что где находится справа и слева от шоссе. Вот эта уютная территория - это воинская часть. Она была похожа на санаторий. И приятель рассказал мне, что служить там - одно удовольствие. У каждого солдата - отдельная комната с телевизором, душем, холодильником, туалетом, ежемесячно ему платят 750 марок (это было в 1996 году) на мелкие личные расходы (а это, не будем забывать, раз в пять или в десять больше, чем зарплата нашего профессора на то время). Каждый солдат имеет право пригласить к себе на субботу или воскресенье подругу, чтобы приятно с ней пообщаться. Это у них, оказывается, в порядке вещей. Этакая узаконенная самоволка, похожая по сути на нашу, то бишь пошел по бабам. И солдат, а вернее служащий, чувствует себя человеком. И никакой дедовщины у них в армии нет и никаких стрессов.

Наш солдат устраивает себе стихийные самоволки. И начальство смотрит на это снисходительно, ибо оно понимает, что иначе нельзя, человек может просто превратиться в неврастеника, ему нужно общение с противоположным полом. Тогда он будет нормальным, адекватным человеком. Гормоны-то в нем играют, как же ему усидеть в казарме и не знать, чем себя занять. Человек, он же не курица, как писал М. М. Зощенко в одном из своих рассказов, ему отдых нужен, ему самоволка нужна, это курице отпуск не требуется, а человеку эта самая самоволка вот как нужна.

Вот такие размышления у меня, как у читателя, появились, когда я читал повесть Юрия Кувалдина.

После выдуманной автором станции Энгельгардтовской рядовой Виноград возвращается в свою обычную часть, и его все там воспринимают уже как психбольного, поскольку он стал совсем другим, его воспринимают как ненормального. Ибо они не догадываются о том, что ненормально живут они сами, а он-то стал нормальным за короткий срок пребывания в нормальных хороших человеческих условиях. Здесь же, в реальной жизни, нормальный, начитанный, умный человек воспринимается как ненормальный, больной, в этой среде, нечиющей и пьющей.

“Вавилонская башня”.

Доскональное знание Юрием Кувалдиным Москвы, со всеми ее улочками, достопримечательностями, потрясает. Но это не справочные данные об улицах Москвы. Это читается как детективный роман, от которого не оторвешься. Так умеет это описывать Юрий Кувалдин. Это все равно, что написать книжку по грамматике какого-то иностранного языка, но так, чтобы читателю было интересно это читать, чтобы его это захватывало, цепляло, интриговало, чтобы читатель читал это, не отрываясь. Это зависит от умения подать материал. Юрий Кувалдин это умеет, ибо он хороший стилист, делает он это блестяще. Другое дело, как он достигает этого, какими языковыми средствами.

Поскольку герои Юрия Кувалдина перемещаются по Москве, то автор описывает и улицы Москвы, и ее достопримечательности, и дома, и их обстановку внутри. И все это получается у него гармонично, все в меру, мастерски. И возникает

картинка, которая ни у кого из читателей не вызывает ощущения чрезмерной обстоятельности автора. Потому что им соблюдена мера. А в целом получается правдоподобная, узнаваемая атмосфера повести с узнаваемыми, правдоподобными ситуациями.

Персонажи у Юрия Кувалдина все время в действии, они говорят, полемизируют друг с другом, рассуждают. И темы их рассуждений интересны, поскольку они касаются всех людей без исключения. Читатель вовлекается в тему, он размышляет вместе с персонажами, героями его повести, он ловит себя на том, на мысли, что и его, оказывается, эти темы волновали.

В повести "Вавилонская башня", к примеру, изображен персонаж, которого условно можно назвать книголюбом. Портрет этого книголюбца как будто списан с жизни, с реального лица. Лично мне такой человек встречался. Он был феноменальным книголюбом, он жил книгами, миром литературы. Это был мой сосед по квартире и мой коллега, жили мы в одном здании, и оба преподавали немецкий язык в Шадринском пединституте. Звали его Юрий Александрович Трапезников. И был он фантастически образованным человеком с энциклопедическими знаниями. У него в его одинокой квартирке было собрано на полках 15 тысяч томов самых разных книг, и все эти книги были уникальны, интересны, и он читал их и знал всё, всё. А жил он на 30 рублей в месяц, все остальные деньги тратил на книги. Одна из них потом упала ему на голову с верхней полки и чуть было не сделала ему сотрясение мозгов. О чем я написал ему такое шуточное посвящение в стихах на немецком языке:

Mein Freund macht nur ein leises "peng",
Der schwarze Sarg war lang und eng.

То есть:

Мой друг издал тихое "пенг" (звук - возглас-писк),
А черный гроб был длинен и узок.

Книги были главной страстью всей его жизни.

Юрий Кувалдин несколькими штрихами дает портрет человека, любящего книги, и в этом портрете воспроизведено удивительно точное видение автором такого редкого типа людей.

"День писателя".

В этой повести Юрий Кувалдин сокрушает старое, чтобы возвести новое и посмеяться над старым. И создает, возводит новое и смеется над старым, прибегая к приемам скоморошества и пародийности.

Для Юрия Кувалдина художественная проза - это способ его существования. Он считает прозу самым высоким искусством, важнее музыки и живописи.

Литература, считает Юрий Кувалдин, ближе, чем живопись и музыка, к чуду зарождения жизни. Вначале было слово, а в слове был лов, а в лове был логос. Творческий процесс начинается с чувства, а не с идеи, и тем более не с идеологии.

Рассказ жаждет быть поведанным, и дело писателя, понять, куда устремится рассказ, куда слово поведет его.

Человек творческий должен верить в себя, утверждает автор. И излагает свою теорию языка. И очень необычно и непривычно говорит об этимологии слов, о первоистоках языка. И считает, что происхождение названий городов надо искать в Литературе (Москва, Псков и т. д.).

Все вещи мира смертны. Кроме слова. Поэтому слово - есть Бог, считает Юрий Кувалдин. Язык у человечества один. Он возник в древности, в Египте. Затем в разных странах появились ответвления этого языка, диалекты. В наши дни сформировались главные из них: английский, немецкий, китайский, французский и многие другие. Русский (т. е. святой) - самый высокий и универсальный. Это новый язык, возникший специально для переработки всех языков мира в один русский. Нашему языку не страшны никакие иностранные слова, он всё вберет в себя и перемелет и сделает своим. Таков главный мотив повести Юрия Кувалдина “День писателя”.

В повести “Счастье” у Юрия Кувалдина несколько другой, чем во всех других повестях, язык, с характерными простонародными словечками в речи героев, и вся повесть опять-таки буквально брызжет юмором, иронией, и в то же время она потрясающе правдива, достоверна. Такое ощущение она оставляет у читателя. Не говоря уже о том, что повесть наводит на размышления, хочется читать ее медленно, смакуя удивительно выразительный и в то же время легкий для восприятия язык. Когда читаешь описание сельского пейзажа и людей, населяющих деревню, создается впечатление, что сам автор всю жизнь прожил в деревне, досконально впитал в себя и деревенский говор, и характер сельского читателя, он знает все тонкости языка, на котором говорят сельские жители. Вот как он описывает героя своей повести Ивана Семеновича:

“Иван Семенович выпил, крикнул, поел щей, и, едва он их съел, как почувствовал прилив полного человеческого счастья, и чтобы не расплескать его, быстро перебрался на высокую кровать, с четырьмя пуховыми подушками, утонул в них, и задремал”.

А вот описание девушки, которую любит сын Ивана Семеновича Виктор, молодой советский парень, мечтающий стать хорошим сельским милиционером, а жениться он хочет на девушке, которую он считает очень красивой и замечательной:

“У нее был потрясающе крупный нос, с вдавленной переносицей, короткие толстые ноги, но зато с очень широкими бедрами и огромным тазом, и была она для Виктора самая красивая, круглые щеки, маленькие глаза, посаженные близко к мятой переносице, которые сильно косили. Виктор смотрел на нее и чуть не разрыдался от нежности”.

А вот портрет Веры. “У Веры был такой же длинный и горбатый нос, как у ее сестры Маруси, но кожей (она) была светлее, походила на шуку. Из-под длинного носа сильно выдавалась вперед нижняя челюсть и губы были вытянуты по-щучьи”.

Это все напомнило мне работы моего знакомого скульптора Ульриха Нусса, довольно известного скульптора в Германии, который живет недалеко от Штутгарта. Когда я был в Германии, мы с ним подружились, и он показывал мне свои

бронзовые скульптуры у себя в имении, где на большой площади стояли, сидели и лежали штук сорок самых разных скульптур, в основном изображения женщин и мужчин, на пьедесталах, в обнаженном виде. Все без исключения скульптуры были безобразно некрасивы внешне, т. е. как скульптуры они были очень даже выразительны, но почему-то для их воплощения он выбирал вот такие некрасивые модели. Женщины были с большими отвислыми грудями, с огромными животами, кривыми, да еще безобразно тощими ногами, лица отличались поразительной непривлекательностью. Я как-то тихонько спросил у его сестры Сибиллы, тоже художницы, почему его скульптуры (модели) такие непривлекательные, на что она ответила с улыбкой:

- Они очаровательны в своем уродстве. Ульрих таких любит. Люди в большинстве своем такие или станут такими в старости.

Вот и у Юрия Кувалдина многие персонажи, особенно женские, не отличаются классической красотой, но изображает он их с нежностью и любовью. Он, как и Ульрих Нусс, любит изображать женщин с безобразными фигурами и лицами. В этом что-то есть. Во всяком случае, читателя эти описания цепляют.

Проза Юрия Кувалдина философична, но при этом легко читается, она понятна, и главное - ее читаешь с удовольствием, потому что она иронична, правдива, читается весело, и в то же время - это не легкомысленное чтение, ибо оно вызывает у читателя желание размышлять на философские темы, ему это интересно, занимательно. В этом смысле книга очень полезна для читателя, она формирует его мировоззрение, ненавязчиво, а благодаря умным мыслям, поданным автором в доступной форме, иронично, весело и правдиво.

А вот как описывает Юрий Кувалдин реакцию жены Валерия Ефимовича на то, что ее муж выпил (а ему нельзя пить, он "зашит", закодирован): "В саду, в ярком солнечном свете, на фоне зелени Антонина (жена алкоголика Валерия Ефимовича) картинно обхватила ствол яблони-китайки и стала биться об этот ствол головой: "За что мне такие муки!" Очень выразительная картинка, очень правдивая, яркая и ироничная.

Сын Ивана Семеновича Виктор подходит к Антонине и говорит (внутренне ощущая себя уже милиционером): "Антонина Николаевна, давайте не будем, давайте не будем, давайте пройдемте к столу", - и "повел ее в избу".

А вот как автор размышляет о милицейской форме: "Милиционер похож на ребенка, это ребенок, потому что взрослому противна всякая форма, форма идет детям и артистам, вот поэтому милиционер похож на ребенка. Среди шума вокзала, на ребенка, что посреди удовольствия внезапно бросает игрушку".

Очень ярко описаны автором персонажи, любящие выпить, и просто алкоголики. Они не вызывают отторжения у читателя. Читатель им сочувствует, они ему, читателю, симпатичны. Видимо, потому, что они, несмотря на такой вот свой статус, очень даже неглупы, и более того, даже философичны и по-своему интересны. Вот как описывает автор одного из героев своей повести - Валерия Ефимовича:

"Все знали, что Валерий Ефимович законченный алкоголик, но в то же время все делали вид, что не знают этого".

Или: "Валерий Ефимович не знал, куда глаза девать от трезвого позора, и в нем сразу же началась борьба: пить или не пить?".

“Все вещи мира смертны. Кроме Слова”

“Счастье - это когда ты можешь делать то, что тебе запрещают, - он схватил бутылку, налил целый стакан и засадил его залпом”. Великолепная картинка нарисована Юрием Кувалдиным.

А вот как Юрий Кувалдин описывает праздник 9 Мая:

“Лишь праздник отвлекает от безнадежности”, - пишет Юрий Кувалдин. - “В празднике нет и не может быть истины, есть только ритуал, условный его свод, и за эти пределы никто не способен вырваться. Лишняя условность праздника, особенно парада, когда отряды обряжаются в наряды и маршируют рядом с трибунами, на которых стоят вожди, сродни условности самого языка, на котором изъясняются люди, так что язык слит с праздником, а праздник с языком, плавно переходящим в перманентное ощущение счастья”.

Но праздник без песен - не праздник, как и счастье без них - не полное счастье. “И вот Вера с Марусей взвизгнули...” - и запели песни, “без водки, трезвые, вот что песня, паразитка, делает с людьми!”.

Кувалдин сильный писатель. Чтение его книг душу возвышает и “ум вострит”, как сказал бы Михайло Ломоносов.

Татьяна Добрынина

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ...

Юрий Кувалдин “День Писателя”, журнал современной русской литературы “Наша улица” № 4-2003 г.

Есть явления, которые по своей сути больше самих себя. Так одна дождинка может стать прообразом потопа. Одно молвленное слово может вызвать обвал в умах и душах, а может удержать эти души на плаву надежды. Энергетический заряд не произнесенного слова давит, требует выхода, стремится запечатлеть себя на бумаге. Таково призвание писателя. Это - такой же феномен природы, как оазис в огромной вселенской пустыне. По своему масштабу он может быть велик или скромен. Но по степени значимости он всегда единственен. Ибо сущность его состоит в том, чтобы насыщать, отдавать, преобразовывать словесный глоток в пространство жизни.

Юрий Кувалдин - писатель переполненный и отдающий. Он пассионарен, обладая той творчески-состоятельной степенью магнетизма, которая и является сутью художнического, а именно - писательского - призвания. Это качество присуще всему, о чем пишет Юрий Кувалдин - будь то роман, рассказ, пьеса, рецензия, или статья - публицистически-яркая, нелицеприятная порой, а иногда насыщенная тонким лиризмом и поразительной нежностью к самому тому явлению, которое называется творческим даром. С Юрием Кувалдиным, писателем, критиком, лириком, публицистом можно соглашаться, не соглашаться, спорить до белого каления, восхищаться им, внимать ему заворожено, или - наоборот досадовать. Единственное, чего нельзя - это прикасаться к его творениям отстраненным разумом, а еще хуже того - отстраненной душой.

Алексей Толстой сказал когда-то, что в писателе сидит сразу несколько человек: умник, критик, подмечающий едким глазом всякие промахи умника. Но оба они ничего не значат, если среди них отсутствует тот, кто является главный - художник, одаренный способностью не просто повествовать, но ПЕРЕДАВАТЬ СЛОВАМИ.

Подобные размышления навеяны только что прочитанным эссе, а вернее было бы обозначить его как трактат, во многом выражающий авторское кредо Юрия Кувалдина. “День Писателя” преподнесен в форме притчи: “Кувалдин, исполненный литературы, тоже захотел начать историю с себя, и когда он возвратился от Иордана, то поведен был в пустыню”. Вообще это сплав фантазии, мифологии, авторской исповеди. Виртуозная игра воображения и эрудиции. Тем не менее, вопрошаешь невольно, что это - глас вопиющего в пустыне? Оазис в пространстве одиночества, непонимания? Искра истины, высекаемая из трения слова о слово? Да все это тут есть. А еще больше остается за пределом. Между вздохом, выдохом и паузой.

Умный и саркастичный автор прибегает к аллегории, порой сознательно доводя ее до абсурда, - ему ли не знать, как, прытко играя в пятнашки друг с дружкой, торопится застолбить себя на пятачке эпохи расплодившееся племя литературных изощренцев, которых Юрий Кувалдин называет “литературоаннигиляторами”. “Понятие магии, носящей имя “слово-логос” для литературоаннигилятора неприемлемо”, - говорит он. И в этом утверждении переключается с Достоевским Федором Михайловичем, одним из самых

любимых и предпочитаемых им классиков, которому Юрий Кувалдин посвятил много страниц, включая целый роман.

А Федор Михайлович отмечал со свойственным ему чувством высокой христианской всечеловечности: "Я бы сам смеялся с ними, - не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно на них глядя" ("Сон смешного человека").

Однако, на сопряжении смыслов "слово-логос" как раз и происходит грубейшая несостыковка между писателем и "писакой", трактующим сей вид деятельности как умение водить пером по бумаге, а вернее тыкать пальцем по клавиатуре компьютера. Тут кажется уместным этимологически совместить (этимологии отводятся много места в трактате Юрия Кувалдина) между собой такие понятия как древнеиндийское "галас" - горло, глотка; греческое "глосса" - язык; старославянские "глас" и "глагол" (слово "глоток" из того же ряда). Итак, получаем: "логос-голос-слог-лог-логово". Наконец, Слово. То самое, которое было ВНАЧАЛЕ. Но, утрачивая свою истинную сущность, оно превращается в "ложь", порождаемую законами "логова". Тесного междусобойного сборища, где властвует не Логос, а закон стаи. Вот такая метаморфоза слов и понятий.

Между тем, обесценивание СЛОВА, возведение в культ АНТИСЛОВА порождает хаос, энтропию смыслов, поступков, морали, приводя мир к дисгармонии и деструкции. "Ну и что? - скажет кто-то, - каждый волен в своем выборе. "Выбор-бор" - большой - большой лес. Шумят деревья, трепещут на ветру времен листики-слова. Листики-страницы. Пахнет хвоей, влажной землей. А может прелым опадышем? Гнилью? Тлением? Экологической катастрофой?

Тут невольно взор обращается к тому, кто поистине "... выше царей и государств, выше партий и народов, выше золота и мирской суеты, грядущий во имя литературы!" - Это не просто пафос надежды, или проявление писательского честолюбия, - таким образом Юрий Кувалдин подчеркивает величайшую ответственность словесного, литературного дара. Вначале было СЛОВО.

Юрий Кувалдин созидает свои миры вдохновенно, порою неистово. Он по сути своей - ПОЭТ. Понятие "литература" появилась позже, чем понятие "поэзия". Еще во времена Аристотеля (4-ый век до н. э.), хотя и отмечалось уже формальное распределение по жанрам, где Поэзия играла главенствующую роль, но все это не было объединено словом "литература".

Уже в одной из первых своих книг "Улица Мандельштама" Юрий Кувалдин предстает перед читателем именно в этой изначальной ипостаси - Поэта. Вообще о романе "Улица Мандельштама" хочется сказать отдельно. Писательский дар Юрия Кувалдина выражен здесь так мощно, так энергетически насыщено, что эта книга, несомненно, имеет право войти в ряд наиболее значительных явлений современной литературы. Как по совокупности художественных достоинств, так и по своей смысловой весомости. Впрочем, можно было бы поговорить о творчестве писателя Юрия Кувалдина, как и о его издательской деятельности, в более расширенном объеме. Тут есть, о чем говорить.

Но речь идет о публикации, именуемой "День Писателя". Одиночество в кругу таких же одиночеств - вот закономерное проявление творческого содружества. Такая привычная и объяснимая разрозненность казалась бы близких по духу людей. И тогда писатель населяет свой мир персонажами, которые порою для него гораздо живее и сопричастнее к его душе, чем те, кто окружают его в мире повседневности и недопонимания. Ибо писатель - это тайна тайн. Не оттого ли эта нарочито-залихватская поза Избранника (что при всей горькой самоироничности Юрия Кувалдина отнюдь не противоречит истине: Писатель есть Избранник).

Чтобы одушевить пространство своих одиноких поисков и восхождений по всем этим векам и весям, которые подвластны только очень смелому и дерзкому воображению, Юрий

Кувалдин берет с собой в путь людей с именами библейских пророков, самих этих пророков, соратников по литературному поприщу, которых он именует апостолами, а также царей, зверей, птиц - всех, кто находится в ареале его пристрастий, в необузданности всего, чем одержимо его писательское "Я". Здесь яростно схлестываются между собой топонимика, история с географией. Священное писание, Фрейд с Достоевским. Здесь нет только и намека на какое-либо наукообразие, потому что: "Меня обвиняют, что безудержнее всего моя фантазия в том, что я рассказываю о себе. Но уместно спросить: кому и распоряжаться моей жизнью, как не мне самому?" - вот так объясняет Юрий Кувалдин то, что понятно и без этих слов. Понятно оттого, что писатель предельно открыт, искренен перед "вечностью и пространством". И провокативен - в самом высоком понимании творческой сверхзадачи.

"Какие книги вы считаете лучшими за всю историю литературы?" - спрашивают у Юрия Кувалдина иные из тех, о ком он говорит: "Остерегайтесь филологов, которые любят (...) приветствия в ЦДЛ на вечерах, заседа в президиумах".

На этот вопрос Юрий Кувалдин отвечает следующим образом: "Не моргнув глазом, называю свою последнюю вещь - "Интервью", а ее и прозой-то назвать трудно: так, просто работа для вечности и пространства. (...) Похоже, в таких случаях надо держать перед собой плакат с надписью "Кувалдин шутит" и еще подчеркнуть это слово".

- Вот интонация, очень характерная для писательской манеры Юрия Кувалдина. От великого до смешного и впрямь один шаг, - не правда ли?

А между тем, писать для "вечности и пространства" - значит, заведомо обречь себя на высшую степень неприятия теми, в чьей власти направлять, просчитывать, задавать тон, - прагматично и - в приватном смысле - корпоративно. Но, как выразился один мудрый философ прошлого: "Мало пишущих, - много писающих".

А Юрий Кувалдин идет себе мимо них, своей - единственно для него предназначенной дорогой, не заискивая, не приседая на полусогнутых. И оттого он свободен и невероятно целостен. Пусть в этой дороге он будет счастлив, любим, узнан. И признан.

Андрей Василевский

ПОВЕСТИ О ЖИЗНИ

Юрий Кувалдин. Поле битвы - Достоевский. Повесть. - "Дружба народов", 1996, № 8.
Юрий Кувалдин. Вавилонская башня. Повесть. - "Грани", № 181 (1996).
Юрий Кувалдин. Замечания. Повесть. - "Континент", № 86 (1996).

На самом деле я плохо знаю маленьких девочек.
Если поразмыслить, я, наверно,
не знаю ни одной маленькой девочки.

Владимир Набоков.

В дневниковых записях Лидии Гинзбург 20 - 30-х годов есть такой эпизод. Однажды в ответ на ее недоумения, почему это нужно непременно заниматься любой современной литературой, Осип Брик сказал: "Вы все работаете в тылу. Разумеется, работать в тылу в своем роде нужно и полезно, но необходимо и почетно работать на фронте". Лидия Гинзбург пересказала это Юрию Тынянову, тот разозлился: "А почему вы им не сказали, что они, со своей литературой факта, - генералы без фронта?" Споры эти, если отбросить культурную и политическую специфику тех лет, не отошли в прошлое. Видимо, и не отойдут.

Я же, читая, подумал, что сегодня "на фронте" находится не критик, пишущий (вроде меня) о любой современной литературе, а сам прозаик, описывающий еще не устоявшуюся действительность. Работать на самом современном материале всегда трудно, нет дистанции. Но, пожалуй, в 70-е и первой половине 80-х было в этом смысле проче: жизнь была устоявшаяся, и в хорошем, и в дурном предсказуемая, изменялась она эволюционно, а не катастрофично; к тому же наличие бдительной цензуры заведомо отсекало для "легального" писателя целые пласты окружающей жизни, что было весьма огорчительно, но, как ни странно, тоже упрощало его работу.

Сейчас не то: особенно трудно прозаику, по тем или иным причинам не пользующемуся готовыми жанровыми заготовками детектива, дамского романа, романа воспитания и проч., которые до некоторой степени способны (мнимый или действительный) хаос нашей жизни структурировать. Думаю даже, что сегодня только заранее известные правила игры, почтенные традиции массовых жанров образуют каркас, способный удержать самый сырой, неоформившийся современный материал (скажем, российский триллер как социальный роман - это тема для серьезного разговора).

Конечно, есть и другой выход - очеркизм, и не обязательно того рода, что идет под традиционной новомирской рубрикой "Очерки наших дней"; очерки городской жизни в стебном журнале "Столица" заслуживают не меньшего уважения. От очеркиста требуется что? Наблюдательность, добросовестность и живой слог; за остальное он ответственности не несет. Очеркист всегда имеет право

сказать: “Помилуйте, я же не придумываю, такие люди, такие ситуации, могу называть адреса...”

Срединный же путь для прозаика самый сложный. Один из наиболее активно работающих авторов, Юрий Кувалдин, вроде бы идет таким срединным путем. Мимо очерка и мимо традиционных жанров. И пишет он - вспомним давнее определение - вроде бы в формах самой жизни, реалист то есть. Откуда эти оговорки - “вроде бы”, - разъяснится чуть позже. А пока раскроем повесть Юрия Кувалдина “Замечания”. Время действия - наши дни. Место действия - рядом с нами. Старый рабочий Сергей Васильевич все еще трудится на родном угасающем заводе. Делает на своем станке бронзовые дверные ручки - естественно, налево (другие рабочие тоже делают кто что - ножи, водопроводные краны и проч.), продает их на рынке. Семья. Жених дочери. Жена-алкоголичка. Все обрыдло.

Образчик Кувалдинского реалистического стиля: “Лезвие было старое и плохо брило, драло кожу. Сергей Васильевич смотрел на свою обрюзгшую физиономию в круглое зеркало, пожелтевшее от времени, но не замечал, что его физиономия обрюзгла. Лысину свою, которая появилась в тридцать лет, он тоже не замечал, привыкнув к ней за последующие тридцать пять лет. Чтобы смягчить бритые, Сергей Васильевич часто макал помазок в железную кружку с кипятком и мылил помазок о кусок простого хозяйственного мыла в мыльнице. И зеркало, и мыльница, и кружка с кипятком стояли на некогда белом широком подоконнике. В ванную Сергей Васильевич не выходил, потому что там умывалась жена. А с ней он видаться не хотел, хотя видаться, так или иначе, приходилось”. Стилистически так дальше и пойдет, а вот сюжетный поворот непредсказуем.

Вдруг Сергея Васильевича как старого кадрового рабочего берут - нет, точнее, приглашают, зазывают в коммерческую фирму, да не кем иным, как заместителем директора. Обязанности у него, с одной стороны, необыкновенные, а с другой - очень понятные: всем делать замечания. Чтоб все строго было, фирма солидная. Он и приступает, и ничего, получается. Развязки же в повести нет. Собственно, такая завязка - она, по сути, есть уже и развязка (“...больше ничего не выжмешь из рассказа моего...”). История странная, но только в моем упрощенном изложении. В тексте повести это “вдруг” прописано так плавно, так похоже на жизнь, но именно похоже, что в голову приходят странные мысли. У фантаста, условно говоря, Виктора Пелевина есть рассказ о том, как обыкновенная женщина торопится на работу в институт, тянется вроде бы обыкновенный рабочий день, и только постепенно, по некоторым нарастающим несообразностям мы догадываемся, а в конце рассказа и убеждаемся, что это уже тот свет, а не этот. От повести Кувалдина почему-то остается похожий осадок.

Откроем теперь “Вавилонскую башню”. Эта повесть рассказывает о враче-книголюбе, которого зовут Георгий Павлович Шевченко, и его “литературная” фамилия хорошо согласуется с появляющимися по ходу действия Достоевским, Победоносцевым и Исааком Левитаном (с убитой чайкой в руке), причем не однофамильцами, а теми самыми - Достоевским, Победоносцевым и Левитаном. Врач Георгий Шевченко торгует наркотическими препаратами. Товар и деньги передаются на Переделкинском кладбище у могилы Пастернака (“- Спасибо, Борис Леонидович! - сказал, поднимаясь, Тофик”). Повседневная жизнь Шевченко осложняется регулярными вторжениями внучки-наркоманки Гуты и силовым вмешательством

вом квартирных махинаторов. Словом, почти газета: страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют...

Но у Шевченко есть и своя большая идея, он не просто тратит почти все деньги на книги, но и вычерчивает схему какой-то литературной Вавилонской башни, смысла и значения которой я, признаюсь, не понял, но подозреваю, что этого не понимает и сам автор. Идет долгое, долгое погружение в безумие. Сюжет повести постепенно провисает, интрига расплывается. Я, читая, невольно вспоминал классические "Записки сумасшедшего": там, у Гоголя, несмотря на отсутствие "объективного" авторского голоса, мы все время понимаем, что происходит "на самом деле", можем мысленно реконструировать как реальность, скрывающуюся за словами бедного безумца, так и истоки его безумия. У Кувалдина не то (это скорее констатация, чем упрек). Ну, беседы героя с Достоевским и Победоносцевым - это, понятно, бред. Но что касается его квартирных дел, занимающих в повести немалое место, то скоро пересташь различать, что происходит на самом деле, а что только в разлагающемся сознании героя. "Это сама реальность сходит с ума", - объяснил мне коллега по критическому цеху.

Но прописано все стилистически ясно, язык писателя прост. Это не ирония, а похвала. "На кухню сразу же вышла жена, полная женщина с синими мешками под глазами" ("Замечания"). "На пороге стоял толстенький человек в неряшливом пиджаке, с одутловатым лицом то ли старого неудачника, то ли нищего" ("Поле битвы - Достоевский"). "Отец выпил тихо, беззвучно и так же беззвучно сидел несколько минут" ("Так говорил Заратустра"). Что мы, мешков под глазами не видели? Не на Луне, чай, живем. Пусть нам только обозначат, мы додумаем. Дайте "сценарий", мы сами его "экранизируем". Где - мехи? Мы зальем их своим вином.

В романе Юрия Кувалдина "Так говорил Заратустра" главный герой Беляев, цитирую, "догадывался (автор пишет не нейтральное "думал", а "догадывался", то есть косвенно подтверждает своим авторитетом создателя правоту героя. - А. В.), что ни собеседник, ни книга не в состоянии постоянно в процессе общения или чтения держать тебя в напряжении, то есть в том состоянии, когда ты уходишь за слово и видишь то или понимаешь то, что обозначено этим словом. Таким образом, в каждой речи собеседника... или в каждой книге содержится минимум сорок процентов не востребованного слушателем или читателем смысла. Продолжая это рассуждение и доводя его до логического конца, Беляев понял (опять-таки "понял", а не "считал". - А. В.), что в рассказываемое или в написанное нужно преднамеренно включать пустоты, или попросту умело лить воду, поскольку вода и есть основа жизни... Вода охлаждает, обмывает, освежает и позволяет свободно плыть внутри смысла, свободно преодолев слово, а за словом внутри смысла, вернее, к чужому смыслу... равноправно прибавлять свой собственный смысл, как бы плыть в параллельном своем смысле, подпитываясь чужим". Интересно только, что с точки зрения самого писателя является "пустотами" в его прозе? Многословные диалоги персонажей, иногда играющие роль своеобразных отступлений, содержащих (это очевидно) дорогие автору суждения? Или подробное бытописание, сам этот будничны сор, - пресловутый "реализм"?

Повести Кувалдина, по известной формуле, не то, чем они кажутся. Может быть, автор просто смеется над читателем, нетерпеливо взыскующим или при-

вычно ожидающим эту самую правду жизни? Позволю, не утруждая себя доказательствами, совершенно интуитивно предположить, что Кувалдин современность не описывает, а выдумывает (не меньше, чем Буйда или Пьецух). А это не только великое право художника, но, может быть, и его прямая обязанность. Во всяком случае, не стоило бы считать последние повести Юрия Кувалдина надежным свидетельством российской жизни 90-х годов (что само по себе не хорошо и не плохо, художественная литература вообще свидетель сомнительный).

Опротечивое признание прозаика, что в образе отрицательного академика Давидсона ("Поле битвы - Достоевский") он выплеснул свою неприязнь к известному литературоведу Игорю Волгину, автору книги о Достоевском "Родиться в России", для меня малоинтересно. Это интимный вопрос его творческой психологии, я в это не влезаю. Напомню, опуская подробности, сюжетную основу повести (она имела скандальный резонанс - вплоть до поспешных обвинений в антисемитизме): к процветающему при всех режимах академику Давидсону приходит бедный филолог Егоров просить грант на книгу о Достоевском, но, увы, безрезультатно: "...В самом деле, сколько можно кормиться на классике! То эти пушкиноведы одолели, то толстоведы, то гоголеведы... И вот вы со своим Достоевским! А где современность, где, главное, современная литература?... Тут, понимаешь ли, море современной работы. Мы же не вечны..." Давидсон и Егоров много говорят (примерно две трети текста - разговоры о Достоевском и о литературе вообще) - и вот до чего договариваются:

"- Нет, я вообще спрашиваю - отказываетесь вы от Достоевского?

- За сколько? - спросил Егоров.

- То есть что - за сколько?

- Ну сколько вы мне положите в месяц за отказ от Достоевского?.."

В результате проситель получает грант на книгу... о самом Давидсоне. С удовольствием - делиться деньгами с тем же Давидсоном. Причем соглашается Егоров с удовольствием. Словом, оба хороши.

Один из известнейших наших литкритиков очень рассердился на это кувалдинское сочинение, даже крикнул: "Не верю!" Цитирую: "Знаю... что пакости в литературоведческой среде много, но она другая. А еще знаю, что Кувалдина вся эта "натура" мало волнует. Ему про Достоевского надо сказать. Про паскудные толстые журналы. Про закосневших литературоведов (попалась на глаза пара свежих книжек), треклятый постмодернизм и скоропортящуюся критику. Про старые и новые времена. Сказал. Поверить невозможно, даже если о чем-то ду- мал сходно. Мешают два выдуманных монстра, что кувыркаются на столь же придуманном поле битвы".

Ну, теперь по порядку. Критик, конечно, прав: литературоведы наши гадки, но иначе. Доводы его убедительны, но, увы, как-то неуместны. Во-первых, я не уверен, что повесть Кувалдина написана для читателей, доподлинно знающих, какие такие литературоведы бывают "на самом деле". Большинство - ни с чем сравнивать не будут и поверят скорее Кувалдину.

Во-вторых, что это за упрек: два **ВЫДУМАННЫХ** монстра, **ПРИДУМАННОЕ** поле битвы?... А какие же еще? Конечно, "момент выдумки необязателен для литературы" (Лидия Гинзбург), но у нас-то речь заведомо идет о художественной прозе, о fiction, то есть о литературе вымысла.

В-третьих, понимая всю двусмысленность сравнения, замечу, что и таких помещиков, как в “Мертвых душах”, тоже не бывает. Вернее, не бывало; теперь - после Гоголя - “бывают”. Бунин ругался, что никаких таких вишневых садов в русских усадьбах не было. Конечно, не было. Но кому это сегодня важно, что - не было? Не было сада - и стал сад. Вот уж, буквально, - не вырубишь топором.

Да и вспомним наиболее известных литературных персонажей - монстры, они, как правило, из самых живучих. И у Кувалдина, как бы ни старался он перед нами выговориться, только они, Давидсон и Егоров, и запоминаются, просто стоят перед глазами. (Чуть было не сказал: стоят как живые. Или лучше: как неживые?) Чего же еще? Ну, по совести: чего же еще можно требовать с художника?

А разговоры? Что разговоры? Сказано - вода.

Лев Аннинский

МЫ И ВРЕМЯ

В жизни бы не поверил, что когда-нибудь сделаюсь главным редактором. Тем более редактором заграничного и явно диссидентского журнала. Эти последние я и видел-то от случая к случаю. Читал, правда, с жадностью, когда попадали в руки, но не слишком запоминал, какие там обложки. “Континент” еще как-то знал - по причине того, что делал его мой старый знакомец и вечный оппонент Максимов, а дальше простиралось море прессы, в волнах которой “Время и мы”, “Страна и мир” и другие глобально-закордонные издания накатывали непредсказуемо и неразлично.

Поэтому я никак не связал появление на нашем московском горизонте улыбающегося человека с внимательными глазами и щегольской ниточкой усов - не связал с тем, что он издает некий зарубежный журнал.

- Перельман, - протянул он мне руку и, видимо, не надеясь, что я отделию его фамилию от фигуры некогда знаменитого научного популяризатора, книгами которого мы все зачитывались в отрочестве, прибавил: - Виктор Борисович. Как Шкловский.

Совпадение с автором “Энергии заблуждения” его явно не пугало.

- Вы из Нью-Йорка или из Тель-Авива? - брякнул я почти наугад, исчерпав запас моих закордонных сведений на две трети.

- Я из “Литературной газеты”, - заметил он. - Правда, в ту пору, когда я делал там юмористическую 16-ю полосу, - вы уже в редакции не работали.

- Да! - подхватил я и, чтобы скрыть неловкость, уточнил: - Я там работал раньше, во времена Кочетова и Друзина... Хорошенькое было время...

- Время, - загадочно улыбнулся Перельман. - И мы.

- А вы там когда работали?

- При Чаковском и Сырокомском.

- Чак!! - выскочило из меня, как пароль.

- Сыр, - таинственно отозвался он.

С видом подпольщиков мы пожали друг другу руки.

Путь к сердцу

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, гласит древняя мудрость. Современная мудрость гласит: путь к пищевому мужчине лежит через печатный станок.

Виктор Перельман впервые напечатал меня в 1991 году. Не помню уже, как попал к нему текст, я ли дал ему еще неопубликованный или он сам высмотрел его в печати. Статья называлась: “...И как с ней бороться”. Марксистски подкованный читатель должен был с ходу распознать в названии скрытую ленинскую цитату (что для разгара перестройки, когда Ленина кинулись топтать все, у кого что-нибудь болело или чесалось, такая цитата звучала вызовом, с моей стороны вполне преднамеренным).

Смысл же статьи “прост, как правда”: у нас так: или все, или ничего, середины нет, и в этом горе наше. Самое же пикантное в этом эпизоде то, что текст первоначально опубликовала у нас в “пробном номере” газета “День”, впоследствии переименованная в “Завтра”. Последующая судьба создателя Александра Проханова придает этому эпизоду моей журналистской жизни особенную пикантность: значит, дело действительно не в том, где напечатано, а в том, что написано, - думал я, держа в руках компактную книжку журнала, на обложке которого Вагрич Бахчанян воспроизвел средневековую картину строительства Вавилонской башни, а на ее фоне - благодушного генсека Горбачева в европейском костюме и шляпе.

“Семнадцатый год издания, - гордо стояло на титуле. - Международный демократический журнал литературы и общественных проблем”. Издательство? “Время и мы”. Место издания? “Нью-Йорк”. Периодичность? “Один раз в три месяца”.

Есть от чего взметнуться сердцу.

В ходе начавшегося десятилетия Перельман напечатал меня раз двадцать. То есть, в среднем, через номер. Иногда я отдавал ему уже опубликованное в России, чаще всего компоуя статью из разбросанных по разным органам печати “колонок”, - в отличие от советского времени опубликовать то или иное эссе уже не было проблемой, и я вовсю печатал свои текущие комментарии в “персональных рубриках” - в журналах “Дружба народов”, “Родина”, в газетах “Культура” и “Версты”, но проблемой оставалось: соединить их вместе. Для этого нужны книги, но книги у меня стали выходить десять лет спустя, а тогда - именно Перельман открыл мне возможность составлять из моих бусинок цепочки, подтверждая заложенную в них внутреннюю последовательность, на которую я только и рассчитывал.

Я почувствовал неслыханную свободу. Я ощутил равенство с рыцарями мировой либеральной дружины, рядом с которыми оказывался на страницах перельмановского журнала. Это было уже как бы братство.

Liberte, egalite, Fraternite...

Мы встречались на бегу, - когда Перельман наезжал (точнее, налетал) в наши палестины. Я в ту пору работал “в семи местах”, публиковался в семидесяти семи - иначе нельзя было свести концы с концами в тогдашней реальной действительности... в виртуальной тоже, но в виртуальной они для меня были изначально и непреодолимо несводимыми - это уж сквозная “тема” всех моих писаний - а вот бегать из редакции в редакцию надо было вполне физически.

Однажды, когда я отдавал Перельману какую-то рукопись - свидание было под падающим снежком, я выскочил из офиса раздетым, - он посочувствовал:

- Вам, как всегда, некогда?

Как всегда, в его тоне слышалась ирония, поэтому я счел необходимым выразить готовность здесь же, под падающим снежком, обсудить любые назревшие вопросы.

Он сказал:

- А что, если вам помещать в моем журнале не разрозненные опусы, а что-то связанное и цельное?

- Роман?
- Если есть роман, пожалуйста, - опять включил он иронический регистр. Но тут же посерьезнел. - Я предлагаю вам рубрику. Чтобы из номера в номер был подхват...

...Раз в три месяца, - понеслось в моем сознании. - Четыре материала в год... Ну, для начала лучше три... Опе, deux, trois...

- ...Чтобы читатель ждал... - говорил меж тем Перельман.
...Свобода есть изначальный подкуп под равенство, кой черт поставил их в строку?..

- ...Ждал бы именно вашей рубрики...
...А братство - для того, чтобы свобода и равенство не перегрызлись на смерть...

- И назовем мы эту вашу колонку... колонкой главного редактора. Вы не замерзли?

- Нет... Свобода - равенство - братство! Вот тема первой триады. Логика восемнадцатого века и теперешний взгляд...

- Вам не холодно? - пробился он ко мне с ироническим вопросом.
- Мне жарко, - ответил я, и это была правда - без всякой иронии.

Русский дух
Обязанности редактора меня не пугали - я на протяжении жизни достаточно много занимался редактированием текстов.

Текстов - но не органов печати! Поэтому словечко "главный" в моей должности меня несколько настораживало. Но не обескураживало: я осенял себя духом Марка Твена и надеялся, что до сельскохозяйственных проблем дело не дойдет, а с литературными как-нибудь справимся.

Одно я знал твердо: если журнал будет состоять из материалов эмигрантского и диссидентского окраса, в которых зарубежные эксперты продолжат учить нас азам демократии и печалиться по поводу нашей на этот счет тупости, - такому изданию в нынешней России делать нечего, и читать его не будут.

Значит, надо добавить плодов с отечественной грядки. Нужны материалы, российские и по истокам, и по пафосу, говорящие о том, что происходит в наших душах под родными осинами.

Перельман согласился.
По счастливому стечению обстоятельств мне предстояло в ту пору читать лекцию в Тульском университете. И я использовал поездку, предложив знакомым тульским литераторам поучаствовать в "нашем" (так я формулировал) издании. Туляки проявили понимание.

Впервые в жизни надо мной как над редактором не висела привычная по прежним временам пирамида ответственных начальников, которые риском потери партбилета уравнивали мои дерзости. Теперь я говорил: "Пойдет" и был уверен, что пойдет.

Согласовать все это нужно было только с Перельманом, который, по его новому амплу "издателя", брался обеспечивать спрос и распространение, а за тексты отвечал я. Мы договорились на удивление легко: Виктор Борисович все принял, и мы со смехом удостоверили тот факт, что теперь в палитре журнала появились чисто российские краски, а если вослед тому же Марку Твену

брать сравнения из сельскохозяйственной сферы, - пахнуло родным навозом, а если к американской вторичной этикетке (Марк Твен в переводе - марка номер два) доклеить что-то отечественное, то не обойтись без Лескова... на буквальное цитирование не решаюсь.

В полном обоюдном согласии мы с Перельманом сложили очередной (и мой первый) номер журнала. По его (естественно) настоянию книжку открывала в "колонке редактора" моя статья "Свобода...". Анонсирована она была и на обложке: там неукротимый Вагрич Бахчанян поместил несколько перекошенное, но вполне узнаваемое изображение знаменитой гранитной дамы с факелом, знакомой всем, кто бывал (или, как я, не бывал) в Нью-Йорке.

Сдав номер в типографию, Перельман отбыл за океан, наказав мне проследить за качеством печати, а затем доставить изрядную часть тиража ему в Нью-Йорк лично, - в какой-либо перспективе мне (и моей жене) были оставлены соответствующие приглашения.

Я все исполнил, получил тираж, а затем встал в хвост длинной очереди в Десятинском (кажется, так) переулке за получением визы.

В качестве доказательства моей добропорядочности я предъявил американскому паспортному контролеру только что вышедший номер журнала.

Дядя Сэм взглянул, крикнул и выдал визы.

Американский дух

До этого я был в Штатах трижды, и даже долетал до Тихого океана, но в Нью-Йорке - как следовало бы - ни разу (если не считать однодневного десанта из Нью-Хевена: туда - обратно, ничего толком не посмотрел, только раззадорился: только по губам мазнули). Поэтому предложение Перельмана пожить у него в Нью-Йорке две недели было соблазном, противостоять коему было выше моих сил.

Он встретил меня в аэропорту "Джи-Эф-Кей", загрузил в багажник коробки с тиражом нашего журнала и повез к себе... мимо небоскребов, силуэты которых показались мне вырезанными из бумаги... мимо "Свободы", шаржированное изображение которой вкатил нам на обложку неиссякаемый Бахчанян... мимо "Близнецов", к которым рванулось мое сердце... по мосту "Джордж Вашингтон"... на ту сторону Залива - в уютный пригород Леонию, где обнаружился в густой красно-желтой зелени (именно так!) одноэтажный домик, там приготовила нам жилье жена Виктора Борисовича - радушная Алла Абрамовна.

Поскольку я был одержим желанием "прогуляться по Нью-Йорку" (у меня комплекс старого туриста: "смотреть ногами", и у моей жены тоже), режим нам был предложен такой. С утра кто-нибудь из соседей отвозит нас к Центральному Парку, после чего мы гуляем и смотрим город, а к вечеру та же машина ждет нас в том же месте и везет обратно в Леонию.

К нашей радости, это осуществилось несколько раз с истинно американской четкостью. Хотя возили нас русские. Сам Виктор Борисович не возил, он был занят подготовкой журнальных материалов и, между прочим, ожиданием почтальона (не принесут ли чек от подписчика - меня кольнула мысль о том, что в Америке нервное ожидание чека - черта образа жизни, мне до той поры неведомая). Алла же Абрамовна тоже не имела возможности много нами заниматься: с утра она на своей машине ехала в направлении, противоположном Нью-Йорку, в штат

Нью-Джерси, и там в психиатрической больнице приводила в относительное сознание вверенных ей пациентов; возвращалась она вечером, и тогда уже опекала нас: кормила, выполняла просьбы... Ни опоздать на службу, ни пропустить день-другой по случаю нашего гощения она не могла, и тут опять открылась мне на миг обратная сторона американского благоденствия: свой дом! две машины! - и однако железная необходимость вкалывать без всяких поблажек.

Видя нашу с женой жадность до впечатлений, Виктор Борисович вписал нас в туристскую группу, совершившую двухдневное путешествие в Вашингтон, - этой поездки я не забуду никогда и по гроб жизни буду Виктору Борисовичу за нее благодарен.

Сам он свозил нас, во-первых, на Брайтон-бич. Легендарный берег был пустынен, вдали маячила группа людей, что-то яростно обсуждавших. Когда они приблизились, я различил слова: "Что ваш Гайдар может! Вот Примаков - это голова!" - "А я вообще думаю, что полезней всех Лужков". "Полезен Доренко, вот его и возьмите" и т.д. - по родимой партитуре.

Во-вторых, Перельман устроил нам подробную экскурсию во Всемирный Торговый Центр. В цокольном этаже одна за другой сменялись свадебные процессии. До сих пор вижу темнокожую невесту, присевшую перед фотокамерой, ее платье, белоснежной пеной на коричневом мраморе пола. Вспомнилось мне это братание снега с шоколадом 11 сентября 2001 года...

В-третьих, наш добрый хозяин организовал два моих выступления в еврейской аудитории, один раз в синагоге, другой - в культурном центре имени Шолом-Алейхема. В этом центре после моей лекции Виктор Борисович выложил на продажу мои книги - я их привез с десятков - выложил по цене, от которой у меня глаза полезли на лоб, настолько она показалась нахально высокой. И вот - одно из моих психологических потрясений: книжки мгновенно разобрали и - потребовали еще! Еще - не было; я не мог объяснить возмущившимся слушателям, что вез тираж журнала, а своих книг - уж сколько поместилось... Я с тоской подсчитывал, что возьми я на десятков-другой больше - окупил бы дорогу... Но сильней этой мысли (изрядно меня сокрушившей) было изумление от того, как американцы требовали у меня книгу: их недоумение прямо-таки выхлестывало в возмущение: "Как это! Мы пришли вас слушать, мы хотим купить вашу книгу, мы выкладываем за нее доллары, а вы говорите, что не привезли!?"

У нас все происходило бы в совершенно иной тональности.

И, конечно, вместе с Виктором Борисовичем мы усердно редактировали материалы в очередной номер журнала. Причем он умилялся скорости, с которой я все это правил, а я тряхнул стариной, вспомнив сорокалетний опыт работы в советской печати, и еще - мне очень хотелось из-под крыши на улицы Леонии: гулять, смотреть... а Виктор Борисович предпочитал втягивать меня в обсуждение журнальных перспектив...

Планы у него были прямо-таки наполеоновские: сделать "Время и мы" лучшим российским журналом, окупить себя, снять офис, перещеголять всех конкурентов в свободе слова, то есть увеличить тираж до...

Я осторожно заземлял эти мечты, говоря о том, что в России теперь совсем другая ситуация, журналов, почувствовавших свободу слова, полно, а вот читателей маловато... Кроме того, я говорил, что надо укрепить московскую редакцию:

я в делах типографских опыта не имею, надо мне найти заместителя, который такой опыт имеет; в качестве кандидата я назвал Перельману единственного опытного издателя, с которым имел дело, - Юрия Кувалдина. Перельман со мной согласился, и Кувалдин был заочно утвержден.

(В Москве, приняв назначение, он взвесил в руке последний номер нашего журнала и произнес фразу, которая поразила меня точностью его практической сметки: "Книжка должна быть тоньше. Чтобы пролезала в щель почтового ящика".

Но это потом...).

Пока же я завершил пребывание в Америке.

В память врезалась картина... Виктор Борисович спускается ко мне с верхнего этажа в цокольный. Вдруг он останавливается и замирает. Я вижу его тоненькую фигуру на лестнице, и какой-то американский фильм всплывает в памяти... кажется, "Лисички" Уайлера... мужской силуэт на лестнице... пауза... пауза... когда же прервется эта пауза, и он сойдет?..

Порядок верстки

Вскоре я понял, что не ошибся, предложив Кувалдина в сотрудники: он не только нашел типографию, где наш тираж печатали и дешевле, и лучше, чем когда это устраивал Перельман, - Кувалдин немедленно организовал что-то вроде постоянно действующей редколлегии (стихами, например, согласился ведать Александр Тимофеевский-старший), и ее заседания стали проходить регулярно.

Естественно, в регулярное издание потекли тексты, проникнутые "отечественным духом". Перельман это дело из Нью-Йорка приветствовал и охотно приплюсовывал наши материалы к своим, проникнутым "духом эмиграции", отводя "отечественным" вторую половину книжки, "в затылок" тем, которые заказывал и готовил сам.

Этот-то порядок и стал поворотным пунктом наших взаимоотношений. И пунктом крутого разворота в моей "карьере" главного редактора.

Верстка очередного номера, сделанная нашим метранпажем по указаниям Перельмана, отчетливо "пахла" диссидентским нравоучительством в адрес России. Меня, помню, уязвила не столько проза, открывавшая номер (она была, что называется, привычно-прилична), сколько подборка каких-то злых и плоских карикатур, высмеивающих наш неизбывный тоталитаризм; венчая журнальную книжку, они делали ее - в купе с прозой и публицистикой - совершенно "нездешней"; наши отечественные материалы оказывались как бы в "эмигрантском мешке". Рассчитывать, что такой журнал пойдет нарасхват в России, было наивно.

У Кувалдина было такое же ощущение, и мы, посоветовавшись с нашей редколлегией, решили: ничего из номера не выкидывая, поменять порядок материалов и открыть журнальную книжку текстами российских авторов, эмигрантов же сдвинуть во второй эшелон.

Совершив композиционную рокировку, мы отправили переверстанный макет Перельману, не подозревая, какую бурную реакцию это вызовет.

Ночной звонок из Америки поднял меня с постели. Голос был настолько изменен яростью, что я не сразу узнал Виктора Борисовича.

- Я не потерплю такого самоуправства! - прокричал он мне через океан. - Вы превышаете ваши полномочия! Я восстанавливаю ту верстку, которую сде-

лал я! А вас с Кувалдиным я понижаю в статусе! Вы больше не главный редактор журнала! Главный редактор - я, а вы отныне - редактор московского филиала...

Дождавшись паузы в этом монологе, я отозвался (боюсь, в том же градусе раздражения, какой был задан):

- Как вы сказали? Филиала?! Если вы убираете меня с поста главного редактора, то я вообще убираюсь из редакции!

В следующую секунду я был потрясен - нет, не существом его ответа, а тем, как мгновенно изменилась его интонация. Виктор Борисович сказал необъяснимо спокойным голосом:

- У нас на Западе так дела не делают, уважаемый Лев Александрович. Раз мы с вами договорились на год, то есть на четыре номера, значит, вы четыре номера должны отредактировать. По-джентльменски.

Должен признаться, что сердце мое дрогнуло именно от его интонации. Редактировать журнал мне больше не хотелось, но, в конце концов, сделать один оставшийся номер было нетрудно: материалов мы с Кувалдиным успели наготовить, а порядок верстки меня больше не волновал.

- Хорошо, - сказал я. - Поступим по-джентльменски. Последний номер я, конечно, доредактирую.

Простились мы, как мне показалось, вполне дружелюбно.

Кувалдин, к моему удивлению, принял новость о нашем смещении с должностей не просто легко, но даже и со смехом. Наконец-то! Вскоре я понял, почему: редакцию нашу он "раскрутил" вовсе не для Перельмана, а для себя. И, мгновенно подхватив дело, стал выпускать в том же формате свой журнал, назвав его: "Наша улица".

Я же, скрепя сердце, дотянул до типографии последний в моей редакторской жизни номер журнала "Время и мы".

Лэйблы

Оборачиваясь на год моего редакторства, я не без сокрушения обнаружил, что более всего мне запомнилась не правка рукописей - к этому делу мне за сорок лет такой работы было не привыкать, - а работа над... конвертами. Дело в том, что В.Б. вменил мне в обязанность рассылку тиража подписчикам, оставив на это деньги и - липучие отрезочки с адресами - "лэйблы"; эти лэйблы я клеил на пакеты и таскал все это на почту, думая: "Вот она, истинная функция главного редактора журнала: почтовый служащий!"

Ничего, освоил.

Увольнение и прощание

В письме, присланном мне "под расчет", В.Б. спросил, как ему лучше меня уволить: тихо, без огласки, или - сообщив читателям, что я снят с редакторства за служебное несоответствие.

После некоторого раздумья я ответил, что предпочитаю второй вариант.

Не знаю, сообщил ли он читателям то, что хотел, - следующие книжки журнала мне уже не попадались; в продаже его я не видел, в библиотеках тоже.

А услышал - пять лет спустя, что в Центральном Доме Литераторов состоится вечер, посвященный юбилею журнала: то ли 25-летней его годовщине, то ли выходу "круглого" (кажется, 150-го) номера.

Приглашение я получил. Собравшись с духом, пошел. С удовольствием прослушал рассказ Перельмана о том, как начиналось это издание и как будет продолжено. Отдал должное неиссякаемой энергии его души. В перерыве подошел к нему. Не уверенный, что беру правильный тон, спросил скорее невпопад, чем наугад:

- Вы из Нью-Йорка?.. Или из Тель-Авива?

- Из Нью-Йорка, - ответил он И, посмотрев на меня смеющимися глазами, прибавил: - А у вас, как всегда, нет времени.

Тут мы облегченно рассмеялись.

Через некоторое время я узнал о его болезни и смерти.

Эпилог

В архиве мужа Анна Абрамовна нашла письмо одного из авторов журнала:

“Я Вам, В.Б., категорически не советую передавать издание журнала кому-либо в Советскую Россию. Авторитетнейшие “Грани” погибли здесь. Знаменитый “Континент” захирел...”

В.Б. не послушался мудрого совета.

В интервью по поводу юбилея своего журнала он заметил:

“Я абсолютно уверен, что даже когда мое имя канет в Лету, журнал “Время и мы” будет жить и останется важным источником познания эпохи”.

И это тоже чистая правда.

Если литература - “наше всё”, то служение Прекрасной Даме реализуется как служение Литературе. Виктор Перельман был по складу характера рыцарь. ВРЕМЯ вышло крутое. МЫ - не всегда на высоте. Но он служил до последнего вздоха.

Приложение

Иммануил Кант

НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЧУВСТВОМ ПРЕКРАСНОГО И ВОЗВЫШЕННОГО

1764

Так как человек чувствует себя счастливым, лишь поскольку он удовлетворяет какую-либо склонность, то чувство, делающее его способным испытывать большее удовольствие, не нуждаясь для этого в исключительных талантах, имеет, конечно, немаловажное значение. Тучные люди, для которых самый остроумный автор - это их повар, чьи изысканные произведения хранятся в их погребе, будут по поводу пошлой непристойности и плоской шулки испытывать такую же пылкую радость, как и та, которой гордятся люди более благородных чувств. Ленивый человек, любящий слушать чтение книги потому, что при этом можно прекрасно заснуть; купец, которому все удовольствия кажутся глупыми, за исключением того, которое делец испытывает, когда он составляет смету своей торговой прибыли; тот, кто любит другой пол лишь в той мере, в какой он причисляет его к предметам, годным для употребления; любитель охоты, охотится ли он за мухами, как Домициан, или за дикими животными... - у всех этих людей есть чувство, делающее их способными наслаждаться каждого на свой лад...

Имеется преимущественно два вида более тонкого чувства, которое мы хотим здесь рассмотреть: чувство возвышенного и чувство прекрасного. Оба чувства возбуждают приятное, но весьма различным образом. Вид гор, снежные вершины которых поднимаются над облаками, изображение неистовой бури или описание ада у Мильтона вызывают удовольствие, связанное, однако, с некоторым страхом. Вид покрытых цветами лугов и долин с бегущими по ним ручьями и пасущимися на них стадами, описание рая или гомеровское изображение женских прелестей также вызывает приятное чувство, но радостное и веселое. (Аполлоническое и дионисическое начала, по Ницше? - ред.) Чтобы первое из упомянутых здесь впечатлений имело надлежащую силу, мы должны обладать чувством возвышенного; для того же, чтобы как следует насладиться вторым, необходимо иметь чувство прекрасного. Высокие дубы и уединенные тени священной рощи возвышенны, цветочные клумбы, низкая изгородь и затейливо стриженные деревья прекрасны. Ночь возвышенна, день прекрасен. Спокойная тишина летнего вечера, когда мерцающий свет звезд пробивается сквозь ночные тени и светит одинокая луна, постепенно вызывает у натур, обладающих чувством

возвышенного, глубокое чувство приязни, презрения к земному, ощущение вечности. Сияющий день внушает деловое рвение и чувство веселья. Возвышенное волнует, прекрасное привлекает.

Возвышенное всегда должно быть значительным, прекрасное может быть и малым. Возвышенное должно быть простым, прекрасное может быть нарядным и изысканным. Большая высота вызывает чувство возвышенного, как и большая глубина, однако чувство, вызываемое такой глубиной, сопровождается ощущением ужаса... ("Страх высоты в себе преодолей, тогда умрут и остальные страхи" - кто-то из Рерихов. - ред.)

Ум возвышен, остроумие прекрасно. Смелость возвышенна и величественна, хитрость ничтожна, но красива. Осторожность, говорил Кромвель, есть добродетель бургомистра. Правдивость и честность просты и благородны, шутка и угодливая лесть тонки и красивы. Уচিতность - украшение добродетели. Бескорыстное служебное рвение благородно, утонченность и вежливость прекрасны. Возвышенные свойства внушают уважение, прекрасные же - любовь. Люди, чувство которых обращено преимущественно на прекрасное, ищут себе честных, верных и серьезных друзей только в несчастье, для повседневного же общения они избирают себе шутивого, учтвого и вежливого собеседника. Некоторых людей ценят слишком высоко, чтобы их можно было любить. Они внушают нам удивление, но настолько превосходят нас, что мы не решаемся приблизиться к ним с истинным чувством любви.

Для дружбы характерно главным образом возвышенное, для любви же между мужчиной и женщиной - прекрасное. Однако нежность и глубокое уважение придают этой любви известное достоинство и возвышенность, а забавная шутка и интимность усиливают в этом чувстве колорит прекрасного. Трагедия, на мой взгляд, отличается от комедии главным образом тем, что первая возбуждает чувство возвышенного, а вторая - чувство прекрасного. В первой перед нами выступает великодушное самопожертвование для блага других, отважная решимость в опасностях и испытанная верность. Любовь там печальна, нежна и исполнена глубокого уважения, несчастье же других пробуждает в душе у зрителя сочувствие, чужое горе заставляет сильнее биться великодушное сердце. Зритель тронут и ощущает благородство своей собственной природы. Комедия, напротив, изображает тонкие интриги, забавную неразбериху, остряков, умеющих выпутаться из всякого положения, глупцов, позволяющих себя обманывать, шутки и смешные характеры. Тем не менее, и здесь, так же как в других случаях, благородное может в известной мере сочетаться с прекрасным.

Облик тех, кто нравится своей внешностью, затрагивает то одно, то другое из названных чувств. Так, высокий рост обращает на себя внимание и внушает уважение, маленький рост располагает больше к непринужденности. Смугловатое лицо и черные глаза ближе к возвышенному, голубые глаза и светлые волосы - к прекрасному. Более почтенный возраст сочетается со свойствами возвышенного, молодость же - со свойствами прекрасного. Так же обстоит дело и с различиями по сословиям, и во всех этих только что упомянутых случаях даже вид одежды должен соответствовать этому различию чувств. Люди высокого роста, заметные должны соблюдать в своей одежде простоту или - самое большее - изысканность, люди маленького роста могут быть нарядными и разукрашенными. Солидному возрасту подобают более темные цвета и однообразие одежды. Молодость любит выделяться более светлой и яркой одеждой. Люди из различных сословий при одинаковом имущественном положении и ранге должны одеваться по-разному: духовное лицо - с наибольшей простотой, государственный муж - с наибольшей изысканностью. Любовник может наряжаться, как ему заблагорассудится.

В человеческой природе никогда не бывает достойных качеств, отклонения от которых не переходили бы через бесконечные оттенки в самые крайние несовершенства.

Готовность подвергнуться опасности ради нас самих, ради нашего отечества и наших друзей - такая отвага возвышенна. Крестовые походы, старое рыцарство были авантюры;

дуэли, жалкий остаток их, основанный на превратном представлении о чести, суть гримасы. Грустное отрешение от мирской суеты из-за понятного пресыщения [ею] благородно. Отшельническая набожность древних пустынников была причудлива. Монастыри и другие подобного рода склепы для заточения в них живых святых - это гримасы. Укрощение страстей ради принципов возвышенно. Умерщвление плоти, обеты и другие монашеские добродетели суть гримасы. Мощи, священное дерево и всякого рода подобный хлам, в том числе и священные испражнения великого ламы Тибета - все это гримасы.

С другой стороны, и философия немало извращается пустыми мудрствованиями, и видимость основательности не мешает тому, чтобы четыре силлогистические фигуры по праву рассматривать просто как ученые гримасы.

...Истинная добродетель может опираться только на принципы, и, чем более общими они будут, тем возвышеннее и благороднее становится добродетель. Эти принципы не умозрительные правила, а осознание чувства, живущего в каждой человеческой душе и простирающегося не только на особые основания сострадания и услужливости, но гораздо дальше. Мне кажется, что я выражу все, если скажу, что это есть чувство красоты и чувство достоинства человеческой природы. Первое есть основание всеобщего благорасположения, второе - основание всеобщего уважения... ("Красота спасет мир" /от всеобщей войны?/ - ред.)

Если общим основанием всей совокупности наших поступков становятся сокровенное чувство красоты и достоинства человеческой природы, равно как и самообладание и сила духа, то это есть нечто серьезное и не вяжется, конечно, с ветреной веселостью или непостоянством легкомысленного человека. Такое чувство будет даже ближе к нежному благородному чувству грусти, если только эта грусть основывается на том страхе, который испытывает ограниченная душа, когда она, исполненная великих замыслов, видит предстоящие ей опасности и перед ней встает трудное, но великое усилие над самой собой.

Какими бы ни были те утонченные чувства, о которых мы до сих пор говорили, будут ли они чувствами возвышенного или прекрасного, они имеют между собой то общее, что в суждении тех, кто не расположен к чувству возвышенного или прекрасного, они всегда представляются извращенными и нелепыми. Человек спокойный и преисполненный корыстолюбивых устремлений вообще не имеет, так сказать, органов для восприятия благородных черт в стихотворении или добродетели героя... Точно также лицам несколько более серьезного склада кажется пошлым то, что других привлекает, и веселая наивность пасторали кажется им нелепой и ребяческой... При [наблюдении] неморальных явлений нам представляется возможность подметить кое-что в чувстве другого человека, и это дает нам основание с довольно значительной степенью вероятности сделать вывод также и о более высоких свойствах его характера, и даже о свойствах его души. Тот, кто скучает, слушая прекрасную музыку, дает немало оснований предполагать, что красоты стилиа и нежные очарования любви будут не власты над ним.

Существует какая-то любовь к безделушкам, свидетельствующая о некотором тонком чувстве, но обращенном как раз на то, что противоположно возвышенному. [Сюда относятся]: вкус к чему-то такому, что требует большого искусства и труда; стихи, которые можно читать слева направо и наоборот, загадки, часы в кольцах, очень тонкие цепочки и т. п. Вкус ко всему, что точно вымерено, педантично расположено по полочкам, хотя и без всякой пользы, например, книги, со вкусом и скрупулезностью подобранные в длинные ряды, стоящие в книжных шкафах, и пустая голова, которая глядит на них и не нарадуется; комнаты, разукрашенные наподобие калейдоскопов и необычно чисто вымытые, и тут же негостеприимный и ворчливый хозяин, в них обитающий. Вкус ко всему, что редко, как бы малоценно ни было оно во всех других отношениях: лампа Эпиктета, перчатка короля Карла XII, в известной мере также страсть к собиранию монет. Таких лиц можно не без основания подозревать в том, что в области наук они окажутся кропотливыми и чудаками, а в сфере нравственности - бесчувственными ко всему, что без принуждения прекрасно и благородно.

Принято считать полезным только то, что удовлетворяет нашим более грубым чувствам, что может дать нам вдоволь еды и питья, великолепную одежду и домашнюю утварь, а также щедрые пиры, хотя я не вижу, почему бы и все, чего вообще так горячо желают, не отнести к числу полезных вещей. Но как бы то ни было, с теми, кто находится во власти своекорыстия, с этой точки зрения никогда не следует рассуждать о вещах более тонкого вкуса. В этом отношении курица, конечно, лучше попугая, печной горшок полезнее фарфоровой посуды, все пронизательные умы мира ничего не стоят по сравнению с крестьянином, а что касается попытки определить расстояние до неподвижных звезд, то с этим можно повременить, пока не придут к согласию, как лучше всего пахать плугом.

Когда я наблюдаю у людей то благородные, то слабые стороны, я упрекаю самого себя в том, что не в силах найти точку зрения, с которой эти бьющие в глаза различия раскрывали бы перед нами великую картину всей человеческой природы в волнующем нас виде. [...] Все же, бросая на это беглый взгляд, можно, я полагаю, заметить следующее. Людей, поступающих согласно принципам, совсем немного (как мало хороших принципов! - ред.), что, впрочем, очень хорошо, так как легко может случиться, что в этих принципах окажется ошибка, и тогда вред, отсюда проистекающий, распространяется тем дальше, чем более общим будет принцип и чем более непреклонным лицо, которое им руководствуется. Людей, действующих из добрых побуждений, гораздо больше, и это превосходно, хотя и нельзя каждый отдельный поступок ставить в особую заслугу данному лицу. [...] Тех, кто неизменно имеет перед глазами свое любимое Я как единственную точку приложения своих усилий и добивается того, чтобы все вращалось вокруг своекорыстия как великой оси, - таких людей имеется всего больше. Нет ничего более полезного, чем данное обстоятельство; ведь эти люди наиболее усердны, наиболее аккуратны и осмотрительны. Всему они, сами того не желая, придают прочность и постоянство; тем самым они служат общей пользе, вызывая к жизни необходимые потребности и создавая ту основу, на которой более благородные души способствуют распространению красоты и гармонии.

Тот, кто первый назвал женщин прекрасным полом, хотел, может быть, сказать этим нечто лестное для них, но на самом деле он выразил нечто большее, чем сам предполагал... В самом душевном строе прекрасного пола, прежде всего, заложены своеобразные черты, явственно отличающие его от нашего пола и отмеченные главным образом печатью прекрасного. Мы же могли бы притязать на звание благородного пола, если бы от благородно души не требовалось, чтобы она отклоняла почетные звания и охотнее наделяла ими других, чем получала сама. Все сказанное не следует, однако, понимать в том смысле, будто женщина лишена благородных свойств или что мужской пол лишен красоты; напротив, можно полагать, что каждый пол сочетает в себе и то и другое, однако у женщины все другие достоинства соединяются лишь для усиления в ней характера прекрасного, с чем, собственно, соотносится все, тогда как среди мужских свойств возвышенное отчетливо выделяется как отличительный признак пола.

У женщины более сильна природная склонность ко всему красивому, изящному и нарядному. Уже в детстве женщины с большой охотой наряжаются и находят удовольствие в украшениях. Они чистоплотны и очень чувствительны ко всему, что вызывает отвращение. Они любят шутку, и, если только у них хорошее настроение, их можно позабавить безделушками. Очень рано они приобретают благовидный вид {имидж}, умеют держать себя и владеют собой; и все это в таком возрасте, когда наша благовоспитанная мужская молодежь еще необузданна, неуклюжа и застенчива. Женщины очень участливы, добросердечны и сострадательны, прекрасное они предпочитают полезному, и то, что у них остается от домашних расходов, они охотно откладывают, чтобы тратить больше на внешний блеск и наряды. Они чрезвычайно чувствительны к самому пустячному оскорблению и очень тонко подмечают малейшее невнимание и неуважение к себе. Одним словом, благодаря женщинам можно отличать в человечес-

кой природе прекрасные свойства от благородных; женщины даже мужской пол делают более утонченным.

У прекрасного пола столько же ума, сколько у мужского пола, с той лишь разницей, что это прекрасный ум, наш же, мужской, - глубокий ум, а это лишь другое выражение для возвышенного.

Красота поступка состоит прежде всего в том, что его совершают легко и как бы без всякого напряжения; усилия и преодоленные трудности вызывают восхищение и относятся к возвышенному. Раздумье и долгое размышление благородны, но трудны и не особенно подходят для лиц, у которых естественная прелесть должна свидетельствовать лишь о прекрасной природе. Трудное учение или слишком отвлеченные рассуждения сводят на нет достоинства, присущие женскому полу. Хотя они и способны ввиду их редкости сделать женщину предметом бесстрастного удивления, но они уменьшают силу тех прелестей, благодаря которым женщины имеют такую большую власть над другим полом. Женщине... которая... ведет ученый спор о механике, не хватает для этого только бороды - борода, быть может, еще отчетливее выразила бы глубокомыслие, приобрести которое стремятся такие женщины.

Содержание великой науки женщины - скорее всего человек, а среди людей - мужчина. Ее философия не умствования, а чувство. Если речь идет о том, чтобы дать женщинам возможность развить свою прекрасную природу, то всегда нужно иметь перед глазами это важнейшее обстоятельство. Надо стремиться развить все их моральное чувство в целом, а не их память, и притом не посредством общих правил, а с помощью суждений о том, что происходит вокруг них. Недопустимо бесстрастное и умозрительное обучение, больше переживаний и притом тех, что близки ее полу. Такое обучение столь редко потому, что оно требует таланта, опыта и добрейшего сердца. Без всякого же другого обучения женщина прекрасно может обойтись, ведь даже без упомянутого обучения она обычно сама очень хорошо развивается.

Добротель женщины есть прекрасная добротель. Добротель мужского пола есть добротель благородная. Женщины избегают дурного не потому, что оно несправедливо, а потому, что оно безобразно, и добротельными для них будут поступки нравственно прекрасные. Никакого "должно", никакого "надо", никакой обязанности, никаких приказаний, никакого сурового принуждения женщина не потерпит. (?) Она делает что-то только потому, что так ей нравится; поэтому главное (для ее воспитателя) - уметь сделать так, чтобы ей нравилось только то, что хорошо. Я не думаю, чтобы прекрасный пол руководствовался принципами, и надеюсь при этом не оскорбляю его, ведь принципы чрезвычайно редко встречаются и у мужского пола. Зато провидение вселило в сердца женщин чувства доброты и благожелательства, дало им тонкое чувство приличия и благосклонность. Не следует требовать от них жертв и великодушного самоограничения.

Красному ничто не противно в такой мере, как то, что вызывает отвращение, и ничто столь далеко от возвышенного, как смешное. Поэтому для мужчины {брахмана} нет ничего более обидного, чем обозвать его глупцом, а для женщины - сказать, что она безобразна.

Так как, однако, влечение к другому полу, как бы мы ни хотели обойти молчанием эту тайну, в конце концов, все же представляет собой основу всех других возбуждений и женщины всегда именно как женщина служит приятным предлогом благовоспитанных бесед, то этим, пожалуй, объясняется, почему мужчины, вообще-то говоря благонравные, иногда позволяют себе легкомысленной игривостью своих шуток высказать тонкие намеки, которые можно назвать вольными или плутовскими.

Природа преследует свою великую цель, и все сопутствующие тонкости, какими бы далекими от нее они ни казались, суть только украшения (не всегда и не у всех), и свою привлекательность они в конце концов заимствуют из того же источника. Мужчин со здоровым и грубоватым вкусом, всегда находящихся во власти этого влечения, мало трогают грациозность, прекрасные черты лица, глаза женщины и т. п. {вот и получают копытом во время случ-

ки), поскольку главное для них, собственно говоря, пол, они в большинстве случаев видят в этих тонкостях лишь пустое кокетство.

Если это вкус и не утонченный, то пренебрегать им из-за этого все же нельзя. Ведь благодаря ему большая часть людей следует великому закону природы весьма простым и верным способом. Он приводит к большинству браков, и притом среди самой трудолюбивой части человеческого рода, и поскольку мужа не занимают очаровательное личико, томные взгляды, благородная осанка и т. п., да ничего он во всем этом и не смыслит, то тем больше обращает он внимания на домашние добродетели, бережливость и т. д. и т. п., а также на приданное.

Совершенно простое, грубое половое влечение, правда, ведет самым прямым путем к великой цели природы (по крайней мере, количественно); выполняя ее требования, оно способно сразу сделать данное лицо счастливым, однако, становясь слишком обыденным, оно легко приводит к разврату и беспутству. С другой стороны, изощренный вкус служит, правда, для того, чтобы лишить пылкую страсть ее грубой чувственности (вернее, неразборчивости) и, сильно ограничивая число ее объектов, сделать ее сдержанной и благоприличной. Однако эта страсть обычно не достигает великой конечной цели природы, и так как она требует или ожидает большего, чем то, что природа обычно дает, то она, как правило, лишь весьма редко делает счастливым лицо со столь деликатными ощущениями. Люди первого типа становятся грубыми, потому что имеют в виду всех представителей другого пола; люди второго типа становятся мечтательными, поскольку они не имеют в виду, собственно говоря, ни одного из них; у них один лишь объект - тот, который влюбленность создает себе в мыслях, наделяя его всеми благородными и прекрасными свойствами, которые природа редко совмещает в одном человеке и еще реже сообщает их тому, кто может их оценить и, вероятно, был бы достоин обладать ими.

...Цель природы - еще больше облагородить мужчину через влечение к другому полу, а женщину через него же сделать еще более прекрасной. Женщину мало смущает то, что у нее нет некоторых высоких понятий, что она пуглива и не предназначена для важных дел и т. д.; она прекрасна и пленяет - этого достаточно. Напротив, от мужчины она требует всех этих качеств, и возвышенность ее души в том только и проявляется, что она умеет ценить эти благородные качества, если только они имеются у мужчины. Иначе, как было бы возможно, что столько мужчин с безобразной наружностью, хотя и с достоинствами, могли получить себе в жены таких милых и хорошеньких женщин! Мужчина, напротив, гораздо требовательнее к прекрасным свойствам женщины. Ее миловидность, веселая наивность и чарующая приветливость достаточно вознаграждают его за отсутствие у нее книжной учености и за другие недостатки, которые он должен возместить своими собственными талантами.

Уже раньше замечали, что общение с прекрасным полом делает нрав мужчин более мягким, их поведение - более благопристойным и тонким, а их манеры - более изящными; однако это только второстепенная польза. [Но даже эта польза весьма умалывается наблюдением, что мужчины, которые слишком рано и слишком часто приобщаются к таким компаниям, где женщина задает тон, обычно становятся несколько пошлыми и в среде мужчин скучными или даже вызывающими к себе презрение, так как они утратили вкус к такому препровождению времени, которое, правда, должно быть веселым, но имеющим и некоторое настоящее содержание, допускающим шутку, но и полезным благодаря серьезным беседам. - И. К.] Самое важное, чтобы муж становился все совершеннее как мужчина, а жена - как женщина, т. е. чтобы мотивы влечения их друг к другу действовали согласно предписанию природы сделать одного более благородным, а качества другой - еще более прекрасными. Если все это дойдет до крайней степени, то мужчина, гордый своими достоинствами, будет вправе сказать: "Хотя вы меня и не любите, я заставлю вас глубоко уважать меня". А женщина, уверенная в силе своих чар, ответит ему: "Хотя в глубине души вы и не це-

ните нас высоко, мы, однако, все же заставим вас любить нас". Порой за неимением таких принципов мужчины, чтобы понравиться, усваивают женские слабости, а женщины иногда (хотя и гораздо реже) подражают мужским манерам, дабы внушить к себе глубокое уважение; но то, что делают против природы, делают всегда очень плохо.

В брачной жизни супруги должны образовывать как бы одну нравственную личность, движимую и управляемую рассудком мужа и вкусом жены.

Древние греки и римляне, несомненно, обладали подлинным чувством прекрасного и возвышенного, о чем свидетельствуют их поэзия, скульптура, архитектура, законодательство и даже нравы. Правление римских императоров превратило эту столь же благородную, сколь и прекрасную простоту в пышность, а затем и ложный блеск... Постепенно вместе с полным упадком государства угас и этот остаток утонченного вкуса. Варвары же, укрепив свою власть, ввели собственный извращенный вкус, называемый готическим и сводившийся к гримасам. Эти гримасы проявлялись не только в архитектуре, но и в науках и в других областях. Извращенное чувство, раз подвергшись действию ложного искусства, принимало затем любую неестественную форму - только не древнюю простоту природы - и приводило либо к преувеличениям, либо к нелепостям. Высший взлет человеческого гения к возвышенному состоял в это время в причудливом. Стали появляться духовные и светские искатели приключений и нередко даже отталкивающая и чудовищная их повесть. Монахи с требином в одной руке и боевым знаменем в другой, за которыми следовали целые толпы обманутых жертв, чтобы кости их могли быть зарыты в чужих странах и в более священной земле, воины, торжественными обетами освященные к совершению насилий и злодеяний, и за всем этим - диковинная порода героических сумасбродов, называвших себя рыцарями и искавших приключения, турниры, поединки и романтические подвиги. Религия вместе с науками и нравами была извращена в это время жалкими гримасами. Следует заметить, что вкус обычно вырождается не только в одной области: он обнаруживает явные признаки порчи и во всем другом, что касается более тонкого чувства. Монашеские обеты создали из множества полезных людей многочисленное общество ярых бездельников (скорее они сами создали эти обеты), чьи бесплодные умствования сделали их способными к измышлению тысяч схоластических гримас, которые оттуда широко распространялись.

Среди народов нашей части света именно итальянцы и французы, по моему мнению, более всего отличаются чувством прекрасного, немцы же, англичане и испанцы - чувством возвышенного.

Гений итальянцев проявился преимущественно в музыке, живописи, ваянии и зодчестве. Такой же тонкий вкус ко всем этим прекрасным искусствам имеют и французы, хотя во Франции красота их уже менее трогает. Вкус к поэтическому и ораторскому совершенству кажется здесь в большей мере прекрасного, а Англии - возвышенного. Тонкие шутки, комедия, веселая сатира, любовный флирт, легкий и плавный стиль - все это оригинально во Франции. В Англии, напротив, - глубокие мысли, трагедия, эпические поэмы и вообще массивное золото остроумия, которое под французским молотком превращается в тонкие листки большой поверхности.

Честь для француза - это тщеславие, для испанца - высокомерие, для англичанина - гордость, для немца - надменность, а для голландца - чванливость.

В любви немец и англичанин не очень прихотливы, у них есть некоторая тонкость в восприятии, но скорее их вкус здоровый и грубоватый; в том, что касается любви, итальянец мечтатель, испанец склонен к фантастическому, француз сластолюбив.

Религия в нашей части света не дело своенравного вкуса, а имеет более достойное происхождение (крестят всех и с младенчества). Поэтому только чрезмерности и то, что в ней собственно человеческого, могут служить признаком различных национальных свойств. Эти чрезмерности я подвожу под следующие понятия: легковерие, суеверие, фанатизм, индиф-

Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного

ферентность. Легковерна в большинстве случаев невежественная часть каждой нации... Убеждения ее складываются на основе слухов и мнимых авторитетов; никакое более или менее тонкое чувство не является здесь побудительной причиной. Примером в этом отношении могут служить целые народы на севере. Легковерный человек, склонный к причудливому, становится суеверным. [...] Человек суеверный охотно ставит между собой и высшими предметами своего преклонения некоторых могущественных и необыкновенных людей - так сказать, исполинов святости, - которым повинуетя природа... Испанцу все естественное кажется низким и он полагает, что вызвать в нем возвышенное чувство может только нечто необыкновенное. Фанатизм представляет собой, так сказать, благоговейное безрассудство; его порождает какая-то гордость и слишком большое доверие к самому себе, дабы стать ближе к небесным существам и в поразительном полете вознестись над обычным и установленным порядком. Фанатик разглагольствует только о непосредственном вдохновении и созерцательной жизни, между тем как суеверный человек дает обеты пред образами великих святых-чудотворцев и уповает на воображаемое и неподражаемое превосходство других лиц над его собственной природой. Даже чрезмерности несут на себе, как мы заметили выше, признаки национального чувства, и в этом смысле фанатизм, по крайней мере, встречавшийся в былые времена чаще всего в Германии и Англии, представляет собой как бы неестественный нарост на благородном чувстве, присущем характеру этих народов. [...] Наконец, тщеславный и легкомысленный человек никогда не имеет сильного чувства возвышенного, и религия не трогает его, по большей части она для него только дело моды, которой он следует со всей старательностью, оставаясь равнодушным. Таков практический индифферентизм, к которому особенно склонен, по-видимому, национальный дух французов...

Максимилиан Волошин
ПУТЯМИ КАИНА
Трагедия материальной культуры

МЯТЕЖ

1
В начале был мятеж,
Мятеж был против Бога,
И Бог был мятежом.
И всё, что есть, началось чрез мятеж.

2
Из вихрей и противоборств возник
Мир осязаемых
И стойких равновесий.
И равновесье стало веществом.
Но этот мир, разумный и жестокий,
Был обречен природой на распад.

3
Чтобы не дать материи изникнуть,
В нее впился сплавляющий огонь.
Он тлеет в "Я", и вещество не может
Его объять собой и задушить.
Огонь есть жизнь.
И в каждой точке мира
Дыхание, биенье и горенье.
Не жизнь и смерть, но смерть и воскресенье -
Творящий ритм мятежного огня.

4
Мир - лестница, по ступеням которой
Шел человек.
Мы осязаем то,
Что он оставил на своей дороге.
Животные и звезды - шлаки плоти,
Перегоревшей в творческом огне:
Все в свой черед служили человеку
Подножием,
И каждая ступень
Была восстаньем творческого духа.

5
Лишь два пути раскрыты для существ,
Застигнутых в капканах равновесья:
Путь мятежа и путь приспособленья.
Мятеж - безумие;
Законы природы - неизменны.
Но в борьбе за правду невозможного
Безумец -
Пресуществляет самого себя,
А приспособившийся замирает
На пройденной ступени.
Зверь приноровлен к склонениям природы,
А человек упорно выгребает
Противу водопада, что несет
Вселенную
Обратно в древний хаос.
Он утверждает Бога мятежом,
Творит неверьем, строит отрицаньем,
Он зодчий,
И его ваяло - смерть,
А глина - вихри собственного духа.

6
Когда-то темный и косматый зверь,
Сойдя с ума, очнулся человеком -
Опаснейшим и злейшим из зверей -
Безумным логикой
И одержимым верой.

Пути Каина

Разум
Есть творчество наизусть. И он
Вспял исследил все звенья мироздания,
Разъял вселенную на вес и на число,
Пророс сознанием до недр природы,
Вник в вещество, впился, как паразит,
В хребет земли неугасимой болью,
К запретным тайнам подобрал ключи,
Освободил заклепанных титанов,
Построил им железные тела,
Запряг в неимоверную работу:
Преобразил весь мир, но не себя,
И стал рабом своих же гнусных тварей.

7

Настало время новых мятежей
И катастроф: падений и безумий.
Благоразумным:
"Возвратитесь в стадо",
Мятежнику:
"Пересоздай себя".

25 января 1923
Коктебель

ОГОНЬ

1

Плоть человека - свиток, на котором
Отмечены все даты бытия.

2

Как вехи, оставляя по дороге
Отставших братьев:
Птиц, зверей и рыб,
Путем огня он шел через природу.
Кровь - первый знак земного мятежа,
А знак второй -
Раздутый ветром факел.

3

В начале был единый Океан,
Дымившийся на раскаленном ложе.
И в этом жарком лоне завязался
Неразрешимый узел жизни: плоть,
Пронзенная дыханьем и биением.
Планета стыла.
Жизни разгорались.
Наш пращур, что из охлажденных вод
Свой рыбий остов выволок на землю,
В себе унес весь древний Океан
С дыханием приливов и отливов,
С первичной теплотой и солью вод -
Живую кровь, струящуюся в жилах.

4

Чудовищные твари размножились
На отменях.
Взыскательный ваятель
Смывал с лица земли и вновь творил
Обличия и формы.
Человек
Невидим был среди земного стада.
Сползая с полюсов, сплошные льды
Стеснили жизнь, кишевшую в долинах.

Тогда огонь зажженного костра
Оповестил зверей о человеке.

5
Есть два огня: ручной огонь жилища,
Огонь камина, кухни и плиты,
Огонь лампад и жертвоприношений,
Кузнечных горнов, топков и печей,
Огонь сердец - невидимый и темный,
Зажженный в недрах от подземных лав..
И есть огонь поджогов и пожаров,
Степных костров, кочевий, маяков,
Огонь, лизавший ведьм и колдунов,
Огонь вождей, алхимиков, пророков,
Неистовое пламя мятежей,
Неукротимый факел Прометея,
Зажженный им от громовой стрелы.

6
Костер из зверя выжег человека
И сплавил кровью первую семью.
И женщина - блюстительница пепла
Из древней самки выявила лики
Сестры и матери,
Весталки и блудницы.
С тех пор, как Агни рдяное гнездо
Свил в пепле очага, -
Пещера стала храмом,
Трапеза - таинством,
Огнище - алтарем,
Домашний обиход - богослуженьем.
И человечество питалось
И плодилось
Пред оком грозного
Взыскующего Бога,
А в очаге отстаивались славы
Из серебра, из золота, из бронзы:
Гражданский строй, религия, семья.

7
Тысячелетья огненной культуры
Прошли с тех пор, как первый человек
Построил кровлю над гнездом Жар-птицы,
И под напевы огненных Ригвед
Праманта - пестик в деревянной лунке,
Вращавшийся на жильной тетиве,
Стал знаком своеволья -
Прометеем.
И человек сознал себя огнем,
Заклепанным в темнице тесной плоти.

26 января 1923
Коктебель

МАГИЯ

1
На отмени незнаемого моря
Синбад-скиталец подобрал бутылку,
Заклепанную
Соломоновой печатью,
И, вскрыв ее, внезапно впал во власть
В ней замкнутого яростного Джина.
Освободить и разнудать не трудно
Неведомые дремлющие воли:
Трудней заставить их себе повиноваться.

2
Когда непробужденный человек
Еще сосал от сна благой природы
И радужные грезы застлали
Видения дневного мира, пахарь
Зажмуривал глаза, чтоб не увидеть

Пути Каина

Перебегающего поле фавна,
А на дорогах легче было встретить
Бога, чем человека,
И пастух,
Прислушиваясь к шумам, различал
В дыхании ветра чей-то вещей голос,
Когда, разъятые
Потом сознанием, силы
Ему являлись в подлинных обличьях
И он вступал в борьбу и в договоры
С живыми волями, что раздвигали
Его очаг, вращали колесо,
Целили плоть, указывали воду, -
Тогда он знал, как можно приневолить
Себе служить Ундин и Саламандр,
И сам в себе старался одолеть
Их слабости и страсти.

3
Но потом,
Когда от довременных снов
Очнулся он к скупому дню, ослеп
От солнечного света и утратил
Дар ясновиденья
И начал, как дитя,
Ощупывать и взвешивать природу,
Когда пред ним стихии разложились
На вес и на число, - он позабыл,
Что в обезвоженной природе живы
Всё те же силы, что овладевают
И волей и страстями человека.

4
А между тем в преображенном мире
Они живут.
И жадные Кобольды
Сплавляют сталь и охраняют руды.
Гнев Саламандр пылает в жарких топках,
В живом луче танцующие Эльфы
Скользят по проводкам
И мчатся в звонких токах;
Бесы пустынь, самумов, ураганов
Ликуют в вихрях взрывов,
Дремят в минах
И сотрясают моторы машин;
Ундины рек и Никсы водопадов
Работают в турбинах и котлах.

5
Но человек не различает лики,
Когда-то столь знакомые, и мыслит
Себя единственным владыкою стихий:
Не видит, что на рынках и базарах,
За призрачностью биржевой игры,
Меж духами стихий и человеком
Не угасает тот же древний спор:
Что человек, освобождая силы
Извечных равновесий вещества,
Сам делается в их руках игрушкой.

6
Поэтому за каждым новым
Разоблачением природы ждут
Тысячелетия рабства и насилий,
И жизнь нас учит, как слепых щенят,
И тычет носом долго и упорно
В кровавую расплзшуюся жижу,
Покамест ненависть врага к врагу
Не сменится взаимным уважением,
Равным силе,
Когда-то сдвинутой с устоев человеком.
Каждой ступени в области познания
Ответствует такая же ступень
Самоотказа:
Воля вещества
Должна уравновеситься любовью.

Максимилиан Волошин

И магия:
Искусство подчинять
Духовной воле косную природу.

7
Но люди неразумны. Потому
Законы жизни вписаны не в книгах,
А выкованы в дулах и клинках,
В орудьях истребления и машинах.

30 января 1923
Коктебель

КУЛАК

1
Из кулака родилось братство:
Каин первый
Нашел пристойный жест для выраженья
Родственного чувства, предвосхитив
Слова иных времен: "Враги нам близкие,
И тот, кто не оставит
Отца и мать, тот не пойдет за мной".
Он понял истину, что первый встречный
Нам больше брат, чем близкие по крови.

2
Он - первый земледелец - ненавидел
Кровь жертвенных животных и принес
Плоды и колос вспаханного поля
В дар Богу,
Жаждавшему испарений крови.
Но был отвергнут его бескровный дар,
И он убил кочевника,
Топтавшего посевы.
"А эта кровь - тебе угодна, Ягве?"
И прочь ушел с пылающим клеймом:
"Отметится всемеро тому, кто тронет
Отныне Каина".

3
Порвавши узы кровного родства,
Он понял хмель одиночества
И горький дух свободы.
Строитель городов - построил первый тюрьмы;
Ковач металлов -
Сковал он первый плуг, топор и нож;
Создатель музыки, -
Прислушиваясь к ветру,
Он вырезал свирель
И натянул струну;
Ловец зверей - он на стенах пещеры
Обвел резцом
Виденья разгоряченных снов:
Бизонов, мамонтов, кабанов и оленей.

4
Так стал он предком всех убийц,
Преступников, пророков - зачинатель
Ремесл, искусств, наук и ересей.

5
Кулак - горсть пальцев, пясть руки,
Сжимающая сручье иль оружие, -
Вот сила Каина.

6
В кулачном праве выросли законы
Прекрасные и кроткие в сравненьи
С законом пороха и правом пулемета.
Их равенство - в предельном напряжени
Свободных мускулов,

Пути Каина

Свобода - в равновесии
Звериной мощи с силами природы.

7

Когда из пламени народных мятежей
Взвивается кровавый стяг с девизом:
"Свобода, братство, равенство или смерть" -
Его древко зажато в кулаке
Твоем, первоубийца Каин.

11 марта 1922

Феодосия

МЕЧ

1

Меч создал справедливость.

2

Насильем скованный,
Отточенный для мщенья, -
Он вместе с кровью напитался духом
Святых и праведников,
Им усекновенных.
И стала рукоять его ковчегом
Для их мощей.
(Эфес поднять до губ -
Доньше жест военного салюта).
И в этом меч сподобился кресту -
Позорному столбу, который стал
Священнейшим из символов любви.

3

На справедливой стали проступили
Слова молитв и заповеди долга:
"Марии - Деве милосердной - слава",
"Не обнажай меня без нужды,
Не вкладывай в ножны без чести",
"In te, o Domine, speravi!"*
Восклицают средневековые клинки.
Меч сосвятился во время
Литургии,
Меч нарекался в таинстве крещенья.
Их имена "Отклер" и "Дюрандаль"
Сверкают, как удар.
И в описях оружия
К иным прибавлено рукой писца:
"Он - фея".

* "На тебя, Боже, уповаю!" (лат.). - Ред.

4

Так из грабителя больших дорог
Меч создал рыцаря
И оковал железом
Его лицо и плоть его; а дух
Провел сквозь пламя посвященья,
Запечатывая в зрящем сердце меч,
Пылающий в деснице Серафима:
Символ земной любви,
Карающей и мстящей,
Мир рассекающий на "Да" и "Нет",
На зло и на добро,
"Si! Si! - No! No!"*,
Как утверждает Сидов меч "Тисона".

* "Да! Да! - Нет! Нет!" (исп.). - Ред.

5

Когда же в мир пришли иные силы
И вновь преобразили человека,
Меч не погиб, но расщепился в дух:
Защитницею чести стала шпага

Максимилиан Волошин

(Ланцет для воспаленных самолюбий),
А меч -
Вершителем судебных приговоров.
Но, обещанный,
Он для толпы остался
Оракулом
И врачевателем болезней;
И палачи, собравшись, хоронили
В лесах Германии
Усталые мечи,
Которые отсекли
Девяносто девять.

6
Казнь реформировал
Хирург и филантроп,
И меч был вытеснен
Машинным производством,
Введенным в область смерти, и с тех пор
Он стал характером,
Учением, доктриной:
Сен-Жюстом, Робеспьером, гильотиной -
Антиномией Кантова ума.

7
О, правосудие,
Держащее в руках
Весы и меч! Не ты ль его кидало
На чаши мира: "Горе побежденным!"?
Не веривший ли в справедливость
Приходил
К сознанию, что надо уничтожить
Для торжества ее
Сначала всех людей?
Не справедливость ли была всегда
Таблицей умноженья, на которой
Труп множили на труп,
Убийство на убийство
И зло на зло?
Не тот ли, кто принес "Не мир, а меч",
В нас вдунул огонь, который
Язвит и жжет, и будет жечь наш дух,
Доколе каждый
Таинственного слова не постигнет:
"Отмщенье Мне и Аз воздам за зло".

*1 февраля 1922
Феодосия*

ПОРОХ

1
Права гражданские писал кулак,
Меч - право государственное, порох
Их стер и создал воинский устав.

2
На вызов, обращенный не к нему,
Со дна реторт преступного монаха
Порох
Явил свой дымный лик и разметал
Доспехи рыцарей,
Как ржавое железо.

3
"Несчастные, тащите меч на кузню
И на плечо берите аркебузы:
Честь, сила, мужество - бессмысленны.
Теперь
Последний трус стал равен
Храбрейшему из рыцарей".
- "О, сколь благословенны

Путиами Каина

Века, не ведавшие пороха,
В сравненьи с нашим временем, когда
Горсть праха и кусок свинца способны
Убить славнейшего...”

Так восклицали
Неистовый Орланд и мудрый Дон-Кихот -
Последние мечи средневековья.

4
Привыкший спать в глубоких равновесьях,
Порох
Свил черное гнездо
На дне ружейных дул,
В жерле мортир, в стволах стальных орудий,
Чтоб в ярости случайных пробуждений
В лицо врагу внезапно плюнуть смерть.

5
Стирая в прах постройки человека,
Дробя кирпич, и камень, и металл,
Он вынул разрозненные толпы
Сомкнуть ряды, собраться для удара,
Он дал ружью - прицел,
Стволу - нарез,
Солдатам - строй,
Героям - дисциплину,
Связал узлами недр темных масс,
Смесил народы,
Сплавил государства,
В теснинах улиц вздыбил баррикады,
Низвергнул знать,
Воздвигнул горожан,
Творя рабов свободного труда
Для равенства мещанских демократий.

6
Он создал армию,
Казарму и солдат,
Всеобщую военную повинность,
Беспрекословность, точность, дисциплину,
Он сбил с героев шлемы и оплечья,
Мундиры, шаги, знаки, ордена,
Всё оперение турниров и парадов,
И выкрасил в зелено-бурый цвет
Разъезженных дорог,
Распотанных полей,
Разверстых улиц, мусора и пепла -
Цвет кала и блевотины, который
Невидимыми делает врагов.

7
Но черный порох в мире был предтечей
Иных, еще властительнейших сил:
Он распахнул им дверь, и вот мы на пороге
Клубящейся неимоверной ночи
И видим облики чудовищных теней,
Не названных, не мыслимых, которым
Поручено грядущее земли.

*5 февраля 1922
Коктебель*

ПАР

1
Пар вился струйкою
Над первым очагом.
Покамест вол таянул соху, а лошадь
Возила тяжести,
Он тчетно дребезжал
Покрышкой котелка, шипел на камне,
Чтоб обратить вниманье человека.

2

Лишь век назад хозяин догадался
Котел, в котором тысячи веков
Варился суп, поставить на колеса
И, вздев хомут, запрячь его в телегу.
Пар выпер поршень, напружил рычаг,
И паровоз, прерывисто дыша,
С усилием сдвинулся
И потащил по рельсам
Огромный поезд клади и людей.

3

Так начался век Пара. Но покорный
Чугунный вол внезапно превратился
В прожорливого Минотавра:
Пар послал
Рабочих в коли - рыть руду и уголь,
В болота - строить насыпи, в пустыни -
Прокладывать дороги;
Запер человека
В застенки фабрик, в шахты под землей,
Запачкал небо угольною сажой,
Луч солнца - копотью,
И придушил в туманах
Расплесканное пламя городов.

4

Пар сократил пространство, сузил землю,
Сжал океаны, вытянул пейзаж
В однообразную раскрашенную
Ленту
Холмов, полей, деревьев и домов,
Бегущих между проволок;
Замкнул
Просторы путнику,
Лишил ступни
Горячей ощупи
Неведомой дороги,
Глаз - радости открытья новых далей,
Ладони - посоха, и ноздри - ветра.

5

Дорога, ставшая
Грузоподъемностью,
Пробегом, напряженьем,
Кратчайшим расстояньем между точек,
Ворвалась в город, проломила брешь
И просеки в священных лабиринтах,
Рассекла толщи камня, превратила
Проулок, площадь, улицу - в канавы
Для стока одичалых скоростей,
Вверх на мосты загнала пешеходов,
Прорыла крысы ходы под рекою
И вздернула подвесные пути.

6

Свист, грохот, лязг, движенье - заглушили
Живую человеческую речь,
Немыслимыми сделали молитву,
Беседу, размышленье; превратили
Царя вселенной в смазчика колес.

7

Адам изваян был
По образцу Творца,
Но паровой котел счел непристойной
Божественную наготу
И пересоздал
По своему подобию человека:
Облек его в ливрею, без которой
Тот не имеет права появляться
В святилищах культуры,
Он человеческому торсу придал
Подобие котла,
Украшенного клепками;
На голову надел дымоотвод,

Максимилиан Волошин

Воспитанных в голодной дисциплине,
И жадный хам, प्रदेशевивший дух
За радости комфорта и мецанства.

6
Машина научила человека
Пристойно мыслить, здраво рассуждать.
Она ему наглядно доказала,
Что Духа нет, а есть лишь вещество,
Что человек - такая же машина,
Что звездный космос только механизм
Для производства времени, что мысль
Простой продукт пищеваренья мозга,
Что бытие определяет дух,
Что гений - вырожденье, что культура -
Увеличение числа потребностей,
Что идеал -
Благополучие и сытость,
Что есть единый мировой желудок
И нет иных богов, кроме него.

7
Осуществленые всех культурных грез:
Гудят столбы, звенят антенны, токи
Стремят в пространствах звуки и слова,
Разносит молния
Декреты и указы
Полиции, правительства и бирж, -
Но ни единой мысли человека
Не проскользнет по чутким проводам.
Ротационные машины мечут
И день и ночь печатные листы,
Газеты вырабатывают правду
Одну для всех на каждый день и час:
Но ни одной строки о человеке -
О древнем замурованном огне.
Течет зерно по трюмам и амбарам,
Порта и рынки ломятся от яств,
Горячей снедью пышут рестораны,
Но ни единой корки для голодных -
Для незанумерованных рабов.
В пучинах вод стальные рыщут рыбы,
Взрывают хлеба тяжкие суда,
Поют пропеллеры
В заоблачных высотах:
Земля и воды, воздух и огонь -
Всё ополчилось против человека.
А в городах, где заперты рабы, -
Распахнуты театры и музеи,
Клокочут площади,
Ораторы в толпу
Кидают лозунги
О ненависти классов,
О социальном рае, о свободе,
О радостном содружестве племен,
И нищий с оскопленною душою,
С охолощенным мозгом торжествует
Триумф культуры, мысли и труда.

1 марта 1922
Феодосия

БУНТОВЩИК

1
Я голос вопиющего в пустыне
Кишащих множеств, в спазмах городов,
В водоворотах улиц и вокзалов -
В безлюднейшей из всех пустынь земли.

2
Мне сказано:

“Ступай на рынки”, -

Путиами Каина

Надо,
Чтоб каждый раб был призван к мятежу.
Но не мечи им истин, а взрываи
Пласты оцепенелых равновесий:
Пусть истина взвонется, как огонь
Со дна души, разъятой вихрем взрыва.
Беда тому, кто убедит глупца!
Принявший истину на веру -
Ею слепнет.
Вероучитель гонит пред собой
Лишь стадо изнасилованных правдой:
Насилье истиной
Гнуснее всех убийств.
Кто хочет бунта - сей противоречья,
Кто хочет дать свободу - соблазняй,
Будь поджигателем,
Будь ядом, будь трихиной,
Будь оводом, безумящим стада.

3
Вы узники своих же лабиринтов!
Вы - мертвцы заклепанных гробов!
Вы - суевры, мечущие бомбы
В парламенты, и в биржи, и в дворцы,
Вы мыслите разрушить динамитом
Всё то, что прорастает изнутри -
Из вас самих с неуправляемой силой?
Я призываю вас к восстанью против
Законов естества и разума:
К прыжку из человечества -
К последнему безумью -
К пересозданию самого себя.

4
Кто написал на этих стенах кровью:
"Свобода, братство, равенство,
Иль смерть?"
Свободы нет.
Но есть освобожденье,
Среди рабов единственное место
Достойное свободного - тюрьма!
Нет братства в человечестве иного,
Как братство Каина.
Кто связан кровью
Еще тесней, чем жертва и палач?
Нет равенства - есть только равновесье,
Но в равновесии - противополопор,
И две стены, упавши друг на друга,
Единый образуют свод.
Вы верите, что цель культуры - счастье,
Что благосостоянье - идеал?
Страдание и голод - вот резец,
Которым смерть ваяет человека.
Не в равенстве, не в братстве, не в свободе,
А только в смерти правда мятежа.

5
Закона нет - есть только принужденье.
Все преступленья создает закон.
Преступны те, которым в стаде тесно:
Судить не их, наказывать не вам:
Перед преступником
Виновно государство.
Не пресекайте, но готовьте руслу
Избытку сил.
Поймите сущность зла.
Не бойтесь страсти.
Не противьтесь злему
Проникнуть в вас:
Всё зло вселенной должно,
Приняв в себя,
Собой преобразить.
А вы построили темницы и запреты:
Суд гасит страсть,
Правительство - мятеж,
Врач гасит жизнь,

Священник гасит совесть,
Довольно вам заповедей на "не":
Всех "не убий", "не делай", "не укради",
Единственная заповедь: "ГОРИ".
Твой Бог в тебе,
И не ищи другого
Ни в небесах, ни на земле:
Проверь
Весь внешний мир:
Везде закон, причинность,
Но нет любви:
Ее источник - Ты!
Бог есть любовь.
Любовь же огонь, который
Пожрет вселенную и переплавит плоть.
Прислушайся ко всем явлениям жизни:
Двойной поток:
Цветенье и распад.
Беги не зла, а только угасанья:
И грех и страсть - цветенье, а не зло;
Обеззараженность
Отнюдь не добродетель!

6
Ни преступление, ни творчество, ни труд
Не могут быть оплачены: оплата
Труда бессмысленна: лишь подающие
Есть мзда, достойная творца.
Как дерево - созревшие плоды
Роняйте на землю
И простирайте ветви
За милостыней света и дождя.
Дано и отдано?
Подарено и взято?
Всё погашается возвратом?
Торгаши!
Вы выдумали благодарность, чтобы
Поймать в зародыше
И удушить добро?
Не отдавайте давшему:
Отдайте иному.
Чтобы тот отдал другим:
Тогда даянье, брошенное в море,
Взволнует души, ширясь, как волна.
Вы боретесь за собственность?
Но кто же принадлежит кому?
Владельцу вещь?
Иль вещи помыкают человеком?
То собственность,
Что можно подарить:
Вы отдали - и этим вы богаты,
Но вы - рабы всего, что жаль отдать.

7
С собою мы уносим только то,
От обладанья чем мы отказались.
Неужто вы останетесь хранить
Железный хлам угрюмых привидений?
Вы были слизью в лоне океана
И унесли его в своей крови.
Вы отреклись от солнечного света,
Чтоб затеплить во тьме пещер огонь.
Распады утомленных равновесий
Истратили на судоргу машин.
В едином миге яростного взрыва
Вы истожили вечности огня:
Вы поняли сплетенья косных масс,
Вы взвесили и расщепили атом,
Вы в недра зла заклинили себя.
И ныне вы заложены, как мина,
Заряженная в недрах вещества!
Вы - пламя, замурованное в безднах,
Вы - факел, кинутый
В пороховой подвал!
Самовзрыватель, будь же динамитом.
Земля, взорвись вселенским очагом!

Пути Каина

Сильней размах! Отжившую планету
Швырните бомбой в звездные миры!
Ужель вам ждать, пока комками грязи
Не распадется мерзлая земля?
И в сонмах солнц не вспыхнуть новым солнцем -
Косматым сердцем Млечного Пути?

25 января 1923
Коктебель

ВОЙНА

Был долгий мир. Народы были сыты
И лоснились: довольные собой,
Обиием и общим миролюбием.
Лишь изредка, переглянувшись, все
Кидались на слабейшего и, разом
Его пожавши, пятались, рыча
И челюсти ощеривая набок, -
И снова успокаивались.
В мире
Всё шло как следует:
Трильон колес
Работал молотами, рычагами,
Ковали сталь,
Сверлили пушки,
Химик
Изготавливал лиддит и мелинит;
Ученые изобретали способ
За способом для истребления масс;
Политики чертили карты новых
Колониальных рынков и дорог;
Мыслители писали о всеобщем
Ненарушимом мире на земле,
А женщины качались в гибких танго
И обнажали пудреную плоть.
Манометр культуры достигал
До высочайшей точки напряженья.

2

Тогда из бездн внутренних пространств
Раздался голос, возвестивший: "Время
Топтать точило ярости! За то,
Что люди демонам,
Им посланным служить,
Тела построили
И создали престолы,
За то, что гневу
Огня раскрыли волю
В разбеге жерл и в сжатости ядра,
За то, что безразличью
Текущих вод и жаркого тумана
Дали мускул
Бегущих ног и вихри колеса,
За то, что в своевольных
Теченьях воздуха
Сплели гнездо мятежным духам взрыва,
За то, что жадность руд
В рать пауков железных превратили,
Неумолимо ткущих
Сосушие и душащие нити, -
За то освобождаю
Плененных демонов
От клятв покорности,
А хаос, сжатый в вихрях вещества,
От строя музыки!
Даю им власть над миром,
Покамест люди
Не победят их вновь,
В себе самих смилив и поборов
Гнев, жадность, своеволие, безразличие..."

3

И видел я: разверзлись двери неба
В созвездья Льва, и бесы
На землю ринулись...
Сгрудились люди по речным долинам,
Означившим великих царств межи,
И, вырвыши в земле
Ходы змеиные и мышьи тропы,
Пасли стада прожорливых чудовищ:
Сами
И пастыри, и пища.

4

Время как будто опрокинулось,
И некрещенным водою Потопа
Казался мир: из тины выползали
Огромные коленчатые гады,
Железные кишели пауки,
Змеи глотали молнии,
Драконы извергали
Снопья огня и жалили хвостом;
В морях и реках рыбы
Метали
Икру смертельную,
От ящеров крылатых
Свет застылался, сыпались на землю
Разрывные и огненные яйца,
Тучи насекомых,
Чудовищных строенем и размером,
В телах людей
Горячие личинки оставляли, -
И эти полчища исчадий,
Получивших
И гнев, и страсть, и злобу от людей,
Снедь человеческую жалили, когтили,
Давили, рвали, жгли,
Жевали, пожирали,
А города, подобно жерновам,
Без устали вращались и мололи
Зерно отборное
Из первенцев семейств
На пищу демонам.
И тысячи людей
Кидались с вдохновенным иступленьем
И радостью под обода колес.
Всё новые и новые народы
Сбегались и сплетались в хороводы
Под гром и лязг ликующих машин.
И никогда подобной пляски смерти
Не видел иступленный мир!

5

Еще! еще! И всё казалось мало...
Тогда раздался новый клич: "Долой
Воину племен, и армии, и фронты:
Да здравствует гражданская война!"
И армии, смешав ряды, в восторге
С врагами целовались, а потом
Кидались на своих, рубили, били,
Расстреливали, вешали, пытали,
Питались человечинной,
Детей засаливали впрок, -
Была разруха,
Был голод.
Наконец пришла чума.

6

Безглазые настали времена,
Земля казалась шире и просторней,
Людей же стало меньше,
Но для них
Среди пустынь недоставало места,
Они горели только об одном:
Скорей построить новые машины

Пути Каина

И вновь начать такую же войну.
Так кончилась предродовая схватка,
Но в этой боине не уразумели,
Не выучились люди ничему.

29 января 1923
Коктебель

КОСМОС

1

Созвездьями мерцавшее чело,
Над хаосом поднявшись, отразилось
Обратной тенью в безднах нижних вод.
Разверзлись два смеженных ночью глаза,
И брызнул свет. Два огненных луча,
Скрестясь в воде, сложились в гексаграмму.
Немотные раздвинулись уста,
И поднялось из недр молчанья Слово.
И сонмы духов вспыхнули окрест
От первого вселенского дыханья.
Десница подняла материки,
А левая распределила воды,
От чресл размножилась земная тварь,
От жил - растения, от кости - камень,
И двойники - небесный и земной -
Соприкоснулись влажными ступнями.
Господь дохнул на преисподний лик,
И нижний оборотень стал Адамом.
Адам был миром, мир же был Адам.
Он мыслил небом, думал облаками,
Он глиной плотствовал, растеньем рос,
Камнями костенел, зверел страстями,
Он видел солнцем, грезил сны луной,
Гудел планетами, дышал ветрами.
И было всё - вверху, как и внизу, -
Исполнено высоких соответствий.

2

Вневременье распалось в дождь веков,
И просочились тысячи столетий.
Мир конусообразною горой
Покоился на лоне океана.
С высоких башен, сложенных людьми
Из жирной глины тучных межиречий,
Себя забывший Каин разбирал
Мерцающую клинопись созвездий.
Кишело небо звездными зверьми
Над храмами с крылатыми быками.
Стремилось солнце огненной стезей
По колеям ристалищ Зодиака.
Хрустальные вращались небеса,
И напрягались бронзовые дуги,
И двигались по сложным ободам
Одна в другую вставленные сферы.
А в дельтах рек - Халдейский звездочет
И пастухи Иранских плоскогорий,
Прислушиваясь к музыке миров,
К гуденью сфер и к тонким звездным звонам,
По вестим сочетаниям светил
Определяли судьбы царств и мира.
Всё в переходящем было только знак
Извечных тайн, начертанных на небе.

3

Потом замкнулись прорези небес,
Мир стал ареной, залитою солнцем,
Под куполом из черного эфира,
Опертым на Атлантово плечо.

На фоне вино-пурпурного моря
И рыжих охр зазубренной земли,

Играя медью мускулов - атлеты
Крылатым взмахом умощенных тел
Метали в солнце бронзовые диски
Гудящих стрóf и звонких теорем.

И не было ни индиговых далей,
Ни уводящих в вечность перспектив:
Всё было осязаемо и близко -
Дух мыслил плоть и чувствовал объем.
Мял глину перст, и разум мерил землю.
Распоры кипарисовых колонн,
Вощениый кедр закурениных часовен,
Акрополи в звериной пестроте,
Линялый мрамор выкрашенных статуй,
И смуглый мрамор липких алтарей,
И ржа, и бронза золочениных кровель,
Чернь, киноварь, и сепия, и желчь -
Цвета земли понятны были глазу,
Ослепшему к небесной синеве,
Забывшему алфавиты созвездий.

Когда ж душа гимнастов и борцов
В мир довременной ночи отзвывалась
И погружалась в иступленный сон -
Сплетение рук и напряжене связей
Вязало торсы в стройные узлы
Трагических метопов и эподов
Эсхилиовых и Фидиевых стрóf.

Мир отвечал размерам человека,
И человек был мерой всех вещей.

4

Сгустилась ночь. Могильники земли
Извергли кости праотца Адама
И Каина. В разрыве облаков
Был виден холм и три креста - Голгофа -
Последняя надежда бытия.

Земля была недвижным темным шаром.
Вокруг нее вращались семь небес,
Над ними небо звезд и Первосилы,
И всё включал пресветлый Эмпирей.

Из-под Голгофы внутрь земли воронкой
Вел Дантов путь к сосредоточью зла.
Бог был окруженностью, а центром - Дьявол,
Распяленный в глубинах вещества.

Неистовыми взлетами порталов
Прочь от земли стремился человек.
По ступеням империй и соборов,
Небесных сфер и адовых кругов
Шли кольчатые звенья иерархий
И громоздились Библии камней -
Отображенея десяти столетий:
Циклоны веры, шквалы ересей,
Смерчи народов - гунны и монголы,
Набаты, интердикты и костры,
Сто сорок пап и шестьдесят династий,
Сто императоров, семьсот царей,
И сквозь мираж расплавленных оконниц
На золотой геральдике щитов -
Труба Суда и черный луч Голгофы.
Вселенский дух был распят на кресте
Исхлестанной и изъязвленной плоти.

5

Был литургийно строен и прекрасен
Средневековый мир. Но Галилей
Сорвал его, зажал в кулак и землю
Взвил кубарем по вихревой петле
Вокруг безмерно выросшего солнца.
Мир распахнулся в центильоны раз.
Соотношенея дико изменились,
Разверзлись бездны звездных Галактей,

Пути Каина

И только Богу не хватило места.
Пытливый дух апостола Фомы,
Воскресшему сказавший: "Не поверю,
Покамест пальцы в раны не вложу", -
Разворотил тысячелетия веры.

Он очевидность выверил числом,
Он цвет и звук проверил осязанием,
Он взвесил свет, измерил бег луча,
Он перенес все догмы богословья
На ипостаси сил и вещества.

Материя явилась бесконечной,
Единосущной в разных естествах,
Стал Промысел - всемирным тяготением,
Стал вечен атом, вездесущ эфир:
Всепроницаемый, встерждый, скользкий -
"Его ж никто не видел и нигде".

Исчисленный Лапласом и Ньютоном,
Мир стал тончайшим синтезом колес,
Эллипсов, сфер, парабол - механизмом,
Себя заведем раз и навсегда
По принципам закона сохраненья
Материи и Силы.

Человек,

Голодный далью чисел и пространства,
Был пьян безверьем - злейшею из вер,
А вокруг него металось и кишело
Охваченное спазмой вещество.
Творец и раб сведенных корчей тварей,
Им выявленных логикой числа
Из костности материи, он мыслил
Вселенную как черный негатив:
Небытие, лоснящееся светом,
И сущности, окутанные тьмой.
Таким бы точно осознала мир
Сама себя постигшая машина.

б
Но неумный разум разложил
И этот мир, построенный на ощупь
Вникающим и мерящим перстом.

Всё относительно: и бред и знание.
Срок жизни истин: двадцать-тридцать лет
Предельный возраст водовозной клячи.
Мы ищем лишь удобства вычислений,
А в сущности не знаем ничего:
Ни емкости, ни смысла тяготенья,
Ни масс планет, ни формы их орбит,
На вызвездившем небе мы не можем
Различить глазом "завтра" от "вчера".

Нет вещества - есть круговерти силы;
Нет твердости - есть натяженные струи;
Нет атома - есть поле напряженья
(Вихрь малых "не" вокруг большого "да");
Нет плотности, нет веса, нет размера -
Есть функции различных скоростей.
Всё существует разницей давлений,
Температур, потенциалов, масс;
Струи времен текут неравномерно;
Пространство - лишь разнообразье форм;
Есть не одна, а много математик;
Мы существуем в Космосе, где всё
Теряется, ничто не создается;
Свет, электричество и теплота -
Лишь формы разложения и распада,
Сам человек - мотыльный паразит,
Бактерия всемирного гниения,
Вселенная - не строй, не организм,
А водопад сгорающих миров,
Где солнечная заверть - только случай
Посередине необратимых струй,
Бессмертья нет, материя конечна.

Максимилиан Волошин

Число миров исчерпано давно.
Все тридцать пять миллионов солнц возникли
В единый миг и сгинут все зараз.
Всё бытие случайно и мгновенно,
Явленья жизни - беглый эпизод
Между двумя безмерностями смерти.
Сознание - вспышка молнии в ночи,
Черта азролита в атмосфере,
Пролет сквозь пламя вздутого костра
Случайной птицы, вырванной из бури
И вновь нырнувшей в снежную мятель.

7

Как глаз на расползающийся мир
Свободно налагает перспективу
Воздушных далей, облачных кулис,
И к горизонту сводит параллели,
Внося в картину логику и строй, -
Так разум среди хаоса явлений
Распределяет их по ступеням
Причинной связи, времени, пространства
И укрепляет сводами числа.

Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнания.
Системы мира - слепки древних душ,
Зеркальный бред взаимоотражений
Двух противопоставленных глубин.
Нет выхода из лабиринта знания,
И человек не станет никогда
Иным, чем то, во что он страстно верит.

Так будь же сам вселенной и творцом,
Сознай себя божественным и вечным
И плавь миры по льялам душ и вер.
Будь дерзким зодчим вавилонских башен,
Ты - зачинатель сфинксов и химер.

12 июня 1923

Коктебель

ТАНОБ

1

От Иоанна Лествичника чтение:
"Я посетил взыскуемый Таноб
И видел сих невинных осужденцев.
Никем не мучимы себя же мучат сами..
Томясь, томят томящего их дух.
Со связанными за спиной руками
Стоят всю ночь, не подгибая ног,
Одлеваемые сном, качаясь,
Себе ж покоя не дая на миг.
Иные же себе томяще зноем,
Иные холодом, иные ковш
Воды пригубив, отвергают, только б
Не умереть от жажды, хлеб иные
Отведав, прочь бросают, говоря,
Что живище по-скотски недостоины
Вкушать от пищи человеческой,
Иные как о мертвецах рыдают
О душах собственных, иные слезы
Удерживают, а когда не могут
Терпеть - кричат. Иные головами
Поникиши мотают, точно львы
Рыкающе и воя протяженно.
Иные молят Бога покарать
Проказою, безумьем, беснованьем,
Лишь бы не быть на муки осужденным
На вечные. И ничего не слышно

Путиами Каина

Опричь: "Увы! Увы!" и "Горе! Горе!"
Да тусклые и впалые глаза,
Лишенные ресниц глазничных веки,
Зеленые покойницкие лица,
Хрипящие от напряженья перси,
Кровавые мокроты от биенья
В грудь кулаком, сухие языки,
Висящие из воспаленных уст,
Как у собак. Все темно, грязно, смрадно".

2

Горючим ядом было христианство.
Ужаленная им душа металась
В неистовстве и корчах: совлекая
Отравленный хитон Геракла - плоть.
Живая глина обжигалась в жгучем
Вникающем и плавящем огне.
Душа в борьбе и муках извергала
Отстоенную радость бытия
И полноту языческого мира.
Был так велик небесной кары страх,
Что муки всех прижизненных застенок
Казались предпочтительны. Костры
Пылали вдохновенно, очищая
От одержимости и ересей
Заблудшие, метущиеся души.
Доминиканцы жгли еретиков,
А университеты жгли колдуний.
Но был хитер и ловок Сатана:
Природа мстила, тело издевалось,
Могучая заклепанная хоть
Искала выходы. В глухом подполье
Монах гноил бунтующую плоть
И мастурбировал, молясь Мадонне.
Монахи, в экстазе отдаваясь
Грядущему в полночи жениху,
В последней спазме не могли различить
Иисусов лик от лика Сатаны.
Весь мир казался трупом. Солнце - печью
Для грешников. Спаситель - палачом.

3

Водитель душ измученную душу
Брал за руку и разверзал пред ней
Зияющую емкость преисподней
Во всю ее длину и глубину.
И грешник видел пламя океана
Багрового и черного, а в нем
В струях огня и в огневертях мрака
Бесчисленные души осужденных,
Как руны рыб в провалах жгучих бездн.
Он чувствовал невыносимый смрад,
Дух замирал от серного удущья
Под шквалами кощунств и богохульств;
От зноя на лице дымилась кожа,
Он сам себе казался гнойником;
Слюна и рвота подступали к горлу.
Он видел стены медного Кремля,
А посреди на рдяно-сизом троне
Из сталактитов пламени - Царя
С чудовищным, оцепенелым ликом
Литого золота. Вкруг сонмы сонм
Отпадших ангелов и человечесий
Мир, отданный в управу Сатане:
Нет выхода, нет меры, нет спасенья!
Таков был мир: посередине - Дьявол -
Дух разложения, воля вещества,
Князь времени. Владыка земной плоти -
И Бог, пришедший яко тать в ночи -
Поруганный, ислестанный, распятый.

В последней безысходности пред ним
Развертывалось новое виденье:
Святые пажити, маслины и сады
И лилии убогой Галилеи...
Крылатый вестник девичьих светлиц

И девушка с божественным младенцем.
В тщете земной единственной надеждой
Был образ Богоматери: она
Сама была материей и плотью,
Еще неопороченной грехом,
Сияющей первичным светом, тварью,
Взнесенной выше ангелов, земель,
Рождающей и девственной, обетом,
Что такова в грядущем станет персть,
Когда преодолет разложенье
Греха и смерти в недрах бытия.
И к ней тянулись упования мира,
Как океаны тянутся к луне.

4

Мечты и бред, рожденные темницей,
Решетки и затворы расшатал
Каноник Фрауенбургского собора
Смирненнейший Коперник. Галилей
Неистовый и зоркий вышиб двери,
Размыкал своды, кладку разметал
Напористый и доскональный Келлер,
А Ньютон - Дантов Космос, как чулок
Распялив, выворотил наизнанку.
Все то, что раньше было Сатаной,
Грехом, распадом, козностью и плотью,
Все вещество в его ночных корнях,
Извилиах, наростах и уклонах -
Вся темная изнанка бытия
Легла фундаментом при новой стройке,
Теперь реальным стало только то,
Что можно было взвесить и измерить,
Коснуться плстью, выразить числом.
И новая вселенная возникла
Под пальцами апостола Фомы.
Он сам ощущал звезды, взвесил землю,
Распялил луч в трехгранности стекла,
Сквозь трещины распластанного спектра
Туманностей исследовал состав,
Хвостов комет и бег миров в пространстве,
Он малый атом ногтем расцепил
И стрелы солнца взвесил на ладони.
В два-три столетия был преобразен
Весь старый мир: разрушен и отстроен.
На миллионы световых годов
Раздвинута темница мирозданья,
Хрустальный свод расколот на куски
И небеса проветрены от Бога.

5

Наедине с природой человек
Как будто озверел от любопытства:
В лабораториях и тайниках
Ее пытал, допрашивал с пристрастьем,
Читал в мозгу со скальпелем в руке,
На реактивы пробовал дыханье,
Старухам в пах вшивал звериный пол.
Отрубленные пальцы в термостагах,
В растворах вырезанные сердца
Пульсировали собственно жизнью,
Разъятый труп кусками рос и цвел.
Природа, одурелая от пыток,
Под микроскопом выдала свои
От века сокровеннейшие тайны:
Механику обрядов бытия.
С таким же исступлением, как раньше
В себе стремился выжечь человек
Все то, что было плотью, так теперь
Отовсюду вытравлял заразу духа,
Охлаждал не тело, а мечту,
Мозги дезинфицировал от веры,
Накладывал запреты и табу
На все, что не сводилось к механизму:
На откровенье, таинство, экстаз...
Огородил свой разум частоколом
Торчащих фактов, терминов и цифр

Пути Каина

И до последних граней мироздания
Раздвинул свой безвыходный Таноб.

6
Но так едка была его пылливость,
И разум вскрыл такие недра недр,
Что самая материя иссякла,
Истаяла под ошупью руки...
От чувственных реальностей осталась
Сомнительная вечность вещества,
Подточенного тлею Энтропии;
От выверенных Кантовых часов,
Секундами отсчитывавших время -
Метель случайных вихрей в пустоте,
Простой распад усталых равновесий.
Мир стер зубцы Лапласовых колес,
Заржавели Ньютоновы пружины,
Эвклидов Куб - наглядный и простой -
Оборотился Римановой сферой:
Вчера Фома из самого себя
Ступнею мерил радиус вселенной
И пядями окружность. А теперь
Сам выпяченный на поверхность шара.
Не мог проникнуть лотом в глубину: -
Отвес, скользя, чертил меридианы.
Так он постиг, что тяготенье тел
Есть внутренняя кривизна пространства,
И разум, исследивший все пути,
Наткнулся сам на собственные грани: -
Библейский змий поймал себя за хвост.

7
Строители коралловых атолов
На дне времен, среди безмерных вод -
В ограде кольцевых нагромождений
Своих систем - мы сами свой Таноб.
Мир познанный есть искажение мира,
И человек недаром осужден
В святилищах устраивать застенки,
Идеи обжигать на кирпичи,
Из вечных истин строить казематы
И вновь взрывать кристаллы и пласты
И догматы отстойной культуры: -
Познание должно окостенеть,
Чтоб дать жерло и направленье взрыву.
История проникнута до дна
Колоидальной спазмой аскетизма,
Сжимающую взрывы мятежей.
Свободы нет, но есть освобожденье!
Наш дух - междупланетная ракета,
Которая, взрываясь из себя,
Взвивается со дна времен, как пламя.

16 мая 1926 г. Коктебель

ГОСУДАРСТВО

1
Из совокупности
Избытков, скоростей,
Машин и жадности
Возникло государство.
Гражданство было крепостью, мечом,
Законом и согласием. Государство
Явилось средоточьем
Кустарного, рассеянного зла:
Огромным бронированным желудком,
В котором люди выполняют роль
Пищеварительных бактерий. Здесь
Всё строится на выгоде и пользе,

Максимилиан Волошин

На выживаньи приспособленных,
На силе.
Его мораль - здоровый эгоизм.
Цель бытия - процесс пищеваренья.
Мерило же культуры - чистота
Отхожих мест и емкость испражнений.

2

Древнейшая
Из государственных регалий
Есть производство крови.
Судия, как исполнитель Каиновых функций,
Непогрешим и неприкосновенен.
Убийца без патента не преступник,
А конкурент:
Ему пощады нет.
Кустарный промысел недопустим
В пределах монопольного хозяйства.

3

Из всех насилий,
Творимых человеком над людьми,
Убийство - наименьшее,
Тягчайшее же - воспитанье.
Правители не могут
Убить своих наследников, но каждый
Стремится исковеркать их судьбу.
В ребенке с детства зреет узурпатор,
Который должен быть
Заране укрощен.
Смысл воспитания:
Самозащита взрослых от детей.
Поэтому за рангом палачей
Идет ученый комитет
Компрачиковос,
Искусных в производстве
Обеззараженных
Кастрированных граждан.

4

Фиск есть грабеж, а собственность есть кража,
Затем, что кража есть
Единственная форма
Законного приобретения.
Государство
Имеет монополию
На производство
Фальшивых денег.
Профиль на монете
И на кредитном знаке герб страны
Есть то же самое, что отписк пальцев
На антропометрическом листке:
Расписка в преступленьи.
Только руки
Грабителей достаточно глубоки,
Чтоб удержать награбленное.
Воры,
Бандиты и разбойники - одни
Достойны быть
Родоначальниками
Правящих династий
И предками владетельных домов.

5

А в наши дни, когда необходимо
Всеобщим, тайным, равным и прямым
Избрать достойного, -
Единственный критерий
Для выборов:
Искусство кандидата
Оклеветать противника
И доказать
Свою способность к лжи и преступленью.
Поэтому парламентским вождем
Является всегда наинаглейший
И наиадвокатнейший из всех.

Пути Каина

Политика есть дело грязное -
Ей надо
Людей практических,
Не брезгающих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот...
Но избиратели доселе верят
В возможность из трех сотен негодяев
Построить честное
Правительство стране.

6
Есть много истин, правда лишь одна:
Штампованная признанная правда.
Она готовится
Из грязного беля
Под бдительным надзором государства
На все потребности
И вкусы и мозги.
Ее обычно сервируют к кофе
Оттиснутой на свежие листья,
Ее глотают наскоро в трамваях,
И каждый сделавший укол с утра
На целый день имеет убеждения
И политические взгляды:
Может спорить,
Шуметь в собраниях и голосовать.
Из государственных мануфактур,
Как алкоголь, как сифилис, как опиум,
Патриотизм, спички и табак, -
Из патентованных наркотиков -
Газета
Есть самый сильно действующий яд,
Дающий наибольшие доходы.

7
В нормальном государстве вне закона
Находятся два класса:
Уголовный
И правящий.
Во время революций
Они меняются местами -
В чем
По существу нет разницы.
Но каждый,
Дорвавшийся до власти, сознает
Себя державной осью государства
И злоупотребляет правом грабежа,
Насилия, пропаганды и расстрела.
Чтоб довести кровавый самогон
Гражданских войн, расправ и самосудов
До выгонки нормального суда,
Революционное правительство должно
Активом террора
Покрыть пассив усобиц.
Так революция,
Перетряхая классы,
Усугубляет государственность:
При каждой
Мятежной спазме одичалых масс
Железное огорлие гарроты
Сжимает туже шейные хрящи.
Благонадежность, шпионаж, цензура,
Проскрипции, доносы и террор -
Вот достижения
И гений революций!

13 апреля 1922
Феодосия

ЛЕВИАФАН

Множество, соединенное в одном лице,
именуется Государством -
Civitas. Таково происхождение Левиафана,
или, говоря почтительнее, -
этого Смертного Бога.

Гоббс. "Левиафан"

1
Восставшему в гордыне дерзновенной,
Лишенному владений и сынов,
Простертому на стогнах городов,
На гноище поруганной вселенной, -
Мне - Иову - сказал Господь:

"Смотри:
Вот царь зверей, всех тварей завершенье,
Левиафан!
Тебе разверзну зренье,
Чтоб видел ты как вне, так и внутри
Частей его согласное строенье
И славил правду мудрости моей".

2
И вот, как материк, из бездн пенной,
Взрыв Океан, поднялся Зверь зверей -
Чудовищный, огромный, многочленный...
В звериных недрах глаз мой различил
Тяжелых жерновов круговращенье,
Вихрь лопастей, мерцание зеркал,
И беглый огонь, и молний излученье.

3
"Он в день седьмой был мною сотворен, -
Сказал Господь, -
Все жизни отпавленья
В нем дивно согласованы:
Лишен
Сознания - он весь пищеваренье.
И человечество издревле включено -
В сплетенье жил на древе кровеносном
Его хребта, и движет в нем оно
Великий жернов сердца.
Тусклым, косным
Его ты видишь.
Рдяною рекой
Струится свет, мерцающий в огромных
Чувствилищах.
А глубже, в безднах темных,
Зияет голод вечною тоской.
Чтоб в этих недрах, медленных и злобных,
Любовь и мысль таинственно воззвать,
Я сотворю существ, ему подобных,
И дам им власть друг друга пожирать".

4
И видел я, как бездна Океана
Извергла в мир голодных спрутов рать:
Вскипела хлябь и сделалась багряна.
Я ж день рожденья начал проклинать.
Я говорил:

5
"Зачем меня сознаюм
Ты в этой тьме крошечной озарил
И, дух живой вдохнув в меня дыханьем,
Дозволил стать рабом бездушных сил,
Быть слизью жил, бродилком соков чревных
В кишках чудовища?"

Пути Каина

6
В раскатах гневных
Из бури отвечал Господь:
Кто ты,
Чтоб весить мир весами суеты
И смысл хулить моих предначертаний?
Весь прах, вся плоть, посеянные мной,
Не станут ли чистейшим из сияний,
Когда любовь растопит мир земной?
Сих косных тел алкание и злоба -
Лишь первый шаг к пожарищам любви...
Я сам сошел в тебя, как в недра гроба,
Я сам томлюсь огнем в твоей крови.
Как Я - тебя, так ты выскуешь землю.
Сгорая - жги!
Замкнутый в гроб - живи!
Таким Мой мир приемлешь ли?

7
- "Приемлю..."

*9 декабря 1915
Париж*

СУД

1
Праху - прах. Я стал давно землей:
Мною
Цветли растенья, мною светило солнце.
Всё, что было плотью,
Развеваясь, как радужная пыль -
Живая, безымянная.
И океан времен
Катил прибой столетий.

2
Вдруг
Призыв Архангела,
Насквозь сверкающий
Кругами медных звуков,
Потряс вселенную -
И вспомнил себя
Я каждую частицей,
Рассеяною в мире.

3
В трубном вихре плотью
Истлевшие цветли в могилах кости.
В земных утробах
Зашевелилась жизнь.
А травы вали,
Сохли деревья,
Лучи темнели, холодело солнце.

4
Настало
Великое молчанье.
В шафранном
И тусклом сумраке земля лежала
Разверстым кладбищем.
Как бурные нарвы,
Могильники вздувались, расседались,
Обнажая
Побеги бледной плоти: пясти
Ростками тонких пальцев
Тянулись из земли,
Ладони розовели,
Стебли рук и ног
С усилием прорастали,

Максимилиан Волошин

Вставали торсы, мускулы вздувались,
И быстро подымалась
Живая нива плоти,
Волнуясь и шурша.

5
Когда же темным клубнем,
В комках земли и спутанных волос
Раскрылась голова
И мертвые разверзлись очи, - небо
Разодралось, как занавес,
Иссякло время,
Пространство сморщилось
И перестало быть.

6
И каждый
Внутри себя увидел солнце
В Зверином Круге...

7
...И сам себя судил.

*5 февраля 1915
Париж*

Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время

- Лев Аннинский. "Серебро и чернь". Поэты Серебряного века.
Михаил Арцыбашев. "Ужас".
Антон Антонов-Овсеенко. "Сталин без маски".
Сергей Антонов. "Рельеф Кандинского". Рассказы.
"Азь". Альманах. Два выпуска.
Владлен Бахнов. "Опасные связи". Повести и рассказы.
Евгений Бачурин. "Я ваша тень". Стихи и песни.
Андрей Белый. "Начало века".
Евгений Блажеевский. "Лицом к погоне". Стихи.
Владимир Буйначев. "Новое прочтение "Слова о полку Игореве"".
Михаил Бутов. "Изваяние пана". Рассказы и повесть.
Андрей Бычков. "Черная талантливая музыка для глухонемых".
"Вежи". Сборник статей о русской интеллигенции.
Мария Головановская. "Двадцать писем Господу Богу". Роман.
Дон-Аминадо. "Парадоксы жизни". Стихи и проза.
Фазиль Искандер. "Детство Чика". Рассказы.
Фазиль Искандер. "Сандро из Чегема". Первая полная редакция.
Геннадий Калашников. "С железной дорогой в окне". Стихи.
Анатолий Капустин. "Куровское-Лобня". Рассказы.
Н. М. Карамзин. "История Государства Российского". В 6-ти книгах.
Эдуард Клыгуль. "Столичная". Повести и рассказы.
Кирилл Ковальджи. "Лирика".
Кирилл Ковальджи. "Невидимый порог".
Кирилл Ковальджи. "Обратный отсчет". Проза и стихи.
Лев Копелев. "Хранить вечно".
Сергей Костырко. "Шлягеры прошлого лета". Повести и рассказы.
"Краеведы Москвы". Выпуск 1.
"Краеведы Москвы". Выпуск 2.
Нина Краснова. "Цветы запоздалые". Проза и стихи.
Юрий Крохин. "Профили на серебре". Поэт Леонид Губанов. и СМОГ.
Юрий Кувалдин. "Так говорил Заратустра". Роман.
Юрий Кувалдин. "Кувалдин-критик". Выступления в периодике.
Юрий Кувалдин. "Родина". Повести и роман.
Юрий Кувалдин. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 10 томах.
Л. Лазарев. "Шестой этаж". Мемуары.
Семен Липкин. "Квадрига". Повесть, мемуары.
Юрий Малецкий. "Убежище". Роман, повести и рассказы.
Всеволод Мальцев. "Парализованная кукла". Повести и рассказы
Мандельштамовский сборник "Сохрани мою речь". Два выпуска.
Игорь Меламед. "В черном раю". Стихотворения, переводы, статьи.
Сергей Михайлин-Плавский. "Гармошка". Рассказы и повести.
А. Н. Михайлов. "Культурология в текстах и комментариях".
Юрий Нагибин. "Дневник".
"Наша улица". Ежемесячный журнал современной русской литературы
(Основан Юрием Кувалдиным в 1999 году. К ноябрю 2006 года -
60-летию Юрия Кувалдина - выпущено 84 номера)

Ольга Новикова. "Женский роман".
Вл. Новиков. "Заскок". Пародии, эссе, размышления критика.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 1. 2003 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 2. 2004 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 3. 2005 год.

Сергей Овчинников. "Танюша". Повести и рассказы.
Димитрий Панин. "Лубянка-Экибастуз: Лагерные записки".
Димитрий Панин. "В человеках благоволение".
Вадим Перельмутер. "Стихо-Творения".
Вадим Перельмутер. "Звезда разрозненной плеяды". О Вяземском.
Петроний Арбитр. "Сатирикон".
Валерий Поздеев. "Наполеон Федя Пряшкин". Повести и рассказы.
Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".
Лев Разгон. "Плен в своем отечестве".
Станислав Рассадин. "Очень простой Манделъштам".
Станислав Рассадин. "Русские, или из дворян в интеллигенты".
Эрнест Ренан. "Жизнь Иисуса".
Ирина Роднянская. "Литературное семилетие". Статьи.
Русские сказки.
Алексей Саладин. "Прогулки по кладбищам Москвы".
Андрей Сахаров. "Конституционные идеи".
Джонатан Свифт. "Путешествия Лемюэля Гулливера".
Павел Сиркес. "Горечь померанца".
Словарь американского сленга.
А. и Б. Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу". Полная редакция.
Ирина Сурат. "Жизнь и лира". О Пушкине.
Игорь Тарасевич. "Сквозь стекло". Повести и рассказы.
Александр Тимофеевский. "Песня скорбных душ".
М. Н. Тихомиров. "Средневековая Москва".

Александр Трифонов. "Художник Александр Трифонов"
(Альбом. Новый русский авангард. Фигуративный экспрессионизм)

Александр Трофимов. "Записки сумасшедшего". Рассказы и повести.
Михаил Холмогоров. "Авелева печать". Роман, повести.
А. В. Храповицкий. "Памятные записки".
В. М. Фридкин. "Чемодан Клода Дантеса". Рассказы.
Л. А. Чарская. "Княжна Джаваха".
Лидия Чуковская. "Процесс исключения".
"Эквинокс" (Равноденствие). Литературно-философский сборник.

ТОМ 6
СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ. <i>Повесть</i>	3
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. <i>Повесть</i>	76
ЮБКИ. <i>Повесть</i>	132
ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ. <i>Повесть</i>	206
СЧАСТЬЕ. <i>Повесть</i>	270
СТАНЦИЯ ЭНГЕЛЬГАРДТОВСКАЯ. <i>Повесть</i>	321
ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК. <i>Повесть</i>	380
ТВЕРСКАЯ. <i>Рассказ</i>	408
ЩИПОК. <i>Рассказ</i>	427
Комментарии	441
Александр Логинов “О повести “Титулярный советник””	441
Анатолий Шамардин “Все вещи мира смертны. Кроме Слова”	443
Татьяна Добрынина “Заметки по поводу...”	458
Андрей Василевский “Повести о жизни”	461
Лев Аннинский “Мы и время”	466
Приложения	474
Иммануил Кант “Наблюдения над чувством прекрасного...”	474
Максимилиан Волошин “Путями Каина”	482
Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время	509

Юрий Александрович Кувалдин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Том 6

Редактор Юрий Кувалдин
Художник Александр Трифонов

ЛР № 061544 от 08.09.99.
Сдано в набор 19.03.06. Подписано к печати 21.05.06. Формат 60х88 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура "Newton". Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-отт. 32,0. Уч.-изд. л. (авторских листов) 31,13.
Тираж 2000 экз.

Издательство "Книжный сад", Москва, Складочная ул. 1, стр. 5.
Для писем: 125167, Москва, а/я 40.
Отпечатано на Фабрике Печатной Рекламы.